

Istorii a zhivopisi

Richard Muther

PENNSTATE



UNIVERSITY
LIBRARIES





Muthet

Издание товарищества „ЗНАНИЕ“ (Спб., Невскій, 92).

Istoria zhiwopisi

Р. МУТЕРЪ

ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ

ВЪ XIX ВѢКѢ

Переводъ З. Венгеровой.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. Д. Рудометова, Фонтанка, 71.
1899 г.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 14-го апрѣля 1899 года.

ВВЕДЕНІЕ.

Существует множество книгъ о современномъ искусствѣ. Новая книга на эту тему лишь тогда оправдываетъ свое появленіе, если въ ней въ самомъ дѣлѣ есть *новизна*.

Новыми въ настоящемъ случаѣ являются самые размѣры предмета изученія. До сихъ поръ не было книги, охватывающей исторію *обще-европейской* живописи XIX вѣка. Реберъ написалъ исторію новаго *нѣмецкаго* искусства съ отступленіями, въ которыхъ разсматривается параллельное развитіе искусства у другихъ германскихъ и романскихъ народностей. Розенбергъ назвалъ, правда, свою книгу „Исторіей современнаго искусства“, но посвятивъ первый томъ Франціи, а два остальныхъ Германіи, онъ остановился и не намѣревается, повидимому, продолжать свой трудъ.

При такомъ ограниченіи области изслѣдованія едва ли возможно вполне выяснитъ основной взглядъ на предметъ. Современное искусство, какъ и современная культура, должно быть разсматриваемо, какъ нѣчто цѣлое. Историкъ долженъ изучать не только результаты, но и самые источники. Взоръ его долженъ обнять всю Европу и даже весь міръ.

Все, о чемъ будетъ говориться въ дальнѣйшемъ изложеніи, не имѣетъ притязанія на объективную вѣрность. Зола справедливо назвалъ художественное произведеніе „природой, отраженной въ личномъ темпераментѣ художника“. Въ моей книгѣ я тоже не могу дать ничего иного, какъ исторію искусства, отраженную въ личномъ пониманіи. Если же иногда и въ основныхъ вопросахъ мое сужденіе будетъ отличаться отъ мнѣній предшественниковъ, то нужно принять во вниманіе, что со времени появленія прежнихъ трудовъ, прошли долгіе годы; въ теченіе ихъ значительно перемѣнился общій взглядъ на современное искусство. Ибсенъ сказалъ въ „Врагѣ народа“ что, „срокъ нормальной истинны двѣнадцать, пятнадцать и въ лучшемъ случаѣ двадцать лѣтъ“. Истина прежнихъ книгъ объ искусствѣ достигла теперь того опаснаго возраста, когда она, по выраженію доктора Стокмана, „начинаетъ становиться ложью“. Всякое поколѣніе смотритъ на міръ своими собственными глазами, а наши глаза далеко не тѣ, для которыхъ писалъ свои картины Корнелиусъ и Пилотти. Къ сожалѣнію, однако, нельзя ясно различать слишкомъ близко находящееся такъ же, какъ и слишкомъ далекое. Поэтому послѣдній отдѣлъ настоящаго труда, посвященный искусству послѣдняго времени, подвергнется вѣроятно въ будущемъ наибольшимъ исправленіямъ.

Главная задача этой книги заключается в томъ, чтобы дать ясный и сжатый очеркъ рѣшительныхъ моментовъ въ развитіи искусства. Это наиболѣе трудно, и этимъ менѣе всего занимались до сихъ поръ.

Тотъ, кто взялся разсказать исторію живописи XIX вѣка, долженъ удовлетворять совершенно инымъ требованіямъ, чѣмъ историкъ искусства предшествовавшихъ временъ. Наибольшая трудность для историка прошлыхъ временъ въ отсутствіи точныхъ источниковъ. Историкъ часто оказывается въ полномъ мракѣ относительно жизненныхъ обстоятельствъ и произведеній великихъ мастеровъ прошлаго. Послѣ того, какъ онъ изслѣдовалъ архивы и бібліотеки собирая біографическія данныя, ему предстоитъ критическій разборъ собранныхъ матеріаловъ. Среди несомнѣнныхъ произведеній того или другаго художника, одни имѣютъ твердую хронологію, другія не имѣютъ ея. Къ нимъ присоединяются произведенія сомнительнаго происхожденія, а затѣмъ совершенно неизслѣдованная, происхожденіе которыхъ еще иужно установить. Нужно обладать проницательнымъ взглядомъ, чтобы опредѣлить школы и группы и, наконецъ, указать вѣрные признаки, по которымъ можно узнать художника.

Этимъ трудностей историкъ современнаго искусства не встрѣчаетъ на своемъ пути. Живописцы XIX вѣка очень рѣдко забывали подписывать свои произведенія и отмѣчать время завершенія труда. Жизнь ихъ тоже извѣстна съ такимъ обиліемъ подробностей, какія отсутствуютъ даже относительно самыхъ крупныхъ историческихъ величинъ прошлаго. Но тѣмъ труднѣе разобратся среди хаоса картинъ, и найти объединяющую ихъ идею. Тѣмъ труднѣе изъ подавляющей массы матеріала создать стройное зданіе. Современная живопись сложнѣе; по обилію формъ она превосходитъ живопись болѣе ранняго періода, точно также какъ современная жизнь болѣе сложна и разнообразна, чѣмъ предыдущіе историческіе моменты.

Какъ спокойно, медленно и устойчиво происходило развитіе прежняго искусства. Между искусствомъ и общей культурной жизнью существовали простая взаимоотношенія. Обычаи, міровоззрѣніе, искусство сливались въ нѣчто столь общее, что знаніе исторической эпохи включало уже и знакомство съ ея искусствомъ. Стоя передъ старою картиною кельнской школы, предназначенной для алтаря, зритель чувствуетъ себя какъ бы перенесеннымъ въ высокій просторный соборъ: все вокругъ исполнено тишины, и прекрасныя существа на картинахъ ведутъ спокойное, проникновенное существованіе въ своемъ величіи. Христіанское ученіе — „царство мое не отъ міра сего“ — ясно воплощено и въ искусствѣ. Смиреніе и набожность слились въ утонченности чувствъ, не имѣющихъ ничего себѣ равнаго по благочестивой ибжности и обаятельной непосредственности. Въ XV вѣкѣ — эпохѣ открытій — наступило господство ннаго духа. Торговля и мореплаваніе открыли новыя страны, а живопись открыла жизнь. Духъ людей сталъ болѣе свободнымъ и жизнерадостнымъ. Онъ уже не жилъ однимъ влеченіемъ къ загробному міру; ему стала нравиться земная жизнь и ея великолѣпіе. Въ картинахъ начинаютъ проявляться тѣ радостныя чувства, съ которыми горожане выходили изъ своихъ узкихъ стѣнъ подъ свободный небесный кровъ — нѣчто вродѣ пасхальнаго настроенія въ Фаустѣ. Художники все еще пишутъ мадоннъ и святыхъ, — предметы вѣры, которая пришла съ далекаго Востока и охватила весь Западъ; но среди строгой простоты Божественнаго поименигу пробуждается грація, лукавство и энергія земаго. Это первое дѣвственное соприкосновеніе духа съ природою. Въ картинахъ чувствуется утренняя роса земной жизни. Онъ напоминаютъ лѣсную чащу весенней порой: Боттичелли, ванъ-Эйкъ, Шонгауэръ.

Въ XV вѣкѣ итальянцы были реалистами, въ XVI вѣкѣ они воз-

высились до восторженного гуманизма, до величественности. Прошло время упорной борьбы съ подавляющимъ богатствомъ внѣшняго міра. Возникаютъ великія художественныя произведенія. Въ нихъ ярко свѣтится радостное сознаніе, что трудности уже побѣждены и совершенство дается безъ усилій: Рафаэль, Микель Анджело, Тицианъ. Германскій гений обостряется въ тоже время въ полную противоположность романскому. Германскіе художники не льстятъ вышнимъ чувствамъ обязательностью формы—это они считаютъ ниже своего достоинства, но зато чаруютъ глубиной религіознаго чувства и задушевностью. Они глубоко національны—до жесткости, отличающей нѣмецкій характеръ, но вмѣстѣ съ тѣмъ у нихъ много чуткости и жизненной правды. Дюреръ въ своихъ гравюрахъ на деревѣ и на мѣди „внутреннею полнотъ образовъ“, Гольбейнъ великъ непрезойденнымъ мастерствомъ своихъ портретовъ.

Въ торжествующаго радостнаго язычества, олимпійской веселости Возрожденія, сѣнился эпохой іезуитскаго вліянія, наложившаго свой отпечатокъ на характеръ искусства и его настроенія. Пышныя церкви, возведенныя въ іезуитскомъ стилѣ, съ ихъ рѣзкими эффектами, крикливыми лѣпными украшеніями, яркой позолотой, уже не соответствовали классическому спокойствію старинныхъ мастеровъ. Понадобились бѣлая страстность и рѣзкость въ церковной живописи, чтобы отразить весь пылъ обновленнаго католицизма. Испанія, родина инквизиціи, создала классическія формы, въ которыхъ искусство воплотило возродившееся съ новою силой религіозное чувство. Идеи монархіи и іерархическаго строя жизни, которая легли въ основу испанскаго государства и возвеличили его, нашли вѣрное отраженіе въ испанской живописи. Художники вносили въ церковныя картины огненную страсть религіозныхъ настроеній и полумечтательную чувствениость чисто испанскаго характера. Подобное сочетаніе не повторилось съ такой силой и выразительностью ни въ какую другую эпоху исторіи искусства. Феодальный строй Испаніи съ его градами и князьями церкви повлиялъ кромѣ того на широкое развитіе портретной живописи. Испанскіе портреты принадлежатъ къ величайшимъ міровымъ представителямъ этого рода живописи: Мурильо, Веласкесъ. Во Фландріи, второй родинѣ іезуитовъ, жилъ гигантъ Рубенсъ. Этотъ фламандецъ, влюбленный въ плоть, бралъ у природы все, что попадало ему на глаза и воссоздавалъ природу въ искусствѣ такъ, какъ будто бы онъ былъ владыкой міра. Въ побѣдоносной протестантской Голландіи нашла себѣ пріютъ свобода. Здѣсь не процвѣтало ни церковное, ни придворное искусство. Голландская живопись была тѣсно связана съ бюргерствомъ и носила ясный отпечатокъ борьбы, среди которой страна и ея населеніе завоевали себѣ свободу. Живопись стала возвышать свободнаго бюргера, побѣдителя въ геройской борьбѣ за свободу. Никогда портретная живопись не принимала столь широкихъ размѣровъ: но на картинахъ появляются вмѣсто аристократовъ и придворныхъ гордые граждане свободной страны, серьезные, строгіе, увѣренные въ себѣ, и наряду съ ними честныя и почтенныя женщины. Этому соответствовали и стили портретовъ—простой и солидный. Когда голландцамъ жизнь стала улыбаться, они начали возвышать то, что имъ казалось особенно цѣннымъ послѣ предшествовавшей борьбы—тихія радости семейнаго очага. Вмѣстѣ съ народной жизнью и природа страны, отвоеванная у врага родная почва, стала казаться достойнымъ предметомъ искусства. Голландцы научились любить родину во время войны за освобожденіе и стали первыми художниками, увидѣвшими поэзію въ ландшафтѣ. Взоры дѣвы Маріи и соимы святыхъ перестали считаться единственными источниками искусства. Оно стало опускаться на холмы, носиться по морскимъ волнамъ, пробираться въ крестьянскую избу, въ лѣсную чашу, бродить по улицамъ и переходамъ, превращать всякій рынокъ въ храмъ. Но и религіоз-

ныя чувства, волновавшія протестантскую Голландію, нуждались въ мощномъ воплощеніи. Жизненное содержаніе библейскихъ сюжетовъ должно было отдѣлиться отъ узко церковной почвы и воплотиться заново со всей глубиной и проникновенностью германскаго духа. Всѣ эти стремленія отразились въ личности Рембрандта. Изъ всѣхъ мастеровъ христіанской живописи онъ величайшій пророкъ великаго Пана. Стихійныя силы свѣта и воздуха для него такой же источникъ божественнаго, какъ прекрасное человѣческое тѣло для Микэль Анджело.

Въ XVIII вѣкѣ появляется, наконецъ, стиль рококо съ его пикантной манерностью и тонкимъ обаяніемъ. Въ жизни знатнаго общества того времени придворное платье замѣнилось шелковымъ пастушескимъ нарядомъ; чопорность и величавость—изяществомъ и граціей, и жизнь превратилась въ веселую игру, въ игривую шутку. Король игралъ короной, священникъ—религіей. Философъ предавался умственной игрѣ, поэтъ игралъ въ поэзію. Они еще не услышали глухого ропота обездоленныхъ. „*Car tel est notre plaisir*“. Все, что въ этомъ времени было прекраснаго и плѣнительнаго, вся грація, легкомысліе и смѣлость, вся беззаботная его веселость, воплотились въ искусствѣ. Легко и граціозно, какъ и вся жизнь этого беззаботнаго веселаго поколѣнія, и живопись развивалась безъ всякаго напряженія, подъ охраной боговъ любви, подъ ласковымъ дуновеніемъ лести. Только теперь, въ наше время, начинаютъ снова понимать обаятельныя художниковъ изящнѣйшей поры искусства.

Живописцы всѣхъ временъ смотрѣли на природу своими собственными глазами, т. е. глазами своего времени, своего народа. Поэтому искусство каждаго періода является „зеркаломъ и сокращенной хроникой“ своего вѣка. Съ непобѣдимой силой оно овладѣваетъ внѣшнимъ міромъ и, чувствуя свою вдохновляющую власть, возвращаетъ внѣшней жизни ея изображеніе, безконечно возвеличенное. Искусство—одухотворенное воплощеніе времени; оно такъ же благочестиво, наивно, или фантастично и неестественно, какъ самое время. Величіе живописцевъ времени рококо заключается именно въ томъ, что неестественность своего времени они отразили въ своихъ картинахъ съ неподражаемой непосредственностью. Эти безконечно различные способы любовнаго преклоненія передъ природой смѣнялись непрерывно въ теченіе вѣковъ, становясь то болѣе сильными, то болѣе нѣжными и терпѣливыми, иногда способными на временную измѣну; въ нихъ именно красота и богатство, тайна и сущность искусства. Въ нихъ источникъ его разнообразія и неисчерпаемой прелести.

XIX вѣкъ обозначаетъ не только новое столѣтіе, но и новую эпоху всемірной исторіи. Государственные и общественные перевороты, которые свершились въ теченіе его, новооткрытыя средства сообщенія, успѣхи промышленности и торговли кореннымъ образомъ измѣнили жизнь, и весьма возможно, что въ будущемъ всѣ прежнія столѣтія вмѣстѣ будутъ считаться „древней исторіей“ по отношенію къ этому одному вѣку. Новые люди нуждаются въ новомъ искусствѣ. Можно было бы предположить поэтому, что именно искусство XIX вѣка вырабатываетъ совершенно своеобразный, ясно выраженный стиль. А между тѣмъ, въ противоположность прежнимъ эпохамъ, проникнутымъ единствомъ, современное искусство представляетъ на первый взглядъ картину вавилонскаго столпотворенія. XIX вѣкъ не имѣетъ своего стиля—это положеніе такъ часто высказывалось, что стало общимъ мѣстомъ. Въ архитектурѣ возродились формы всѣхъ предыдущихъ вѣковъ. Сегодня строятъ въ греческомъ стилѣ, вчера строили въ готическомъ, здѣсь въ японскомъ вкусѣ, тамъ въ стилѣ барокко. Но среди этихъ подражательныхъ зданій, воздвигаются также вокзалы, базары, рынки; изяществомъ и силой своихъ желѣзныхъ сооружений они знаменуютъ новыя, великія побѣды строительнаго искусства. Живопись проникнута такими же

противорѣчіями. Ни одно другое время не создавало столь различныхъ по духу художниковъ, какъ Карстенсъ и Гойя, Корнелиусъ и Коро, Энгръ и Милэ, Вирцъ и Курбэ, Россети и Манэ. Историческіе же труды современныхъ писателей заставляютъ предположить, что XIX вѣкъ—хаосъ, въ которомъ сможетъ разбраться лишь потомство.

Но, быть можетъ, и теперь уже мыслимъ нѣкоторый порядокъ въ изученіи современного искусства. Нужно только рѣшить, что къ новому времени примѣнны принципы, испытанные по отношенію къ исторіи *старого* искусства, и что слѣдуетъ изучать даже современныхъ художниковъ такъ же объективно, какъ давно умершихъ мастеровъ.

Для этого нужно прежде всего разбраться въ подавляющей массѣ матеріала и сдѣлать чрезвычайно осторожный выборъ наиболѣе важнаго. Нѣтъ надобности сочинять нѣчто, похожее на Гомеровскій каталогъ кораблей, и говорить о всемъ множествѣ явленій, возникающихъ гдѣ бы то ни было. Важно лишь показать значеніе художниковъ, создавшихъ нѣчто самобытное въ общемъ движеніи. Перечисленіе всѣхъ тѣхъ, которые въ теченіе XIX вѣка зарабатывали хлѣбъ живописью, не есть еще исторія современной живописи, также какъ обработка литературнаго календаря не есть еще исторія литературы. Нужно имѣть въ виду только вершины, а не толпу, только героевъ. И даже относительно нихъ личность художника имѣетъ значеніе лишь, поскольку она объясняетъ его творчество. Въ наше упорядоченное время живописецъ въ общемъ живетъ жизнью спокойнаго гражданина, занятъ своимъ дѣломъ и не испытываетъ никакихъ особенныхъ приключеній. Поэтому въ большинствѣ случаевъ біографіи могутъ быть представлены специальнымъ справочнымъ словарямъ. Самыя описанія картинъ могутъ быть тоже значительно сокращены. Бертольд Ауэрбахъ рассказываетъ объ одномъ своемъ посѣщеніи Мюнхенской Пинакотекы въ обществѣ знакомаго живописца. Онъ надѣялся, что тотъ будетъ дѣлать глубокомысленныя и остроумныя замѣчанія по поводу разныхъ картинъ. Но художникъ молча перешелъ съ нимъ изъ зала въ залъ. Наконецъ, онъ остановился передъ одной картиной Рембрандта. Глаза его заблестѣли, и онъ сказалъ, указывая на картину: „Смотри, Бертольд, вотъ это такъ картина“. Историкъ искусства, конечно, долженъ больше заботиться о своихъ читателяхъ, но онъ все-таки не долженъ забывать, что картины не книги, и передавать ихъ содержаніе не нужно. Это художественныя произведенія; въ нихъ самое важное—мысли, выраженныя въ формахъ и краскахъ. Только освободившись отъ столь тяжелаго балласта, отбросивъ лишніи біографическія подробности, можно болѣе рѣзкими чертами, чѣмъ это дѣлалось до сихъ поръ, опредѣлить искусство XIX вѣка, съ его духовными и общественными теченіями, сказавшимися въ творествѣ отдѣльныхъ художниковъ и цѣлыхъ группъ.

Вѣрный методъ въ исторіи искусства приводитъ еще къ одному важному правилу. При изученіи старѣйшихъ художественныхъ эпохъ изслѣдователи интересуются обыкновенно, не тѣмъ, что въ нихъ было подражательнаго, а тѣмъ, что онѣ создали новаго. Старые мастера велики не тѣмъ, что подражали одинъ другому. Не потому, что они оглядывались назадъ, создали они исторію искусства, а потому, что шли впередъ. Мы не чувствуемъ благодарности къ голландцамъ середины XVI вѣка, къ Францу Флорису и его товарищамъ, за то, что они отошли отъ голландскаго натурализма и безцѣльно стремились идти по слѣдамъ Микэля Анджели и Рафаэля, мы не видимъ особенной заслуги въ томъ, что болонская школа начала XVII вѣка собирала медь съ цвѣтовъ cinquecento, и въ современникахъ Андриана-ванъ-деръ-Верфа, стремящихся облагородить самобытное и нѣсколько грубое голландское искусство слѣдованіемъ итальянцамъ, мы видимъ только ничтожныхъ подражателей.

Точно также, изучая искусство XIX вѣка, историкъ долженъ обратиться къ выполнѣ самобытнымъ произведеніямъ нашего времени, отличающимся отъ всего прежде созданнаго. Онъ не долженъ выдвигать значенія тѣхъ областей искусства, расцвѣтъ которыхъ относится не къ ближайшей современности. Болѣе естественнымъ является для него вопросъ: что составляетъ самобытность и особенность XIX вѣка въ искусствѣ, какія новыя формы оно создало, какія новыя чувства выразило. А между тѣмъ до сихъ поръ мало задавались этими вопросами. Всѣ, напримѣръ, убѣждены, что никого изъ новѣйшихъ живописцевъ нельзя серьезно сравнить съ великими мастерами прошлаго. А между тѣмъ, Констабль, Коро, Руссо писали картины, очень новыя по духу, и за нихъ не стыдно передъ древними. Описать картину Коро, правда, гораздо труднѣе, чѣмъ говорить о картинахъ Корнелиуса. Но всетаки, ради пользы будущихъ поколѣній, нужно понемногу отодвигать на второй планъ живопись, идущую старыми путями, и отдавать преимущество самобытнымъ художественнымъ произведеніямъ XIX вѣка. Они важнѣе для исторіи искусства. Какъ бы велики ни были художники, которые черпали изъ источника прежнихъ художественныхъ формъ, не они заслуживаютъ нашего поклоненія. Для насъ важны лишь создатели новаго, искатели новыхъ путей. Если даже, наряду со старыми мастерами, они имѣютъ лишь третье-степенное или еще меньшее значеніе, то всетаки имъ нужно отдать преимущество передъ другими, потому что они выступали такими, какими были на самомъ дѣлѣ, а не старались казаться болѣе высокими, взобравшись на плечи мертвецовъ. Многие изъ прославленныхъ художниковъ, которые жили наслѣдіемъ прошлаго и создали значительныя на первый взглядъ вещи, возбуждаютъ мало интереса, если ихъ мѣрять этимъ масштабомъ: ихъ художественный языкъ, обусловленный устарѣвшими формулами, лишень самобытности. Настоящими же носителями современнаго духа являются живописцы иного типа. Они имѣли мужество идти противъ господствующаго теченія и предпочитали быть ограниченными въ своихъ художественныхъ средствахъ, но оставаться самостоятельными, и собственными глазами глядѣть на природу или наввно отдаваться внушеніямъ своего художественнаго воображенія. Изученіе самобытнаго и новаго покажетъ, что искусство XIX вѣка, какъ и искусство прежнихъ временъ имѣетъ свои собственныя одѣянія, хотя въ торжественныхъ случаяхъ оно и любитъ наряжаться въ пышныя одежды прежнихъ вѣковъ, вынимаемая для того изъ сундуковъ. Только потому, что различіе между эклектическимъ и самобытнымъ, между заимствованнымъ и самостоятельнымъ, между старымъ и новымъ не дѣлалось до сихъ поръ съ достаточною строгостью—только потому было такъ трудно опредѣлить стиль новаго искусства и понять логичность и послѣдовательность его развитія.



ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ

ВЪ XIX ВѢКѢ



Гисборо: Мальчик в гудубома.

I.

Начало новаго искусства въ Англіи.

УЖЕ съ начала cinquecento въ европейскомъ искусствѣ обнаружилось два различныхъ параллельныхъ теченія, между тѣмъ, какъ еще въ XV вѣкѣ искусство всѣхъ странъ проникнуто было однимъ общимъ духомъ: послѣ того, какъ церковный гнетъ среднихъ вѣковъ утратилъ свою силу, началось стремленіе искусства овладѣть земной жизнью. Живопись сохраняла связь со средними вѣками, она почти исключительно сосредоточивалась на религіозныхъ сюжетахъ, но они стали предлогомъ для изображенія современнаго общества.

Портретная живопись болѣе всего содѣйствовала развитію реализма въ искусствѣ. Изображеніе внѣшней пышности костюмовъ, утонченной свѣтской жизни, праздничныхъ зрѣлищъ и церемоній внесло въ живопись множество жанровыхъ мотивовъ. вмѣстѣ съ тѣмъ развитіе ландшафтной живописи содѣйствовало обогащенію мѣстнаго колорита въ художественныхъ произведеніяхъ. Живопись находила богатый матеріалъ въ окружающей жизни и черпала въ ней свѣжесть впечатлѣній и остроту наблюденія. Этимъ объясняется расцвѣтъ искусства въ quattrocento—на всемъ протяженіи Европы отъ крайняго сѣвера до юга.

Въ XVI вѣкѣ въ Италіи совершается поворотъ: изученіе древности становится главнымъ источникомъ вдохновенія художниковъ. Античное же искусство по существу вполнѣ противоположно христіанскому. Основую его служить пластическая, физическая, чувственная красота. Вслѣдствіе этого въ итальянскомъ искусствѣ выступаетъ, вмѣсто молодого и сильнаго, нетерпѣливаго въ своемъ творческомъ воодушевленіи реализма quattrocent'истовъ, поклоненіе внѣшнему благородству формы; исканіе характерныхъ особенностей замѣняется чистой рисункомъ, а скромное слѣдованіе природѣ — исканіемъ благородства въ замыслѣ. Живопись, несомнѣнно, выиграла при этомъ очень много: величавость стили, ясность и твердость композиціи, а также пластичность группъ, умѣние величественно драпировать фигуры и выбирать благородный архитектурный фонъ для своихъ монументальныхъ твореній. Но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не отмѣтить дурныхъ сторонъ столь подавляющаго вліянія античнаго духа на

стиль и содержание искусства. Въ жизни трудно найти красоту формъ, чарующую въ греческихъ статуяхъ; искусство поэтому постепенно отдалялось отъ окружающей действительности, становясь все болѣе отвлеченнымъ, и сосредоточивалось все болѣе на изображеніи схематическихъ, заимствованныхъ изъ античнаго искусства атрибутовъ и аллегорическихъ понятій. Стѣнная живопись и религиозныя картины художниковъ quattrocento полны были живыхъ образовъ, взятыхъ изъ непосредственно окружающей художника действительности. Теперь же изображеніе жизни уступаетъ мѣсто—условнымъ типамъ такъ называемаго величественнаго историческаго стиля. Лишь очень немногія картины флорентинской и венеціанской школы составляютъ исключеніе въ этомъ отношеніи;—жизненные подробности все болѣе подавляются строгостью стиля, и одни только жизнерадостные венеціанскіе художники не могутъ отказаться отъ того, чтобы изображать своихъ святыхъ въ пышныхъ праздничныхъ одеждахъ своего времени, и придавать евангелическимъ сценамъ совершенно жанровый характеръ. У всѣхъ другихъ исчезло наивное стремленіе изображать действительность; когда же въ срединѣ XVI вѣка возникло желаніе вернуться къ прежнему, то у художниковъ не оказалось достаточнаго запаса реализма, чтобы оживить искусство—они были задавлены аллегоріей.

Внѣшній блескъ итальянскаго cinquecento заразилъ собою и другіе народы, но всетаки языческо-христіанская живопись не достигла высокаго расцвѣта. Только проникнутому античнымъ духомъ cinquecento удалось на нѣскольکو лѣтъ сочетать греческій Олимпъ съ христіанскимъ небомъ. Какъ только боги Греціи отвернулись отъ міра, снова живопись, „служившая чистой красотѣ“, несмотря на свою безконечную производительность, обречена была на бесплодное ремесленное изготовленіе условно идеальныхъ фигуръ — мертвыя идеи не могутъ создать живыхъ произведеній.

Будущность принадлежала живому реалистическому искусству. Минувшая итальянское cinquecento, оно стало продолжать развитие съ того пункта, на которомъ оборвалось искусство quattrocento. Все, что раннее Возрожденіе оставило въ закромахъ, и что не получило развитія въ эпоху поздняго Возрожденія, составило основу искусства XVII вѣка. Въ развитіи его одинаково принимали участіе великіе мастера Італіи и Фландріи, Испаніи и Голландіи. У quattrocent'истовъ святыя изображались въ видѣ настоящихъ людей, и золотой фонъ средневѣковыхъ алтарныхъ картинъ превращался въ ландшафтъ. И въ XVII вѣкѣ точно также изображеніе человѣческой жизни и сочной красоты природы сдѣлалось основой искусства. Согласно общему теченію современной культуры, искусство все болѣе отдалялось отъ неба, возвращаясь къ землѣ, и XVIII вѣкъ сдѣлалъ на этомъ пути новый рѣшительный шагъ.

XVIII вѣкъ, исполненный творческихъ силъ и любви къ творчеству, прежде едва принимался во вниманіе въ исторіи искусства. Но теперь мы знаемъ, что въ немъ заключается не только конецъ, но и начало, что это было не только время перезрѣваго, увядающаго искусства, но и время новой зарождающейся жизни. Искусство XVIII вѣка двуликое—оно глядитъ одновременно впередъ и назадъ, обнаруживаетъ утомленность и жизненную свѣжесть. Если прежде говорили о паденіи искусства въ XVIII вѣкѣ, то это относилось къ живописи латинскихъ странъ, искавшихъ образцы въ древнемъ Римѣ и въ искусствѣ cinquecento. Хороня эти переживанія поздняго Возрожденія, XVIII вѣкъ воздвигалъ вмѣстѣ съ тѣмъ первые камни для новаго храма, и созиданіемъ его мы заняты до сихъ поръ. Вожакомъ на этомъ пути призвана была стать Англія, которая всей своей культурой опередила другія страны. Уже въ то время, когда въ остальной Европѣ къ восторженной радостной вѣрѣ въ буду-

шее примѣшивалась громкая насмѣшка надъ старымъ и отжившимъ, великая и богатая Англія всецѣло принадлежала новому времени. Вольтеру было тридцать два года, когда онъ въ первый разъ отправился въ изгнаніе въ Лондонъ; тамъ онъ впервые увидѣлъ свободную общественную жизнь великаго народа, увидѣлъ страну, гдѣ „есть, конечно, различіе классовъ, но только тѣхъ, которые создаются заслугами, гдѣ можно думать свободно, безъ рабскаго трепета“. Въ Англіи идея современнаго свободнаго государства осуществилась уже въ то время, когда на материкѣ едва только чувствовалось душное затишье передъ надвигающейся грозой. Въ Англіи раньше чѣмъ гдѣ бы то ни было развилось стремленіе къ твердой и спокойной семейной жизни, основанной на общемъ уваженіи къ законамъ и на твердости общаго государственнаго строя. Тамъ поэтому раньше всего развиты были въ области литературы и искусства оковы, стѣснявшія и духъ Возрожденія, въ періодъ его пышнаго расцвѣта. Англія первая вступила на путь, по которому пошелъ XIX вѣкъ.

Съ развитіемъ тихой семейной жизни почувствовалась потребность въ книгахъ для домашняго полезнаго чтенія въ тѣсномъ семейномъ кругу, у камина, въ деревенской тиши. Чопорныя ученія поэмы или придворная поэзія, которая исходя изъ Франціи наводнила міръ своими произведеніями, менѣе всего годились для этой цѣли. Послѣ холоднаго классицизма въ духъ Попа, въ англійской литературѣ ранѣе, чѣмъ въ другихъ, началось непосредственное изображеніе, еще въ то время, когда дѣвица Скюдери, изображая дворъ великаго короля и общество Людовика XIV, считала необходимымъ переносить дѣйствіе въ древній міръ и описывать Кира—англійскій романъ сталъ изображать дѣйствительную жизнь. Робинзонъ, романъ де Фозъ, былъ первой книгой, гдѣ жизнь и люди изображались внѣ рамокъ античнаго міра и безъ всякой фантастической окраски. Въ Робинзонѣ также впервые изображались подробности дѣйствительной жизни, и давалось очень точное описаніе предметовъ и явленій, на которые прежде никто не обращалъ вниманія. Въ другихъ странахъ искусство еще жило традиціями древности, англійскіе же писатели отдавали уже свое вниманіе тѣсному кругу семейной жизни. За Ричардсономъ, который обстоятельно, но вмѣстѣ съ тѣмъ очень живо описывалъ будничную жизнь, послѣдовалъ наблюдательный, добродушно веселый Фильдингъ, потомъ Гольдсмитъ со своимъ свѣтлымъ міросозерцаніемъ, радушіемъ и неподражаемымъ мастерствомъ въ изображеніи мелочей, затѣмъ рѣзкій сатирикъ Смоллетъ и дерзкій остроумный Лоренсъ Стернъ; Ницше назвалъ его самымъ свободнымъ изъ писателей. Въ то же время трагедія перешла отъ изображенія придворныхъ и аристократическихъ круговъ общества къ жизни среднихъ классовъ, доказывая, что и тамъ происходитъ борьба, волнующая еще болѣе своею общечеловѣчностью, чѣмъ судьбы героевъ и королей.

Живопись вступала на тотъ же путь. Во всѣхъ европейскихъ странахъ въ началѣ вѣка медленно отживало аристократическое искусство, питавшееся Возрожденіемъ. Новое же, глубоко человѣчное искусство, которому суждено было развиться въ XIX вѣкѣ, пустило корни въ плебейской живописи Гогарта (Hogarth). Въ современномъ искусствѣ англичане были новаторами, а нѣмцы и французы консерваторами. Послѣдніе старались еще сохранить на нѣсколько времени умирающее искусство Возрожденія, въ то время какъ англичане продолжали новыи путь, начатый въ XVII вѣкѣ голландцами. Англійское искусство имѣло то преимущество, что ничто не мѣшало ему стать самобытнымъ. Англія не имѣла великаго національнаго прошлаго въ искусствѣ: въ XVI и XVII вѣкѣ въ Англіи довольствовались тѣмъ, что приглашали Гольбейна и ванъ Дейка въ гости и собирали въ картинныхъ галлереяхъ великія произведенія

иностранных мастеровъ. Англійское искусство внезапно и непредвидѣнно возникло въ началѣ XVIII вѣка и развилось уже на исключительно національной почвѣ. Англичане не слѣдовали ни стариннымъ, ни чужимъ образцамъ, не были связаны никакимъ уже выработаннымъ цикломъ сюжетовъ; съ самаго начала они вступили естественнымъ образомъ на путь, по которому другіе народы, связанные традиціей, пошли лишь гораздо позже. Англичане стали непосредственными продолжателями голландцевъ, представителей новѣйшихъ теченій въ искусствѣ XVII в. Передовыя идеи Голландіи перешли послѣ революціи, съ Вильгельмомъ Оранскимъ и королевой Анной, въ Англію. Въ самой же Голландіи въ это время наступила реакція въ классическомъ духѣ, благодаря французскому вторженію 1672 г. Англичане очень твердо и сознательно устояли противъ этого реакціоннаго теченія. Борьба противъ романскаго классицизма ясно выражена даже въ сочиненіяхъ англійскихъ эстетиковъ какъ напримѣръ въ замѣчательной книгѣ Давида Юнга (Young), «Мысли объ оригинальныхъ произведеніяхъ». Оригинальными произведеніями Юнгъ признаетъ лишь тѣ, которыя подражаютъ природѣ, а не произведеніямъ другихъ художниковъ. Вопросъ о томъ, могутъ ли современные художники сравниться съ древними, Юнгъ рѣшаетъ отрицательно, ввиду того, что таланты новыхъ художниковъ самъ ставитъ себѣ границы, взятыя изъ произведеній древнихъ. Еслибъ они въ самомъ дѣлѣ хотѣли сравняться съ древними, то они, подобно тѣмъ, обращались бы только къ природѣ и тѣмъ самымъ приобрѣтали самобытность. «Нужно не подражать древнимъ, а уподобляться имъ. Чѣмъ менѣе мы будемъ подражать древнимъ, тѣмъ болѣе мы будемъ имъ уподобляться. Нужно творить не *по* Гомеру, а *подобно* Гомеру».

Самымъ выдающимся представителемъ такого взгляда на искусство былъ Шафтсбюри (Shaftesbury). «Искусство», говорилъ онъ, «отъ покровительства во Франціи королей пострадало. Мы, англичане, живемъ въ эпоху возрожденной свободы и не нуждаемся для созиданія искусства въ честолюбивомъ королѣ, который создаетъ себѣ лстивыхъ придворныхъ живописцевъ щедрыми наградами. Наша гражданская свобода составляетъ достаточно прочный фундаментъ и свобода ведетъ насъ также къ *правдивости* въ искусствѣ».

Такова сущность эстетическаго ученія Шафтсбюри: онъ всегда съ особенною настойчивостью повторяетъ, что «всякая красота есть правда» (all beauty is truth). «Ищите правды и естественности» (Search of truth and nature); «Правда—самая великая сила въ мірѣ, потому что она владычествуе даже надъ міромъ воображенія. Но чѣмъ достигается правдивость въ искусствѣ? — Точнѣйшимъ воспроизведеніемъ природы (Strictest imitation of nature)». Подъ словомъ «природа» Шафтсбюри разумѣетъ однако не то, что мы, не преимущественно внѣшнюю природу, явленія внѣшняго міра, а главнымъ образомъ правду человеческой души. Художникъ долженъ изображать, по его мнѣнію то, что составляетъ *внутренній* міръ человѣка. Шафтсбюри вполне одобряетъ изображеніе въ живописи неодоушевленныхъ предметовъ, пейзажей, но гораздо болѣе высокую жизнь, чѣмъ въ лѣсахъ и животныхъ, онъ предполагаетъ въ человѣкѣ, и отраженіе ея онъ считаетъ истиннымъ назначеніемъ искусства. Художникъ никогда не долженъ избирать внѣшность исходнымъ пунктомъ произведенія—это неминуемо приводитъ къ модничанію и театральности,—въ лучшемъ случаѣ къ внѣшней декоративной красотѣ. Она же совершенно исчезаетъ передъ вѣрнымъ изображеніемъ человеческого характера. Все внѣшнее ничтожно въ сравненіи съ каждой отдѣльной чертой внутренняго міра.

Это опредѣляетъ вторую черту англійской живописи. Она исходитъ не изъ культа формы cinquecent'истовъ и не изъ стремленія къ живописности,

какъ у голландцевъ. Подобно английскому роману, она болѣе всего выдѣляетъ духовную сторону жизни, стремится не къ внѣшней красотѣ и привлекательности, а главнымъ образомъ къ отраженію духовной жизни.

Изъ этого слѣдуетъ еще третій выводъ. Когда искусство избираетъ своимъ предметомъ внутренній міръ человека, то художникъ не можетъ ограничиваться равнодушнымъ списываніемъ съ природы. Онъ непременно будетъ дѣлать выборъ, отмѣчать въ своемъ изображеніи то, что въ каждомъ характерѣ достойно подражанія, или, напротивъ того, заслуживаетъ порицанія — онъ будетъ моралистомъ. Только этимъ онъ удовлетворитъ послѣднему и главному требованію, которое Шафтсбюри ставитъ художнику.



Гогартъ: Собственный портретъ.

Свобода, завоеванная англичанами революціоннымъ путемъ, перешла отъ части во времена Шафтсбюри въ грубость и разнузданность нравовъ. Послѣ аскетизма пуританъ наступилъ рѣзкій поворотъ къ чувственности и къ бѣшеной разнузданности страстей. Лондонъ былъ притономъ преступниковъ, пьянство стало эпидемическимъ. Тогда въ интеллигентномъ обществѣ проснулось сознаніе нравственнаго долга. Стали придумывать мѣры для борьбы противъ общей испорченности. Вслѣдствіе этого въ эстетическій идеалъ Шафтсбюри вкрался третій, очень опасный элементъ. Ему казалось, что культурная задача освобожденной Англіи должна распространиться и на искусство, и что художники вмѣстѣ съ поэтами должны стать учителями нравственности.

Если представить себѣ живописца, вполне отвѣчающаго этимъ требованіямъ, то таковымъ является *Гогартъ (Hogarth)* въ хорошемъ и дурномъ смыслѣ этого слова.

Величіе Гогарта заключается главнымъ образомъ въ его независимости отъ всякаго вліянія другихъ временъ и другихъ народовъ. Въ искусствѣ XVIII вѣка господствовалъ академическій духъ. Отвернувшись отъ жизни, оно предалось аллегоріи и повторенію типичныхъ, заимствованныхъ у мастеровъ Ренессанса и застывшихъ въ гипсовыхъ слѣпкахъ формъ. Боги, въ которыхъ уже никто не вѣрилъ, носились, по крайней мѣрѣ, на картинахъ надъ человѣчествомъ, утратившимъ способность восторгаться. Тогда явился Гогартъ, и его пронизательный взоръ увидѣлъ новый путь. Онъ сталъ вглядываться въ жизнь, которая окружала его своими безконечно разнообразными и оригинальными картинами, и съ гордостью почувствовалъ себя сыномъ новаго времени. Сквозь застывшія формы прошлаго онъ прозрѣлъ новое пониманіе свободы, народныхъ правъ, простыхъ естественныхъ нравовъ и обычаевъ. Этотъ міръ, открыв-



Гогартъ: Пьеса „Жизни старой женщины“.

шійся его взору, онъ сталъ рисовать со всѣмъ его уродствомъ и со всей красотой. Такимъ образомъ съ Гогарта начинается современное искусство. Его картины и гравюры положили конецъ вывѣтрившемуся идеализму. Онъ твердо и увѣренно ввелъ въ искусство самостоятельное наблюдѣніе жизни. Онъ шелъ своимъ путемъ, свободный отъ всякихъ вліяній извнѣ, и его трезвое искусство, чуждое блѣднаго болѣзненнаго заимствованнаго идеала красоты, опиралось исключительно на изображеніе окружающей дѣйствительности. „Мнѣ казалось невѣроятнымъ“, писалъ онъ, „что копированіемъ старыхъ рисунковъ я могъ бы пріобрѣсти способность къ изображенію новаго — а къ этому стремились мои первыя честолюбивыя мечты“. Произведенія старыхъ итальянскихъ мастеровъ, эстетическія воззрѣнія временъ Рафаэля и Карааччи, казались ему ненужными и смѣшными. Егонѣсколько, грубая здоровая, искренняя и правдивая живопись — живой протестъ противъ идеализма, унаслѣдованнаго отъ Ренессанса и ставшаго пустымъ и ходульнымъ въ творчествѣ эпигоновъ. Природа, писалъ онъ, проста, смиренна и правдива во всемъ, что она творитъ. Такимъ пониманіемъ природы и искусства онъ создалъ англійскую школу живописи на твердой основѣ правдивости.

Гогартъ былъ англичаниномъ по рожденію, характеру и темпераменту. Онъ рисовалъ своихъ соотечественниковъ во всякихъ видахъ, дѣлая этюды иногда среди уличной суеты. Его міръ—Лондонъ, столица міра, old merry England, которая тогда, въ противоположность современной благочестивости, переживала золотой вѣкъ разгула. Такіе нравы, еще не исчезнувшіе теперь, но



Гогартъ: „Изъ жизни кутилы“.

скрытые подъ маской лицемѣрія, изображаетъ Гогартъ, вводя зрителя въ игорные притоны, въ залу пирушки, въ каморку поэта, въ погребъ, гдѣ скрываются уличные разбойники, въ комнату, гдѣ умираетъ падшая женщина. „Жизнь падшей женщины“, изданная въ видѣ серіи отдѣльных картинъ, создала его первый успѣхъ. Послѣ того онъ издалъ еще нѣсколько серій картинъ, обнимающихъ жизнь загубленныхъ людей: „Жизнь кутилы“, „Модный бракъ“. Онъ изображалъ лондонскую чернь въ общественномъ и нравственномъ смыслѣ; ту, которая ходитъ въ лохмотьяхъ и въ ситцѣ, и ту, которая одѣта въ шелкъ и бархатъ. Въ своихъ теоретическихъ разсужденіяхъ онъ упрекалъ прежнихъ живописцевъ за ихъ историческій стиль и равнодушіе къ жизни среднего класса. Самъ онъ съ большимъ мастерствомъ справляется съ новымъ матеріаломъ. Въ лондонской національной галлерей хранятся оригиналы его гравюръ „Mariage à la mode“, и по нимъ можно судить о техническомъ совершенствѣ Гогарта. Гравюры, сдѣланныя по этимъ картинамъ, заставляютъ предположить, что рисунокъ оригиналовъ плохъ и невѣренъ, а между тѣмъ картины доказываютъ, что Гогартъ былъ живописцемъ въ истинномъ смыслѣ этого слова. Каррикатурности, которая безобразитъ гравюры, нѣтъ въ оригиналахъ. Творчество Гогарта — строгое безопаздное изображеніе дѣйствительности. Связь его съ современностью самая тѣсная. Среди манерности своего времени Гогартъ самостоятельная, здоровая англо-саксонская натура, полная упорнаго самосознанія и неподкупной честности. Онъ поражаетъ своею проникающею, своимъ умѣніемъ проникнуть въ самую глубь характера и схватить самыя мимолетныя подробности движенія и мимики, какъ это до него едва ли кто либо умѣлъ дѣлать.



Гогартъ: Изъ „Жизни кутимъ“.

Со всѣми этими качествами связано, однако, столько же недостатковъ, понижающихъ художественность его произведенія. Слѣдую эстетическимъ теоріямъ своего времени, Гогартъ считалъ искусство только средствомъ исполнять чуждую ему цѣль. Живопись для него была орудіемъ для передачи всѣхъ измышлений его поэтическо-сатирическаго юмора. Живопись его языкъ. Гогарта поэтому справедливо называли „авторомъ комедій съ кистью въ рукахъ“, „Мольеромъ живописи“. Другія картины смотрятся, его же—читаются. Текстъ къ его картинамъ является нѣкоторымъ образомъ перенесеніемъ ихъ въ собственную имъ атмосферу. Лессингъ называлъ театръ своей проповѣднической кафедрой; для Гогарта такой кафедрой была живопись, Онъ хотѣлъ, какъ Гамлетъ „отразить природу въ зеркалъ, показать добродѣтели ея собственныя черты, позору его собственный образъ, вѣку его собственное отраженіе“. Картины превращались у него въ проповѣди.

Шестъ картинъ „Изъ жизни падшей женщины“, съ которыми онъ выступилъ въ 1733 году, существуютъ только въ гравюрахъ — оригиналы ихъ исчезли. Въ нихъ сказались всѣ особенности и недостатки Гогарта. Марія Гекэбаутъ (Nascabaut) пріѣзжаетъ невинной дѣвушкой изъ деревни, на деревенской телегѣ, искать мѣста служанки. Очень скоро ее совращаютъ, она становится любовницей еврейскаго банкира, но скоро покинута имъ по ея же винѣ. Она дѣлается воровкой и попадаетъ въ рабочій домъ. Выпущенная оттуда, она становится подругой уличнаго грабителя и, наконецъ, кончаетъ свою печальную жизнь въ вертепѣ, оставляя послѣ себя жалкаго калѣку мальчика, который на похоронахъ матери забавляется новымъ волчкомъ. На картинѣ, завершающей циклъ,



Гогартъ: Изъ „Моднаго брака“.

подруги Маріи прощаются съ ея трупомъ и пьютъ для бодрости водку изъ бутылки, поставленной на крышкѣ гроба. Священникъ, пришедшій отпѣвать тѣло, назначаетъ имъ свиданіе на вечеръ. Второй циклъ, находящійся теперь въ музеѣ Джона Соона (John Soane Museum), рисуетъ въ восьми картинахъ подобную же жизнь молодого человѣка — „кутилы“. Будучи студентомъ, онъ общалъ красивой бѣдной дѣвушкѣ жениться на ней, но у него внезапно умираетъ богатый дядя, и онъ начинаетъ вести разгульную жизнь. Отъ своей возлюбленной онъ хочетъ откупиться деньгами, но она съ презрѣніемъ отказывается и зарабатываетъ честнымъ трудомъ пропитаніе себѣ и ребенку. Обольститель ея быстро свершаетъ путь къ гибели,* увлекаясь женщинами и картами, но еще разъ поправляетъ свои обстоятельства женитьбой на богатой, старой, одноглазой женщинѣ. Вставши снова на ноги, онъ начинаетъ играть въ карты, попадаетъ въ долговую тюрьму, куда за нимъ слѣдуетъ и жена. Когда рушится послѣдняя надежда — драма, которую онъ предложилъ одному директору театра, отвергнута, и ему не на что даже купить себѣ бутылку эля,—онъ сходитъ съ ума.

На послѣдней картинѣ мы видимъ его безумцемъ, закованнымъ въ цѣпи. Только его первая возлюбленная, Сара Юнгъ изъ Оксфорда, которую онъ такъ постыдно бросилъ, не можетъ его забыть и посѣщаетъ его еще разъ въ сумасшедшемъ домѣ. Третья и самая знаменитая серія картинъ закончена была только нѣсколько лѣтъ спустя, послѣ „Жизни кутилы“—въ 1745 году. Гогартъ, очевидно, отнесся съ особою тщательностью къ шести картинамъ „Mariage à la mode“, оригиналы которыхъ находятся въ Национальной Галлерей. Этотъ романъ въ картинахъ по красотѣ исполненія лучшая вещь Гогарта. Самая манера художника спокойнѣе, меньше вставныхъ эпизодовъ. Задолжавшійся лордъ женить



Гогартъ: Навъ „Монаха брака“.

своего сына, истощеннаго разгульной жизнью, на сильной и здоровой дочери альдермэна изъ Сити; рождается дочь, затѣмъ супруги начинаютъ жить каждый по своему. Мужъ застаётъ жену съ любовникомъ, который его закалываетъ. Невѣрная жена въ ужасѣ молить умирающаго мужа о прощеніи. Она возвращается въ скучную мѣщанскую обстановку родительскаго дома молодою вдовой, утратившею доброе имя. Тамъ она узнаётъ о казни своего возлюбленнаго и принимаетъ ядъ. Отецъ ея предусмотрительно снимаетъ у нея съ пальца вѣнчальное кольцо прежде, чѣмъ трупъ остыль — для того, чтобы кольцо не было украдено чужими. Въ слѣдующей серіи Гогартъ становится проповѣдникомъ нравственности и переходитъ къ изображенію уголовныхъ пресессовъ. Цикль „Трудолюбіе и лѣнь“ 1747 года обнимаетъ 12 картинъ; онъ издалъ, ихъ только въ дешевыхъ гравюрахъ, желая исключительно дѣйствовать на народную массу. Содержаніе цикла слѣдующее: два молодыхъ ученика поступаютъ на мѣсто къ продавцу суконъ. Одному изъ нихъ трудолюбіе помогаетъ стать участникомъ торговой фирмы, мужемъ красивой дочери хозяина, почтеннымъ альдермэномъ и, наконецъ, лондонскимъ лордъ-мэромъ; лѣнивый же ученикъ идетъ внизъ по наклонной плоскости и становится сначала игрокомъ, потомъ бродягой. Его ссылаютъ, потомъ онъ возвращается и кончаетъ жизнь на эшафотѣ. Въ послѣдній разъ оба товарища встрѣчаются, когда добродѣтельный возвѣщаетъ порочному смертный приговоръ.

Гаррикъ, написавшій эпитафію на могилѣ Гогарта, довольно вѣрно опредѣлилъ его искусство въ слѣдующихъ словахъ:

Покажися здѣсь тотъ, кто зналъ людей,
Кто исполнялъ святой завѣтъ искусства.
Служить добру училъ онъ безъ рѣчей
И, взоръ плѣняя, мягкія будилъ онъ чувства.

Гогартъ изображалъ на своихъ картинахъ комедіи и драмы поучительнаго характера, чтобы посредствомъ ихъ забавлять, потрясать, исправлять людей. Его пятиактные трагедіи кончаются всегда торжествомъ добродѣтели и посрамленіемъ порока. Онъ обладалъ искусствомъ, какъ говорить про него одинъ современникъ, „вѣшать людей при помощи красокъ“.

Двѣнадцать картинъ изъ жизни прилежнаго и лѣниваго ученика, раздавались рабочимъ, по его желанію, даромъ, какъ воскресная проповѣдь въ картинахъ. Онъ имѣлъ удовлетвореніе видѣть, что гравюры его иногда вызывали общественныя мѣропріятія, и привели, напримеръ, къ уменьшенію числа кабаковъ.

Но Гаррикъ ошибается, считая служеніе общественной нравственности высшей цѣлью искусства. Существовалъ-ли когда либо живописецъ, похожій на Гогарта? И развѣ Гогартъ живописецъ? Проповѣдническая жилка Гогарта дѣлаетъ его полной противоположностью его предшественниковъ, голландцевъ. Тѣ были живописцами, только живописцами. Они имѣли въ виду лишь взоръ цѣнителя, который пойметъ тонкости ихъ искусства. Человѣкъ былъ для нихъ красочнымъ пятномъ; наибольшую отраду доставлялъ имъ смягченный тѣнями свѣтъ на смятыхъ одеждахъ и тяжелыхъ тѣлахъ. У Гогарта сочетаніе красокъ уступаетъ мѣсто анекдоту. Онъ смотрѣлъ на міръ не глазами живописца, а взоромъ врача, криминалиста, духовника. Тишина, спокойное, простое наблюденіе будничной жизни, домовитость голландскаго искусства совершенно исчезли въ его творчествѣ. Онъ писалъ картины не подъ вліяніемъ чего-либо, привлекавшаго его, какъ живописца; онъ видѣлъ въ людяхъ только актеровъ, исполняющихъ роли, которыя онъ для нихъ придумывалъ. Отчасти это уклоненіе отъ чисто художественныхъ цѣлей объясняется тогдашнимъ господствомъ литературы въ Англіи. Въ странѣ, гдѣ драматическое творчество стало искать сюжетовъ въ обыденной жизни и романъ изображалъ нравы средняго общества, молодая живопись должна была тоже обратиться въ эту сторону. Гогартъ хотѣлъ создать новый родъ живописи,—эпическо-драматическій,—нѣчто параллельное романамъ Смоллета и Ричардсона. Господство разума побуждало художника уступить мѣсто писателю. Онъ самъ говоритъ объ этомъ: „Я старался трактовать свои сюжеты, какъ драматическій писатель. Картина является для меня сценой. Мужчины и женщины мои актеры. Ихъ движенія и дѣйствія своего рода нѣмая драма“.

Съ другой стороны, развитіе полу-литературнаго рода живописи объясняется также измѣненнымъ положеніемъ живописи въ демократической Англіи. Искусство прежде освѣщало лучами красоты лишь жизнь небольшого количества



Гогартъ: Дѣвушка съ перомъ.



Рейнольдс: Собственный портрет.

избраниковъ. Теперь, въ свободной Англіи, оно вступило на широкій путь общей народной жизни и сдѣлалось достояніемъ обширной массы, лишенной развитаго эстетическаго вкуса. Такая широкая распространенность среди народной массы, въ свершеіи новыхъ условіяхъ должна была несомнѣнно отразиться на самомъ искусствѣ. Мѣсто прежняго высоко культурнаго любителя занялъ народъ, но какъ и въ средніе вѣка, художественныя произведенія были для народа чѣмъ то вродѣ поученія въ картинахъ—*Picturis eruditur populus*,—сказалъ Григорій Великій. Для новыхъ потребителей искусства нужны были поэтому прежде всего картины, съ *разказами* въ краскахъ. Разказъ могли понять и лишенные художественнаго чутія. Вотъ почему почти всѣ жанровые живописцы

въ теченіи почти цѣлаго вѣка шли съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ по пути Гогарта. Нельзя однако считать Гогарта образцомъ безвкусія за то, что онъ популяризовалъ искусство и превратилъ картины въ раскрашенные проповѣди. Такіе выводы очень опасно дѣлать, и нелогично бранить Гогарта и хвалить Кнауца. Тѣмъ менѣе это умѣстиво, что картины Гогарта сравнительно хорошо написаны, между тѣмъ какъ многіе изъ его послѣдователей только и сохраняютъ привлекательность фабулой своихъ картинъ.

Чѣмъ Гогартъ могъ быть, отказавшись отъ своей учительской роли, видно по его портретамъ. Въ нихъ онъ истинно великій художникъ. Его портреты чужды ванъ-Дейковскаго изящества, бывшаго въ модѣ въ Англіи. Они написаны неуклюжей, угловатой англо-саксонской манерой, очень мощной и широкой, и вмѣстѣ съ тѣмъ эскизные въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Его „Дѣвушка съ крѣветками“ въ лондонской Национальной галлерей одна изъ самыхъ совершенныхъ картинъ XIX вѣка.

Въ исторіи живописи вторая половина XVIII вѣка считается преимущественно временемъ портретной живописи, и въ ней англичане занимаютъ первое мѣсто. Ни Гогартъ, ни Рейнольдсъ, ни Гэнсборо не были гѣніями, подобными Тициану, Веласкесу или даже Францу Гальсу. Ихъ искусство не равняется искусству величайшихъ портретистовъ, но они выше всѣхъ живописцевъ XVIII вѣка. Они не только лучшіе англійскіе живописцы со временъ ванъ-Дейка, но и вообще первые европейскіе портретисты того времени.

Рейнольдсъ и Гэнсборо жили почти въ одни и тѣ же года. Первый изъ нихъ родился въ 1723 г. и умеръ въ 1792, второй—родился въ 1727 г. и умеръ въ 1788 г. Оба они изображали мужчинъ и женщинъ того же круга общества; они шли по одному и тому же пути рука объ руку. Многія знаменитости перехо-

дили изъ мастерской одного изъ нихъ въ мастерскую другого и изображены на портретахъ и Рейнольдса, и Гэнсборо. Но по такимъ портретамъ ясно видно до чего различны эти два художника, хотя ихъ обыкновенно ставятъ рядомъ и они созданы совершенно одинаковыми условиями. Уже внешность ихъ указываетъ на внутреннее различіе.

Рейнольдсъ изображенъ на портретѣ, написанномъ имъ самимъ для флорентійскихъ Уффиций, въ красной мантии президента академіи, съ беретомъ на головѣ; одна рука его опирается на столъ, гдѣ лежитъ экземпляръ его „Рѣчей“ рядомъ съ бюстомъ Микель Анджело. По цвѣту лица виденъ человекъ сидячаго образа жизни. Очки съ круглыми большими стеклами указываютъ на то, что онъ рано испортилъ себѣ глаза чтеніемъ книгъ.

Гэнсборо съ его тонкимъ римскимъ носомъ, гордо очерченными полными губами и выраженіемъ простоты и утонченности въ лицѣ производитъ, въ противоположность Рейнольдсу, впечатлѣніе джентельмена и безхитростнаго сына природы. У него свѣжія, нѣжно розовыя щеки, и глубокая душевная жизнь свѣтится въ большихъ голубыхъ, нѣсколько грустныхъ, но свободно глядящихъ на жизнь глазахъ.

Отецъ *Иошуа Рейнольдса* (Joshua Reynolds) былъ священникъ, очень образованный человекъ, директоръ гимназіи. Снѣ окрестилъ сына необычайнымъ именемъ съ тѣмъ, чтобы обратить на него вниманіе одного высокопоставленнаго лица, носящаго то же имя. Сынъ предназначался для медицинской дѣятельности, но на мальчика оказали рѣшающее вліяніе нѣкоторыя книги, прочитанныя имъ въ школѣ. Свое призваніе онъ понялъ изъ книги Ричардсона о живописи. Книга эта возбудила въ немъ вкусъ къ искусству. Онъ сталъ изучать сочиненія о перспективѣ отца Поццо, читалъ все, что только могъ найти объ искусствѣ, и копировалъ всѣ гравюры, какія только могъ достать. Одинъ изъ самыхъ раннихъ рисунковъ, сохранившихся со времени его дѣтства, изображаетъ внутренность библіотеки. Девятнадцати лѣтъ онъ попалъ въ Лондонъ къ знаменитому тогда живописцу Гудсону, любимцу тогдашняго знатнаго общества. Тотъ потребовалъ плату въ 120 фунтовъ стерлинговъ (около 1200 рублей). Рейнольдсъ былъ убѣжденъ съ самаго начала, что только въ Лондонѣ онъ можетъ достигнуть настоящаго величія. Въ 1744 году онъ нанялъ себѣ прекрасную квартиру и сталъ широко жить, чтобы обратить на себя вниманіе. Вскорѣ онъ получилъ возможность докончить свое художественное образованіе пребываніемъ въ Италіи. Въ 1746 году онъ написалъ портретъ нѣкоего капитана Келпеля. Тотъ скорѣ назначенъ былъ командиромъ эскадры Средиземнаго моря и предложилъ молодому художнику спутствовать ему въ плаваніи. Въ 1749 году они отправились, и Рейнольдсъ смогъ пробыть три года въ Италіи.

Первымъ его впечатлѣніемъ было горькое разочарованіе. Гдѣ то богатство колорита, котораго онъ ожидалъ отъ итальянскихъ классиковъ по английскимъ гравюрамъ? Все казалось ему безжизненнымъ, блѣднымъ и вялымъ. Онъ острилъ на этотъ счетъ и говорилъ, что въ Римѣ не на что глядѣть. Въ



Рейнольдсъ: Дэвидъ Гаррикъ.



Рейнольдсъ: *Иосифъ Гурнетти.*

же, чѣмъ сто лѣтъ спустя была для Ленбаха поѣздка въ Испанію. Уже у Гудсона Рейнольдсъ приобрѣлъ большой навыкъ въ копированіи и написалъ много копій, въ особенности съ картинъ Гверчино. Во время же своего пребыванія въ Италіи онъ сталъ величайшимъ въ XVIII вѣкѣ знатокомъ старинныхъ мастеровъ. Рассказываютъ, что шевалье ванъ-Лоо, въ свою бытность въ Англіи, въ 1763 году, говорилъ однажды въ присутствіи Рейнольдса о своемъ безошибочномъ умѣніи отличать оригиналы отъ копій. Рейнольдсъ показалъ ему тогда одинъ изъ своихъ этюдовъ по Рембрандту, и ванъ-Лоо принялъ его за несомнѣнный оригиналъ великаго голландца. Въ апрѣлѣ 1752 года Рейнольдсъ оставилъ Римъ и посѣтилъ Неаполь, тосканскіе города и Венецію. Его бѣглыя путевыя замѣтки обнаруживаютъ большее пониманіе итальянскихъ школъ живописи. Онъ занятъ главнымъ образомъ техническими вопросами свѣтотѣни и свѣтовыхъ эффектовъ. Больше всего онъ преклонялся предъ Тиціаномъ и говорилъ, что готовъ бы пожертвовать всѣмъ своимъ состояніемъ, чтобы быть собственникомъ одного изъ главныхъ произведеній Тиціана.

Когда Рейнольдсъ вернулся въ 1752 году въ Лондонъ, ему было тридцать лѣтъ. Талантъ его достигъ полнаго развитія, и любители привѣтствовали его, какъ новаго ванъ-Дейка. Нарисовавъ портретъ миссъ Гуннингсъ, будущей знаменитой леди Гамильтонъ, въ 1753 г., онъ приобрѣлъ знаменитость въ художественномъ мірѣ Англіи. Уже въ 1755 году, когда Гогартъ пересталъ писать портреты за неимѣніемъ заказчиковъ, Рейнольдсъ написалъ около 125 портретовъ, и съ тѣхъ поръ у него ежегодно бывало около ста пятидесяти заказовъ, что составляло годовой доходъ приблизительно въ шесть тысячъ фунтовъ стерлинговъ. Онъ сначала жилъ въ St. Martins Lane, модномъ въ то время кварталѣ художниковъ. Но уже въ 1760 году онъ купилъ себѣ домъ въ самой аристократической части Лондона, въ Лестерскверѣ (№ 47) и отдѣлалъ его съ княжескою пышностью. Мастерская имѣла видъ большой бальной залы и украшена была со всей утонченностью тогдашней роскоши. Длинный корридоръ, ведущій въ мастерскую, увѣшанъ былъ картинами старыхъ мастеровъ. Это было время расцвѣта литературной и театральной жизни Англіи: Гаррикъ стоялъ на высотѣ

своей славы. Беркъ былъ уже знаменитъ, Джонсонъ писалъ свой словарь, Ричардсонъ достигъ вершины своей славы, Смоллетъ написалъ „Percy's Pickle“, Грѣ возбуждалъ общее вниманіе своей поэзіей. Въмѣстѣ съ выдающимися людьми литературнаго и сценическаго міра въ пышную мастерскую Рейнольдса являлись всѣ выдающіеся политики и герои дня, и тамъ шли бесѣды о театрѣ, о закулисныхъ нравахъ, о парламентѣ и придворной жизни, о литературѣ, искусствѣ. Гольдсмитъ былъ частымъ гостемъ Рейнольдса въ то время, когда онъ заканчивалъ своего „Путешественника“. Историкъ Гиббонъ, Стернъ, авторъ „Сентиментальнаго Путешествія“, тогдашней злобы дня, проводили у него свободные часы, такъ же, какъ и Беркъ, обсуждавшій съ Рейнольдсомъ свои



Рейнольдс; Томасъ Хадсонъ.

теоріи объ эстетически прекрасномъ и возвышенномъ. Всѣ они предъявляли права на мѣсто въ портретной галлерей Рейнольдса, гдѣ собраны были всѣ таланты того времени. Англійская знать тоже заискивала у него. Съ 1752 года и въ теченіи послѣдующихъ 40 лѣтъ заказать портретъ Рейнольдсу считалось необходимымъ условіемъ хорошаго тона. Картины его тотчасъ же распространялись путемъ гравюръ. Гамльтонъ въ своемъ Catalogue raisonné произведеній Рейнольдса насчитываетъ съ 1620 г. не менѣе 675 картинъ, гравированныхъ по оригиналамъ Рейнольдса болѣе, чѣмъ ста художниками; между ними гравюры mezzo tinto Самуэля Кузена самая тонкія. Только при своей невѣроятной способности работать въ теченіи долгаго ряда годовъ почти безъ перерыва, съ чисто Рубensoвскою легкостью и правильностью, Рейнольдсъ имѣлъ возможность кромѣ этихъ портретовъ написать еще цѣлый рядъ картинъ на религіозныя и мифологическія темы. Многими изъ этихъ картинъ онъ особенно гордился. Онъ работалъ съ большою энергіей, вставалъ рано, завтракалъ въ девять часовъ, ровно въ десять часовъ былъ въ мастерской и работалъ надъ начатыми картинами до одиннадцати. Тогда являлась первая модель, черезъ часъ слѣдующая и т. д. Такъ онъ работалъ до четырехъ часовъ, затѣмъ переодѣвался и принадлежалъ обществу.

Несмотря на свою склонность къ ученымъ занятіямъ, Рейнольдсъ менѣе всего былъ отшельникомъ. Онъ остался холостымъ, послѣ того, какъ Анжелика Кауфманъ отказала ему въ своей рукѣ, но все-таки домъ его былъ однимъ изъ центровъ знатнаго общества въ Лондонѣ. Онъ давалъ балы, на которые приглашалъ лучшее общество, разъѣзжалъ въ роскошной каретѣ, на козлахъ сидѣли лакеи въ голубыхъ ливреяхъ съ серебромъ. По его почину основанъ былъ литературный клубъ, гдѣ онъ бесѣдовалъ о задачахъ литературы и фило-



Рейнольдсъ: Діана, вивонтесса Кросби.

софіи съ Джонсономъ, и Гаррикомъ. Онъ получилъ титулъ баронета, а въ 1768 году, когда основана была королевская академія (Royal Academy), онъ сталъ первымъ ея президентомъ. Академическіе обѣды, которые онъ устраивалъ послѣ распредѣленія наградъ, играютъ видную роль въ исторіи англійскаго повареннаго дѣла. Рейнольдсъ общался на каждомъ изъ этихъ собраній произносить рѣчь объ искусствѣ. Такимъ путемъ составились въ теченіи двадцати трехъ лѣтъ его президентства пятнадцать рѣчей о живописи, его главное литературное произведеніе. Это не были его первыя теоретическія разсужденія. Уже въ 1750 году Джонсонъ пригласилъ его писать статьи объ искусствѣ въ основанномъ имъ журналѣ „The Idler“. Въ 1781 году онъ совершилъ путешествіе по Фландріи и Голландіи и, какъ впоследствии Фроментенъ, написалъ прекрасную книгу о своихъ путевыхъ впечатлѣніяхъ. Въ „рѣчахъ“ его литературный та-

лантъ обнаруживаетъ такую зрѣлость, что долгое время приписывали ихъ Берку или Джонсону.

Эстетическіе трактаты также какъ историко-литературныя разсужденія Рейнольдса не утратили значенія до сихъ поръ. Глубина мысли сочетается въ нихъ съ точностью стили; въ нихъ идетъ рѣчь о законахъ классическаго искусства, о смѣнѣ стилей, о причинахъ высшаго развитія искусства. Правда, что авторъ проповѣдуетъ въ нихъ также эклектизмъ. Современный художникъ, говоритъ онъ, можетъ идти впередъ, только опираясь на великихъ мастеровъ прошлаго; величайшимъ изъ нихъ онъ считалъ Микель-Анджело. Последняя его рѣчь заканчивается слѣдующими словами: „Не безъ внутренняго удовольствія я думаю, о томъ, что мои рѣчи будутъ доказательствомъ моего преклоненія передъ этимъ истинно великимъ художникомъ. Пусть послѣднее имя, которое я произношу въ академіи съ этого мѣста, будетъ именемъ Микель-Анджело“. Когда онъ умеръ, другъ его Эдмундъ Беркъ писалъ слѣдующее въ очеркѣ, посвященномъ его памяти: „Сэръ Іошуа Рейнольдсъ былъ однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ людей своего времени. Онъ первый создалъ славу Англій въ новой области—искусства. Онъ былъ окруженъ величайшимъ почетомъ на родинѣ и на чужбинѣ, передъ нимъ преклонялись цѣнители искусства и ученые, ему лестили знатные люди, и его прославляли выдающіеся поэты“. Онъ былъ похороненъ съ величайшими почестями въ соборѣ Св. Павла — лондонскомъ Пантеонѣ. Незаконченныя



Figure 1. — Book endpaper.





Гинсборо: Входъ въ пещищу.



Гинсборо: Входъ въ лѣсину.



Рейнольдсъ: Сестры.

передъ смертью картины его были проданы на аукціонѣ за 37.000 фунт. ст., а все оставленное имъ состояніе доходило до 100.000 фунт. ст.

Біографія *Томаса Гэйнсборо* (Thomas Gainsborough) имѣетъ совершенно другой характеръ.

Дорога изъ Лондона въ Бирмингемъ одна изъ самыхъ живописныхъ мѣстностей Великобританіи по свѣжести и нѣжности чисто англійскаго ландшафта. Маленькія рѣки извиваются среди холмистой мѣстности. Широкіе луга покрываютъ пышной зеленью нѣжные склоны горъ. Потѣзда желѣзной дороги привлекаютъ сернь и оленей на опушку лѣса. Благоухающія липы стоятъ задумчиво въ обширныхъ паркахъ, среди которыхъ вьется серебряной лентой рѣка Стуръ. На берегу этой очаровательной рѣки родился Томасъ Гэйнсборо въ семьѣ простаго сукопрядильщика.

Рейнольдсъ понялъ свое призваніе изъ увлекшей его книги. Томасъ Гэйнсборо, любившій болѣе всего красоту природы, испыталъ первыя рѣшающія ощущенія своей жизни въ лѣсахъ и поляхъ своей родины. Тамъ онъ бродилъ мальчикомъ, часто пропуская школьные часы. „Томъ когда нибудь повѣсятъ“ говорилъ про него учитель. „Томъ сдѣлается гениемъ“, думали про него родители. Онъ рисовалъ виды парковъ и замковъ въ окрестности, и впоследствии говорилъ, что нѣтъ того живописнаго стараго дерева, луга, опушки или рѣчки, на четыре мили вокругъ Судбюри, которыхъ онъ бы твердо не помнилъ со времени дѣтства. Подобно Констеблю, онъ въ старости съ благодарностью вспоминалъ о своей родинѣ и всѣхъ ея красотахъ, сдѣлавшихъ его живописцемъ. Среди зеленыхъ



Рейнольдсъ; Мисъ Бингамъ.

луговъ и лѣсовъ своей родины онъ самъ воспиталь себя. Десяти лѣтъ онъ былъ уже живописцемъ.

Четырехлѣтнее пребываніе въ Лондонѣ прибавило къ тому, что онъ уже зналъ, лишь очень немногое. Обладая изящными манерами, оживленный въ разговорѣ, джентельменъ по природѣ, онъ могъ бы сразу занять положеніе въ обществѣ. Но онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ слишкомъ скромнъ и простъ, чтобы жить среди свѣтилъ лондонскаго артистическаго міра, и былъ слишкомъ благороденъ и робокъ, чтобы гнаться за успѣхами у публики. Поэтому въ восемнадцать лѣтъ онъ снова вернулся къ себѣ на родину, и ему предстояла неутѣшительная судьба провинціального художника. Онъ по прежнему болѣе всего любилъ лѣсъ. Однажды, когда

онъ сидѣлъ на воздухѣ за работой и поднималъ глаза отъ полотна, онъ увидѣлъ предъ собой красивую молодую дѣвушку въ свѣтломъ лѣтнемъ платьѣ; она кокетливо выглядывала изъ за деревьевъ и покраснѣла, когда онъ съ ней робко заговорилъ. Вскорѣ послѣ того Маргарита Буръ сдѣлалась его женой, и бракъ его остался навсегда такою же прелестной идилліей, какъ то весеннее утро, въ которое онъ познакомился съ Маргаритой.

Женившись въ 19 лѣтъ, онъ поселился въ Ипсвичѣ; это была родина его жены; тамъ онъ и прожилъ пятнадцать лѣтъ въ безмятежномъ счастьи, и былъ увѣренъ, что останется тамъ до смерти. Въ Ипсвичѣ онъ написалъ свои первые портреты и посылалъ ихъ, начиная съ 1761 года, черезъ посредство мѣстнаго комиссіонера на выставки въ Royal Academy. Тамъ онъ имѣли успѣхъ. Изъ Ипсвича Гэнсборо отправился въ модный курортъ Батъ и писалъ тамъ портреты пріѣзжавшихъ на лѣто гостей. Мало по малу его портреты приобрѣли извѣстность въ Лондонѣ. Это побудило его переѣхать въ столицу. Въ 1764 году онъ поселяется въ Лондонѣ, въ скромной квартирѣ. У него было мало знакомствъ, и онъ былъ простымъ провинціаломъ въ то время, когда Рейнольдсъ былъ на вершинѣ славы и вернулся уже изъ путешествія по Испаніи и Италіи. Но мало по малу Гэнсборо становился извѣстнымъ. Франклинъ первый позировалъ ему и вскорѣ Гэнсборо сдѣлался любимымъ живописцемъ короля и королевской семьи. Онъ восемь разъ писалъ портреты Георга III, семь разъ Питта, пять разъ Гаррика. Имена лорда канцлера Камблена, сэра Вильяма Блекстона, Джонсона, Лоренца Стерна, Ричардсона, Берка, Шеридана, м-ссъ Грагэмъ, лэди Монтегью, м-ссъ Сиддонсъ и лэди Вернонъ, лэди Майнартъ и многихъ другихъ знаменитыхъ людей и красавицъ связаны съ именемъ Гэнсборо; его произведенія, кромѣ этюдовъ, состоятъ приблизительно изъ трехсотъ картинъ; изъ нихъ двѣсти

двадцать портретовъ. Это ничтожное количество сравнительно съ двумя тысячами картинъ Рейнольдса. Томасъ Гэнсборо работалъ неправильно. Даже когда онъ бывалъ въ своей мастерской, онъ часто цѣлыми часами стоялъ у окна и глядѣлъ въ даль. Столь же различна во всемъ остальномъ была его жизнь отъ жизни Рейнольдса. Онъ былъ очень неровенъ въ обращеніи, иногда веселъ и блестящъ въ разговорѣ, иногда необычайно грустенъ. Онъ много мечталъ, Рейнольдсъ же писалъ портреты и сочинялъ книги. По вечерамъ онъ обыкновенно сидѣлъ дома съ женой, не писалъ трактатовъ и рѣчей объ искусствѣ, а дѣлалъ этюды или занимался музыкой. Рейнольдсъ соединялъ живопись съ ученостію, Гэнсборо—съ музыкой. О немъ говорили, что онъ писалъ портреты ради денегъ,



Рейнольдсъ: Портретъ г-жи N-X.

ландшафты ради удовольствія, а музыкой занимался потому, что не могъ не заниматься ею. У Рейнольдса была огромная библіотека—у Гэнсборо коллекція музыкальных инструментовъ. Даже на картинахъ онъ любилъ изображать свои модели со скрипкой въ рукахъ. Всю свою жизнь онъ состоялъ членомъ музыкальнаго клуба въ Ипсвичѣ и ежегодно проводилъ лѣто тамъ, если не въ Ричмондѣ или Гамстедѣ. Онъ хотѣлъ, чтобы тамъ, среди зелени, его и похоронили. Похороны его были очень тихія. На мирномъ кладбищѣ въ Кью Томасъ Гэнсборо покойся подъ тѣнистыми ивами, вдали отъ шума и суеты столицы. На могилѣ его сэръ Іошуа сказалъ:

„Если Англія когда нбудь сдѣлается такъ богата художественными талантами, что можно будетъ говорить объ англійской школѣ живописи, то имя Гэнсборо перейдетъ въ потомство однимъ изъ первыхъ“.

Можно прибавить, что это имя въ настоящее время самое первое.

Іошуа Рейнольдсъ несомнѣнно великій живописецъ и заслуживаетъ почета, съ которымъ къ нему относятся его соотечественники. Въ залѣ реликвій въ Royal Academy хранится кресло Рейнольдса; онъ занималъ его на засѣданіяхъ. Послѣ Рейнольдса всѣ знаменитости Англіи XVIII в. сидѣли на этомъ креслѣ, и видъ его вызываетъ несомнѣнно нѣкоторое благоговѣіе.

Изъ великихъ англійскихъ портретистовъ Рейнольдсъ наиболее близкій къ классическимъ мастерамъ, и въ немъ ярче всего выступаютъ качества, составлявшія ихъ силу. Колоритъ Рейнольдса отличается удивительной сочностью, глубиной и силой. Его свѣтотѣни теплы и воздушны. Нѣкоторые портреты Рейнольдса по тонкости тона не уступаютъ Рембрандту, а другіе напоминаютъ благородствомъ красокъ лучшія произведенія ванъ-Дейка. Онъ хорошо



Рейнольдс: Mrs. Сиддонс.

изучилъ весь механизмъ человѣческаго тѣла и обладалъ рѣдкимъ совершенствомъ придавать своимъ моделямъ твердое и непринужденное положеніе. Портреты его—настоящія картины: нѣтъ надобности знать людей, которые на нихъ изображены. Портреты сами по себѣ художественныя произведенія—психологическіе этюды художника, умѣющаго заглядывать въ самую глубину человѣческой души. Списокъ людей, изображенныхъ на портретахъ сэра Іошуа почти за полъ-вѣка, является обстоятельнымъ комментариемъ англійской исторіи этого періода.

Вотъ передъ нами тонкій портретъ Стерна съ умнымъ насмѣшливымъ выраженіемъ лица; вотъ любопытный богема Оливеръ Гольдсмитъ; онъ тогда уже носилъ въ карманѣ рукопись своего „Вѣзфильдскаго священника“. Джонсонъ, одинъ разъ изображенъ у письменнаго стола, на которомъ стоитъ чернильница и лежитъ томъ его англійскаго словаря; на другомъ портретѣ онъ читаетъ своими близорукими глазами, въ неуклюжей тяжелой позѣ. Гаррикъ, переходившій изъ одной мастерскоѣ въ другую, изображенъ четыре раза на



Рейнольдс: Принцесса Софія Матильда.

портретах Рейнольдса. Между портретами всенных дѣятелей одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ — портретъ генерала лорда Хасфильда, знаменитаго защитника Гибралтара. Онъ стоитъ на портретѣ твердый, какъ утѣсь, и держитъ въ рукѣ ключи отъ крѣпости. Какая разница между этими фигурами и тѣми, которыя мы видимъ на французскихъ портретахъ того времени. Тамъ веселые и привѣтливые министры, галантные, изящные архіепископы, граціозныя маркизы, двигающіяся съ воздушной легкостью по паркету. Рѣзкость индивидуальныхъ чертъ исчезаетъ въ присущей всѣмъ имъ утонченности. А на портретахъ Рейнольдса — головы мыслителей или твердые, прошедшіе школу жизни, характеры. На нѣкоторыхъ лицахъ, грубыхъ и одутловатыхъ, отпечатокъ холодной рѣшительности. Въ непринужденныхъ движеніяхъ видна самоувѣренность и упрямая плетейская гордость. Такой же демократическій отпечатокъ лежитъ и на большинствѣ дамскихъ портретовъ. Ванъ-Дейкъ изображалъ благородныя задумчивыя фигуры, окруженныя еще блескомъ Ренессанса, а въ глубинѣ его картинъ искусно задрапированная занавѣсь, колонны или видъ въ тихія тѣнистыя аллеи обширнаго парка. На портретахъ англійскаго художника строгія дѣятельныя женщины въ будничныхъ платьяхъ, съ умнымъ вдумчивымъ взглядомъ, добрыя матери, окруженныя дѣтьми, которыхъ онѣ нѣжно держатъ въ объятіяхъ. Наружная церемонность исчезла и уступила мѣсто семейственности и любви къ дѣтямъ. Дѣтскіе портреты бездѣтнаго стараго холостяка Рейнольдса были художественнымъ открытіемъ для тогдашняго поколѣнія и восхищаютъ взоры до сихъ поръ. Въ другихъ дамскихъ портретахъ проявляется характерная для ан-



Рейнольдс: Чуждость.

гличанъ любовь къ домашнимъ животнымъ и къ спорту. Прекрасная герцогиня Девонширская отстраняетъ на портретѣ Рейнольдса движеніемъ руки ласкающую ее маленькую дочь, которая грозитъ разрушить ей прическу. Другія знатныя дамы на его картинахъ или кормятъ домашнихъ птицъ, или глядятъ комнатныхъ собачекъ. Лэди Спенсеръ изображена въ амазонкѣ съ хлыстомъ въ рукѣ, рядомъ съ лошадыю, съ возбужденными отъ верховой ѣзды щеками. Нелли О'Брайенъ была, очевидно актрисой, которая кружила головы мужчинамъ; она способна къ этому и теперь, на картинахъ. Есть что то загадочное, смущающее въ улыбкѣ этого сфинкса — одна Мона Лиза умѣла такъ улыбаться. Но глаза Нелли болѣе полны желаній; чувствуется, что въ теченіи

трехъ столѣтій, прошедшихъ со времени Моны Лизы, любовь пріобрѣла новый отѣнокъ изысканности. Портретъ м-ссъ Сиддонсъ — самый знаменитый среди портретовъ актрисъ, написанный Рейнольдсомъ; м-ссъ Сиддонсъ всѣ художники того времени писали особенно охотно и усердно. Она была дочь актера Роджерса Кэмбля, сестра граціозной актрисы, м-ссъ Твиссъ, портретъ которой (1784 г.) тоже былъ написанъ Рейнольдсомъ; братъ м-ссъ Сиддонсъ, знаменитый Джонъ Филиппъ Кэмбль, семь разъ изображенъ на портретахъ Лауренса въ роли Гамлета, Катона, Коріолана, Ричарда III и другихъ. Рожденная для подмостковъ м-ссъ Сиддонсъ уже ребенкомъ вертѣлась около своихъ родителей на сценѣ и выступала въ провинціи, въ Бирмингамѣ, Манчестерѣ, Батѣ прежде, чѣмъ драматургъ Шериданъ пригласилъ ее въ Лондонъ, въ театръ Друри-Лэнъ. Она дебютировала 10 октября 1782 года и считалась съ тѣхъ поръ самой великой актрисой своего времени. Главной ея ролью была лэди Макбетъ, и въ ней она изображена Ромнеемъ и Лауренсомъ. Рейнольдсъ написалъ ее въ видѣ музы трагедіи. На ея головѣ вѣнецъ, она сидитъ на тронѣ; тронъ жестокости на облакахъ. За нею стоятъ два аллегорическихъ существа — Преступленіе и Раскаяніе — фигуры довольно неудачныя. Но центральная фигура необычайно величественна. Она соединяетъ царственность осанки съ полной непринужденностью въ своей театральной позѣ. У Рейнольдса былъ задуманъ планъ картины за нѣсколько недѣль до того, какъ м-ссъ Сиддонсъ пришла къ нему въ мастерскую осенью 1783 года. „Сядьте на тронъ, для котораго вы рождены, и возбудите во мнѣ представление о музѣ трагедіи“. Съ этими словами онъ подвелъ ее къ приготовленному мѣсту. „Я сдѣлала нѣсколько шаговъ, рассказываетъ актриса, и приняла точтакъ же положеніе, которое и было сохранено на картинѣ. Когда портретъ былъ законченъ, сэръ Иосуа сказалъ со своей обычной галантностью: „Я не могу отказаться отъ чести перейти въ потомство на краю вашей одежды“. И

противъ своего обыкновенія— Рейнольдсъ почти никогда не подписывалъ картинъ — онъ большими буквами написалъ свое имя и дату на золотомъ шитьѣ платья актрисы. Первый экземпляръ портрета находится съ 1722 года у лорда Гровенора, второй—въ Дульвичскомъ музеѣ.

Рейнольдсъ любилъ изображать свои модели въ мифологической или исторической обстановкѣ. Такъ, онъ изобразилъ м-съ Гартлей съ ея сыномъ въ видѣ нимфы и молодого Вакха. Дѣвцы Монгомери изображены тремя граціями, увѣнчивающими герму Гименея. Маленькая дѣвочка, сидящая на травѣ, представляеть собою „пору невинности“ („The age of innocence“). Лэди Спенсеръ представлена цыганкой, гадающей своему брату, м-съ Шериданъ — св. Цециліей. Такъ называемая „Пять



Рейнольдсъ: Лэди Каролина Говардъ.

аигельскихъ головокъ“ лондонской національной галлерей представляютъ пять различныхъ видовъ прелестной дѣтской головки маленькой Изабеллы Гордонъ. Гарриксъ представленъ на портретѣ между аллегорическими фигурами трагедій и комедій.

Рейнольдсъ самъ очень гордился именно этими превращеніями въ жанровыя картины портретами. По его собственнымъ словамъ, онъ писалъ портреты, лишь уступая вкусу публики. Самъ же онъ болѣе всего любилъ историческую живопись. Но такія картины, какъ „Геркулесъ въ дѣтствѣ со змѣей“, „Купидонъ, развязывающій поясъ Венеры“, „Смерть Дидоны“, „Пророкъ Самуилъ мальчикомъ“ или „Поклоненіе волхвовъ“ менѣе всего заставляютъ сожалѣть о томъ, что Рейнольдсъ слишкомъ рѣдко находилъ время для мифологическихъ или историческихъ картинъ. Его аигельскія головки — подражаніе Корреджіо, въ драпировкѣ одеждъ онъ слѣдуетъ Гвидо Рени. Изображая Венеру, онъ воспроизводитъ въ болѣе грубомъ видѣ сюжетъ Тиціана. Особенность Рейнольдса сказывается только въ эклектическомъ накопленіи чертъ, заимствованныхъ у старыхъ мастеровъ—ничего новаго въ исторію искусства онъ не вноситъ своимъ историческимъ жанромъ.

И въ этомъ главный недостатокъ Рейнольдса. Гогартъ говорилъ, „что есть только одна школа для художника—это школа природы“. Рейнольдсъ же утверждалъ, что „есть только одинъ входъ въ школу природы, и ключъ отъ этой двери у старыхъ мастеровъ“. Великіе художники прошлаго постоянно занимали его мысли. Въ своихъ теоретическихъ разсужденіяхъ онъ старался установить кагетизисъ для живописи. Онъ воспринялъ основныя ученія лучшихъ художниковъ всѣхъ странъ и старался проникнуть въ тайны творчества древнихъ масте-



Гисборо; Собственный портретъ.

ровъ. Этимъ онъ далъ техническую основу англійской школѣ еще не имѣвшей твердыхъ традицій въ искусствѣ. Онъ былъ основателемъ научной техники искусства, почерпнутой у древнихъ, т. е. былъ нѣкоторымъ образомъ Ленбахомъ XVIII в. О смѣшеніи красокъ, о переходахъ свѣтотѣней ни одинъ художникъ такъ много не задумывался теоретически, какъ Рейнольдсъ. Онъ также хорошо или даже лучше зналъ Рубенса, ванъ-Дейка и Рембрандта, чѣмъ своихъ любимцевъ-итальянцевъ. Онъ всю свою жизнь дѣлалъ эксперименты, чтобы понять тайны венеціанскаго колорита. Но это привело его къ такимъ же результатамъ, какъ и Ленбаха. Эксперименты съ цѣлью возсоздать колоритъ древнихъ живописцевъ пагубно отразились на прочности его

картинъ. Уже Вальполь указывалъ на это: „Если сэръ Іошуа“, говорилъ онъ, „доволенъ своими собственными разорванными картинами, то онъ счастливѣе и владѣльцевъ этихъ картинъ, и потомства. По моему мнѣнію, за картины его нужно платить годовыми взносами и выплачивать деньги лишь до тѣхъ поръ пока картины держатся“. Гайдонъ (Haydon) же говорилъ слѣдующее: „Рейнольдсу хотѣлось разными хитростями добиться того, чего древніе мастера достигали самыми простыми средствами“. Онъ хотѣлъ искусственно придать своимъ картинамъ старинный видъ, и употреблялъ асфальтъ; но отъ этого болшинство его картинъ, утратило вскорѣ всякую свѣжесть.

Позы на портретахъ Рейнольдса, а также и нѣкоторыя подробности напоминаютъ постоянно ванъ-Дейка и другихъ старыхъ живописцевъ. Рейнольдсъ больше всего стремился не только колоритомъ, но и всѣмъ, чѣмъ только возможно, походить на древнихъ; это внесло въ его картины нѣчто надуманное, натянутое. Онъ очень любилъ римлянъ и венеціанцевъ, и даже, быть можетъ, слишкомъ любилъ болонскую школу. Рейнольдсу повредило слишкомъ основательное художественное образованіе, которое онъ получилъ въ Италіи и Голландіи, а также научный характеръ его творчества. Въ его картинахъ чувствуется слишкомъ много художественныхъ воспоминаній, слишкомъ много постороннихъ вліяній. Въ большинствѣ случаевъ онъ умѣлъ объединять и дѣлать нѣчто цѣльное изъ всѣхъ своихъ многочисленныхъ заимствованій, изъ всего, что бралъ у Леонардо, Корреджіо, Веласкеза и Рембрандта. Но даже передъ самой изящной дамой, передъ самымъ румянымъ англійскимъ мальчикомъ, онъ не умѣлъ забывать старыхъ мастеровъ и видѣть только свою модель. Рисуя дѣтей, онъ постоянно думалъ о головкахъ Корреджіо; школьники будили въ немъ мысль о Мурильо, м-ссъ Гейней заставляла думать о Леонардо-да-Винчи, м-ссъ Шериданъ—о Рафаэлѣ. Ему недостаетъ непосредственности, отличаю-



Endpaper, Book.





Гнездо: Семья.

щей великихъ мастеровъ. Сэръ Іошуа искусственно создавалъ свое величіе, опираясь на плечи своихъ предшественниковъ. Этимъ онъ достигалъ въ картинахъ очень интересныхъ эффектовъ, но за то въ его произведеніяхъ чувствуется не дыханіе жизни, а затхлый запахъ масла и лака.

Конечно, по общей массѣ произведеній Гэнсборо нельзя сравнить съ Рейнольдсомъ. Онъ не имѣлъ ни его рабочей силы, ни его блестящей, увѣренной манеры. Во многихъ картинахъ онъ производилъ впечатлѣніе самоучки, который старается кое-какъ справиться со своей задачей. Нѣтъ въ немъ также психологической проницательности Рейнольдса. Портретистъ никогда не можетъ вложить въ изображаемое имъ лицо больше того, что есть въ немъ самомъ. Вотъ почему Рей-



Гэнсборо: М-съ Сиддонс.

нольдс, проницательный мыслитель, счелъ много вкладывалъ въ свои портреты, а мечтательный Гэнсборо былъ иногда довольно безпомощнымъ передъ сильными мужскими характерами. По художественному темпераменту онъ скорѣе пейзажистъ и человѣческія модели тоже представлялись ему въ видѣ ландшафтовъ; онъ возбуждали въ немъ эмоціи, а не склонность къ психологическому анализу. У Рейнольдса во всемъ сказывается намѣренность и сознательная сила, у Гэнсборо преобладаетъ чувство. Рейнольдсъ поэтому всегда непогрѣшимъ, а Гэнсборо неровенъ, часто слабъ. Но лучшими своими картинами онъ гораздо болѣе плѣняетъ, чѣмъ прославленный президентъ академіи.

Гэнсборо также называлъ передъ смертью одного стараго мастера: „Всѣ мы попадемъ на небо, и ванъ-Дейкъ съ нами всѣми“. Но болѣе всего его отличаетъ отъ Рейнольдса и дѣлаетъ болѣе оригинальнымъ наивная независимость отъ старыхъ мастеровъ. Она обусловлена различіемъ воспитанія двухъ художниковъ. Рейнольдсъ прожилъ два года въ Римѣ, изучалъ всѣ главные города Италіи, побывалъ во Фландріи и Голландіи, изучалъ Рембрандта и восторгался свѣтотѣнями его картинъ. Гэнсборо жилъ въ сельской тиши и не имѣлъ возможности, путешествуя по разнымъ странамъ, полюбить мастеровъ прошлаго. Онъ довольствовался красотою своей родины, изучалъ ихъ съ трогательною простотой, безъ всякой мысли объ академическихъ правилахъ. Онъ жилъ въ Лондонѣ до самой смерти, ни разу не покинувъ Англіи, что придавало его картинамъ совершенно другой оттѣнокъ. Рейнольдсъ изучалъ книги и картины, Гэнсборо—только „книгу природы“. Ничто не становилось между художникомъ и



Гэнсборо: М-съ Грегемъ.

изысканное, обаятельное творчество Гэнсборо. Рейнольдс по своей старинной мощи болѣе всего напоминаетъ Тинторетто. Гэнсборо съ его совершенно новымъ міромъ фантазіи и граціи является иѣжнымъ, таинственнымъ художникомъ, поэтомъ и волшебникомъ. Онъ напоминаетъ собою Ватто. Прежде слышались глубокіе нарастающіе звуки органа—теперь иѣжный, тонкій, серебряный звукъ скрипки. Рейнольдсъ любилъ теплые коричневыя и красныя тона, а въ лучшихъ картинахъ Гэнсборо въ первый разъ появляется гамма холодныхъ зелено-синихъ тоновъ, которыми пишется теперь большинство англійскихъ картинъ. Все у него мягко и ясно. Тона его излюбленнаго голубого или свѣтло-желтаго шелка прозрачны, фонъ теряется въ мечтательныхъ переливахъ. Самыя фигуры ласково обвѣяны иѣжнымъ воздухомъ.

Онъ создалъ великое произведеніе въ своемъ „Мальчикъ въ голубомъ“ (Blue boy), самой извѣстной и характерной для него картинѣ. Можно описать каждую часть одежды, но невозможно передать гармоніи этого произведенія, тонкій очаровательный цвѣтъ костюма на блестящемъ коричневомъ фонѣ ландшафта. Какъ удивительно поставленъ этотъ прелестный юноша, аристократичный съ головы до ногъ, среди коричневыхъ и зеленыхъ тоновъ осенняго пейзажа

его моделью, никакой „темный старый мастеръ“ не затемняетъ его полотна. Маниера Гэнсборо болѣе индивидуальна, а колоритъ прозрачнѣе и свѣжѣе. Характеръ лицъ совершенно иной; они болѣе изящны, граціозны и современны, чѣмъ у Рейнольдса; послѣдній старается приблизить свои модели къ типамъ Ренессанса и возсоздать въ портретахъ классической античный стиль. Въ картинахъ Гэнсборо выражень національный типъ, чисто англійское сочетание изысканной иѣжности и аристократической утонченности, которая такъ своеобразно выступаетъ въ произведеніяхъ теперешнихъ англійскихъ живописцевъ.

Развитіе живописи отъ Гогарта до Гэнсборо—значительный періодъ въ англійской исторіи культуры. Гогартъ воплощаетъ собой Джона Буля. Въ его картинахъ слышится рычаніе злободюда. Это безцеремонная рѣзкость прекратилась, когда Англія вышла изъ полудѣтскаго періода, въ необычайно

*Гэ́нсборо: Водоной.*

съ низкимъ облачнымъ небомъ. Портретъ юноши Буталя самый изящный изъ всѣхъ портретовъ, написанныхъ въ Англіи со времени ванъ Дейка, и вмѣстѣ съ тѣмъ есть нѣчто новое въ его нервности. Въ глазахъ его свѣтится юношеская гордость, и вся фигура выражаетъ чуткость, тревожность. Измѣнились ли чело-вѣческія лица, или художники стали видѣть больше, чѣмъ прежде? У ванъ-Дейка нельзя встрѣтить столь выразительной нервной фizioноміи; оттѣнки меланхоліи, глубокая задумчивость, гордая, аристократически изысканная разочарованность — все это Гэ́нсборо впервые открылъ своимъ чутьемъ и воплотилъ съ рѣдкимъ совершенствомъ.

И тотъ же чело́вѣкъ, который столь совершенно изобразилъ благородное изящество знатнаго юноши, писалъ крестьянскихъ дѣтей, дышавшихъ ароматомъ лѣсовъ и луговъ своихъ деревень. Въ дѣтяхъ Іошуа Рейнольдса есть нѣчто, напоминающее Корреджіо, дѣти же Гэ́нсборо преисполнены простой деревенской живости, необузданной дикости. Эти настоящія дѣти природы играютъ на свободѣ, какъ лѣсные звѣрки. Всего обаятельнѣе на картинахъ Гэ́нсборо женщины. Въ то время, какъ Рейнольдсъ со своей любовью къ историческому жанру изображалъ ихъ героинями, женщины Гэ́нсборо съ ихъ нѣжной прозрачной кожей, томнымъ взглядомъ, въ которомъ свѣтится невинность и кокетство, настоящія англичанки XVIII в.

М-съ Сиддонсъ изображена имъ не въ театральномъ костюмѣ, а въ простомъ визитномъ платьѣ, не трагической музой, а страстно любящей женщиной, которая была когда то романтичной дѣвочкой и убѣждала съ опасностью жизни изъ монастыря, чтобы выйти замужъ за красиваго молодого актера, игравшаго въ труппѣ ея отца. Сколько изысканности въ ея позѣ, сколько тонкаго вкуса въ композиціи, сколько удивительной чистоты колорита. Кромѣ Ватто ни одинъ изъ прежнихъ мастеровъ не умѣлъ писать такихъ задумчивыхъ, чув-



Гэнсборо: Ландшафтъ.

ственно нѣжныхъ, влажныхъ глазъ. Въ художественномъ отношеніи самымъ замѣчательнымъ произведеніемъ Гэнсборо является портретъ м-ссъ Грагэмъ въ Единбургской національной галлерей. Великолѣпенъ также портретъ молодыхъ супруговъ Галлетъ, гуляющихъ, нѣжно обнявшись, по уединенной аллеѣ тѣнистаго сада. Хороша также блѣдная томная м-ссъ Парсинсъ съ ея чарующей улыбкой и таинственнымъ языкомъ взора. Гэнсборо не былъ тонкимъ наблюдателемъ, но онъ былъ чуткимъ художникомъ, и умѣлъ проникать въ самую душу, воспринимать игру нервовъ, самый мимолетный оттѣнокъ настроеній. Большинство его картинъ полно трогательной нѣжности и задумчивой меланхоліи, которую онъ, по всей вѣроятности, самъ вкладывалъ въ изображенія своихъ моделей. Онъ видитъ вещи сквозь дымку грусти, какъ Рейнольдсъ видитъ жизнь сквозь книжную мудрость. — У Рейнольдса преобладала воля и разумъ, у Гэнсборо душа и темпераментъ. Разница въ ихъ натурахъ ясно выражается въ томъ, что одинъ изъ нихъ писалъ историческія картины въ свободное отъ портретовъ время, другой же писалъ ландшафты; Гэнсборо сталъ поэтому пионеромъ въ искусствѣ, тогда какъ Рейнольдсъ оставался эпигономъ.

Въ ландшафтной живописи натурализмъ, зародившійся въ эпоху quattro cento, снова заглохъ въ позднемъ Ренессансѣ. Въ XVI вѣкѣ, при общей наклонности къ идеализации, распространилось убѣжденіе, что живописецъ долженъ исправлять и природу на картинахъ, также какъ и человѣческое тѣло. Высокому стилю эъ изображеніи большихъ фигуръ и сложныхъ композицій соответствовали ландшафты, понимаемые, какъ рамка для мифологическихъ сюжетовъ. *Ричардъ Вильсонъ* (Richard Wilson) былъ въ Англіи представителемъ этого



Гэйнсборо: Ландшафтъ.

ученія, торжественно провозглашеннаго въ XVII в. Клодомъ Лорреномъ. Родиною души для Вильсона была Италия. Онъ скопилъ себѣ портретами небольшую сумму денегъ, недостававшую сумму взялъ въ долгъ, и почувствовалъ себя только тогда хорошо, когда очутился въ Венеціи. Тамъ, по совѣту Цуккарелли, онъ сталъ писать пейзажи; съ большимъ сочувствіемъ отнесся къ нему Жозефъ Вернэ, знакомый ему по Риму. Вильсонъ былъ на хорошемъ пути и могъ стать извѣстнымъ живописцемъ; во многихъ картинахъ онъ проявилъ тонкое пониманіе и умѣніе писать граціозныя композиціи въ духъ Клода. Но счастье его не долго длилось. Вильсонъ, какъ и другіе его современники, былъ твердо убѣжденъ, что Богъ создалъ природу только для того, чтобы она служила рамой для несчастій Ніобеи, и фономъ для классической архитектуры. Деревья онъ писалъ поэтому въ видѣ боковыхъ кулисъ, и классическіе храмы англійскаго Клода не представляютъ ничего новаго сравнительно съ тѣмъ, что уже ранѣе было сдѣлано французскими художниками. Когда король, для поощренія его таланта, заказалъ ему однажды картину садовъ въ Кью, неисправимый Вильсонъ изобразилъ вмѣсто королевскаго парка совершенно выдуманный классическій ландшафтъ, и освѣтилъ его солнцемъ Тиволи. Король отослалъ обратно картину. Въ газетахъ появились эпиграммы на его счетъ, Рейнольдсъ острилъ въ своихъ академическихъ рѣчахъ. Вильсонъ съ тѣхъ поръ сталъ проводить время въ кабакахъ, сталъ пьяницей и умеръ семидесяти лѣтъ въ большой нуждѣ.

Англичане слишкомъ любили природу своей родины, чтобы находить удовольствіе въ экзотическихъ, выдуманныхъ пейзажахъ Вильсона. Въ Англіи живъ былъ патріотизмъ и нѣжное чувство къ родинѣ, то же, которое въ XVII вѣкѣ создало въ Голландіи пейзажную живопись. И въ этой области англичане были

призваны стать продолжателями голландцевъ и взростить зародыши поэтической пейзажной живописи. Отрадная для глазъ пышная долины, сочная зелень, нѣжно очерченные лѣса съ пестрой листвою, колеблющаяся золотая нивы и живописные маленькіе сельскіе дома, неописуемо мягкій воздухъ, окружающій все ласковымъ вѣяніемъ,—все это должно было обратиться на себя взоръ писателей и художниковъ. Въ XVIII вѣкѣ, лучшая книга, воспѣвавшая красоты природы, была написана англичаниномъ. Джэмсъ Томсонъ въ своихъ „Временахъ года“ первый пейзажистъ въ поэзіи. Тѣмъ считается, что весь Руссо превосхищенъ Томсономъ. „За тридцать лѣтъ до Руссо“, говоритъ онъ, „Томсонъ передалъ всѣ ощущенія Руссо и почти тѣмъ же стилемъ“. Онъ не только, подобно Руссо, глубоко понималъ великія и дикія зрѣлища природы, сгущеніе облаковъ, игру свѣта и красокъ, но ему, кромѣ того нравился запахъ молочныхъ фермъ, онъ любилъ птичекъ, лѣсную тѣнь, свѣтлые луга—все укромное, идиллическое въ природѣ. „Природа, мать міра! твоя неутомимая рука мѣняетъ пестрыя времена года. Какъ высоки, какъ божественно велики твои дѣянія! Какимъ восторгомъ они наполняютъ духъ, побуждая его къ пѣснопѣніямъ“.

По странной случайности Томасъ Гэнсборо, первый живописецъ, взглянувшій глазами влюбленнаго на нѣжность англійской природы, прелесть ея сочно-зеленыхъ равнинъ, силу ея высокихъ развѣсистыхъ деревьевъ, родился весной того же 1727 года, когда появилась „Весна“ Томсона. Что онъ зналъ Томсона и увлекался имъ, видно изъ того, что онъ посвятилъ его памяти граціозную „Музидору“ въ лондонской Национальной Галлерей—очаровательную женщину, которая купаетъ ноги въ лѣсной рѣчкѣ. Въ Royal Academy за всѣ восемнадцать лѣтъ, когда онъ посылалъ туда картины, онъ выставилъ не болѣе шести пейзажей. Всѣ остальные висѣли въ его домѣ, въ Pall Mall, на стѣнахъ его мастерской. Послѣ его смерти вдова устроила распродажу, и продано было пятидесяти шесть пейзажей. Гэнсборо можно причислить къ новому вѣку, до того непосредственно поэтичны его картины. Онъ провелъ свою молодость въ идиллическомъ лѣсномъ уединеніи, и былъ созданъ для воспроизведенія мягкой англійской природы. Онъ любилъ журчаніе ручья и голосъ вѣтра. Безмятежный миръ и спокойствіе его собственной жизни отражаются и въ его изображеніяхъ тихой деревенской природы. Свѣтлое настроеніе картинъ Гэнсборо никогда не нарушается грозой. У него была дѣтская нѣжная музыкальная, душа, какъ у Корро. Въ его пейзажахъ нѣтъ дикой величавости. Это мѣсто игръ для дѣтей, отдохновенія для пастуховъ. „Въ картинахъ этого добраго, дѣтски счастливаго челоуѣка“, говоритъ Констэблъ, „рисуетъ покой полудня, дымка сумерекъ, роса и утренняя заря. Глядя на его картины, мы чувствуемъ слезы на глазахъ, и не знаемъ, откуда онѣ явились“. Одинокій пастухъ со стадомъ, крестьянинъ, возвращающійся изъ лѣсу съ охапкой дровъ, тѣнистые лѣса, свѣтлыя долины, крестьянскія дѣти весной—вотъ что онъ любилъ писать, и писалъ съ изысканною утонченностью и нѣжной покорностью природѣ. Его ландшафты, какъ бы окна, растворяющіяся на деревенскую природу. Это не композиціи, а непосредственныя зрѣлища плодородной англійской природы. Ежегодно онъ отправлялся жить среди зелени долинъ и писалъ картины рано утромъ, при солнечномъ освѣщеніи. Передъ нимъ возвышалась громада деревьевъ, стада паслись около фермы, тысячи трудолюбивыхъ пчелъ перелетали съ цвѣтка на цвѣтокъ, козы съ козлятами бродили по лугу. Дикій голубокъ ворковалъ, и лѣсныя птицы воспѣвали хвалу Создателю—все это перенесено на картины Гэнсборо. Онѣ мягки и нѣжны, какъ сладкая мелодія, вкрадчиво красивы безъ яркихъ красочныхъ эффектовъ, гармоничны, какъ природа. Хижина съ соломенною кровлею, рѣзко выступающе изъ густой тѣни большихъ деревьевъ, сере-

бряный ручеекъ, окруженный плакучими ивами, мостъ ведущій на большой зеленый лугъ — вотъ сюжеты Гэнсборо. Въ Гровнорской (Grosvenor) галлерей хранится его знаменитая картина „Входъ въ хижину“ (Cottage Door): молодая крестьянка, держа на рукахъ младшаго изъ своихъ дѣтей, стоитъ у двери деревенской хижины, предъ которою играютъ другія дѣти. Нѣкоторыя изъ нихъ полуголыя. Глубокая тишина царствуетъ вокругъ. Большой старый дубъ опускаетъ съ двухъ сторонъ свои вѣтви надъ крышей, какъ бы защищая ее. Золотые лучи солнца падаютъ на лугъ. Въ послѣдствіи одинъ только Фредерикъ Уокеръ (Walker) еще рисовалъ такихъ крестьянокъ и такихъ дѣтей, простыхъ и нѣжныхъ. Изъ четырехъ картинъ Национальной Галлерей „Лѣсной пейзажъ“, „Водопой“, „Рынокъ“, „Крестьянскія дѣти“ — самая знаменитая „Водопой“. На переднемъ планѣ пасутся коровы, около нихъ пастухъ — рабочий изъ Суффолка. На заднемъ планѣ благородный старый нормандскій замокъ, быть можетъ Hedingham Castle около Сюдбюри. Такія картины, какъ эта, дѣлаютъ Англію родиною интимно поэтической пейзажной живописи. Англичане положили начало въ XVIII вѣкѣ портретной и пейзажной живописи. Вскорѣ и другіе народы пошли по тѣмъ же путямъ.



II.

Положеніе искусства на континентѣ.

ГЕТЕ сравниваетъ исторію науки съ большой фугой. Голоса отдѣльныхъ народовъ выступаютъ не сразу, а одинъ за другимъ; это сравненіе, уже однажды примѣненное Геттнеромъ, въ высшей степени подходитъ также къ исторіи искусства XVIII вѣка. Поочередно звучать голоса трехъ великихъ культурныхъ націй—англичанъ, французовъ и нѣмцевъ, и у всѣхъ нихъ слышится одна общая основная нота. Въ той великой борьбѣ, которую называютъ эпохой просвѣщенія, Англія шла впереди. Начиная съ половины XVIII вѣка сказалось на материкѣ англійское вліяніе. Правдивость и простота англійскихъ нравовъ принимались повсюду за образецъ, и Англія стала учительницей всѣхъ европейскихъ странъ. На всѣхъ поприщахъ объявляется война переживаніямъ стараго, повсюду начинается исканіе новыхъ формъ.

Конечно, другимъ народамъ было не такъ легко стать на новую почву. Англія пережила революціонный періодъ уже въ XVII вѣкѣ, во Франціи же революція только еще готовилась. Такимъ образомъ XVIII вѣкъ былъ для всѣхъ другихъ народовъ переходнымъ временемъ, порой величайшихъ противорѣчій, бури и натиска. Люди предаются разгулу и въ то же время преклоняются предъ добродѣтелью. Рядомъ съ глубокой, нѣсколько сентиментальной любовью къ природѣ слышится сарказмъ. Суевѣріе процвѣтаетъ на ряду съ наукой и просвѣщеніемъ. Въ аристократическихъ салонахъ, на ряду съ любезными аббатами появляются великіе мыслители, пламенные защитники правъ челоуѣка. И среди всѣхъ этихъ противоположностей крѣпнеть уже твердое, вѣтрающее въ себя среднее сословіе, готовя себѣ путь къ могуществу.

Представимъ себѣ салонъ времени Ancien Regime, въ немъ господствуетъ остроуміе, гости смѣются и шутятъ. Вдругъ появляется грубый плебей, лишенный свѣтскаго такта, но обладающій высокимъ аристократическимъ умомъ; онъ презираетъ это общество и хотѣлъ бы передѣлать жизнь по новому. Такое впечатлѣніе производилъ въ то время только что высту-

пившій въ литературѣ Жанъ Жакъ Руссо. Вольтеръ былъ въ западной Европѣ первымъ плебеемъ, пробившимъ себѣ дорогу въ свѣтское общество, но онъ еще продавалъ свой умъ за деньги. Руссо сдѣлалъ шагъ дальше. Онъ отказался отъ своего мѣста, пересталъ носить шпагу, шелковые чулки и парикъ, одѣлся въ костюмъ простолудина и сталъ зарабатывать хлѣбъ перепиской нотъ. Онъ былъ, по выраженію Бейганда, первымъ человѣкомъ демократическаго вѣка, начинателемъ новаго времени. Исторической наслѣдственности, традиціямъ вкуса, всему, что извратилось и исказилось въ теченіи вѣковъ, онъ противопоставилъ естественныя формы, отвѣчающія требованіямъ разума. Его борьба противъ сословныхъ различій является прелюдией къ революціи. „Какъ чудовищны всѣ эти предразсудки. Я не знаю другого постыднаго неравенства кромѣ неравенства характера или воспитанія. Человѣкъ честный по своимъ убѣжденіямъ равенъ всему міру. Нѣтъ такого общественнаго положенія, въ которомъ онъ не былъ бы на своемъ мѣстѣ. Лучше пренебречь знатностью, чѣмъ добродѣтелью, и жена угольщика почтеннѣе любовницы князя“. Вотъ слова, обозначающія наступленіе общественнаго переворота.

„Новая Элоиза“ вышла въ свѣтъ въ 1761 году. Тринадцать лѣтъ спустя послѣдовалъ „Вертеръ“ молодого титана Гете. Свободолюбивый духъ Гете почувствовалъ себя какъ въ тюрьмѣ среди перегородокъ общества. Онъ возстаетъ противъ всякой условности, противъ всякаго подчиненія общественной іерархіи, противъ неподвижныхъ и пошлыхъ предписаній благоустроеннаго общественнаго быта. Вертеръ возмущается противъ насилія во всѣхъ видахъ: „Можно много сказать въ защиту всякихъ законовъ свѣта т. е. приблизительно то же, что можно сказать вообще въ похвалу общества“. Онъ смѣется надъ филистерами, которые ежедневно ходятъ гулять по одному и тому же размѣренному пути. Вступивъ въ свѣтское общество, онъ видитъ въ немъ ханжество и жалкія страсти, „которыя къ тому же ходятъ нагишемъ“. И это самое общество его оскорбляетъ и съ позоромъ изгоняетъ изъ своей среды: „мастеровые хоронили его, и не было священника за его гробомъ“.

Вскорѣ послѣ того выступаетъ молодой Шиллеръ со своими первыми произведеніями. Въ нихъ объявлялась война всѣмъ основамъ человѣческаго общества; это своего рода революціонные манифесты, и если бы они пѣялись впервые теперь, никакой придворный театръ не поставилъ бы ихъ. Во второмъ изданіи „Разбойниковъ“ изображенъ былъ въ видѣ виньетки разъяренный левъ,



Франческо Гоѣ

Гойя: *Мѣхъ осыпая.*

бросающийся впередъ, и надъ нимъ надпись: „In Tyrannos“. Въ этой картинкѣ отразилось глубокое революціонное настроеніе той эпохи: „Меня тошнитъ отъ этого чернильнаго вѣка, когда я читаю о Плутархѣ и о великихъ людяхъ. Позоръ жалкому вѣку кастратовъ, умѣющихъ только пережевывать подвиги прошлыхъ вѣковъ. Будь только возможна теперь армія людей, подобныхъ вамъ, мужи Плутарха, и Германія стала бы республикой, противъ которой Римъ и Спарта казались бы женскими монастырями“. „Фіеско“ названъ уже въ заглавіи „республиканской трагедіей“. „Коварство и любовь“ обличаетъ тлѣнъ и порчу нравовъ современнаго Шиллеру обществу. Можно легко прослѣдить — Брандесъ указываетъ это въ своихъ „Основныхъ теченіяхъ“, — какъ въ литературныхъ произведеніяхъ того времени падаетъ господствовавшій въ предыдущемъ вѣкѣ интересъ къ отвлеченнымъ идеямъ, къ жизни чувствъ, и какъ вмѣсто него выступаютъ и растутъ новые идеалы религіознаго, политическаго и общественнаго строя. Писатели становятся смѣлыми борцами. Всѣ они ведутъ освободительную войну противъ закоснѣлой традиціи, нѣкоторые только въ области поэзіи, другіе во всѣхъ областяхъ духовной жизни.

Они произнесли первые боевой кличъ революціи: „свобода, равенство и братство“, и слова эти взорвали старый строй, создали демократическій вѣкъ. Они же положили начало новому вѣку тѣмъ, что утратили вѣру въ загробную жизнь.

По странной случайности, единственнымъ въ то время художникомъ, равнымъ литературнымъ Прометеемъ — молодому Гете и молодому Шиллеру, — былъ живописецъ, родившійся въ наиболѣе отсталой, почти средневѣковой странѣ Европы — въ Испаніи. Сравнительно съ прежнимъ испанскимъ искусствомъ, болѣе католическимъ чѣмъ само католичество, преисполненнымъ рыцарскаго и мистическаго духа, творчество Гойи самый рѣзкій поворотъ, который только можно себѣ представить. Переходъ отъ живописи Реласа (Roelas), Коланта (Collantes) и Мурильо къ Гойи ничѣмъ не былъ подготовленъ. *Франциско Гойя* (Francisco Goya) проповѣдывалъ ингилизмъ въ религіозной странѣ. Онъ все отрицаетъ, ни во что не вѣритъ, ничего не ожидаетъ, даже отъ мира и свободы, которыхъ такъ страстно жаждалъ. Въ старинное испанское искусство, питавшееся религіей и догматами, онъ внесъ отрицаніе и сарказмъ. Это не дерзкій смѣхъ необузданнаго юноши надъ академіей, не пустая угроза напудреннымъ парикамъ академиковъ. Въ творчествѣ



Гойя: Маха безъ платья.

Гойя проявляется духъ современности, которая начала сомнѣваться во всемъ, чему до того поклонялась. Его церковныя картины лишены благочестиваго настроенія и его гравюры полны насмѣшекъ надъ всѣмъ, что прежде считалось святымъ. Онъ смѣется надъ патерами и монахами, надъ одеждой священника, скрывающей человѣческія страсти. Испанское искусство, которое началось слѣпымъ благочестіемъ, становится въ лицѣ Гойя революционнымъ, свободнымъ, новымъ.

Гойя во всѣхъ своихъ произведеніяхъ человѣкъ новаго вѣка—безпокойная возбужденная натура, нервный какъ декадентъ, полный темперамента. Стиль его портретовъ, композиція, освѣщеніе, манера — все это говоритъ понятнымъ языкомъ нашему времени, и вліяніе Гойя на многихъ современныхъ художниковъ несомнѣнно. Гойя одна изъ самыхъ привлекательныхъ фигуръ начала вѣка. Смѣлость и оригинальность, многосторонность и фантастичность, тонкая наблюдательность, и мощный творческій духъ Гойя привлекаютъ и поражаютъ въ его картинахъ и гравюрахъ сочетаніемъ странности и оригинальности. Его творенія будутъ всегда занимать умъ, какъ тревожныя згадки. Его произведенія, нѣжныя или смѣлыя, ясныя или мрачныя, но всегда трепещущія отъ полноты жизни, никогда не утратятъ своего обаянія. Передъ картиной Гойя, даже передъ любимъ его наброскомъ, нельзя оставаться равнодушнымъ.

Онъ родился въ одной деревушкѣ въ Арагонской провинціи въ 1746 году, и былъ сыномъ мелкаго поселяннина. Четырнадцать лѣтъ, послѣ того, какъ онъ уже рисовалъ фрески въ церкви своей родины, онъ поѣхалъ учиться въ Сарагоссу, и тамъ, дерзкій и страстный по природѣ, сдѣлался среди товарищей героемъ всевозможныхъ увеселеній и крупныхъ дракъ. Безпокойный, вѣчно занятый приключеніями, онъ не поддавался никакому правильному воспитанію, перевернулъ все вверхъ дномъ въ мастерской своего учителя, работалъ, когда могъ, дрался на шпагахъ, когда хотѣлъ, замышлялъ мрачныя планы освобожденія, исчезалъ, снова появлялся, влюблялся, спасался бѣгствомъ отъ инквизиціи, которая его розыскивала, и, наконецъ, бѣжалъ изъ Мадрида. Такимъ онъ былъ въ двадцать лѣтъ, и такимъ остался на всю жизнь.

Италія, куда онъ бѣжалъ изъ за одной дуэли, его не измѣнила. Тамъ пошли новыя любовныя интриги. Онъ дрался на дуэли, убилъ противника, самъ былъ раненъ, много веселился, много учился, смотрѣлъ и восторгался, но мало



Гойя: Изъ „Капричио“.

писалъ и, главное, мало копировалъ. Этой лѣтъ онъ былъ обязанъ тѣмъ, что искусство прошлаго не наложило на него цѣпей. Онъ зналъ не много, но тѣмъ, что онъ зналъ, обязанъ былъ только себѣ. Онъ любилъ старыхъ мастеровъ, но совершенно платонически. Пронзеденія ихъ не сбивали его съ его собственного пути. Этимъ объясняются его качества и особенности, странная смѣсь обязательной прелести и очевидныхъ недостатковъ, тонкости и грубости, изысканности и неужества. Онъ также пріятеленъ, какъ и слабъ, гениаленъ и неровенъ. Но именно такимъ Гойя и нравится. При большемъ порядкѣ и мѣрѣ, потеряли бы его хорошія картины; онъ утратилъ бы непосредственность, живость и оригинальность и впалъ бы въ сонную посредственность. Такой, какъ онъ есть, онъ вполне сынъ своей родины. Съ головы до ногъ это испанецъ

XVIII вѣка, сынъ павшей Испаніи, умершей отъ малокровія. Въ теченіи цѣлыхъ столѣтій надъ испанской жзнью тяготѣло тяжелое облако, заслонявшее всякую радость, и только изрѣдка, при грозномъ сверканіи молній, появлялись изъ за него неясные образы мрачныхъ деспотовъ, больныхъ аскетовъ и молчаливыхъ мучениковъ. Всѣ свѣтскія влеченія были подавлены, всякая чувственная радость запрещена. Люди проводили цѣлыя ночи въ изученіи кровавыхъ исторій и страшныхъ пророчествъ Ветхаго Завета, внимая грозному голосу гнѣвнаго Божества; въ ихъ собственномъ сердцѣ пробуждалось вдохновеніе вѣщателей, и религиозныя галлюцинаціи потрясали ихъ возбужденныя тѣла. Когда началась художественная дѣятельность Гойя, мрачная страна инквизиціи сдѣлалась легкомысленной. Дыханіе революціи коснулось умовъ. Опьяняющій воздухъ мірской радости проникъ повсюду, даже въ монастыри. Боги французскаго Олимпа въ стилѣ рококо внесли смуту въ христіанскій рай. Испанія перестала вѣрять, смѣялась надъ инквизиціей и уже не дрожала отъ страха, когда ей угрожали наказаніями ада. Она сдѣлалась легкомысленной, шаловливой, полной жизни, радостной, граціозной и веселой. Розовые и голубые пастушки Трианона вступили въ мрачный дворъ Аранхуэца. Литература, вкусъ и искусство прониклись французскимъ вліяніемъ, парижскими нравами, и тотъ же глухой подземный ударъ, отъ котораго дрожала Франція, долженъ былъ потрясти и престолъ Испаніи.

Все это наложило отпечатокъ на творчество Гойя. Но какъ и всякій великій художникъ, онъ не только отразилъ свою эпоху, но и былъ ея вожакомъ, воз-

вѣщавшимъ о грядущихъ временахъ. Онъ, какъ Янусъ, стоитъ на границѣ двухъ столѣтій, между двумя мірами. Гойя послѣдній изъ старыхъ мастеровъ и первый изъ новыхъ, даже въ томъ особомъ смыслѣ, который мы придаемъ теперь этому слову.

Ему поручили изготавить рисунки для испанской королевской фабрики ковровъ, и онъ вступилъ, благодаря этому въ сношенія со дворомъ; въ 1780 году онъ сталъ членомъ академіи Санъ - Фернандо, въ 1786 г. королевскимъ живописцемъ съ жалованіемъ въ 12500 франковъ, а вскорѣ послѣ того — директоромъ Мадридской Академіи. Это былъ самый комичный директоръ академіи, какого только можно было себѣ представить. Гойя — крестьянинъ съ бычачьимъ затылкомъ, сильный какъ матадоръ — принужденъ былъ жить при испанскомъ дворѣ среди изнервленныхъ потомковъ вырождающейся аристократіи, съ болѣзненными усталыми чертами лица, безмолвно влачащими жизнь преждевременными стариками. Понятно, что онъ сталъ любимцемъ женщинъ. Его ненавидѣли придворные за злыя остроты, мужья боялись его за вѣчныя любовныя интриги, всѣ остерегались его, какъ лучшаго мадридскаго дуэлиста, который съ тѣмъ же спокойствіемъ брался за шпагу, какъ мы закуриваемъ папироску. Изучая его произведенія, нужно помнить, чѣмъ онъ былъ въ жизни.

Гойя былъ слишкомъ большимъ скептикомъ, чтобы относиться съ благоговѣніемъ къ тому, во что онъ болѣе уже не вѣрилъ. Его талантъ былъ слишкомъ современенъ для того, чтобы онъ могъ увлекаться отвлеченностями религіи. Его Распятіе въ музеѣ Прадо просто скучно, это плохой академической этюдъ. Въ фрескахъ въ Санъ Антоніо-де-ла-Флорида около Мадрида есть красивыя подробности, много движенія, граціи и остроумія. Нѣкоторые ангелы сидятъ очень непочтительно и съ вызывающимъ смѣхомъ разставляютъ ноги à la Тьеполо. На центральной картинѣ святой Антоній Падуанскій воскрешаетъ мертвеца. Болѣе всего художника интересовали зрители происшествія. На балюстрадѣ, которая тянется вокругъ мѣста зрѣлища, онъ изобразилъ прелестныя личики знакомыхъ придворныхъ дамъ. Онѣ кокетливо опираются локтями на балюконъ и смотрятъ внизъ. Ихъ полныя мягкія руки многозначительно играютъ вѣеромъ; тяжелые локоны спускаются съ открытыхъ плечъ; страстные глаза манятъ своимъ блескомъ; томная улыбка играетъ на чувственныхъ губахъ.



Гойя: Имя „Киприччіо“.



Гойя: Изъ „Каприччіо“.

тогда, когда это ему нравилось. Въ портретахъ королевской семьи есть нѣчто безнадежно плебейское. Онъ былъ недостаточно серьезенъ, слишкомъ мало владелъ официальнымъ тономъ, чтобы писать придворныя картины. Онъ какъ будто едва удерживается отъ смѣха, глядя на чопорную ничтожность своихъ моделей. Ему досадно, что онъ долженъ изображать знатныхъ особъ въ величественныхъ позахъ, вмѣсто того, чтобы они, какъ ангелы на фрескахъ Сантъ Антоніо, раскидывали ногами и прыгали черезъ перила. Королева Марія Луиза имѣетъ комичный видъ, а члены семьи Карла Четвертаго походятъ на лавочниковъ, получившихъ большой выигрышъ въ лоттерей и нарядившихся для фотографа. Но когда его интересовала работа — все мѣнялось. На парижской выставкѣ 1885 года выставленъ былъ портретъ молодого человека въ сѣромъ костюмѣ, превосходящій своей граціозностью Гэнсборо. Съ какой изысканной небрежностью стоитъ этотъ молодой щеголь, напоминающій позой и костюмомъ *incroyable* Карла Верне. Съ какимъ равнодушіемъ относится онъ къ жизни, довольный уже тѣмъ, что къ нему идетъ его костюмъ. Удивительная гармонія сѣрыхъ тоновъ передана съ гармоничностью Гэнсборо. Гойя, рѣзкій и порывистый въ торжественныхъ портретахъ, здѣсь, измѣняясь какъ Протей, писалъ мягкими, нѣжными, вкрадчивыми тонами. Кажется иногда, что онъ сочетаетъ Прудона и Греза съ манерой Веласкеза.

Еще болѣе обаятеленъ Гойя въ своихъ портретахъ молодыхъ дѣвушекъ, когда онъ самъ поддавался очарованію своихъ моделей. Его инфанта донна Марія Іозефа (Прадо) и двѣнадцатилѣтняя королева Изабелла Сицилійская (Се-

Нѣкоторыя изъ красавицъ какъ будто только что поднялись съ постели, ихъ яркія шелковыя платья, помяты. Одна приглаживаетъ волосы, разсыпавшіяся на ея нѣжной груди, другая разстегиваетъ томнымъ и разсѣяннымъ движеніемъ рукавъ, и среди глубокихъ мягкихъ складокъ обнажается бѣлоснѣжная рука. Въ этой церковной картинѣ много вызывающаго и блестящаго. Одинъ изъ ангеловъ, представленный въ очень рискованной позѣ, является по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ портретомъ знаменитой своими приключеніями герцогини Альба.

Въ своихъ портретахъ Гойя тоже очень неровенъ. Онъ сталъ моднымъ придворнымъ живописцемъ, писалъ портреты политическихъ дѣятелей, ученыхъ, знатныхъ дамъ, актрисъ, всякихъ знаменитостей того времени. Онъ написалъ болѣе двухсотъ портретовъ, но писалъ хорошо лишь

вилья)—удивительные портреты; въ нихъ оживаетъ непри-
нужденность и грація цвѣту-
щей юности, вся поэзія полу-
дѣтскаго возраста, благодаря
нѣжности влюбленного худож-
ника. Увлеченный красотой, онъ
забываетъ иронию и думаетъ
только о большихъ открытыхъ
бархатныхъ глазахъ, о розо-
выхъ губахъ, о тепломъ коло-
ритѣ лица, изящной тонкости
нѣжной молодой шеи, которая
поднимается мягкими очерт-
аніями надъ плечами. Также хо-
рошъ двойной портретъ Махи
въ академіи Санъ Фернандо.
Молодая дѣвушка изображена
сначала въ платьѣ, потомъ
обнаженной,—образа въ одной
и той же позѣ: въ картинѣ
много своеобразной чувстви-
тельной прелести. Неумѣлый сар-
казмъ его officialныхъ пор-
ретовъ здѣсь безсѣдно исче-
заетъ, мы видимъ въ художни-
кѣ внимательнаго созерцателя;
онъ съ увлеченіемъ рисуетъ
гармоничныя линіи сіяюща-
го красотой обаятельнаго мо-

лодого тѣла. Прозрачныя одежды на тѣлѣ первой Махи позволяютъ догады-
ваться о томъ, что скрыто подъ ними. На второй картинѣ обнаженное тѣло поетъ
торжественную пѣснь плоти. Рисунокъ твердъ, моделировка чрезвычайно нѣжна.
Вздрагивающая грудь, тонкія ноги, плутовскіе глаза, нервное тѣло цвѣта слоно-
вой кости, бѣлоснѣжное ложе,—все дышетъ чувственностью и радостью.

Въ подобнаго рода картинахъ Гойя вполнѣ живописецъ нашего времени;
независимо отъ всѣхъ правилъ прошлаго, онъ отдается собственному впечат-
лѣнію. Чары природы покорили его самого,—и подъ ихъ обаяніемъ онъ создаетъ
долговѣчныя произведенія, въ которыхъ чувствуется могучее дыханіе жизни.
И тѣмъ еще Гойя художникъ новаго вѣка, что подобно всѣмъ современнымъ
художникамъ, онъ ищетъ новыхъ сочетаній колорита и свѣта.

Очень характерны для измѣнившихся воззрѣній времени его наброски для
знаменитыхъ ковровъ въ церкви Санта Барбара. Это его первая работа
въ Мадридѣ. Декоративная сторона ихъ очень не совершенна. Двѣ или три хо-
рошенькія молодыя дѣвушки съ большими черными влажными глазами, кое
какія красивыя подробности, нѣсколько людей, несущихъ раненыхъ—все это
недостаточно вознаграждаетъ за тяжесть композиціи и колорита. Но чрезвычайно
ново и важно, что Гойя здѣсь имѣлъ смѣлость пользоваться сценами изъ
народной жизни для декоративной живописи, въ то время какъ повсюду еще
съ этою цѣлю изображались только условно живописныя *fêtes champêtres*.

Въ картинахъ масляными красками онъ еще далѣе пошелъ по этому пути.



Гойя: Изъ „Капричио“.



Гойя: Пиз „Каприччио“.

„Жнецы“ „Возвращение съ рынка“, „Наладение разбойниковъ на обозъ“—самыя пикантныя и яркія изъ картинъ. „Ромея въ С. Исидоръ“, полна такой искрающейся, трепещущей жизни, какъ картины новѣйшихъ импрессионистовъ. Нѣсколько красочныхъ пятенъ, нѣсколько твердыхъ бѣшенныхъ ударовъ кисти, и сразу шествіе движется впередъ, группы идутъ своимъ путемъ какъ, напр. въ удивительномъ эскизѣ „Погребеніе“ въ академіи С. Фернандо. Молодая пары кружатся въ бѣшеномъ танцѣ, копыта торреадоровъ заливаютъ кровью песокъ арены.

Такому избытку фантазіи медленная живопись маслянными красками не могла удовлетворить. Гойя нуждался въ болѣе быстромъ средствѣ, которое дало бы ему возможность все высказать. Онъ сталъ изготовлять безчисленные гравюры, прославившія его еще до того, какъ съ немъ, начали цѣнить живописца. Таковы „Каприччио“, „Бѣдствія войны“, „Бои быковъ“, „Плѣнники“. Въ этихъ фантастическихъ картинахъ онъ излил накопившіяся въ его возбужденной, озлобленной душѣ чувства презрѣнія, ненависти, разочарованія, гнѣва. Гравировальная игла была его отравленной стрѣлой; ею онъ поражалъ все, что ему было ненавистно: деспотизмъ, суевѣріе, интриганство, супружескую измѣну, продажную красоту и честь, надменность знатныхъ и унижительное подобострастіе низшихъ. Изъ всѣхъ пороковъ своего времени онъ сдѣлалъ страшную и веселую гекатомбу Тотъ, кто былъ имъ приговоренъ къ позорному столбу, становится отмѣченнымъ на вѣки. Ни одна его черта, тѣлесная или нравственная, уже не могла быть забытой. Къ тому же онъ продѣлывалъ все это такъ остроумно, что его жертвы не рѣшались жаловаться.

Въ свойственномъ ему бурномъ тонѣ онъ пробовалъ представить живописныя стороны испанской жизни, дома и на улицѣ. Самыя ужасающія вещи, какъ напримѣръ, двѣ большія, написанныя дикой широкой манерой картины удушія изъ времени французскаго нашествія, чередуются съ изображеніемъ самыхъ обыденныхъ и веселыхъ происшествій. Все написано подъ впечатлѣніемъ видѣннаго быстрыми штрихами и дѣйствуетъ на зрителя со всей непосредственностью эскизовъ, писанныхъ съ натуры. Крупными, поспѣшными мазками написаны чередующіяся передъ нами шумныя сцены общественныхъ празднествъ, на улицахъ и въ циркахъ, процессіи, бои быковъ, разбойники, зачумленные, битвы, народные типы, любовныя сцены—и все это по тонкости наблюденія напоминаетъ Менцеля. „Махи на балконѣ въ галлерей Монпансье“, „Завтракъ на лугу“, „Цвѣточница“,

Уже въ „Каприччіо“ Гойя въплотѣ оригиналенъ — онъ не имѣетъ предшественниковъ въ исторіи искусства. Сатирическіе намеки на суевѣріе народа, злые нападки на аристократію, на министровъ, на общественныя условія, неслыханныя выходки противъ королевской власти, религіи и ея догматовъ, безжалостныя сатиры противъ инквизиціи и монашескихъ орденовъ наполняютъ эту странную книгу. Едва она появилась въ 1796 году, какъ инквизиція захватила ее. Но Гойя отклонилъ ударъ тѣмъ, что повѣсилъ свою книгу королю.

Уже въ этой книгѣ Гойя отнесся къ гравировальному искусству, какъ живописецъ и колористъ. Очертанія намѣчены лишь легкими смѣлыми штрихами. Затѣмъ выступаетъ aquatinta, краска, покрывающая фонъ и дающая глубину, на которой выступаетъ свѣтъ. Нѣсколько царапинъ иглой, черное пятно, свѣтъ, созданный мастерскимъ пользованіемъ бѣлыми просвѣтами—этого достаточно, чтобы придать его фигурамъ жизнь и характеръ.

„Бѣдствія войны“ задуманы болѣе серьезно. Въ нихъ чувствуется отголосокъ тѣхъ страшныхъ сценъ, которыя разыгрывались въ Испаніи во время французскаго вторженія и славы Наполеона. Отдѣльныя гравюры достойны сравненія съ лучшими произведеніями Рембрандта, единственнаго среди прежнихъ художниковъ, предъ которымъ Гойя благоговѣлъ. Всѣ слѣдующія серіи, „Бой быковъ“, „Пословицы“, „Плѣнники“, „Фантастическіе ландшафты“ указываютъ на долгое изученіе великаго голландскаго мастера. Особенно знамениты семнадцать новыхъ листовъ, которые онъ присоединилъ къ „Бѣдствіямъ войны“ въ 1814 году, ко времени возвращенія Фердинанда VII. Это политическое и философское завѣщаніе стараго свободолюбца и смѣлаго мыслителя, послѣдняя упорная борьба за все, что онъ любилъ, противъ всего, что онъ ненавидѣлъ. Съ рѣзкимъ сарказмомъ и святымъ гнѣвомъ онъ борется противъ интригъ и лицемѣрія обскурантовъ, которые хотятъ подавить прогрессъ и свободу мысли. Съ бѣшенствомъ нападаетъ онъ на королей, священниковъ и магнатовъ, и стрѣлы его сарказма его настолько же мѣткі, на сколько ядовиты. Трудно себѣ представить, что гравюра подъ названіемъ „Nada“ (Мертвецъ поднимается изъ могилы и мертвымъ пальцемъ пишетъ: „nada“, т. е. ничего) — этотъ смѣлый кличъ предвосхищеннаго нигилизма, брошенный въ лицо средневѣковому обскурантизму, — написана испанцемъ XVIII вѣка.

Повсюду одинаковая ненависть къ тиранамъ, къ общественной несправедливости, человѣческой глупости и тоже безнадежное стремленіе къ смутному идеалу свободы и правды. Эти картины далеки отъ вкрадчивой смоч-



Гойя: Портретъ женщины художника.



Гойя: Изъ „Напирчиччо“.

ности Калло, отъ буржуазнаго пессимизма Гогарта. Гойя болѣе неумолимъ и рѣзокъ, его фантазія поднимается на болѣе широкихъ крыльяхъ и выше летитъ. Онъ видитъ страшные образы во снѣ, смѣхъ его горькій, гнѣвъ желчный. Онъ мятежникъ, скептикъ, ингилистъ. Его „Скандаліная хроника“ была эпипеей того времени. Понятно, что такой чеповѣкъ пересталъ чувствовать себя въ Испаніи, какъ дома, и въ концѣ жизни добровольно отправился въ изгнаніе во Францію.

И здѣсь, въ странѣ революціи, искусство все болѣе освобождалось въ началѣ вѣка отъ переживаній Возрожденія и вступало на новыи путь, по которому въ XVII вѣкѣ пошли голландцы и вскорѣ послѣ того англичане.

Все, что до конца XVII вѣка создавалось въ Парижѣ, выходило изъ Италіи времени Льва X. Свѣтъ итальянскаго Возрожденія проникъ во Францію со времени призванія туда

Росси Приматичіо. Римъ былъ колыбелью Симона Вуэ и Пуссеиа. Художники стремились превзойти богатствомъ украшеній и смѣлостью линій итальянцевъ, которыхъ они изучали частью въ Римѣ, частью въ замкѣ Фонтенебло, — этомъ отдѣленіи Рима. Къ этому времени относятся расположенныи этажами изображенія святыхъ Лебрена съ ихъ изящными и театральными движеніями, пышными одеждами, стройными ногами и величавыми жемами. Всѣ Олимпъ, всѣ святые и герои призывались для славословія великаго короля. Когда хотѣли превозносить его подвиги, то на картинахъ изображался Киръ или Александръ Великій. Люди XVII вѣка не существовали для живописцевъ. Лебреи и Миньяръ, наслѣдники римской культуры, носились надъ жизнью, не замѣчая ея. Ихъ идеалы устарѣли на сто пятьдесятъ лѣтъ и были искусными повтореніями образцовъ cinquecento.

Но великій король умеръ, и съ нимъ умерли и традиціи Возрожденія. Старое время отжило, и новое начинало заявлять о себѣ. Величавое, чопорное и пышное стало утомлять зрителей послѣ шестидесяти лѣтъ своего блеска и господства въ искусствѣ. Король—солнце умеръ, и солнце итальянскаго Возрожденія зашло. Французское общество свободно вздохнуло. Придворная пышность стала уже тягостной церемоніей, монархическій принципъ невыносимымъ бременемъ. Со смертью Людовика XIV исчезъ кошмаръ, давившій общество исчезла скука, исходившая изъ Версальскаго дворца. Свѣтъ и веселье стали царить въ салонахъ. Всѣ сбросили съ плечъ тяжкую величавость, покинули

пышные дворцы, приобрѣли маленькіе отели въ Булонскомъ лѣсу; послѣ долгихъ страданій всѣ хотѣли жить весело, молитвы и пышный этикетъ всѣмъ наскучили. Проснулась жажда жизни. Древніе храмы и богини Пуссэна сданы были въ архивъ вмѣстѣ съ благочестивыми мучениками, убивающими плоть, съ выдуманнымъ героизмомъ, пышностью и блескомъ богослуженія и угодничества передъ королемъ. Ихъ замѣнили культъ женщины и соломенная кровля сельской хижины, лѣса, гдѣ можно потеряться въ глуши и обмѣниваться поцѣлуями, нѣжное тѣло, маленькіе носики, все, что вызывало трепетъ наслажденія и вознаграждало за прежній холодъ и чопорность. Позвонкомъ жизни стала любовь.

Такимъ было настроеніе во Франціи, когда умеръ Людовикъ XIV, а въ Голландіи уже выросъ тотъ, кому суждено было воплотить эти мечты, разбить единовластіе боговъ, героевъ и королей и показать знатному обществу его собственное обаятельное отраженіе въ зеркалѣ искусства.

Антуанъ Ватто. (Antoine Watteau), который повернулъ теченіе французскаго искусства въ это новое—голландское—русло, былъ по рожденію и по воспитанію фламандецъ. Онъ родился въ Валансьенѣ, и хотя этотъ городъ принадлежалъ Франціи со времени Нимфенбургскаго мира, онъ по своему характеру былъ вполне фламандскимъ городомъ. Тамъ Ватто увидѣлъ въ церквахъ первыя картины Рубенса и воспитывался подъ руководствомъ Герена въ старофламандскихъ традиціяхъ. Рубенсъ и Теньерсъ были первыми мастерами, вдохновлявшими Ватто. Въ тѣ годы, когда испанская война за нѣслѣдство превратила французскія пограничныя страны въ большой военный станъ, онъ рисовалъ солдатъ и лагерныя сцены, какъ напримѣръ „Маршъ“ (въ галлерей Эдмунда Ротшильда), отрядъ рекрутовъ, поднимающихся въ гору подъ грозой. Потомъ онъ сталъ изображать крестьянскія сцены въ „духѣ Теньерса, какъ напримѣръ гравированная, Шеделемъ картина „Возвращеніе изъ кабака“: живописная мѣстность, направо у стола пируетъ группа крестьянъ, другіе же пьяные мужчины и женщины ухажать домой. Людовикъ XIV уже произнесъ передъ картинами Теньерса свою знаменитую фразу: „Уберите этихъ чучель“ (Otez moi ces magots). Теперь чучело, благодаря Ватто, воцарилось во французской живописи. Уже на главной его картинѣ, „Истинное веселье“, изображены типичныя Теньеровскія фигуры. Мужчины приземисты и угловаты, совершенные фламандцы по типу; только костюмы измѣнены по модѣ. Женщины же совершенно утратили фламандскій характеръ:



Гойя: Изъ „Капричіо“.



Франческо Гойя.

и замѣнилъ обитателей Олимпа типами итальянской и французской сцены. Рубенсъ въ своихъ „Садахъ любви“ дрезденской и мадридской галлерей первый сталъ призывать къ отплытію на островъ Киприды. Ватто заимствовалъ кое-что у всѣхъ своихъ учителей и все таки не походилъ ни на одного изъ нихъ. Прежде онъ бралъ свои типы съ улицы, изъ солдатскихъ лагерей, потомъ перешелъ къ изображенію „галантныхъ пировъ“— „fêtes galantes“,—сталъ живописцемъ „общества“. Въ его пастухахъ и пастушкахъ изображено элегантно общество Франціи. Боги Олимпа, въ которыхъ болѣе никто уже не вѣрилъ, надѣваютъ костюмы Арлекина и Коломбины. Величіе и паеосъ замѣнились миниатюрностью, беззаботной веселостью, привлекательностью и изяществомъ. Нарушается архитектурная симметрія картинъ, ландшафты перестаютъ быть декораціями; то, что прежде размѣрялось циркулемъ, становится свободнымъ и легкимъ, также какъ ораторскіе періоды Буало превратились въ рукахъ Вольтера въ сильныя, непринужденно сверкающія фразы. Творчество Ватто—побѣда естественности надъ манерностью, которая господствовала во французскомъ искусствѣ XVII вѣка, основанномъ на итальянскомъ Возрожденіи. Въ одномъ старомъ стихотвореніи говорится:

Parée à la Française, un jour Dame Nature
Eut le désir coquet de voir sa portraiture.
Que fit la bonne mère? Elle enfanta Watteau.

Ватто былъ для французскаго искусства тѣмъ же, чѣмъ за сто лѣтъ до того Рубенсъ былъ для фламандскаго—его освободителемъ отъ тягостнаго итальянскаго ига. Въ созданномъ имъ новомъ мірѣ, гдѣ нѣтъ нагихъ богинь, гдѣ корсетъ раскрывается лишь на столько, чтобы показать нѣжность груди, уже

чистенькіе чепчики и опрятныя косынки, свѣже выглаженные переднички и хорошенькія ножки, такъ легко и быстро шагающія по пыли, что на нихъ совершенно не остается грязи—все это придаетъ поселянкамъ нѣчто привлекательное и составляетъ прямой переходъ къ французской граціи. Изящныя движенія и хорошенькія головки уже обличаютъ въ Ватто будущаго неподражаемаго изобразителя женскаго кокетства.

Жилло и Рубенсъ повели его по этому новому пути. Теньеровскій характеръ его картинъ совершенно исчезаетъ; фигуры становятся граціозными и благородными. Въмѣсто прежнихъ „tagots“—изящное французское общество. Жилло былъ первый живописецъ, порвавшій съ торжественнымъ стилемъ Людовика XIV. Онъ началъ изображать веселую жизнь актеровъ

не осталось ничего отъ прошлаго. Это уже не древняя красота, не пластическая холодность Венеры Милосской, не марморное совершенство Рафаэлевской Галатеи. Въ этихъ нѣжныхъ женскихъ рукахъ, въ этихъ кружевныхъ рукавахъ, изъ которыхъ томно выглядываютъ бѣлоснѣжныя руки, въ тонкихъ таліяхъ и ямочкахъ на подбородкѣ, есть нѣчто кокетливое, тонкое, одухотворенное, превышающее физическую красоту. Юноши Ватто стройны и гибки, женщины неподражаемы со своей тонкой плутовской улыбкой и очаровательными прилическами. Его благородный вкусъ въ костюмахъ дѣлалъ его руководителемъ моды. Таинственные ландшафты, дышавшіе спокойствіемъ и счастьемъ, разстилаются вокругъ. Эдмондъ де-Гонкуръ справедливо называлъ Ватто лирикомъ, великимъ поэтомъ XVIII вѣка.



Гойя: Махи на балконѣ.

Дальнѣйшее развитие французскаго искусства имѣетъ тотъ же характеръ. Портретная живопись утрачиваетъ свой напыщенно парадный характеръ; люди хотятъ быть не церемоніймейстерами, а людьми. Создается новый роль живописи—пастели; только онѣ могутъ передать своеобразный ароматъ этихъ нѣжныхъ цвѣтковъ, очаровательность этихъ созданий во вкусъ рококо;—дамъ съ напудренными слегка волосами и влажными мечтательными глазами, какъ ихъ изображали Морисъ Латуръ, Розальба Карьера, и нѣсколько позже швейцарецъ Лютаръ.

Изъ живописцевъ, которые по примѣру Ватто стали изображать интимную жизнь знатнаго общества, никто не могъ сравниться по тонкости съ этимъ національнымъ гениемъ. *Ланкрэ* (Lancré) и *Патеръ* (Pater) подражали ему въ болѣе грубой, сухой и трезвой манерѣ. Ланкрэ кажется на ряду съ Ватто неуклюжимъ и грубоватымъ. Патеръ болѣе изященъ, но и онъ только поверхностный виртуозъ. Имъ обоемъ недостаетъ въ жизни и въ искусствѣ поэтической одухотворенности Ватто. Ватто заставляетъ вполне вѣрить, что эти граціозныя созданія, стройные нервные юноши, кокетливыя и вмѣстѣ съ тѣмъ прекрасно воспитанныя женщины вполне соответствуютъ оригиналамъ изъ знатнаго общества. Изъ картинъ же учениковъ Ватто часто выглядываютъ



Антуанъ Ватто.

наемные натурщики и натурщицы, имъ не идутъ изящныя костюмы. Эти танцоры, охотники и свѣтскія барышни не совѣтъ то, что они должны изображать. Но, если забыть о Ватто, то эти французскіе говоруны кажутся необычайно привлекательными. Какъ они граціозны и прирожденно тактичны! Съ какой граціей и ловкостью они умѣютъ привлечь къ себѣ вниманіе и подняться высоко надъ той скукой, въ которой топтались съ природной тяжелоувѣсностью ихъ предшественники классической поры! До чего они сдѣлались легкими и свободными! Истинктивно и безъ всякаго усилія они замѣнили размѣренныя композиціи и правильныя формы классиковъ непринужденными жестами, изящными движеніями.

Даже декоративная живопись все болѣе и болѣе уклонялась отъ надоевшаго слѣдованія итальянцамъ. Франсуа Лемуанъ (François Lemoine) совершилъ съ помощью Губеиса поворотъ къ чисто французскому стилю, нарядному, пріятному для взора. Его ученикъ Франсуа Буше (François Boucher) послѣдовалъ его примѣру. Какъ всѣ художники XVIII вѣка, онъ широко пользовался мифологіей, бывалъ часто поверхностнымъ; въ своихъ позднѣйшихъ работахъ онъ болѣе манеренъ, чѣмъ въ началѣ. Очень важно для развитія французскаго искусства, что Буше давалъ своимъ ученикамъ совѣтъ не слишкомъ подражать великимъ итальянскимъ мастерамъ для того чтобы не стать „холодными какъ ледъ“. Онъ выказалъ себя великимъ реалистомъ въ многочисленныхъ рисункахъ и гравюрахъ и въ очаровательныхъ группахъ дѣтей съ пухлыми щечками; они играютъ въ облакахъ, на музыкальныхъ инструментахъ или стрѣляютъ изъ лука, обсыпаютъ цвѣтами. „Не всякій можетъ быть Бушъ“ сказалъ даже его великій противникъ Давидъ.

Въ творествѣ Фрагонара (Fragonard) воплотилась еще разъ жизнерадостность и легкомысліе, блестящая легкость талаита, обаятельная вкрадчивость и твердость французскаго искусства XVIII вѣка. Фрагонарь писалъ все. Его большія декоративныя картины были бѣглыми набросками, сверхающими полиотой жизни и вдохновеніемъ; на нихъ пастушескія сцены и будничныя происшествія смѣняются группами дѣтей, читающими жеищинами, игроками на гитарѣ. Фрагонарь игривый, умный живописецъ. Никто не изображалъ такъ часто, какъ онъ, поцѣлуи влюбленныхъ. Знаменита его гравюра „L'armoire“ (1778) гдѣ онъ уже стоитъ вполнѣ на твердой почвѣ народной жизни: крестьянинъ съ кнутомъ въ рукахъ открываетъ съ помощью жеиы дверцы огромнаго платянаго шкафа, куда спрятали красивый юноша. Рядомъ стоитъ хорошенка въ крестьянской дѣвушка и плачетъ отъ стыда, закрываясь передникомъ. Въ глубинѣ изумленные лица маленькихъ братьевъ и сестеръ.

Жанъ де Труа (Jean F. de Troy) позволялъ себѣ въ картинахъ большія вольности. Въ его „Объясненіи въ любви“ и „Подвязкѣ“ появляется фривольный тонъ, который въ послѣдствіи введенъ былъ въ моду Бодуэномъ. Но онъ господствовалъ лишь очень недолго. Жизнь начинала дѣлаться серьезной и въ этомъ можно убѣдиться, рассматривая гравюры того времени; въ болѣе старыхъ, еще относящихся къ расцвѣту стиля рококо, господствуютъ радость и веселье. Аристократія, наследница старой культуры, умѣла съ большой утонченностью превращать жизнь въ праздникъ. Шолковые шлейфы шуршатъ по паркету, несутся въ танцахъ шолковые сапожки, глаза горятъ, драгоценные камни сверкаютъ, бѣлая плечи вздрагиваютъ. Стройные кавалеры увлекаютъ легкихъ танцовщицъ. Всѣ весело болтаютъ.



Вампо: Настоящие все.и.

Женщины обмахиваются вѣерами. Мальтійскіе казалеры и аббаты, стоя за креслами, ухаживаютъ за дамами. Эта осень старой французской культуры была обяательно прекрасна для счастливыхъ, и эти счастливые умѣли пользоваться жизнью въ веселыхъ, феерически освѣщенныхъ венеціанскими люстрами покояхъ, гдѣ розовые амуры улыбаются съ высоты свѣтлыхъ, обведенныхъ золотомъ стѣнъ.

При Людовикѣ XVI французскій салонъ получилъ уже совершенно иной видъ. Его стѣны и вся архитектура стали болѣе мрачными. На потолкахъ еще играютъ боги любви, но они забыты, какъ духи прошлаго. Вокругъ колоннъ пусто, исчезли танцующія пары; праздничное настроеніе покинуло обширные покои: въ нихъ виднѣются только кое гдѣ бесѣдующія группы; мужчины играютъ въ карты, дамы читаютъ философскія книги. Соціальныя и политическія интересы стали болѣе всего занимать образованное общество. Въ пятидесятыхъ годахъ появились многочисленныя книги о торговлѣ и государственномъ устройствѣ. Въ гостинныхъ толковали и спорили о парламентахъ, іезуитахъ. Просвѣщеніе уже всюду одержало побѣду. Съ этимъ уже болѣе не гармонировало исканіе развлеченій. Это еще прежнее общество, но утратившее любовь къ удовольствіямъ. Уже чувствуется повсюду атмосфера 1789 года. Общество стало серьезнымъ и мрачнымъ, какъ бы предчувствуя грядущее. Оно стало добродѣтельнымъ, какъ будто бы это могло предотвратить событія, которымъ суждено было кореннымъ образомъ измѣнить всѣ условія общественнаго строя и быта Франціи.

Дидро былъ самымъ полнымъ выразителемъ этого измѣнившагося духа времени. Искусство тоже хотѣло сдѣлать добродѣтельнымъ и содѣйствующимъ улучшенію нравовъ. Поэтому Дидро сталъ защитникомъ сентиментальныхъ мелодрамъ въ искусствѣ и предпочиталъ ихъ пирамъ живописцевъ въ духѣ Рококо. Онъ бы хотѣлъ, чтобы Бушъ бралъ свои сюжеты изъ глубины обществен-



И. Грѣзъ.

ной курткой. Счастливое невѣдѣніе маленькаго савояра, который, стоя на церковной паперти, ѣсть кусокъ сыру или апельсинъ, гораздо ближе къ первобытному совершенству человѣка, чѣмъ хитроумная ученость остроумнѣйшаго изъ энциклопедистовъ. У этихъ благородныхъ первобытныхъ существъ надо искать тайны добродѣтелей; высшее сословіе ихъ утратило въ широкомъ потокѣ просвѣщенія. Такимъ образомъ, подъ прикрытіемъ философіи Руссо, третье сословіе вступило во французскій салонъ. У „человѣка изъ народа“ хотѣли научиться стать снова простыми, безпритязательными и добродѣтельными. По жестокой ироніи судьбы этотъ „человѣкъ изъ народа“ въ послѣдствіи, когда на Place de la Grève воздвигнуты были гильотины, оказался далеко не такимъ скромнымъ, кроткимъ и самоотверженнымъ, какъ это предполагало знатное общество.

Грѣзъ (Greuze)—представитель того момента французскаго искусства, когда закончился веселый карнавал рококо, и настало время поста и покаянія. Отъ искусства стали требовать не наслажденія, а поученія, исправленія людей, примѣровъ для назиданія и обращенія, для того, чтобы остерегаться нечестивыхъ. „Представить добродѣтель въ привлекательномъ свѣтѣ, порокъ въ отвратительномъ и уродливомъ—вотъ назначеніе всякаго порядочнаго человѣка, когда онъ беретъ въ руки перо, кисть или рѣзецъ“. Этими словами Дидро опредѣлили программу своего времени. Онъ бы хотѣлъ, чтобы злодѣй, попадая на художественную выставку, чувствовалъ угроженія совѣсти и прочелъ бы свой приговоръ, глядя на картины.

„Если онъ очутится на выставкѣ, пусть ему будетъ страшно поднять глаза на картину.“ Дидро требовалъ, чтобы живописецъ былъ педагогомъ и превращалъ свои картины въ нравоучительные рассказы. Грѣзъ выполнилъ эти требованія. Это французскій Гогартъ, рисующій то въ мрачныхъ краскахъ ужаса нищеты и горе, вносимое въ семью пьянствомъ отца, то напротивъ въ

наго разврата, ибо только возвышенная нравственная цѣль могла по его мнѣнію, создать новый стиль. А между тѣмъ самая идея честности и невинности стала чуждой Бушэ; новыя же времена требовали, по мнѣнію Дидро, добродѣтели и хорошихъ нравовъ. Гдѣ же найти эту добродѣтель? Конечно тамъ, гдѣ ее открылъ Руссо; онъ училъ, что человѣкъ былъ добрѣ, благороденъ, готовъ къ самопожертвованію, когда его создала природа, и только цивилизація испортила его. Слѣдовательно, чѣмъ культурнѣе люди, тѣмъ они безнравственнѣе, и если можно гдѣ либо найти еще добродѣтель, то только въ народной массѣ, мало затронутой культурой. Благородное сердце не можетъ биться подъ наряднымъ жилетомъ, а только подъ шерстя-



Грѣзь Паралитикъ.

свѣтлыхъ краскахъ, любовь дѣтей къ родителямъ и плоды благотворительности. Какъ и Гогартъ, Грѣзь старается усилить нравоучительность картинъ выборомъ подходящихъ заглавій. Таково происхождение картинъ: „Проклятіе отца“, „Утѣшеніе старости“, „Наказаніе сына“, „Неблагодарный сынъ“, „Любимая мать“, „Избалованное дитя“, „Уходъ семьи за отцомъ параликомъ или плоды хорошаго воспитанія“. Грѣзь, подобно Гогарту, любилъ также трактовать нравоучительные сюжеты въ циклахъ картинъ, заканчивающихся всегда торжествомъ добродѣтели и посрамленіемъ порока. Самый обширный изъ этихъ дидактическихъ романовъ, „Bazile et Thibaut“, рисуется въ двадцати шести главахъ вліяніе хорошаго воспитанія на весь ходъ жизни человѣка; какъ и въ исторіи Гогарта о двухъ ткачахъ, въ концѣ хорошо воспитанный Тибо произноситъ смертный приговоръ своему дурно воспитанному старому товарищу Базилію, ставшему убійцей. Если же все таки эти апостолы добрыхъ нравовъ отличны другъ отъ друга, то это объясняется различіемъ публики, къ которой они обращались.

Гогартъ *обличалъ* пороки третьяго сословія, для того, чтобы поднять его нравственный уровень. Развратъ, кровопролитіе, разгулъ, оргіи—вотъ русло, въ которое, бушуя и пѣнясь, выливалось въ то время въ Англіи бурное теченіе разнузданнаго народнаго духа. Гогартъ занесъ надъ этими озвѣрѣлыми людьми бичъ нравственности, проявляя пуританскую строгость и полицейскую твердость; всякая снисходительность была бы неумѣстной. Ихъ жалѣть не слѣдовало. Подъ каждой клѣткой онъ подписываетъ названіе порока, который тамъ заключенъ и примѣняетъ къ нему то наказаніе, которое указано относительно его въ св. Писаніи. Онъ обличаетъ пороки во всемъ ихъ уродствѣ, во всей грязи, и такъ ихъ караетъ, что самая испорченная совѣсть должна ихъ узнать и возненавидѣть.



Грѣзъ: Чтеніе Библии.

Грѣзъ же пользуется третьимъ сословіемъ, какъ *зеркаломъ добродѣтели*; въ благородныхъ свойствахъ простыхъ людей онъ усматриваетъ назиданіе для погрязшей въ порокахъ аристократіи. Онъ менѣе самобытенъ, чѣмъ Гогартъ, и никогда не забываетъ, что живетъ среди самаго утонченнаго общества въ исторіи. Онъ не топить виновнаго, чтобы создать отпугивающій примѣръ, а всегда оставляетъ открытой дверь для раскаянія. Онъ знаетъ, что нельзя слѣпкомъ многого требовать отъ нервовъ знатнаго общества, и хочетъ только слегка тронуть зрителей. Онъ пишетъ не для пьяныхъ англичанъ, а для благоухающихъ маркизовъ, которые въ послѣдствіи съ рыцарской учтивостью дѣлали поклонъ предъ гильотиной, и для чувствительныхъ дамъ; имъ добродѣтель доставляла теперь такое же пріятное ощущеніе, какъ прежде отсутствіе добродѣтели. Они привѣтствовали въ художникѣ священнослужителя оргіи добродѣтели, на празднество которой они сошлись. Въ первую половину вѣка люди кружились въ пляскѣ жизни легкомысленнѣе, чѣмъ когда либо; вторая половина стала слезоточивой, требующей награды за добродѣтель и наказанія за порокъ, честности, наивности и невинности. Современники безконечно превозносили Грѣза именно за добродѣтельный характеръ его картинъ; такъ же, какъ въ Англіи, и во Франціи стали вдругъ приписывать главное значеніе не самому искусству, а побочному, связанному съ нимъ обстоятельству. Когда Грѣзъ превращалъ картины въ доводъ, искусство перестало быть цѣлью, а стало только средствомъ. Грѣзъ писалъ вмѣсто картинъ дидактическія поэмы, стараясь дѣлать ихъ какъ можно болѣе мелодраматичными, и попалъ на такую же мель, какъ и Гогартъ и всѣ живописцы жанристы, которые хотѣли быть болѣе чѣмъ живописцами. Грѣзъ часто излишнимъ образомъ подчеркивалъ нравоученія и впадалъ

въ театральность. Его „Проклятіе отца“ въ Луврѣ, гдѣ изображенъ взбѣшенный старикъ, дико бѣгушій отъ него сынъ и плачущія маленькія дѣти, имѣетъ видъ послѣдняго акта мелодрамы. „Деревенская свадьба“, гдѣ тестъ даетъ молодому супругу кошель съ приданнымъ, и говорить: „Будьте счастливы“, могла бы также быть названной „Послѣднее благословеніе отца“. На картинѣ, гдѣ знатная дама подводитъ свою маленькую дочь къ кровати двухъ бѣдняковъ и даетъ такимъ образомъ примѣръ милосердія, на картинѣ сами зрители, какъ на сценѣ, растроганы происходящими похвальными и трогательными событіями. Грѣзъ былъ во Франціи „отцомъ жанровой живописи; это варварское повѣствовательное искусство замѣнило здоровый, художественный реализмъ голландцевъ живыми картинами, отражающими *линеатурную* идею. Но все таки въ психологическомъ отношеніи Грѣзъ, какъ и Гогартъ, сдѣлалъ шагъ впередъ. Во французскомъ искусствѣ немного до него было художниковъ, которые умѣли бы такъ тонко изображать душевныя переживанія, какъ Грѣзъ въ своемъ „Чтеніи библіи“. Впечатленіе читасмаго различно отражается на лицахъ слушателей, сообразно съ характеромъ и пониманіемъ каждаго. Въ этомъ было



Грѣзъ: Разбитая кружка.

нѣчто новое сравнительно съ улыбающимися богами Бушъ. Грѣзъ къ тому же умѣлъ быть художественно-обаятельнымъ, когда рѣшался иногда отречься отъ поучительнаго тона—это доказываютъ его нѣжныя розовыя головки молодыхъ дѣвушекъ. Онъ безъ усталы рисовалъ красивыхъ дѣтей во всевозможныхъ позахъ—въ томъ очаровательномъ возрастѣ, когда хорошенькія ножки прикрываются первымъ длиннымъ платьемъ. Блондинки или брюнетки, съ голубой ленточкой въ волосахъ, съ пучкомъ цвѣтовъ у корсажа, онѣ, какъ молодая голубки, глядятъ вдаль большими карими дѣтскими глазами, съ вопросомъ и предчувствіемъ чего-то. Легкій газъ прикрываетъ нѣжныя линіи шеи, плечи едва округлены, надутыя губки свѣжи, какъ утренняя роса, и только слегка волнистая линія бюста обличаетъ въ ребенкѣ женщину. Съ этимъ дѣвичьимъ типомъ навсегда будетъ связано имя Грѣза, какъ имя Леонардо съ задумчиво-улыбающейся головой загадочной Моны Лизы. Въ этомъ образѣ дѣвушки Грѣзъ неподражаемо тонко воплотилъ идеалъ невинности кончающагося XVIII вѣка и далъ своимъ современникамъ новое эстетическое ощущеніе. И пресыщенное общество, которое уже исчерпало все дозволенное, окунулось съ наслажденіемъ въ невѣдомую, таинственно-журчащую струю. Пресытившись игривымъ шампанскимъ времени



Грѣзъ: Вдова.

рѣдко, всѣ рады были для разнообразія простому черному хлѣбу. Такимъ образомъ среднее сословіе создало искусство, столь же здоровое, какъ его источникъ.

Шардэнъ, (Chardin), сынъ столяра, глава этого демократическаго искусства XVIII вѣка. На ряду съ Грѣзомъ, живописцемъ утонченности, онъ кажется добродушнымъ здоровымъ чело-вѣкомъ средняго класса, какъ бы воскресшимъ голландцемъ лучшей поры. До конца XVII вѣка король былъ центромъ всего, единственной личностью, которая имѣла право выступать самостоятельно и служить мѣриломъ для остального міра; затѣмъ придворные круги стали счи-

тать себя единственно имѣющими право на пользованіе жизнью и искусствомъ. Теперь же достигнута была третья ступень: „общество“ смѣнилось свободнымъ, здоровымъ третьимъ сословіемъ.

Шардэнъ не получилъ правильнаго образованія—выѣзка для косто-правъ была первой работой, создавшей ему извѣстность. На картинѣ изображенъ косто-правъ въ своей лавкѣ. Онъ оказываетъ помощь раненому на дуэли. Вокругъ стоятъ любопытные, и полицейскій комиссаръ составляетъ протоколъ съ серьезнымъ дѣловымъ видомъ. Это первая картина изъ парижской народной жизни. Шардэнъ, буржуа родомъ, остался навсегда изобразителемъ буржуазной семейной жизни. Онъ Ватто третьяго сословія. Грѣзъ обязанъ былъ своимъ успѣхомъ прежде всего мастерскому воплощенію нравственныхъ идеаловъ своего времени. Тогдашнему обществу интересно было узнать, что есть красота въ мирной жизни супруговъ, что молодая матери хорошо дѣлаютъ, если сами кормятъ дѣтей грудью, не отдавая ихъ кормилицамъ, что чело-вѣкъ долженъ раскаиваться въ своихъ ошибкахъ, и что уваженіе къ отцу и матери даетъ долгую жизнь. Въ наше время никому не нужно этихъ мудрыхъ совѣтовъ. Никто не видитъ необходимости въ иллюстраціяхъ къ десяти заповѣдямъ, и поэтому становятся все болѣе замѣтными манерности и адвокатскія уловки художника, занятаго эффектной сценировкой нравоученій. Шардэнъ же производитъ и теперь такое же свѣжее впечатлѣніе, какъ сто лѣтъ тому назадъ, потому что онъ былъ художникомъ, не разсказывавъ, а просто изображалъ. Онъ былъ реалистомъ высшей

пробы. По своему изощренному пониманию тоновъ Шардэнъ принадлежитъ къ благородной семьѣ Терборговъ. Картины его не имѣютъ „темь“. Прачка, служанка, чистящая овощи, хозяйка за своими разнообразными занятіями — вотъ міръ Шардэна. Атмосфера, въ которой движутся его фигуры — мерцающій свѣтъ въ полутемной кухнѣ; область его наблюдений — царство солнечныхъ лучей, играющихъ на бѣлыхъ скатертяхъ и темныхъ стѣнахъ. Шардэнъ жилъ въ скромной мастерской, подъ самой крышей, въ тихой темной комнатѣ, большею частью наполненной овощами, нужными ему для его картинъ. Въяло чѣмъ то возвышеннымъ и поэтичнымъ въ этихъ темныхъ стѣнахъ, гдѣ сочная зелень овощей хорошо выдѣлялась на глубокой темнотѣ стѣнъ, и гдѣ бѣлая скатерть впитывала въ себя весь серебристо-сѣрый свѣтъ, врывающійся въ высокое маленькое окно на крышѣ. Въ этомъ мирномъ, гармонично освѣщенномъ уголкѣ разыгрывались маленькія семейныя сцены, которая онъ любилъ изображать; ихъ называютъ „Amusements de la vie privée“ въ противоположность „fêtes galantes“. Стукъ часовъ, лампа горитъ, на уютной кафельной плитѣ кипитъ вода. Каждая картина кажется какъ бы чѣмъ то лично пережитымъ, воспоминаніемъ о чемъ то близкомъ и родномъ. Въ противоположность Грѣзу Шардэнъ избѣгаетъ значительныхъ моментовъ; онъ изображаетъ только тихую, будничную жизнь, которая идетъ правильнымъ твердымъ ходомъ — поэзію привычки. Нѣтъ у него торопливыхъ движеній, катастрофъ и осложнений. Онъ любитъ тихое въ природѣ и людяхъ. Это преимущественно живописецъ интимной жизни, и этимъ онъ отличается отъ обычныхъ жанристовъ. Художники всѣхъ школъ изображали жанровыя и комнатныя сцены, но лишь немногіе умѣли возсоздать съ такой правдой и съ такимъ отсутствіемъ аффектаціи поэзію семейной жизни. У Шардэна искусство и жизнь гармонично слиты.

Никто изъ голландцевъ не искалъ сюжетовъ въ дѣтской. Шардэнъ первый, вступилъ туда и сталъ изображать малютокъ въ ихъ играхъ, радостяхъ и заботахъ; онъ тѣмъ самымъ открылъ искусству новую большую область. Съ какой любовью и преданностью онъ углублялся въ душу маленькихъ людей. До него никто не умѣлъ съ такой нѣжностью и тонкостью возсоздать безознательную душевную жизнь ребенка: маленькія ручки хватаются за предметы, губы тянутся къ матери, мечтательно и широко раскрытые юные глаза удивленно глядятъ. Шардэнъ умѣлъ мастерски изображать не только внѣшнія проявленія радости и печали, но трудно уловимые тонкіе оттѣнки вниманія, задумчивости, тишины, преждевременной зрѣлости ума, упрямства или каприза



Шардэнъ: Госпожица.



Даниль Ходовецкій.

чикъ только что собирается уходить. Онъ уже гладко причесанъ и аккуратно одѣтъ. Игрушки онъ прибралъ, и книги держитъ подъ мышкой, а мать еще разъ снимаетъ съ него треугольную шапочку, чтобы хорошенько вычистить ее щеткой. Послѣ школы, они садятся за обѣдъ; столъ покрытъ бѣлосѣрной скатертью, и кухарка вноситъ дымящуюся миску. Маленькій мальчикъ трогательно складываетъ руки и произноситъ молитву; когда дѣти снова уходятъ послѣ обѣда въ школу, мать сидитъ одна. Она очаровательна въ своемъ простомъ домашнемъ платьѣ съ широкими рукавами, въ чистомъ передникѣ, въ полосатой юбкѣ и кокетливомъ чепчикѣ. То у нея на колѣняхъ лежитъ вышиваніе, и она нагибается, чтобы вынуть изъ корзиночки клубокъ шерсти; то она сидитъ у камина въ уютномъ уголкѣ около ширмы, и полураскрытая книга у нея въ рукахъ. Рядомъ чашка съ чаемъ, и во всей комнатѣ чувствуется уютная домашняя атмосфера. То, какъ заботливая хозяйка, она проверяетъ расходную книгу, или отправляется на кухню, чтобы работать вмѣстѣ съ кухаркой, чистить рѣпу, убирать мѣдную посуду или приносить мясо изъ кладовой. Все это передано просто и правдиво, и нельзя не восхищаться Шардэномъ, все искусство котораго коренится въ семьѣ; онъ вноситъ тонкую наблюдательность и наивное пониманіе въ исполненіе своей задачи и при всей своей любви къ семейственности никогда не впадаетъ въ пошлость.

Его сверстникъ *Этьенъ Жюра* (Etienne Jeaurat) писалъ ярмарки, *Жанъ Батистъ-Ле-Принсъ* (Jean Baptiste le Prince) сцены въ казармахъ и т. д. Въ Голландіи такимъ же художникомъ былъ *Корнелиусъ Троостъ* (Cornelius Troost), изображавшій жизнь своего времени и своего народа: завтраки, свадьбы, рожденіе дѣтей. Онъ писалъ пастелью или акварелью, и, не подражая ни одному изъ голландскихъ классиковъ, проявлялъ живость и остроуміе въ своихъ быто-описательныхъ картинахъ. Даже итальянское искусство имѣло въ періодъ своего упадка двухъ жанристовъ, венеціанцевъ Ротари и Пиетро Лонги; они писали

въ дѣтскихъ глазахъ. Вотъ маленькая дѣвочка играетъ съ куклой и заботится о ней со всей любовью нѣжной матери. Вотъ полу-взрослая дѣвица открываетъ младшему братишкѣ тайны азбуки. Затѣмъ начинается рядъ игръ и работъ: дѣти строятъ карточные домики, пускаютъ мыльные пузыри или погружены въ приготовленіе уроковъ. Какъ занята своей работой дѣвочка, которой мать подарила первое вышиваніе! Какая прелесть въ смущеніи маленькаго мальчика, отвѣчающаго матери заданный урокъ, и какъ задушевно хлопочетъ мать по утру, чтобы ея любимецъ пошелъ въ школу одѣтый опрятно и аккуратно. У дѣвочки капоръ не совсѣмъ въ порядкѣ, и мать поправляетъ его; малютка, съ очаровательнымъ кокетствомъ глядитъ въ зеркало. На другой картинѣ маль-



Ходовецкій: Изъ „Пользки въ Данцигъ 1773“.

маленькія картинки изъ жизни того времени—портныхъ, антикваріевъ, мальчиковъ и дѣвочекъ, занятыхъ игрой или школьною работою.

Въ Германіи не было столь крупнаго художника, какъ Шардэнъ, но жанровая живопись развилась и въ ней. Послѣ окончанія тридцатилѣтней войны въ Германіи тоже понемногу образовывалось добронравное бюргерство, которое свернуло на путь, указанный англичанами. Лессингъ, первый изъ дѣятелей великой поры народнаго броженія, написалъ Миссъ Сарру Сампсонъ—первую нѣмецкую трагедію, безъ мизическихъ или историческихъ героевъ, безъ чопорной величественности александринаскаго стиха. Подобно англичанамъ Лилло и Муру, онъ провозгласилъ, что не шлемъ и корона дѣлаютъ трагическаго героя; въ „Миннѣ фонъ Барнгельмъ“ онъ представилъ взору зрителей непосредственную дѣйствительность—семилѣтнюю войну. Лессингъ старался освободить нѣмецкій театръ отъ ига Буало, и въ тоже время живопись тоже начала возмущаться противъ классицизма, перешедшаго изъ Франціи въ то время, когда мелкіе нѣмецкіе двory стремились стать сколками съ Версаля. „Я не могу сказать, до чего мнѣ ненавистны наши нарумяненные живописцы куколъ“—воскликаетъ молодой Гёте въ сочиненіи о нѣмецкомъ искусствѣ;—„своими театральными положеніями, искусственнымъ румянцемъ и пестрыми платьями они привлекли глаза женщинъ. Мужественный Альбрехтъ Дюреръ, мнѣ отраднѣ самая дерезянная изъ твоихъ фигуръ, надъ которыми смѣются новаторы... Лишь тамъ, гдѣ есть безпритязательность и естественность, живетъ и творческая сила; горе тому художнику, который оставляетъ хижину ради пышныхъ академическихъ залъ“.

Данилъ Ходовецкій (Daniel Chodowiecki), при всей своей буржуазности, истинный представитель этого теченія въ нѣмецкомъ искусствѣ. Онъ въ Германіи, Гогартъ въ Англіи, Шардэнъ во Франціи—представители одного и того же общественнаго настроенія.

Послѣ того, какъ Лессингъ создалъ въ „Миннѣ фонъ Барнгельмъ“ первую нѣмецкую буржуазную трагедію, Ходовецкій могъ, слѣдуя по пути Гогарта и Шардэна, стать представителемъ нѣмецкаго бюргерства въ искусствѣ.



Ходовецкій: Изъ „Пользѣки въ Данцигъ 1773“.

Онъ не можетъ сравниться съ ними по силѣ таланта, но несомнѣнно заслуживаетъ вниманія. Въ немъ нѣтъ гениальности, манера его иногда ремесленная, прозаическая, но онъ, подобно Гогарту, самобытенъ; его художественное и личное міросозерцаніе коренится въ его времени и въ жизни его роднаго города. Общество тогдашняго Берлина было основой его искусства, будничная жизнь дома и на улицѣ—областью его творчества. Онъ началъ съ иллюстрацій къ поэтическимъ произведеніямъ, со сценъ изъ семилѣтней войны, съ исторіи Карла Великаго и перешель затѣмъ къ изображенію скромной мелко бюргерской жизни. Онъ принадлежалъ самъ къ среднему классу—для него и писалъ, и своимъ тонкимъ и быстро схватывающимъ рѣзцомъ создалъ неистощимую живую хронику нѣмецкой бюргерской жизни того времени. Въ нѣкоторыхъ гравюрахъ сказывается излишняя разумность и узкость, въ иныхъ же Ходовецкій очарователенъ своей свѣжестью. Онъ художественнѣе Гогарта—этого не нужно забывать,—потому что не хочетъ ни поучать, ни проводить какую-нибудь идею, ни быть сатирикомъ. Самый родъ его произведеній исключаетъ всякое проповѣдничество,—это точное любовное наблюденіе жизни и всего, что творится вокругъ. Онъ обладалъ наивнымъ желаніемъ истиннаго художника,—претворять въ картины все, что видѣлъ. Въ его гравюрахъ есть—хотя быть можетъ и въ незначительной степени частичка духа Дюрера.

Въ то же время младшій *Тинибейнъ* (Tischbein) повернулъ назадъ къ историческому прошлому, ко времени Конрадина и Гогенштауфеновъ. Онъ полагалъ, что найдетъ тамъ простоту, утраченную академичной живописью, и позже въ Гамбургѣ писалъ картины изъ исторіи своего собственнаго времени, какъ напримѣръ, находящееся въ Ольденбургской галлерей „Отступленіе генерала Беннигсена, въ Гамбургѣ, въ 1814 году“. Его портреты также заслуживаютъ вниманія. Въ лучшей его картинѣ—„Гёте на развалинахъ Рима“ голова художника очень энергична и сильна, а колоритъ выдержанъ въ очень благородномъ свѣтло сѣромъ тонѣ.



Ходовицкій: Изъ „Польски въ Данингъ 1773“.

Въ портретной живописи болѣе всего сказалась перемѣна: манерность и условность, перешедшія изъ XVII вѣка, изъ эпохи париковъ съ коснчками, медленно, но твердо уступаютъ мѣсто болѣе естественности, простотѣ и наивности. Прежде, пока еще тѣнь Людовика XIV парила надъ всѣми, въ нѣмецкую семейную жизнь проникло стремленіе каждой отдѣльной личности быть въ своемъ кругу королемъ. Всякій бюргеръ хотѣлъ непременно имѣть на портретѣ видъ владѣтельной особы; одѣтый въ парадную одежду, съ величавымъ выраженіемъ лица, торжественный, онъ каждымъ движеніемъ какъ бы давалъ аудіенцію зрителю. Супруга его непременно изображалась въ шелку, золотѣ и кружевахъ. Царственная мантия небрежными складками спускалась съ плечъ къ ногамъ. Съ напускнымъ величіемъ она глядѣла внизъ на внука, полупочтительно, полунронически относящагося къ ней. Рамки были такимъ же пышными, какъ одежды, и по возможности украшались коронами. Трудно себѣ представить, что это были портреты простыхъ горожанъ, что внѣ часовъ, когда они позировали передъ художниками, эти люди были усердными дѣловыми людьми, а ихъ жены, глядящія на зрителя съ такимъ высококомфріемъ, самолично штопали мужьямъ чулки. Эти портреты кажутся предназначенными для галлерей предковъ. Послѣ этого времени, когда всѣ старались быть князьями, послѣдовало время всеобщаго стремленія къ равенству и братству. вмѣсто вычурныхъ условныхъ портретовъ съ аллегорическими украшениями появились простыя, безприязательныя изображенія людей въ будническѣмъ платьѣ; вмѣсто натянутыхъ позъ явилось стремленіе къ непринужденной будничней естественности.

Въ Берлинѣ съ 1709 года *Антуанъ Пэнь* (Antoine Pesne) въ теченіи полувѣка, при трехъ короляхъ составлялъ центръ художественной жизни, и уже въ его произведеніяхъ намѣчена перемѣна въ общемъ духѣ живописи. Пышность и торжественность замѣнились интимностью и семейственностью. Прежде королей изображали преимущественно въ средневѣковыхъ доспѣхахъ или древнемъ вооруженіи. Пэнь сталъ писать ихъ въ современныхъ костюмахъ. Еще болѣе непринужденны портреты членовъ семьи и друзей живописца. Такова,



Худовескій: Невѣста.

напримѣръ прелестная картина 1718 года въ Новомъ Дворцѣ въ Потсдамѣ—портретъ самого художника съ женой и двумя дѣтьми. Таковъ и портретъ гравера Шмидта въ Берлинскомъ музеѣ и прекрасный портретъ 1754 года въ галлерей полковника Бѣрка въ Хемницѣ. Тамъ снова изображенъ Пэнъ въ возрастѣ 71 года со своими двумя дочерьми. Въ этихъ характерныхъ портретахъ и въ картинахъ дрезденской галлерей, похожихъ на портреты (кухарка съ индюшкой въ рукахъ, 1712 г., дѣвушка съ голубкомъ 1728 г.), Пэнъ здоровый сильный реалистъ, какихъ спустя сто лѣтъ немного было въ Берлинѣ.

Въ слѣдующемъ поколѣніи, въ періодъ „бури и натиска“, во главѣ искусства сталъ швейцарецъ *Антонъ Графъ* (Anton Graff) со своими скромными бюргер-

скими, простыми и правдивыми портретами. По счастливому стеченію обстоятельствъ, дѣятельность Графа совпала со временемъ великаго обновленія духовной жизни въ Германіи. Лессингъ и Шиллеръ, Бодмеръ и Гесснеръ, Виландъ и Гердеръ, Бюргеръ и Геллертъ, Христіанъ Готфридъ Кернеръ и Липпертъ, Мозесъ Мендельсонъ и Зульцеръ, и множество другихъ поэтовъ и ученыхъ XVIII и начала XIX вѣка нашли въ немъ портретиста, который быстрою усердной рукой сохранилъ намъ ихъ черты въ чрезвычайно точной и достовѣрной передачѣ. Всѣ эти портреты поражаютъ пластичностью чертъ лица, правильностью и гибкостью техники.

Одновременно съ Графомъ въ Дрезденѣ работалъ *Христіанъ Леберехтъ Фогель* (Christian Leberecht Vogel), тоже очень самостоятельный, чуткій художникъ; онъ имѣетъ право на почетное мѣсто въ исторіи искусства XVIII вѣка своими дѣтскими портретами. Въ портретѣ его двухъ мальчиковъ въ дрезденской галлерей наивность дѣтской жизни передана съ такой любовью и свѣжестью, на какую способенъ былъ одинъ только Рейнольдсъ: мальчики сидятъ рядомъ на полу; одинъ изъ нихъ, въ коричневой курточкѣ, держитъ на колѣняхъ книжку съ картинками, въ которую заглядываетъ другой, въ красномъ платьицѣ и съ бичомъ въ рукахъ. Вдумчивый видъ мальчика очарователенъ. Портретъ написанъ широко, сильно, колоритъ воздушный и нѣжный.

Въ Мюнхенѣ *Йоганнъ Эдлингеръ* (Johann Edlinger) былъ главой школы художниковъ, соединявшихъ скромность съ большимъ мастерствомъ.

Въ области пейзажной живописи на всемъ европейскомъ материкѣ не было ни одного художника, равнаго Гэнсборо. Но англійское влияніе прояви-

лось повсюду. Настроение, которое создало „Времена Года“ Томсона и пейзажи Гэнсборо, вскоре послѣ того проявилось во Франціи и Германіи и замѣнило тамъ прежнюю любовь къ садамъ. Въ XVII вѣкѣ повсюду, за исключеніемъ Голландіи природа подчинена была ножницамъ садовника. Подобно тому, какъ Лебренъ старался въ своихъ историческихъ композиціяхъ превзойти итальянцевъ, такъ и садовый стиль Ленотра стремился къ тому, чтобы усовершенствовать итальянскіе сады Возрожденія, которые въ свою очередь устроены были по образцу римскихъ садовъ, описанныхъ классиками. Садъ во вкусѣ Ленотра напоминалъ скорѣе парадныя комнаты, по которымъ ходятъ размѣреннымъ шагомъ, тихо и величаво, чѣмъ природу,



Ходовицкій: Путь „Юльхенъ Грюнпаль“.

гдѣ можно и должно быть человѣкомъ. Этому строго расчерченному, чопорному садовому стилю соответствовала пейзажная живопись, подчинявшая природу „принципамъ красоты“; создался особый стиль композицій изъ отдѣльныхъ кусковъ природы. Ландшафты были благоустроенными парками; въ нихъ, какъ въ фигурной живописи, воплощалась отвлеченная красота линий, а условный фонъ классическихъ развалинъ долженъ возбуждать мысли о древнемъ мірѣ. Природа не должна, какъ училъ Баттэ, быть учительницей художника; задача послѣдняго состоитъ въ томъ, чтобы выбирать отдѣльные элементы для составленія новаго усовершенствованнаго цѣлаго. Художникъ долженъ изъ многихъ листьевъ выбрать самый совершенный, изобразить на деревѣ только самые совершенные листья, и создать такимъ образомъ совершенное дерево. Матеріаломъ для его творчества должна быть избранная природа (*nature choisie*), подборъ предметовъ, которые могутъ вызвать пріятныя впечатлѣнія. Цѣль художника прекрасная правда, изображаемая такъ, какъ будто бы она въ самомъ дѣлѣ существовала, со всѣмъ „совершенствомъ“, которое въ ней можетъ быть. XVIII вѣкъ возвращался отъ этой облагороженной стилизированной природы понемигоу къ божественно прекрасной, не прикрашенной природѣ, вдохновлявшей чуждыхъ римскаго вліянія художниковъ: Дюрера, Альтдорфера, Тиціана и Рубенса, Бруэра и Веласкеза. Великій Ватто и въ этомъ отношеніи опередилъ свое время, виѣсто ландшафтовъ Пуссэна, похожихъ на театральныя кулисы, онъ сталъ изображать элизейскіе пейзажи—уголки любви, которые то сверкаютъ въ солнечномъ свѣтѣ свѣжаго росистаго утра, то залиты золотымъ свѣтомъ и прозрачной тѣнью сумерекъ. Роза благоухаетъ въ свѣжей росѣ; поетъ соловей; воркуютъ голубки; легкія вѣтви шелестятъ подъ тихимъ вѣтромъ; текутъ серебряно-ясные ручейки; въ высокихъ деревьяхъ шевелитъ листву вѣтеръ. Ватто зналъ природу и любилъ ее; онъ видѣлъ ее опьяненнымъ взоромъ влюбленнаго. Душа природы, а не человѣка царитъ въ его картинахъ. Только потому, что природа прекрасна, счастливъ человѣкъ. Но еще болѣе современенъ Ватто, когда онъ изображаетъ не райскіе пейзажи и



А. Графъ.

счастливыхъ людей, а простыя сцены сельской природы и жизни, жалкія заброшенныя мѣстности вблизи большихъ городовъ, рабочіихъ на помостахъ, или же крестьянъ, ѣдущихъ по каменистой дорогѣ на крѣпкихъ коняхъ. Кромѣ ряда прекрасныхъ рисунковъ, для его пониманія природы характерна картина, находящаяся въ Потсдамскомъ новомъ дворцѣ: въ глубинѣ протекаетъ маленькій ручеекъ рядомъ съ крестьянскимъ дворомъ, а на первомъ планѣ мужикъ съ усиліемъ везетъ двухколесную повозку по неровному грунту.

Интересно прослѣдить за дальнѣйшимъ развитіемъ этого новаго чувства природы, послѣ того, какъ Ватто и англичане открыли дорогу. За Томсономъ послѣдовалъ Руссо, въ своихъ одинокихъ скитаніяхъ онъ съ волненіемъ глядѣлъ на золото нивъ, на пурпуръ травъ въ лѣсныхъ чашахъ, на величественность деревьевъ и дивное разнообразіе цвѣтовъ и растений. Онъ радовался цвѣтушей веснѣ, кустарникамъ и ручьямъ, пѣнію птицъ, тѣнистымъ рощамъ, осеннимъ пейзажамъ, гдѣ работаютъ жнецы и собираютъ виноградъ. Онъ былъ родоначальникомъ живого чувства природы, которое проснулось во всей Европѣ. Съ появленіемъ произведеній Руссо вѣяніе чистаго горнаго воздуха и влажная прохлада съ голубыхъ водъ Женевскаго озера внезапно проникли въ душную атмосферу салона и наполнили сердца новымъ отраднымъ чувствомъ. Прихорашивание исчезло, когда Руссо объявилъ, что все прекрасно въ томъ видѣ, въ какомъ оно создается матерью природой.

Гете, ученикъ Руссо, предвѣщаетъ своимъ пониманіемъ природы школу Фонтенебло. Въ немъ есть нѣчто, напоминающее Добиньи, когда онъ лежитъ въ образѣ Вертера на лугу у ручья и задумчиво разсматриваетъ настѣкомыхъ. Онъ Дюпре или Корро, когда говоритъ: „Когда природа клонится къ осени, я чувствую осень въ себѣ и вокругъ себя“, или же: „Я теперь не могу



Ватто: Крестьянскій домикъ.

бы рисовать, не могу бы провести ни одного штриха, но никогда я не былъ болѣе живописцемъ, чѣмъ въ эти минуты“. Или: „Никогда еще я не былъ такъ счастливъ, и никогда мое пониманіе правды до мельчайшаго камушка и травки не было такимъ полнымъ и глубокимъ, и все таки я не знаю, какъ это выразить, и все колеблется въ моей душѣ. Я не могу схватить никакихъ чертъ. Великое смутное цѣлое носится передъ моей душой. Чувства мои сливаются, утопаютъ въ немъ, какъ мой взоръ“.

Французскіе сады смѣнились англійскими. Такъ же, какъ фигурная живопись отъшлась отъ благородной архитектурной композиціи, такъ и принаряженные сады уступаютъ мѣсто неправильности и случайности простыхъ зрѣ-



Ватно. Рисунок красным карандашомъ въ Британскомъ музѣ.

лишь природы. Уже больше не стремятся, по выраженію Руссо, „позорить природу, украшая ее“; всѣ предпочитаютъ сады, для которыхъ, по выраженію Гёте въ Вертерѣ, „чувствительное сердце, а не ученое садовое искусство создало планъ“... Рядомъ съ Версалемъ и его подрѣзанными на манеръ Ленотра деревьями создается „маленькій Трианонъ“ со своей рощей, ручьемъ и фермой, гдѣ предавалась мечтамъ злополучная Марія Антуанета. И только потому живопись еще медленно возвращалась къ природѣ, что не родились великіе художники, явившіеся лишь въ 1830 году. Они уже имѣли возможность подняться выше, опираясь на своихъ предшественниковъ, которые своими трудами доставили имъ славу.

Французскіе пейзажисты XVIII вѣка незначительны, если ихъ разсматривать самихъ по себѣ. Но они дали толчокъ искусству, пытаясь оживить стиль Пуссэна болѣе тѣснымъ пониманіемъ природы. Губеръ Роберъ, конечно, декоративный живописецъ, но у него очень легкая рука; онъ не заслуживаетъ большаго довѣрія, но онъ очень блестящъ, и у него есть прекрасные сѣрые и зеленые тона. Жозефъ Вернэ писалъ прибрежные ландшафты, гавани, морскія бури, тоже украшая ихъ внѣшними свѣтовыми эффектами. У него тоже молніи разсѣкаютъ черныя облака, солнечные лучи играютъ по легкой ряби водъ, лунный свѣтъ таинственно серебрить голубыя волны; пожары выкидываютъ высокое красное пламя. Въ его колоритѣ чувствуется нѣкоторая пустота и пестрота, но части природы уже были для него не только матеріаломъ для разрисованныхъ кулисъ. Онъ не стремился дѣйствовать на разумъ своими линиями, а говорилъ душѣ посредствомъ настроеній. Картины свои онъ уже не загромождаетъ развалинами, статуями боговъ и фигурами древнихъ пастуховъ, а рисуетъ всякаго рода современные народныя группы.

Изъ швейцарскихъ художниковъ нужно выдѣлить автора красивыхъ гравюръ и акварелей, *Соломона Гесснера* (Salomon Gessner). Людвигъ Рихтеръ говорилъ, что изъ всѣхъ произведеній XVIII вѣка онъ больше всего любитъ гравюры Гесснера и Ходовецкаго. Гесснеръ преклонялся предъ Клодъ Лорреномъ и



Гесснеръ: *Ландшафтъ* (Гравюра).

восхищался Пуссеномъ, но его картины написаны далеко не въ стилѣ героическаго пейзажа. Онъ рисовалъ родная поля, деревья и ручьи, любилъ все маленькое, тѣсное, уютное: бесѣдки и заборы, тихіе сады и уютные уголки. Съ дѣтски наивной наблюдательностью онъ подступалъ ко всему. Другой швейцарецъ, Людвигъ Гессъ, съ тѣмъ же тонкимъ пониманіемъ природы и съ такою же любовью относился къ своей швейцарской родинѣ, какъ и къ римской Кампаніи.

Филиппу Гаккерту (Filippe Hackert), скорѣе повредилъ, чѣмъ принесъ пользу памятнику, воздвигнутый ему Гёте. Такъ какъ восторги Гёте были сильно преувеличены, сравнительно съ достоинствами Гаккерта, то на него

въпослѣдствіи перестали совсѣмъ обращать вниманіе, чего онъ, конечно, не заслуживаетъ. Онъ несомнѣнно былъ свѣжимъ здоровымъ пейзажистомъ. Въ его пониманіи природы не было нѣжности швейцарскихъ художниковъ. Онъ также трезво глядѣлъ на природу, какъ Ходовецкій на свои модели, но рисунокъ его точный, воздухъ ясный и свѣжій, и у него нѣтъ скучныхъ композицій.

Въ Дрезденѣ жилъ Іоганнъ Александръ Тиле (Thiele); онъ считался по Тюрингену и Мекленбургу въ качествѣ пейзажиста. Даже и въ Италіи самостоятельное творчество XVIII вѣка выразилось главнымъ образомъ въ пейзажѣ. Въ Римѣ работалъ нидерландецъ Ванвितелли, изображавшій римскую и неаполитанскую уличную жизнь въ красивыхъ аквареляхъ, и Джіованни Паоло Панини, — „*peintre des fêtes publiques*“; на его картинахъ движутся богато разукрашенные группы фигуръ въ празднично убранныхъ зданіяхъ. Венеція была родиной Каналетти. Въ картинахъ изъ венеціанской, римской и лондонской городской жизни *Антоніо Канале* (Antonio Canale) чувствуется необычайная свѣжесть атмосферы: вода такъ ясна, воздухъ такъ прозраченъ, что получается впечатлѣніе ландшафтовъ въ широкомъ живописномъ стилѣ, несмотря на то, что художникъ изображаетъ только зданія и улицы. *Бернардо Каналетто* (Bernardo Canaletto) кажется еще болѣе интимнымъ и простымъ, благодаря тонкому, холодному, смягченному свѣту на его сѣверныхъ ландшафтахъ. Онъ первый открылъ, что солнечный свѣтъ не золотитъ, а серебрить предметы, и это открытіе дѣлаетъ его однимъ изъ отцовъ пейзажнаго реализма. Но самый даровитый изъ учениковъ Канале и вообще одинъ изъ самыхъ талантливыхъ пейзажистовъ вѣка былъ *Франческо Гварди* (Francesco Guardi). Антонио Канале былъ великій художникъ, и это болѣе всего чувствуется въ его прекрасныхъ гравюрахъ. Но, какъ живописецъ, онъ интересуется скорѣе коллекціонерами, чѣмъ утонченными цѣнителями; въ немъ чувствуется иногда правильность, доходящая до окаменѣлости. Его творчество слишкомъ напоминаетъ фотографическій аппаратъ. Гварди поражаетъ своимъ умомъ. Тамъ, гдѣ у Канале проявляется точность, у него виденъ умъ. Канале показываетъ намъ истинную Венецію, Гварди — ту, которая рисуется нашему воображенію. У него нѣтъ перспективныхъ и архитектурныхъ знаній Канале, но онъ чаруетъ; это музыкантъ, поэтъ, пѣсникъ котораго передаютъ самыя тонкія гармоніи. Въ его картинахъ схвачены очарователь-



Гесснеръ: Ландшафтъ (Гравюра).

ность и сказочность низложенной владычицы Адриатического моря. Украшенные вѣнками гондолы легко и неслышно скользятъ, подобно ладьямъ изъ далекой страны чудесъ; онѣ плывутъ по яснымъ зеленымъ водамъ, мимо старыхъ мраморныхъ дворцовъ, отражающихъ въ волнахъ свои колонны, балконы, своды и лоджии. Посланники различныхъ странъ движутся въ парадныхъ одеждахъ на площади Св. Марка; ихъ привѣтствуетъ вся гордая венеціанская знать, и густая разряженная толпа шумитъ подъ сводами прокурацій. Веселыя группы музыкантовъ проѣзжаютъ мимо пьяцеты и вдоль набережной. Влажный воздухъ сгущенъ надъ водой. Солнечные лучи то блѣднѣютъ, то кокетливо прыгаютъ, переламываясь въ водѣ, или играя на стѣнахъ зданій. Франческо Гварди, венеціанскій волшебникъ, живой, обаятельно-остроумный импровизаторъ. Онъ особенно великъ въ умѣніи непосредственно передавать личное впечатлѣніе на полотнѣ. Каждый ударъ его кисти твердъ, въ каждой картинѣ чувствуется еще нервное движеніе руки, и это даетъ ему такое же преимущество надъ картинами Канале, какое имѣетъ модель изъ глины, еще носящая отпечатокъ руки художника, надъ холодной мраморной статуей.

Даже Испанія, которая, за исключеніемъ великана Веласкеза, не дала до того ни одного пейзажиста, вступила на этотъ путь около середины вѣка. *Донъ Педро Родригесъ де Миранда* (Don Pedro Rodriguez de Miranda), ставъ изображать широкія, ясныя и горныя мѣстности. *Донъ Марианно Рамонъ Санчесъ* (Don Marianno Ramon Sanchez)—маленькія гавани и городскія виды.

На ряду съ ландшафтомъ шло изображеніе животнаго міра. Во Франціи выдвинулись *Франсуа Казанова* (François Casanova), писавшій боевыя картины и маленькіе пейзажи съ животными, *Жанъ Луи де Марнь* (Jean Louis de Marne), писавшій животныхъ, рыночныя сцены, деревенскія картины, а также хорошія гравюры, и замѣчательный *Жанъ Батистъ Одри* (Jean Baptiste Oudry), писавшій живыхъ и мертвыхъ, дикихъ и ручныхъ звѣрей и всякаго рода nature morte широкой и смѣлой манерой. Въ Аугсбургѣ жилъ *Йоганнъ Эліасъ Ридингеръ* (Johann Elias Riedinger). Областью его искусства былъ весь животный міръ: собаки и лошади, олени и сэрны, вепри, медвѣди, львы, тигры, слоны и носороги, которыхъ онъ очень тонко изображалъ или въ гордомъ покоѣ или въ борьбѣ съ человѣкомъ.



Франческо Гварди. Видъ Венеціи.

Если еще разъ оглянуться на развитіе искусства съ самаго начала вѣка, то не можеть остаться никакого сомнѣнія относительно цѣли, къ которой оно направлялось во всѣхъ странахъ. Еще незадолго до того, въ Европѣ царила величественная манера Пуссэна и Лебрена, замыкавшая театральными эффектами итальянское искусство *cinquecento*. Въ XVII вѣкѣ только голландцы сохранили обособленное положеніе. Искусство у нихъ только что началось. Имъ не приходилось бороться ни съ какими традиціями, и они первые отразили новый духъ времени, сойдя съ академическихъ высотъ на землю. Они стали писать красками то, что Дюреръ и его школа гравировали на деревѣ и на мѣди. Но ихъ еще интересовала не сама эта область вещей, а окружающій ихъ мягкій свѣтъ. Посредствомъ освѣщенія, они вносили сказочное настроеніе въ изображенія будничной дѣйствительности. Ватто и его послѣдователи обозначаютъ собой дальнѣйшій шагъ въ завоеваніи земного міра. Они стали изображать свое время ради него самаго и со всей его граціей. Около середины вѣка это новое истинное искусство, независимое отъ классическихъ традицій, господствуетъ повсюду. Высокій стиль въ живописи все болѣе и болѣе отступаетъ назадъ, и искусство начинаетъ сжигаться со своимъ временемъ. За аристократомъ Ватто слѣдуютъ Гогартъ, Грѣзъ, Шардэнъ и Ходовецкій. Они изображаютъ третье сословіе уже не въ голландской свѣтотѣни, во всей его тяжеловѣсной дѣйствительности и видятъ въ немъ достойный предметъ искусства. Въмѣсто величественной декоративной живописи, которая была переживаніемъ *cinquecento* и обречена была въ XVII вѣкѣ на однообразіе, безсодержательность и скуку, повсюду выступило скромное искусство, углубляющееся въ будничную жизнь; оно стало изображать человѣка въ его отношеніяхъ къ природѣ, къ своимъ близкимъ, къ животнымъ и домашней жизни и черпало изъ своихъ

собственныхъ переживаній разнообразіе творчества. Вмѣстѣ съ тѣмъ, ландшафтная живопись, самая новая отрасль искусства, приобрѣла во всѣхъ странахъ большее значеніе, чѣмъ въ какую бы то ни было предыдущую эпоху; это совершилось безъ всякихъ прямыхъ воздѣйствій одной страны на другую—идеи, отразившіяся въ искусствѣ, существовали въ окружающей атмосферѣ,—это были идеи вѣка. Уходявшій вѣкъ какъ бы хотѣлъ намъ показать зеркало,—волшебное зеркало, отражающее будущее. Онъ какъ бы хотѣлъ дать понять, что искусство XIX вѣка, идя далѣе по этому пути, сдѣлается демократическимъ и Человѣчнымъ и наиболѣе полно воплотить себя въ пейзажной живописи. Искусству не было однако суждено итти прямо по этому пути, потому что, отчасти благодаря родственнымъ теченіямъ въ литературѣ, отчасти благодаря революціи, реакціонный классицизмъ со своими совершенно противоположными принципами, еще разъ ярко вспыхнулъ предъ тѣмъ, чтобы навсегда погаснуть.



III.

Классическая реакція въ Германіи.

СТО лѣтъ тому назадъ жилъ человѣкъ, по имени Азмъ Карстенсъ. Онъ былъ начинателемъ новаго нѣмецкаго искусства. Такъ, со времени Фернофа говорится въ руководствахъ по исторіи искусства. Но диллетанство не можетъ быть началомъ, а непременно составляетъ конецъ. Вѣроятно, въ будущемъ, Карстенса будутъ считать не основателемъ новаго направленія въ искусствѣ, а эпигономъ школы братьевъ Караччи и дальнѣйшихъ ея продолжателей: Лебрена, Пересса, Ванъ-деръ-Верфа. Въ искусствѣ будущее принадлежало Гогарту, Гэнсборо, Ватто, Грѣзу, Шардэну и Гойя. Ихъ искусство пережило классицизмъ, Менгса и Карстенса, державшихся еще короткое время, благодаря внѣшнимъ обстоятельствамъ. Ихъ творчество сдѣлалось основой для новаго искусства, когда окончилось переживаніе прошлаго. Эти художники подвинули искусство, потому что сами шли впередъ, а Карстенсъ и Давидъ представляютъ собою реакцію, потому что они оглядывались назадъ, въ давно похороненное время.

Много писалось о томъ, чѣмъ обязаны современные народы грекамъ. Это обязательство, конечно, никѣмъ не оспаривается; но было бы очень поучительно разсмотрѣть обратную сторону медали, и показать, какъ часто традиціи древности становились препятствіемъ для развитія новаго искусства. Всѣ великіе художники со времени Джіотто становились великими не благодаря древности, а вопреки ей. Леонардо да Винчи никогда не думалъ основывать свою теорію искусства на чѣмъ-либо иномъ, кромѣ собственнаго пониманія природы. Микэль Анджело, создавая Моисея, навѣрное, не имѣлъ въ виду греческаго Зевса, и только потому Моисей его оригинальное произведеніе, достойное стать рядомъ съ лучшими произведеніями Греціи. Гольбейнъ, Тиціанъ, Рембрандтъ, Веласкесъ, Ватто не преклоняли колѣнъ предъ богами греческаго Олимпа. Они спокойно шли своимъ путемъ и поэтому были великими мастерами. Но какъ только искусство теряетъ связь съ природой и перестаетъ самостоятельно понимать ее такъ точно, какъ же появляется призракъ древности и увлекаетъ искусство въ пропасть.

Уже въ серединѣ XVI вѣка этотъ призракъ бродилъ по Италіи, что впервые проявилось въ діалогѣ Людовика Дольче о живописи. „Хотя живопись есть подражаніе природѣ“, — говоритъ онъ, „но можно исправить твердой рукой, многія ошибки природы, если проникнуться совершенствомъ древнихъ статуй. Древность дала образцы для всякаго рода красоты“. Вскорѣ послѣ того Беллори училъ, что истинное искусство выше природы, потому что ему дано выбирать самыя прекрасныя формы, и что красота формъ установлена греками. Болонская школа, благодаря своему тѣсному общенію съ археологами и филологами, принимала эти принципы на дѣлѣ, и результатомъ были тѣ салонныя академическія картины, которыя до сихъ поръ дремлютъ въ залахъ музеевъ.



Антонъ Рафаэль Менгс.

Вскорѣ послѣ того, призракъ классицизма появился во Франціи. Первымъ увидаль его Николай Пуссэнъ, и отъ прикосновенія къ нему у Пуссэна заохолодѣла кровь. Его картины, написанныя въ подражаніе греческимъ статуямъ, отрекаются отъ всякаго родства съ жизнью, чего нѣтъ даже въ самыхъ манерныхъ произведеніяхъ школы Карадчи. Пуссэнъ изобрѣлъ академическую „нормальную голову“ съ неизмѣнно благородными чертами; всѣ движенія души изображались театральными жестами. Это было слѣдствіемъ ученія, которое Лабрюйеръ слѣдующимъ образомъ опредѣлилъ въ своихъ „Характерахъ“: „Нельзя достигнуть совершенства и, если возможно, превзойти древнихъ, то не иначе, какъ подражая имъ“.

Въ Голландіи на рубежѣ между XVII и XVIII вѣкомъ, манерный Жераръ де Лересъ (Gérard de Lairese), первый развилъ эту практическую программу въ своей книгѣ объ искусствѣ. Бредеродъ говорилъ, что „тѣмъ выше стоитъ художникъ, чѣмъ онъ ближе къ природѣ“. Въ противоположность ему, Лересъ утверждалъ, что все, созданное самобытнымъ голландскимъ искусствомъ, все, что писали Рембрандтъ, Францъ Гальсъ, никогда не оставлявшіе предѣловъ Гарлема и Амстердама, ничтожно въ сравненіи съ творчествомъ французовъ той эпохи. По его мнѣнію Пуссэнъ и Лебрень, соединившіе изученіе древности съ изученіемъ итальянцевъ, превосходили великаго Рафаэля своей правильностью. Лишь подражая высокому стилю французской исторической живописи того времени, можно облагородить неразвитое голландское искусство. Главное достоинство картины заключается, по его мнѣнію, не въ передачѣ природы, а въ замыслѣ и знаніяхъ. Римляне потому достигли такого величія въ искусствѣ, что они читали и изучали много историческихъ книгъ, басенъ, аллегорій, описаній старинныхъ монетъ и медалей и т. д. Затѣмъ Лересъ дѣлитъ живопись

иа античную и современную. Только античному онъ придаетъ художественное значеніе; современная жизнь не заслуживаетъ, по его мнѣнію, воспроизведенія въ искусствахъ. Неуклюжесть и странность современной одежды идетъ въ разрѣзъ съ древностью и въ этомъ ея недостатокъ. Античное подходитъ ко всѣмъ временамъ, современное мѣняется по модѣ. Благородное и неблагородное— вотъ къ чему сводится контрастъ между старымъ и новымъ. Поэтому нельзя назвать современное искусство благороднымъ; выбирая не античные сюжеты художники становятся простыми ремесленниками. Придать благородство современному также невозможно, какъ превратить осла въ лошадь. Живописно лишь то, что достойно быть изображеннымъ въ живописи, примѣръ, прямая стройная деревья, лазурный воздухъ, изысканные фонтаны, дома, дворцы съ красивыми орнаментами, а не мѣстности съ уродливыми деревьями, неровной почвой, тяжелыми облаками и неуклюжими бродягами на фойѣ. Неужели человѣкъ съ нормальнымъ зрѣніемъ можетъ найти живописнымъ уродливаго или грязнаго нищаго, одѣтаго въ тряпье, съ большими руками и ногами, съ грязнымъ платкомъ на головѣ. Это можно утверждать только въ шутку. Такими разсужденіями возставали противъ Франца Гальса, Рембрандта, Остада и великихъ пейзажистовъ. Спасенія Лерсесъ ждалъ только отъ Пуссена и Лебрена. Только они смогутъ открыть голландцамъ глаза. Не въ торговкахъ рыбой и фруктами надо искать красоту, какъ это дѣлалъ Францъ Гальсъ, а у величественныхъ французскихъ мастеровъ, а также въ книгахъ, трактующихъ о пропорціяхъ, въ гипсовыхъ слѣпкахъ. Результатомъ этой теоріи искусства были картины преемниковъ ванъ-деръ Верфа, которыми такъ плачевно закончилось голландское искусство.

То, что происходило пятьдесятъ лѣтъ спустя въ Германіи, было послѣднимъ актомъ этой драмы. Тѣни древнихъ греческихъ ваятелей появились бы, вѣроятно, въ своемъ загробіи странствованіи и на берегахъ Эльбы и Шпрэ, если бы въ то время не были какъ разъ распораны Геркуланъ и Помпея, открыты развалины Пестума, и не были бы изучены афинскія древности, благодаря изданіямъ Стюарта и Реветта. То, что великое языческое возрожденіе въ Германіи половины XVIII вѣка, пришло изъвне, имѣетъ великое самостоятельное значеніе и не относится къ искусству. Винкельманъ, герой этой археологической эпохи, написалъ въ 1764 году свою „Исторію древняго искусства“, и въ ней открылъ глаза изумленному человѣчеству на греческую гармонию. Вся его писательская дѣятельность была гимномъ заново открытому древнему міру. Это теченіе увлекло за собой на новый путь и литературу; благодаря ему, Гёте, авторъ Вертера и Геца фонъ Берлихингенъ, сталъ пѣвцомъ „Ифигеніи“ и „Незаконной дочери“. Шиллеръ, авторъ „Разбойниковъ“, написалъ „Боговъ Греціи“ и „Мессинскую невѣсту“. Археологическое теченіе также отразилось въ искусствѣ Германіи, какъ въ итальянскомъ, французскомъ и голландскомъ искусствѣ, и повело его по пути болонской школы, Пуссена и ванъ-деръ-Верфа. За девять лѣтъ до появленія своей „Исторіи искусства“ Винкельманъ, тридцати восьми лѣтъ отъ роду, написалъ свое первое произведеніе, „Мысли о подражаніи греческому искусству“, гдѣ выразилъ свой новый идеалъ въ слѣдующей фразѣ: „Чтобы стать великими, или, если возможно, неподражаемыми въ искусствѣ, слѣдуетъ подражать древнимъ“.

Винкельманъ доказываетъ этой фразой, что въ немъ справедливо чуткъ отца исторіи искусства. До него не было исторіи искусства. Онъ еще вѣрнѣе эстетикъ Караччи и Лереса. Онъ считаетъ себя совершенно оригинальнымъ и обещаетъ въ предисловіи ничего не писать, что было сказано до него; а затѣмъ повторять мысль, нѣкогда высказанную Лабрюеромъ. Онъ даже подступалъ ко всѣмъ эпохамъ съ мѣркой классицизма. То, что подходило подъ эту мѣрку,



Менск: Парисъ.

одобрялось, что не подходило—отвергалось. Ему не доставало исторического взгляда на почву, на время и мѣсто, въ которомъ коренится искусство всякой эпохи. Когда при немъ въ Дрезденъ привезена была Гольбейновская мадонна, онъ безъ всякаго зазрѣнія совѣсти повторилъ апокрифическія слова, приписываемыя Урбинату, о Дюрерѣ: „Если бы Гольбейнъ могъ видѣть произведенія древнихъ и подражать имъ, онъ сталъ бы такимъ же великимъ, какъ Рафаэль, Корреджіо и Тицианъ и, быть можетъ, выше ихъ“. Въ голландцахъ онъ видѣлъ только пошлость и уродство, „обезьянъ низкой породы“. Рембрандта онъ презиралъ за отсутствіе учености, а одну картину Жерара де Лереса восхвалялъ, какъ величайшее произведеніе искусства: „Лицо Селевка“,—говорилъ онъ— „взято съ профилей лучшихъ древнихъ монетъ, вазы нарисованы по лучшимъ образцамъ древности, столікъ передъ кроватью онъ, подобно Гомеру, сдѣлалъ изъ лучшей слоновой кости; на фонѣ представлено великолѣпное греческое зданіе. Сфинксы у кровати—аллегоріи врачебнаго искусства и т. д.“. Искусство не было для него высшимъ выраженіемъ національной жизни, необходимымъ проявленіемъ личности, а также, созданіемъ политическихъ и общественныхъ условій. Оно не было для него языкомъ, развившимся у каждаго народа, согласно съ потребностями и внутренней природой, а чѣмъ-то отвлеченнымъ, созданнымъ по образцамъ, причемъ греческимъ образцамъ приписывалось наибольшее воспитательное значеніе. Они должны были быть для художника своего рода прописями, по которымъ школьники учатся писать.

До чего взгляды на искусство измѣнились съ XVI вѣка.

Въ то великое время расцвѣта искусства Альбрехтъ Дюреръ сказалъ просто и прекрасно: „Искусство находится въ природѣ; кто умѣетъ извлечь его, тотъ его достигъ“. По мнѣнію Винкельмана художникъ отвлекается отъ красоты, изучая природу. Онъ это называетъ „путемъ къ голландскимъ формамъ и фигурамъ“, къ произведеніямъ, обличающимъ каждой фигурой родину необразованнаго художника. Онъ считаетъ представителями такого уродливаго „реализма“ Рембрандта и Ватто и начинаетъ проповѣдывать тотъ идеализмъ, которымъ заканчивается всякій періодъ упадка въ искусствѣ. Что такое красота—

этого я не знаю", сказала Дюреръ. Винкельманъ же говорилъ слѣдующее: „Можно себя представить только единственное пониманіе красоты—самое высокое и всегда себя равное, и для этой красоты необходимо, что бы она имѣла образъ, не принадлежащій никому другому. Всякій такъ называемый благородный, т. е. высшій стиль, включаетъ въ себя общее, чисто человѣчное и отбрасываетъ все случайное, обособленное. Характеры просвѣтляются и теряютъ индивидуальный отпечатокъ тѣмъ путемъ, который мы можемъ подмѣтить у грековъ. Идеаломъ красоты признавались греческія статуи—ихъ совѣтовали выставять въ гипсовыхъ слѣпкахъ въ залахъ академіи для изученія—рекомендовалось только „нѣсколько оживлять ихъ мраморный холодъ". Новой картинѣ отказывали въ правѣ на красоту, если она не воспроизводила греческаго типа съ иѣнными профилемъ, большими глазами и прямой линіей лба и носа. Это пониманіе вполне сходилось съ идеалами эллектиковъ XVII вѣка; происхождение его объяснено Юсти въ „Винкельманъ" и Г. фонъ Штейномъ въ „Исторіи эстетики".

Отъ Винкельмана лавина покатила дальше: „У греческихъ скульпторовъ живописецъ можетъ научиться самымъ возвышеннымъ образомъ понимать красоту и такъ воспоинять природу, чтобы подражаніе ей стало „достойнымъ и прекраснымъ" пишетъ Соломонъ Гесснеръ въ 1759 году. Въ 1862 году дрезденскій писатель Гагедорфъ жалѣлъ въ своихъ „Размышленіяхъ о живописи", что Терборкъ и Медсю „не изображали лучше вѣсто голландскихъ швеекъ Андромаху среди своихъ трудолюбивыхъ помощницъ". Въ 1766 году Лессингъ написалъ своего Лаокоона. Подобно Винкельману, онъ увидѣлъ достойный подражанія идеалъ въ греческой пластикѣ, презиралъ поэтому ландшафтную и жанровую живопись и вообще все, что „передаетъ настроеніе и поступки". Онъ хотѣлъ бы ограничить композицію картинъ группировкой двухъ или трехъ идеальныхъ фигуръ, „радующихъ взоръ красотой тѣла". Еще больше односторонности высказалъ вскорѣ послѣ того Гёте въ своей защитѣ классицизма, рѣзко противорѣча этимъ воззрѣніямъ своей юности. „Только природа", говорилъ онъ въ Вертерѣ, „создаетъ великаго художника"; въ разсужденіи о нѣмецкомъ искусствѣ онъ направилъ противъ Винкельмана и его школы слѣдующія слова: „Вы сами, прекрасные люди, которымъ дано познать величайшую красоту, вредите генію; онъ не хочетъ, чтобы его поднимали на чужихъ крыльяхъ, хотя бы это были крылья утренней зари". Въ томъ же сочиненіи находится слѣдующее прекрасное мѣсто: „Когда искусство слѣдуетъ внутреннему самостоятельному чувству и не знаетъ ничего чужаго, тогда—исходить ли оно изъ дикости или изъ культурной утонченности чувства,—оно всегда будетъ цѣльнымъ и живымъ". Вскорѣ послѣ того онъ написалъ слѣдующія дивныя слова: „Рембрандтъ мнѣ кажется въ своихъ религиозныхъ картинахъ истиннымъ святымъ: онъ всюду чувствуетъ Бога: въ комнатахъ и въ полѣ; ему не нужно великолѣпныхъ храмовъ и жертвъ, чтобы питать душу". А между тѣмъ воспитанные въ академіяхъ и историки искусства еще цѣлые десятки лѣтъ видѣли въ библейскихъ картинахъ великаго голландца лишь грубое пониманіе формъ. О фрескахъ Мантеньи въ церкви эремитовъ въ Падувѣ, онъ высказалъ въ другомъ мѣстѣ слова, свидѣтельствующія о глубокомъ историческомъ пониманіи: „Какая рѣзко выраженная твердая дѣйствительность чувствуется въ этихъ картинахъ! Изъ этой правдивой живописи, чуждой всякихъ вѣшнихъ эффектовъ и вѣшняго воздѣйствія на фантазію, добросовѣстной, точно и самобытно передающей дѣйствительность, строгой, настоящей и самолюбивой, вышли послѣдующіе живописцы, какъ напримеръ, Тицианъ, и поэтому живость ихъ генія, ихъ энергія, освещенная духомъ предшественниковъ, возвеличенная ихъ силой, могла подняться все выше и выше и создать божественные, но правдивые образы". Къ сожалѣнію,

Гете не вывелъ въслѣдствіи того заключенія, которое логически должно было слѣдовать изъ его сужденій о современномъ нѣмецкомъ искусствѣ. Онъ вернулся изъ Италіи ученикомъ и послѣдователемъ Винкельмановскихъ теорій. „Искусство, какъ и произведенія Гомера“, говоритъ онъ, „написаны по гречески, и глубоко ошибается тотъ, кто считаетъ искусство нѣмецкимъ“. Въ душу его вошло языческое начало—олимпійское спокойствіе. Онъ сталъ смѣяться надъ своими прежними готическими влеченіями, презиралъ все, что противорѣчило духу и формамъ древности, и снисходительно относился ко всему, носившему хотя бы внѣшній отпечатокъ античности. Онъ предпочиталъ холодную идеалистическую манеру естественности и считалъ греческое искусство единственно достойнымъ подражанія. Въ немъ заключался, по его мнѣнію, рядъ эстетическихъ правилъ, обязательныхъ для искусства нашихъ дней такъ же, какъ и для всѣхъ другихъ временъ. Конкурсы, которые онъ устраивалъ съ Генрихомъ Мейеромъ въ „Прописяхъ“ и позже въ „Бенской Литературной Газетѣ“ требовали исключительно разработки сюжетовъ, взятыхъ изъ греческихъ мифовъ „для того, чтобы художникъ привыкъ отдаляться отъ своего времени и отъ дѣйствительности“. Композиція картинъ должна была соответствовать античному рельефному стилю.

Среди современниковъ Гѣте уже раздавались голоса, указывающіе на губность этой программы. Вильгельмъ Гейнзе въ 1776 году писалъ слѣдующія золотыя слова: „Искусство можетъ сообразоваться только съ тѣмъ народомъ, среди котораго оно живетъ“. Пусть всякій работаетъ для своей страны, и старается познать сердце своей родины. Всякая страна имѣетъ свойственное ей искусство, такъ же, какъ имѣетъ свой климатъ, свою природу, свою еду и свои напитки. Въ то же время Клопштокъ возражалъ на слова Винкельмана слѣдующими стихами:

Ты подражанья врагъ и все же называешь
Лишь вѣчно Грецію одну твою хвала:
И всѣхъ, кто геній въ сердцѣ ощущаетъ,
Ты въ Грецію зовешь—она все создала.

Въ „Нѣмецкой ученой республикѣ“, въ главѣ о государственной измѣнѣ, онъ говоритъ: „Лишь предатель можетъ утверждать, что нельзя превзойти грековъ“. Шиллеръ пишетъ въ одномъ письмѣ къ Гете въ 1800 году слѣдующее:

„Античное искусство было явленіемъ своего опредѣленного времени, и не можетъ повториться; навязывать совершенно другой эпохѣ обособленное про-



А. Кауфманъ: Весталка.

изведение обособленного времени значить убивать искусство, ибо оно может возникнуть и жить только динамически". М-те де-Сталь такъ писала въ своей книгѣ о Германіи: „еслибы теперь вернулись къ простотѣ древняго, то мы всетаки не могли бы достигнуть той первобытной силы, которая его отличаетъ, а глубокая и сложная жизнь чувствъ, свойственная нашему времени, погибла бы для насъ. Простота искусства у современныхъ людей легко превратилась бы въ холодность и аффектацію; у древнихъ же она была полна жизни". Въ 1797 году гофратъ Гиртъ напечаталъ въ Шиллеровскихъ „Horen" свое извѣстное разсужденіе „о прекрасномъ въ искусствѣ". Въ противоположность безжизненному Винкельмановскому понятію красоты онъ видитъ главную основу искусства въ изображеніи характернаго. Наиболее замѣчательна однако широта историческаго взгляда, отличавшая Гердера, и прямота, съ которою онъ въ своей „Пластикѣ" и въ „Четвертой критической рошѣ" напалъ на „жалкихъ критиковъ, ихъ ничтожныя, узкія правила и пустую болтовню о прекрасномъ вообще". Онъ говоритъ, что эта болтовня „портитъ учениковъ, противна мастерамъ, а между тѣмъ ею исчерпывается мудрость дилетантской толпы. Скульпторъ не можетъ изображать тѣни и утреннюю зарю, молнію и громъ, ручьи и пламя, но почему же не могъ бы это сдѣлать живописецъ? Можетъ ли живопись имѣть другой законъ, другое назначеніе и силу, чѣмъ изображеніе великой природы со всѣми ея явленіями и ея великой прекрасной видимостью? И какъ волшебна она исполняетъ свою задачу. Не справедливо презирать ландшафтную живопись, изображеніе отдѣльныхъ сценъ изъ великой цѣльности мірозданія, или даже запрещать художнику воспроизводить ее. Неужели живописецъ долженъ перестать быть живописцемъ? Не статуи же ему созидать своей кистью и красками, покоряясь общему пристрастію къ древности. Воспроизводить природу считается неблагороднымъ, но развѣ земля и небо не лучше старой статуи? . . . Конечно, греческіе памятники — маяки въ океанѣ времени, но въ нихъ слѣдуетъ видѣть друзей, а не повелителей. Живопись — волшебное полотно, великое, какъ міръ и исторія міра, и всякая фигура въ ней не можетъ и не должна быть статуей. На картинѣ отдѣльная фигура не составляетъ всего. Когда всѣ онъ вмѣстѣ хороши, то никакая изъ нихъ не хороша отдѣльно, иначе это становится утомительнымъ, однообразнымъ шествіемъ длинноногихъ, прямоносыхъ греческихъ фигуръ, которая стоятъ какъ на показѣ, почти участвуютъ въ дѣйстви, и такъ надоѣдаютъ въ нѣсколько дней и часовъ, что уже не хочется цѣлые годы глядѣть на маски искусства. Но что, если эта ложная красота къ тому же еще является насмѣшкой надъ исторіей, характеромъ и дѣйствіемъ, и тѣмъ выдаетъ свою лживость? Образуется диссонансъ, и картина становится невыносимой. Этого не замѣтить, правда, фанатикъ древности, но отлично увидитъ и почувствуетъ истинный любитель античнаго духа. Вся современность, всѣ благодарные историческіе сюжеты, живые характеры, все истинное и прочувствованное исчезаетъ въ снѣпомъ увлеченіи древностью. Будущія поколѣнія будутъ изумляться подобнымъ убѣжденіямъ на словахъ и на дѣлѣ, и не поймутъ, когда мы жили, чѣмъ мы были, и что привело насъ къ такому жалкому безумію, къ желанію жить по завѣтамъ другого времени, другого народа и чуждой страны, пренебрегая зрѣлищемъ природы и теченіемъ исторіи".

Но эти голоса были совершенно обособленными или слишкомъ запоздалыми. Послѣ того, какъ культъ древности проявился въ литературныхъ произведеніяхъ, послѣ того, какъ археологи теоретически опредѣлили свои цѣли и принципы, нѣмецкое искусство тоже вступило на новый или, вѣрнѣе, на старый путь. „Въ первый разъ случается въ искусствѣ, что крупные таланты обнаруживаютъ желаніе итти назадъ и образовывать такимъ образомъ новую художественную эпоху, и такой жребій выпалъ на долю честныхъ нѣмцевъ, — писалъ Гёте.

„Родина нѣмецкаго искусства— Греція“ пѣли въ академіяхъ. И это насильственное обращеніе къ идеаламъ другого народа дало горькіе плоды.

Въ новѣйшихъ исторіяхъ литературы очень вѣрно говорится, что даже для Гёте и Шиллера слѣдованіе античному искусству было очень опасно, и что они были болѣе вѣрны себѣ въ эпоху бури и натиска, чѣмъ позже, когда стали классиками. Мы теперь не понимаемъ, какъ одинъ и тотъ же человѣкъ, который излил свою юношескую страсть въ Вертерѣ, въ Гетцѣ фонъ Берлихингенъ и въ своемъ вдохновенномъ сочиненіи о готическомъ искусствѣ, могъ въ послѣдствіи писать слѣдующія слова: „Быть гомеридомъ, даже самымъ послѣднимъ, прекрасно“. Какъ странно желать быть гомеридомъ, будучи Гёте! Какъ разъ у него увлеченіе Греціей вызвало рядъ подражательныхъ стихотвореній въ античномъ вкусѣ; даже его современники находили ихъ слабыми: „Ахиллеида“ напр.—мертвая филологическая поддѣлка. Точно также несомнѣнно, что подъ



Ася Яковъ Карстенсъ.

вліяніемъ греческаго и Гетевского пониманія красоты индивидуальность Шиллера ослабѣла, и Германія лишилась въ немъ наиболѣе національнаго поэта; нѣмецкая драма утратила своего Шекспира. Когда мощные творцы „Фауста“ и „Разбойниковъ“ измѣнили идеаламъ своей титанической юности подъ вліяніемъ Греціи, первый расцвѣтъ нѣмецкой поэзіи погибъ отъ весеннихъ морозовъ; долженъ былъ пройти цѣлый вѣкъ, прежде чѣмъ сѣмена, заключавшіяся въ „Гетцѣ“ и „Разбойникахъ“, смогли попасть на новую плодородную почву.

Въ области искусства результатъ получился еще болѣе печальный, чѣмъ отъ подражанія Караччи и теорій Лереса. Ученики Винкельмана не были, подобно Гёте и Шиллеру, свѣжими реалистами, прежде чѣмъ взглянула на нихъ греческая Горгона; поэтому они еще менѣе могли устоять противъ ея взгляда. Они вступили на новый путь не съ тѣмъ избыткомъ вдохновенія, которое не знаетъ, на какой путь обратиться, и какое выдолбить себѣ русло. Они приняли формы, созданныя великими эпохами, безъ всякаго сомнѣнія въ ихъ достоинствахъ и безъ малѣйшей попытки какого нибудь удачнаго обновленія; если они и лучше понимали грековъ, чѣмъ ихъ предшественники въ Италіи и Франціи, то все-таки, чѣмъ ближе подражаніе, тѣмъ меньше оно допускаетъ оригинальности. Путь къ неподражаемости, указанный Винкельманомъ, привелъ къ болѣе пустому, безжизненному и безотрадному искусству, чѣмъ все, что создала болонская школа. Къ тому же привычная къ мышленію нѣмецкая нація дошла до конца въ слѣдованіи классической идеѣ—чего другіе народы не дѣлали—и это привело къ забвенію всякой техники въ живописи, всего знанія, достигнутаго прежними эпохами. Въ исторіи церкви существуетъ легенда о томъ, что при рожденіи Константина раздался голосъ съ неба: „Нынѣ влился ядъ въ плоть церкви“. Этимъ ядомъ была для нѣмецкаго искусства нашего вѣка книга Винкельмана.



Карсвенскъ: Опиумнѣе изъ Мегаленна.

Первой жертвой Винкельмана былъ *Антонъ Рафаэль Менгсъ* (Anton Rafael Mengs); первоначально сильный и большой талантъ его былъ совершенно расшатанъ совѣтами ученаго. Среди произведеній Караччи интересны лишь тѣ, гдѣ наименѣе проявляется эклектизмъ и наиболѣе виденъ духъ XVII вѣка, и Менгсъ хорошъ лишь тогда, когда онъ шелъ не по слѣдамъ древнихъ, а бессознательно слѣдовалъ вкусамъ своего времени. Поэтому наиболѣе прекрасны его портреты пастелью въ дрезденской галлерей; они написаны еще совѣмъ въ духъ рококо и выдержаны въ очень нѣжномъ тонѣ. Они доказываютъ, что дрезденскій Апелесъ не совѣмъ несправедливо считался у своихъ современниковъ самымъ замѣчательнымъ нѣмецкимъ живописцемъ XVIII вѣка. Розальба, Карьера и Леотаръ кажутся рядомъ съ нимъ изнѣженными и вялыми. Одинъ только Рейнольдсъ обладалъ такой рѣдкой опредѣленностью, такой пластической силой моделировки и вѣрностью колорита. Въ картинахъ Менгса нѣтъ никакой слащавости и аффектаціи, нѣтъ приторной мягкости, которая была внесена въ искусство его послѣдователями. И если вспомнимъ, что картины эти написаны шестнадцатилѣтнимъ юношей, то величіе и простота его пониманія покажутся невѣроятными. Также лучшіе изъ его позднѣйшихъ портретовъ масляными красками совершенно классическіе: въ ихъ ясномъ тонко-сѣромъ колоритѣ есть большое благородство и жизненность при отсутствіи всякаго подражанія кому либо изъ прежнихъ мастеровъ. Менгсъ умѣлъ глядѣть своимъ моделямъ въ душу. Въ лучшихъ картинахъ, какъ напримѣръ, въ собственномъ портретѣ въ Мюнхенской галлерей онъ является однимъ изъ лучшихъ портретистовъ XVIII вѣка.

Въ большихъ церковныхъ картинахъ Менгсъ сынъ той эпохи, когда искусство заразилось общей блѣдностью мысли, прониклось эклектизмомъ и стало метаться, примыкая къ самымъ различнымъ школамъ. „Прежде всего нужно удалить плевелы“, пишетъ Цанотти въ своемъ „Руководствѣ для молодого живописца“, „затѣмъ вернуться къ Чимабузъ и Джіотто, и опять, послѣ многихъ лѣтъ къ Буанаротти и Санти и благороднымъ ихъ наслѣдникамъ, ко-



Генерал: Пась „Ахилис кутилас“.

торымъ никто уже не слѣдуетъ. Но когда наступитъ такое счастливое возрожденіе, вѣдаетъ Богъ". Старый Измаилъ Менгсъ полагалъ, что это должно быть его заботой, и назвалъ въ честь Антоніо да Аллегри и Рафаэля Санти своего сына Антономъ Рафаэлемъ, который долженъ былъ стать эклектическимъ реформаторомъ искусства, и такъ какъ онъ былъ первымъ живописцемъ, имѣвшимъ право, по особому дозволенію Саксонскаго курфюрста, посѣщать еще недоступную тогда дрезденскую галлерей, то онъ смогъ легко выполнить эту задачу. Ему быстро удалось освободиться отъ непосредственнаго вліянія времени и, согласно съ ученіемъ Караччи, вернуться къ будто бы лучшимъ образцамъ древности. Находящіеся въ разныхъ галлерейхъ подобныя картины Менгса—преимущественно религіознаго содержанія кажутся произведеніями хорошаго художника XVII вѣка, имя котораго трудно вспомнить. Его знаменитая „Ночь Рождества Христового“, въ которой онъ выступилъ соперникомъ Корреджіо, кажется картиной Маратти. Только выраженіе лицъ у Менгса болѣе вялое и пустое.

Злополучный „Парнасъ“ въ виллѣ Албани свидѣтельствуеть о полномъ упадкѣ этого большаго таланта. Когда Менгсъ перешелъ, по настоянію своего друга Винкельмана, отъ Рафаэля и Корреджіо къ изученію античнаго искусства, онъ утратилъ не только самобытность, но и всѣ качества, которыми прежде обладалъ. Послѣ того какъ живопись такъ долго тянула за собой на буксирѣ пластическое искусство, пластинка теперь стала мстить за себя и въ теченіи нѣсколькихъ десятилѣтій на нѣмецкихъ картинахъ красовались прекрасно написанныя гипсовыя фигуры. Заблужденіе Винкельмана, какъ очень вѣрно опредѣлилъ Гердеръ, заключалось не только въ томъ, что онъ навязалъ современникамъ подражаніе отжившему идеалу; онъ кромѣ того привнлъ новой живописи принципы, пригодные лишь для древней пластинки. Идеаль древняго искусства былъ преимущественно пластическій, а ни Винкельманъ, ни позже него Лессингъ не отдавали себѣ яснаго отчета въ различіи пластики и живописи, они предлагали поэтому живописцамъ пластическіе идеалы. Уже то, что Лессингъ въ Лаоконѣ связалъ свои разсужденія съ произведеніемъ пластическаго искусства доказываетъ, что законы и условія этихъ двухъ искусствъ казались ему одинаковыми. Винкельманъ и Лессингъ боролись противъ смѣшенія изобразительныхъ искусствъ съ поэзіей и вмѣсто этого проповѣдывали смѣшеніе живописи и пластики, что было еще болѣе опасно. Такимъ образомъ совершенно чуждый элементъ вошелъ въ произведенія Менгса, который до того былъ исключительно живописцемъ. Чисто внѣшняя идеализація въ исполненіи отняла у фигуръ послѣдній остатокъ естественности, отличавшей прежнія картины Менгса. Трудно даже повѣрить теперь, что Винкельманъ въ припадкѣ дружбы привѣтствовалъ „Парнасъ“ Менгса восторженнымъ признаніемъ, что „болѣе прекраснаго произведенія ннкогда не было въ искусствѣ, и что даже Рафаэль преклонился бы передъ нимъ“. А между тѣмъ „Парнасъ“ Менгса—смѣсь заимствованій и пошлыхъ переживаній безъ души и чувства, безъ всякой свѣжести и самобытности. Это кладовая пластическихъ фигуръ и даже не античная группа, а просто собранная вмѣстѣ, разнородная отдѣльная статуя болѣе холодная и безжизненная, чѣмъ все, что писалъ Баттони. Въ произведеніяхъ великаго декоратора того времени, Тьеполо, чувствуется смѣлый и сильный взмахъ кисти, сила и черезъ край бьющее богатство фантазій; въ картинѣ же Менгса видна чисто разсудочная работа, композиція состоитъ изъ заимствованій, сдѣланныхъ при помощи филологін. Въ одномъ только отношеніи картина Менгса примыкаетъ къ доброму старому времени въ искусствѣ: въ ней видно болѣе серьезное изученіе формы и колорита, чѣмъ во всѣхъ картинахъ слѣдующаго полулѣтѣ въ Германіи. Фигуры написаны съ мягкостью и силой, еще достойной времени рококо.



Карстенсъ: Ахиллъ и Пріамъ.

„Милая *Анжелика*“ вторая представительница этого переходного времени. Она тоже по настоянію своего друга Винкельмана переодѣлась греческой весталкой, но, какъ умная женщина, оставила у своего классическаго одѣянія болѣе изящный покррой рококо. Благодаря общенію съ Винкельманомъ, она стала немного синимъ чулкомъ и принялась изучать древнихъ историковъ, отыскивая въ нихъ такіе сюжеты, какъ Корнелія, мать Гракховъ, Агриппина съ пепломъ Германика, Фрина и. т. д. Впрочемъ, она черпала свои сюжеты охотнѣе изъ поэтическихъ греческихъ мифовъ: Адонисъ на охотѣ, Психея, Аріадна, оставленная Тезеемъ, Аріадна, найденная Вакхомъ, смерть Альцесты, Герио и Леандеръ,—вотъ ея излюбленные сюжеты. Во этихъ картинахъ мягкость ея доходитъ до сентиментальности и граціи, близка къ слащавости. Гёте справедливо говоритъ о ней слѣдующее: „Въ фигурахъ и лицахъ Анжелики Кауфманъ слишкомъ мало разнообразія; страсть выражена безъ всякой силы, герои похожи на нѣжныхъ мальчиковъ или переодѣтыхъ дѣвушекъ“. Но онъ же говоритъ о ней и слѣдующее: „Легкость, привлекательность формъ, красокъ и манеры—основная черта многочисленныхъ произведеній художницы. Ни одинъ изъ теперешнихъ живописцевъ не можетъ соперничать съ ея граціей, вкусомъ и умѣніемъ владѣть кистью“. Это опредѣленіе тоже совершенно вѣрное. Анжелика умѣла сочетать правильность линий и формъ, которую требовалъ Винкельманъ съ граціей, иногда кокетливой, иногда сентиментальной, но всегда изысканной. Ея картины, въ особенности женскіе портреты, отличаются очень нѣжными сочетаніями красокъ.

Она и Менгсъ были послѣдними живописцами, еще обладавшими кой какими техническими средствами. Почти всѣ техническія традиціи, уцѣлѣвшія въ Германіи XIX вѣка, должны быть приписаны вліянію Менгса, но какъ разъ этого не могли ему простить его преемники; они не соглашались признать его своимъ и презрительно отрекались отъ него, какъ отъ манернаго живописца, „по старымъ прописямъ“. „Техническія познанія“,—пишетъ Гёте,—



Карсенс: Ночь и ея дщри.

„мѣшаютъ полному отвлеченію и возвышенію надъ дѣйствительнымъ, а это требуется отъ произведеній пластики, которая даетъ только *формы* въ ихъ высшей чистотѣ и красотѣ.“ „Колоритъ и свѣтотѣни не такъ важны для картины, какъ благородство линий“, пишетъ Винкельманъ, и эти положенія сдѣлались для слѣдующаго поколѣнія основными. Когда Винкельманъ предлагалъ живописцамъ своего времени слѣдовать образцамъ греческой скульптуры, онъ впадалъ еще въ одно заблужденіе—смѣшивая „тихое величіе и благородную простоту“ съ безцвѣтностью и холодностью. Гердеръ писалъ по этому поводу: „если пластика владѣетъ гармоніей формы, то въ живописи гармонія заключается въ колоритѣ и освѣщеніи. Я не понимаю, какимъ образомъ нѣкоторые теоретики могли говорить пренебрежительно о свѣтотѣни; въ ней частичка генія, которая дается и мастеру, и ученику; это глазъ, которымъ онъ видитъ, море свѣта, которымъ все озаряется; отъ этого зависитъ каждая черта. Это божественное море свѣта, этотъ волшебный міръ—достояніе живописи. Зачѣмъ сопротивляться природѣ и не оставить всякому искусству то, что только оно одно можетъ сдѣлать и хорошо сдѣлать?“

Слова Гердера были забыты. Философское направленіе XVIII вѣка, который старался проникнуть въ „духъ“ вещей и преобразовать все съ высоты отвлеченнаго міросозерцанія, отозвалось и на живописи; пренебрегая цвѣтомъ явленій, преимущественное значеніе стали придавать формамъ и линиямъ, считая пластическіе элементы самою сущностью живописи.

Когда въ живописи стали изображать раскрашенные статуи, то естественно поднялся вопросъ, не слѣдуетъ ли раскрашивать скульптурныя произведенія. Поколѣніе, выросшее на теоріяхъ Винкельмана, совершенно не знало того значенія, которое имѣли для грековъ принципы живописи; поэтому совершенно логично понятіе о безцвѣтно бѣломъ стали отождествлять съ понятіемъ о классически прекрасномъ, и вопросъ уже представился въ слѣдующей формѣ: „нужны ли краски на *картинахъ*?“ Живописцы вдругъ стали считать самую живопись



Jeune; His „Memoria and „Mist“.

чѣмъ то сомнительнымъ и поспѣшили аскетически отказаться отъ употребленія красокъ въ искусствѣ. Живопись объявляется принципиальнымъ извращеніемъ искусства—„Кисть испортила наше искусство“ писалъ уже Корнелиусъ. Послѣ того началась еще небывалая эра картоновъ, изготовляемыхъ теперь съ величайшей серьезностью даровитыми художниками. Въ эпоху рококо колоритъ достигъ верха утонченности оригинальными сочетаніями нѣжныхъ и переливающихся тоновъ; реакціей противъ этого было полное отрѣшеніе отъ красокъ. Идеаль стали искать въ отвлеченной красотѣ линій, краски признаны были чѣмъ то второстепеннымъ и суетнымъ. Колоритъ казался пестрымъ платьемъ, которое природа можетъ снимать и надѣвать, совершенно не мѣняясь по существу. Живописцы этого времени говорили только о линіяхъ.

Этотъ стиль держался одними линіями; онъ не нуждался ни въ полотнѣ, ни въ стѣнахъ для фресокъ, а только въ бѣлой бумагѣ, требовалъ сравнительно очень мало работы съ натуры, а такъ какъ идеаль былъ легко достижимъ, то не стоило мучиться въ академіяхъ, гдѣ къ тому же, съ введеніемъ Менгсовскаго классицизма, царствовала общая пустота мыслн и доктринерскій педантизмъ. Послѣ того какъ Менгсъ отрекся отъ вкуса эпохи рококо, слѣдующее поколѣніе отрѣшилось и отъ его *техники*, покинуло академіи и пренебрежительно сбросило съ плечъ школьную сумку техническихъ традицій.

Карстенсъ (Carstens) первый вступилъ въ Германіи на этотъ путь. У него больше индивидуальности, чѣмъ у Менгса. Его слѣдованіе древности не было исключительной и холодной подражательностью и заимствованіемъ. Онъ *жизн* въ древности. Міръ греческихъ поэтовъ его духовная родина, ихъ глубокія мысли имѣли въ немъ тонкаго толкователя. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ печально прославился тѣмъ, что первый легкомысленно отрѣшился отъ наслѣдія отцовъ. Онъ отказался отъ знаній, перешедшихъ изъ времени рококо, и тѣмъ самовольно порвалъ нить, которая связала бы, если бы этого не случилось, нѣмецкое искусство XIX вѣка съ искусствомъ XVIII вѣка.

Карстенсъ читалъ въ ранней юности „Исслѣдованіе о прекрасномъ въ искусствѣ“ англичанина Даниеля Вебба—приверженца идей Винкельмана о подражаніи древнимъ. Эта книга породила въ душѣ Карстенса любовь къ древности. „Воспитывай въ себѣ изученіемъ древности любовь къ красотѣ“—эти слова юноша записывалъ себѣ на память изъ книги Вебба. „Стиль живописи нужно изучать на Лаокоонѣ, на статуѣ борца, а чтобы понять паевое, нужно созерцать божественнаго Аполлона. Остановимся на изящной красотѣ Медицейской Венеры. Вотъ высшее проявленіе рисовальнаго искусства... Аполлонъ Бельведерскій и дочери Ниобеи даютъ исчерпывающее представленіе о благородномъ и прекрасномъ. Рисунокъ Рафаэля никогда не достигаетъ того совершенства, которое мы видимъ въ греческихъ статуяхъ... Куда вы увлекаете меня, мраморные боги, полубоги и герои? Я слѣдую вашему зову и твонимъ вѣчнымъ законамъ, воображеніе. Я иду въ виллу Медичи и дышу тамъ чистымъ воздухомъ; я ложусь на луга, покрытые цвѣтами. Меня осяняютъ лимонныя рощи, и я созерцаю безпрепятственно группу прекраснѣйшихъ женскихъ фигуръ. Ниобея, возлюбленная моя, прекраснѣйшая мать прекрасныхъ дѣтей, прекраснѣйшая изъ женщинъ, какъ я люблю тебя...“

Такъ фантазировалъ Асмъ Якобъ въ винномъ погребѣ въ Экернфердѣ, или въ своей одинокой комнатѣ, при тускломъ свѣтѣ лампы. Онъ былъ опьяненъ величественными откровеніями искусства, которая ему дала эта книга. Въ его восторженной фантазіи рисовались часы, когда онъ, наконецъ, сможетъ созерцать описанныя произведенія. Но если бы онъ могъ увидѣть будущее, какія картины представились бы его глазамъ? Узналъ ли бы онъ себя въ

усталомъ разбитомъ человѣкѣ съ блѣднымъ лицомъ, скорбными чертами и согбенной фигурой, стоящимъ въ Римѣ, какъ очарованный передъ колоссомъ Монте Кавалло? Ему было двадцать два года, когда онъ снялъ передникъ рабочаго и вступилъ въ копенгагенскую академію, уже слишкомъ взрослымъ для правильнаго обученія. Его голова было полна „выдумокъ“; онъ никакъ не могъ рѣшиться „начать учиться съ начала“. „Рисование съ натуры мнѣ не нравилось, и кромѣ того человѣкъ, съ котораго я долженъ былъ писать, при всемъ своемъ хорошемъ сложеніи казался несовершеннымъ и неблагороднымъ сравнительно съ древними образцами; они воспитали во мнѣ болѣе высокое пониманіе прекраснаго. Я думалъ, что смогу нарисовать нѣчто гораздо болѣе прекрасное, подражая только древнимъ образцамъ. Поэтому я рѣшилъ не посѣщать академію, сколько бы мнѣ ни говорили другіе художники о необходимости и пользѣ академическаго обученія“. За то онъ каждый день проводилъ цѣлые часы среди слѣпковъ съ древнихъ статуй, и „священное чувство обожанія, доводившее меня почти до слезъ, наполнило мою душу... Я ни разу не срисовывалъ древнія статуи. Когда я пробовалъ это дѣлать, мнѣ казалось, что чувство мое холодѣетъ. Я думалъ что научусь большому, прилежно глядя на статуи“.

Такимъ образомъ, какъ говорить Фернофъ, развитіе его заключалось въ томъ, что „онъ не шелъ обычнымъ путемъ послѣдовательнаго подражанія, ведущаго къ собственнымъ изобрѣтеніямъ, а прямо началъ съ выдумыванія“. Въ этомъ онъ былъ вполнѣ сыномъ своего времени. Въ ту пору творческая сила искала главнымъ образомъ проявленія въ философіи и поэзіи. Живописцы тоже, согласно съ этимъ, стремились быть поэтами и сочинителями въ своихъ картинахъ. Карстенсъ съ тонкимъ пониманіемъ изучалъ греческихъ трагиковъ и философовъ. Греческіе герои у Хирона, Елена у скейскихъ воротъ, Аякъ Фениксъ и Одиссей въ палаткѣ Ахилла, Пріамъ и Ахиллъ, Парки, Ночь съ ея дѣтьми, Сномъ и Смертью, Гомеръ передъ народомъ, Золотой вѣкъ—всѣ эти картины носятъ отпечатокъ благородной простоты и безмятежности греческаго искусства.

Понятно, что такого рода картины должны были чрезвычайно интересовали археолога. Когда Карстенсъ устроилъ въ 1795 году выставку своихъ произведеній въ Римѣ, то Фернофъ напечаталъ въ „Нѣмецкомъ Меркуріи“ Вильанда отзывъ, въ которомъ объявилъ Карстенса созидателемъ новой эпохи. Но съ перваго же дня проявилась столь же рѣшительная оппозиція противъ него среди художниковъ. Художникъ Мюллеръ, по прозванію чертовъ мельникъ (Teufels Müller), спившійся гениальный человѣкъ, скитавшійся по Риму въ качествѣ guida для иностранцевъ, свидѣтельствуеетъ, что Винкельмановскіе принципы вовсе не были общепризнанными въ концѣ вѣка. „Письма г. Мюллера, римскаго художника, о выставкѣ г. профессора Карстенса“ съ эпиграфомъ „Amicus Plato, amicus Socrates, magis amica veritas“ были напечатаны въ 1797 году въ Шиллеровскихъ „Horen“.

Мюллеръ доказывалъ, что Карстенсъ только подражатель; въ немъ больше памяти и знанія формъ, чѣмъ фантазіи. Отдѣльныя фигуры его, по мнѣнію Мюллера лишены индивидуальности. Затѣмъ критикъ указывалъ на прежнія картины, говорилъ о недостаткахъ колорита и недостаткахъ рисунка. Художникъ, по его мнѣнію, долженъ прежде всего передавать характерность выраженія, а композиція должна уже стоять на второмъ планѣ. Техника должна, несмотря на то, что прежде она доходила до ремесленности, всегати оставаться на первомъ планѣ. Не только отъ художника, но и отъ критика требуется пониманіе ея, и поэтому Мюллеръ совѣтуетъ Карстенсу отступить отъ своего высокомерія наблюдать природу и слѣдовать истинѣ въ картинѣ, потому что



Юганн-Вольфгангъ Гёте.

только въ природѣ созрѣваетъ идеаль, и ничто не можетъ быть въ идеѣ великимъ и прекраснымъ, если оно вмѣстѣ съ тѣмъ не истинно и не вѣрно. Подобныя же мысли высказалъ Кохъ въ послѣдствіи въ своихъ „Мысляхъ о живописи“, и большинство позднѣйшихъ художниковъ согласны были съ его оцѣнкой Карстенса.

Потомство не можетъ не стать на ихъ сторону въ спорѣ съ археологами. Въ Карстенсѣ только трогательно его рвеніе, въ борьбѣ за свой идеаль, священный пламень, который его поддерживалъ даже въ тѣ годы, когда чахотка подтачивала его слабое тѣло. Искусство было, какъ онъ писалъ, его стихіей, его вѣрой, его счастьемъ и жизнью. И въ томъ уже есть величіе и красота, что художникъ въ одиночествѣ умираетъ за свой идеаль. Карстенсъ былъ благороднымъ мечтателемъ. Во время го-

сподства посредственности и ремесленности, онъ съ непреодолимымъ благородствомъ и чистой убѣжденіемъ указывалъ на высоту художественнаго творчества. Но исторія искусства должна судить не о влеченіяхъ сердца, а о результатахъ; было бы несправедливо относительно старыхъ мастеровъ, а также относительно прежнихъ добросовѣстныхъ работниковъ, которые съ менѣ благородными намереніями, но съ гораздо большимъ пониманіемъ дѣла, брались за кисти, если бы провозгласить Карстенса. только за его нравственныя качества — мученикомъ, гениемъ и созидателемъ новыхъ путей въ нѣмецкомъ искусствѣ.

Онъ не былъ гениемъ, каковымъ самъ себя считалъ, съ гордостью говоря объ этомъ министру Гейнцу; онъ не былъ для этого достаточно оригиналенъ. Его произведенія созданы не воображеніемъ, а памятью. Очертанія его картинъ очень тонки, но въ нихъ онъ подражалъ грекамъ, и не требуется никакой гениальности для того, чтобы память и рука привыкли къ типичнымъ греческимъ формамъ. То, что намъ нравится въ Карстенсѣ, въ сущности принадлежитъ не ему: оно является только отраженіемъ того, что мы любимъ въ греческихъ статуяхъ и вазахъ, у Микэль-Анджело и другихъ старыхъ мастеровъ.

Мученикомъ онъ тоже не былъ, потому что встрѣчалъ въ своихъ стремленіяхъ гораздо больше поддержки и сочувствія чѣмъ большинство прежнихъ мастеровъ; и если, несмотря на это, онъ всетаки страдалъ отъ заботъ о пропитаніи, то это только знакъ односторонности и несовершенства его искусства. Онъ утратилъ способность къ декоративному искусству, къ живописи красками, а одними рисунками не могли бы существовать даже и Дюреръ и Рембрандтъ.

Вслѣдствіе этихъ техническихъ недочетовъ Карстенса можно считать только болѣе, чѣмъ талантливымъ дилетантомъ. Не можетъ считаться художникомъ тотъ, кто не старается въ своемъ увлеченіи овладѣть средствами, превращающими лепетъ въ готовый понятный языкъ. Картины Карстенса подкупаютъ своими мягкими волнистыми линіями, но онѣ не выдерживаютъ болѣе серьезной

критики. Нельзя жить среди красоты и не уметь освободиться от некрасиваго. Нельзя стремиться къ великому и возвышенному и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлать постоянныя ошибки, быть тяжеловѣснымъ и не уметь справляться съ рисункомъ и пропорціями. Карстенсъ былъ рисовальщикомъ, и не уметь правильно рисовать: эта гениальная односторонность мѣшаетъ ему считаться основателемъ нѣмецкаго искусства. Его нельзя назвать манернымъ художникомъ, потому что его искусство соответствуетъ его личнымъ свойствамъ, и все-таки, подобно Менгсу и Пересу, онъ подражатель въ искусствѣ; отъ нихъ онъ отличается только тѣмъ, что въ его произведеніяхъ начинается полное оскуднѣніе колорита, уродовавшее съ тѣхъ поръ нѣмецкое искусство. Для потомства совершенно безразлично, что Торвальдсенъ вдохновлялся Карстенсомъ, а Генелли шель въ своихъ рисункахъ по его слѣдамъ.

Бонавентура Генелли (Bonaventura Genelli) былъ несомнѣнно значительнымъ поэтомъ въ живописи—тогдашніе живописцы всѣ стремились къ тому, чтобы самимъ создавать сюжеты. Въ немъ, родившемся въ годъ смерти Карстенса, воскресъ духъ маленькаго голштинца, но тотъ образъ, который онъ принялъ въ этомъ новомъ воплощеніи, кажется въ самомъ дѣлѣ порожденіемъ Эллады въ дни ея величайшей красоты. Мускулистая невысокая фигура моложаваго Геркулеса, съ широкой грудью и сильной шеей, голова, покрытая каштановыми кудрями и полная губы, отъѣнные густой бородой, короткій греческій носъ, серьезные глаза, выглядывающіе изъ подъ густыхъ бровей—такимъ жилъ Генелли въ Германіи, запоздалый грекъ и центавръ, какъ его изобразилъ Гейзе въ своей новеллѣ, „допотопная міеологическая загадка, вошедшая въ нашу, отрѣшившіяся отъ божества міръ на своихъ четырехъ здоровыхъ ногахъ“.—Такимъ онъ сидѣлъ, какъ онъ самъ пишетъ, въ Римѣ, въ своей грязной квартиркѣ съ полуразвалившимися стульями, съ пригвожденными на стѣнахъ чучелами: ястребовъ; крылья ихъ служили моделями для крылатыхъ фигуръ. Такимъ же онъ позже сидѣлъ въ своей маленькой кельѣ въ Мюнхенѣ и жилъ среди своего безвременья. Быть можетъ, если бы онъ родился въ болѣе счастливое для искусства время, онъ сталъ бы хорошимъ живописцемъ для прозвотъ памятниковъ. Но будучи преемникомъ Карстенса, онъ исчерпалъ все свое художественное дарованіе въ двухъ серіяхъ гравюръ—въ трагедіяхъ „Кутила“ и „Исторія вѣдьмы“. Онъ тоже рисовалъ только контуры и ритмически очерченные силуэты. Только на это хватало его умѣнья. Все, что онъ хотѣлъ дать сверхъ того, отъѣнки акварелью или масляными красками, становилось блѣднымъ, вялымъ, схематичнымъ, даже въ рисункахъ онъ походилъ на Карстенса смутностью формы и постояннымъ изяществомъ, которое становится скучнымъ и монотоннымъ. Все приносится въ жертву красотѣ линіи. Отсутствие характера въ лицахъ у него еще болѣе замѣтно, чѣмъ у Карстенса, который все-таки въ юности писалъ еще хорошіе портреты, и поэтому уметь придавать своимъ грекамъ болѣе индивидуальныя черты и нѣкоторое разнообразіе выраженія. У Генелли головы составляютъ лишь часть всей фигуры, и такъ какъ линіи лица не столь гибки, то имъ онъ удѣляетъ даже меньше вниманія, чѣмъ другимъ частямъ тѣла. Хуже всего у него выходили женщины, потому что для мужскихъ фигуръ онъ могъ все-таки самъ служить себѣ моделью, а вѣчно женственное онъ черпалъ только изъ глубины души. Глаза его женщинъ и мужчинъ имѣютъ совершенно животный видъ.

Вліяніе Карстенса на нѣмецкое искусство было такимъ образомъ чисто отрицательное. Не на этой почвѣ могла возникнуть нѣмецкая живопись. Онъ не уготовилъ почву для будущихъ поколѣній, а напротивъ того, отказавшись

отъ всего прошлаго въ искусствѣ, умноженнаго со времени Стефана Лохнера трудами нѣсколькихъ поколѣній художниковъ, лишилъ ихъ почвы. Искусство очень легко умираетъ, но трудно и долго совершается его возрожденіе. Искусство, которое родилось въ скромной римской мастерской больного нервного чловѣка, „знаменитаго рисовальщика“, должно было, чтобы окрѣпнуть технически, получить новыя жизненныя силы изъ внѣшняго міра.





Винченцо Тасси: Портрет художницы с дочерью.

IV.

Классическая реакція во Франціи.

НОВОЕ искусство началось во Франціи также съ подражанія древности. Но въ сущности французскій классицизмъ, какъ и нѣмецкій, былъ не новымъ направленіемъ въ искусствѣ, а только возобновленіемъ давно забытыхъ традицій. Годомъ рожденія классицизма былъ не 1789 годъ, а 1666, т. е. не начало великой революціи, а годъ основанія французской академіи въ Римѣ. Когда Давидъ изображалъ торжество свободы во Франціи, пользуясь примѣрами изъ римской исторіи, онъ поступалъ какъ Лебренъ, который въ своемъ циклѣ Александра Великаго превозносилъ подвиги Людовика XIV. Давидъ не шелъ впередъ въ искусствѣ, а озирался назадъ, былъ реакціонеромъ. Только на короткое время полуголландецъ Ватто смогъ отвлечь взоры парижанъ отъ Рима и направить ихъ на Антверпенъ. Въ жилахъ французовъ течетъ римская кровь, и духовная ихъ родина лежитъ за Альпами, въ Италіи, дочери древней Греціи. Вся французская литература, искусство и философія съ начала своего существованія питались древностью. Римскій духъ также проникаетъ трагедіи Корнеля, какъ и картины Пуссена. Поэтому для возрожденія классицизма во французскомъ искусствѣ достаточно было уже того, что съ половины XVIII вѣка широко развились занятія археологіей.

Де Броссъ (de Brosse) издалъ исторію римской республики и писалъ о Геркуланумѣ. Леруа (Leroy) выпустилъ въ свѣтъ свои „Ruines des plus anciens monuments de la Grèce“. Вскорѣ послѣ того изданы были Кайлюсомъ (Caylus) и Гамильтономъ (Hamilton) „Recueils d'antiquité“. Первый изъ нихъ предпринялъ большое путешествіе и представилъ въ Академію цѣлый рядъ археологическихъ трудовъ. Послѣ Батте и Койпеля онъ первый снова потребовалъ и отъ художниковъ новаго времени красоты линій— „простоты и благородства античной красоты“ („manière simple et noble du bel antique“). Строители стали снова изучать Витрувія и составлять планы по древнимъ образцамъ. Суффло (Soufflot) построилъ Пантеонъ, издалъ рисунки храмовъ Пестума. Уже въ 1763 г. Гриммъ писалъ: „Съ нѣкоторыхъ поръ началось предпочтеніе античныхъ орнаментовъ и формъ всякимъ другимъ. Влеченіе къ нимъ такъ распространилось, что те-

перъ все дѣлается à la grecque. Внутреннія и вѣшнія украшенія домовъ, мебель, матеріи, ювелирныя издѣлія дѣлаются въ греческомъ вкусѣ. Отъ архитектуры увлеченіе Греціей перешло и на моду. Дамы носятъ греческія прически, шеголи считали бы себя опозоренными, если бы у нихъ не было въ рукахъ une boîte à la grecque. «Даже любовь Дидро къ нравоучительно-сентиментальному жанру живописи Грѣза такъ и въ его собственной поэзіи, смѣнилась въ началѣ шестидесятихъ годовъ преклоненіемъ передъ древностію. Онъ громилъ въ „Салонахъ“, начиная съ 1761 года, несчастнаго состарившагося Бушэ, читалъ ему грознымъ тономъ лекціи о „великомъ строгомъ античномъ вкусѣ“. Дидро упрекалъ Бушэ въ отсутствіи правдивости и вкуса, доказывалъ ему, что во всей массѣ написанныхъ имъ фигуръ не найдется и четырехъ, которыя годились бы для рельефовъ, а тѣмъ болѣе для статуй, между тѣмъ какъ художественный вкусъ времени требуетъ простыхъ и чистыхъ линий, пластической красоты—возврата къ идеаламъ классическаго искусства. Въ 1765 г. появился французскій переводъ Винкельмана; Дидро высказалъ по этому поводу очень ясно и опредѣленно свое мнѣніе: „Мнѣ кажется,—писалъ онъ,—что необходимо изучать древнее искусство для того, чтобы научиться видѣть природу" („Il me semble qu'il faudrait étudier l'antique pour apprendre à voir la nature"). Ватлэ тоже осуждаетъ Бушэ: „Ни одинъ художникъ, — говоритъ онъ, — не выказывалъ болѣе откровеннаго презрѣнія къ истинной красотѣ — какъ она была понята и выражена скульпторами древней Греціи" („Jamais artiste n'a plus ouvertement témoigné son mépris pour la vraie beauté telle qu' elle a été sentie et exprimée par les statues de l'ancienne Grèce"). Въ этихъ сужденіяхъ сказалось—еще задолго до событій 1789 года—измѣнившееся направленіе искусства во Франціи. Госпожа Виже-Лебрень (Vigée Lebrun) — французская Анжелика Кауфманъ, — съ ея нѣжнымъ, мягкимъ, симпатичнымъ талантомъ, является яркой представительницей граціознаго, чисто французскаго переходнаго стиля, въ которомъ чувствуется лишь едва уловимое вѣяніе античнаго духа. Въ ея картинахъ очень изящно и тонченно отразилось то время, когда дамы высшаго свѣта забывали, что онѣ маркизы и герцогини, становясь исключительно женщинами и матерями. Онѣ думали, что въ простомъ бѣломъ платьѣ, въ скромной, наброшенной на плечи косынкѣ, въ свободной, непринужденной манерѣ держаться, онѣ нашли путь къ античной простотѣ. Бушэ, встревоженный въ глубинѣ души нападками Дидро, рѣшилъ написать картину изъ древней исторіи. Грѣзъ написалъ „Севера и Каракаллу“, Фрагонарь „Кореза и Каллироэ“. Губертъ Робертъ (Hubert Robert) все болѣе углублялся въ археологію, заполняя свои картины развалинами и памятниками старины. Виенъ (Vien) вдохновлялся античными камнями. Ихъ величавое спокойствіе привело его къ убѣжденію, что грація и причудливыя одѣянія въ стилѣ рококо лишены благородства. Онъ намѣревался изучать древнихъ мастеровъ, Рафаэля, Караччи, Доминикино, Микель-Анджело, однимъ словомъ всѣхъ „художниковъ, произведенія которыхъ носятъ характеръ величія и правды“.

Революція была рѣшительнымъ толчкомъ, отъ котораго римская кровь французовъ еще разъ вскипѣла съ новой силой. Въ тѣнистыхъ садахъ Версаля, гдѣ Панъ съ козлиными ногами обнималъ стройныхъ бѣлыхъ нимфъ у искусственныхъ водопадовъ, знатные кавалеры и дамы, нарядившіеся паяцами и коломбинами, занятые ухаживаніемъ и воркованіемъ, пропустили мимо ушей первые подземные удары, возвѣщавшіе о приближеніи грозы изъ Парижа. Вскорѣ раздался гулъ землетрясенія. Воздухъ наполнился пороховымъ дымомъ, послышались звуки марсельезы и на площади Согласія, гдѣ теперь бьютъ красивѣйшіе въ мірѣ фонтаны, потекла кровь съ гильотинъ. Слова маркизы Помпадуръ,

„Après nous le deluge“, оказались грознымъ пророчествомъ. Въ потокахъ крови потонули и художественные идеалы XVIII вѣка. Революція стала могилой рококо. Однимъ взмахомъ она покончила съ прелестнѣйшей эпохой французскаго искусства, воплотившей всю грацію, все остроуміе французовъ. Революція положила конецъ нзящному и благородному стилю Людовика XV, воплощенному въ картинахъ меланхолическаго, но полнаго жизни Ватто, въ произведеніяхъ Бушэ и Фрагонара, легкихъ и причудливыхъ какъ сновидѣнія. Классицизмъ же, напротивъ того, нашель въ революціи твердую опору и нѣкоторую связь съ современностью: революція перенесла его изъ музеевъ на самую площадь Согласія.



Жакъ Луи Давидъ.

Революція требовала отъ искусства „не благороднаго стиля“, котораго добивался Вьенъ, а прежде всего спартанской добродѣтели. Нѣсколько мыслителей проводили параллели между устройствомъ древнихъ и новыхъ государствъ и доказывали, что древнія республики были образцами высокаго совершенства и что нужно слѣдовать по возможности во всемъ ихъ примѣру. Они противопоставляли строгую нравственность Спарты и римской республики нравамъ монархической Франціи конца XVIII вѣка. При всякомъ удобномъ случаѣ говорилось о добродѣтели, самоотверженности, храбрости и патріотизмѣ великихъ мужей древности. Философы видѣли въ ихъ подвигахъ подтвержденіе своихъ положеній и проповѣдывали идеи, которыя находили глубокой отголосокъ въ сердцахъ французовъ.

Римскій духъ проникъ въ плоть и кровь народа раньше, чѣмъ разразилась катастрофа. Мы были,—пишетъ Нодье,—болѣе подготовлены къ своеобразному языку революціи, чѣмъ можно было ожидать. Не трудно было перейти отъ школьныхъ занятій къ борьбѣ на форумѣ. Въ школахъ задавались сочиненія на темы вродѣ слѣдующей: „Кто стоитъ выше, старшій Брутъ, который казнилъ своихъ дѣтей, или младшій, умертвившій своего отца“. Такимъ образомъ Ливій и Тацитъ болѣе способствовали крушенію монархій во Франціи, чѣмъ Вольтеръ и Руссо. Вполнѣ естественно поэтому, что какъ только Франція освободилась отъ монархіи и произнесла слово „республика“, она должна была принять за образецъ именно римскую республику. Французы жили въ атмосферѣ древняго міра. Великіе граждане Рима и Аѳинъ постоянно упоминались въ національныхъ собраніяхъ; Сцевола, Циціпійонъ, Катонъ, Циципійонъ были кумирами толпы. Въ церковныхъ проповѣдяхъ дѣлались постоянныя ссылки на древнихъ авторовъ, М-мъ Виже-Лебрень устраивала ужины à la grecque, гдѣ все было точнымъ

воспроизведениемъ „Voyage d'Anacharsis“. Обращение гостей между собой, одежда, яства, развлеченія, столъ—все было на афинскій ладъ. Хозяйка изображала изъ себя Аспазію, аббатъ Бартеlemi въ греческой одеждѣ, съ лавровымъ вѣнкомъ на головѣ произносили стихи, де-Кюбьеръ, наряженный Мемнономъ, игралъ на золотой лирѣ, а одѣтые рабами мальчики, прислуживали за столомъ. Дѣтямъ давали при рожденіи греческія и римскія имена. Мужчины называли другъ друга римлянами. „Но я любилъ его, римляне!“—воскликаетъ Кулонъ послѣ смерти Мирабо. Парижъ вообразилъ себя Римомъ. На сценѣ ставили бюстъ Брута противъ бюста Вольтера и актеры, обращаясь къ статуямъ, произносили рѣчи, вродѣ слѣдующей: „О священная статуя Брута, великаго челоуѣка! Перенесенная въ Парижъ, ты не покинула Рима“. И подобно тому какъ въ театрахъ выставляли бюстъ Брута, въ кофейняхъ появлялись бюсты Муція Сцевола. Французскіе журналисты, еще полные гимназическихъ воспоминаній объ античномъ мірѣ, сравнивали кофейни съ лицеями и портиками. При всякомъ удобномъ случаѣ древній Римъ приводился какъ примѣръ. Въ парижскомъ собраніи гравюръ хранится изображеніе гильотины съ надписью: „Такого же рода сооруженіе послужило орудіемъ казни римлянина Тита Манлія“. Какой то слуга, лишая себя жизни, сослался на примѣръ Сенеки. Если бы это было возможно, французы времени революціи охотно отодвинули бы время своей жизни на 1800 лѣтъ назадъ, чтобы жить величественной, простой и жестокой жизнью прошлаго. Подражаніе политическимъ и общественнымъ формамъ древности не удовлетворяло французовъ. Имъ хотѣлось носить древнія одежды, употреблять древнюю утварь. Мебели стали придавать античную форму, стѣнныя украшенія дѣлались въ греческомъ вкусѣ. Легкомысленная веселость стиля рококо съ его капризами и вычурностью не подходила уже къ будуарамъ временъ революціи, ставшимъ мѣстомъ политическихъ совѣщаній. Всякіе изгибы и выпуклости потеряли смыслъ; мебель становилась прямой, дѣловой, негостепріимной. Нѣсколько времени французы носили даже красныя фригійскія шапочки и ходили въ плащахъ, съ обнаженными ногами. Женщины забросили кринолины и надѣли длинныя одѣянія падающія съ плечъ прямыми складками, перестали носить каблукъ, обулись въ сандалии, отказались отъ пудренныхъ париковъ и убирали волосы простымъ греческимъ узломъ. „Одѣтыя въ бѣлыя платья, безъ всякихъ украшеній, онѣ являлись въ нарядѣ добродѣтели и простоты“ въ бюро президента. Подражая римскимъ женщинамъ времени Камилла, онѣ приносили свои драгоценности для спасенія отечества. Живопись также была привлечена къ созиданію этого новаго міра. На выставкѣ (салонѣ) 1793 года жюри высказало мнѣніе, что живопись лишь тогда получаетъ право на существованіе, когда она пробуждаетъ гражданскія добродѣтели. Въ послѣднемъ случаѣ однако миссія ея выше той, которую искусство исполняло въ древней Греціи и въ Римѣ. „Греки и римляне были только рабами; мы же, французы, свободны по природѣ; мы художники по влеченію, философы по характеру“. Французское искусство должно стать выше античнаго, подобно тому какъ французская республика превосходитъ древнія свободныя государства. „Французамъ доступно все, что въ древней Греціи способствовало развитію искусства—общественныя игры, гимнастическія упражненія, національныя празднества. Но сверхъ того, французы обладаютъ еще чувствомъ свободы, отсутствовавшимъ у грековъ. Для истиннаго генія безконечно отрадно изображать исторію свободнаго народа, чѣмъ сцены изъ мифологіи“.

Благодаря этому новому оттѣнку, внесенному въ классицизмъ, почва ускользала изъ подъ ногъ даже у тѣхъ, которые имѣли одинаковый съ Дидро взглядъ на изученіе древности. Порвалась всякая связь между художниками, отражавшими въ своихъ произведеніяхъ послѣднюю улыбку XVIII-го вѣка, и

новыми требованіями. Картины ихъ, полныя граціи, возбуждали такое же презрѣніе какъ и все „вчерашее“, и они должны были, скрѣпя сердце, подчиниться духу времени. Моро (Moreau) младшій, веселый художникъ времени рококо, сталъ академичнымъ, сухимъ и скучнымъ въ рисункахъ къ своей книгѣ: „Костюмы французовъ времени революціи“. Добродушнаго Фрагонара (Fragonard) которому, въ 1789 году было только 50 лѣтъ, (онъ дожилъ до 1806 г.), освидали, не смотря на его „Кореза“ (Coresus). Его живопись, полная легкой нѣжности золотисто-розовыхъ тоновъ, утратила всякое значеніе въ новомъ мірѣ. Когда терроръ истребилъ пышность и празднества, Фрагонаръ очень печально закончилъ жизнь. Портретъ Фрагонара, написанный имъ самимъ, относится къ началу



Давидъ: Маратъ.

революціи: художникъ изображенъ старикомъ, одѣтымъ во все черное. Онъ стоитъ спокойный, съ грустнымъ выраженіемъ лица, въ непривѣтливой темной залѣ. Онъ опирается рукою о столъ, на которомъ лежитъ гитара, у его ногъ гравюры, но онъ не играетъ на гитарѣ и не разсматриваетъ гравюръ. При грустномъ освѣщеніи надвигающагося вечера, художникъ вспоминаетъ о минувшемъ: на его чело, гдѣ прежде покоились розовыя мечты, легли теперь мрачныя тѣни.

Грѣзъ тоже пережилъ себя. Его слава не возвращалась и тогда, когда онъ писалъ „Ариадну на Наксосѣ“ и притворялся добродѣтельнымъ. Онъ умеръ въ 1805 году, въ нищетѣ, всѣми забытый. Требованіямъ, которыя предъявлялъ новый классицизмъ не могъ удовлетворить никто, не исключая и Вьена. Какъ бы громко не называлъ онъ себя ученикомъ грековъ, въ концѣ концовъ онъ былъ только трусливый и слащавый революціонеръ. Спокойный, холодный, съ тяжелымъ характеромъ, старикъ Вьень не имѣлъ ни энергіи, ни рѣшительности реформатора. Онъ былъ придворнымъ живописцемъ Людовика XVI, убѣжденнымъ монархистомъ,—и это одно возбуждало къ нему недоверіе революціоннаго правительства. Его картины тоже обозначаютъ собой конецъ отживающей художественной эпохи. Грѣзъ, Фрагонаръ и Вьень, не смотря на свою напускную строгость, перешли въ новый вѣкъ лишь какъ призраки былаго изшества противоположнаго положительности и сухости начинавшагося XIX вѣка.

Какъ Луи Давидъ (Jacques Louis David) первый понялъ новыя требованія, и благодаря этому внесъ, хотя и на немногіе только годы, большую живость линій въ древній французскій классицизмъ. Онъ первый провелъ съ полной послѣдовательностью реформу вкуса и стиля, которую Вьень ограничивалъ



Давидъ: Гораций.

внѣшними рамками жизни, костюмомъ, мебелью, украшеніями. Давидъ оживилъ республиканскимъ пафосомъ каменіи Вѣны и сдѣлался выразителемъ того времени, когда французы зачитывались Плутархомъ и Парижъ сталъ новой Спартой. Самъ Давидъ, получившій *prix de Rome* послѣ троекратнаго провала, принадлежалъ еще къ „извращенной эпохѣ“, возбуждавшей столь сильное негодованіе суровыхъ республиканцевъ. Двадцати шести лѣтъ онъ писалъ плафоны, подражая своему съ „позволенія сказать“ родственнику, Бушэ. Но Римъ превратилъ сразу Савла въ Павла. Вѣнь, назначенный директоромъ римской академіи, взялъ Давида въ 1775 году съ собой въ Италію, какъ одного изъ лучшихъ своихъ учениковъ. Едва ли онъ предвидѣлъ тогда, что этотъ юноша со-всѣмъ по иному и безконечно шире воспользуется пребываніемъ въ Римѣ. Давидъ не дождался революціи для перемѣны своихъ художественныхъ воззрѣній; когда часъ пробилъ, онъ засталъ художника готовымъ. Уже его первыя картины были какъ бы предзнаменованіемъ революціи. Въ нихъ ясно обозначилось направ-леніе, по которому Давидъ пошелъ послѣ того. Въ „Клятвѣ Горациевъ“ и „Брутъ“, написанныхъ имъ въ Римѣ въ 1784 г., обозначилась программа его дальнѣйшихъ работъ. Розовые амуры и голубы Вѣнеры, все обаятельное легко-мысліе и галантность рококо подали въ отставку. Ихъ смѣнили фигуры строгихъ мужей. Давидъ отрекся отъ всего, чему прежде поклонялся; онъ рѣшительно заявилъ что заблуждался, когда еще вѣрилъ въ силу цѣлѣушаго рококо и когда заканчивалъ нѣжными красками плафоны, начатыя Фрагонаромъ въ домѣ m-lle Гимаръ. Онъ говорилъ, что капризный стиль и занятіе бездѣ-лушками должны уступить мѣсто болѣе мужественному искусству, и сюжетамъ, „достойнымъ остано-вить на себѣ взоръ свободнаго народа“. Еще задолго

до взятія Бастилии живопись юнаго Давида стала для молодого поколѣнія художественнымъ воплощеніемъ политическихъ идей, воспринятыхъ на школьной скамѣ. Когда старый Помпей Баттони увидалъ въ римской мастерской Давида его оконченную картину „Горации“, онъ въ восхищеніи воскликнулъ: *Tu ed io soli siamo pittori, pel rimanente si puo gettarlo nel fiume*. (Только ты и я живописцы. Все остальное можно бросить въ рѣку). Въ Парижѣ успѣхъ Давида былъ необыкновенный; всѣ критики единодушно хвалили его. Онъ былъ вполне художникомъ своего времени. Въ „Горацияхъ“ впервые ясно отразился пафосъ приближающейся революціи. Въ этой картинѣ видѣли образецъ „не знающей прелесть любви къ отчизнѣ“: даже любовь къ сестрѣ, обрученной со врагомъ, не можетъ удержатъ Горациевъ отъ поединка съ Куріаціями.



Давидъ; Портретъ Лавуазье и его жены.

Другая картина Давида — Брутъ, принимающій у подножія статуи Рима ликторовъ съ тѣлами своихъ сыновей казенныхъ за монархическій заговоръ. Эту картину привѣтствовали, какъ аллегорію республиканской неподкупной справедливости. Толпѣ понравилось, что Давидъ „прославилъ мстителей за измѣну свободѣ“, и она привѣтствовала художника, создававшего „сильный могучій стиль для прославленія революціонныхъ подвиговъ дѣтей свободы и защитниковъ равенства“. Если вспомнить къ тому же, что все это происходило во времена Наполеона, то становится понятной реакція солдатской простоты противъ изнѣженности рококо.

Въ началѣ революціи Давиду было уже 41 годъ. Онъ сдѣлался грознымъ художникомъ, властнымъ диктаторомъ своего времени. Засѣдая въ Конвентѣ, Давидъ не только законодательствовалъ въ живописи, но и подчинялъ своему вкусу скульпторовъ, декораторовъ, ювелировъ и даже токарей. Для сановниковъ и народныхъ представителей онъ рисовалъ новые костюмы; какъ устроитель общественныхъ празднествъ, онъ воскресилъ весь республиканскій Римъ. Давидъ удивительно гармонировалъ съ духомъ своего времени. Аристократически изнѣженное искусство въ духѣ рококо казалось этому новому поколѣнію насмѣшкой надъ человѣческими правами. Давидъ создалъ нѣчто болѣе соответствующее ихъ вкусу. Онъ сталъ изображать героевъ, умирающихъ за идею или за отечество, идущихъ на бой, здоровыхъ, гибкихъ, подобно борцамъ, бросающимся на арену. Давидъ сталъ Геркулесомъ, очищающимъ Авгіевы конюшни; мощными плечами повернулъ онъ назадъ избаловавшуюся толпу художниковъ, слишкомъ долго замечтавшихся на островѣ Цитеры. Давидъ создалъ искусство, отвѣчающее героическому настроенію времени; онъ



Давидъ: Г-жа Пекулъ.

придалъ живописи воинственную осанку патриотизма, внесъ въ нее духъ Робеспьера, Сень-Жюста и Дантона. Чѣмъ напыщеннѣ проявляли его герои свою любовь къ родинѣ, тѣмъ болѣе французы находили въ нихъ сходства съ дѣйствительностью. Риторическій пафосъ былъ тоже въ духѣ времени. Тальма, исполняя роли корнелевскаго Горація въ классическихъ котурнахъ, вызывалъ шумные восторги. Когда Давидъ писалъ свои картины, въ его ушахъ еще звучали торжественныя декламации ораторовъ. Извѣстно, что Робеспьеръ произносилъ свои рѣчи на трибунѣ медлительнымъ тономъ, скандируя слова какъ стихи. У ногъ его грохоталъ вулканъ, а онъ мнилъ себя Боссюэтомъ, произносящимъ церковныя проповѣди, или Буало, говорящимъ съ кафедры. Его филиппики состояли изъ трехъ частей—какъ академическія рѣчи: патриотизмъ укладывался

въ тирады и правильно построенные періоды. Такому характеру краснорѣчія соответствуетъ и спокойная композиція картинъ Давида, группировка его фигуръ, какъ бы выстроенныхъ для военного смотра. Холодный пафосъ Давида соответствовалъ искусству ораторовъ, облававшихъ красивыя чувства въ прекрасныя фразы.

Въ этомъ огромная разница между началомъ современнаго искусства во Франціи и въ Германіи. Во Франціи новое теченіе было вызвано не вліяніемъ отвлеченныхъ теорій; оно находилось въ ближайшей связи съ великимъ культурнымъ переворотомъ и было не подражаніемъ и книжнымъ возвратомъ къ прошлому, а свободнымъ проявленіемъ духа времени. Для нѣмецкаго искусства древность не послужила средствомъ выразить нѣчто новое. Нѣмецкое искусство только слѣдовало программѣ безплоднаго въ художественномъ отношеніи ученаго, забывшаго, что археологія и искусство вещи разныя. Онъ считалъ подражаніе единственнымъ путемъ къ совершенству и постоянно напоминалъ върившемуся ему художнику, что онъ отступаетъ отъ прямыхъ линий своего образца: „А они бранятъ и говорятъ, что работы наши не античны и потому не хороши“, такъ говорилъ уже Дюреръ, жалуясь на подобныхъ людей. Напротивъ того, въ искреннемъ пафосѣ Давида, въ римскомъ колоритѣ, риторической мужественности, свободолюбіи и патриотизмѣ первыхъ картинъ Давида есть духъ Катона, и это сохраняетъ историческое ихъ значеніе и для нашего времени. Давидъ преклонялся не передъ античнымъ искусствомъ, а передъ идеями отечества, долга, свободы, прогресса. Слова античный міръ и демократія имѣли для него одинаковое значеніе.

Давидъ былъ всецѣло проникнутъ духомъ своего времени; это обнаружилось тогда, когда, снявъ котурны, онъ смѣло подступилъ къ современности и весь отдался изображенію пережитаго и пережитоваго имъ самимъ. Тогда въ немъ сказались не только риторъ и революціонный гитараторъ, но и великій художникъ. Умирающій Лепелльтье, убитый Маратъ и мертвый Барръ написаны кистью великаго реалиста. Лепелльтье, одинъ изъ депутатовъ, подавшихъ голосъ за казнь Людовика XVI, былъ предательски убитъ 20-го января 1793 года, Парисомъ, камердинеромъ короля. Тѣло было выставлено для публики.



Давид: Коронование Императрицы Жозефины.

Давидъ написалъ портретъ съ убитого и вручилъ его 29-го марта конвенту; онъ былъ вывѣшенъ въ залѣ засѣданія, какъ портретъ, „перваго мученика за свободу“. 13-го июля 1793 года палъ отъ кинжала Шарлотта Корде Маратъ. Извѣстіе объ этомъ убійствѣ пришло къ Давиду, когда онъ председательствовалъ въ клубѣ якобинцевъ. Онъ поцѣловалъ гражданина, задержавшаго дѣвушку. Въ конвентъ явились депутаціи отъ народа, для выраженія сожалѣнія по поводу тяжелой утраты. Вдругъ послышался голосъ: „гдѣ ты, Давидъ? Ты оставилъ потомству изображеніе Лепеллетье, умирающаго за отечество, тебѣ осталось написать еще одну картину“. Мертвая тишина воцарилась въ залѣ. Давидъ поднялся и сказалъ: „Да, я напишу“. 11-го октября онъ объявилъ конвенту, что его Маратъ готовъ. „Народъ требовалъ, чтобы ему вернули убитого; онъ хотѣлъ еще разъ увидѣть дорогія черты вѣрнѣйшаго изъ своихъ друзей. Толпа кричала мнѣ: Давидъ, возьми свою кисть, отмсти за Марата; пусть поблѣднѣютъ враги его при видѣ искаженныхъ чертъ человѣка, ставшаго жертвой своей любви къ свободѣ. Я внялъ голосу народа и повиновался ему“. Такъ, въ торжественномъ засѣданіи говорилъ Давидъ, отдавая въ даръ республикѣ портретъ убитаго Марата—одно изъ самыхъ потрясающихъ изображеній событій того страшнаго времени. Трупъ Марата лежитъ въ ваннѣ. Виденъ только обнаженный торсъ, опустившаяся на правое плечо голова, повязанная грязнымъ платкомъ; одна рука держится за край ванны и еще судорожно сжимаетъ листъ бумаги; другая безжизненно свѣсилась внизъ. Эта голова съ полужакрытыми вѣками и искривленнымъ въ предсмертной судорогѣ ртомъ, привела бы въ восторгъ Караваджо—такой смѣлый натурализмъ сказывается въ каждомъ взмахѣ кисти. Давидъ, какъ въ послѣдствіи Жерико, былъ постояннымъ посѣтителемъ парижскаго морга. Онъ присутствовалъ при казняхъ, изучалъ предсмертныя судороги гильотинированныхъ. Краски, какъ и линіи доведены на этой картинѣ до такой силы реализма, какой Давидъ никогда больше не достигалъ. Свѣтъ падаетъ сбоку и освѣщаетъ трупъ сверху; вслѣдствіе этого голова и грудь рѣзко выдѣляются, а остальные части картины остаются не освѣщенными. Въ этой возбуждающей ужасъ жанровой картинѣ, написанной съ беспощаднымъ реализмомъ и высокимъ трагизмомъ, Давидъ создалъ среди бури произведеніе, которое переживаетъ всѣ бури, всѣ перемѣны вкуса.

Портреты Давида столь же блестяще выдержали испытаніе времени. Въ нихъ тоже нѣтъ ни риторики, ни холода—они полны огня и юношескаго увлеченія. Передъ своей моделью онъ забывалъ Грецію и Римъ, видѣлъ только жизнь, погружался въ источникъ юной природы. Изъ современныхъ ему художниковъ Давидъ былъ единственнымъ реалистомъ. Въ живописи его проявилась наивность и искренность, недостававшая ему въ жизни. Моделировка тѣла у Давида не уступаетъ произведеніямъ величайшихъ художниковъ. Онъ питалъ отвращеніе къ выдуманнымъ краскамъ и внимательно изучалъ природу. Нѣжный матово-сѣрый колоритъ его картинъ производитъ впечатлѣніе мягкости и благородства. Голубовато-розовая гамма тоновъ въ его портретахъ напоминаетъ изысканно блѣдныя краски моднаго импрессионизма. Самъ революціонеръ по природѣ, Давидъ былъ созданъ для того, чтобы стать портретистомъ мощнаго поколѣнія, познавшаго въ себѣ силу заново создать культуру и религію. Ему должны были удаваться портреты всѣхъ этихъ сурово-добродѣтельныхъ мужчинъ и женщинъ, съ ихъ свободнымъ, мужественнымъ и гордымъ взглядомъ. Портретъ Лавуазье и его жены по изяществу напоминаетъ г-жу Виже Лебрень. Химикъ сидитъ за столомъ, уставленнымъ инструментами; его жена, одѣтая въ изящное свѣтлое платье, наклоняется къ нему съ выраженіемъ вниманія на лицѣ. Картина эта относится къ 1788 году и кажется хорошимъ произве-



Давид: Бонапартъ.

захъ. Луврскій портретъ г-жи Рекамье—самый обаятельный изъ женскихъ портретовъ Давида. Красавица Юлія полулежитъ какъ изваяніе на диванъ античнаго стіля. На ней бѣлое платье; нѣжно-розовыя ступни ногъ обнажены. Обстановка комнаты поражаетъ дѣланной простотой, которая тогда считалась верхомъ изящества. Кромѣ дивана на картинѣ виденъ еще большой бронзовый свѣтильникъ. Замѣчательенъ также портретъ Баррера. Онъ стоитъ на трибунѣ и произноситъ рѣчь, стонвшую Людовику XVI жизни. Низкій, невыразительный лобъ, твердый, холодный взглядъ и вокругъ рта жесткія складки желчной ненависти и тупого фанатизма. Но выше всего остальнаго Давидовскій портретъ Бонапарта. Давидъ былъ однимъ изъ первыхъ революціонеровъ, обвороженныхъ „маленькимъ капраломъ“. Однажды, когда онъ работалъ въ своей мастерской въ Луврѣ, къ нему запыхавшись вбѣжалъ ученикъ со словами: „сюда идетъ генералъ Бонапартъ!“. Вошелъ Наполеонъ въ темно-синемъ сюртукѣ, „отъ котораго его желтое исхудалое лицо казалось еще болѣе желтымъ и изможденнымъ“. Давидъ остался наединѣ съ генераломъ и въ одинъ сеансъ, длившійся менѣе двухъ часовъ, нарисовалъ мощное лицо корсиканца. Такъ началось его служеніе Наполеону.

Заканчивая собой существованіе республики, Наполеонъ не хотѣлъ — по примѣру Августа, обратившаго римскую республику въ имперію—противиться республиканскому вкусу въ искусствѣ. Первый художникъ республиканской Франціи получилъ званіе придворнаго живописца императора. Давидъ былъ при Наполеонѣ тѣмъ же, чѣмъ и при Робеспьерѣ: онъ продолжалъ царить надъ искусствомъ своей эпохи, подобно Леброну во времена Людовика XVI. „Маратъ“ былъ главнымъ произведеніемъ его революціоннаго періода, а „Коронація“—монархическаго. „Коронація“ была окончена въ 1806—1807 гг., и представляетъ торжественную церемонію, происходившую 2-го декабря 1804 г. въ соборѣ Парижской Богоматери. На картинѣ изображенъ моментъ, когда Наполеонъ беретъ корону, которую ему подалъ герцогъ фонъ-Бергъ на бархатной подушкѣ, и вѣнчаетъ императрицу; она стоитъ передъ нимъ на колѣняхъ; на ней бѣлое

деніемъ времени Людовика XVI. Впечатлѣніе большой задушевности производитъ удивительный портретъ Мишеля Жерара и его семейства. Благодушный отецъ семейства сидитъ безъ сюртука; онъ чувствуетъ себя вполнѣ дома; маленький мальчикъ облокотился на его колѣно, дѣвочка играетъ на фортепiano. Нѣтъ ни малѣйшей принужденности или условности въ этомъ толстомъ старомъ господинѣ, который сидитъ въ удобной позѣ и съ интересомъ слѣдитъ своими добрыми глазами за тѣмъ, что происходитъ вокругъ него. Въ нѣкоторыхъ другихъ картинахъ Давида съ удивительной нѣжностью передана душевная жизнь женщины. Одно изъ самыхъ раннихъ его произведеній—портретъ его тещи г-жи Пекуль (1783 г.) затѣмъ портретъ маркизы д'Оривье (1790 г.) съ выраженіемъ томной мечтательности въ гла-

платье и пурпурная мантия. Всѣ зрители — портреты извѣстныхъ людей того времени. Среди другихъ изображеній и самъ Давидъ, стоящій на трибунѣ и набрасывающій эскизъ картины. Архитектоника сцены и группировка фигуръ носить отпечатокъ торжественности. Нужна была большая выдержанность и смѣлость, чтобы написать эту колоссальную картину, не обнаруживъ тѣни усталости ни въ одной подробности. Кромѣ Менцелевской „Коронаціи Вильгельма I“, нельзя назвать другой картины нашего вѣка, гдѣ бы художникъ изобразилъ высокоторжественное зрѣлище съ такимъ благородствомъ красокъ и такой иѣжностью переливающихся волнъ свѣта. Въ нѣкоторыхъ отдѣльных частяхъ картины сочетаніе бѣлаго шелка придворныхъ нарядовъ, пурпурнаго бархата мантий и золотого шитья производитъ впечатлѣніе симфоніи красокъ. Когда картина была закончена, мастерскую Давида посетилъ Наполеонъ съ императрицей, въ сопровожденіи министровъ и генеральнаго штаба. Не снимая шляпы, Наполеонъ болѣе получаса внимательно разсматривалъ картину; свита почтительно окружала его. Наконецъ чтобы эффектно закончить сцену — Наполеонъ очень любилъ это — онъ медленно приподнялъ шляпу и сказалъ: „Хорошо, очень хорошо, Давидъ. Привѣтствую васъ“. Давидъ имѣлъ болѣе случаевъ проявить свой талантъ портретиста. Въ портретахъ императора, папы, кардинала Капрара и Мюрата воплотилось грубое величіе времени, преклонявшагося предъ силой. Въ самомъ концѣ своей жизни Давидъ, изгнанный изъ Франціи во время реставраціи, написалъ въ Брюсселѣ удивительныя по наблюдательности и экспрессіи портреты дочерей Іосифа Бонапарта; они сохраняютъ на всегда славу Давида. Одна изъ картинъ (въ коллекціи Прэа въ Брюсселѣ) изображаетъ трехъ женщинъ неописуемаго уродства. Въ ней Давидъ достигъ вершины своего художественнаго дарованія и выказалъ чрезвычайную смѣлость натурализма. Это три парки 1810 года, написаны имъ съ упоеніемъ истиннаго художника, съ неистовствомъ Франца Гальса.

Когда на всемірной парижской выставкѣ 1889 года появились эти картины, всѣ были поражены, увидѣвъ какимъ великимъ художникомъ былъ Луи Давидъ. Онъ явился тутъ вполне человѣкомъ своего времени со всѣми его страстями — и съ его величіемъ. Кромѣ того эти полузабытыя картины очаровывали эффектами красокъ и свѣта. Казалось даже страннымъ, что это тотъ же художникъ, который написалъ скучнаго Велизарія и еще болѣе скучнаго Леониды. Давидъ потому выказалъ себя на выставкѣ въ такомъ выгодномъ свѣтѣ, что вся археологическая сторона его творчества осталась въ тѣни. Выставлены были лишь тѣ картины, въ которыхъ Давидъ говорилъ не по латыни, а по французски, не пытался возсоздать древность, а отражалъ современную жизнь. Но историкъ не имѣетъ права дѣлать такого подбора; отъ этого образъ Давида утратилъ бы всякую цѣльность. Давидъ былъ художникъ съ головой Януса; онъ представляетъ собою удивительное сочетаніе противорѣчій. На выставкѣ находились только тѣ его картины, въ которыхъ онъ до извѣстной степени противорѣчилъ своему же пониманію искусства. Онъ подтвердили общее правило, что во времена упадка искусства въ художественныхъ произведеніяхъ цѣлаго поколѣнія или же одного только художника, портреты, и все что написано съ натуры, дольше всего сохраняетъ естественность и простоту.

Самъ Давидъ не придавалъ значенія своимъ „картинамъ на случайныя темы“. Онъ предпочелъ бы выставить свои историческія картины, которыми оказала пагубное вліяніе на дальнѣйшее развитіе французской живописи. Давидъ, подобно Менгсу, былъ въ глубинѣ души археологомъ. Только великія событія революціи и имперіи на время сблизили его съ дѣйствительностью.



Давидъ: Портретъ г-жи Рекамье.

Правда, уѣзжая въ Италію молодымъ челоѣкомъ, онъ говорилъ: „Древній міръ меня не привлекаетъ; въ немъ мало жизни и движенія“. Но шесть мѣсяцевъ спустя альбомъ его былъ наполненъ копіями съ античныхъ статуй и рельефовъ, и онъ уже дѣлалъ признаніе Вьену, что только въ Римѣ позналъ истину, о которой ему Вьень говорилъ въ Парижѣ. Изваянія на колоннѣ Траяна болѣе всего привлекли его вниманіе. Онъ возвратился въ Парижъ римляниномъ и поклонникомъ барельефовъ. „Смерть Сократа“, написанная въ 1787 году—выдержанный образецъ „римской манеры“ Давида. Картина написана сухо, твердо, по хорошо составленному плану. Но въ ней отсутствуетъ изученіе природы; его замѣняютъ формулы безжизненного, окаменѣлаго идеала красоты, почерпнутаго въ изученіи античныхъ барельефовъ.

„Брутъ“, написанный въ 1789 г. только сюжетомъ подходитъ къ настроенію того времени. Давидъ же цѣнилъ больше всего археологическую точность въ своей картинѣ. Онъ гордился тѣмъ, что голова Брута скопирована съ античнаго бюста въ Капитоліи и что статуя Рому и рельефъ „Ромулъ и Ремъ“ сдѣланы по античнымъ оригиналамъ, а костюмы, мебель и украшенія воспроизведены по этрускимъ вазамъ. Въ то время, когда Франція завоевывала себѣ политическую свободу, искусство находилось подъ тѣмъ же вліяніемъ античнаго міра, какъ и во время величайшаго расцвѣта монархизма—при Людовикѣ XIV. Поколѣнію 1789 года, вступившему въ жизнь съ новыми надеждами и новыми страстями, Давидъ не нашелъ предложить ничего другого кромѣ формулы, взятой у прошлаго, кромѣ чувствъ давно забытаго времени. А между тѣмъ революція представляла такъ много новаго и живаго.

Людей, взявшихъ приступъ къ Бастилію, основавшихъ новую форму правленія, Давидъ старался убѣдить, что истина заключается въ архаизмѣ, а искусство будущаго должно быть основано на классическихъ воспоминаніяхъ. Дальнѣй-



Давидъ: Сабинянки.

шимъ выводомъ изъ этой мысли была картина Давида „Заговоръ въ залѣ Jeu de paume“; всѣ фигуры были сначала срисованы нагими съ античныхъ статуй, а потомъ уже одѣты въ современное платье. Какъ хороша была бы эта картина, если бы Давидъ нарисовалъ героевъ революціи такими, какими они были въ дѣйствительности, и не придавъ бы имъ движеній театральныхъ римлянъ. Безжизненное распредѣленіе всѣхъ фигуръ въ одинъ рядъ какъ на барельефъ и пропорціи поликлетического канона лишаютъ эту картину всякаго историческаго и художественнаго значенія, хотя она и изображаетъ одинъ изъ самыхъ замѣчательнѣйшихъ моментовъ въ исторіи Франціи.

Позже, когда связь съ общественной жизнью была порвана, Давидъ все болѣе отдавался археологическому направленію, которое господствовало въ искусствѣ до революціи, во времена Вѣны. Еще до 1800 года Франція отступила отъ античныхъ республиканскихъ воззрѣній, сопровождавшихъ начало революціи. Давиду пришлось поэтому рѣшить, станеть ли онъ на сторону современнаго Парижа или древняго Рима. Онъ избралъ послѣднее, и съ тѣхъ поръ его картины становились все болѣе и болѣе педантичными. Его „Сабинянки“—яркое отраженіе этого безжизненнаго классицизма.

На всемирной выставкѣ 1889 года выставленъ былъ альбомъ Давида съ первоначальными набросками для этой картины, отдѣльными этюдами красивыхъ женщинъ, юношей и лошадей, написанныхъ очень живо, свободно и естественно. На одной изъ слѣдующихъ страницъ альбома перечисляется затѣмъ то, что слѣдуетъ ему просмотрѣть въ библиотекѣ, прежде чѣмъ закончить картину. Тамъ отмѣчены: Gemmae antiquae caelatae Les basreliefs antiques de Rome — Les Marbres d'Oxford—Musaeum romanum—la Galeria Giustiniana—Thesaurus ex



Могила Давида.

свои взоры античными статуями"—говорить Делеклюз,—и некоторые из этих статуй перенесъ цѣликомъ на свою картину". Давиду казалось, что онъ коснулся болѣе чистыхъ источниковъ. Тонкость линий, которой, казалось ему, онъ теперь достигъ, онъ называлъ своей „греческой манерой", въ противоположность прежней „римской". „О, если бы теперь, ближе узнавъ древность, я могъ вновь начать учиться, я прямо пошелъ бы къ цѣли", говорилъ Давидъ. Но для него было счастьемъ, что онъ не могъ сдѣлать этого. Художникъ, изображавшій гимнастическія и фехтовальныя позы въ своихъ Горацияхъ, превратился теперь въ сухого философа.

Странный это былъ художникъ! Одаренный большимъ реалистическимъ талантомъ, призванный обогатить націю великими произведеніями, Давидъ отдалъ свое творчество въ плѣнь римскому искусству. Капризной граціи художниковъ XVIII вѣка онъ противопоставилъ строгую безопаданную систему античнаго искусства. Но простота превращалась въ его картинахъ въ сухость, благородство—въ неподвижность. Нѣтъ въ нихъ жизни, веселья и любви, свойственныхъ людямъ всѣхъ временъ. Онъ походилъ на археолога, нашедшаго муміи и принявшаго ихъ за живыхъ обитателей древнихъ городовъ. Для него живопись была геометрией съ твердо-установленными формулами. Въ стремленіи Давида къ сухой правильности и научной точности чувствуется математикъ. Отъ него ускользнуло безконечное разнообразіе жизни и ея измѣненій. Красоты нѣтъ въ отдѣльномъ индивидуумѣ — училъ онъ, подобно Винкельману. Только путемъ сравненій и сопоставленій можно создать типъ. Предметомъ искусства долженъ быть совершенный человѣческій типъ. Еще римскіе ваятели имѣли его передъ глазами, но съ теченіемъ вѣковъ онъ вырожденъ и исчезъ. Во Франціи живопись тоже перестаетъ обращаться къ чувствамъ и превращается въ отвлеченную эстетику. Классическій идеалъ подавлялъ своей тяжестью французское искусство и предписывалъ всѣмъ одинаковый героическій стиль, одну и ту же выпренность, мраморную холодность и монотонность колорита. Жанъ Балтистъ Реньо (Jean Baptiste Regnaut) и Франсуа Андре Винцентъ (François André Vincent) пользовались такой же популярностью, какъ Давидъ и служили тѣмъ же богамъ. Послѣ смерти Давида Герсильи (Guerin) особенно старался передать молодому поколѣнію академическую науку во всей неприкосновенности. Его ученикъ Делакруа далъ слѣдующее опредѣленіе его ученія: „чтобы изобразить идеальную голову негра, наши учителя придаютъ ей профиль Антиноя, и потомъ говорятъ: мы

thesauro palatino и пять или шесть другихъ большихъ археологическихъ сочиненій. Изъ этого видно, что Давидъ не находилъ ни м-мѣ де Бельгардъ, служившую ему моделью для Герсильи, ни другихъ знатныхъ дамъ, съ которыхъ онъ писалъ сабинянокъ, „абсолютными" красавицами; въ концѣ концевъ онъ срисовывалъ всѣ фигуры съ античныхъ образцовъ и придавалъ всѣмъ лицамъ тотъ же „нормальный"—безличныи и невыразительный видъ. „Онъ питалъ

сдѣлали все, что могли. Если голова всетаки не красива, то нужно вообще отказаться отъ изображенія этихъ широкихъ носовъ и толстыхъ губъ, на которыя противно смотрѣть". Когда онъ задумалъ писать „Возстаніе въ Каирѣ“, то египтянамъ и арабамъ пришлось приклеить головы Антиноя, а современныхъ солдатъ переодѣть римлянами временъ Ромула, прежде чѣмъ ввести ихъ въ область искусства. Преимущество отдавалось правильности линій, неумолнно прямыхъ и холодныхъ, условно идеальныхъ, а не наблюденію и знанію безконечно-разнообразной природы.

Давидъ окончилъ своихъ „Сабинянокъ“ въ 1800 году. Это было завѣщаніе, оставленное XVIII-мъ столѣтіемъ Франціи XIX в. Французское искусство пришло къ тому же пункту, у котораго остановилось нѣмецкое съ Менгсомъ во главѣ. Столѣтіе, у порога котораго стоялъ нѣжный и безсмертный Ватто, было нгрово въ творчествѣ Бушэ, добродѣтельно въ картинахъ Грѣза, полно простодушной гражданственности въ работахъ Шардена и оно же привѣтствовало красивыя фразы юнаго Давида о свободѣ, равенствѣ и братствѣ. И все таки этотъ нѣжный, восторженный, здоровый и распушенный аристократическій и въ тоже время демократическій, кровавадный и жизнерадостный, мечтальный и фанатическій вѣкъ закончился безплоднымъ классицизмомъ.



V.

Традиція и свобода.

ТРАДИЦІЯ и свобода—эти слова вполне опредѣляютъ условія, при которыхъ искусство XIX вѣка вступило въ жизнь. Въ *одномъ* отношеніи эти условія были одинаковы повсюду, и этого было довольно, чтобы создать рѣзкую границу между новымъ и предшествовавшимъ ему великимъ старымъ искусствомъ. Съ конца XVIII вѣка кругъ цѣнителей искусства измѣнился во всѣхъ странахъ.

До этого времени искусство процвѣтало большей частью тамъ, гдѣ оно встрѣчало поддержку со стороны цѣнителей аристократовъ, блестящаго двора, и церкви, любившей пышность. Какъ только искусство столкнулось съ народомъ, ему пришлось много выстрадать подъ тяжестью грубыхъ рукъ. Уже протестантизмъ, воплотившій въ себѣ первые демократическіе помыслы XVI вѣка, носилъ антихудожественный отпечатокъ. Точно также мрачный фанатикъ Савонарола уничтожилъ то, что Медичисы хранили и берегли какъ величайшую святыню. Въ XVIII вѣкѣ исчезло это аристократическое искусство и смѣнилось буржуазнымъ. Образованное третье сословіе, созданное революціей, стало также покровительствовать искусству. Искусство перестало быть достояніемъ избранныхъ и стало народнымъ; изъ нѣжныхъ рукъ оно перешло въ грубыя, изъ салоновъ—на выставки. Это роковымъ образомъ измѣнило характеръ искусства. Слѣды перемѣны замѣтны повсюду. Прежде мятежная толпа съ наслажденіемъ уничтожала то, чѣмъ особенно дорожили владѣльцы. Новое же общество покровительствовало искусству—подъ тѣмъ условіемъ, однако, чтобы оно было ему полезнымъ.

Но буржуазія того времени не выработала еще тонкаго пониманія красоты, которое является основной чертой общества въ эпохи процвѣтанія искусства. Прежнее аристократическое общество унаслѣдовало вѣковыя культурныя традиціи. Буржуазія же еще не привыкла къ тому, чтобы благородство ритма и музыка красокъ сами по себѣ будили художественныя настроенія. Она могла цѣнить искусство лишь поскольку оно удовлетворяло непосредственнымъ интересамъ современной государственной жизни и потребностямъ образованнаго

общества. Въ Англіи Шэфтсбюри и Гаррисъ первые стали говорить о томъ, что искусство должно имѣть нравственное воздѣйствіе на человѣка. Первымъ примѣненіемъ въ живописи этого эстетическаго ученія было творчество Гогарта, который пользовался живописью для проповѣди нравственности. Такіе же взгляды выработались во Франціи и въ Германіи, какъ только искусство перешло въ руки средняго сословія. Для свѣтскаго общества временъ рококо искусство было украшеніемъ жизни, источникомъ наслажденія, отрадой для утонченнаго вкуса. Для новыхъ же людей, выступившихъ на сцену исторіи послѣ революціи, оно стало прозаическимъ воспитательнымъ средствомъ. Дидро требовалъ подчиненія живописи трезвымъ утилитарнымъ принципамъ морали, а революція подтвердила это ученіе. Диллетантизмъ былъ осужденъ и изгнанъ. Живопись по республиканскому катехизису должна была лишь пробуждать гражданскія добродѣтели. Искусство уже въ достаточной мѣрѣ послужило удовлетворенію легкомысленной роскоши; теперь оно должно лишь возбуждать патріотическія чувства. „Произведенія искусства“,—сказалъ Давидъ въ своей знаменитой рѣчи 1791 г.,—„достигаютъ своей цѣли не тѣмъ, что ласкаютъ нашъ глазъ. Примѣры геройства и гражданскихъ добродѣтелей, представленныя взорамъ народа, должны возвышать его духъ, пробуждать въ немъ страстное желаніе славы и самопожертвованія на благо родины“.

Каталогъ Салона 1793 г. начинался съ формальнаго извиненія: „Серьезнымъ республиканцамъ можетъ показаться страннымъ, что мы удѣляемъ вниманіе искусству. Но французскіе художники настолько доказали уже свое свободолюбіе, что имъ нечего бояться упрековъ въ равнодушіи къ интересамъ родины“. Первой награды удостоена была картина совершенно неизвѣстнаго художника Гарріета за то, что „на картинѣ наиболѣе живо изображены были свободный гражданинъ, жертвующій собою для отчизны“. Съ художественной стороны эту картину сами судьи признали очень слабой. Изъ скульптурныхъ произведеній ни одно не получило награды, потому что „ни одна статуя не дышала истинною любовью къ родинѣ“. Въ Германіи Зульцеръ, тестъ знаменитаго Антона Граффа, доказывалъ въ своей „теоріи изящныхъ искусствъ“, что картина, только услаждающая взоръ, не имѣетъ большаго значенія чѣмъ мебель. Онъ утверждалъ, что всѣ искусства не имѣютъ никакого значенія, если доставляютъ одно лишь художественное наслажденіе. Въ противоположность простому наслажденію искусствомъ выдвигается „высшая польза“ живописи: 1) въ храмахъ она должна возбуждать благочестивое настроеніе; 2) въ общественныхъ зданіяхъ—любовь къ отчизнѣ; 3) въ частныхъ домахъ—развивать семейныя добродѣтели.

Такихъ взглядовъ прежде не знали. Въ средніе вѣка искусство существовало только для религіи, но достигая совершенства, оно становилось самостоятельнымъ, служило исключительно художественнымъ интересамъ, и не нуждалось въ поддержкѣ или въ помощи постороннихъ, не связанныхъ съ искусствомъ областей духовной жизни. Для того чтобы нравиться, греческой статуѣ не нужно было исполнять какую нибудь патріотическую или нравоучительную миссію. Статуя изображала обнаженное тѣло, мужчину или женщину, спокойныхъ, прекрасныхъ, полныхъ жизни; этого было достаточно. Скульптура черпала вдохновеніе только въ своемъ собственномъ мѣрѣ. Точно также Гольбейнъ и Рембрантъ обращали вниманіе не на характеръ сюжета, а на его живописность. Теньеръ, рисуя своихъ пьяныхъ крестьянъ, навѣрно не думалъ о проповѣди „домашнихъ добродѣтелей“. Въ XIX столѣтіи былъ сдѣланъ шагъ назадъ. Живописи было грозно заявлено, что она не существуетъ ради самой себя. Съ тѣхъ поръ, какъ живопись сдѣлалась „искусствомъ для всѣхъ“, она какъ бы занялась „одной

прислугой" и должна была одновременно исполнять роль гувернантки и компаньонки. Понятие „искусства для искусства" исчезло. Государство пользовалось живописью для иллюстраций и как воспитательным средством. Публика ценила искусство как вспомогательное средство при изучении мифологии и истории, как напоминание об интересных повестях и комических анекдотах, рассказанных въ семейномъ кругу. Даже для критиковъ въ картинахъ было интересно только содержание. Критикъ не интересовался красками и художественнымъ исполненіемъ; для него важна была лишь „идея", всѣмъ понятный „вымыселъ". Если же „вымысла" не было и художникъ старался быть только художникомъ, его обвиняли въ неисполненіи священной задачи искусства—воспитанія людей. Отсутствие идей вносило въ живопись элементъ ремесла „говорилъ критикъ", ограничиваетъ ее свѣтовыми эффектами; они доставляютъ иной разъ удовольствіе, но все же только свѣтовые эффекты". Это приблизительно тоже, что назвать симфонію Бетховена бесполезной, потому что къ ней нѣтъ либретто. Результаты такихъ взглядовъ одновременно проявились во всѣхъ отрасляхъ живописи. Стѣнная живопись, которая прежде стремилась передавать праздничныя и торжественныя настроенія, превратилась въ сухую и прозаическую дидактику. Такъ называемая историческая живопись поставила себѣ задачей распространеніе историческихъ знаній; она пользовалась особымъ покровительствомъ правительства за возбужденіе патріотизма въ гражданахъ. Особенно великъ былъ спросъ на жанровыя картины; изображаемымъ анекдотамъ въ живописи занимались многіе изъ болѣе или менѣе талантливыхъ и остроумныхъ художниковъ.

Сюжеты ихъ картинъ иногда очень занимательны, но исполненіе большей частью посредственное. Даже ландшафтами интересовались лишь какъ изображеніемъ замѣчательныхъ въ географическомъ или историческомъ отношеніи мѣстностей. Живопись превратилась въ огромную иллюстрированную книгу. Историческіе романы и фельетоны въ краскахъ чередовались съ географіей въ картинахъ, ввиду полного отсутствія чутья къ художественности, къ гармоніи красокъ и тоновъ. Государство и публика требовали отъ живописи того, что не входило въ ея задачи и отчего она прежде гордо отказывалась. Этимъ объясняется то странное на первый взглядъ явленіе, что въ XIX вѣкѣ великими художниками были обыкновенно не тѣ, которые удовлетворяли запросамъ государства и толпы, а тѣ, которые шли собственнымъ путемъ и переставали быть полезными для государства и понятными для толпы. Они представляли философовъ размышлять, учителей—обучать исторіи, беллетристамъ—писать повѣсти, юмористамъ—сочинять анекдоты и театральнымъ костюмерамъ—изучать костюмы. Себѣ же они оставили только истинно художественную область идей, имѣющихъ право на существованіе въ искусствѣ. Этимъ они лишили себя популярности и официального признанія, но за то возвратили живописи, служившей въ началѣ вѣка лишь прицѣпкой къ литературно-философскому образованію, прежнюю самостоятельность. Съ этого только момента опять возродилось вѣрное пониманіе искусства какъ природы, объясненной взоромъ художника. Мораль, литература, исторія, географія—все, что можно ясно передать словами, всякое остроуміе, игра словами въ краскахъ—все это отошло на второй планъ. Живопись снова вернулась на путь, по которому до половины XVIII вѣка шла инстинктивно, повинаясь внутреннему побужденію.

Но эта побѣда чисто художественнаго элемента въ живописи была лишь частью великой освободительной борьбы въ искусствѣ XIX вѣка. Сначала необходимо было вернуть искусству то положеніе, которое оно занимало въ великія эпохи своего процвѣтанія въ древности. Нужно было, чтобы оно снова

стало *искусством*. Вторым жизненным вопросом для искусства было освобождение его от гнета прежних эпох, обращение его въ искусство *двѣнадцатаго вѣка*. Гигантская задача вѣка была двоякая: возсоздать искусство *вообще* и затѣмъ, создать *новое искусство*.

Мы прослѣдили до самаго порога XIX вѣка художественное развитіе трехъ странъ—Англи, Франціи и Германіи. Англичане съ начала и до конца столѣтія занимаютъ особенное положеніе. Ихъ пониманіе искусства совершенно противоположно тому, которое распространилось въ Европѣ съ легкой руки Давида и Винкельмана. Въ технику живописи англичане были учениками фламандцевъ, голландцевъ и венеціанцевъ. Они не стремились создавать совершенныя формы и безсмертные типы и болѣе восторгались природой, чѣмъ греческими статуями. Во всѣхъ своихъ начинаніяхъ они были дѣтьми своего времени и своей страны, во всемъ отличались самобытностью и искренностью.

Разница между французами и нѣмцами состояла въ послѣднемъ періодѣ классицизма лишь въ количествѣ техническихъ знаній, унаслѣдованныхъ изъ прошлаго. Этой разницы было однако достаточно для того, чтобы съ самаго начала дать перевѣсъ французамъ.

Во Франціи измѣнилось только *направленіе* искусства, *качество* же художественной работы отъ этого не пострадало. Французское искусство, не смотря на классицизмъ, оставалось дисциплинированнымъ и выдержаннымъ. Франція, которая обнаруживаетъ во внѣшнихъ событіяхъ такую лихорадочную жажду переменъ, всегда проявляла большой консерватизмъ въ искусствѣ и въ литературѣ, признавала авторитеты, академію, цѣнила выше всего границы и мѣру во всемъ. Правительство было низвергнуто, ненавидимые аристократы казнены, основана республика, упразднено христіанство, прежде чѣмъ кто либо осмѣлился коснуться незыблемости трехъ единствъ въ драмѣ. Вольтеръ, который не признавалъ ничего святаго на свѣтѣ преклонялся передъ традиціоннымъ alexandрійскимъ стихомъ. Давидъ, великій живописецъ революціи, выбросилъ изъ Лувра картины Буше; ученики его бросали хлѣбные шарикъ въ картину Ватто „Паломничество на островъ Цитеры“, и все таки они же перенесли въ начинающійся вѣкъ мастерскую технику рококо. Старая традиція французской живописи не были нарушены Давидомъ и его школой. Старая академія, которую Катремеръ называлъ „вѣчнымъ разсѣдникомъ неизлѣчимыхъ предразсудковъ“, была уничтожена, но тотчасъ на ея мѣстѣ появилась новая съ Давидомъ во главѣ. Въ то время какъ въ политической жизни Франціи произошла ломка всѣхъ оковъ, искусство было болѣе чѣмъ когда либо втиснуто въ желѣзныя рамкы. Въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи искусство никогда не теряло связи съ техническими завоеваніями минувшихъ эпохъ. Во всѣхъ своихъ различныхъ направленіяхъ французское искусство развивалось какъ нѣчто цѣльное и не уклонялось съ прямого пути ни подъ какимъ вліяніемъ извнѣ. Жерико, Делакруа, Курбэ и Манэ—звенья одной и той же цѣпи развитія. Искусство есть прежде всего умѣніе. Этотъ пароль, признанный Давидомъ и понинѣ господствуетъ во французскомъ искусствѣ. Благодаря умѣнію, унаслѣдованному Давидомъ отъ древнихъ мастеровъ и хранимому имъ какъ святыня, французы сдѣлались въ XIX вѣкѣ великими учителями техники для всѣхъ націй. У нихъ всѣ обучались грамматикѣ и синтаксису, отъ нихъ заимствовали новыя точки зрѣнія, при ихъ помощи постигали великую тайну природы.

Въ Германіи условія были менѣе благоприятны. Нѣмецкой живописи не суждено было развиваться въ традиціяхъ, унаслѣдованныхъ отъ прежнихъ временъ. Вступая на новый путь, она рѣшительно порвала съ прошлымъ, — т. е. съ искусствомъ XVIII вѣка— не желая даже сохранить его техническихъ при-

обрѣтений. Нѣмецкая живопись не развивалась, подобно французской, опираясь на твердыя традиціи; напротивъ того она основывалась на разрывѣ съ прошлымъ. Она исходила изъ полного отрицанія прежняго искусства. Первымъ представителемъ ея былъ самоучка, совершенно незнакомый съ техникой живописи. Французская живопись создала вдохновленные революціоннымъ пафосомъ картины, реальные, превосходно написанные портреты. Карстенсъ же рисовалъ тонкіе силуэты, или дѣлалъ перомъ, углемъ или мѣломъ рисунки очень общаго характера. Продолжатели Карстенса унаслѣдовали его манеру. Рисованіе, — картонъ — стало преобладать надъ живописью масляными красками. Оно служило новому поколѣнію нѣмецкихъ художниковъ охраной отъ слащавыхъ красокъ и рыхлаго тѣла ихъ предшественниковъ. Въ продолженіи полустолѣтія они охраняли, какъ національное знамя, чистоту контура, правильность линий. Они ограничивали на сколько только возможно технику въ живописи, довольствовались лишь самыми неизбѣжными формами, держались только рисунка и считали свою задачу исчерпанной однимъ очерченіемъ. Они придавали исключительное значеніе композиціи и все остальное считали несущественнымъ. Подготовка картины выдавалась за самую картину, причемъ самая эта подготовка была часто крайне несовершенной. При всѣхъ своихъ высокихъ стремленіяхъ художники забывали учиться рисованію, и хотѣли быть сразу мастерами, никогда не учившись. Нѣкоторая доля поэтическаго дарованія считалась достаточной для того, чтобы стать мастеромъ въ цехѣ Св. Луки. Все это были благородные, чистые, симпатичные люди, но въ своихъ картинахъ они дилетанты съ богатой фантазіей. „Сперва необходимо изучить ремесло искусства, умѣть рисовать, а затѣмъ только сочинять“, — говорилъ Готфридъ Шадовъ этимъ художникамъ, которые „уже ничего больше не могли сдѣлать“.

Послѣдніе слѣды художественнаго умѣнія уцѣлѣли у ремесленниковъ; въ отдѣльных отрасляхъ прикладнаго искусства техническое совершенство нѣмецкихъ мастеровъ сохранило прежнюю славу. Но и это постепенно исчезало. Никогда искусству не наносили столь страшной раны, какъ въ движеніи, начатомъ Карстенсомъ. Втеченіи пятидесяти лѣтъ сохранились слѣды его войны противъ всѣхъ техническихъ традицій и пріемовъ, совершенствующихъ форму художественныхъ произведеній. Передъ нами явленіе, не имѣющее равныхъ себѣ въ исторіи искусства. Огромныя техническія познанія предшествующаго времени, сохранившіяся въ XIX вѣкѣ у простыхъ деревенскихъ живописцевъ, забыты нѣмецкими профессиональными художниками. Въ 1774 году еще жилъ Дитрихъ, который „учился всему у всѣхъ“, а десять лѣтъ спустя, молодые художники безпомощно стояли въ дрезденской, мюнхенской и вѣнской галлерейхъ передъ великими художественными произведеніями, ставшими для нихъ неразрѣшимой загадкой. Между эпохой рококо и художниками, выступившими около 1800 г. не оказалось никакой связи, никакого перехода, никакого пониманія. Все было забыто — традиціи, умѣніе, вкусъ. Дитриха презирали, считали ничтожествомъ, но никто не умѣлъ даже написать платье какъ онъ. Новое время все стерло. А забытое однимъ поколѣніемъ знаніе и техническое умѣніе погибаетъ безвозвратно, и должно быть воссоздано съ самаго начала.

Осмотръ новой пинакотекі въ Мюнхенѣ убѣждаетъ въ томъ, какъ трудно было несчастнымъ, лишеннымъ наслѣдства художникамъ возстановить порванную Карстенсомъ связь съ прошлымъ. Переходя изъ старой пинакотекі въ новую, мы видимъ что широкое развитіе колорита, прошедшее со времени ванъ Эйковъ различныя ступени, внезапно оборвалось въ концѣ прошлаго вѣка. Его смѣнилъ полнѣйшій хаосъ, изъ котораго художники пытались выйти осторожно и пугливо ощупывая путь. Во многихъ картинахъ краски производятъ прямо от-

талкивающее впечатлѣніе. У человѣка впечатлительнаго, привыкшаго къ созерцанію художественныхъ произведеній чувство недовольства переходитъ прямо въ физическое отвращеніе. Чего только не принимали въ этомъ столѣтіи за колоритъ! Вѣдь вопліи возможно, что въ будущемъ непонятна будетъ даже слава такого художника, какъ Макартъ.

Прежде всего художники утратили способность видѣть. Они не сознавали недостатковъ, не чувствовали отсутствія почвы, и безразсудно пытались взбираться на призрачную высоту, на которую можно подняться лишь съ величайшимъ трудомъ. Художники хотѣли вложить въ новыя, еще не сложившіяся формы безконечное количество міровыхъ идей. Но чѣмъ отвлеченнѣе сюжетъ, тѣмъ поверхностнѣе становилось исполненіе. Красота не легко дается, говорили греки. Прежде чѣмъ сѣсть на Пегаса, нужно умѣть держаться на всякомъ другомъ сѣдлѣ. Въ противномъ случаѣ застоявшій крылатый конь могъ вырваться изъ неумѣлыхъ рукъ и стать на дыбы. Когда мысли становились все болѣе возвышенными, а знаніе дѣла не шло впередъ, должна была неминуемо наступить катастрофа. Стремленія „идеалистовъ“ 30-хъ и 40-хъ годовъ разсѣялись, какъ дымъ. За временнымъ увлеченіемъ и вѣрой въ достиженіе вершинъ Парнаса кратчайшимъ путемъ, послѣдовало отрезвленіе. Художники поняли, что нужно прежде всего создать несуществующую технику и, оставивъ каяедру, сѣли на школьную скамью.

Французы не переживали этого періода безпомощнаго лепета и усилій создать технику. Но въ остальномъ условія, въ которыхъ началось искусство XIX вѣка во Франціи и Германіи, были почти одинаковы. Англійское искусство нашло въ національномъ прошломъ традиціи, способствующія дальнѣйшему развитію. Французы же и нѣмцы, напротивъ того должны были прежде всего бороться противъ традицій.

Понятно, что классицизмъ, такой, какимъ онъ сталъ къ концу XVIII вѣка, не соотвѣтствовалъ уже требованіямъ новаго времени. Простое подражаніе грекамъ, естественно, не могло удовлетворить людей другой расы съ другими религіозными и нравственными взглядами, такъ какъ люди не могутъ жить внѣ требованій и мыслей своего времени. Чѣмъ болѣе греческое искусство связано съ духомъ, нравами и религіей древности, тѣмъ менѣе оно способно удовлетворять потребностямъ другихъ народовъ. „Мы также относимся къ новѣйшему искусству, какъ Юліанъ къ христіанству“ сказалъ однажды Гёте, возражая Майеру. Недостаточность классицизма обнаружилась даже въ области скульптуры, гдѣ греки скорѣе всего могли стать учителями. Если принять опредѣленіе Готфрида Шадова, который дѣлилъ задачи современной скульптуры на двѣ: поэтическую и прозаическую, то ясно, что классицизмъ могъ болѣе или менѣе удовлетворять только первую. Задачамъ же портретной скульптуры, созданной революціонной эпохой, классицизмъ могъ удовлетворять лишь съ очень сомнительнымъ успѣхомъ. Классицизмъ наложилъ отпечатокъ комизма на памятники той эпохи. Герои изображались, согласно классическимъ принципамъ или совершенно обнаженными, или задрапированными въ римскія тоги. Для увѣковѣченія ихъ памяти, ихъ изображали въ такомъ видѣ, какого они никогда не имѣли при жизни, и дѣлали ихъ совершенно неузнаваемыми. Даже старикъ Шадовъ, защитникъ здравыхъ понятій, впадалъ въ самую смѣшную ошибку, когда слѣдовалъ этому высшему художественному идеалу своего времени. Лучшимъ доказательствомъ служить злополучный памятникъ Блюхера въ Ростокѣ; идея его, впрочемъ, принадлежитъ самому Гёте. „Выжидая и сражаясь, побѣждая и падая, онъ былъ вѣренъ себѣ и великій, и вырывать насъ изъ когтей врага“. Мужественнаго Блюхера, по мнѣнію поэта, слѣдовало изобра-

зить непременно съ головой льва и такъ, чтобы черезъ плечо перекинута была львиная шкура. Для того же, чтобы въ немъ можно было узнать германца, нужно, слѣдую античному правилу — ибо скульптура вполне античное искусство — изобразить его не грекомъ, а варваромъ. Для этого на ногахъ у него должны быть длинные панталоны въ родѣ древне персидскихъ или гальскихъ. Старый маршалъ изображенъ поэтому въ античномъ хитонѣ и въ панталонахъ; на груди у него огромная львиная маска, а въ правой рукѣ—древнегальская сабля. Въ такомъ видѣ онъ представленъ также на барельефахъ пьедестала, въ изображеніи битвы при Линьи. Блюхеръ упалъ, лежитъ подъ своею лошадыю. Около него стоитъ адъютантъ Ностицъ въ видѣ голаго крылатого юноши. Въ одной рукѣ у него короткій рыцарскій мечъ, въ другой—римскій щитъ съ надписью: „Геній-хранитель Германіи“. Сзади стоитъ не ослѣдланная лошадь.

Въ области живописи противорѣчія, конечно, должны были выступать еще болѣе рѣзко, вслѣдствіе односторонняго ограниченія сюжетовъ. Все, что составляло до сихъ поръ призваніе живописца, безцеремонно выбрасывалось за бортъ.

Главнымъ завоеваніемъ живописи отъ XV до половины XVIII вѣка было все увеличивающееся значеніе ландшафта. Онъ сдѣлался чрезвычайно разнообразнымъ, какъ бы въ предвидѣніи того, что живописцы XIX вѣка будутъ искать именно въ пейзажѣ разрѣшенія новой задачи и въ нѣкоторомъ смыслѣ окончательной формулы современнаго искусства. Классицизмъ неожиданно объявилъ ландшафтную живопись заблужденіемъ въ искусствѣ. Въ Германіи Лессингъ заявилъ, что пейзажъ не можетъ быть предметомъ живописи, потому что „въ немъ нѣтъ души“; Менгсъ полагалъ, что вообще пока будутъ говорить о вліяніи пейзажа на душу и о тому подобныхъ пустякахъ, искусство должно все болѣе падать. Во Франціи окончательный ударъ пейзажной живописи нанесенъ былъ разсужденіями Валенсьена.

Портретная живопись—за немногими исключеніями—тоже пострадала отъ обезличивающаго стиля классицизма. По мнѣнію Винкельмана форма тѣмъ идеальнѣе, чѣмъ болѣе она передаетъ общее. Тотъ, кто могъ бы создать „типъ“, въ которомъ узнало себя все человѣчество, тотъ достигъ тѣмъ самымъ идеала. Принятіе подобныхъ правилъ къ портретной живописи естественно должно было привести къ абсурду. Въ 1819 г. въ Мюнхенѣ живъ былъ еще честный бюргеръ Іоганнъ Эдлингеръ, скромный живописецъ. Его мастерской была обыкновенная комната. Въ одномъ углу Маріанна, его старая кухарка, а потомъ жена, готовила тушеную капусту; въ другомъ Эдлингеръ принималъ своихъ знатныхъ заказчиковъ. Портреты, выходившіе изъ этой скромной мастерской, вмѣстѣ съ портретами Антона Граффа принадлежать къ лучшимъ произведеніямъ начала вѣка; Липовскій въ своемъ словарѣ баварскихъ художниковъ говоритъ, что Эдлингеръ создалъ свою собственную мощную манеру, которая вполне отражаетъ нѣмецкій характеръ его творчества, умѣніе смѣло подступать къ природѣ, безъ лести, постоянно оставаясь правдивымъ. Едва-ли можно предположить, что Эдлингеръ былъ знакомъ съ англійской живописью. А между тѣмъ многія его произведенія сходили въ Англій за картины Рейнольдса. Онъ, подобно Рейнольдсу, не впадалъ никогда въ манерность, писалъ просто и твердо то, что видѣлъ его зоркій глазъ. У него широкая кисть, мягкая моделировка, краски глубоки и сочны, какъ у старыхъ мастеровъ, а нѣжность его сѣрыхъ и розовыхъ тоновъ напоминаетъ иногда симфоніи красокъ Гэнсборо. Произведенія Іосифа Штилера (Stieler), знаменитаго портретиста и придворнаго мюнхенскаго живописца, не выдерживаютъ сравненія съ картинами Эдлингера. Плиній говорилъ, что искусство обладаетъ даромъ „дѣлать бла-

городных людей еще болѣе благородными". У Штилера люди настолько освобождены отъ всего земнаго, что сами превратились почти въ ничто. Портреты писались иногда съ намѣреннымъ пренебреженіемъ ко всѣмъ "случайностямъ реальныхъ явленій". Гёте изображенъ на портретѣ мюнхенской пинакотекы "типомъ", воплощеніемъ обезличеннаго челоѣчества. Точно также вся галлерей красавицъ состоитъ изъ академичныхъ кукольныхъ лицъ, отличающихся одно отъ другого только манерой носить высокій гребень и поворачивать гибкую, какъ у газели, шею.

Изображеніе современной жизни, само собой разумѣется, не допускалось и считалось, по классическимъ принципамъ, измѣненнымъ и пошлымъ. Исключительнымъ міромъ французской и нѣмецкой живописи была древняя исторія и поэзія. Бёклингъ, Пювистъ-де-Шаваньи, Максъ Клингеръ и Густавъ Моро доказываютъ, что это классическое наслѣдствіе не утрачивается, что и въ наше время живетъ и цвѣтетъ древняя Греція. Они въ одно и тоже время современные люди и эллины. Въ ихъ творствѣ живетъ духъ Эллады, озаренной сіяніемъ весны и красоты, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ ихъ картинахъ чувствуется горячая кровь современности. Духъ новаго и духъ стараго времени сошлись здѣсь. Но встрѣча произошла далеко отъ того мѣста, гдѣ сходились античное и новое искусство во времена Винкельмана. Классики того времени вовсе не думали освѣщать античный міръ новымъ, самобытнымъ пониманіемъ искусства. Они не виосили въ изображеніе древнихъ мифовъ нѣжности нашего времени. Ихъ интересовало не духъ, не свѣжее благоуханіе древняго міра, а сдѣранная съ него оболочка, пластическая красота, соответствующая сухимъ формуламъ идеальности, симметріи, волнообразныхъ линий. Они вѣрили въ абсолютную красоту, существующую внѣ художника, въ идеальное совершенство, къ которому всѣ должны стремиться и котораго каждый достигаетъ лишь болѣе или менѣе. Это пониманіе красоты является для нихъ критеріемъ для оцѣнки всѣхъ художественныхъ произведеній. Близость или, напротивъ того, удаленіе отъ этой нормы опредѣляетъ для нихъ красоту или слабость художественнаго произведенія.

Греческая красота—тотъ аршинъ, на который все мѣрилось. Всѣ оцѣнки художественныхъ произведеній опредѣлялись ихъ внѣшнимъ сходствомъ съ греческими образцами. Художники Греціи нашли абсолютную красоту. Этимъ все сказано—мѣра опредѣлена. Остается только подражать грекамъ какъ можно ближе и точнѣе. Нашлись голоса, утверждавшіе, что художники возрожденія только потому стали великими, что подражали грекамъ. Въ продолженіи 2000 лѣтъ міръ мѣнялся безъ конца, разныя культуры возникали и приходили въ упадокъ, художники рождались вездѣ, въ старыхъ вольныхъ городахъ—Нюрнбергѣ и Аугсбургѣ, въ туманной, сырой Голландіи, въ жаркой, солнечной Италіи и Испаніи,—но все это не принималось во вниманіе. Признавалась одна лишь абсолютная греческая красота, неизмѣнная, вѣчная, непреклонная, стоявшая внѣ условій времени.

Признаніе превосходства греческаго искусства надъ всякимъ другимъ, вѣра въ то, что оно должно руководить стремленіями всѣхъ временъ къ идеальной красотѣ—составляла непреодолимую преграду для всякаго движенія впередъ. Когда наступаетъ невозможность дальнѣйшаго совершенствованія въ одномъ направленіи, необходимо избрать другой путь, дѣлать иное. Иліада и Одиссея—геніальныя произведенія. Но всякая „Ilias post Homerum“—не имѣетъ никакой цѣны. Весьма вѣроятно, что люди никогда не создадутъ ничего прекраснѣе Вены Милосской. Но поэтому единственное средство быть самобытнымъ—забыть о Венѣ Милосской.

Реакція противъ суроваго ига античной пластики была неизбежна, необходима. Она стала вопросомъ жизни. Дѣйствительно, черезъ двадцать лѣтъ романтики совершенно покончили съ этимъ одностороннимъ художественнымъ идеаломъ. Делакруа сыгралъ по отношенію къ эпигонамъ классицизма такую же роль, какъ Чинмабуе по отношенію къ предшествовавшему ему безжизненному византизму. Романтизмъ доказалъ, что идеалы въ искусствѣ не могутъ исходить изъ уголка земли, съ которымъ мы связаны только археологическими отношеніями. Романтизмъ возродилъ въ живописи, по крайней мѣрѣ во французской, жизнь и смѣлость. Онъ расширилъ область сюжетовъ, доказалъ, что кромѣ античныхъ титановъ и боговъ, существуютъ еще и другіе герои въ исторіи, релігии и поэзи. Романтизмъ разбилъ оковы традиціонныхъ формъ, замѣнилъ условную и лишенную выраженія красоту академическихъ головъ лицами, дышащими страстью. Колориту возвращены были прежнія права и тѣмъ самымъ свергнуто было господство пластическаго идеала. Овербекъ и Корнелиусъ, какъ колористы, стоятъ въ такомъ же отношеніи къ Жерико и Делакруа, какъ Карстенсъ къ Давиду, но все-таки они отличаются отъ своихъ предшественниковъ тѣмъ, что не считаютъ уже рисунокъ безъ красокъ цѣлью и вершиной художественной техники, а, напротивъ того, расцвѣчиваютъ свои картины.

Только въ одномъ пунктѣ романтики и даже ихъ преемники, историческіе живописцы, сходились съ послѣдователями классицизма—въ общемъ пренебреженіи современностью. Во всѣхъ прежніе періоды искусство черпало сюжеты изъ жизни своего времени. Даже на церковныхъ картинахъ итальянцы XV вѣка писали портреты своихъ современниковъ. А въ живописи голландцевъ XVII вѣка, англичанъ и французовъ XVIII, изображеніе дѣйствительной жизни все болѣе и болѣе выступаетъ на первый планъ. Искусство становилось такимъ образомъ все болѣе отзывчивымъ болѣе проникнутымъ радостью жизни. Классицизмъ, казалось бы, могъ лишь на короткое время подавить это движеніе, направленное на завоеваніе себѣ всей жизни и соответствующее всему ходу развитія культуры. А между тѣмъ, даже романтики, окончательно порвавшіе со всѣми традиціями классицизма, все-таки полагали вмѣстѣ съ классиками, что современная жизнь не представляетъ интереса для искусства. Классики, истинные дѣти XVIII вѣка, презирали средніе вѣка и возрожденіе; романтики же изъ оппозиціи стали превозносить именно эти эпохи въ искусствѣ. Овербекъ, Корнелиусъ, Пилоти, Фейербахъ, Макартъ, Делакруа, Энгръ, Деларошъ, Кутюръ, Галлъ и даже Менцель и Мейссонье въ своихъ миниатюрныхъ картинкахъ во вкусѣ рококо имѣютъ при всемъ различіи *одну* общую черту. Они выбрали сюжеты почти исключительно изъ прошлаго и не обращали вниманія на окружающую ихъ жизнь. Древніе мастера были до такой степени связаны съ окружающимъ, что жертвовали даже историческою правдою. Святыхъ они изображали въ одеждѣ своего времени и съ чертами лица своихъ современниковъ. Художники же первой половины XIX столѣтія, напротивъ того, старались быть современниками всѣхъ вѣковъ, кромѣ своего собственнаго. Отчужденіе отъ современной жизни сказывалось даже въ ихъ внѣшности. Дюреръ, Гольбейнъ, Рубенсъ, Рембрандтъ, Ватто и Гэнсборо одѣвались, какъ всѣ, и стояли въ центрѣ жизни своего времени. Романтизмъ же положилъ начало расколу между искусствомъ и жизнью. Художники стали носить допотопныя бороды, береты и длинные волосы. Они наряжались въ шляпы съ опущенными полями, въ бархатныя куртки, одѣвались и жили то монахами, то богемой, и старались даже по внѣшности отличаться отъ „филистеровъ“.

Это странное отчужденіе отъ жизни отличаетъ искусство начала XIX вѣка отъ всѣхъ прежнихъ эпохъ. Причиной отчужденія былъ прежде всего общій

характеръ новаго времени, пробудившійся у всѣхъ интересъ къ историческимъ изслѣдованіямъ и критическому толкованію прошлаго. XIX вѣкъ въ новой исторіи—тоже, что александрійскій періодъ или эпоха императора Адріана въ старой. Въ первый разъ сдѣланъ былъ обзоръ всему культурному прошлому, и нужно было посчитаться съ нимъ во всѣхъ областяхъ духовной жизни, а также, конечно, въ искусствѣ. Приходилось противодѣйствовать опьяняющему вліянію не одного только античнаго міра. Сперва греческія статуи поработили художниковъ новаго времени, потомъ открываемая всода картинныя галереи. Прежде только владѣтельные князья и немногіе аристократы-любители могли наслаждаться созерцаніемъ старинныхъ картинъ. Государственные перевороты, произведенные революціей, открыли народу княжескія сокровищницы. Замки были въ значительной степени опустошены и вскорѣ во всѣхъ большихъ городахъ появились общественные музеи съ образцовыми произведеніями всѣхъ эпохъ. Фотографіи и гравюры познакомили весь міръ съ произведеніями старыхъ мастеровъ.

Столь близкая связь съ искусствомъ древности, немислима прежде, окказала въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ пользу. Но въ самомъ существенномъ она тормозила общій ходъ развитія искусства. Польза заключалась въ томъ, что художники получили возможность ознакомиться съ законченностью формы у великихъ мастеровъ прошлаго и могли пользоваться ею съ полной свободой. Вредъ состоялъ въ томъ, что художники сразу очутились среди множества великихъ произведеній искусства и невольно стали больше подражать, чѣмъ пытаться создавать нѣчто самобытное. Древніе мастера писали картины, какъ пауки ткуть паутину. Чуждые постороннихъ вліяній, они видѣли единственную задачу искусства въ художественномъ воспроизведеніи непосредственныхъ впечатлѣній отъ природы. Новые же художники имѣли передъ собой въ музеяхъ и галлереяхъ высочайшія произведенія искусства и, восхищаясь ими, уже не могли творить съ непосредственностью и наивностью. Ихъ подавляло слишкомъ основательное знакомство съ прежними эпохами въ искусствѣ. Избытокъ воспитательныхъ вліяній различныхъ временъ и странъ могъ легко привести къ ложному принципу, погубившему уже классиковъ, т. е. къ мысли, что нужно подражать древнимъ, чтобы стать съ ними на одну высоту.

Кромѣ того возникла особая наука, цѣль которой заключалась въ томъ, чтобы удержать новое искусство въ зависимости отъ стараго. Уже гораздо позже *исторія искусства* стала учить, что истинными художниками слѣдуетъ считать не тѣхъ, которые механически слѣдуютъ по уже проложенному пути, а тѣхъ, которые проявляютъ свою личность созиданіемъ новаго. Микель Анджело Буонаротти гордо заявилъ, что люди, слѣдующіе за другими, никогда не могутъ опередить ихъ. Въ наше время историки искусства хотятъ быть толкователями художественнаго творчества. Они видятъ свое призваніе въ томъ, чтобы вдумываться въ индивидуальность художника и понимать его намѣренія. Вѣра въ отвлеченные вѣчные законы исчезла. Она смѣнилась убѣжденіемъ въ томъ, что всякій великій художникъ создаетъ своими произведеніями новые законы. Искусство представляется вѣчно катящимся впередъ колесомъ. Подобно тому, какъ въ юлѣ цвѣтутъ иные цвѣты, чѣмъ въ августѣ, такъ и всякая художественная эпоха имѣетъ свой особый характеръ. Историкъ поэтому ничего не предписываетъ искусству, а скромно изучаетъ цѣли и задачи каждой художественной эпохи. Онъ не признаетъ одного, обязательнаго для всѣхъ временъ идеала въ искусствѣ, а, исходя изъ естественно-научнаго метода изслѣдованія, считаетъ, что всякій родъ искусства имѣетъ извѣстныя границы во времени и пространствѣ, оставаясь свободнымъ внутри этихъ

границь. Индивидуальность художественного произведения составляет его красоту въ глазахъ теперешнихъ историковъ. Если даже художникъ пренебрегаетъ въ увлеченіи голосомъ разсудка и создаетъ нѣчто странное или безумное, то все же это интересно, чѣмъ мертвое подражаніе даже самому совершенному школьному образцу.

Въ началѣ XIX вѣка господствовало, однако, совершенно противоположное убѣжденіе. Эстетическая критика впервые почувствовала свою силу въ срединѣ XVIII вѣка, и обрадовалась, найдя новую область изслѣдованія въ произведеніяхъ старыхъ мастеровъ. Она извлекла изъ нихъ „вѣчные законы“ и требовала, чтобы новые художники руководствовались ими. Она очень одобряла произведенія, „напоминавшія“ Рафаэля или Микель-Анджело, порицала всякое уклоненіе отъ эстетическихъ каноновъ и выступала въ такихъ случаяхъ всегда съ мѣрломъ древности для исправленія или осужденія современныхъ произведеній. Эстетикъ откровенно требовали, чтобы новое искусство не переставало относиться къ старому, какъ ученикъ къ учителю. Предполагалось, что живописи имѣть разъ навсегда одну только цѣль—заниматься каллиграфическими упражненіями по древнимъ образцамъ и подражать стариннымъ произведеніямъ, признаннымъ непогрѣшимымъ образцами.

Подражательность цѣнилась выше всего другого. Достоинство художественнаго произведенія опредѣлялось его большимъ или меньшимъ сходствомъ съ чѣмъ нибудь уже ранѣе созданнымъ. Критики принялись разрывать могилы. Великія имена Рафаэля, Буанротти и греческихъ мастеровъ понадобились для сравненія съ нѣхъ подражателями. Все новое вызывало презрѣніе своей молодостью, новизна считалась преступленіемъ противъ искусства.

Модѣ слѣдовать въ искусствѣ
Господа, намъ не годится;
Что сегодня восхитаетъ
Можетъ завтра ужъ забыться.

Къ вліянію музеевъ и художественныхъ критиковъ присоединилось еще общее увлеченіе романтизмомъ. Благодаря ему, художники начала XIX вѣка не могли смѣло изображать окружающую ихъ дѣйствительность, какъ это дѣлали ихъ предшественники. Гойя, Шарденъ и Ходовещій также отличаются отъ Делакруа, назарейцевъ и дюссельдорфской школы, какъ Лессинговская Минна фонъ Баргельмъ или Коварство и Любовь—отъ сочиненій Шлегеля и Тька, а Вертеръ Гетѣ отъ Ренэ Шатобріана. Тѣ были оптимистами, любили жизнь и чувствовали себя въ ней хорошо, или же боролись противъ зла въ періодъ бурн и натиска. Въ началѣ XIX вѣка воодушевленіе борьбы смѣнилось разочарованіемъ и пессимизмомъ.

Во Франціи перевороты революціонной эпохи не привели—пока—ни къ чему. Прекрасная грезы о свободѣ и равенствѣ разбились среди ужасовъ и потоковъ крови. Борьба за права личности закончилась торжествомъ грубаго деспотизма. Германія мечтала среди кровавыхъ наполеоновскихъ войнъ о великомъ объединенномъ отечествѣ. Но это и осталось мечтой. Дѣйствительность же въ первой половинѣ вѣка далеко не была столь привлекательной, чтобы стремиться къ отраженію ея въ искусствѣ. Въ этомъ вѣкѣ броженій и метаморфозъ, когда такій станокъ времени усиленно работалъ, движимый паромъ и электричествомъ, Германія была сначала страной мрачнѣйшей реакціи. Тотчасъ послѣ войны за освобожденіе наступили дни, когда было запрещено новое изданіе сочиненія Фихте: „Рѣчь къ нѣмецкому народу“. Правительства подозрѣвали въ каждомъ патріотическомъ волненіи козни демагоговъ. По всей Германіи духовная жизнь была подъ запретомъ. Тюремны полны были членами различныхъ „тайныхъ

союзов". Лучшие умы Германии погрузились в отвлеченную работу мысли, чтобы только уйти от действительности. Людвиг Фейербах называл немецкое общество „домом умиленных и жилищем негодяев". Он выносил жизнь в Германии только под условием непрерывного умственного труда. В первых выпусках „*Fliegende Blätter*" постоянно изображалась комическая фигура немецкого Михеля: то он задумывается над швейком лотоса и мечтает, то работает, в образ писателя, сидя под виселицей с веревкой на шею, а у него за спиной стоит палач, то он оплакивает мать свою, Германию, которую извели разными снадобьями, яплями и порошками. „Доброе старое время" казалось прекрасным в сравнении с печальной действительностью. Все рвалось „из тесных рамок жизни в царство идеала". Романтики на престолъ, Фридрих Вильгельм IV и Людовик I, воздвигали замки в романском стилѣ и готические храмы. Это искусство, обращенное в глубину прошлыхъ вѣковъ, соответствовало празднествамъ в Кифрейзеръ и Вартбургъ. Художники стремились забыть действительность и думали, что прошлое станетъ для искусства убѣжищемъ, куда оно можетъ спастись отъ будничной пошлости. Жизнь минувшаго времени казалась болѣе глубокой, величественной, возвышенной. Художники думали, что для спасенія искусства необходимо высоко подняться надъ интересами окружающей действительности. „Разладъ между искусствомъ и жизнью", говоритъ Гердеръ, „характерная черта нашего времени. Только изменившееся теченіе всемірной исторіи можетъ уничтожить это противорѣчіе". „Убѣдившись в невозможности втиснуть действительность въ рамки эстетики и придя отъ этого въ отчаяніе, новѣйшіе художники ушли въ область фантазій и стали искать въ ней защиты отъ жизни". Такъ писалъ Шиллеръ.

„Невозможность втиснуть действительность въ рамки эстетики" — вотъ еще одна причина удалявшая искусство отъ разработки современныхъ мотивовъ. Дѣло шло о вопросѣ, казалось бы, чисто внѣшнемъ, несущественномъ — о костюмѣ; но онъ получилъ необычайное значеніе и проходитъ черезъ всю исторію новой живописи. Со времени классицизма образовалась глубокая рознь между жизнью и искусствомъ. В жизни современные костюмы считались красивыми, въ искусствѣ ихъ считали безвкуснымъ; античный же костюмъ признавался неприличнымъ в жизни и единственно красивымъ въ искусствѣ. Уже Раухъ возставалъ противъ слишкомъ закрытыхъ костюмовъ и мечталъ „объ обнаженныхъ плечахъ и ногахъ". По поводу статуй генераловъ Булова и Шарнгорста, Фридрихъ Вильгельмъ III принужденъ былъ издать особый приказъ: „Я назначаю для одежды статуй парадный мундиръ." Раухъ тогда поспѣшилъ задропировать въ плащъ навязанный ему мундиръ — и съ тѣхъ поръ плащъ сталъ на долгое время необходимой принадлежностью памятниковъ.

Памятникъ Фридриху Великому, — лучшее произведеніе Рауха, — вызвалъ упорную борьбу еще прежде, чѣмъ онъ былъ законченъ. Раухъ стоялъ за римскую тогу, король за исторической костюмъ и треуголку. Но то, что допускалось еще по отношенію къ полководцамъ и ученымъ, считалось немислимымъ относительно поэтовъ. Поэзія представлялась столь идеальнымъ искусствомъ, что изображение жрецовъ ей ни одной чертой не должно было напоминать о действительности. Такъ Раухъ никакъ не соглашался изобразить Гёте на памятникѣ во Франкфуртѣ иначе, чѣмъ въ тогѣ. Тридцать лѣтъ спустя онъ отвергнулъ предложеніе сдѣлать статую Шиллера и Гёте въ Веймарѣ только потому, что не хотѣлъ представить поэтовъ въ костюмахъ ихъ времени. Онъ прислалъ проэктъ памятника въ античныхъ одѣяніяхъ и настаивалъ на томъ, чтобы поэты изображены были въ „костюмахъ санкиотовъ".

Живопись тоже столкнулась съ подобнымъ затрудненіемъ.

Классикамъ костюмы и моды казались препятствіемъ къ достиженію *пластической красоты, идеала*. Романтики же протестовали противъ чернаго цвѣта платья. Они находили, что современная жизнь лишена всякой живописности. Наше черное платье уродливо, также какъ и черныя шляпы. Художнику нужны краски. Можно писать синими, зелеными, желтыми и красными красками, но только не черными. Что дѣлать художнику, если вокругъ него всѣ одѣты въ черное, нецѣлесообразное, уродливое платье? Конечно, увѣренное въ себѣ искусство сумѣло бы справиться, съ подобной трудностью. Каждая эпоха въ искусствѣ переживала измѣненія въ костюмѣ, измѣненія эти соотвѣтствовали всегда нравамъ и духу времени, и великіе мастера прошлыхъ вѣковъ, отъ XIV до конца XVIII, ясно доказали, что перемѣна костюмовъ, разумная или нелѣпая, никогда не препятствуетъ созиданію великихъ художественныхъ произведеній. Полосатая желто-зеленая или красно-синія мантіи и трико XV вѣка, огромныя брызжи временъ Франциска I, колоколоподобные кринолины XVII вѣка, парики, высокія шнуровки—все это могло казаться еще болѣе смѣшнымъ, чѣмъ одежда нашего вѣка, а между тѣмъ художники изображали своихъ современниковъ въ ихъ обычной одеждѣ. Когда Веласкесъ рисовалъ маленькихъ инфантъ въ широкихъ кринолинахъ и длинныхъ неграціозныхъ юбкахъ, онъ не обращалъ вниманія на костюмъ и не заботился о введеніи болѣе изящныхъ модъ. Онъ стремился только уловить характеръ своей модели и художественно передать его. Портреты Бронзино обязаны своимъ благородствомъ отчасти черному костюму. Жанъ Стинъ, Остадъ, Броуеръ, Франсъ Гальсъ, Терборгъ не задавались эстетическими задачами при изображеніи костюмовъ, а просто писали, что видѣли—т. е. темная одежды. Но если въ первой половинѣ XIX вѣка художники предпочитали самыя странныя старинныя моды костюмамъ своего времени, то это объясняется особыми условіями тогдашняго искусства. Послѣ долгаго воздержанія отъ красокъ, живопись снова ожила и хотѣла испробовать свои силы. Она нуждалась въ яркомъ колоритѣ венеціанской жизни, въ пышныхъ костюмахъ, какъ въ матерьялахъ для выработки техники. Кромѣ того, живописные костюмы—необходимая принадлежность „историческаго жанра“, а по эстетическимъ понятіямъ того времени этотъ родъ живописи считался лучшимъ.

Въ наше время не знаютъ такихъ подраздѣленій. Художниковъ дѣляютъ только на хорошихъ и плохихъ. При опредѣленіи размѣра картины обращаютъ вниманіе лишь на то: достаточно ли у художника таланта для величины его холста. Мы не говоримъ, что одинъ родъ картинъ долженъ писаться въ естественную величину, а другой болѣе подходитъ къ миниатюрамъ. Художникъ только тогда нарушаетъ правила гармоніи, когда не выдерживаетъ избраннаго имъ размѣра. Относительно содержанія картины тоже считается общепризнаннымъ, что всякій сюжетъ пригоденъ для художественнаго произведенія. При одинаковомъ достоинствѣ исполненія „Ночной обходъ“ Рембрандта конечно стоитъ выше кухонныхъ сценъ Петера Кальфа. Но зато ни одна большая мнѳлогическая картина Жерарда Лересса не можетъ сравниться съ какимъ нибудь пьянымъ мужикомъ Адріана Броуерса, а дровосѣкъ Милле несомнѣнно выше „Христа“ Овербека. Но эстетика романтиковъ установила другую градацію. Каждая эпоха имѣетъ свою мѣрку въ искусствѣ. Въ эпоху Возрожденія спорнымъ пунктомъ былъ вопросъ о сравнительномъ значеніи живописи и пластики. Въ XVII вѣкѣ онъ смѣнился споромъ о сравнительномъ достоинствѣ древнихъ и новыхъ мастеровъ. Затѣмъ послѣдовалъ извѣстный споръ эстетиковъ XVIII вѣка о различномъ значеніи отдѣльных родовъ искусства. Онъ

возник впервые при вступлении Ватто во французскую Академию и продолжался вплоть до середины XIX вѣка. Академія постановила, что для пріема въ первый разрядъ живописцевъ, т. е. въ разрядъ историческихъ живописцевъ необходимо представить историческую картину. Жанровая картина открывала доступъ только въ разряды жанристовъ. Установлены были даже правила, по которымъ только людей уже умершихъ разрѣшалось изображать въ натуральную величину, живыхъ же только въ уменьшенномъ видѣ. На такомъ же основаніи можно было бы постановить, что только историческая драма имѣетъ право занять собой цѣлый спектакль. Итакъ, кто хотѣлъ выступить съ большою картиной, по необходимости долженъ былъ избирать историческіе сюжеты.

Въ первыя десятилѣтія XIX вѣка французскіе и нѣмецкіе художники не писали картинъ изъ окружающей дѣйствительности. Переходному времени которое пускало новые ростки во всѣхъ областяхъ, но еще находилось подъ гнетомъ традицій, соответствовало въ искусствѣ изобиліе новыхъ картинъ, писанныхъ по старымъ образцамъ и въ старомъ духѣ. Для того, чтобы возродился въ искусствѣ интересъ къ современности, нужно было, чтобы люди снова полюбили землю, чтобы утолена была жажда къ старинѣ и побѣждена сна предразсудковъ, чтобы художники перестали считать себя эпигонами.

Этотъ шагъ, конечно, долженъ былъ свершиться. Реализмъ долженъ былъ побѣдить романтизмъ, точно также какъ въ свое время романтизмъ побѣдиль классицизмъ. Искусство не могло остановиться на исключительномъ изображеніи прошлаго. Только ставши „зеркаломъ и сокращенной хроникой“ своего времени, искусство становилось вполне искусствомъ XIX вѣка. Историческій жанръ въ живописи держится изображеніемъ окружающей дѣйствительности. Художникъ принадлежитъ прежде всего своему собственному времени, а потомъ уже становится бытописателемъ древности, и то подъ тѣмъ условіемъ, что онъ вѣрно изображаетъ людей и жизнь своего времени. Если бы греки изображали однихъ только египтянъ и ассирійцевъ, археологи не знали бы, какова была наружность Софокла и какіе доспѣхи носилъ Александръ Великій. Особая прелесть итальянской религиозной живописи XV вѣка заключается въ томъ, что по ней можно изучить Италію того времени. Неувядаемая свѣжесть картинъ Остада и Терборга зависитъ отчасти и оттого, что въ нихъ живетъ Голландія XVII вѣка. Только первая половина XIX вѣка не отразилась въ живописи. Если въ слѣдующемъ столѣтіи кто нибудь захочетъ издать историко-культурный альбомъ девятнадцатаго вѣка, ему будетъ очень трудно собрать необходимый матеріалъ.

Но еще важнѣе чѣмъ культурный характеръ эпохи — ея художественное пониманіе. Эстетикъ начала XIX столѣтія называли современное имъ искусство идеалистическимъ. Въ дѣйствительности же этотъ идеализмъ не имѣлъ ничего общаго съ прежнимъ. Идеализмъ итальянскаго возрожденія, подобно идеализму Фидія, былъ — если можно такъ выразиться — построенъ на предшествовавшемъ ему реализмѣ. Искусство же XIX вѣка началось съ идеализма времени упадка, т. е. ограничивалось эклектическимъ собраніемъ отдѣльныхъ элементовъ прошлаго. Въслѣдствіе этого искусство было дряхлымъ уже при самомъ рожденіи.

Истиннымъ, самобытнымъ идеализмомъ искусство смогло проникнуться лишь тогда, когда оно научилось собственными глазами смотрѣть на окружающую жизнь. Но историческая живопись Делароша и Пилоти, — эстетики называли ее „реалистическимъ идеализмомъ“, — была также далека отъ этого, какъ и предшествующій „чистый идеализмъ“. Леонардо требовалъ въ своемъ трактатѣ о живописи возможно большаго разнообразія въ выраженіяхъ лицъ. Онъ порицаетъ художниковъ, повторяющихъ въ своихъ картинахъ одинъ какой нибудь

типъ и дѣлающихъ всѣ лица похожими одно на другое. А какъ разъ всѣ эти Эгmontы, Колумбы, Мильтоны и Кромвели французскихъ и нѣмецкихъ художниковъ были похожи другъ на друга какъ близнецы. Они все еще умирали на картинахъ съ высоко поднятыми бровями, какъ статуи группы Нюбен. Въ маленькихъ старыхъ гравированныхъ на мѣди портретахъ, служившихъ моделью художникамъ, было гораздо больше жизни, чѣмъ въ раскрашенныхъ и увеличенныхъ копіяхъ. Мертвые герои не могли способствовать освобожденію живописи изъ подъ гнета великихъ мастеровъ древности. Чтобы изображать историческое прошлое, необходимо изучать картины современниковъ этихъ событий; знаніе дѣйствительной жизни отходить при этомъ на второй планъ. Въ живописи начала XIX вѣка не было пониманія современной жизни живыхъ людей; все вниманіе было сосредоточено на герояхъ давно минувшихъ вѣковъ. Для возникновенія оригинальнаго искусства необходимо было начать изученіе природы и человѣка въ условіяхъ дѣйствительности. Только такое изученіе могло вывести искусство изъ ученическаго подражанія древнимъ; только непосредственное воссозданіе жизни могло сдѣлать его способнымъ къ живому творчеству. Самостоятельный идеализмъ могъ возникнуть только на этой почвѣ.

Въ развитіи исторической живописи можно прослѣдить, какъ она, слѣдуя вѣроному чутью, переходила отъ древности къ изученію реальной дѣйствительности. Въ первомъ періодѣ, когда главными представителями живописи были во Франціи Шенаваръ, въ Германіи Кориеліусъ и Каульбахъ, историческія событія были только субстратомъ для историко-философскихъ идей художника; тогда обращалось мало вниманія на вѣрное воспроизведеніе природы. Представители втораго періода—Деларошъ, Галле и Пилоти. Они были пресыщены выпреющимъ содержаніемъ живописи и оставляли постепенно возвышенность идейнаго міра для болѣе близкаго и вѣрнаго изображенія историческихъ событий. Этимъ путемъ они приближались все болѣе и болѣе къ наблюденію дѣйствительности, хотя бы и относящейся къ историческому прошлому. Эти художники еще отдавали предпочтеніе искусственности театральнаго mise en scène, округленности формъ и аффектированными жестамъ. Но и это исчезало съ теченіемъ времени. Когда историческая живопись, въ лицѣ Менцеля и Мейссонье, стала изучать XVIII вѣкъ, она перестала быть ходульной. Живописцы стали изображать живыхъ людей, отличавшихся отъ современныхъ только своимъ костюмомъ, и такимъ образомъ свершился переходъ отъ возвышеннаго, но подражательнаго искусства къ будничному, но уже самостоятельному, которое воцарилось во второй половинѣ XIX вѣка.

Началомъ этого новаго искусства были безпритязательные рисунки, воспроизведенные посредствомъ гравюры или литографическихъ снимковъ, въ юмористическихъ изданіяхъ разныхъ націй. Это новое направленіе въ живописи было создано великими рисовальщиками и каррикатуристами начала XIX столѣтія. Ихъ призваніе заставляло ихъ обратиться къ наблюденію жизни еще въ то время, когда на всемъ искусствѣ лежалъ отпечатокъ академичности. Оно заставило ихъ изображать предметы, которые сами по себѣ не могли бы ихъ заинтересовать. Они увидали красоту въ томъ, что отталкивало прежнихъ художниковъ, и создали почти полную картину современныхъ нравовъ и обычаевъ. Они первые пріучили глазъ видѣть изображеніе современныхъ людей въ современныхъ костюмахъ. Этимъ они помогли живописи освободиться отъ эстетическихъ предрассудковъ.

Художники пришли къ убѣжденію, что нельзя одновременно принадлежать двумъ различнымъ періодамъ исторіи. Каждая эпоха имѣетъ право на свою философію, свое искусство, свои нравы и промышленность. Люди XIX вѣка

несколько не походят и на греков, и на римлян, ни на итальянцев; нас отделяет от них длинный ряд столетий; будем лучше смотреть на себя, чем вызывать тени мертвецов. Изображать на картинах только минувшую жизнь, значить твердить зады. Возвращаться на картинах к прошлому—значить, в конце концов, только повторять старое—и то в худшем, а не в улучшенном виде. Ван-Ейк и его преемники XVIII века изображали живых людей своего времени и поэту, конечно, больше точно передали видший вид своей эпохи, чем это могли сделать художники нашего времени, создавая прошлое. Голландцы писали пестрые костюмы не потому, что этого требовал отвлеченный эстетический принцип, а потому, что таковы были одежды их современников. Идя по их следам, живописцы XIX века тоже должны были изображать людей своего времени. Нужно изучать живой мир, общество, семью, обычную жизнь, как это делали художники quattrocento, художники эпохи рококо и голландцы.

Первые шаги по новому пути были сделаны скромными „жанристами“, игравшими второстепенную роль сравнительно с мастерами „высокого стиля“. Съ художественной точки зрения и теперь признать их заслуги. Большинство из них страдает отсутствием колорита. Все они как бы дали друг другу слово не трогать краски. Их картины тщательно отделаны, правильны, но неинтересны. Несмотря на эти недостатки, однако, они были честными и полезными работниками, очень подвинувшими искусство. Их заслуга в том, что они снова обратились к природе, перестав искать вдохновения в картинах художников прежнего времени. Они первые пытались оторвать современное искусство от безысходного подражания старым формам.

В глазах романтиков люди XIX века были больше всего лишены красоты и красоты. Италия и восток казались им единственным исключением. Это был старый мир средневоего. Там думали найти то, что было утрачено образованной Европой. Вот почему тяготение художников к современности обнаружилось прежде всего в почти исключительной разработке итальянских и восточных сюжетов. Художники изучали своих современников там, где сохранились еще остатки „добраго старого времени“ и красота костюма. Единственные живописные костюмы, уцелевшие, по мнению художников, в современной жизни—это крестьянские куртки и военные мундиры. И подобно тому, как в пластике изображение современного костюма началось съ военного мундира, так и въ живописи, посвященной действительности, картины из солдатской жизни были первыми. За ними уже следовали картины из крестьянского быта. При этом выяснилось что эстетические теории той эпохи и недостаточно развитый интерес публики к чистой красоте препятствовали ианвному отношению художников к природе. На голландских картинах XVII века жизнь современного общества отразилась так полно и ярко потому что живописцы просто и скромно изображали действительность. Они не сообразовались ни съ идеализмом, ни съ формулами, заимствованными из другой какой-нибудь области прежнего искусства. Они съ полной искренностью писали то, что их интересовало, причем каждый видел действительность по своему. Таким образом, их картины не только отражают духовную жизнь самих художников, но рисуют Голландию того времени. Жанровые же картины первой половины XIX века не имеют ни обаяния самобытности, ни исторического значения.

Принципы художников исторической школы — „возвышенная красота“ (beauté suprême), „исправленная действительность“ (corriger la nature), стсняли и развитие жанровой живописи. Люди чувствовали себя воплощением какой-то

иронии судьбы, не только когда сопоставляли свое мѣщанское существованіе съ великой бурной жизнью прошлаго, но и когда сравнивали свою скромную внѣшность съ Аполлономъ Бельведерскимъ. Ученіе о красотѣ, которой уже не было въ современномъ человѣкѣ, привело художниковъ, если они все-таки хотѣли отражать дѣйствительность, къ двоякому отношенію къ ней. Или художникъ держался юмористическаго тона (Шретеръ, Биаръ и др.) и противопоставлялъ дѣйствительность „красотѣ“, или онъ считалъ нужнымъ „украшать“ дѣйствительность, чтобы сдѣлать ее достойной искусства (Мейергеймъ, Тидемандъ и др.). Въ картинахъ преобладала, такимъ образомъ, или каррикатурность или идеализация.

Слѣдующее поколѣніе жайристовъ (Кнаусъ, Вотье и др.) посмотрѣло на свою задачу серьезнѣе. Они все ближе познакомились съ бытомъ крестьянъ и научились видѣть ихъ характерныя особенности, ускользавшія отъ прежнихъ художниковъ. Они стали изучать дѣйствительность и, къ своему изумленію, нашли въ ней большое обаяніе, старались уловить ея тайну и пробовали подражать ей. Живя въ деревнѣ, они писали этюды съ натуры:—то красивую крестьянскую дѣвушку, то растолстѣвшаго сельскаго священника, то морщинистаго старика, подгулявшаго парня, или браконьера. Но, возвращаясь въ городъ, они принуждены были, благодаря коикурренціи картинъ историческаго жайра, превращать правдивые этюды въ фальшивыя картины.

Выставки того времени переполнены были эффектными картинами, поражающими обиліемъ фигуръ, и честолюбіе жайриста не могло поэтому удовлетвориться этюдами и маленькими картинами, которыя, къ тому же, не нравились публикѣ. Въ картинахъ на восточные мотивы допускалось исключительное стремленіе къ живописности; въ нихъ отсутствіе „анекдота“, разсказа объ опредѣленномъ событіи, искушалось этиографическими свѣдѣніями о невѣдомыхъ страдахъ. Крестьянъ же можно было всегда сколько угодно видѣть *in natura*. Поэтому, чтобы заинтересовать публику картиной изъ крестьянскаго быта, художники должны были выдумывать обширные сюжеты беллетристическаго характера. Но имъ еще не удавалось отыскивать болѣе сложные сюжеты. Они еще не привыкли наблюдать жизнь, терялись среди подробностей и ограничивались только изученіемъ съ натуры отдѣльныхъ сценъ и зрѣлищъ, не понимая ихъ внутренняго взаимоотношенія. Уже вернувшись къ себѣ въ мастерскую, они приводили въ порядокъ свои наблюденія и соединяли ихъ по правиламъ композиціи, изучаемымъ въ Академіи. Собранныя съ такой любовью реалистичныя подробности вкладывались въ шаблонныя формы, и такимъ образомъ художники превращали свои произведенія въ театральныя живыя картины.

Голландцы давали трезвое изображеніе природы и ея живописныхъ сторонъ, картины дѣйствительности, прошедшія черезъ призму художественнаго темперамента. Въ ихъ произведеніяхъ отражена всепроникающая цѣльность души. Въ картинахъ новыхъ жайристовъ этой цѣльности не было и не могло быть. Они составляли картины на подобіе мозаики изъ собранныхъ отовсюду этюдовъ съ отдѣльныхъ фигуръ и болѣе или менѣе произвольно подбирали къ нимъ фюнь, подражая колориту старинныхъ мастеровъ. Изъ такого искусственнаго собранія частей не могло выйти органическаго цѣлаго. Какъ бы художникъ ни былъ при этомъ искусенъ и терпѣливъ, и у него все таки выйдетъ только соединеніе частей картины, а не живое произведеніе искусства.

Слѣдующей ступеню должна была стать простота. Вмѣсто того, чтобы придумывать эпизоды и группировать множество фигуръ по установленнымъ шаблонамъ, художники должны были стремиться къ изображенію того, что они видятъ. Лишь такое отношеніе къ дѣйствительности, т. е. вѣрное изображеніе простыхъ

картинъ природы, могло стать основаніемъ новаго зданія. Заслуга пейзажистовъ въ томъ, что онн создали эту основу.

Все усиливающееся тяготѣніе къ пейзажной живописи въ XVII и еще болѣе въ XVIII в. было прервано классицизмомъ лишь на время. Уже въ слѣдующемъ поколѣніи въ Германію проникло изъ Даніи, а во Францію изъ Англіи новое пониманіе природы—прекрасной помимо композицій, классическихъ развалинъ и міеологическихъ сюжетовъ. Около того же времени,—въ 20-хъ годахъ настоящаго столѣтія,—пейзажисты всѣхъ націй устремились изъ городовъ въ лѣса и поля. Тамъ они искали „un endroit écarté où d'être véritablement en liberté“, (уединеннаго уголка, гдѣ бы можно было быть правдивымъ на свободѣ), и съ этого момента возникла современная живопись. Пейзажисты встрѣчали въ лѣсу дровосѣка, крестьянина на пашнѣ, пастуха около стада, видѣли, какъ проходила по лугу женщина, съ вязанкой дровъ на спинѣ, и все это онъ заносилъ на картины, совершенно въ томъ же видѣ, какъ оно происходило въ дѣйствительности. Этимъ достигалась правда въ изображеніи человѣческихъ фигуръ, а также побѣждалось анекдотическое, юмористическое, эпизодическое въ живописи. Пейзажисты перестали изображать крестьянъ среди выдуманныхъ съ повѣствовательными цѣлями занятій, и этимъ внесли силу въ слабую, нехудожественную жанровую живопись, дѣлали способной къ самостоятельному существованію. Во время господства „исторической живописи“ картины изъ современной жизни интересовали только вложеннымъ въ нѣхъ повѣствовательнымъ матеріаломъ. Теперь же „анекдоты“ вышли изъ моды, и живопись стала свободной. Время Гогарта прошло—его смѣнилъ Милле (Millet). По этому пути развитіе искусства пошло впередъ.

Жанъ Франсуа Милле (Jean François Millet)—глава группы художниковъ, начавшихъ съ пейзажной живописи и перешедшихъ къ изображенію крестьянской жизни. Онъ любилъ только крестьянъ и жилъ вдаль отъ общества. Его продолжатели старались распространить его реалистическую манеру на изображение всей современной жизни, покуда одиночество лѣсовъ они вдохновлялись шумною городской жизнью и вообще изъ мягкой романтичности переходили къ суровой дѣйствительности. Густавъ Курбѣ во Франціи, Маддоксъ Броунъ въ Англіи, Адольфъ Менцель въ Германіи являются выразителями этихъ стремленій. Онн были великими новаторами. Благодаря имъ, картины изъ современной жизни, т. е. прежній скромный жанръ, затмили собой историческую живопись. Художники школы Милле впервые стали изображать запыленныхъ рабочихъ вмѣсто историческихъ дѣятелей въ бархатныхъ одѣяніяхъ.

Съ этого времени отъ художника стали требовать прежде всего знанія природы, умѣнія наблюдать и воспроизводить ее безъ всякихъ придатковъ и предвзятыхъ намѣреній. Въ наукѣ господствовали аналитическій, экспериментальный методъ, исторія искала спасенія въ изученіи источниковъ, литература въ собраніи „человѣческихъ документовъ“. Искусство потребовало отршенія отъ всякой условности и безпощадной, не знающей компромиссовъ истины. Изображать уголокъ природы значило въ то время быть художникомъ. Наука относилась къ природѣ безстрастно и безкорыстно—только этимъ путемъ можно достигнуть пониманія жизни, ея возникновенія и разрушенія. Искусство тоже хотѣло овладѣть природой путемъ созерцанія.

Такимъ образомъ художники освободились отъ вліянія мастеровъ прежнихъ школъ. Въ началѣ столѣтія подавляющее вліяніе древнихъ образцовъ сказалось и въ содержаніи картинъ традиціонные сюжеты смѣнились изображеніемъ современной жизни. Прежнія техническія правила, примѣняемые сначала и къ разработкѣ новыхъ темъ, расширились подъ напоромъ наростаю-

щей жизни. Только въ *одномъ* отношеніи реалисты не сумѣли освободить искусство отъ нга старины—пониманіе колорита не измѣнилось.

Послѣ полнаго забвенія красокъ въ началѣ вѣка, отдѣльнымъ художникамъ удалось, благодаря усердному изученію древнихъ картинъ, возсоздать прежнее пониманіе колорита. Въ живописи возродилось постепенно чутье къ краскамъ. Первые художники новаго вѣка, Давидъ и Карстенсъ, подпали вліянію греческихъ статуй и отреклись отъ всего, что уже было достигнуто въ области колорита. Назарейская же школа въ Германіи, Ипполитъ Флаандрэнъ и др. во Франціи, обратились къ изученію яркихъ колоритовъ Возрожденія. Корнелиусъ и Энгръ перешли затѣмъ къ Микель Анджело и Рафаэлю. Рѣшительный шагъ по направленію къ венеціанцамъ и Рубенсу сдѣлалъ Делакруа. Послѣ долгаго господства лилій въ искусствѣ, впервые—сначала во Франціи, а потомъ, черезъ французское вліяніе и въ Германіи—писаніе красками стало снова доставлять наслажденіе. Этого не бывало уже со временъ рококо. Картины позднѣйшихъ мастеровъ венеціанской школы имѣли воспитательное значеніе. Ихъ изучали, старались подражать ихъ краскамъ. Этотъ путь привелъ къ „Римлянамъ времени упадка“ Кутюра, а въ Германіи къ произведеніямъ Макарта. Когда царство этихъ двухъ художниковъ прошло, началась еще болѣе тонкая разработка подробностей. Въ Германіи стали подражать старымъ голландскимъ мастерамъ, во Франціи преимущественно италическимъ и испанцамъ. Въ Германіи высшаго совершенства въ подражаніи древнимъ достигли Лейблъ, Лейбахъ и Днцъ, во Франціи Курбэ и Рибо—талантливые подражатели Караваджо и Рибейры. Сначала подражаніе древнимъ мастерамъ отразилось на содержаніи картинъ, потомъ на колоритѣ. Но и это оказалось переходнымъ явленіемъ.

Идя въ принципиальномъ отношеніи по слѣдамъ древнихъ, художники пришли къ изображенію современной жизни. При этомъ оказалось, что взгляды древнихъ мастеровъ на колоритъ не приложимы къ новымъ сюжетамъ. При своемъ несвободномъ отношеніи къ прежней живописи, новые художники усвоили не самую сущность древняго пониманія красокъ, а только внѣшнюю сторону, такъ сказать, ржавчинну вѣковъ. Вліяніе музеевъ создало особый музейный тонъ въ живописи. Вмѣсто самобытнаго наблюденія природы господствовалъ исторически выработанный вкусъ. Краски служили скорѣе для болѣе точной передачи старыхъ мастеровъ, чѣмъ для отраженія личнаго взгляда художника на природу. Публика это прекрасно понимала. Она тоже могла себѣ представить природу только въ краскахъ старыхъ картинъ, знакомыхъ ей по галереямъ. Для того, чтобы достигнуть самостоятельности, современная живопись должна была еще освободиться отъ внѣшняго подражанія древнимъ. За реализмомъ сюжетовъ долженъ былъ послѣдовать реализмъ красокъ, ибо существуетъ неразрывная связь между свободнымъ выборомъ сюжетовъ и отсутствіемъ условныхъ правилъ въ технику живописи.

Кто хотѣлъ изучать трудящееся человѣчество, долженъ былъ покинуть мастерскія для простора жизни. Но, дѣлая это, художникъ не могъ не видѣть, что воздухъ и свѣтъ совершенно мѣняютъ видъ предметовъ; то, что написано въ мастерской, оказывается непохожимъ на дѣйствительность. Традиціи не могли помочь художнику справиться съ новизной впечатлѣній. Тщательно подобранная гармонія красокъ расплывалась среди волнъ воздуха въ сверканіи свѣта.

Пейзажисты давно сознавали важность вопроса о томъ, что видъ предметовъ мѣняется на воздухѣ. Но трудно съ точностью опредѣлить, когда этотъ вопросъ возникъ въ фигурной живописи. На него указывали англійскіе прерафаэлиты и отчасти Менцель; Миллэ почти разрѣшилъ его въ своихъ пастеляхъ.

Дальнейший толчок дали японские иллюстрации, ставшие известными с начала 60-х годов. Они показали, что вовсе не нужно непременно писать коричневыми тонами, чтобы быть художником. Мягкость светлых и воздушных тонов в японской живописи изучалась и талантливо передавалась европейскими художниками. Японская живопись послужила опорой для Манэ. Он чувствовал, что ничего не достигнет, продолжая писать природу так, как она отражена в индивидуальностью прежних, чуждых ему по духу художников. Тогда он сделал следующий опыт: взявши первый попавшийся предмет, он нарисовал его так, как видел в действительности, а не отраженным в зеркале древних картин. Он постарался забыть все, что видел в музеях, все академические приемы, и передал на полотне только свое „впечатление“. Результатом этой попытки явились светлые „импрессионистские“ картины, осмеленные при своем первом появлении на выставках. Попытка Манэ является заключительным словом в великой борьбе за освобождение современного искусства. Он первый отнесся к природе совершенно самостоятельно и непосредственно, с полной правдивостью передавая свои впечатления. Возстав против всякой традиции в искусстве— даже по отношению к колориту, т. е. против всего, что становится между художником и природой,—Манэ нанес окончательный удар академической условности. Почти сто лет понадобилось для того, чтобы живопись разрешила поставленную революцией задачу, вырвалась из тисков прошедшего и стала самостоятельной в выборе сюжетов и в понимании их. Но с этих пор она освободилась навсегда. Быть может даже потомство признает, что в тонкости и точности изучения света новые художники опередили древних мастеров. Одно из главных завоеваний XIX века—понимание тона; будущая эпоха, быть может, будет славить наше время за это открытие. Когда выступил на сцену Манэ, в европейской живописи господствовали три принципа: Гамонь, Кабанель, Бугро и некоторые другие писали картины в блонде, как слоновая кость тоном, другие—избрали гамму венецианских теплых коричневых тонов, третьи примкнули к прерафаэлитам и Менцелю; они пытались воспроизводить действительную окраску всего в отдельности в природе—рисовали деревья зелеными, крыши красными, небо голубым, а землю сѣрой. Первые создавали таким образом произвольную гармонию, последние же отказывались от нея, так как не было возможности объединить различные окраски в общую гармонию. Манэ нашел способ сочетать правдивость и гармонию; он понял, что воздух составляет среду, при помощи которой сама природа создает гармонию. Произвольные коричневые или терракотовые тона, также как и правдивый в частности, но резкий в общем колорит Менцеля и прерафаэлитов, замѣнены у Манэ все проникающим солнечным светом, — *природным* создателем „великой гармонии“, без которой не может существовать художественная живопись.

Этим начинается третий отдел настоящего труда; он посвящен современным живописцам или—если говорить с точки зрения будущего—исторической живописи XIX века. В течение десяти лет влияние Манэ распространилось на все мастерские Париза, Франции, всей Европы. Завѣшенные окна мастерских открылись теперь для действительности, для света и воздуха. В живописи исчезли фиолетовая трико и пестрая мишура, как исчезают маски по окончании карнавала, и долго сдерживаемый поток современной жизни хлынул в искусство. Совершенно новый мир открылся для исследования; учение о тонах красок делало каждый предмет интересным для художника. Живопись долго стремилась к возрождению отживших культурных эпох;

теперь наконецъ она верилась къ своей главной задачѣ, къ тому, чтобы оставить потомству отраженіе своего времени. Исторія современной живописи до нѣкоторой степени соотвѣтствовала развитію отдѣльнаго человѣка. Мы начали наше воспитаніе съ грековъ и римлянъ, затѣмъ продолжали его изученіемъ средневѣковой и новѣйшей исторіи. Послѣ этого намъ, какъ и всякому молодому человѣку, современность показалась бѣдной и невзрачной сравнительно съ могучими картинами, которыя открывались передъ нами въ сочиненіяхъ Плутарха и Ранке. Все окружающее вызывало насмѣшки или же порывы сентиментальности. Наконецъ мы достигли зрѣлости и стали спокойно и безпристрастно смотрѣть на жизнь. Подводя итоги и оглянувшись на прошлое, старѣющійся вѣкъ пришелъ къ самобытному пониманію искусства.

Освободившись отъ вліянія древнихъ мастеровъ, искусство смогло создать самобытное идеалистическое теченіе. Наблюденіе жизни не только научило новыхъ художниковъ быть правдивыми, но и давало просторъ фантазіи, которая до тѣхъ поръ томилась въ пустомъ пространствѣ. Вдумчивое наблюденіе природы, точное воспроизведеніе дѣйствительности обогатило художниковъ огромнымъ знаніемъ формъ и красокъ, давъ возможность воплощать созданія своей фантазіи въ реальныхъ образахъ. Реализмъ, *объективная* передача природы, былъ вытѣсненъ импрессионизмомъ, который приводилъ все въ зависимость отъ личнаго *впечатлѣнія* художника и давалъ больше простора его *темпераменту*. За первой ступенью импрессионизма, требовавшей самостоятельной передачи *внѣшнихъ* впечатлѣній природы, послѣдовала вторая, — живописцы старались разрабатывать впечатлѣнія самостоятельно, безъ помощи древнихъ мастеровъ. Манера и его ученики завоевали міръ, но этотъ міръ былъ сѣръ и однообразенъ. Въ настоящее время искусство увлечено утонченной игрой цвѣтовъ, фантастическими видѣніями души, мистицизмомъ въ идеяхъ и въ краскахъ. Принципъ свободы побѣдилъ господство правилъ. Разрѣшено все въ чемъ можетъ проявиться художественный темпераментъ. Художники XIX вѣка выработали цеховой, подражательный, ученый идеализмъ, создававшій идеальныя фигуры по установленнымъ правиламъ. Овладевъ природой, художники открыли новый міръ формъ. Прежде подражали тоу старыхъ мастеровъ, теперь, — когда импрессионизмъ нашелъ въ воздухѣ новый источникъ гармоніи, для живописи открылось огромное поле для опытовъ свободной, поэтической разработки красочныхъ симфоній. Прежніе художники слѣдовали безъ разсужденія примѣру старыхъ мастеровъ, повинуся какъ солдаты командѣ. Новое поколѣніе живописцевъ смѣло отдавалось своей фантазіи, не заботясь о классическихъ образахъ, и стало болѣе близкимъ по духу древнимъ, переставъ имъ подражать. Разнообразіе замѣнило однообразие, индивидуальность — „школу“, смѣлый субъективизмъ замѣстилъ шаблонный идеализмъ. Въ Англіи, гдѣ ранѣе, чѣмъ гдѣ либо возникъ „натурализмъ“, впервые появился и этотъ „новый идеализмъ“ съ Россети, прерафаэлитами и Уистлеромъ. Франція и Германія послѣдовали за ней. Насколько въ Давидъ, Энгельс и Кабанель, въ Карстенсъ, Корнелиусъ и Каульбахъ нельзя видѣть идеалистовъ, настолько Пювись де Шаваннъ, Густавъ Моро и Казенъ, Беклинъ и Максъ Клингеръ несомнѣнные идеалисты. Они будутъ говорить будущимъ поколѣніямъ о томъ, что люди переживали, на что надѣялись и къ чему стремились въ концѣ этого непостояннаго вѣка. Они старались уловить бѣіе пульса своего времени, отождествляли свои надежды и желанія съ общими стремленіями своего вѣка и снова возвратили личности ея мѣсто.

Переходъ отъ историческихъ и жанровыхъ картинъ къ самобытной живописи, отъ подражанія стилю древнихъ къ созерцанію природы, отъ античной

жизни къ современной, отъ абстракціи къ изображенію характеровъ, отъ типичнаго къ индивидуальному, отъ положенія эпигоновъ къ самостоятельности, отъ классицизма къ классичности, отъ школы къ личности—вотъ трудный путь, которымъ побѣдоносно шло современное общество. Исторія искусства XIX-го вѣка составляетъ часть великаго освобожденія современнаго духа. Она отражаетъ, какъ вообще исторія XIX столѣтія, борьбу двухъ принциповъ: традиціи и свободы.



VI.

Назарейская школа.

ЕСЛИ послѣ веселаго, жизнерадостнаго рококо должно было наступить господство холоднаго и безжизненнаго классицизма, то по закону контрастовъ, увлеченіе древностью должно было смѣниться полной противоположностью—возвратомъ къ готикѣ, къ среднимъ вѣкамъ. Классическое направление отрицало краски—и вызвало благодаря этому влеченіе къ пестротѣ; оно было слишкомъ холодно и пластично — и смѣнилось потребностью болѣе интимнаго искусства, а греческій духъ классицизма, языческій и строгій, пробудилъ стремленіе къ христіанству, къ дѣтской вѣрѣ. Еще когда старый язычникъ Гёте былъ молодъ, религія составляла излюбленный предметъ размышленія для прекрасныхъ душъ, а въ 1797 году, когда умеръ Карстенсъ, и въ искусствѣ возродился культъ чувства.

Въ Германіи въ каждой бібліотекѣ можно найти красивую, тонко отпечатанную книгу, маленькій томикъ in 8-о, безъ имени автора, подъ заглавіемъ „Сердечныя изліянія монаха, любителя искусства“. На виньеткѣ изображенъ портретъ юноши, похожаго на Рафаэля. Большіе глаза, полныя губы и тонкая шея придаютъ ему видъ вдохновеннаго мечтателя, умирающаго отъ чохотки. Это нѣжное блѣдное лицо—портретъ Вакенродера (Wackenroder).

Тамъ Винкельманъ—здѣсь Вакенродеръ. Уже въ самомъ характерѣ этихъ двухъ писателей отразилось различіе между классическимъ искусствомъ и назарейской школой. Кроткій, скромный, мечтательный Вакенродеръ былъ друженъ съ дѣтства съ болѣе живымъ Тикомъ; онъ писалъ ему нѣжныя письма, какъ дѣвушка своему возлюбленному. Оба они поступили весной 1793 года въ университетъ въ Эрлангенъ. Вакенродеру было 20 лѣтъ. Они побывали въ Нюренбергѣ, много разъ ходили на поклоненіе въ этотъ старинный городъ, родину нѣмецкаго искусства, гдѣ памятники старины возвышали ихъ духъ. Для Лессинга и Винкельмана слово „готическій“ было синонимомъ варварскаго, но непредубѣжденному взору обоихъ юношей чудеса Нюренберга казались совершенно иными. Опьяненные восторгомъ, они ходили по церквамъ и кладби-

шамъ, стояли у могилъ Альбрехта Дюрера и Петра Фишера, и передъ ними воскресалъ исчезнувшій міръ. Башни и башенки, ютящіяся за развалинами стѣнъ, старые величественные дома патриціевъ, какъ бы съ любопытствомъ заглядывающіе въ кривыя улицы своими балкончиками, населялись въ ихъ фантазіи красивыми фигурами въ беретахъ и высокихъ воротникахъ, людьми того великаго времени, когда Нюрнбергъ былъ живой, густо населенной школой отечественнаго искусства, когда въ стѣнахъ его „парилъ духъ красоты“, когда жили Гансъ Саксъ, Адамъ Крафтъ, Петръ Фишеръ, Альбрехтъ Дюреръ и Вилибальдъ Пиркгеймеръ. Вскорѣ послѣ того юноши отправились въ Дрезденъ, и тамъ предались въ картинной галлерей восторженному культу Мадонны. „Сердечныя изліянія монаха любителя искусства,“ вышли въ свѣтъ за годъ до смерти двадцатипятилѣтняго Вакенродера; они были результатомъ этихъ странствованій и наблюдений. Въ нѣжкомъ произведеніи мечтательнаго юноши впервые выразилось романтическое поклоненіе искусству.



Оесбекъ и Корнелиусъ.

Винкельманъ былъ археологъ, Вакенродеръ—мечтатель, пламенный поклонникъ среднихъ вѣковъ. Тамъ только наука, здѣсь только чувство. Тамъ язычникъ—здѣсь христіанинъ. По глубокому убѣжденію Вакенродера только совмѣстное теченіе искусства и религіи можетъ образовать прекрасную струю жизни. Онъ восхваляетъ старинныхъ мастеровъ за то, что „они сдѣлали живопись вѣрной служительницей вѣры“. Искусство становится для него религіей. „Картинныя галлерей“, говоритъ онъ, „должны быть храмами; созерцаніе картинъ должно уподобляться молитвѣ“. Онъ считаетъ святымъ праздникомъ тотъ моментъ, когда онъ набожно предается созерцанію. Служеніе искусству и служеніе Богу ему кажется однимъ и тѣмъ же. Онъ хотѣлъ бы „преклонить колѣни предъ искусствомъ вѣчной, безграничной любви“. Его набожное отношеніе къ искусству не находило сочувствія у его современниковъ. Вѣкъ разума утратилъ вѣру и пониманіе искусства. Только блуждая по неровнымъ улицамъ Нюрнберга, Вакенродеръ снова чувствовалъ душевное удовлетвореніе. Онъ сталъ сторонникомъ и защитникомъ средневѣковаго и въ особенности нѣмецкаго искусства, подобно Гёте, который въ молодости, вмѣстѣ съ Гердеромъ защищалъ нѣмецкое искусство и посвящалъ свой очеркъ о нѣмецкой архитектурѣ памяти Эрвина фонъ-Штейнбаха. Вакенродеръ возставалъ противъ осужденія среднихъ вѣковъ за отсутствіе храмовъ въ греческомъ духѣ; это то же самое, по его мнѣнію, что упрекать индѣйцевъ, говорящихъ по индѣйски, а не на нашемъ языкѣ. „Не только подъ небомъ Италіи и подъ величественными куполами и коринфскими колоннами, но и подъ острокопечными сводами и готическими башнями, средѣ извили-



Ф. Фейлих.

стыхъ линій готическихъ построекъ можетъ расцвѣсть истинное искусство“.

Это было сказано такъ просто и сердечно, что вскорѣ всѣ стали увлекаться идеями Вагенродера. Послѣ вдумчиваго, вдохновеннаго юноши выступили на сцену умствующие теоретики. Тѣмъ издалѣ въ 1799 году, послѣ смерти Вагенродера, его „Мечты объ искусствѣ“ и дополнили ихъ собственными размышлениями. Но уже и онъ не былъ свободнымъ, стоящимъ внѣ церкви монахомъ. Онъ первый сталъ поговаривать объ обращеніи въ католичество и произнесъ слѣдующую роковую фразу: „Лучшіе изъ художниковъ болѣе поздняго времени вплоть до

нашихъ дней преслѣдовали лишь одну цѣль — уподобиться одному изъ раннихъ образцовыхъ мастеровъ или же нѣсколькимъ вмѣстѣ; они достигали величія лишь своимъ превосходнымъ умѣніемъ подражать“. Въ „Штернбалдъ“ (Sternbald) Тика еще больше внѣшней набожности.

Но и на этотъ разъ, какъ прежде для Винкельмана, колыбелью новой школы стала дрезденская галлерей. Тамъ сходились въ концѣ вѣка Августъ Вильгельмъ и Фридрихъ Шлегель — двое „божественныхъ юношей“ для упражненій въ краснорѣчій. „Шлегели завладѣли галлереей“, пишетъ Дора Штокъ, „и бывали тамъ почти каждое утро вмѣстѣ съ Шеллингомъ и Гризомъ. Они дѣлали тамъ записи и ораторствовали безъ конца. Иногда они бесѣдовали объ искусствѣ и со мной: я казалась себѣ очень жалкой, далекой отъ ихъ высокой мудрости. Фихте они тоже посвящали въ свои тайны. Ты бы хохотала, глядя, какъ они таскаютъ его повсюду, чтобы навязать ему свои убѣжденія“. Основанная въ 1803 году Фридрихомъ Шлегелемъ газета „Европа“ сдѣлалась центромъ новаго направленія; напечатанныя тамъ статьи Шлегеля содержали въ зародышѣ всѣ стремленія и заблужденія молодой школы. Въ очеркѣ о Рафаэлѣ онъ сопоставлялъ время, предшествующее Рафаэлю съ слѣдующей эпохой и считалъ совершенно безспорнымъ, что „паденіе искусства началось со времени Рафаэля, Тициана, Корреджіо, Джуліо Романо и Микэль-Анджело“. Среди другихъ, совершенно противоположныхъ взглядовъ, онъ говорилъ также, что всякое искусство должно имѣть національную почву, что подражаніе чужеземнымъ формамъ прекраснаго приноситъ вредъ. Поэтому онъ жалѣетъ, что „какой то злой духъ удалилъ художниковъ отъ идей и сюжетовъ древнихъ мастеровъ. Развитіе искусства зависитъ отъ того, что уже раньше создано. Было бы поэтому совершенно естественно, еслибы художники продолжали идти по старому пути и вернулись къ идеямъ и мыслямъ прежнихъ живописцевъ. Художникъ долженъ изучать живописцевъ до Рафаэлевской эпохи, „въ особенности, старѣйшихъ“. Онъ долженъ „до тѣхъ поръ подражать ихъ правдѣ и наивности, пока они не сдѣлаются для него второй природой“; слѣдовало бы ему также избрать для образца „стиль старо-нѣмецкой школы“.

Совѣтъ этотъ объясняется тѣмъ, что въ 1804 году открыта была въ Кельнѣ алтарная картина; Фридрихъ Шлегель писалъ о ней въ „Европѣ“.

Уничтоженіе монастырей снова возбудило интересъ къ старымъ церковнымъ картинамъ, мимо которыхъ прежде проходили, не обращая вниманія. Изъ церквей, ратушъ и замковъ, разграбленныхъ французами, добыто было множество разныхъ картинъ. Многое при этомъ пропало, но зато все, что прежде хранилось вдали отъ взоровъ и было почти неизвѣстно, стало движимымъ, всѣмъ доступнымъ имуществомъ. Братья Буассерэ положили начало своей извѣстной коллекции, находящейся теперь въ Мюнхенской пинаотекаѣ. До тѣхъ поръ извѣстенъ былъ развѣ одинъ только Дюреръ; теперь же общее вниманіе обращено было на до реформаціонную эпоху, на время расцвѣта католицизма, когда искусство пред-



Иосифъ Фюрхъ.

ставлено было не великими художниками, а безымянными монахами. Всѣ стали восторгаться граціей, наивностью и благочестивымъ настроеніемъ этихъ картинъ. Ферновъ еще отрицалъ за „католической религіей съ ея іудейско-христіанской мифологіей и мартирологіей“ всякую способность удовлетворять потребностямъ утонченнаго художественнаго вкуса. Карстенсъ выписалъ себѣ для памяти изъ книги Вэбба слѣдующія положенія: „Искусство древности было богато великолѣпными и обаятельными сказаніями; языческіе боги обладали граціей, величіемъ и красотой. До чего печальнѣе удѣлъ новаго искусства! Оно служить церкви. Типы берутся изъ простонародья, на картинахъ изображаются люди низкаго происхожденія съ неотесанными манерами. Даже божественный Учитель изображается безъ всякаго величія. Его длинные гладкіе волосы, еврейская борода, нищенскій видъ могутъ лишить величія даже самыя возвышенныя существа. Покорность и приниженность учителя—очень почитенныя, но не художественныя черты. Недостатокъ величественности въ самыхъ сюжетахъ объясняетъ, почему эти произведенія производятъ такъ мало впечатлѣнія въ церквахъ и галлереяхъ. Геній живописи напрасно расходуетъ силы на „Распятія“, „Святая семья“, „Тайную вечерю“ и т. п. Не прошло пяти лѣтъ послѣ смерти Карстенса, какъ, по выраженію Доротей Фейтъ, „христіанство снова стало злобой дня.“ Стихотвореніе Вильгельма Шлегеля „Союзъ церкви и искусства“, — Овербекъ позже заимствовалъ изъ него сюжетъ для своей картины—стало, какъ это замѣтилъ впослѣдствіи Гёте, profession de foi молодой школы! Августъ Вильгельмъ Шлегель описывалъ прежде въ своихъ сонетахъ Іо, Леду и Клеопатру Дрезденской галлерей; теперь галантный поэтъ сталъ воздавать дань поклоненія Мадоннѣ. Фридрихъ Шлегель рекомендуетъ художникамъ христіанство, какъ образецъ и источникъ эстетической радости. Шатобрианъ тоже видитъ въ немъ наслажденіе для художника (prédilection d'artiste). Это настроеніе особенно развилось во время освободительныхъ войнъ, нанесшихъ смертельный ударъ классицизму. Въ дни національнаго униженія молодежь все болѣе удалялась отъ античныхъ идеаловъ; Шенкендорфъ гордо провозгласилъ: „Ни

на одной нѣмецкой стѣнѣ не должно отнынѣ быть языческихъ картинъ." Легкомыслию французовъ противупоставляли германское добронравіе, французскому безвѣрію — германское благочестіе. Отъ холодной философіи разума перешли къ твердой вѣрѣ средннихъ вѣковъ. Фридрихъ Шлегель, авторъ Люцинды, писалъ еще въ 1799 году:

Любить, восторга не тая
И юныхъ персей трепетанье,
И стройныхъ бедеръ содроганье,
И вѣшнихъ розъ благоуханье —
Вотъ въ чемъ религія моя *).

Теперь же и онъ обратился въ католичество. Шеллингъ написалъ „Философію откровенія“, Герреръ, редакторъ „Багровой Крови,“ сталъ авторомъ „Христіанской мистики.“

Въ этотъ моментъ выступила на сцену назарейская школа. Фридрихъ Шлегель былъ правъ: у нѣмецкаго художника или совершенно нѣтъ характера, или долженъ быть характеръ средневѣковыхъ мастеровъ: честный, глубокий, вмѣстѣ съ тѣмъ невинный и нѣсколько неловкій. Въ архитектурѣ греческая школа смѣнилась готической, а живопись перешла отъ преклоненія предъ греческими статуями къ подраженію старо-итальянскимъ картинамъ.

Римъ остался и для представителей назарейской школы художественнымъ центромъ. Только они поклонялись въ Римѣ не античному искусству, какъ классики, а христіанскому. Уроженецъ Любека, Овербекъ, отправился въ Римъ въ 1810 г. вмѣстѣ съ Пфоромъ изъ Франкфурта и Фогелемъ изъ Цюриха; въ 1811 году пріѣхалъ изъ Дюссельдорфа Корнелиусъ; въ 1815 году — берлинцы Шадовъ и Фейтъ; въ 1818 году Шноръ фонъ Карольсфельдъ изъ Лейпцига; въ 1824 году — вѣнецъ Фюрихъ, въ 1828 году — вѣнецъ Штейнле. Всѣ они были проникнуты убѣжденіемъ, что въ столь серьезное время челоѣкъ долженъ стремиться къ нравственному идеалу, а искусство — быть выраженіемъ его религіознаго міросозерцанія.

Еще до сихъ поръ стоитъ на отдѣльномъ холмѣ Монте Пинчіо маленькая церковь; фасадъ ея украшенъ статуями св. Исидора, патрона полевыхъ работъ, и св. Патриція, ирландскаго апостола. Внутренній дворъ, со стариннымъ колодеземъ по срединѣ и обвалившимся крестовиднымъ проходомъ, отдѣляетъ церковь отъ находящагося за ней монастыря. Тамъ расположены кельи монаховъ, ирландскихъ и итальянскихъ францисканцевъ. Наверху, съ террасы открывается красивый видъ на Римъ, Кампанью, на Monte Cavo и Тускуланскія высоты. Внизу сады монастыря капуциновъ, а еще далѣе — аллеи и сады виллы Людовизи. Въ первомъ этажѣ большая зала, покрытая фресками работы одного стараго монаха. Въ прежнія времена эта зала служила для трапезы, а впослѣдствіи превращена была въ аудиторію для лекцій по богословію. Въ этой залѣ Овербекъ и его друзья позировали другъ для друга, когда прибыли въ Римъ. Летьеръ, директоръ французской академіи, выхлопоталъ имъ разрѣшеніе поселиться въ заброшенныхъ комнатахъ монастыря св. Исидора, уничтоженнаго Наполеономъ. Они платили за помѣщеніе ничтожную плату въ три скуди въ мѣсяцъ.

„Мы жили настоящей монашеской жизнью“, рассказываетъ Овербекъ, „удаля отъ внѣшняго міра и предавались исключительно искусству. По утрамъ мы ходили закупать провизію, обѣды варили по очереди, причемъ не ѣли ничего кромѣ супа и сладкаго блюда или овощей, приправляя трапезы серьезными бесѣдами“. Овербекъ, какъ самый домовитый изъ всѣхъ, велъ расходную книгу.

*) Перев. В. С. Лихачева.

Главными статьями ежедневного расхода были полента и ризотто, апельсины и лимоны. Иногда отмѣчалась покупка прованскаго масла. Послѣобѣденное время посвящалось изученію римскихъ памятниковъ искусства. Съ трепетомъ и сердцебіеніемъ переступили они порогъ Ватикана. Въ часовнѣ Сантъ-Лоренцо они познакомились съ мистическимъ Фра-Анжелико, фрески котораго инкѣмъ не превзойдены по чистотѣ вдохновенія. Они не любили языческой соборъ Св. Петра; наибольшее благоговѣніе вызывали въ нихъ памятники христіанской древности. Церкви Св. Лоренцо и Св. Климента, Латеранъ и St. Paolo fuori dei muri производили неизгладимое впечатлѣніе на юношей. Въ сумерки они ходили бродить на Monte Cavo. „А по вечерамъ мы писали этюды драпировокъ; моделью служила венеціанская мантия Пфора, которую мы поочередно надѣвали, становясь въ различныя позы“. Но самое высокое наслажденіе доставило имъ путешествіе въ Тоскану. Въ Орвіето ихъ ожидали фрески Луки Синьорелли; они произвели наиболѣе глубокое впечатлѣніе на Корнеліуса. Въ Сьеннѣ они нашли учителей, еще болѣе близкихъ имъ по духу: Дуччіо и Симона Мартино. Они привлекали нѣмецкихъ юношей нѣжностью чувства и граціозной мягкостью выраженія. Въ Пизѣ, въ Campo Santo, они болѣе всего обратили вниманія на ученика Фра-Анжелико, Беночцо Гоццолі. Эти художники ранняго возрожденія стали ихъ учителями въ искусствѣ. „Какъ набожные христіане идутъ къ апостольскимъ гробницамъ для укрѣпленія вѣры и поднятія духа, такъ ревностные служители искусства должны черпать силы и просвѣтлѣніе въ тѣхъ, но краснорѣчивомъ языкѣ гениальныхъ мастеровъ. Художникъ можетъ найти при желаніи въ лучшихъ картинахъ, собранныхъ въ Римѣ все, что нужно для вступленія на вѣрный путь. Но, конечно, хорошо написанная прическа не составляетъ еще Рафаэля, хотя Рафаэль вкладывалъ чувство и въ изображеніе волосъ. Одно только изученіе ни къ чему не ведетъ. Если послѣ Рафаэля не было равныхъ ему художниковъ, то виной тому побѣда ремесла надъ искусствомъ. Въ академіяхъ учили писать великолѣпныя складки одежды, рисовать правильныя фигуры, изучали перспективу, архитектуру и все, что нужно знать художнику; но это все такъ не создавало художниковъ. Всѣмъ новѣйшимъ картинамъ недостаетъ главнаго—душн, чувства. Молодой художникъ долженъ поэтому больше всего слѣдять за своей внутренней жизнью,—никогда не произносить некрасиваго слова, не питать въ душѣ ни одной нечистой мысли. Какъ достигъ этого? Путемъ религіи, путемъ изученія Библіи. Только Библія и сдѣлала Рафаэля гениемъ. Этотъ взглядъ противорѣчитъ обычному убѣжденію въ необходимости систематической подготовки для художника. Несомнѣнно, однако, что академическое преподаваніе создаетъ искусныхъ, но холодныхъ художниковъ. Точно также не слѣдуетъ изучать анатомію по трупамъ, чтобы не притуплять нѣкоторыя утонченныя ощущенія, и не писать женское тѣло съ натуры. Нужно также благо-



Ю. Генрихъ Фюхъ фонъ-Корольсфельдъ.



Овербекъ: Иосифъ проданный братьями.

говѣио относиться къ своему творчеству, какъ древнѣ мастера, и тогда результатъ будетъ тотъ же. Подобно древнимъ, каждый художникъ долженъ помнить, что искусство должно возвышать духъ челоѣка и поднимать нравственное чувство".

„Какъ чиста и святая“, говорилъ Корнелиусъ въ 1858 году Келеру, „была наша цѣль. Мы стремились къ ней, никѣмъ не признанные, не находя ни у кого ободренія, сильные только помощью любящаго небеснаго Отца“.

Конечно, между смиренными отшельниками и классиками дѣло скоро дошло до столкновѣнй; первымъ не нравилась вѣчная повторенія и блѣдныя копй греческихъ художественныхъ образцовъ; классики же въ свою очередь смѣялись надъ святошами; саркастическй Рейнгардтъ придумалъ для нихъ прозвище „Назарейцевъ“, которое осталось за ними навсегда. Рознь двухъ направленй увѣковѣчена была происшествiemъ въ домѣ Бунзена, прусскаго посланника; онъ пригласилъ всю колонію на крестны своей дочери, и во время праздника Нибургъ чокинулся съ Торвальдсеномъ, поднимая бокаль за здоровье „старого Юпитера“. Только одинъ Корнелиусъ принялъ тость; другіе же изумились и сочли поступокъ молодого Дюссельдорфца святотатствомъ.

Это позитивно-христіанское міросозерцаніе, для котораго искусство было только богослуженіемъ и картины средствомъ для пробужденія благочестиваго настроенія, съ самаго начала раздражало Веймарскаго старца. Стремленіе назарейцевъ слить религію съ художественнымъ творчествомъ вызывало у него насмѣшки, „Религія не можетъ создать вкуса“, говорилъ онъ, „и пониманія искусства“. Онъ съ ироніей отзывался о честныхъ художникахъ и остроумныхъ цѣнителяхъ, которые возвращались къ очень почтенному, наивному, но нѣсколько грубому вкусу художниковъ XIV и XV вѣка. Къ сердечнымъ изліяніямъ Вакенродера онъ отнесся съ насмѣшкой; если нѣкоторые монахи были художниками, то изъ этого нелогично дѣлать выводъ, что всѣ художники должны быть монахами. Онъ называлъ жизнь назарейцевъ маскарадомъ, противорѣчащимъ живой дѣятельности. Въ 1816 году, въ періодическомъ изданіи „Искусство и Древность“ онъ помѣстилъ извѣстную статью: „Новое нѣмецкое религіозно-патріотическое искусство, или исторія новаго религіознаго лже-искусства восьмидесятихъ годовъ“. Статья глубоко оскорбила молодыхъ мечтателей. По его словамъ, ученіе назарейцевъ заключалось въ томъ, что художнику достаточно быть благочестивымъ, чтобы сравняться съ лучшими мастерами. Такое ученіе, говорятъ Гѣте, очень заманчиво, и за него ухватились обѣими руками,—для того, чтобы стать благочестивымъ, не нужно ничему учиться. Но все это направленіе,

по мнѣнію Гёте, не ушло дальше рабскаго подражанія Джіотто и его непосредственнымъ преемникамъ. Конечно, со стороны Гёте было непослѣдовательно упрекать современное искусство въ подражаніи средневѣковому, считая въ тоже время подражаніе древнему искусству похвальнымъ. Какъ послѣдователь школы Менгса, онъ противопоставлялъ сторонникамъ древне итальянскаго искусства греческіе образцы. Поэтому онъ не имѣлъ никакого права негодовать, когда Фридрихъ Шлегель сталъ превозносить средневѣковое искусство въ ущербъ греческому. Въ остальномъ же замѣчанія Гёте въполнѣ справедливы. Назарейская школа привлекаетъ тѣмъ же, чѣмъ привлекалъ Карстенсъ — своими идеалистическими стремленіями. У многихъ живописцевъ жизнь и искусство сливались столь гармонично, какъ у нѣжнаго, кроткаго Овербека; его звали



Овербекъ: Святое семейство.

апостоломъ Іоанномъ за его тихую душу. Онъ называлъ искусство арфой Давида, прославляющей Создателя. Надежда укрѣпить своими произведеніями вѣру и благочестіе въ душахъ гораздо болѣе воодушевляла его, чѣмъ всякое стремленіе къ славѣ. Къ концу жизни онъ впалъ въ своего рода тихое религіозное помѣшательство. Подобно классикамъ, живописцы назарейской школы дѣйствовали подъ вліяніемъ чистаго вдохновенія; оно побуждало ихъ рваться изъ академическихъ оковъ, спастись отъ мертвящей ремесленности; чтобы вдохнуть душу въ свои художественныя произведенія, они черпали ихъ изъ глубинъ собственнаго живаго духа. Даже возмущавшій всѣхъ переходъ въ католичество протестантскихъ художниковъ этой школы объясняется ихъ глубокой преданностью искусству. Они искали единенія съ объектами своего творчества и въ религіи.

Въ извѣстномъ смыслѣ они сдѣлали въ искусствѣ шагъ впередъ. Между ними и лучшими живописцами XVIII вѣка образовалась непроходимая пропасть. Послѣ того, какъ Карстенсъ отрѣшился отъ всѣхъ традицій колорита, было уже подвигомъ со стороны назарейцевъ не считать рисунокъ перомъ или карандашомъ высшей цѣлью живописи. Они вернулись, хотя еще боязливо и ошупью, къ блаженному упоенію красокъ итальянскихъ quattrocent'истовъ и такимъ образомъ послѣ долголѣтняго господства картоннаго стиля возродилась живопись красками. Но это было шагомъ впередъ только для живописи XIX вѣка, а не для общаго развитія искусства. Назарейская школа такъ же, какъ и классическая, не обогатила искусства новыми формами и настроеніями.



Овербекъ: Торжество религии въ искусствѣ.

Назарейцы были только подражателями и только измѣнили образцы, перейдя отъ древности къ среднимъ вѣкамъ и копируя вмѣсто грековъ старыхъ итальянцевъ. Классики копировали древнихъ съ извѣстнаго рода холодной научностью, назарейцы же вносили въ подражаніе глубокое чувство. Картины quattroccent'истовъ были для нихъ своего рода прописями, какъ греческія статуи для классиковъ. Они изготовляли шаблоны по итальянскимъ образцамъ, но, подобно Менгсу, давали лишь очень слабыя отраженія прежняго совершенства. Какъ эклектики и они стоятъ на одной ступени съ болонскими академиками, съ тою только разницей, что послѣдніе составляли свое художественное міросозерцаніе по Леонардо, Рафаэлю, Микэль-Анджело, Корреджіо, Тиціану и обладали гораздо болѣе техническимъ совершенствомъ.

Назарейцы изъ принципа не писали съ натуры. Они боялись отступать отъ идеальнаго представленія о томъ предметѣ, который хотѣли изображать. Они старались замѣнить твердое пониманіе сюжета восторженнымъ отношеніемъ къ нему и въ этомъ отношеніи были скорѣе дилетантами, чѣмъ художниками. Одинъ только Корнелиусъ рѣшался писать женское тѣло съ натуры. Овербекъ же изъ стыдливости отказывался отъ этого. Дѣва Марія была для нихъ высшимъ идеаломъ женственности, но вмѣстѣ съ тѣмъ чисто женское въ ней отталкивало ихъ. Чѣмъ блѣднѣе и духовнѣе образъ, тѣмъ болѣе онъ уподоблялся въ ихъ глазахъ агнцу Божьему: они часто позировали другъ другу для платья, а затѣмъ писали свои картины, — „чтобы не стать натуралистами“, —



Ф. Фейхъ: Введеніе Христіанства въ Германію.

по памяти, въ тиши своихъ келій. Шлегелевскій католицизмъ былъ безкровнымъ, отвлеченнымъ ученіемъ и художники, слѣдуя тому же образу мыслей, отнимали жизнь и кровь у своихъ фигуръ, оставляя имъ лишь отвлеченную красоту линий. Они изображали существа, возвысившіяся надо всѣмъ, даже надъ правильностью рисунка, и обреченныя поэтому на смерть отъ художесочія. Они слишкомъ буквально слѣдовали словамъ Библии; „Ищите Царствія Божія и остальное приложится вамъ“.

Только два произведенія назарейской школы имѣютъ непреходящее значеніе и придаютъ историческій интересъ всему направленію. Это фрески въ Casa Bartholdy и въ Villa Massimi.

Когда вѣсть о битвѣ при Ватерлоо дошла и до тихихъ келій отшельниковъ, они рѣшили, что искусство тоже должно принять участіе въ общемъ подъемѣ духа и снова стать дѣятельнымъ орудіемъ духовнаго развитія въ Германіи. „Искусство не должно быть только игрушкой и услугой для чувствъ“, пишетъ Корнелиусъ въ своемъ знаменитомъ письмѣ къ Герресу. „Оно не должно только потворствовать любви къ роскоши и наслажденію богатыхъ и знатныхъ меценатовъ; оно должно также содѣйствовать облагороженію и подъему общественной жизни“. Средствомъ для развитія искусства и для того, чтобы оно сдѣлалось культурной силой, поднимающей духовный уровень массы, онъ считаетъ распространеніе стѣнной живописи.

Такимъ образомъ отшельники Санъ-Исидора воскресили стѣнную живопись; правда, деревенскіе художники никогда не переставали писать фрески, но профессиональные художники не занимались стѣнной живописью со времени Менгса. Втеченіе полулѣтія это искусство было почти совсѣмъ забыто. Прусскій консулъ въ Римѣ, Бартольди, поручилъ назарейцамъ украсить свой домъ фресками. Старый каменщикъ, который при Менгсѣ готовилъ стѣны для живописи, призванъ былъ въ качествѣ техническаго совѣтника. Карлъ Эггерсъ изъ Ней-стрелиха изучалъ химическую сторону вопроса, а Фейхъ первый, по приглашенію Корнелиуса, написалъ на стѣнѣ портретъ; товарищи обступили его, съ изумленіемъ и радостью глядя на его работу. За нимъ послѣдовали и другіе и „взялись съ Божьей помощью за работу“. „Да, повѣрь мнѣ, другъ, чертовски трудно наполнить цѣлую комнату картинами, написанными невѣдомымъ до того способомъ. Каждый день мы доказываемъ другъ другу, что ничего не понимаемъ, мы вѣчно критикуемъ другъ друга. Ты не можешь себѣ представить,



Фрискъ: Встрѣча Якова съ Рахилью.

какъ странно видѣть передъ собою мокрую штукатурку стѣны. И всетаки мы каждый день строимъ воздушныя замки о томъ, какъ будемъ покрывать стѣнной живописью церкви, монастыри и дворцы Германіи".

Фрески въ домѣ Бартольди состоятъ изъ шести большихъ стѣнныхъ и двухъ полукруглыхъ картинъ надъ дверями; онѣ изображаютъ исторію Иосифа съ момента его

продажи и до вторичнаго свиданія съ братьями. По двѣ картины написали Корнелиусъ и Овербекъ; остальные написаны Фейтомъ и Шадовымъ. Работа длилась нѣсколько лѣтъ, вслѣдствіе разныхъ затрудненій. Теперь, стоя передъ этими фресками, перенесенными въ берлинскую національную галерею, нельзя не восторгаться ими. Онѣ написаны съ большой безприязтельностью и искренностию. Несмотря на всѣ недостатки и всю несамостоятельность, въ нихъ есть вдохновеніе; оно всегда отличаетъ произведенія истинныхъ серьезныхъ художниковъ, при всѣхъ ихъ недостаткахъ, отъ ремесленныхъ работъ. Союзъ молодыхъ людей, не искавшихъ успѣха и выгоды, нудшихъ только къ идеальной цѣли, въ первый разъ получилъ случай выразить свои стремленія. „Толкованіе сна Фараона“, и „Встрѣча Иосифа съ братьями“ написаны Корнелиусомъ чрезвычайно сильно и безъ всякой напыщенности. Онъ вложилъ въ эти картины благородство композиціи и красоту линий, унаследованную имъ отъ прежнихъ итальянскихъ мастеровъ. На такой же высотѣ стоитъ Овербекъ въ своей аллегоріи семи голодныхъ годовъ. Но эти картины заслуживаютъ вниманія не только въ качествѣ юношескихъ произведеній интересныхъ живописцевъ,—лучшихъ представителей извѣстной хотя бы и весьма слабой, эпохи въ искусствѣ. Сами по себѣ, эти фрески лучшія созданія своихъ авторовъ. Корнелиусъ въ особенности обнаруживаетъ тщательность исполненія, вдумчивость и даже колоритность, которая составляетъ контрастъ съ его позднѣйшей небрежностью. Тогда еще онъ не пришелъ къ пагубному убѣжденію, что художественная самобытность исчерпывается замысломъ произведенія, а исполненіе его въ краскахъ есть уже нѣчто второстепенное и чисто механическое.

Въ 1819 году фрески были закончены и въ Римѣ устроенъ былъ по этому случаю нѣмецкій художественный праздникъ. На немъ присутствовали: Рюккертъ, Бунзенъ, Гумбольдты, Герцы; Корнелиусъ, Фейтъ и Овербекъ сами изготовили транспаранты. „Центромъ общества“, — рассказываетъ датскій романтикъ Аттернгольмъ, „былъ кронпринцъ Людвигъ Баварскій, кумиръ всѣхъ нѣмецкихъ художниковъ; онъ любилъ больше всего иа свѣтъ изящнаго искусства и красивыхъ дамъ. Всѣ были въ старо-нѣмецкихъ костюмахъ, дамы въ широкихъ сборчатыхъ воротникахъ; крон-принцъ былъ въ самомъ лучшемъ настроеніи духа и обращался съ художниками, какъ съ равными. Провозглашенъ былъ тостъ за германское единеніе. Вся эта сцена казалась мнѣ прекраснымъ сномъ изъ среднихъ вѣковъ“.

Кронпринц Людвиг увлечь Корнелиуса и Шиора из Рима. Этим онъ, по крайней мѣрѣ, далъ нѣмецкому искусству отечество и въ слѣдствіи другіе художники также нашли у себя на родинѣ подходящую имъ дѣятельность.

Филиппъ Фейтъ (Philipp Veit) получилъ въ 1830 году мѣсто директора Штеделевского института во Франкфуртѣ; онъ затихъ раньше всѣхъ. Несмотря на всю свою энергію, онъ лишь на очень короткое время могъ сдѣлать Франкфуртъ центромъ христіанскаго направленія въ искусствѣ. Изъ его франкфуртскихъ картинъ самая выдающаяся — фрески для Штеделевского института, „Введеніе христіанства въ Германію Св. Бонафаціемъ“. Апостолы повалили на землю дубъ языческаго бога молніи; изъ того мѣста, гдѣ стоялъ дубъ, бьетъ вверхъ новый ключъ христіанства. Старики германцы робко отступаютъ, но молодежь внимаетъ проповѣднику и идетъ по его велѣнію на встрѣчу религіи, которая приближается съ вѣтвью мира въ рукѣ. На фонѣ поднимается церковь, вдали виденъ цвѣтущій городъ; онъ противопоставленъ темному первобытному лѣсу, куда бѣгутъ германцы, отвернушіеся отъ апостола вѣры. Къ болѣе позднему времени относятся „Двѣ Маріи у гроба Спасителя“ въ берлинской національной галлерей и „Вознесеніе Богоматери“ во франкфуртскомъ соборѣ. Фейтъ тщетно пытался примѣниться ко вкусамъ публики и вводилъ въ свои религіозныя картины нѣкоторую свѣтскость, пышность формъ, силу колорита, лишавшую его творчества всякаго аскетизма. Уже въ 1841 году онъ почувствовалъ, что быстрая струя времени прошла мимо него; онъ отказался поэтому отъ своего мѣста, сталъ директоромъ картинной галлерей въ Майницѣ и былъ совершенно забытъ.

Одинъ только *Овербекъ* (Overbeck) не хотѣлъ разстаться съ Римомъ; онъ остался до своей смерти въ 1869 году „молодымъ нѣмецкимъ Рафаэлемъ“, какъ его называлъ отецъ его въ 1811 году, въ письмѣ изъ Любека. Это былъ благочестивый художникъ съ чистой душой, хорошо воспитанный, но столь же безцвѣтный и односторонній, какъ скромный и кроткій. Вначалѣ у него было заимствовавшее у старыхъ мастеровъ извѣстное благочестіе безъ академическаго отпечатка, но позже онъ все болѣе и болѣе проникался сухимъ формализмомъ. Лучшія картины: „Вѣздъ Христа въ Іерусалимъ“ и „Плачь надъ тѣломъ Христа“ въ Маринской церкви въ Любекѣ, „Христосъ на Элеонской горѣ“ — въ Гамбургскомъ госпиталѣ и „Бракосочетаніе Маріи“ 1836 года, — въ Берлинской національной галлерей. Во всѣхъ этихъ картинахъ однако нѣтъ ничего, что не было бы лучше выражено въ картинахъ конца XV вѣка. Его Святое Семейство съ Іоанномъ и аглицемъ (1825 г.) въ новой Мюнхенской пинакотекѣ



Фюрхъ: Изъ притчи о блудномъ сынѣ.



Штейнле: Сказка о Рейнн и мельникъ Радлауфъ.

ряду рисунковъ для гравюръ и литографій. Гравюры: „Отдохновение на пути“, „Воскрешение юноши въ Наинѣ“, „Проповѣдь Іоанна“ или серія сорока рисунковъ къ Евангелію, „Семь таинствъ“ и др. представляютъ интересъ и теперь, потому что въ нихъ, по крайней мѣрѣ, нѣтъ безвкусія въ краскахъ. Но и гравюры Овербека, подобно его картинамъ обнаруживаютъ больше чувства, чѣмъ таланта и наблюденія. Въ нихъ много дѣтской чистоты и безпечности.

Всѣ художники назарейской школы обнаружили вѣрное пониманіе своихъ силъ; становясь старше, они все болѣе сосредоточивались на рисованіи, болѣе соответствующемъ ихъ таланту. Въ рисункахъ и наброскахъ, гдѣ имъ не мѣшало отсутствіе техники и колорита, они чувствовали себя свободѣе и работали болѣе легко. Въ ихъ фрескахъ и картинахъ масляными красками проявлялось

по композиціи и фигурамъ является совершеннымъ подражаніемъ флорентинской картинѣ Рафаэля; „Оплакиваніе Христа“ въ Любекской Маріинской церкви напоминаетъ Перуджино; „Положеніе во гробъ“—подражаніе Рафаэлевской картинѣ въ галлерей Боргезе. Овербекъ имѣлъ много общаго съ Фра-Анжелико и старыми кельнскими мастерами; его художественное чувство всецѣло обусловливалось благочестіемъ и мыслью о Богѣ. Когда же онъ обращался къ программной живописи, онъ переставалъ быть понятнымъ. Въ „Торжествѣ религіи въ искусствѣ“, написанномъ въ 1846 году для Штеделевского института, Овербекъ хотѣлъ выразить любимую мысль романтиковъ о необходимости сліянія искусства и религіи въ одно общее теченіе. Верхнюю часть картины онъ заимствовалъ изъ Рафаэлевской Disputa, нижнюю—изъ его же Авинской Школы и объединилъ обѣ части схоластическимъ, искусственнымъ способомъ. Имя Овербека сохранилось лишь благодаря цѣлому

несовершенство техники или слишком робкое подражаніе образамъ древности. Въ рисункахъ же онисъ бѣльшей смѣлостью слѣдовали своей индивидуальности. Въ ихъ красочныхъ картинахъ часто пропадали оттѣнки замысла и нѣкоторыя тонкія настроенія. Въ рисунокѣ же могли вполне выразиться качества ихъ ума и души.

Йосифъ Фюрихъ (Joseph Führiх)—одинъ изъ самыхъ убѣжденныхъ назарейцевъ, но онъ менѣе чуждъ вкусу нашихъ дней, чѣмъ большинство его сверстниковъ, благодаря совершенству его рисунковъ. Онъ началъ съ рисованія. Въ Пражской Академіи онъ увлекался Шлегелемъ, Новалисомъ и Тикомъ; до путешествія въ Римъ онъ исполнилъ пятнадцать гравюръ къ „Женевьевѣ“ Тика. На его дальнѣйшемъ развитіи рѣшительнѣ всего отразился Дюреръ; Фюрихъ изучалъ его подъ вліяніемъ Вагенродера. Въ 1821 году онъ копировалъ Дюреровскую „Жизнь Маріи“. „Въ ней я увидѣлъ“, говоритъ онъ въ своей автобіографіи, „полную противоположность манерѣ классиковъ, выдающихъ свою безцвѣтную вылощенность и напыщенность, заимствованную въ непонятномъ ими античномъ искусствѣ, за красоту,—свою аффектированную изнѣженность за грацію. Въ противоположность безхарактерному академическому искусству, созданному превратнымъ пониманіемъ красоты, я увидѣлъ у Дюрера рѣзкія величественныя характеристики и полную власть надъ предметомъ, изученнымъ вполне“. Нѣмецкое средневѣковое съ его силой и благочестіемъ заняло въ сердцѣ Фюриха то же мѣсто, какое въ мысляхъ Овербека принадлежало quattrocento. Это влеченіе къ старонѣмецкому искусству было только временно прервано пребываніемъ Фюриха въ Римѣ. Прибывъ въ 1826 году въ Римъ, онъ примкнулъ къ назарейской школѣ, пріучился глядѣть на стремленія своей юности, какъ на заблужденія и имѣлъ достаточно случаевъ провести на практикѣ свои церковно-ортодоксальныя взгляды въ искусствѣ,—въ Прагѣ, куда онъ вернулся въ 1829 году, закончивъ свою часть работы въ фрескахъ Villa Massimi, и въ Вѣнѣ, гдѣ онъ былъ профессоромъ академіи съ 1841 года. Его фрески въ церкви Св. Іоанна и въ церкви въ Alterchenfeld'ѣ въ Вѣнѣ стоятъ по колориту, можетъ быть, выше произведеній другихъ его товарищей, но онъ столь же мало самостоятельны по формѣ. Только подъ старость вспомнилъ онъ впечатлѣнія своей юности и это помогло ему попасть на вѣрный путь. Крестьянскій мальчикъ полюбилъ природу и пастушескую жизнь, еще когда онъ пасъ коровъ у себя на родинѣ, въ Кратцау, въ Богеміи. Дюреру онъ обязанъ любовью къ идилліи и къ патриархальнымъ семейнымъ сценамъ изъ Библіи. Эти черты отразились въ такихъ картинахъ, какъ „Іаковъ и Рахиль“ или „Марія въ горахъ“. Хотя въ „Іаковѣ и Рахили“ фигуры заимствованы изъ юношескихъ картинъ



Шнофъ: Изъ иллюстрированной Библіи.



Корнелиусъ: Фаустъ и Маргарита.

Пинтуриччио и Рафаэля, но всетаки, благодаря ландшафтамъ фона, онѣ приобретаютъ невинную прелесть идиллій. Но заимствованныя у Дюрера качества проявились въ особенности въ циклическихъ композиціяхъ его старости. Въ нихъ сказывается сила характеристикъ, наивная фантазія и большое богатство свѣжихъ, навѣянныхъ изученіемъ природы чертъ. Въ этихъ картинахъ нѣтъ ничего сентиментально-расплывчатого, ничего академичнаго. Фюрхъ умѣлъ отнѣтити все интимное, тонкое, оттъики въ природѣ, въ жизни лѣсовъ и полей, красоты обыденной жизни, слѣдилъ за міромъ животныхъ, и при всемъ

своемъ идеализмѣ умѣлъ съ большимъ реализмомъ разрабатывать видѣнное. Сказаніе о „Воозѣ и Руен“ превратилось въ его исполненіи въ красивую идиллію сельской жизни. Изъ исторіи о блудномъ сынѣ онъ съ тонкимъ чутьемъ извлекъ ея чисто человѣческую основу. Зимой 1870—1871 года, уже будучи семидесятилѣтнимъ старцемъ, онъ нарисовалъ чрезвычайно нѣжно и вдумчиво легенду о Св. Вендолинѣ—исторію благочестиваго чистаго человѣка, который уходитъ отъ людей и находитъ успокоеніе въ природѣ.

Эдуардъ Штейнле (Eduard Steinle) вернулся въ 1833 году изъ Рима въ Вѣну, а въ 1838 году поселился во Франкфуртѣ. Его біографъ, Константинъ Вурибахъ, несправедливо называетъ его „живописцемъ мадоннъ“. Имя Штейнле сохранилось скорѣе благодаря произведеніямъ, не имѣющимъ отношенія къ назарейской школѣ. Въ своихъ фрескахъ въ Ахенскомъ соборѣ, на хорахъ Страсбургскаго и Кельнскаго собора, онъ твердо стоитъ на почвѣ назарейцевъ и въ нихъ поэтому нѣтъ ничего новаго для исторіи искусства. Но въ его сказочныхъ картинахъ фантазія разбила узкія оковы догматики; художникъ въ творческомъ упоеніи воссоздавалъ легендарныя фигуры. Его „Лорелея“ въ галлерей Шака стоитъ на высокой скалѣ, какъ грозная вѣстница смерти; „Ночной сторожъ“, задумчиво глядитъ съ башни на дома стараго города; „Скрипачъ“, проводитъ смычкомъ по струнамъ, стоя на высокой башнѣ—все они обнаруживаютъ нѣчто музыкально-поэтическое, свѣжесть чувства и безыскусственной наивности, свойственной также Швинду, какъ наслѣдіе его родины — Вѣны. Романтизмъ Штейнле видѣнъ и въ его любви къ краскамъ. Ему рѣдко измѣняетъ тонкое пониманіе колорита, въ особенности въ аквареляхъ. Таковъ характеръ его рисунка перомъ, гравированнаго Шефферомъ; съ наивностью Мемлинга онъ изобразилъ жизнь св. Ефросиніи. Таковы же и пять акварелей къ сказкамъ Гримма, „Синьгурочка“ и „Красишечка“, и его иллюстраціи къ поэміи Брентано, къ „Хроникѣ страстующаго ученика“ и къ сказкѣ „О Рейнѣ и о мельникѣ“; въ нихъ сказывается большая жизнерадостность и чувство природы, очень поражающее въ аскетическомъ назарейцѣ.

Юлиусъ Шноръ фонъ Карольсфельдъ (Julius Schnor von Carolsfeld)

отправился, закончивъ Аріостову залу въ Villa Massimi, въ Вѣну; потомъ въ 1827 году въ Мюнхенъ. Тамъ, въ залахъ Королевскаго дворца онъ написалъ Сказанія о Нибелунгахъ, а въ королевскихъ залахъ дворца Празднествъ — исторію Карла Великаго, Фридриха Барбароссы и Рудольфа Габсбургскаго. Но лучшія его произведенія написаны были въ концѣ его жизни, въ Дрезденѣ: это гравюры на деревѣ его иллюстрированной Библіи; священная исторія разсказана въ нихъ сильными, оригинальными штрихами.

Наиболѣе чужды нашему времени рисунки *Корнелиуса* (Cornelius). Его иллюстраціи къ Гетевскому Фаусту обнаруживаютъ нѣкоторую строгость пониманія, заимствованную у Дюрера. Но онѣ полны ошибокъ, преувеличенной строгости и недостатковъ перспективы, которые онъ едва ли нашель у Дюрера. Въ его второмъ произведеніи — циклѣ Нибелунговъ намѣренная старонѣмецкая угловатость соединилась съ современной безпомощностью и дала въ результатѣ нѣчто безотрадное.



Корнелиусъ: Смерть Валентина.



VII.

Мюнхенское искусство при королѣ Людовикѣ I.

Болѣе 1700 лѣтъ тому назадъ жилъ одинъ римскій императоръ. Онъ страстно любилъ искусство и цѣнилъ его такъ высоко, какъ никто до того; онъ считалъ памятники искусства завершеніемъ и увѣковѣченіемъ греко-римской культуры. Онъ самъ обладалъ художественнымъ дарованіемъ и находилъ, что величайшее наслажденіе для влaстителя — воздвигать художественныя сооруженія и окружать себя произведеніями искусства. Онъ открылъ художникамъ болѣе широкое поле дѣйствія, чѣмъ они когда либо имѣли до и послѣ него. Онъ израсходовалъ для своихъ предпріятій громадныя суммы денегъ, такъ что народъ, наконецъ, сталъ роптать на страсть своего влaстелина. Уже одна его виλλα въ Тибурѣ, величиной съ цѣлый городъ, соединяла въ себѣ все, что онъ находилъ прекраснымъ и привлекательнымъ въ цѣломъ мірѣ. Тамъ были воспроизведены всѣ знаменитыя аѳинскія постройки въ совершеннѣйшихъ копіяхъ. Архитектура повлекла за собой всѣ другія искусства; собраны были великолѣпныя коллекціи образцовъ пластическаго искусства, ибо онъ имѣлъ полную возможность пріобрѣтать древнія произведенія искусства изъ греческихъ городовъ. Безчисленныя фрески, и среди нихъ виды городовъ и мѣстностей, которыми онъ любовался въ путешествіяхъ, смотрѣли на него со стѣнъ.

И все-таки потомство не придаетъ большаго значенія этой порѣ художественнаго развитія. Если она и была освѣщена солнцемъ Греціи, то это былъ лишь заимствованный свѣтъ; онъ сводился къ воспроизведенію классическихъ образцовъ. Сколько бы влюбленный въ красоту императоръ ни воздвигалъ греческихъ храмовъ и ни украшалъ ихъ картинами, онъ все-таки уже не могъ создать новаго Фидія и Полигота, которые вдохнули бы жизнь въ древнія формы. Имена художниковъ, работавшихъ для него, теперь забыты. Они не были самобытны, а только списывали греческіе и египетскіе типы; творчество ихъ было повтореніемъ старыхъ идеаловъ и не носило отпечатка времени и

мѣста. Пятнадцать еще сохранившихся кариатидъ воздвигнутаго имъ Олимпіона производить впечатлѣніе чего то чуждаго для Аѳинъ. Имъ мѣсто скорѣе въ Баальбекѣ, или въ Пальмирѣ, чѣмъ въ этомъ городѣ музъ. Капризъ царя, устроившаго себѣ нгушку изъ чудесъ міра, былъ бы осмѣянъ Эпиктетомъ за сентиментальность. Время Адріана создало тысячн зданій, статуй и картинъ, но между ними не было оригинальныхъ произведеній.



Корнеліусъ: Гекторъ и Андромаха.

Быть можетъ, о художественныхъ предпріятіяхъ короля Людовика I со временемъ будутъ судить почти также, какъ о сооруженіяхъ императора Адріана. Людовикъ былъ тоже восторженнымъ поклонникомъ искусства. Исторія его жизни удивительно напоминаетъ жизнь Адріана. Послѣ вѣнскаго мира, когда политическія надежды Германіи разбились, онъ одинъ изъ многочисленныхъ князей прежняго союза пріотнлъ у себя искусство, оставшееся безъ крова; этнмъ онъ исполнилъ чрезвычайно важную культурную миссію. Благородное увлеченіе короля идеалами искусства создало ему неувядаемую славу. Онъ надѣялся, что, несмотря на буржуазность и узость общественнаго духа, искусство поддержитъ въ нравственно неокрѣпшей націи стремленіе къ благодорству. Въ немъ ожила и окрѣпла мысль Шиллера о необходимости эстетическаго воспитанія человѣка. Онъ вполне исполнилъ въ своихъ начинаніяхъ то, что было возможно сдѣлать для искусства при существующихъ условіяхъ. Въ теченіе двадцати трехъ лѣтъ онъ израсходовалъ болѣе тридцати семи милліоновъ талеровъ изъ своихъ частныхъ суммъ и сдѣлалъ Мюнхень центромъ нѣмецкаго искусства; прежде Мюнхень былъ Беотіей, онъ же превратилъ его въ Аѳины. Онъ основалъ Мюнхенскія художественныя храннлнща, воздвнглъ зданія, которыя придають городу его теперешній видъ. Всѣ эти нововоздвннутыя стѣны, готовыя для живописи, онъ передалъ Корнеліусу съ повелѣніемъ: покрыть ихъ фресками. „Будьте фельдмаршаломъ и позабудьте о генералахъ“. Корнеліусъ писалъ въ 1814 году Бартольди, что самое вѣрное средство создать въ нѣмецкомъ искусствѣ новую великую эпоху и дать народному духу надлежащее направленіе—это вернуться къ стѣнной живописи, процвѣтавшей въ Италіи отъ времени великаго Джотто до божественнаго Рафаэля. Эта мечта теперь осуществилась превыше всякихъ ожиданій. Со времени великаго расцвѣта искусства въ Италіи ннкогда не бывало такого оживленія въ этой области. Среди политическаго застоя и культурной отсталости искусство стало одной изъ самыхъ свѣтлыхъ сторонъ германской исторіи. Все-такн, какъ и относительно эпохи Адріана, потомство не можетъ признать это время благоприятнымъ для развитія нѣмецкаго искусства.

„Нѣмецкія фрески были въ домѣ Бартольди ребенкомъ, юношей въ влнлѣ Массими, въ Мюнхенѣ настала зрѣлость“. Такъ писалъ король Людовикъ.



Корнелиусъ: Разрушение Трои.

Съ тѣхъ поръ смѣнилось два поколѣнія и мы не можемъ видѣть въ Мюнхенскихъ фрескахъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ оригинальныхъ произведеній нѣмецкаго искусства XIX вѣка. Онѣ скорѣе кажутся слабыми отраженіями итальянскаго искусства XVI вѣка.

Благодаря стеченію многихъ благоприятныхъ обстоятельствъ, Корнелиусъ воплощалъ для своихъ современниковъ идеаль великаго художника. Со времени Тіеполо въ Германіи исчезло декоративное искусство. Мюнхенскія фрески были первой попыткой вернуться къ грандіозному стилю. Въ творествѣ Корнелиуса нѣмецкая живопись, казалось, сразу достигла головокружительной высоты, на которую нѣкогда Микель-Анджело возвелъ итальянское искусство. Въ немъ привѣтствовали возрожденнаго Микель-Анджело, говорили, что пластика его героическихъ фигуръ напоминаетъ „Вѣчный Судъ“ Сикстинской капеллы и что въ самомъ типѣ его фигуръ, въ особенности женскихъ, достигнута та высота ужаснаго, которою до него достигалъ только Синьорелли и Микель-Анджело. Вся личность Корнелиуса была для его современниковъ какъ бы доказательствомъ переселенія душъ. Имъ казалось, что въ немъ возродился духъ стараго флорентинца, исполнина возрожденія. Итальянское искусство cinquecento пользовалось тогда исключительной любовью въ Германіи. Только оно считалось образцовымъ, только въ немъ эстетики искали правилъ и законовъ, управляющихъ развитіемъ искусства. Въ произведеніяхъ Корнелиуса возродились всѣ свойства этой художественной манеры и современники раздѣляли мнѣніе, выраженное кронпринцемъ Людовикомъ въ словахъ: „Со времени cinquecento не было художника, подобнаго Корнелиусу“.

Вмѣстѣ съ тѣмъ идейный замыселъ его картинъ отвѣчалъ желаніямъ того времени. Умственная аристократія Германіи старалась забыть безнадежную плоскость жизни, углубляясь въ бездны философіи. „Что въ томъ“, пишетъ Галльманъ: „что нѣтъ въ насъ радостнаго національнаго чувства. Мы вовсе не хотимъ обрѣсти это чувство въ войнахъ и битвахъ. Мы стремимся къ болѣе высокому. Свѣтъ начинаетъ преклоняться передъ нѣмецкимъ умомъ и нѣмецкой наукой; мы стоимъ впереди другихъ народовъ и стремимся создать въ искусствѣ формы, воплощающія высокія идеи, чтобы оставить потомству памятникъ нашего духовнаго благосостоянія“.

Очень знаменательно для того времени, что живопись стремится сдѣлать общими своимъ достояніемъ выводы и побѣды отвлеченнаго мышленія и, открыть доступъ къ нимъ и людямъ, не имѣющимъ ни прнзванія, ни умѣнія подниматься на высоты философскаго знанія или опускаться въ его бездонныя глубины. Живопись пытается сдѣлать результаты изслѣдованій доступными созерцаію и перенести ихъ въ область искусства.

Корнелиусъ болѣе всего годился для этой миссіи. Онъ вложилъ въ свои произведенія бездну мыслей и учености.

Въ картинахъ глиптотеки Корнелиусъ хотѣлъ изобразить жизнь природы въ образахъ греческихъ боговъ. Для картинъ залы боговъ главнымъ источникомъ была Теогонія Гезіода. Въ ней художникъ нашелъ примѣры, доказывающіе побѣду творческаго духа на небѣ и на землѣ. Во второмъ залѣ онъ воплотилъ человѣческія страсти, силу и власть, въ примѣрахъ изъ жизни греческихъ героев, въ сценахъ изъ Іліады. Фрески въ церкви Людовика должны были представить циклъ хрстіанскаго откровенія, какъ замкнутое цѣлое и символически изобразить исторію человѣчества отъ созданія міра до страшнаго суда. На фрескахъ для берлинскаго Campo Santo предполагалось изобразить „вѣчныя судьбы человѣчества, отношенія божественной благодати къ человѣческому грѣху, искупленіе отъ грѣха, гибель и смерть, торжество жизни и безсмертіе“. Каждая изъ этихъ картинъ—цѣлый трактатъ. Картины находились въ извѣстномъ отношеніи одна къ другой; философскій замыселъ обнималъ цѣлый рядъ картинъ, объединяя ихъ между собой. Корнелиусъ, какъ онъ самъ выразился, написалъ въ картинахъ свою докторскую диссертацію.

И эта ученая живопись соотвѣтствовала требованіямъ умовъ того времени. Ученые видѣли въ Корнелиусѣ поэта, доктора философіи, и придавали единственно значеніе содержанію художественныхъ произведеній; свою же главную задачу они видѣли въ томъ, чтобы, по возможности, выразить мысль еще болѣе правильно, чѣмъ самъ художникъ. Мысль они считали альфой и омегой искусства и полагали, что даже самый бѣглый набросокъ долженъ имѣть идейный замыселъ.

Эти взгляды теперь измѣнились. Долгое общеніе съ древними мастерами, съ искусствомъ другихъ странъ понемногу излѣчило иѣмцевъ отъ гипертрофіи мысли, уничтожавшей всякое развитіе чувствъ и пониманіе внѣшней красоты явленій—т. е. все, что необходимо для процвѣтанія искусства. Понемногу, однако, въ живописи стали интересоваться живописнымъ и прежде всего имѣть въ виду самую картину, а уже потомъ задаваться вопросомъ, что при этомъ думалъ художникъ, или что долженъ думать зритель. Стихотвореніе, выражающее болѣе или менѣе интересную мысль въ деревянныхъ незвучныхъ стихахъ, не можетъ, конечно, понравиться. Но и напыщенная мысль сама по себѣ имѣетъ чрезвычайно мало отношенія къ искусству. Идейный замыселъ не составляетъ еще художественнаго произведенія. Мы испытываемъ величайшее наслажденіе отъ созерцанія картины Тиціана, „Небесная и земная любовь“, хотя и до сихъ поръ, собственно, не установлено, что изображаетъ эта картина. Мы знаемъ также, что величіе картины Рафаэля „Аѳонская Школа“ заключается не въ программномъ содержаніи картины, составленномъ какимъ то неизвѣстнымъ ученымъ, а въ художественной силѣ мастера, въ сосредоточенности, съ которой выражено то, что въ сюжетѣ едва намѣчено, а также въ самостоятельной силѣ, твердости формы и колорита каждой фгуры и cadaго движенія на картинѣ.

Развитіе художественнаго пониманія усилило и требованіе оригинальности. Выѣшнее сходство художника съ какимъ нибудь древнимъ мастеромъ еще не побуждаетъ насъ поставить его на одинаковую высоту съ нимъ. Мы стали

*Петръ Корнеліусъ.*

теперь признавать въ искусствѣ только оригинальныхъ гениевъ и видѣть въ подражаніи доказательство духовной скудости, хотя бы образцами были Пракситель или Микэль-Анджело. Вотъ почему многие въ свое время знаменитые художники теперь совершенно забыты. Современники Мабуза и Мартена Гемскерка находили и въ нихъ титаническую натуру Микэль-Анджело, его мощныя формы и колоссальныя замыслы; теперь же мы понимаемъ, что они были лишь каррикатурой Микэль-Анджело, что въ ихъ творчествѣ нѣтъ содержанія; ихъ картины холодны и надуты, мифологическія сцены съ голыми фигурами производятъ скорѣе отталкивающее впечатлѣніе. О Жерарѣ де Лересѣ его біографъ Губракенъ писалъ: „невозможно описать всѣхъ его картинъ, плафоновъ и исписанныхъ имъ залъ. Это наполнило бы цѣлую книгу“. Теперь же о Лересѣ достаточно сказать

нѣсколько строкъ, какъ о мало значительномъ и манерномъ художникѣ. То, что современники его называли величіемъ и Микэль-Анджелеской дикостью, то теперь, въ исторической перспективѣ, кажется жалкимъ повтореніемъ.

Примѣняя этотъ критерій къ Корнеліусу, мы придемъ къ тому же грустному результату. Безпощадная исторія на минуту задумалась о томъ, было ли уже ничто подобное, и затѣмъ перешла отъ него къ новымъ явленіямъ въ искусствѣ. Корнеліусъ далеко не былъ оригинальнымъ гениемъ, каковымъ его считали современники; онъ былъ только подражателемъ. Въ исторіи новѣйшаго искусства онъ вмѣстѣ съ Генрихомъ Гессомъ и Шноромъ, начинаютъ новое направленіе: отъ итальянскаго искусства ранней поры, вдохновлявшаго назарейскую школу, они перешли къ изученію цвѣтушаго времени cinquecento. Произведенія Корнеліуса — мощныя тѣни, отброшенныя гигантской фигурой Микэль-Анджело на наше время. Но всетаки это только тѣни, въ нихъ нѣтъ крови. Отъ Микэль-Анджело прямая линия ведетъ къ Милле; едва ли Микэль-Анджело обрадовался бы Корнеліусу, который пользовался имъ лишь какъ своего рода школьной прописью. Картины Корнеліуса созданія просвѣщеннаго, но бѣднаго въ художественномъ отношеніи времени. Идеализмъ Дона только окрѣпъ въ натуралистическихъ традиціяхъ Микэль-Анджело и Гирляндайо, Корнеліусъ же былъ идеалистомъ, слѣдовавшимъ готовымъ образцамъ прошлаго. Его творчество лишено остова. Это былъ идеализмъ времени упадка, а не спѣлый плодъ высоко развитой художественной эпохи, не результатъ вѣковой культурной работы. Микэль-Анджело воплотилъ въ себѣ стремленія всего итальянскаго искусства,

начиная съ Джіотто. Корнелиусъ жилъ среди равнодушнаго къ искусству времени, среди полнаго забвенія традицій и техники. Онъ полагалъ, однако, что можетъ достичь вершинъ совершенства, если воспользуется созданными Микэль-Анджело формами и вложить въ нихъ отрывки современнаго знанія. Этимъ онъ подтвердилъ истину, высказанную Гёте въ „Исторіи ученія о краскахъ“ въ слѣдующихъ словахъ: „Даже самые совершенные образцы приносятъ вредъ; они побуждаютъ шагать черезъ необходимыя ступени развитія и, заходя дальше цѣли, выпадаютъ въ безграничныя заблужденія“.

Въ то же время, какъ Генрихъ Гессъ занимался въ Мюнхенской базиликѣ ученическими копіями по Рафаэлю и Андреа дель Сарте, Корнелиусъ продѣлывалъ свои школьныя упражненія по Микэль-Анджело. Величіе Микэль-Анджело превращалось у него въ манерность, неистовство геніальнаго флорентинца въ тщательную и кропотливую копію. Титанъ Микэль-Анджело черпалъ въ собственномъ воображеніи свои сверхъ-человѣческія фигуры, а ученый эпитонъ копировалъ позы, обороты, группы, извѣстныя каждому, кто хотя бы разъ путешествовалъ по Италіи и провелъ нѣсколько часовъ въ Сикстинской часовнѣ. Глядя на картину Корнелиуса, мы какъ бы слышимъ по телефону мощный голосъ стараго флорентинца, только подавленный, или звучащій ложнымъ пафосомъ тамъ, гдѣ нѣтъ надобности ни въ какомъ пафосѣ. Выраженія лицъ стали гримасами; волосы раздуваются, какъ змѣи; одежды развѣваются; люди кричатъ вмѣсто того, чтобы говорить, широко раскрываютъ ротъ, какъ бы собираясь командовать, раскидываютъ руками, какъ будто хотѣли охватить весь міръ. Когда женщины несутъ на рукахъ ребенка, онъ какъ бы собирается задушить его. Когда поваръ жаритъ кусокъ баранины, онъ льетъ соусъ съ жестомъ Геркулеса, и когда келларій открываетъ бочку, онъ похожъ на рѣчнаго бога, готовящаго наводненіе. Фигуры Корнелиуса, чтобы казаться сильными и героическими, надѣваютъ сапоги великановъ и надуваются, чтобы походить на великановъ, а не на людей. У каждого лицо другого цвѣта: у одного кирпично-краснаго, у другого розоваго, у третьяго сѣраго, какъ у мертвеца. При этомъ одежды уложены въ академическія условныя складки, не имѣющія никакого оправданія, кромѣ декоративныхъ цѣлей. „О, какая правда“, говоритъ Гёте гдѣ то въ своихъ письмахъ—„въ томъ, что нѣтъ ничего замѣчательнаго, великаго и прекраснаго внѣ простоты и вѣрности природѣ.“ Трудно, конечно, справиться съ Микэль-Анджело и вполне понятно, что Корнелиусъ впалъ въ ту же манерность, какъ и голландцы триста лѣтъ до того, съ той только разницей, что, какъ ученый, онъ стоялъ гораздо выше ихъ. Это качество несомнѣнно пригодилося бы ему, если бы онъ писалъ книги; но оно не можетъ



Вильгельм Каульбахъ.



Крульбахъ: Битва гунновъ.

быть принято во вниманіе при оцѣнкѣ его, какъ художника; точно также при оцѣнкѣ Жерарда де Лереса его писательскія достоинства не имѣютъ никакого значенія. Напротивъ, ученость Корнелиуса сдѣлалась его проклятіемъ въ живописи; она привела его къ безпримѣрному въ исторіи искусства презрѣнію формы. Мало того, что вдохновляясь возвышенными мыслями, онъ умѣлъ воплощать ихъ только въ традиціонныхъ, сохранившихся въ памяти формахъ. Онъ, кромѣ того, не имѣлъ времени обработать взятыя у Микель-Анджело формы; какъ художникъ, онъ стоитъ гораздо ниже подражателей голландцевъ: тѣ, по крайней мѣрѣ, не портятъ впечатлѣнія неправильностями рисунка и безвкусіемъ колорита. Ему нужны были стѣны не для живописи, а для выраженія своихъ мыслей. Онъ чувствовалъ въ себѣ исключительно писателя, ученаго, углубленнаго въ размышленія и занятаго изложеніемъ своихъ идей. Онъ также мало думалъ о формѣ и колоритѣ, какъ писатель о томъ, чтобы его рукопись была написана красивымъ почеркомъ и чернилами извѣстнаго цвѣта. Только этимъ объясняется непозволительная небрежность его исполненія; онъ передавалъ ученикамъ рисунки къ картинамъ, предоставляя имъ писать красками по собственному произволу. Этимъ только объясняется полная несостоятельность колорита во фрескахъ глиптотеки и церкви Св. Людовика. Уже тогда ихъ исполненіе было по краскамъ ниже средняго уровня техники въ живописи, и можетъ быть объяснено только тѣмъ, что картины писаны учениками, работавшими безъ всякаго руководства и безъ всякой подготовкн.

Корнелиусъ ничему не могъ научить и обладалъ только умственными качествами, не передаваемыми ученикамъ; онъ былъ поэтому самымъ неподходящимъ директоромъ академіи, какого только можно себя представить. Тѣмъ опаснѣе было то, что этотъ задумчивый маленький человекъ въ

темной одеждѣ, съ торжественными движеніями, съ горячнмъ взглядомъ орлиныхъ глазъ, нѣмѣ обаятельное вліяніе на учениковъ; казалось, что онъ, подобно Данте, видалъ рай и адъ. „Какъ бываютъ люди, созданные быть повелителями армій, такъ Корнелиусъ рожденъ стать во главѣ школы живописцевъ“, говорилъ король Людовикъ. Шнидъ забавно рассказываетъ, какъ онъ дрожалъ отъ благоговѣнія, представляясь, по приѣздѣ изъ Вѣны, Корнелиусу. Рыжеволосый юноша въ неуклюжемъ платьѣ робко бродилъ по заламъ гил্পототеки, когда вдругъ увидѣлъ въ ореолѣ солнечныхъ лучей, подобно Фебу Аполлоу, на подмосткахъ самого Корнелиуса во всей его славі. Привыкшій къ тому, что молодые люди при взглядѣ на него краснѣютъ или блѣднѣютъ отъ робости, Корнелиусъ милостиво спустился съ возвышенія къ неизвѣстному смертному. „Это былъ маленькій челоуѣкъ въ синей блузѣ съ красивымъ поясомъ; у него очень строгій, благородный видъ и его черные блестящіе глаза производятъ сильное впечатлѣніе. Онъ спустился со своего трона, сбросилъ синюю блузу, надѣлъ изящный сортуку, выпилъ стаканъ воды и въ короткихъ словахъ объяснилъ мнѣ уже написанную часть картины и то, что еще осталось написать. У меня прошла дрожь по тѣлу отъ его словъ. Потомъ онъ захватилъ нѣсколько бумагъ и сказалъ, что ему пора идти въ академію“.

Реформа, съ которой онъ началъ свою дѣятельность въ Мюнхенѣ показывается рѣзкою и одностороннею его взглядовъ. Онъ превратилъ академію въ школу стѣнной живописи. „Я считаю лишними каведру жанровой и ландшафтной живописи“, писалъ онъ въ 1825 году королю, — „истинное искусство не знаетъ обособленныхъ жанровъ“. Но такъ какъ онъ самъ былъ очень слабъ во всякаго рода живописи, то ему не удалось воспитать мастеровъ стѣнной живописи. Онъ создалъ только школу рисованія картоновъ.

„Читайте хорошихъ поэтовъ: Гомера, Шекспира, Гёте, и не забывайте также Библию. Кисть погубила искусство. Она привела отъ знанія природы къ „манерности“. Такимъ образомъ Корнелиусъ привилъ собственные недостатки своей школѣ и она съ самаго начала носила въ себѣ зародыши смерти. Началась упорная борьба корнелианцевъ противъ лангерьянцевъ, причемъ дѣло часто доходило до комическихъ инцидентовъ. Лангерьянцевъ презирали за то, что они сохранили еще много привычекъ академической техники. Самъ же Корнелиусъ, когда ему однажды указали, что на одномъ картонѣ греческій герой имѣетъ шесть пальцевъ, равнодушно отвѣтилъ: „Да если-бъ у него было хоть семь, чѣмъ бы это измѣнило идею композиціи?“ Вполнѣ естественно поэтому, что ученики Корнелиуса пренебрегали работой съ натуры. Въ то время, когда Мюнхенъ превращался въ Аѳины и художники покрывали фресками городскія стѣны, въ Мюнхенѣ былъ всего одинъ натурщикъ, да и тотъ, по слухамъ, умеръ съ голода. Краски они ненавидѣли, потому что ими трудно было работать. „Стонть-ли учиться писать фрески красками и глотать известковый паръ“. Они подражали манерѣ своего учителя, ния котораго у нихъ было постоянно на устахъ, хотя ни одинъ лучъ его ума не перешелъ на нихъ. „Когда природа соберется создать весну, она становится безконечно расточительною. Талантовъ у насъ довольно теперь на цѣлые вѣка“. Этими словами Корнелиусъ самъ приветствовалъ своихъ учениковъ, Карла Германа, Штрегубера, Германа Аишюца, Гильдешпергера и Лиденшмитта старшаго. При упоминаніи этихъ именъ одни лишь арки въ Мюнхенскомъ придворномъ саду могутъ содрогнуться отъ страшнаго воспоминанія.

Корнелиусъ будетъ жить въ воспоминаніи потомства, главнымъ образомъ, какъ замѣчательная личность. Въ немъ всегда будутъ почитать его высокій духъ. Съ юности и до глубокой старости онъ несокрушимо слѣдовалъ тому,



Каульбахъ: Възкъ реформацин.

что считалъ истиной, никогда не примѣнялся ко вкусамъ толпы, и съ полной честностью высказывалъ свои взгляды и намѣренія. Сильная воля Корнелиуса и высота его стремлений, а также его пониманіе искусства священны для насъ. Всѣ его произведенія вышли изъ чистой, благородной и великой души. Весь его обликъ съ гордымъ отважнымъ профилемъ, свидѣтельствуеъ о высотѣ духа и производитъ неизгладимое впечатлѣніе. Какъ живописецъ, Корнелиусъ имѣлъ пагубное вліяніе на судьбу нѣмецкаго искусства, но какъ человекъ онъ отличался гордой, благородной душой. Онъ самъ сказалъ однажды: „Искусство тоже имѣетъ своихъ жрецовъ и своихъ священниковъ“. Въ концѣ жизни онъ говорилъ: „Всегда, при всѣхъ обстоятельствахъ моей жизни, я сохранялъ священный трепетъ предъ божественностью искусства и никогда не грѣшилъ противъ него“. Въ искренность и правдивость этихъ словъ можно вполне вѣрить.

Необыкновенная серьезность, проникающая творчество Корнелиуса, ставитъ его высоко надъ *Вильгельмомъ Каульбахомъ* (Wilhelm Kaulbach). Его имя сохранится долго послѣ того, какъ исчезнетъ слава Каульбаха и всѣхъ тѣхъ „интеллигентовъ“, для которыхъ работалъ Каульбахъ, и которые его славословили. Въ чисто художественномъ отношеніи и въ сравненіи съ великими мастерами прошлаго, оба художника стоятъ одинаково низко. Но, если смотрѣть на задачи художественной критики съ психологической точки зрѣнія, если изслѣдовать отношенія картины къ душѣ ея создателя, то Корнелиусъ стоитъ безконечно выше. Корнелиусъ хотѣлъ поднять вкусъ публики на высоту своего



Каульбахъ: Борьба съ рутиной.

собственного и заплатилъ за этотъ идеализмъ потерей популярности, — тѣмъ, что онъ не былъ понятъ толпой. Каульбахъ же — послушный слуга посредственности, размѣнивалъ спартанское желѣзо корнелевскаго искусства на мѣдную ходячую монету и, подлаживаясь подъ вкусъ толпы, облакалъ чувственность въ пышныя одежды трагической музы. Поэтому онъ пользовался при жизни огромной шумной славой; но правъ на безсмертіе у него оказалось мало. Идейная живопись Корнелиуса, такъ сказать, сняла сливки съ предметовъ религіознаго и мифологическаго искусства, Каульбахъ же старался ввести въ живопись нѣчто болѣе современное; онъ черпалъ новыя, интересующія публику сюжеты въ философіи исторіи, въ эпопеяхъ всемірной исторіи. При этомъ онъ давалъ любопытствующей публикѣ напечатанную программу съ требуемыми свѣдѣніями о великихъ идеяхъ и глубокихъ замыслахъ, предполагаемыхъ въ картинѣ. Такъ какъ строгость формъ Корнелиуса отталкивала публику, то Каульбахъ смягчалъ ее поверхностнымъ каллиграфическимъ изяществомъ. Угловатость и рѣзкость Корнелиуса смѣнилась у него пріятной мягкостью. Кромѣ того онъ украшалъ свои картины, задуманныя не для красокъ, иелѣпыми сочетаніями красокъ. Фрески Корнелиуса были расцвѣченными гравюрами колоссальныхъ размѣровъ, картины Каульбаха — олеографіями. Этими уступками живописи Каульбахъ нанесъ рѣшительный ударъ школѣ рисовальщиковъ. Онъ играетъ роль посредника между Корнелиусомъ и Пилоти. Въ его работахъ слишкомъ много „красивости“, если ихъ разсматривать какъ фрески, но какъ картины онѣ не удовлетворительны. Онъ похоронилъ въ своихъ картинахъ эпоху картоновъ, устроивъ, правда, очень пышныя похороны.

Началомъ его серіи картинъ была „Битва духовъ“, „Битва въ воздухѣ“, „Битва гунновъ“. Внизу представлено истинное историческое происшествіе, а на верхнемъ планѣ оно перенесено въ міръ духовъ. Битва кончилась, тѣла убитыхъ лежатъ на землѣ, но души ихъ продолжаютъ битву въ воздухѣ и стараются при этомъ выставить напоказъ нагое тѣло. За этимъ послѣдовала картина „Разрушеніе Іерусалима“. Она загромождена массой сложныхъ намековъ; къ ней печатались обширѣйшія объясненія. Программная живопись Каульбаха отпраздновала свое высшее торжество въ картинахъ, украшающихъ вестибольшъ въ Берлинскомъ музеѣ. Тамъ, на пространствѣ двухсотъ сорока футовъ длины и двадцати восьми футовъ вышины изображены „глубокая идеяная игра духа всемірной исторіи“, „общее развитіе культуры всѣхъ народовъ и всѣхъ временъ въ главныхъ моментахъ исторіи“. Тамъ изображены моменты, „состав-

ляющие въ исторіи народовъ какъ бы узловые пункты, которыми стягиваются переплетающіяся нити исторической драмы народовъ". „Битва гуиновъ" и „Разрушеніе Іерусалима" были снова включены въ циклъ; къ нимъ прибавились картины: „Вавилонское столпотвореніе", „Расцвѣтъ греческой живописи", „Крестовые походы", „Эпоха возрожденія". Вся Гегелевская философія преподава на стѣнахъ вестибюля. Но такъ какъ художникъ не обнаружилъ въ композиціи особой новизны и высоты пониманія, то итъ никакой надобности вглядываться ближе въ „странную непонятность" мыслей. Глазъ же видитъ только составленія по рецептамъ композиціи, и болѣе или менѣе хорошо поставленныя живыя картины въ театральныя позы, написанныя къ тому же грубыми красками.

Изъ другихъ большихъ картинъ Каульбаха знаменита морская битва при Саламинѣ съ изображеннымъ на ней погибающимъ гаремомъ. Въ Неронѣ Каульбахъ противопоставляетъ оргіи Рима временъ упадка восторженному отношенію къ смерти первыхъ христіанъ, а въ большомъ картонѣ углемъ, „Петръ Арбуэзъ", онъ придаетъ колоссальныя размѣры рисунку, пригодному по своему содержанію для юмористическаго листка.

Вильгельмъ Каульбахъ не имѣетъ большаго значенія, какъ художникъ. Вольтманъ высказалъ это уже двадцать лѣтъ тому назадъ, но онъ пытался отстоять въ немъ хотя бы иллюстратора. Онъ сожалѣлъ, что художникъ, который могъ бы стать нѣмецкимъ Гогартомъ, къ несчастью своему пошелъ по слѣдамъ Корнеліуса. Но это сближеніе несправедливо по отношенію къ Гогарту. Въ иллюстраціяхъ Каульбаха итъ ничего, что не было бы лучше сдѣлано уже другими. Въ „Рейнеке" онъ повторилъ, съ нѣсколькими измѣненіями для нѣмецкой публики „Scènes de la vie privée et publique des animaux" Гравилла, вышедшія въ 1842 году. Въ роскошныхъ иллюстрированныхъ изданіяхъ „Женскіе типы Гёте" и др., онъ успѣшно вступилъ на путь, приведшій впоследствии къ Полю Туманну. Но Туманинъ выше Каульбаха. Оба они отличаются безхарактернымъ, вялымъ рисункомъ, округленной красотойъ пухлыхъ, невыразительныхъ лицъ, а также академичностью стиля. Но рѣзкій отпечатокъ порочности, циничная улыбка сатира, не сдающаяся даже передъ Гёте, намѣренное угодженіе чувственности, пользованіе самыми чистыми воздушными образами нѣмецкой поэзіи для того, чтобы писать полуобнаженныя тѣла, заманивая этимъ зрителей—все это исключительныя свойства Каульбаха. Въ „Пляскъ мертвецовъ" онъ изображаетъ въ игровомъ тоиѣ то, что Реттель до него выражалъ съ глубокой серьезностью.

Когда два авгура встрѣчались, они не могли не смѣяться. И сатирикъ, наконецъ, тоже началъ смѣяться надъ своими монументальными картинами. Послѣ того, какъ онъ представилъ на стѣнахъ берлинскаго музея историческое развитіе челоуѣчества, онъ далъ понять на карнизѣ, что все это было только „грудой мусора и хламомъ." Онъ получилъ порученіе представить на стѣнахъ новой пинакотекіи возрожденіе искусства во время царствованія короля Людовика—къ счастью Мюнхенская сырость позаботилась о томъ, чтобы картины эти почти совершенно стерлись,—онъ сатирически отнесся къ тому, что долженъ былъ превозносить, и самъ же написалъ насмѣшливыя стихи къ своему циклу, который Готье называлъ „Carnaval au soleil." „Король израсходовалъ миллионы въ молодости, чтобы поднять искусство, а теперь въ старости онъ платитъ еще двадцать тысячъ талеровъ за насмѣшки надъ своими трудами," сказалъ Швиндъ. Надъ могилой романтической литературы раздался громкій надменный смѣхъ Геириха Гейне, а романтическій „монументальный періодъ искусства" закончился самоосианіемъ.

Стѣнная живопись новой пинакотеки и фрески на аркадахъ, такъ же какъ и большинство картинъ на стѣнахъ разныхъ зданій, превратились теперь въ развалины и лишь немногія блѣдныя краски, еще не совсѣмъ поддавшіяся вѣтру и непогодѣ, говорятъ о брѣнности своей прежней „красоты.“ Это одно доказываетъ, до чего заблуждался Корнелиусъ, ожидая отъ стѣнной живописи возрожденія національнаго искусства. Уже венеціанцы cinquecento отлично понимали, что не слѣдуетъ писать фресокъ. Стѣнная живопись, въ тѣхъ размѣрахъ, какіе ей хотѣлъ придать Корнелиусъ, была чужеземнымъ растеніемъ: она не могла привиться къ сѣверному климату. Исключительный интересъ Корнелиуса къ фрескамъ и микельанджелевское пренебреженіе къ маслянымъ краскамъ доказываютъ его односторонность; слѣдствіемъ ея было то, что мюнхенскимъ художникамъ пришлось начать съ самаго начала изученіе живописи, которая со временъ ванъ-Эйковъ считалась основой всего нѣмецкаго искусства.



VIII.

Дюссельдорфская школа.

На Рейнѣ возникла школа живописцевъ, вмѣсто школы рисовальщиковъ; Дюссельдорфъ имѣлъ въ свое время такое же значеніе какъ Мюнхенъ. Вслѣдствіе этого Вильгельмъ Шадовъ,—первый директоръ дюссельдорфской школы—былъ довольно безличнымъ художникомъ, но онъ наслѣдовалъ отъ своего замѣчательнаго отца стремленіе къ совершенству техники. Это отличаетъ его и его учениковъ отъ разсудочныхъ живописцевъ школы Кориеллуса. Отчасти это свойство Шадова внушаетъ уваженіе и теперь. Уже въ Римѣ онъ единственный изъ назарейцевъ былъ доступенъ французскимъ вліяніямъ; всѣ другіе боязливо сторонились членовъ французской академіи. Любовь къ формамъ въ искусствѣ сдѣлала его впослѣдствіи прекраснымъ учителемъ. Уже при самомъ прибытіи въ Дюссельдорфъ, въ ноябрѣ 1826 года, онъ былъ окруженъ значительнымъ кружкомъ учениковъ. Къ ихъ числу принадлежали: Карлъ Фридрихъ Лессингъ, Юліусъ Гюбнеръ, Теодоръ Гильдебрантъ, Карлъ Зонъ, Мюке и Христіанъ Келлеръ; къ нимъ присоединились еще впослѣдствіи Эдуардъ Бендеманиъ, Эрнстъ Дегеръ и другіе. Они стали опорой знаменитой старо-дюссельдорфской школы, которая вскорѣ стала возбуждать восторги у современниковъ. На выставкахъ въ Берлинѣ молодая школа живописцевъ одерживала одну побѣду за другой. Юноши, недавно покинувшіе школьную скамью, сразу приобрѣли имя, прогрессѣвшее на всю Германію, потому что въ ихъ произведеніяхъ ярко отразилось сентиментально-романтическое настроеніе того времени.

Патріотическія войны 1813 г., внесшія и въ тихія кельи римскихъ назарейцевъ свѣжее дуновеніе живой дѣйствительности, не были, подобно побѣдамъ 1870 года, слѣдствіемъ зрѣло обдуманнаго политическаго плана. Воодушевленіе охватило всѣхъ внезапнымъ порывомъ. И за минутой увлеченія послѣдовало разочарованіе. Въ 1810 году, подъ звуки французскихъ барабановъ, заглушавшихъ его слова, и при мельканіи французскихъ штыковъ въ окнахъ, Фихте произносилъ въ Берлинскомъ университетѣ свои знаменитыя рѣчи, поднявшія Германію на бой. Клейстъ писалъ въ тоже время свою „Битву Германа,“ требуя чтобы съ Наполеономъ поступили такъ, какъ Германъ поступилъ съ Варомъ.

„О чемъ трубить трубы? Гусары впередъ“ раздавалось въ воздухѣ. Пѣсня „Тотъ Богъ, кто желѣзо возрости“ возносилась къ небу оглушительными звуками. А черезъ короткое время тѣ же лвы, которые побивали корсиканца у Лейпцига и мечтали съ Аридомъ о великой единой отчизнѣ сдѣлались снова добродушными бюргерами, сидѣвшими въ своихъ миниатюрныхъ королевствахъ и княжествахъ за стаканомъ пива и трубкой табаку. Это грустное время, которому дѣйствительность не доставляла никакого удовлетворенія, должно было неминуемо питать влеченіе къ прошлому. Великое прошлое осуществляло идеалы, недостижимые для настоящаго; оно сдѣлалось поэтому сокровищницей полузабытыхъ національных традицій; разочарованное дѣйствительностью поколѣніе искало убѣжища въ томъ времени, когда еще существовало единое германское государство. Возвращеніе къ старинѣ было протестомъ противъ безцвѣтной, сѣрой дѣйствительности. Пѣвцы свободы съ ихъ преклоненіемъ передъ идеей отчизны смѣнились мечтателями объ исчезнувшемъ величіи средневѣковой Германіи. Они съ грустью вспоминали о тѣхъ дняхъ, когда рыцари завоевывали города и земли. Шенкендорфъ воспѣвалъ старыя церкви, рылся со священнымъ трепетомъ въ останкахъ героевъ и рыцарей, погребенныхъ въ часовнѣ, и написалъ стихотвореніе ко дню тысячелѣтія смерти Карла Великаго. Аридтъ, пѣвецъ патріотическихъ войнъ, со злобой нападалъ на „меркантильный вѣкъ“, протестовалъ противъ машинъ и пара. Захаріасъ Вернеръ написалъ пѣсню: „Да будетъ кличемъ боевымъ: воскресни старина!“



Гильдебрантъ: Воинъ съ сыномъ.

Романтическое теченіе открыло обширное поле для науки и поэзіи. Исторія старыхъ королевскихъ временъ возродилась со сказочнымъ блескомъ. Поэзія взяла посохъ странника, бродила по полямъ и долинамъ, или ѣздила верхомъ, съ прекрасными герцогинями на бѣлыхъ коняхъ. Ей встрѣчаются заколдованные духи земли: эльфы, феи и кобольды. Благоуханіе и чистые дѣтскіе восторги наполняютъ нѣжная волшебныя сказки Тика, рассказы Клемена Брейтаунъ, обаятельныя преданія о дѣдушкѣ Рейнѣ, о русалкахъ и хрустальномъ замкѣ въ глубинѣ зеленыхъ волнъ, замаячивыя картины, задумчиво ясныя, какъ лѣтніе вечера на Рейнѣ. Подобно поэтамъ рыцарскихъ временъ съ золотыми арфами въ рукахъ, Улаидъ пѣлъ „о служеніи Богу, о мужествѣ храбрыхъ героевъ, о нѣжномъ чувствѣ любви, о сладкихъ весеннихъ чарахъ“. Еще теперь, въ долинахъ Рейна, среди развалинъ и замковъ на сѣрыхъ утесахъ, оживаетъ это царство романтической поэзіи въ таинственныхъ загадкахъ, скрытыхъ въ горахъ и долинахъ. Рейнъ и романтизмъ неразлучны.

Ни одинъ нѣмецкій городъ не былъ болѣе приспособленъ стать родиной романтическаго искусства, чѣмъ Дюссельдорфъ—тихий городъ на берегу зеленой рѣки, обвѣянной старыми преданіями. Въ XV вѣкѣ, рядомъ съ Флоренціей, гдѣ развивалась богатая политическая и общественная жизнь, гдѣ огромная



Зона: Девъ Леоноры.

и монахинь. Въ техническомъ отношеніи и по внутреннему содержанию она дополняетъ Корнелиуса и назарейцевъ, — Корнелиуса тѣмъ, что она возродила живопись масляными красками, а назарейцевъ тѣмъ, что изъ двухъ основъ средневѣковой жизни, церкви и рыцарства, она отражала свѣтскую болѣе, чѣмъ церковную. Назарейцы-аскеты, склонные къ увлеченію древностью, Дюссельдорфцы же слащавы, саентиментальны.

Графъ Рачинскій и Фридрихъ фонъ Ухтрицъ (Friedrich von Uechtritz) очень интересію описали тогдашнюю жизнь въ Дюссельдорфѣ. Ихъ рассказы похожи на главу изъ Гермаіи Тацита. „Grand Dieu! bons et affectueux allemands!“ воскликнулъ одинъ расчувствовавшійся парижскій критикъ, читая книгу графа, и поставилъ въ примѣръ своимъ собственнымъ соотечественникамъ, испорченнымъ римлянамъ, художникамъ, погрязшимъ въ парижской роскоши, эти честные нѣмецкіе нравы. Дюссельдорфская колонія художниковъ жила замкнуто, вдали отъ соблазновъ городской жизни и въ всякой связи съ окружающимъ міромъ. Живописцы видались только съ живописцами и только съ ними разговаривали. Они проводили время, дружно работая въ мастерскихъ и даже отдыхъ заключался только въ посѣщеніи мастерской того или другого изъ товарищей. Днемъ они работали, готовые картины посылали въ союзъ художниковъ, а въ свободныя отъ работы часы развлекались скромными романтическими увлеченіями. Гильдебрантъ собиралъ коллекцію жуковъ. Лессингъ любилъ охоту, собиралъ трубки и олени рога, и превратилъ маленькую комнату, гдѣ онъ жилъ вмѣстѣ съ сыномъ, въ жилище стараго лѣсничаго. Они считали, что политика портитъ характеръ и старались не нарушать мирнаго теченія жизни никакими злобами дня. Большинство не читали газетъ. Во время революціонныхъ движеній 1830 года они интересовались міровыми событіями только изъ опасенія, что война можетъ нарушить идиллію ихъ жизни. Послѣ дневной работы они отправлялись лѣтними вечерами въ „Stockkämpchen“, ужинали тамъ кислымъ молокомъ, играли въ кегли или бѣгали възпуски.

зданія, статуи и фрески занимали собой цѣлыя поколѣнія архитекторовъ, скульпторовъ и живописцевъ, существовала въ отдаленной гористой мѣстности Умбрии, въ странѣ чудесъ и видѣній, школа живописи, создавшая образъ Мадонны съ глубокими глазами и нѣжными чертами лица; единственнымъ предметомъ картинъ этой школы была мечтательная душевная тоска и нѣжность чувства. Такъ и въ XIX вѣкѣ, на ряду съ Мюнхенской школой и ея безчисленными памятниками, статуями и эпическо - драматической стѣиной живописью Корнелиуса, сочетавшаго „германскій духъ съ греческимъ, Фауста съ Еленой“, создавалась въ Дюссельдорфѣ сентиментальная лирическая живопись; она съ одинаковой изжностью изображала мадоннъ и соплеменниковъ Іереміи, рыцарей и разбойниковъ, цыганъ и монаховъ, русалокъ

Зимой они каждую субботу приходили ровно в семь часов в известную кофейню и там устраивался литературный вечер. Читали произведения Тика и драмы Кальдерона и Лопе де Вега распределенные по ролям, или же Ухтриц читал что нибудь из немецкой истории, о крестовых походах, о немецких императорах, о гусситских движениях. Каждое воскресенье вечером собирались у Шадова; туда приходило избранное общество — судья Иммерман, Феликс Мендельсон, Кортум, авторъ повести, ассесоръ фонъ Ухтриц и судебный прокураторъ Шназе, все со своими семьями. Но наибольшим праздником бывали для них представления в театре два раза в неделю. Театр, состоявший под дирекцией Иммермана, был для молодых художников источником их лучших вдохновений. Некоторые художники выступали, при содействии Иммермана, в любительских спектаклях, устраиваемых в доме Шадова; Дюссельдорфцы вдохновлялись впечатлениями, почерпнутыми не из жизни, а в театре. Их живопись основана была не на жизненном опыте, а на книжном образовании; они были образованными молодыми людьми из хорошего общества и все великая мировая страдания переживались ими только на театральных подмостках.



Штейнбрукъ: Женевьева.

Теодоръ Гильдебрантъ (Theodor Hildebrandt) был дюссельдорфским Шекспиром; незадолго перед тем появился Шлегелевский перевод Шекспира и Иммерман впервые поставил Шекспира на немецкой сцене. Представления шекспировских драм в Дюссельдорфе были настоящим праздником. Во время директорства Иммермана, в 1834—1837 г., представлены были в течение 15 вечеров Гамлет, Макбет, Король Иоанн, Король Лир, Венецианский купец, Ромео и Юлия, Отелло, Юлий Цезарь. Эти драмы определяли собой сюжеты картин Гильдебранта; он принимал участие в постановке Шекспира, а также выказал большое артистическое дарование, участвуя в любительских представлениях Шекспира в доме Шадова. Он очень редко брал сюжеты из других поэтов. Только в иллюстрациях к Фаусту и в „Остерегайтесь русалок“ он взял сюжет у Гёте, а в „Разбойниках“ следовал одному из распространенных в то время вариантов Ринальдо Ринальдини. Гильдебрант находился отчасти и под влиянием Байрона, которым сильно увлекались все живописцы дюссельдорфской школы.

Героиня Гёте, в особенности Леонора писал в красках старик *Зонн* (Sohn). *Эдуард Штейнбрукъ* (Ed. Steinbrück) писал Женевьеву, Красную Шапочку, эльфов и русалок по Тик и Фукс. Стиль (Stilke) изображал сцены из крестовых походов и брал сюжеты из Вальтер-Скотта, а картины Плюдемана (Plüddemann) из жизни Колумба служили иллюстрацией к драмам Клингемана и Рюккерта. Первые произведения Уланда создали моду на красивых рыцарских времен, грустно кивающих в знак прощания одинокому пастушку, на склепы, где покоится последний в роду рыцарь

и турниры, на которых закалываются меланхоличные герон. Стихотворение Уланда „Любовное признание пастушка“:

На горной свободной вершинѣ
Обнявшись, стоимъ мы съ тобой.
Глядимъ на людей мы въ долинахъ,
А сами незримы толпой.

дало Бендеману сюжетъ для картины подъ тѣмъ же названіемъ.

Молодой художникъ Лессингъ заимствовалъ изъ одного стихотворения Уланда сюжетъ первой прославившей его картины „Горе королевской четы“. Картина эта сдѣлала его имя сразу однимъ изъ извѣстнѣйшихъ въ нѣмецкомъ искусствѣ.

Отца и мать я видѣлъ,
Но безъ вѣнцовъ они,
И въ траурѣ сидѣли
Безъ дочери они.

Слѣдую Бюргеру, онъ рисовалъ свою Леонору, конечно, въ такъ называемомъ средневѣковомъ костюмѣ, для того чтобы избѣжать неживописности одеждъ временъ семилѣтней войны. Онъ и Гильдебрандтъ написали также по изображенію „тоскующаго разбойника“, освѣщеннаго заходящимъ солнцемъ и размышляющаго съ высоты утеса о „падении рода человѣческаго“. Всѣ они кромѣ того увлекались Гогенштауфенами; это объясняется появленіемъ въ 1823 году исторіи Рамера, занимавшей тогдашнюю публику болѣе, чѣмъ въ свое время исторія тридцатилѣтней войны Шиллера. Множество драмъ явилось плодомъ этого общаго увлеченія: въ 1825—29 году вышли въ свѣтъ „Фридрихъ Второй“ Иммермана, „Эццелино“ Эйхендорфа и Гогенштауфеновскій циклъ Раупаха, имѣвшій громадный успѣхъ на сценѣ.

Даже идиллическія и трогательныя сцены изъ Ветхаго Завѣта и еврейскихъ элегій тоже, очевидно созданы театральными впечатлѣніями. Назарейская школа большей частью вдохновлялась Новымъ Завѣтомъ, за исключеніемъ фресокъ въ домѣ Бартольдн, гдѣ выборъ сюжетовъ опредѣлялся вѣронсповѣданіемъ заказчика. Дюссельдорфцамъ же былъ чуждъ духъ Евангелія. За исключеніемъ нѣсколькихъ картинъ Шадова на евангельскіе сюжеты и мечтательныхъ мадоннъ Дегера, Иттенбаха и Минтропа, большинство другихъ картинъ взяты изъ Ветхаго Завѣта, бывшаго въ то время также источникомъ многочисленныхъ драмъ. Гюбнеръ, всю свою жизнь любившій изображать идилліи и грустные сцены, избралъ сказаніе о Воозѣ и Руи для первой большой картины, создавшей ему имя. Клингеманъ всю свою жизнь мечталъ написать драму изъ жизни Моисея, а Хрстіанъ Келлеръ написалъ картину „Младенецъ Моисей“. Подъ вліяніемъ Семирамиды Раупа, онъ перешелъ потомъ отъ библейскихъ героинь къ восточнымъ. Теодоръ Гильдебрантъ вдохновился для своей Юдиѣи Тиковской трагедіей того же имени.

Картина Керена, „Встрѣча Іосифа съ братьями“, была написана послѣ представленія въ Дюссельдорфѣ оперы „Іосифъ въ Египтѣ“. Столь же благодарный сюжетъ выбралъ Бендеманъ въ „Плачущихъ Іудеяхъ“ Кельнскаго музея. Байронъ въ то время возбудилъ общій интересъ къ судьбѣ израильскаго племени своими „Еврейскими мелодіями“. Кромѣ того, популярности сюжета содѣйствовалъ успѣхъ драмы Ухтрица „Вавилоняне въ Іерусалимѣ“. Драма заканчивалась плачемъ Іеремиі о вавилонскомъ плѣненіи іудеевъ:

Плачь о побѣжденныхъ въ дальнемъ Вавилонѣ,
Храмъ ихъ былъ разрушенъ, родина взята.
Плачь! Священной арфы отзвучали пѣсни—
Въ домѣ Божьемъ воцарился врагъ.

Позднѣйшія картины Бендемана, „Іеремія на развалинахъ Іерусалима“ (1834 г.)—собственноіи германскаго императора—и „Вавилонское плѣненіе израильтянъ“ (1872 г.),—берлинской національной галлерей, представляютъ варіаціи на ту же тему.

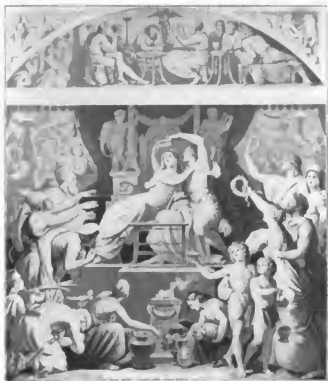
Живопись дюссельдорфской школы строго слѣдовала программѣ, изложенной Пютманомъ въ его книгѣ: живописецъ, по ученію Пютмана, можетъ заимствовать сюжеты изъ двухъ областей—изъ исторіи и изъ поэзіи. Можно избрать историческій фактъ или облечь въ осязательныя формы фантастическій сюжетъ. Исторія даетъ художнику выразительныя, характерныя фигуры—и даже менѣе даровитый художникъ можетъ написать вѣрную картину на историческій сюжетъ.

Если же художникъ вдохновляется поэзіей, то произведенія его хороши уже тѣмъ, что передаютъ въ наглядныхъ образахъ то, что прекрасно и дорого сердцу. Наибольшее сочувствіе вызываютъ однако, тѣ историческіе и поэтическіе сюжеты, которые изображаютъ человѣческое страданіе во всѣхъ видахъ, начиная отъ будничной домашней заботы до иѣмой муки непоправимаго зла.

Гамма страданій, отъ мелаихоліи до мучительной боли, стала спеціальною дюссельдорфской школы. На первой ступени стоятъ картины, изображающія „обычное, но тяжкое страданіе родителей, оплакивающихъ смерть или горестную участь дѣтей“. Лессинговская королевская чета оплакиваетъ смерть дочери; Агарь плачетъ, потому что она должна оставить Измаила въ пустыи, Жейевьева—потому что спасительная лань слишкомъ долго заставлятъ себя ждать.

Горе любви воплощено въ Лессинговской Леонорѣ; страданія любящихъ при разлукѣ изображены въ „Ромео и Юліи“ Зономъ и Гильдебрантомъ. Даже убійцы въ „Сыновьяхъ Эдуарда“ скорбно глядятъ на свои жертвы. Іовъ плачетъ о гибели своей семьи; Гюбнеровская Рувь—о томъ, что она должна разстаться съ плачущей матерью и слѣдовать за мужемъ. На картии Стилька „Странники въ пустыи“ люди огорчены тѣмъ, что ихъ лошади изнываютъ отъ жажды; Колумбъ Плуддемана тоже печаленъ: онъ чувствуетъ, что недостоемъ быть избранныкомъ Божіимъ и открыть Америку; Карлъ V на картии Кидериха огорченъ тѣмъ, что онъ слишкомъ рано удалился въ монастырь и его мучаетъ тамъ тиканье часовъ. Гогенштауфены возбуждали, конечно, еще болѣе сожалѣній. Судьба прекраснаго Эцини, Манфреда и Конрадина будила въ сердцахъ глубокое состраданіе. Романтики создали типъ разбойника, сокрушающагося иадъ порочностью міра. Люди дошли до такого презрѣнія къ филістерству, что стали видѣть въ противникахъ граждаискаго благоустройства, въ разбойникахъ, защитниковъ справедливости. Все зло по ихъ мнѣнію исходило отъ представителей власти и благородные разбойники призваны мѣнять существующее и возстановлять правду на землѣ. Союзниками разбойниковъ были браконьеры. Реформа законовъ охоты была въ то время единственнымъ скромнымъ требованіемъ народа отъ своихъ правителей и браконьеры естественно считались жертвами несправедливости и освободителями низшаго класса изъ когтей феодальной власти. Многочисленныя картины идеализируютъ браконьеровъ, падающихъ подъ выстрѣлами лѣсничихъ. Въ литературѣ это соотвѣтствуетъ пѣсамъ Раупаха и подобнымъ произведеніямъ, гдѣ жизнь браконьеровъ рисовалась въ мелодраматическомъ видѣ.

Теперь, къ счастью, даже трудно себѣ представить настроеніе, создавшее всѣ эти произведенія. Они отдѣлены отъ нашей современности цѣлымъ міромъ измѣнившихся идей. Теперешнему поколѣнію въ Германіи, выросшему среди бис-



Бендеманнъ: Бракъ Александра Македонскаго.

марковскихъ рѣчей о желѣзѣ и крови, трудно даже представить себѣ, что реалистической Германіи нашихъ дней предшествовала сентиментальная пора—не болѣе чѣмъ за два столѣтія до нашего. Дюссельдорфцы, и въ этомъ ихъ историческое значеніе, — самые типичные представители сентиментальности. Общество, расплывавшееся въ слезахъ и мечтахъ, должно было естественно восторгаться всѣми этими рыцарями и кастеляншами, лажамн, монахами и монахинями, то безмѣрно влюбленными, то безмѣрно благочестивыми, но всегда одинаково сентиментальными. Въ нихъ люди того времени узнавали свою плоть и кровь; то, что въ насъ вызоветъ лишь улыбку или пожиманіе плечъ, трогало ихъ до слезъ.

Техническая сторона дюссельдорфскихъ картинъ имѣетъ несомнѣнный до стоинства. Конечно, Бендеманъ не достигъ „микельанджеловскаго величія“ и колоритъ Зона очень сильно отличается отъ тицановской мягкости красокъ. Но сравнительно съ односторонностью стѣнной живописи въ Мюнхенѣ, живопись масляными красками въ Дюссельдорфѣ представляется уже шагомъ впередъ. Дюссельдорфцы первые въ Германіи пытались снова научиться живописи. Послѣ крайней художественной разбросанности, которая господствовала при Корнелиусѣ, при Шадовѣ началось время серьезнаго ученія и добросовѣстнаго стремленія одолѣть техническія трудности. Дружеское соревнованіе художниковъ привело къ удивительнымъ результатамъ и дало дюссельдорфскимъ живописцамъ перевѣсъ надъ всѣми тогдашними нѣмецкими школами.

Они заполнили искусство и жизнь; они повсюду бросались въ глаза: на стѣнахъ, картинахъ, гравюрахъ и литографіяхъ, даже въ раскрашенныхъ дешевыхъ картинкахъ. На диванныхъ подушкахъ вышты были влюбленные рыцарскія парочки или молящіяся монахини. Ступая на коверъ, нога поспирала благородныхъ охотниковъ, верхомъ на лошади, съ соколомъ въ рукахъ. Они же были изображены на портсигарахъ и платкахъ, на дорожныхъ мѣшкахъ; путешественникъ возилъ ихъ всюду засобою.

И всетаки ихъ картины не стали жизнеспособными художественными произведениями; въ нихъ слишкомъ много шаблоннаго идеализма, который дѣлаетъ почти всѣ тогдашнія произведенія искусства невыносимыми современному вкусу. „Идеальная линія красоты“ превратила всѣ фигуры въ безкровныя тѣни, въ условныя театральныя фигуры. Какъ для Корнелиуса философія, такъ для дюссельдорфцевъ поэзія стала Ноевымъ ковчегомъ. Интересъ, возбуждаемый поэтами, былъ ихъ союзникомъ; общее поэтическое содержаніе возмѣщало недостаточность художественнаго интереса. Безъ опоры въ поэзіи, ихъ сла-

щаво-вялыя фигуры не имѣли бы никакого значенія; ибо во всѣхъ этихъ выдуманныхъ короляхъ, фантастическихъ рыцаряхъ, герояхъ и театральныхъ принцессахъ не оставалось послѣ идеалистической ретуши ничего жизнеспособнаго. Все становилось условнымъ, обобщеннымъ, схематичнымъ. Короля изображали всегда рыцаремъ въ черномъ вооруженіи, съ длинной бородой и въ пурпурной мантии, королева изображалась или гордой и повелительной, съ темными волосами, или кроткой и нѣжной, съ блѣлыми волосами. Въ сценахъ, взятыхъ изъ поэмъ, участвующіе намѣчены были всегда въ самыхъ общихъ чертахъ: геронья была или брюнетка въ красномъ платьѣ, съ бѣлыми рукавами, или кроткая блондинка въ соответствующемъ свѣтлолиловомъ платьѣ, одна съ пышной фигурой, другая нѣжная, тонкая. Мужчины имѣли непремѣнно темный цвѣтъ лица, женщины бѣлый, юноши розовый. Рыцари носили серебряные шлемы съ перьями или безъ нихъ, съ поднятымъ или опущеннымъ забраломъ и сидѣли большей частью на неестественныхъ коняхъ, или слишкомъ воздушныхъ, или чрезмерно тяжелыхъ. Чувства изображались только самая общія—честь, вѣрность, любовь, а такъ какъ геройство и полнота чувствъ чисто нѣмецкія національныя добродѣтели, то герон на картинахъ убивали своихъ противниковъ съ выраженіемъ сентиментальной кротости на лицѣ. Даже разбойники были образцами благородства и добронравія. Дюссельдорфскіе идеалы красоты сводились къ мягкимъ, граціознымъ, неопредѣленнымъ линіямъ, къ уклоненію отъ всего мужественнаго и рѣзкаго, энергичнаго и характернаго—всего, что напоминало природу. Они не слѣдовали указанію Леонардо и въ дѣтствѣ не питались молокомъ матерн природы; они почтали ее лишь какъ почтенную тетюшку; природа же мстила имъ за это пренебреженіе бесплодностью и схематичностью ихъ образовъ. Къ тому же боязнъ попасть въ глупое положеніе не позволяла имъ быть смѣлыми хотя бы и въ ошибкахъ. Картины ихъ поэтому нельзя ни хвалить, ни порицать, нельзя ни одобрять ихъ, ни негодовать, но слѣдуетъ отнести къ нимъ безъ гнѣва и пристрастія, съ полнымъ равнодушіемъ.



IX.

Завѣты нѣмецкаго романтизма.

Двумъ болѣе молодымъ художникамъ удалось достигнуть той цѣли, которая лишь очень туманно рисовалась Корнелиусу и дюссельдорфцамъ. По странной нѣгѣ случая, крупнѣйшій представитель монументальнаго искусства въ Германіи XIX вѣка вышелъ изъ дюссельдорфской школы, а лучшій изъ романтиковъ — изъ мюнхенской.

Альфреду Ретелю (Alfred Rethel) поручено было написать фрески для ахенской императорской залы. Ему было въ то время 24 года; онъ учился сначала въ дюссельдорфской академіи, потомъ у Фейта во Франкфуртѣ. Но въ его фрескахъ нѣтъ слѣда ни дюссельдорфской, ни назарейской школы. Въ нихъ возвеличены и очень жизненно представлены подвиги Карла Великаго, родоначальника нѣмецкихъ правящихъ династій. Ретель изучилъ сильный и рѣзкій стиль Дюрера, но видѣлъ въ немъ лишь родственнаго по духу художника. Ни Корнелиусъ, ни Шноръ не изображали въ такихъ твердыхъ чертахъ древнегерманскихъ героевъ и погнѣшенное величіе времени императоровъ, великое прошлое, желѣзное средневѣковье.

Какъ просто въ своемъ геройствѣ великій побѣдитель саксовъ на картинѣ Ретеля, какъ величественно и благородно вступаетъ онъ въ завоеванную Павію. Какимъ непреклоннымъ и непобѣдимымъ вонномъ бросается онъ на мавровъ, столпившихся вокругъ своихъ колесницъ съ идолами. Какимъ глубокимъ значительнымъ взглядомъ смотритъ онъ, мертвый, на молодаго императора Оттона, который спустился въ фамилный склепъ и съ ужасомъ остановился передъ тѣломъ великаго предка. Во всѣхъ этихъ фрескахъ нѣтъ ни тѣни условности, позы, нагроможденности. Все просто, ясно, выдержано. Только самое необходимое изображено лапидарнымъ стилемъ. Въ его разсказѣ нѣтъ ни одной черты, которая бы не была необходимой, онъ никогда не жертвуетъ внутреннимъ значеніемъ ради какой нибудь внѣшней красоты. Формы у него строгія и опредѣленныя, какъ сама фабула; онъ рисуетъ твердыми линіями, какъ писатель, заботящійся о выразительности и о краткости фразъ и словъ. Удивительна опредѣленность содержанія въ картинахъ, вполне понятныхъ безъ комментаріевъ, и непосредственность передачи. Содержанію

вполнѣ соответствует исполненіе въ краскахъ. Очень жаль, что Ретель самъ написалъ въ краскахъ только четыре наброска и предоставилъ исполненіе остальныхъ живописцу Керену, который разбилъ цѣльность цикла исканіемъ красочныхъ эффектовъ.—Въ картинахъ самого Ретеля простота колорита соответствуетъ характеру рисунка. Въ живописи Ретеля тоже есть нѣчто сильное и желѣзное, неподвижное и мрачное. Для его стиля уголь пригодиле кисти. Но все-таки и не будучи колористомъ, онъ очень свободно владелъ красками, никогда не поступался требованіями вкуса и всегда съ удивительной твердостью достигалъ простыхъ, но сильныхъ эффектовъ. При всей своей большой простотѣ онъ былъ человекомъ, который могъ бы создать монументальное нѣмецкое искусство. Но такова трагическая судьба Германіи: Генрихъ фонъ Клейстъ, величайшій нѣмекій поэтъ послѣ классической эпохи, призванный создать новый драматическій стиль, кончилъ самоубійствомъ, а Альфредъ Ретель—безуміемъ. Ему еще не было сорока лѣтъ, когда онъ сошелъ съ ума; онъ гулялъ затѣмъ по дюссельдорфскому придворному саду, рядомъ со служителемъ, собирая камушки по дорогѣ.



Альфредъ Ретель.

Помимо ахенскихъ фресокъ, два цикла рисунковъ обезпечиваютъ ему безсмертіе: это „Переходъ Ганнибала черезъ Альпы“ и „Пляска Смерти“. Въ рисункѣ и въ стѣнной живописи онъ одинаково силенъ и выказалъ ту же мужественность и рѣзкость стиля. Геройская толпа карфагенцевъ остановилась въ ужасѣ, но съ рѣшимостью, у подошвы страшнаго горнаго перехода. Передъ ними высятся крутые обрывы, покрытые снѣгомъ и льдомъ. Начинается приступъ, борьба съ дикими горами, которые какъ звѣри перепрыгиваютъ черезъ ледяныя пропасти. Вотъ люди, лошади, слоны падаютъ въ глубину; одни падая зацѣпились за деревья, другіе летятъ въ бездну. Наконецъ передніе ряды достигли вершины и геройская фигура полководца гордо указываетъ измученнымъ воинамъ на разстилающуюся вдали Италію.

Во второмъ его произведеніи уже чувствуется безуміе. Фантазія Ретеля собрала обильную жатву въ 1848 году, когда политическая буря пронеслась по всемъ европейскимъ странамъ. Тогда онъ рисовалъ свою „Пляску Смерти“; всѣхъ уравнивающая смерть увлекаетъ бѣдную толпу на баррикады. Со времени Дюрера и Гольбейна нѣмецкое искусство чувствовало особенное влеченіе къ загробному міру, къ изображенію вторгающагося въ жизнь ужаса смерти. Ретель, какъ и его предшественники, любилъ все демоническое и для воплощенія своихъ фантазій предпочиталъ всему другому рѣзкость и простоту контуровъ старонѣмецкихъ гравюръ. Прежде всего изображена смерть въ образѣ революціоннаго героя. Она подбѣгаетъ на конѣ къ городу въ видѣ палача, съ сигарой въ зубахъ, съ косой въ рукѣ. Она неуклюже снитъ въ сдѣлѣ, а платье и высокіе сапоги болтаются на костяхъ. Переодѣтая шарлатаномъ, смерть возбуждаетъ у кабака народъ противъ властей, чтобы потомъ собрать



Ретель: Извержение Прометей.ш.

о внезапной вспышкѣ холерной эпидеміи на одномъ парижскомъ маскарадѣ. Въ ужасѣ танцоры и музыканты спѣшать оставить залу. Только призракъ, похожій на мумію, сама холера, ужасная на видѣ, сидитъ неподвижно на своемъ мѣстѣ и держитъ побѣдный бичъ какъ скипетръ въ костлявой рукѣ. Смерть, одѣтая въ домино, играетъ двумя костями какъ на скрипкѣ, и подѣ страшные звуки ея музыки вертятся и корчатся люди, упавшіе на полъ въ корчахъ съ искаженными чертами выглядывающимъ изъ подѣ шутовскихъ масокъ. Въ этихъ картинахъ есть нѣчто похожее на дикій горячечный бредъ Гофмана, нервность и сатаннизмъ Фелнсьена Ролса, но вмѣстѣ съ тѣмъ есть и нѣчто положительное, мужественное и необычайно сосредоточенное, уравновѣшенное и правильное по формѣ, напоминающее прежнихъ нѣмецкихъ мастеровъ. Цикль заканчивается трогательнымъ примиреніемъ: на высокой башнѣ, озаренной лучами заходящаго солнца, спокойно заснулъ послѣднимъ сномъ старый привратникъ въ своемъ креслѣ; онъ сложилъ сухія руки какъ бы для молитвы, тихій покой лежатъ на добрыхъ старыхъ, набожныхъ чертахъ. Морщины на рукахъ говорятъ о долгой работѣ, страданіяхъ и жаждѣ избавленія. Усталый старикъ свершилъ и паломничество для спасенія души—на стѣнѣ виситъ шляпа и посохъ странника. Теперь, наконецъ, пришла смерть. Это тотъ же знакомый по прежнимъ картинамъ скелетъ, но безъ злобной насмѣшки, а съ глубоко серьезнымъ, участливымъ выраженіемъ лица. По неподражаемому мастерству, съ какимъ придано головѣ скелета выраженіе то насмѣшки, то ледяного равнодушія, то сочувствія, Ретель стоитъ на одинаковой высотѣ съ Гольбейномъ. Смерть, дьявольская насмѣшница для другихъ,—для стараго звонаря она желанный, добрый другъ. Тихо и благоговѣйно смерть исполняетъ работу, которую такъ часто прежде дѣлалъ старикъ, сопровождая торжественнымъ звукамъ колокола разставаніе земнаго странника съ жизнью. Ретелю самому пришлось еще много лѣтъ ждать средн мрачной ночи, окутавшей его разумъ, пока пришла смерть и, какъ другъ, ударила въ колоколъ и для него.

Теперь мы приступаемъ къ самому замѣчательному изъ всѣхъ художниковъ той поры, къ вѣрному рыцарю средневѣковой „Дамы Авантюры“.

„Швиндъ (Schwind), вы геній и романтикъ“. Съ этимъ стереотипнымъ

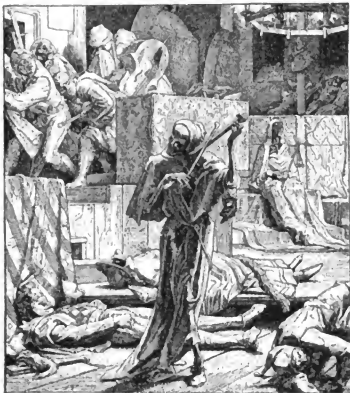
себѣ жатву на баррикадахъ. Она гордо и бодро стоитъ въ образѣ генерала на полѣ битвы, со знаменемъ въ рукѣ, и пули солдатъ ударяются о скелетъ, не нанося ему вреда. Но спутники смерти не такъ неуязвимы, какъ она; картечь сметаетъ ихъ съ баррикады. Битва кончилась, и торжествуя, съ лавровымъ вѣнкомъ на черепѣ, съ побѣдоносной насмѣшкой во взорѣ, смерть поднимается на баррикады, гдѣ умирающіе корчатся въ предсмертныхъ судорогахъ и дѣти плачутъ надъ павшими отцами. Гравюра „Смерть душнелынца“—иллюстрація къ разсказу

комплиментом король Людвиг обращался къ художнику каждыи разъ, когда являлся къ нему въ мастерскую—и ничего не покупалъ. И съ той же правильностью, какъ говорятъ, Швиндъ, сидя у мольберта и дымя трубкой послѣ ухода своего державнаго почитателя, ворчалъ на короля.



Ретель: Императоръ Оттонъ въ склепъ Карла Великаго.

Эта черта крайне характерна для Швинда. Чуждый карьеризма, онъ былъ истиннымъ художникомъ въ каждомъ своемъ помыслѣ. В. Г. Риль разсказываетъ цѣлый рядъ интересныхъ эпизодовъ; ихъ необходимо нужно знать, чтобы понимать Швинда, этого счастливаго, стихійнаго художника. Онъ выдѣляется изъ группы философствующихъ, „мыслящихъ“ художниковъ своего времени оригинальнымъ, блестящимъ талантомъ, и нестоимымъ остроуміемъ. Одинъ эстетикъ привѣтствовалъ его однажды, какъ „создателя новаго чисто нѣмецкаго идеальнаго романческаго искусства“. „Чисто нѣмецкое идеальное искусство!“ повторилъ Швинтъ медленно, взвѣсивъ каждое слово: „Знаете ли, сударь, по моему бывають только двоякаго рода картины — проданныя и не проданныя, и проданныя я люблю гораздо больше. Вотъ вся моя эстетика“. Разсказываютъ также, что къ нему пришелъ какой-то дилетантъ изъ высшаго общества и попросилъ его взять къ себѣ въ ученіе на нѣсколько дней и преподавать ему главнымъ образомъ свое удивительное умѣніе владѣть карандашомъ. Швиндъ отвѣтилъ: „для этого не нужно многнхъ дней, г. баронъ, я разскажу вамъ въ три минуты, какъ я работаю и могу тотчасъ же дать желаемый вамъ урокъ. Вотъ моя бумага—за мѣтьте, пожалуйста, я покупаю ее у Бюлингера, Резиденцштрассе, 6 — а вотъ мои карандаши—А. В. Фаберъ. Я покупаю ихъ у Андреаса Каута, Кауфингерштрассе, 10. Въ томъ же магазинѣ я купилъ эту резинку, которую, впрочемъ, мало употребляю. Гораздо чаще мнѣ бываетъ нуженъ этотъ перочинный ножикъ для очинки карандашей. Онъ купленъ у Треша, Динергассе, 10. Очень рекомендую этого поставщика. Когда все это собранно лежитъ на столѣ, и когда въ головѣ у меня появляется нѣсколько мыслей, я сажусь и начинаю рисовать. Вотъ все, что я могу вамъ сказать“. Однажды онъ просилъ, чтобы его украсили какимъ-нибудь орденомъ, потому что ему „стыдно ходить нагншемъ среди обвѣшанныхъ звѣздами товарищей“. Когда же онъ получилъ рыцарскій крестъ, онъ вознегодовалъ. „Одинъ только разъ я его надѣлъ, говорилъ онъ, при послѣднемъ новгороднемъ приѣмѣ у короля, но клянусь, что больше ннкогда туда не потащусь. Прежде хотъ бывали красныя королевы, прекрасныя придворныя дамы смѣялись надъ нашимъ братомъ; продѣлывать же эту глупость среди однихъ мужчинъ совершенно невыносимо“. Иногда онъ злился, узнавая про заказы, полученные другими художниками, но добродушно прибавлялъ при этомъ: „я ужасно завистливая скотина!“ Страшно вспыльчивый, онъ могъ въ припадкѣ гнѣва наговорить много лишняго, но черезъ минуту забывалъ сказанныя грубоности. Во всемъ этомъ проявлялась его чистая душа и наивность, дѣлающая его истиннымъ художникомъ. Швиндъ — единственный человекъ въ своемъ родѣ,



Ретель: Изъ „Пляски смерти“.

гномахъ и лукавыхъ кобольдахъ, какъ о живыхъ существахъ. Когда онъ однажды гулялъ въ долинѣ св. Анны, вблизи Эйзенаха, н одинъ изъ его друзей замѣтилъ ему шутя, что здѣсь въ самомъ дѣлѣ дорога какъ бы сдѣлана подземными духами, Швиндъ отвѣтилъ вполне серьезно: „Развѣ вы не вѣрите въ нихъ? Я вѣрю“. Онъ жилъ въ мірѣ легендъ н сказокъ. Если когда либо у колыбели смертнаго стояла фея, то это было навѣрное у колыбели Швинда. Онъ всю жизнь вѣрилъ въ свою фею н мечталъ о ней. Швиндъ родился тамъ, гдѣ пѣлъ Нейндгардъ изъ Нейенталя, гдѣ жилъ Каленбергскій священникъ. Его воображеніе на всю жизнь сохранило образъ Германін, осѣненной старыми германскими дубами: около источниковъ н вдоль рѣкъ бродятъ эльфы въ длинныхъ бѣлыхъ одѣяніяхъ, тянушихся за ними по росистой травѣ. Въ горахъ живутъ гномы, въ горныхъ ущельяхъ купается Мелюзина. Въ картинахъ Швинда возрождаются средніе вѣка, но не въ блѣдномъ мертвенномъ свѣтѣ, а въ свѣжемъ дыханіи живой дѣйствительности.

Особенность Швинда заключается въ томъ, что будучи романтикомъ, онъ въ то же время вполне сынъ своей родины — Вѣны. Это городъ красныхъ женщинъ, пѣсенъ н вальсовъ. Есть что-то мягкое, нжное н чувственное въ атмосферѣ Вѣны. Пѣсни н танцы какъ бы застыли въ воздухѣ н нуженъ только чей нибудь зовъ, чтобы разбудить ихъ. Вѣна скорѣе мѣсто наслажденія, чѣмъ работы, мечтаній, чѣмъ трезвой дѣятельности разума. Сыномъ этого города былъ Моричъ Швиндъ. Это видно по женственному характеру его живописи, по его мелодичности н ритмичности. Онъ началъ съ музыкн. Среди общаго увлеченія звуками н пѣснями Швинду трудно было сразу отличить, въ чемъ его призваніе. Онъ былъ всю жизнь поклонникомъ женской красоты, н ни одинъ художникъ того времени не создавалъ болѣе миловидныхъ женскихъ образовъ, существъ дѣвственно граціозныхъ. Вмѣсто богинь, героинь н святыхъ, родомъ

послѣдній романтикъ н одно изъ самыхъ свѣтлыхъ явленій нѣмецкаго искусства. Только онъ одинъ былъ свободенъ отъ болѣзненной, фальшивой романтики, отъ стремленія спасти искусство возвратомъ къ непонятому сантиментально-шаблонному средневѣковью. Въ немъ живъ былъ забытый н забвенный міръ красоты, возсозданный романтизмомъ. Другіе искали синій цвѣтокъ, Швиндъ нашелъ его, н „чары волшебныхъ ночей“, воскресли въ его произведеніяхъ во всей сказочной красотѣ. Онъ воплотилъ романтическій идеалъ въ живописи, также какъ Веберъ въ музыкѣ н, подобно „Фрейшютцу“, его произведенія будутъ вѣчно жить. Онъ часто говорилъ о русалкахъ,



Ретель. Изъ „Пляски смерти“.

изъ Италіи время *cinquecento*, Швиндъ создалъ образцы современной женственной красоты. Группа женщинъ въ „Рыцарѣ Куртѣ“ граціозна въ современномъ смыслѣ слова вплоть до движеній одѣтыхъ въ перчатки рукъ. Онъ былъ живописцемъ рыцарской любви. Въ его картинахъ чувствуется вѣяніе женскаго идеала Вальтера фонъ-дёръ-Фогельвейде:

Благоуханьи и цвѣтамъ подобны чистыя жены;
Ничего нѣтъ столь сладостнаго
Ни въ воздухѣ, ни въ поляхъ, ни въ зеленыхъ лугахъ.

Швиндъ упражнялся также въ стѣнной живописи и очень неровенъ въ своихъ фрескахъ. Онъ всю свою жизнь жаловался на то, что ему не давали большихъ заказовъ. Но это было въ сущности счастьемъ для него: такой художникъ, какъ онъ, можетъ исполнять только свои собственные замыслы; точно такъ же, какъ поэтъ не можетъ писать по заказу хорошихъ стиховъ. Цѣлый рядъ стѣнныхъ картинъ, — тиковская комната и карнизъ съ фигурами въ Габсбургскомъ залѣ новаго дворца въ Мюнхенѣ, фрески въ залѣ искусствъ и въ залѣ засѣданій первой Палаты сословій въ Карлсруэ, фрески въ замкѣ Гогеншвангау, даже картины въ фойѣ вѣнской оперы — всѣ онъ могутъ быть исключены изъ произведеній Швинда безъ всякаго ущерба для его значенія. Только тогда, когда самый сюжетъ позволялъ ему держаться простаго сказочнаго тона, онъ становился обаятельнымъ и въ стѣнной живописи. Сцены изъ жизни св. Елизаветы въ Вартбургѣ справедливо считаются лучшими произведеніями Швинда. Какъ Ретель въ области героизма, такъ и Швиндъ въ своихъ сказочно романтическихъ картинахъ воплотилъ современной ему идеаль стѣнной живописи. Картины его нѣсколько напоминаютъ блѣдныя по краскамъ картинки для волшебнаго фонаря; онъ выдержаны

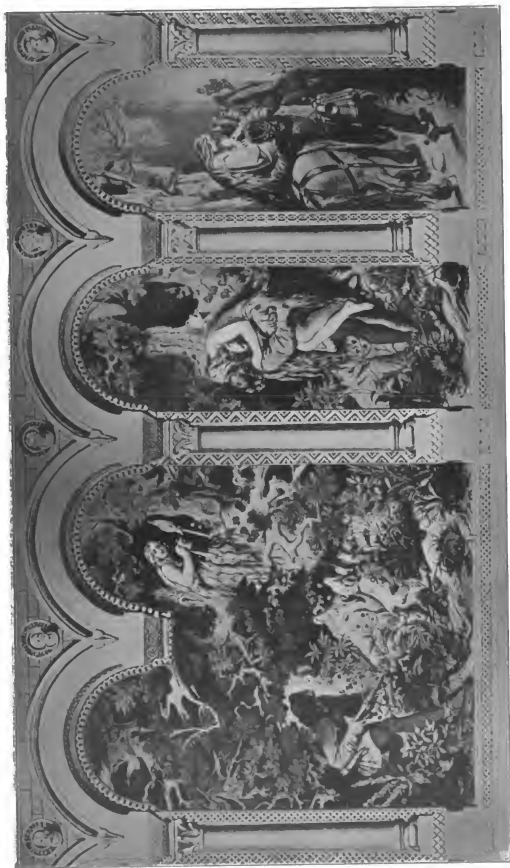


Мориц Швиндъ.

въ стилѣ геральдическихъ фигуръ на стѣнахъ и цвѣтныхъ расписанныхъ стеколъ времени романскаго искусства и ранней средневѣковой готтики. И все-таки каждая линия этихъ картинъ обаятельна, какъ все, что писалъ Швиндъ. У него нѣтъ рѣзкихъ контрастовъ, нѣтъ страстнаго возбужденія въ лицахъ. Благодаря отсутствію всякихъ ландшафтныхъ украшеній и едва замѣтной перемѣнѣ простыхъ орнаментовъ фона, событія отдѣляются отъ дѣйствительности. Въ первой картинѣ пестрые птцы играютъ въ розовыхъ кустахъ орнамента. Въ сценѣ на фонѣ поднимается Вартбургъ. На заднемъ планѣ картины, въ вѣтвяхъ оголенныхъ зимнихъ деревьевъ надъ скромной кельей, гдѣ умираетъ Елизавета, размѣстились поющіе ангелы. Во всѣхъ картинахъ Швинда въ Вартбургѣ чувствуется душевная ров-

ность древнихъ германцевъ, дыханіе мира, шелестъ ангельскихъ крыльевъ.

Швиндъ, какъ и Ретель, одинъ изъ немногихъ тогдашнихъ художниковъ, сумѣвшихъ сохранить полную независимость по отношенію къ великимъ итальянскимъ мастерамъ. „Я отправился въ Сикстинскую часовню“,—разсказывалъ Швиндъ, вспоминая свое путешествіе въ Римъ,—„поглядѣлъ на Микэль-Анджело и, вернувшись домой, продолжалъ работать надъ рыцаремъ Куртомъ. Моя теперешняя картина, хотя сюжетъ ея совершенно безумный, доставляетъ мнѣ много радости. Я очень люблю писать деревья, цвѣты и старыя стѣны, а на этой картинѣ ихъ множество. Будетъ на ней даже всадникъ въ полномъ вооруженіи. Ну такъ что же? *Отъ себя все равно не уйдешь. Живя и работая въ Мюнхенѣ, я понялъ, что только то, что волнуетъ душу и чѣмъ она волнуется, составляетъ истинное призваніе всякаго, въ комъ есть вообще призваніе. Въ непроизвольномъ увлеченіи и въ подчиненіи ему заключается истинное искусство. Deus in nobis*“. Поэтому молодому художнику слѣдуетъ быть очень осторожнымъ въ изученіи музеевъ. Обыкновенно ходятъ туда, гдѣ собрано много произведеній прежнихъ мастеровъ. Въ галлереяхъ сразу и въ перемежку глядятъ на картины всевозможныхъ школъ разныхъ временъ. Количество картинъ должно подавить молодого художника а всевозможная качества различныхъ направленій и временъ разроютъ почву вокругъ его зарождающагося призванія, точно такъ же, какъ если бы пятьдесятъ климатовъ имѣли вліяніе на одно растение; они помѣшали бы его развитію, возможному только въ одномъ соотвѣствующемъ климатѣ. „Особенно вредно подражать итальянцамъ; они большей частью заставляютъ измѣнять своему призванію. Я это ясно понялъ, разсматривая въ алтарѣ Кельнскаго собора новую картину Овербека. Можетъ быть, я говорю слишкомъ рѣзко, и не имѣю на это права, но мнѣ кажется, что всякій художникъ непременно собьется съ пути, если забудетъ свой родной языкъ. Подражаніе латинскому искусству опасный



Шенить: Из „Сказки о семи ворах“.

гдухой персудокъ, въ который по-
шло наше искусство. Мой „Рыцарь
Куртъ“, былъ объявленъ картиной
въ старо-нѣмецкомъ вкусѣ и это
считалось ея приговоромъ. А между
тѣмъ, это менѣ всего позоръ, а
скорѣе истинный путь для нѣмец-
каго искусства. Мой родъ живописи
вполнѣ національный; основа его—
живопись на стеклѣ“.

Въ произведеніяхъ Швинда, каза-
лось, воскресъ старый нѣмецкій
художникъ въ родѣ Альбрехта Альт-
дорфера. Въ поэтическихъ ландшафт-
ныхъ и сказочныхъ картинахъ, соб-
ранныхъ графомъ Шакомъ въ своей
галлерей и доставляющихъ множе-
ству посѣтителей тихое наслажденіе,
Швиндъ выказалъ себя съ наилуч-
шей стороны.

Но и въ его картинахъ замѣтны
слабости его времени. Въ сравненіи
съ Дюреромъ онъ кажется дарови-
тымъ дилетантомъ. Въ фигурахъ
его часто встрѣчаются пустыя и
мертвыя мѣста, движенія остаются
непонятными и кукольными, коло-
рить довольно слабъ. На вершинѣ
будущей художественной эпохи,
можетъ быть, появится живописецъ,
который соединитъ съ національ-
нымъ сказочнымъ настроеніемъ
Швинда бурный демонизмъ красокъ Бёклина. Къ этому, быть можетъ, придетъ
новая нѣмецкая живопись, которая начнетъ послѣ Франца Штука.

Швиндъ въ техническомъ отношеніи принадлежитъ къ эпохѣ преобладанія
рисунка надъ красками, по тонкости чувства онъ вполнѣ современный намъ
человѣкъ. Едва ли иностранецъ можетъ понять величіе Швинда по его картинамъ,
но ихъ воспроизведенія въ гравюрахъ иривятся всякому. Гелиографюра позво-
ляетъ догадываться о томъ, что въ оригиналѣ не выполнено. Она возбуждаетъ
душу къ дальнѣйшему творчеству, показываетъ, чѣмъ бы Швиндъ сталъ, еслибы
жилъ въ наше время. Въ его картинахъ раскрывается цѣлый міръ сказочной
красоты и поэзіи, волшебный садъ, наполненный благоуханіемъ снѣга цвѣтка
поэзіи. Графъ фонъ Глейхенъ, горный духъ Рубецаль, бродящій по дикимъ гор-
нымъ мѣстамъ, отшельникъ, танцующіе эльфы, лѣсной царь, рыцарь и ру-
салка—всѣ они проникнуты волшебной поэзіей романтизма и глубокимъ чув-
ствомъ безъ малѣйшей слащавости; въ образахъ Швинда чувствуется настроеніе
старинныхъ нѣмецкихъ сказокъ и рѣзкость Гауса Мемлинка, но вмѣстѣ съ
тѣмъ они отражаютъ тонкіе оттѣнки современныхъ чувствъ. Мужчины на кар-
тинахъ Швинда сильны и отважны, женщины нѣжны, благородны и обаятельны;
дѣвственная чистота отмѣчаетъ все творчество чистаго и безмятежно веселаго
художника. Его современники изобрѣтали всякія системы съ цѣлью вернуть



Швиндъ: Изъ фресокъ въ Вартбургѣ.



Швиндъ: Изъ фресокъ въ Вартбургъ.

искусство къ классицизму. Сравнительно съ ними творчество Швинда наивно. Въ немъ нѣтъ ни ханжества, ни пустой декоративности. Въ противоположность ученымъ трактатамъ школы Корнелиуса, Швиндъ впервые показалъ, что для художественнаго произведенія важно не количество вложеннаго въ него знанія, а характеръ отраженнаго въ немъ чувства. При всей неровности, неправильности рисуика, при всѣхъ своихъ слабостяхъ Швиндъ обаятеленъ своей вдохновенностью, тѣмъ, что его картины созданы поэтическими грезами, а не холодно составлены по правиламъ. Въ нихъ бьется человеческое сердце, очень нѣжное и отзывчивое. Этимъ онъ сохранилъ обаянiе для нашего времени и тѣсно связанъ съ новымъ искусствомъ. Онъ не былъ подражателемъ, бездушнымъ переписчикомъ, приготавливающимъ скучные школьные уроки по старымъ прописямъ. Онъ говорилъ языкомъ своего времени и первый отдѣлился отъ предубѣжденія противъ современнаго костюма. Въ „Симфонiи“ онъ счѣмъ воспользоваться для общей фантастической картины даже моднымъ бальнымъ платьемъ дѣвнцы Геце-

исекеръ и чернымъ фраккомъ Франца Лахнера. „Если можно изображать человѣка въ желѣзной печкѣ—это называется вооруженнымъ рыцаремъ,—то еще проще представить человѣка во фракѣ. Вообще можно писать все, что хочешь, съ тѣмъ, однако, чтобы стремиться къ возможному для своихъ силъ“. Только благодаря такому пониманiю современности романтизмъ такъ полно воплотился въ произведенiяхъ Швинда. Онъ былъ человѣкомъ своего времени, отзывчивымъ на всякое проявленiе современности, и потому счѣмъ отразить и всѣ родственныя черты прошлаго. Для него старая сказка не были ученымъ археологическимъ вздоромъ, а частью его собственной души: онъ изображалъ ихъ съ большею чуткостью и рѣзкостью, чѣмъ кто либо до него. Онъ видѣлъ ихъ по иному, взоръ его былъ обостренъ тоской о минувшемъ. Въ „Свадебномъ путешествiи“ онъ окуталъ современность поэзiей чистаго романтизма и въ то же время романтизмъ его проникнуть чувствомъ дѣйствительности. Въ его сказочныхъ картинахъ чувствуется вѣянiе давно ушедшей первой юности человѣчества и вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ есть общее съ новѣйшимъ декадансомъ. Онъ отличается отъ Бирнъ Джонса, Пювисъ де Шаванна и Густава Моро очень несомненнымъ качествомъ—цвѣтущимъ здоровьемъ. Онъ еще дѣтски наивенъ, свободенъ отъ элигической тоски и усталой примиренности, явившейся въ мiръ лишь съ концомъ XIX

вѣка. Но что касается современной тоски, которая ищетъ исхода изъ нервного, безцвѣтнаго времени, изъ прозы будничной жизни въ забытомъ прошломъ, въ томъ времени, когда чловѣкъ безмятежно жилъ въ блаженномъ единеніи съ природой—эту тоску и это влеченіе Швиндъ почувствовалъ однимъ изъ первыхъ и отразилъ его въ своихъ картинахъ. Онъ является нашимъ современникомъ уже потому, что настроеніе его картинъ выражается въ пейзажѣ. Онъ пейзажистъ по природѣ, почти въ духѣ Бёклина, для котораго настроеніе, возбуждаемое природой, претворяется въ пониманіе жизни. Картины Швинда говорятъ о покоѣ и тишинѣ нѣмецкихъ лѣсовъ, о лѣтней ночи: воздухъ недвижимъ, ни одинъ



Швиндъ: Пустынникъ ведетъ коней на водопой.

листь не шелохнется. Одиному путнику, идущему вдоль дороги, поднимающіеся туманы кажутся бѣлыми покрывалами эльфовъ, а морскія волны, окаймленныя золотомъ, превращаются въ свѣтлыя волосы русалокъ, играющихъ въ лунномъ свѣтѣ на своихъ арфахъ. Въ его ландшафтахъ больше чувства и любви, чѣмъ наблюдательности, но въ немъ сказывается вполне современное отношеніе къ природѣ. Ни одинъ нѣмецкій художникъ не изображалъ съ такимъ истиннымъ чувствомъ жизнь лѣса. Свѣжій утренній лучъ пробивается сквозь блѣдную зелень молодыхъ лѣсовъ и перепрыгиваетъ съ вѣтки на вѣтку, превращая въ алмазы сверкающія капли росы, отдвая въ золото и драгоценныя каменья жука, неспѣшно ползущаго по мягкому мху. „Это часъ, когда медленно и тихо проходитъ Господъ Богъ нашъ по лѣсамъ“. При помощи нѣсколькихъ сильныхъ, рѣзкихъ линий и прозрачныхъ красокъ художникъ переноситъ насъ въ лѣсной міръ. Все вокругъ зеленеетъ, благоухаетъ и шумитъ. „Если только любишь всей душой и радуешься какому нибудь хорошему деревцу“, говорилъ онъ Людвигу Рихтеру. „тогда всю свою любовь и радость вписываешь въ него, и деревцо твое получаетъ съѣмъ другой видъ, чѣмъ еслибы его нарисовалъ какой-нибудь осель“. Только благодаря столь тѣсной близости къ природѣ, Швиндъ умѣлъ писать фантастическіе пейзажи, которые по своей дѣвственной непосредственности составляютъ какъ бы отзвукъ нарисованныхъ художникомъ фигуръ и событій. Зеленые ковры травъ и засѣянные цвѣтами холмы, темныя лѣсныя проходы и тихія долины, орошаемая сверкающими водами—самое подходящее мѣстопребываніе для нѣжныхъ существъ, наполняющихъ старыя сказки. Швиндъ жилъ въ единеніи съ природой. Маленькій домикъ, который онъ построилъ



Швиндъ; Рубецавъ.

прекрасная Мелюзина. Въ нихъ прославляется красота, вѣрность и самоотверженность женщины. Нельзя себѣ представить ничего болѣе чистаго, нѣжнаго и благоуханнаго, чѣмъ его Золушка, появившаяся на Мюнхенской выставкѣ 1855 г. Въ 1858 году послѣдовала трогательная исторія доброй сестры, спасшей своихъ братьевъ цѣной несказанныхъ страданій и терпѣнія. Теперь эта картина одно изъ лучшихъ украшеній богатаго Веймарскаго музея. Онъ обдумывалъ ее втеченіе 20 лѣтъ. Въ 1844 г. онъ писалъ Генелли: „Мнѣ кажется, что то, что я собираюсь писать, понравится людямъ, для которыхъ любовь, вѣрность и волшебный міръ имѣютъ значеніе“. Одинъ знакомый, увидавъ картину въ самомъ началѣ работы, спросилъ художника, для кого она предназначена; Швиндъ взглянулъ на него своими искрящимися маленькими глазами и сказалъ: „Это, видите ли, я пишу для себя. Эта картина—мечта моей жизни, ее я никому не продамъ; я ее подарю какому-нибудь доброму другу“. И въ самомъ дѣлѣ, картина стала незабвеннымъ произведеніемъ по граціи, чистотѣ и поэзіи.

Швиндъ начинаетъ серію картинъ съ той роковой минуты, когда охотники находятъ въ лѣсу отшельницу дѣвушку. Она обрекла себя на молчаніе и терпѣливо прядетъ, чтобы спасти заколдованныхъ братьевъ отъ злыхъ чаръ. Среди волшебной лѣсной тишины она сидитъ въ дуплѣ дерева и прядетъ пряжу для семи рубашекъ, которыя должны спасти братьевъ. Ее видитъ сынъ короля. Въ его взорѣ загорается любовь. Дѣвушка отвѣчаетъ взаимностью и поцѣлуй скрѣпляетъ ихъ союзъ. Празднуется свадьба. Молодая королева затѣмъ изображена раздающей, какъ св. Елизавета, милостыню голоднымъ нищимъ. Но ея упорное

для себя у Штарибергскаго озера, назывался „Сосновымъ уголкомъ“. Свѣжій лѣсной запахъ, шумъ германскихъ лѣсовъ слышатся въ его картинахъ. Подобно юному герою Зигфриду, онъ понималъ языкъ птицъ и внималъ тому, о чемъ шепчутъ сосны.

Еще болѣе непринужденно и свободно, чѣмъ въ картинахъ масляными красками, чувствовалъ себя Швиндъ въ аквареляхъ, гдѣ краски обвѣвають формы лишь легкимъ дуновеніемъ. Но болѣе всего онъ отражалъ свою душу въ иллюстраціяхъ,—поскольку это слово примѣнимо къ нему. Онъ въ сущности никогда не иллюстрировалъ, а слѣдовалъ своимъ собственнымъ замысламъ, представляя въ образахъ лишь то, что глубоко волновало его душу. Въ „Münchener Bilderbogen“ и „Fliegende Blätter“ появились его остроумныя и глубоко задуманныя композиціи: миндальное дерево, котъ въ сапогахъ, мужикъ и оселъ, дѣдушка-морозъ и акробаты. Лучшія произведенія Швинда — три цикла сказокъ: Золушка, Семь вороновъ и

молчаніе кажется подозрительнымъ. Даже мужъ ея тоже начинаетъ сомнѣваться въ ней. Онъ видитъ, что ночью она не поконится около него, а терпѣливо сидитъ за работой. Катастрофа наступаетъ, когда молчаливая королева родитъ двухъ близнецовъ: къ ужасу окружающихъ они превращаются въ вороновъ и улетаютъ. Въ тишинѣ и терпѣніи молодая женщина ожидаетъ рѣшенія своей судьбы. За этимъ слѣдуетъ изображеніе суда, трогательное прощаніе съ мужемъ, приготовленіе къ смерти. Не достаетъ одного только часа до исполненія семи лѣтъ,—тогда заколдованные братья будутъ спасены. Фея появляется въ облакахъ съ песочными часами въ рукахъ и утѣшаетъ осужденную. Нищія, которымъ она благотворительствовала, приходятъ къ ней и охраняютъ входъ въ тюрьму. Такъ проходитъ время, братья освобождаются отъ проклятія и спѣшатъ на бѣлоснѣжныхъ коняхъ спасти сестру отъ позорнаго столба. Все это въ прекрасныхъ и вдумчивыхъ рисункахъ Швинда потрясаетъ и умиляетъ, какъ глубоко задуманная драма.

Прекрасная Мелюзина была какъ бы предсмертнымъ поцѣлуемъ русалки; романтизмъ простился съ своимъ вѣрнымъ рыцаремъ, чтобы исчезнуть вмѣстѣ съ нимъ изъ нѣмецкаго искусства. „Зима меня доканала, мнѣ даже уже не хочется дальше тянуть“. Карлъ Марія фонъ Веберъ и Уландъ умерли до него. Швиндъ лежалъ больной, когда германскія побѣды создали отчизну для нѣмцевъ. До него еще успѣли дойти всѣ извѣстія о блестящихъ побѣдахъ, онъ еще видѣлъ праздничный блескъ огней, освѣтившихъ Мюнхенъ въ январѣ 1871 г. и услышалъ радостную вѣсть о томъ, что Германія стала единой. Онъ велѣлъ дать себѣ стаканъ шампанскаго и выпилъ за процвѣтаніе новой монархіи и за будущее своего народа.

Среди высокихъ вязовъ въ Бернридрскомъ паркѣ у Штарнбергскаго озера стоитъ маленькая круглая колоннада; она окружаетъ колодезь, а внутренняя круглая стѣна украшена фреской, изображающей исторію прекрасной Мелюзины. Это памятникъ Швинда. Съ нимъ умеръ нѣмецкій романтизмъ, отнынѣ сама дѣйствительность стала чудомъ. Когда въ 1850 г. Губнеръ рисовалъ въ альбомѣ короля Людвига аллегорическое изображеніе Германіи, онъ изобразилъ женщину съ осянкой королевы. Она лежитъ въ пустынной мѣстности, подъ мрачнымъ небомъ. Корона упала съ ея головы и около нея лежатъ черепъ. На рамкѣ написано.



Швиндъ: Свадебное путешествіе.



Швиндъ: Зоушка.

„Слезы очей моихъ льются какъ ручьи, оплакивая горе моего народа. Корона упала съ главы нашей.“ Когда Швиндъ умиралъ, Германія воспряла. Въ самый годъ смерти Швинда Ленбахъ писалъ свои первые портреты Бисмарка. Въ желѣзномъ канцлерѣ воплотилась сила, которая осуществила въ себѣ мечты націи.

Такимъ образомъ произведеніе Швинда не только созданіе законченнаго періода нѣмецкой исторіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ конечный и высшій пунктъ завершенной художественной эпохи. Онъ еще былъ свидѣтелемъ метаморфозы, свершившейся въ нѣмецкой живописи. Съ его смертію замолкли трубные звуки романтизма. При немъ еще существовала сухая, лишенная всякой поэзіи историческая живопись, которая создавалась при посредствѣ костюмированныхъ моделей. При появленіи Лессинговскаго Эццелино онъ еще острилъ, иронически толкуя смыслъ картины. „Я вамъ объясню въ чемъ дѣло“, говорилъ онъ. „Эццелино сидитъ въ тюрьмѣ. Два монаха хотятъ обратить его на путь истинны. Одинъ понимаетъ, что старый грѣшникъ неисправимъ и отказывается отъ дальнѣйшихъ усилій. Другой еще не отчаялся и продолжаетъ уговаривать, но Эццелино угрюмо глядитъ на нихъ и ворчитъ: „Оставьте меня въ

покоѣ, развѣ вы не видите что я долженъ позировать?“ Швиндъ имѣлъ право писать своему другу Баумфельду: „Я уже такъ много пережилъ манеръ въ живописи, что мнѣ страшно становится“. Пилотти онъ спрашивалъ: „Что это за несчастный случай у тебя на картинѣ?“ а къ одному изъ болѣе молодыхъ художниковъ онъ обратился со словами: „Что же мы,—академія изящныхъ или уродливыхъ искусствъ?“ „Я кажусь самому себѣ призракомъ среди общей погоны за виртуозностью, въ которую выродилось искусство“, грустно говорилъ онъ. Его послѣднія великія произведенія стоятъ обособленно среди начинавшагося господства французско-бельгійскаго искусства. Лишь гораздо позже Гансъ Томъ

возобновилъ и продолжилъ связь Швинда съ теперешнимъ временемъ. Швиндъ въ старости очутился среди чуждаго ему поколѣнія. Слѣдующій періодъ исторической живописи не создалъ ничего равнаго благоуханной сказочной поэзіи Швинда. Никому болѣе не являлась миловидная лѣсная фея, любившая его. Подобно Мелюзинѣ, познавшей измѣну, она вернулась къ своему одинокому роднику и покоемъ тамъ. Фантазія, нѣжный цвѣтокъ, исчезла неизвѣстно куда. „Имъ, чортъ возьми, ничего въ голову не приходитъ“, говорилъ Швиндъ со своей обычной непринужденностью. Муза Швинда, послѣдняго романтика, была чистой, задумчивой, поэтической дѣвой, а муза Пилотти, перваго колориста, бурной, кровожадной мегеры. И все-таки эта



Швиндъ: Синія Мелюзина.

преемственность была вполне необходима. Швиндъ стоялъ далеко отъ всего, что создавалось вокругъ него; онъ воплощалъ духъ будущаго. Его вліяніе на искусство нашихъ дней такъ велико, что повсюду, гдѣ только соберутся три художника во имя красоты, ему есть мѣсто среди нихъ; незримо онъ присутствуетъ на всякой выставкѣ картинъ. Но это вліяніе чисто интеллектуальное. Молодое поколѣніе цѣнитъ въ немъ художника нанвной эпохи; въ немъ восхищаются качествами столь желанными въ наше время—чистотой воображенія, трогательной наивностью, мистичностью и романтичностью чувствъ, обаятельно молодежавой искренностью, но его не изучаютъ для того, чтобы *писать* такъ, какъ онъ писалъ.

„Мы полны поэтическихъ замысловъ, но не умѣемъ ихъ выполнять“. Этими словами Корнелиусъ охарактеризовалъ свое время. Германія могла противопоставить французамъ отдѣльныхъ оригинальныхъ художниковъ, но не школу живописцевъ. Не доставало умѣнія писать. До сихъ поръ идеалъ живописи былъ смѣлымъ, но неосторожнымъ воздухоплаваньемъ. На Каульбаховской облачной выси она превратилась въ голыя схемы и грузно упала на землю. Живопись умерла отъ неизлѣчимой болѣзни—отъ идеализма. Всѣ живописцы того времени не были художниками, а дилетантами. Значительнымъ художникъ становится лишь тогда, когда его намѣренія вполне соотвѣтствуютъ исполненію, и содержаніе—формѣ. Живописцы безъ пониманія живописи, и художники, главной чертой которыхъ было безсиліе въ исполненіи, возможны были только въ первой половинѣ XIX вѣка, когда ихъ восхваляли именно за это.

Потомъ началось стремленіе вернуться къ знанію техники. Ремесленный элементъ необходимъ въ искусствѣ. Невозможно быть мастеромъ, ничему не учившись. Въ атмосферѣ благоговѣнія, окружавшей Корнелиуса въ Мюнхенѣ, ученіе о высотѣ нѣмецкаго искусства и объ избранности нѣмецкихъ художниковъ дошло до маніи величія. Искусство другихъ странъ находилось въ пол-

номъ пренебреженіи; его совершенно не знало поколѣніе, столь же замѣчательное по величію своихъ цѣлей, какъ и по своимъ заблужденіямъ.

Какъ разъ въ тѣ годы, когда первая желѣзная дорогъ вытѣснила почтовые дилижансы, обмѣнъ стремленій и знаній между отдѣльными народами становился болѣе рѣдкимъ и медленнымъ. Въ XV и XVI в. нѣмецкіе художники предпринимали цѣлыя путешествія для того, чтобы узнать что нибудь новое. Дюреръ переѣзжалъ Альпы на лошадахъ Пирхгейма, Гольбейнъ запасался у Эразма рекомендательнымъ письмами въ Англію. Съ какой радостью сообщалъ Дюреръ въ письмахъ и въ своемъ дневникѣ о сочувствіи, которое встрѣтилъ въ Венеціи и у голландскихъ художниковъ. Почти всѣ нѣмецкіе живописцы изучали Голландію и Италію и подолгу тамъ жили. Они отлично знали о томъ, что происходило за предѣлами ихъ странъ. Дюреръ и Рафаэль посылали другъ другу рисунки, чтобы показать другъ другу „свою руку“. А въ первой половинѣ XIX вѣка нѣмцы, гордившіеся нѣкогда своимъ пониманіемъ чужого духовнаго міра, стали жить въ полной замкнутости. Въ буржуазную тишину нѣмецкихъ художественныхъ школъ не проникало ничего изъ внѣшняго міра. Только такимъ образомъ можно было сохранять иллюзію, что изъ всѣхъ современныхъ націй германская особенно призванная къ искусству. О томъ, что въ Англіи, странѣ машинъ и бифштексовъ, пишутся картины, — никто не подозрѣвалъ. Благочестіе, нравственность, строгость рисунка и выдержанность исполненія считались привилегіей нѣмецкаго искусства, а поверхностность, легкомысліе, пустая погоня за эффектами — несправными недостатками французской націи.

Съ такимъ приблизительно представленіемъ большинство нѣмецкихъ художниковъ осенью 1843 г. подходили къ картинѣ Галлэ (Gallait) „Отреченіе Карла V“ и къ картинѣ Бифа (Biefves) „Подчиненіе голландскихъ аристократовъ“. Эти двѣ картины бельгійскихъ художниковъ появились одна за другой на выставкахъ въ главнѣйшихъ нѣмецкихъ городахъ. И спустя немного времени, поклоненіе кумирамъ тридцатыхъ годовъ совершенно исчезло у молодого поколѣнія. Діогенъ, изгнанный изъ своей философской бочки, не могъ бы чувствовать себя болѣе потеряннымъ, чѣмъ нѣмецкіе художники передъ бельгійскими картинами. До сихъ поръ лучшимъ доказательствомъ высшей художественной натуры и истиннымъ величіемъ считалась неумѣлость кисти. Теперь увидали, что на берегахъ Сены и Шельды существуетъ ушедшая впередъ живопись, уже принесшая великолѣпные плоды.





Гро: Сраженіє подъ Елзаву.

Х.

Предшественники романтизма во Франціи.

Первое десятилѣтіе XIX вѣка не давало возможности и предвидѣть, какое огромное развитіе вскорѣ совершится во французскомъ искусствѣ. Изъ мастерской Давида вышла цѣлая армія учениковъ, лишенныхъ всякаго темперамента. Они надѣли всему міру своими безцвѣтными произведеніями и злобно преслѣдовали всѣ молодые таланты. Желѣзный неподвижный инвентарь выставокъ состоялъ изъ Велисаріевъ, Телемаховъ, Федръ, Электръ, Брутовъ, Психей и Эндиміоновъ. Жироде и Геренъ переносили на полотно главнѣйшія сцены тогдашнихъ классическихъ трагедій: Пигмаліона и Галатею, смерть Агамемнона и др. и писали въ промежуткахъ портреты: Жироде—очень сухіе, Геренъ—очень торжественные. Общей нотой живописи была скука.

Одинъ только *Франсуа Жераръ* (François Gérard)—„король живописцевъ и живописецъ королей“—интересенъ своими портретами. Какъ для Давида, такъ и для него, портретная живопись была спасеніемъ; его успѣхи затмили даже г-жу Виже-Лебрень, прелестную, остроумную и граціозную художницу временъ Маріи Антуанеты. Она покинула Францію въ началѣ революціи; ее встрѣчали повсюду самымъ радушнымъ образомъ. Она писала въ Швейцаріи портреты м-мъ де Сталь, въ Неаполѣ—лэди Гамильтонъ, знаменитую красавицу временъ Директоріи. Но когда она вернулась въ Парижъ въ 1810 году, ее уже забыли. День, когда Марія Антуанета подняла ея кисть, какъ Карль V—кисть Тиціана, былъ самымъ счастливымъ въ ея жизни. Она принадлежала всецѣло ancien régime; она умерла только въ 1842 году, 87 лѣтъ, но ея художественная дѣятельность закончилась уже въ 1792 г. Въ старости она занята была писаніемъ мемуаровъ о блескѣ своей молодости, о знаменитомъ мнѵологическомъ обѣдѣ въ ея домѣ на rue de Cléry; мужъ ея былъ въ костюмѣ Пиндара и читалъ переведенныя имъ оды Анакреона. Всѣ ея побѣды и успѣхи въ Европѣ разсказаны въ запискахъ самымъ подробнымъ образомъ. Во время ея путешествій Жераръ занялъ мѣсто, опустѣвшее съ ея исчезновеніемъ и оказался очень удачнымъ замѣстителемъ—въ особенности пока былъ молодъ. Когда на парижской портретной выставкѣ 1885 года появился

*Франсуа Жераръ.*

портретъ дѣвицы Броньяръ изъ коллекціи барона Пишона, писанный Жераромъ въ 25 лѣтъ, въ 1795 г.; всѣ были поражены силой и одухотворенностью картины. Портретъ молодой дѣвушки въ бѣломъ платьѣ, въ непринужденной позѣ, по твердости рисунка, строгости и благородству линій напоминаетъ Бронзино. Никто не умѣлъ придавать портретамъ европейской аристократіи столько благородства и вмѣстѣ съ тѣмъ естественности движеній, какъ Жераръ, любимый живописецъ знатнаго общества той эпохи. Только въ портретахъ, писанныхъ въ старости, замѣчается театральность. Обладая всѣми обаятельными качествами утонченнаго свѣтскаго человѣка, онъ съ самаго начала избѣгалъ, какъ

чумы, вмѣшательства въ республиканскую политику, занимавшую нѣкоторое время Давида. Когда онъ былъ выбранъ членомъ революціоннаго трибунала, онъ не приходилъ на засѣданія подѣ предлогомъ болѣзни. Это былъ салонный человѣкъ, рожденный стать великосвѣтскимъ живописцемъ. Домъ его былъ центромъ знатнаго общества. Всѣ знаменитости того времени, а также императоры и короли, добивались, чтобы Жераръ писалъ ихъ портреты. Излюбленный портретистъ семьи Бонапартовъ, онъ оставался и во время реставраціи официальнымъ любимцемъ двора. Жозефина оказывала особое покровительство модному живописцу, маршалы Наполеона дефилировали передъ нимъ, и вернувшаяся во Францію при Людовикѣ XVIII аристократія добивалась его благосклонности. Триста портретовъ Жерара составляютъ галлерейю всѣхъ выдающихся людей первой четверти вѣка въ области политики, военного дѣла и литературы. Гибкій талантъ и тонкій вкусъ Жерара вполне удовлетворяли требованіямъ общества, которое снова раскрыло двери своихъ салоновъ послѣ революціонныхъ бурь и возобновило дѣленіе общества на касты. Онъ возродилъ въ искусствѣ парадные портреты. Люди на его портретахъ уже не просто граждане, какъ у Давида,—князья, генералы, принцессы; при первомъ взглядѣ на нихъ совершенно ясно, что ихъ должно титуловать сіятельствами и превосходительствами. Никто не умѣлъ такъ тонко лѣстить въ портретахъ, въ особенности въ дамскихъ, какъ Жераръ. Къ нему обратилась поэтому м-мъ Рекамье, недовольная портретомъ Давида. Портретъ Жерара, который она предназначала для принца Августа Прусскаго, вполне удовлетворилъ красавицу Олію. На портретѣ Давида она полулежитъ на кушеткѣ, строгая, непривѣтливая, подобная трагической музѣ. Жераръ написалъ ее сидящею на креслѣ въ непринужденной позѣ, въ прозрачномъ платьѣ, выдающемъ всѣ линіи тѣла. На устахъ полугрустная, полукокетливая улыбка—и это искусная комедіантка, кружившая всѣмъ головы, смотритъ на портретѣ мягкими дѣтскими глазами, съ такой невинностью, какъ будто бы спрашиваетъ, принесли ли аистъ дѣтей родителямъ. Фонъ портрета—колоннада, которая никуда не ведетъ—тоже ха-

ракторный признак измѣнившихся вкусовъ. Въ прежней живописи существовалъ двойной способъ изображать фонъ. Старые голландцы и нѣмцы, Янъ ванъ Эйкъ и Гольбейнъ, старались изображать людей въ ихъ обычной или излюбленной обстановкѣ. Итальянцы совершенно отказывались отъ изображенія мѣста дѣйствія; они ограничивались спокойнымъ нейтральнымъ фономъ. Какъ Эйкъ, будучи придворнымъ художникомъ, ввелъ пышные декоративные фоны, особенно модные во второй половинѣ XVII в. Миньяръ, Лебренъ и Рнго ввели въ моду на картинахъ королей владѣтельныхъ особъ, величественныя колонны съ пышными, широкими драпировками. Онѣ замѣчательно гармонировали съ общимъ стилемъ тогдашнихъ костюмовъ, съ париками и церемониальными маиерами. На портретахъ полководцевъ и воинственныхъ королей фонъ изображалъ



Жераръ: М-ль Гурнаръ.

въ миниатюрномъ видѣ цѣлыя сложныя осады, марши, битвы. Обѣ эти маиеры и вмѣстѣ съ ними изображеніе идеальнаго, лишь слегка намѣчнаго ландшафта на фонѣ исчезли во время революціи. Пышность смѣнилась какъ въ жизни, такъ и въ живописи аскетической трезвостью. Жераръ, придворный живописецъ Бурбоновъ, которые вернулись во Францію, „ничему не научившись и ничего не забывши“ снова ввелъ въ моду пышныя колоннады на фонѣ портретовъ. Штеллеръ и Винтергальтеръ слѣдовали еще его примѣру, и только въ демократическомъ современномъ искусствѣ возродилась простота нейтральныхъ фоновъ. Давидъ никогда не могъ простить м-мъ Рекамье, что она ему предпочла его ученика. Въ 1805 г., послѣ окончанія Жераровскаго портрета, она попросила Давида закончить его портретъ; онъ сухо сказалъ ей: „Сударыня, художники бываютъ тоже упрямы, какъ и женщины,—теперь я больше не хочу“.

Въ историческомъ жанрѣ Жераръ былъ подражателемъ маиернаго Жироде. Его „Дафинсъ и Хлоя“ и знаменитая картина 1799 г., „Амуръ, цѣлующій Психею“ произвели большее впечатлѣніе на женщинъ того времени. Онъ даже нѣкоторое время бѣлился, чтобы походить на нѣжную Психею. Но въ ху-



Жераръ: М-мъ Висконти.

дожественномъ отношеніи эта картина не поднимается надъ уровнемъ академичности. Въ жанровой живописи судьба Жерара походила на участь Давида. Вначалѣ онъ былъ революціонеромъ и выступилъ въ 1795 г. съ обычнымъ Велнзаріемъ; закончилъ же онъ свою карьеру роялистомъ, написавшимъ коронацію Карла X.

Чѣмъ болѣе чопорнымъ и сухимъ становился античный характеръ живописи Давида, тѣмъ скорѣе должна была наступить реакція. Перемена вкуса проявилась прежде всего въ томъ, что съ 1810 года все болѣе начинается выдвигаться художникъ, уже старый, но долго не признаваемый своими современниками. Это былъ обаятельный, ищущій, великій *Прюдонъ* (Proudhon), преемникъ Корреджіо, одинокій въ искусствѣ своей эпохи. Его грація осталась первое время непонятою, но чѣмъ болѣе всѣ начинали тяготиться строгими академикомъ, тѣмъ болѣее вліяніе былъ свѣжій оазисъ въ пустынь классицизма.

Прюдонъ сталъ оказывать на молодежь. Это

Какое глубокое различіе между нимъ и Давидомъ! Когда изящная грація Ватто исчезла изъ французскаго искусства, и новые спартизцы мирили, что основываютъ греческое искусство, Давидъ сталъ героемъ этой живописи, ходящей въ контурахъ. Онъ писалъ Горациевъ и Брута, и думалъ, что возсоздаетъ древній Римъ, воспроизводя формы древнеримскихъ стульевъ и древнеримскихъ мечей. Таковъ былъ античный стиль его первой эпохи. Позже онъ понималъ, что римляне—полуварвары сравнительно съ греками. Тогда онъ оставилъ римскій стиль. Ему казалось шагомъ впередъ то, что онъ сталъ копировать греческія статуи и тщательно переносить ихъ на свои картины. Этотъ „чистый эллинизмъ“ сказался въ его „Похищеніи сабинянокъ“. Въ дальѣйшемъ развитіи онъ пошелъ вглубь, къ древнимъ грекамъ, и результатомъ этого была самая академичная изъ его картинъ—„Леонидъ“. Смѣсь сухости и риторскаго пафоса, трудолюбіе безъ фантазіи, твердый рисунокъ, но полная неспособность нарисовать что-нибудь безъ модели, тщательная композиція, при отсутствіи малѣйшаго дара внутренняго провидѣнія цѣлой картины—этимъ исчерпываются всѣ свойства Давида. Онъ думалъ приблизиться къ древнему искусству посредствомъ снимковъ и копій, но, полагая обнять душу древности, онъ держалъ въ объятіяхъ лишь ея скелетъ. А въ сторонѣ отъ большой дороги, почти невѣдомый никому, работалъ тотъ художникъ, котораго Давидъ съ презрѣніемъ называлъ „новымъ Буше“. Въ его душѣ дѣйствительно жили боги Греціи; подъ его кистью мертвыя статуи начинали оживать и кровь разливалась по

ихъ жиламъ, такъ же, какъ нѣкогда, во времена возрожденія, откапывавшаго статуи изъ подъ земли. Прюдонъ первый возсталъ противъ окаменѣлой системы Давида, писавшаго Гораціевъ и Брута. Прюдонъ тоже вѣрилъ въ античное искусство, но видѣлъ въ немъ грацію, незримую для классиковъ. Онъ тоже противопоставилъ капризнымъ и хрупкимъ формамъ рококо простоту греческихъ очертаній. Онъ прожилъ молодость въ Италіи, но не считалъ, что изучать Леонардо и Корреджіо грѣхъ. Онъ не видѣлъ единственного спасенія въ классической холодной пластикѣ; ему нравилась болѣзненная изнѣженность ломбардской школы. Въсѣмъ своимъ существомъ онъ оставался французомъ и перенесъ въ начинающійся вѣкъ изысканность и мягкость вѣка Ватто. Въ холодную аскетическую эпоху онъ еще вѣрилъ въ нѣжность, веселье и смѣхъ, хотя личная его жизнь доставляла ему мало радостей.



Жераръ: М-ль Рекамье.

Прюдонъ былъ десятью годами моложе Давида и родился въ Клюни, девятилѣтнимъ ребенкомъ бѣднаго каменотеса. Онъ выросъ среди лишений, согрѣтый только заботами матери, которая перенесла на младшаго изъ сыновей всю свою любовь; мягкій и привязчивый по природѣ мальчикъ любилъ ее съ женскою нѣжностью. Родители часто посылали его за дровами вмѣстѣ съ другими дѣтьми бѣдняковъ въ лѣсъ при монастырѣ бенедиктинцевъ. Тамъ красивый, живой мальчикъ съ большими грустными глазами обратилъ на себя вниманіе священника Бессона, который и принялъ его въ хоръ и сталъ учить его. Тутъ, въ старомъ аббатствѣ Клюни, среди старинныхъ деревянныхъ статуй, иконъ и миниатюръ онъ понялъ свое призваніе. Внутренній голосъ сказалъ ему, что онъ будетъ живописцемъ. Съ этихъ поръ его тетради латинскихъ упражненій стали заполняться рисунками. Изъ всего, что ему попадало въ руки, изъ дерева, изъ мыла, онъ ножикомъ точилъ фигурки. Онъ выдавливалъ сокъ изъ цвѣтовъ, изготовлялъ кисти изъ конскихъ волосъ и пробовалъ писать красками. Онъ былъ безутѣшенъ, когда ему не удавалось воспроизвести краски старинныхъ образовъ. Но однажды одинъ изъ монаховъ сказалъ ему: „да вѣдь у тебя ничего не выйдетъ: тѣ картины писаны масляными красками“. Это было для него откровеніемъ. Онъ изобрѣлъ самъ для себя масляныя краски. Занятія въ Дижонѣ у выдающагося художника Девожа сильно подвинули развитіе его таланта, но все-таки прошель еще почти цѣлый челоуѣчскій возрастъ, прежде чѣмъ онъ сталъ настоящимъ художникомъ. Онъ женился 17-го февраля 1778 г. на дочери нотариуса въ Клюни и этотъ бракъ сталъ для него источникомъ страданій на всю жизнь. Жена его была сварлива,



Жерар: „Амуръ и Психея“.

амуръ изображенъ былъ царапающимъ на стѣнѣ инициалы М. Ф. (Марія Фоконье) кончикомъ своей стрѣлы. О томъ, что Прудонъ женатъ и отецъ семейства Марія узнала лишь тогда, когда явилась жена Прудона съ дѣтьми. „И ты мнѣ этого не сказала,“ — было ея единственнымъ упрекомъ. Прудонъ уѣхалъ въ Италію, но это было путешествіе съ препятствіями. Онъ въ Дижонѣ добивался *prix de Rome* и при этомъ имѣлъ наивность сдѣлать эскизъ для одного изъ своихъ конкурентовъ. Только честности послѣдняго онъ обязанъ былъ тѣмъ, что онъ все-таки получилъ стипендію для побѣдки въ Римѣ. Онъ собрался въ путь, но едва успѣлъ онъ сѣсть въ Марсель на корабль, какъ поднялась буря и въ теченіе нѣсколькихъ недѣль нельзя было сняться съ якоря. По дорогѣ тоже пришлось останавливаться, такъ что онъ пріѣхалъ въ Римъ лишь черезъ нѣсколько мѣсяцевъ и безъ гроша денегъ. При этомъ онъ по классическому обычаю въ буквальный смыслъ обнялъ землю, которую хотѣлъ завоевать, т. е. по дорогѣ упалъ изъ коляски. Къ счастью, это итальянское путешествіе, доставшееся ему такой дорогой цѣной, не принесло ему вреда. Онъ имѣлъ намѣреніе изучать только классическія древности и Рафаэля. Но черезъ нѣсколько недѣль онъ нашелъ въ Леонардо идеалъ, отвѣчающій его вкусамъ. Онъ провозгласилъ его „вѣстельникомъ и героемъ, несравненнымъ отцомъ и царемъ всѣхъ живописцевъ, превышающимъ Рафаэля силой таланта“.

Въ маленькой истрепаной тетрадкѣ эскизовъ, сохранившейся отъ того времени, сказались уже весь Прудонъ. Тамъ есть копія съ античныхъ статуй, сдѣланная старательно и терпѣливо, но безъ любви. Затѣмъ слѣдуетъ „безоружный Амуръ“ по Корреджіо—прелестный набросокъ; и тѣмъ же карандашомъ, которымъ онъ писалъ эту картину, Прудонъ начертилъ заглавія буду-

заработки плохи, семья сразу стала очень многочисленной. Чтобы попытать счастья, онъ отправился въ Парижъ, съ рекомендательнымъ письмомъ къ граверу Виллэ. „Сжальтесь надъ этимъ ребенкомъ, который уже три года женатъ; если онъ попадетъ въ руки какого-нибудь низкаго чело-вѣка, онъ легко свихнется“. Такъ писалъ баронъ Журзаво въ своемъ рекомендательномъ письмѣ. Прудонъ занялъ себѣ комнату у г. Фоконье, владѣльца магазина кружевъ въ rue du Vas. Семья Фоконье состояла изъ его жены и хорошенькой свояченицы. Марія было 18 лѣтъ и, подобно Верте-ровской Лоттѣ, она была всегда окружена дѣтьми брата и заботилась о нихъ, какъ мать. Прудонъ былъ тоже молодъ и красивъ, увлекся дѣвушкой и возбудилъ въ ней любовь; онъ дарилъ ей маленькіе лѣстовые портреты, дѣлалъ для нея красные аллегорическіе рисунки, на которыхъ

ших картинъ: Амуръ, Легкомысліе, Амуръ и Психея. Это какъ бы тайная исповѣдь фантазіи, указаніе на будущія работы. Затѣмъ попадаются наброски красивыхъ женскихъ тѣлъ, изнѣженныхъ, мягкихъ движеній, которыми онъ такъ восхищался въ фигурахъ Свадьбы Альдобрандини. Но прежде всего молодой художникъ умѣлъ смотрѣть на окружающее. Онъ жилъ въ постоянномъ общеніи съ красотой, питалъ свою душу окружающимъ искусствомъ. Не въ своемъ альбомѣ, а въ себѣ самомъ, онъ собиралъ картины. Когда его позже спрашивали о занятіяхъ въ Италіи, онъ вполнѣ вѣрно отвѣчалъ: „я только наблюдалъ и разглядывалъ художественныя произведенія“. Онъ также избѣгалъ общенія съ учениками французской академіи въ Римѣ. Каиова, изящный скульпторъ, былъ его единственнымъ пріятелемъ. Въ



П. Прюдонъ.

ноябрь 1789 г., когда кончилась посылаемая ему субсидія, онъ опять очутился въ Парижѣ, и снова началась тяжелая жизненная борьба. Уже изъ Италіи онъ посылалъ свои сбереженія женѣ, а она пропивала деньги вмѣстѣ со своимъ братомъ кавалеристомъ. Въ Парижѣ онъ превратился въ горничную и няньку. Быстро промелькнувшими звѣздами были въ его жизни двѣ другія женщины; обѣ умерли на его глазахъ. Одна изъ нихъ была таинственная незнакомка. Она явилась однажды къ нему въ мастерскую, чтобы заказать ему портретъ. Она была молода, ей было едва 20 лѣтъ, у нея были большіе голубые глаза, но лицо было усталымъ и блѣднымъ, какъ бы отъ безсонныхъ ночей. „Вы хотите, чтобы я написалъ вашъ портретъ“, спросилъ Прюдонъ, „съ такими разстроенными печальными чертами?“ Молчаливо и равнодушно взялся онъ за работу, но съ каждой чертой чувствовалъ все большее таинственное влеченіе къ этому полуробенку, очевидно, очень несчастному въ жизни,—такъ же какъ и онъ самъ. Она обѣщала придти на слѣдующій день, но не явилась, также какъ и въ слѣдующіе нѣсколько дней. Разъ онъ задумчиво ходилъ по улицамъ, думая о незнакомкѣ, какъ вдругъ взоръ его машинально остановился на зрѣлищѣ гильотины: въ несчастной жертвѣ, которую повели на казнь, онъ узналъ незнакомку, приходившую въ его мастерскую.

Чтобы имѣть возможность существовать, Прюдонъ долгіе годы писалъ заголовки для бумагъ правительственной канцеляріи, рисовалъ на заказъ виньетки для торговыхъ фирмъ, писалъ даже картинки для бонбоньерокъ. Представители искусства, знаменитые его собратья того времени, презирали его за это. Одинъ только Грѣзъ отнесся къ нему сочувственно, не возбуждая въ немъ, однако, надеждъ на будущее. „У васъ есть семья и есть талантъ, молодой человѣкъ. Этого достаточно въ наше время, чтобы умереть съ голоду. Посмотрите на мои манжеты“. Старикъ показалъ ему свое изорванное бѣлье,—онъ тоже не находилъ заработковъ средн измѣнившихся вкусовъ времени. Кромѣ заботъ



Прюдонъ: Триумфъ Наполеона I.

о хлѣбѣ, Прюдонъ страдалъ отъ несогласій съ женой. Онъ всегда грустилъ и никогда улыбка не появлялась на его устахъ. Даже когда состоялся разводъ, его мучительница продолжала его преслѣдовать, пока наконецъ не попала въ сумасшедшій домъ. Съ этихъ поръ жизнь Прюдона измѣнилась. Въ ней появилась Констанція Майеръ.

Эта привлекательная молодая художница, ученица Прюдона, стала свѣтомъ его старости. Она была очень некрасива; темный цвѣтъ лица, широкій приплюснутый носъ и большой ротъ дѣлали ее похожей на мулатку. Но ротъ ея имѣлъ полный, готовый къ поцѣлу губы; надъ широкимъ носомъ сіяли большіе черные глаза, и мѣняющееся выраженіе неправильнаго мальчишескаго лица дѣлали его иногда истинно прекраснымъ. Она была на 17 лѣтъ моложе Прюдона и онъ ее рисовалъ почти также часто, какъ Рембрандъ свою Саскію. Въ цѣломъ рядѣ картинъ, эскизовъ, пастелей, полныхъ пикантной прелести, тонкой граціи и веселія, онъ увѣковѣчилъ вздернутый носикъ своей маленькой цыганки, какъ онъ ее называлъ. Въ ней онъ нашелъ свой типъ, какъ его находилъ Рубенсъ въ Еленѣ Фурманъ. Констанція Майеръ стала вдохновительницей его нѣжныхъ граціозныхъ произведеній. И она тоже кончила тѣмъ, что въ его присутствіи перерѣзала себѣ горло бритвой.

Учитель и ученица полюбили другъ друга: сентиментальная и страстная, пикантная, веселая, нервная и остроумная она плѣнила учителя своей оригинальностью, живостью и тѣмъ, что льстила его самолюбію. Эта любовь сулила Прюдону покой и отрадную старость. Онъ отдался чувству со всей страстностью юноши, полюбившаго въ первый разъ. Дѣвица Майеръ послѣ смерти отца пользовалась совершенной независимостью. Ея мастерская въ Сорбоннѣ отгорожена была лишь ширмами отъ мастерской учителя. Она проводила у него цѣлые дни, работая вмѣстѣ съ нимъ, вела его хозяйство, воспитывала его дочь, и была для нея одновременно матерью и старшей сестрой. Прюдонъ перенесъ на Констанцію всю нѣжность, съ которой въ дѣтствѣ любилъ мать. Онъ питалъ къ ней глубокою благодарностью, и ему хотѣлось дѣлится съ любимой дѣвушкой свой талантъ, доставить ей славу. Трогательно слѣдить по этюдамъ дѣвицы Майеръ, съ какимъ терпѣніемъ и преданностью Прюдонъ училъ ее. Онъ старался вдохнуть въ нее свой талантъ, подѣлиться



Прюдонъ: Иосифъ и жена Пентефрія.

съ ней своимъ безсмертіемъ. На его собственномъ творчествѣ счастливая любовь отразилась благотворно. Ко времени дружбы съ Констанціей Майеръ относятся его лучшія произведенія: „Справедливость и месть“, „Похищеніе Психеи“, „Венера и Адонисъ“, „Качающійся Зефиръ“.

Эти картины доставили ему и внѣшній успѣхъ. Въ 1808 г. онъ получилъ отъ императора за картину „Месть и Преступленіе“ крестъ почетнаго Легіона. Прюдонъ сталъ если не официально, то фактически придворнымъ художникомъ. Къ этому времени относится его прекрасный портретъ императрицы Жозефины. Когда новая императрица Марія Луиза стала учиться живописи, Прюдонъ назначенъ былъ въ 1811 году ея учителемъ рисованія. По случаю рожденія наследнаго принца, городъ Парижъ принесъ въ даръ императору обстановку комнаты, и Прюдону была поручена художественная отдѣлка. Критика начала преклоняться передъ его именемъ. Молодые живописцы увидали въ оклеветанномъ прежде художникѣ основателя новой, всѣми ожидаемой религіи. Онъ сталъ зарабатывать много денегъ. Констанція Майеръ, казалось, принесла ему счастье. Тѣмъ глубже поразила его ея смерть.

Нервная, экзальтированная, ревнивая дѣвушка страдала отъ неопредѣленности своего положенія. Когда закрылись мастерскія въ Сорбоннѣ, она не



Прюдон: Амур и Психея.

могла рѣшиться на разлуку съ Прюдономъ, но поселиться у него въ домѣ она тоже не хотѣла. Утромъ 26-го марта 1821 г. она отпустила свою натурщицу, маленькую Софію, подаривъ ей на память кольцо. Черезъ нѣсколько времени послышался стукъ тяжелаго паденія, и Констанцію нашли на полу плавающей въ крови. Прюдонъ прожилъ еще послѣ этого два года въ одиночествѣ. Онъ чувствовалъ себя изгнанникомъ на землѣ, его мучило раскаяніе и преслѣдовали мысли о самоубійствѣ. Онъ жилъ только мысля о Констанціи, равнодушный къ славѣ, которая начала сіять вокругъ его имени. Констанція оставила недоконченной картину „Несчастное Семейство“. Прюдонъ взялся закончить ее, и эта работа была его послѣднимъ общеніемъ съ Констанціей. Онъ уходилъ изъ мастерской только для того, чтобы посѣтить ея могилу на Père Lachaise's, или одиноко бродить по отдаленнымъ бульварамъ. „Вознесеніе Богородицы“ и „Распятіе“ были послѣдними работами этого иѣкогда веселаго живописца, любившаго Христа—символи его собственихъ мученій. Смерть, наконецъ, сжалилась надъ нимъ: 16 февраля 1823 года Франція утратила Прюдона.

Его творчество было полнымъ выраженіемъ его душевнаго міра. Женщины занимали много мѣста въ его жизни, и во всѣхъ его картинахъ чувствуется нѣчто женственное. Въ нихъ виденъ воспримчивый человѣкъ, веселый по природѣ; но тяжелыя испытанія убили въ немъ веселіе. Грація и амурь на картинахъ Прюдона—наслѣдіе рококо, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ позналъ всю грусть новаго вѣка. Улыбка его полна тихой скорби. Онъ знаетъ, что жизнь не безконечный праздникъ и вѣчное удовольствіе. Онъ испыталъ на себѣ, какъ трагично кончается путешествіе на островъ Киприды. Его блѣдныя щеки утратили свѣжесть, лобъ покрылся морщинами—онъ видѣлъ гильотину. Прюдонъ послѣдній живописецъ рококо и первый романтикъ. Онъ могъ гораздо проще и естественнѣе чѣмъ Давидъ совершить переходъ отъ XVIII вѣка въ XIX.

Рисунки Прюдона, которые онъ дѣлалъ на заказъ, когда боролся съ нуждой, полны своеобразной прелести, и очень индивидуальны по настроенію. Въ иѣкоторыхъ его вынеткахъ для почтовой бумаги правительственной канцеляріи больше твердости, изящества и поэзіи, чѣмъ въ самыхъ претенціозныхъ композиціяхъ Давида съ ихъ заимствованнымъ классицизмомъ. Изъ всѣхъ художниковъ того времени одинъ Прюдонъ былъ мастеромъ и въ области декоративнаго искусства. У него есть рисунки, отъ названія которыхъ вѣтъ ледянымъ холодомъ аллегоріи. Такова, напр., „Минерва, сочетающая свободу съ закономъ“. А между тѣмъ рисунокъ далекъ отъ холодности Давида; напротивъ того онъ полонъ, обаятельности Корреджіо. Французская грація непринужденно

соединяется съ красотой линий, напоминающихъ античныя камеи. Въ древней мифологіи, ставшей грудой сухихъ именъ, онъ въ первый разъ увидѣлъ источникъ живой поэзіи. Когда ему заказывали приглашеніе на балъ, онъ создавалъ нѣжный гимнъ музыкѣ и танцамъ. Онъ щедро расточалъ во всѣ стороны поэтическую фантазію и грацію, которая не давалась Давиду въ его самыхъ серьезныхъ начинаніяхъ. Въ эту пору своей жизни Прюдонъ сталъ самымъ замѣчательнымъ рисовальщикомъ всей французской школы. Рисунки и иллюстраціи были необходимой подготовкой къ большимъ картинамъ, съ которыми онъ выступилъ въ началѣ XIX вѣка.

Первая его картина 1799 г. теперь на половину уничтожена временемъ. Это „Мудрость, ведущая правду на землю и отступленіе мрака передъ ея появленіемъ“. Она написана была съ удивительной нѣжной граціей; знаменитая картина 1800 г., „Справедливость и месть, преслѣдующія преступленіе“, гораздо ближе по колориту къ романтической школѣ, чѣмъ къ классицизму.



Констанція Мейеръ.



Гро: Наполеонъ предъ пирамидами.

Подъ вліяніемъ классицизма исчезло умѣніе писать тѣло. Прюдонъ вернулъ французскому искусству этотъ даръ, очень глубоко изучивъ вышедшихъ изъ моды мастеровъ Леонардо и Корреджіо. На картинѣ изображено глухое, пустынное мѣсто; мѣсяцъ выступаетъ изъ тяжелыхъ облаковъ и прозрачно блеститъ среди голыхъ утесовъ. Убийца уходитъ отъ своей жертвы. Торопясь, съ добычей и кинжаломъ въ рукахъ, онъ шагаетъ, съ ужасомъ оглядываясь на оголенный трупъ юноши, упавшаго на выступъ утеса и



Антуанъ Гро.

лежащаго съ распростертыми руками. Надъ убійцей уже рѣютъ какъ облака карающія небесныя силы, съ угрозой во взорѣ. Разгнѣванное Правосудіе глядитъ вслѣдъ убѣгающему убійцѣ, а месть, освѣщая путь факеломъ, пытается настигнуть преступника. Картина Прюдона отличается отъ всѣхъ другихъ картинъ того времени величественностью характеристикъ, силой и живописностью исполненія, и строгостью ландшафта, средн котораго происходитъ страшная сцена. Въ натурѣ Прюдона нѣтъ трагизма, онъ любилъ останавливаться на веселыхъ, слегка мечтательныхъ, подернутыхъ дымкой древнихъ мифахъ. Жизненное горе научило его бѣжать дѣйствительности. На крыльяхъ искусства онъ спасался въ міръ сказочной

любви и счастливыхъ сновидѣній. На одной изъ его картинъ Зефиръ уноситъ Психею въ брачный покой Эроса. Мягкій свѣтъ падаетъ на бѣлоснѣжное тѣло. Голова спустилась на плечо, и откинута назадъ рука поднята круглымъ движеніемъ надъ головой; молча и тихо какъ облако несется воздушное видѣніе изъ сказочнаго міра. Или же, на другой картинѣ, дремлющую красавицу посѣщаютъ въ лѣсной тиши при лунномъ свѣтѣ, очарованные ею духи. Она тайно спускается къ тихому озеру, собирается купаться и съ изумленіемъ видитъ въ темномъ зеркалѣ воды свое собственное изображеніе. Или же онъ рисуетъ Венеру, снѣдающую въ таинственномъ упоеніи рядомъ съ Адонисомъ. Ни одинъ художникъ того времени не умѣлъ рисовать обнаженное тѣло столь безупречно прекраснымъ, стройнымъ и чистымъ, какъ Прюдонъ. Линіи тѣла гибки и вѣсело тверды; нхъ обливааетъ полный мягкій свѣтъ. Зефиръ съ лукавымъ выраженіемъ лица качается у озера, мягкое дуновеніе вѣтра колеблетъ его кудри, и кругомъ дышетъ прохладная лѣсная тишь. Прюдонъ не собиралъ отовсюду обломковъ античныхъ формъ. Въ немъ нѣтъ разсудочности, онъ не слѣдуетъ традиціоннымъ формуламъ. Все его творчество интуитивно. Онъ не рабъ того, что видѣлъ въ природѣ, но картины его тѣмъ не менѣе полны движенія и проникнуты божественнымъ дыханіемъ жизни. Онъ воскресилъ античный міръ въ духѣ своего собственнаго новаго пониманія — и въ духѣ великихъ мастеровъ возрожденія, впервые пробудившихъ древность за триста лѣтъ до Прюдона. Ландшафтный фонъ картинъ Прюдона дѣлаетъ его вполне современникомъ Жанъ Жака Руссо, сыномъ времени, которое вновь открыло природу. Во всѣхъ его твореніяхъ видно духовное родство съ Антоніо Аллегри и Леонардо да Винчи. Подобно Корреджіо, онъ любилъ мягкую пышность тѣла и нѣжныя свѣтотѣни. Онъ вдумчивый поклонникъ Леонардо, и ему нравились женскія головы съ глубокими, затуманенными чувствомъ глазами и таинственной нѣжной улыбкой, мечтательно играющей вокругъ полныхъ губъ. Но обязательная нѣжность флорентинца, такъ же какъ и экстазъ ломбардца смягчались у Прюдона тихой меланхоліей нашего вѣка.

Этотъ художникъ, нѣжный, мягкій, одаренный тонкой воспримчивостью



Констанція Мейерс: *Le rêve de bonheur.*

къ вѣчно женственному, былъ какъ бы созданъ писать портреты женщинъ. Давиду удавались главнымъ образомъ рѣзко очерченныя мужскія фізіономіи. Придонъ сталъ изобразителемъ нѣжныхъ, утонченныхъ женственныхъ натуръ. Его женскіе портреты чаруютъ таинственностью взора, задумчивой улыбкой, мечтательной грустью. Никто не умѣлъ такъ тонко схватывать мимолетные оттѣнки мѣняющихся выраженій и передавать настроеніе минуты. Какъ пикантна улыбающаяся Антуанета Леру въ платьѣ à la Шарлота Корде, въ кокетливой, эксцентричной шляпѣ, во всемъ блескѣ своего оригинальнаго наряднаго туалета. М-мъ Копіа, жена гравера, съ ея нѣжными, затуманенными глазами, воплощаетъ на портретѣ Придона идеаль прекрасной души. Императрица Жозефина изображена грустной, утомленной женщиной. Она сидитъ въ изящной, небрежной позѣ на скамейкѣ изъ дерна, и слегка наклонила голову. Взоръ устремленъ въ даль, какъ бы предвидя близящееся горе. Ее окутываетъ мечтательная полутьма романтическаго ландшафта.

Послѣ долгаго забвенія красокъ во французскомъ искусствѣ, колоритъ возродился въ творчествѣ Придона. Уже во времена революціи онъ протестовалъ во имя граціи противъ сухости Давида. Онъ старался доказать, что люди нашего времени ничѣмъ особенно не отличаются отъ современниковъ Леонардо и Корреджіо; они сдѣланы не изъ мрамора и камня, а имѣютъ живое тѣло. Во времена Давида онъ уже требовалъ возврата къ краскамъ. Но подобно Андре Шенье, его духовному брату, онъ лишь очень поздно добился успѣха. Его скромность и простота не могли побѣдить диктаторскую власть Давида, окруженнаго славой и почестями. Всѣ смѣялись надъ бѣднымъ Придономъ, который слѣдовалъ лишь собственной фантазіи и создалъ себѣ собственный поэтическій языкъ посредствомъ свѣтотѣней. Но вскорѣ вопросъ о свѣтотѣни былъ поднятъ другимъ художникомъ, на этотъ разъ молодымъ челоуѣкомъ, вышедшимъ прямо изъ мастерской Давида.

Антуанъ-Жанъ-Гро (Antoine Jean Gros) былъ ученикомъ Давида. Изъ всѣхъ



Прюдон: Несчастная семья.

вается отзывчивая нѣжная душа, готовая одинаково пасть духомъ отъ горькаго жизненнаго опыта и возликовать отъ успѣха. Въ 1792 г. онъ сталъ добиваться Prix de Rome, но безъ успѣха; эта неудача его спасла. Онъ отправился самостоятельно въ Италію, былъ очевидцемъ итальянской компаніи Наполеона, и зрѣлища, которыя онъ видѣлъ, замѣнили ему изученіе исторіи и археологіи. Когда пѣхота брала приступомъ Аркольскій мостъ, она не думала о томъ, что воспроизводитъ видъ стариннаго барельефа. Гро видѣлъ идущіе полки и торжественное вступленіе въ празднично разукрашенные города. Онъ многому научился на мѣстѣ сраженій и вернувшись, изображалъ то, что самъ пережилъ въ Италиі. Онъ понималъ поэзію современной жизни и кромѣ того смогъ продолжать начатое у Давида ученіе у другого столь же хорошаго учителя. Въ Генуѣ онъ сталъ изучать Рубенса. Оригинальность Прюдона заключается въ томъ, что онъ первый вернулся къ Леонардо и Корреджіо: Гро первый сталъ поклоняться Рубенсу тогда, когда этотъ голландскій художникъ совсѣмъ вышелъ изъ моды. Инстинктъ художника сразу натолкнулъ его на Рубensoвскаго св. Игнатія. Онъ съ восторгомъ говоритъ въ письмахъ объ этой „великой вдохновенной картинѣ“. Въслѣдствіи Гро былъ выбранъ членомъ комиссіи, заведывавшей перевозкой художественныхъ произведеній въ Парижъ. Тогда онъ часто имѣлъ случай разсматривать и восхищаться картинами мастеровъ XVI и XVII вѣка. Эти впечатлѣнія опредѣлили его дальнѣйшую судьбу. Гро сталъ великимъ колористомъ классицизма, пѣвцомъ наполеоновскаго эпоса. Въ сравненіи съ мраморными греко-римлянами Давида, фигуры Гро принадлежатъ какъ бы другому міру. Онъ говорилъ въ своихъ картинахъ языкомъ чуждымъ его учителю. Содержание картинъ и техника Гро не разъ должны были поражать Давида.

своихъ товарищей онъ былъ наиболѣе почтительнымъ поклонникомъ учителя; а между тѣмъ онъ, самъ того не зная и не желая, болѣе чѣмъ кто либо другой, содѣйствовалъ распаденію школы Давида. Онъ родился 17-го марта 1771 г. въ Парижѣ; отецъ его былъ миниатюристомъ. Въ мастерской г-жи Виже-Лебрень пріятельницы его родителей, ему открылось его призваніе. Въ салонѣ 1785 г., при видѣ картины Давида, „Андромаха у трупa Гектора“, Гро рѣшилъ поступить въ школу къ Давиду. Онъ былъ тогда тѣмъ красивымъ пятнадцатилѣтнимъ юношей, какимъ онъ изобразилъ себя на портретѣ въ Версалѣ. Въ мягкихъ впечатлительныхъ чертахъ отражается нѣкоторая сантиментальность. Большіе темнокаріе глаза съ изумленіемъ и любопытствомъ глядятъ вдаль. Темные волосы обрамляютъ тихое, свѣжее лицо. На головѣ мягкая шляпа съ широкими полями. Въ этомъ портретѣ чувств-

Гро удалось быть представленным Жозефинъ Богарне, и при ея содѣйствіи Наполеону въ Миланѣ, въ Casa Serbelloni. Гро, который ничего не желалъ такъ страстно, какъ написать портретъ полководца, былъ причисленъ къ генеральному штабу въ чинъ лейтенанта. Во время трехдневной битвы при Арколѣ онъ имѣлъ случай восторгаться геройскимъ мужествомъ диктатора, и написалъ этюдъ, гдѣ изображенъ Наполеонъ, со знаменемъ въ рукахъ ичащійся впереди всѣхъ на приступъ Аркольскаго моста. Наполеону этюдъ понравился. Онъ увидѣлъ въ немъ выраженіе своей стихійной силы, будущаго завоевателя міра. На выставкѣ 1801 г. картина Гро имѣла огромный успѣхъ. Теплый колоритъ, широкая манера письма и оживленность драматичной сцены казались величайшимъ новшествомъ въ сравненіи съ однообразиемъ Давида.



Гро: Бонапартъ на Аркольскомъ мосту.

Картина „Наполеонъ на Аркольскомъ мосту“, опредѣлила призваніе Гро. Давидъ былъ живописцемъ эпохи конвента, а Гро выразителемъ времени когда Наполеонъ былъ прежде всего героемъ въ глазахъ своего народа. Гро иногда отклонялся въ сторону греческой мнѳологіи, но никогда не чувствовалъ себя тамъ какъ дома. Его больше всего вдохновляла живая исторія, создаваемая французскими генералами и солдатами. Изображая военную жизнь своего времени, онъ завоевывалъ ей мѣсто въ искусствѣ. Для Давида самымъ главнымъ была „исторія“ и „стиль“;

потому онъ лишь противъ желанія изображалъ современные событія. Работы Жирара и Жироде интересны, какъ протестъ живой дѣятельности противъ классической условности, но въ общемъ ихъ творчество посредственно и скучно. Гро въ своей знаменитой картинѣ „Чума въ Яффѣ“ и „Битва подъ Эйлау“ первый пріобрѣлъ огромную славу сюжетомъ изъ современной



Могила Прудона.



Прометей: Справедливость и месть преследующая злодея.

исторій. Это двѣ сильныя, правдивыя картины имѣютъ непреходящее значеніе. Гро высоко стоитъ надъ Давидомъ и всѣми своими соперниками по смѣлости замысла. Давидъ устарѣлъ, Гро сохранилъ интересъ на всегда, по тому что писалъ подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ пережитыхъ событій, а не подъ вліяніемъ сухихъ теорій. Онъ убѣжденный реалистъ, и не боялся изображать ужасное, отступая этимъ отъ традицій древняго искусства. Въ то время когда Римъ и Греція были еще источникомъ вдохновенія для всѣхъ художниковъ, онъ имѣлъ смѣлость изображать госпитали, больныхъ, умирающихъ и мертвыхъ. Во время египетско-сирійской компаніи, послѣ взятія Яффы началась чума. 7-го марта 1799 г. Наполеонъ вмѣстѣ съ нѣсколькими офицерами посѣтилъ больныхъ чумой, скученныхъ въ жалкомъ госпиталѣ. Его подвигъ рѣшено было увѣковѣчить въ монументальной картинѣ, и Гро взялъ эту задачу на себя. Онъ изобразилъ Наполеона утѣшителемъ, сходящимъ къ страждущимъ и умирающимъ; отступая отъ исторической точности онъ, перенесъ сцену изъ жалкаго помѣщенія лазарета въ обнесенный колоннами дворъ мечети. Подъ высокими сводами извиваются и корчатся больные и раненные, глядятъ впередъ съ отчаяніемъ во взорѣ, приподнимаются полуобнаженные въ смертельныхъ мукахъ, или обращаютъ взоры къ полководцу, прекрасному въ своей молодости и отвагѣ. Онъ касается чумныхъ струнъ въ одного изъ больныхъ. Яркій солнечный лучъ прорѣзываетъ мракъ и широко освѣщаетъ центральную группу. Картина заполнена фигурами людей въ живописныхъ восточныхъ одѣяніяхъ; они раздаютъ больнымъ пищу, которую приносятъ чернокожіе мальчики. Вдали чрезъ мавританскія арки видѣтся городъ съ укрѣпленіями, плоскими крышами и стройными минаретами. Надъ ними вѣютъ побѣдныя знамена французовъ. Въ сторонѣ



Прюдонъ: Невинность.



Гро: Заключенные въ Иффи.

синѣтъ далекое море, и надъ всей картиной высится знойное южное небо. Среди условно классическихъ произведеній окружающихъ картину Гро въ Луврѣ, она и теперь кажется откровеніемъ чего то новаго, первымъ порывомъ вѣтра, предвѣщающимъ бурю романтизма.

Герои Гро, какъ и герои Давида, сознаютъ свое величіе и даже слишкомъ это обнаруживаютъ, но они по крайней мѣрѣ дѣйствуютъ. Художникъ внутренне переживалъ то, что писалъ. Въ картинѣ вмѣстѣ съ геройскимъ духомъ чувствуется любовь и жизнь. Кромѣ того Гро не довольствовался блѣдными красками и неуклюжимъ рисункомъ своихъ современниковъ. Его изображеніе голаго тѣла умирающихъ далеко отъ безжизненной окаменѣлости классической школы. Вмѣсто традиціоннаго классическаго перистіля классическихъ трагедій у него изображенъ мавританскій дворъ. Бонапартъ вкладывающій руку въ рану умирающаго, не похожъ на греческаго или римскаго героя. Больные обратившіе лихорадочно возбужденный взоръ на полководца, какъ бы ожидая отъ него спасенія, и негры спящіе съ корзинами ѣды — далеко не статисты на картинѣ Гро. Море, озаренное солнцемъ и оживленное кораблями, гавани, расцвѣтшія пестрыми флагами, поражаютъ великолѣпнѣмъ красокъ и кажутся зарей новой эпохи. Молодые художники были правы, когда прикрѣпили лавровую вѣтвь къ рамкѣ картины Гро, въ Салонѣ 1804 года. Правительство купило картину за 16000 франковъ. Въ честь художника данъ былъ банкетъ, на которомъ предсѣдательствовали Вьенъ и Давидъ. Жироде прочелъ стихотвореніе, кончавшееся слѣдующимъ четверостишіемъ:

Et toi sage Vien, toi, David, maître illustre,
Jouissez de vos succès, d'ans son sixième lustre,
Votre élève, déjà de toutes parts cité,
Auprès de vous vivra dans la postérité.

„Битва под Эйлау“, выставленная въ 1808 г., составляет pendant къ чумѣ въ Яффѣ. Тамъ посѣщеніе госпиталя, — здѣсь осмотръ поля сраженія. Угрюмо сѣрый тонъ зимняго дня лежитъ на снѣжной полосѣ, которая уныло тянется до самаго горизонта; лишь изрѣдка она прерывается грудями тѣлъ уничтоженныхъ полковъ. На переднемъ планѣ лежатъ груды убитыхъ и стонущихъ раненныхъ, а среди всего этого ужаса, среди растерзанныхъ тѣлъ и гниющихъ труповъ скачетъ побѣдитель. Лицо его блѣдно, взоръ устремленъ на горящій городъ на горизонтѣ. „На немъ трехугольная шляпа и сѣрый, походный сюртукъ“. Онъ ѣдетъ въ чѣлѣ своего штаба, равнодушный и неумолимый, твердый какъ судьба. „Ah, si les rois pouvaient contempler ces spectacles, ils



Прюдонъ: Вознесеніе Богородицы.

seraient moins avides de conquêtes!» Классическія позы, которыя еще производили непріятное впечатлѣніе на картинѣ чумы въ Яффѣ здѣсь, уже совершенно исчезли. Въмѣсто излюбленной Давидомъ условной лошади пареонскаго фриза, Гро писалъ настоящихъ лошадей. Колоритъ снова восстановленъ въ своихъ правахъ и становится выразителемъ настроенія. Эта картина признана была лучшей въ богатомъ замѣчательными картинами салонѣ 1808 года. Ни „Битва подъ Аустерлицемъ“ Жерара, ни „Аттала“ Жироде, ни даже „Коронація“ Давида не могли соперничать съ картиной Гро.

Завершеніемъ цикла была картина „Наполеонъ передъ пирамидами“ 1810 года. На ней изображенъ моментъ, когда Наполеонъ произнесъ знаменитыя слова: „Солдаты, съ высоты этихъ памятниковъ глядять на васъ солрокъ въковъ“. Гро единственный художникъ того времени постигшій эпическое величіе войны. Онъ сталъ также портретистомъ великихъ людей, создавшихъ эти событія. Въ его портретѣ генерала Массена, съ полузадумчивымъ полухитрымъ выраженіемъ лица, воплощенъ духъ военнаго. Въ портретѣ генерала Лассала чувствуется спокойная отвага, выраженная безъ обычнаго атрибута — развѣвающейся отъ вѣтра мантіи. Портретъ генерала Фурнье Сарловезе въ Версалѣ, поражаетъ свѣжестью колорита. Такъ писать умѣли въ то время лишь англійскіе живописцы, Лоренсъ и Раборнъ. Гро значительно опередилъ



Прюдонъ: Распятіе.

свою эпоху. Онъ гораздо выше въ изображеніи движеній, чѣмъ въ психологическомъ анализѣ. Поэтому ему удавались общія характеристики; онъ неподражаемо передавалъ самое существенное. У Давида все расцѣпъ, у Гро все внутреннее пламя. Изъ всѣхъ своихъ современниковъ, онъ одинъ только зналъ Рубенса. Подобно ему онъ отдавалъ должное колориту; въ его картинахъ часто столько красокъ, столько жизни, что уже это одно дѣлаетъ его прямымъ предшественникомъ современнаго искусства. Окруженный убѣжденными классиками, онъ громко заявилъ то, что Прюдонъ говорилъ менѣе рѣшительно: „человѣкъ не статуя, онъ сдѣланъ не изъ мрамора, а изъ костей и мяса“.

Но судьба Гро напоминаетъ судьбу Прюдона. Этому впечатлительному и раздражительному человѣку не доставало твердости и сознательной силы воли, не доставало вѣры въ себя для того, чтобы стать во главѣ

новаго движенія. Пока ему служила опорой великая фигура Наполеона, онъ оставался вѣрнымъ своему таланту, но какъ только у него отняли его героя, онъ потерялъ голову. Имперія возвеличила Гро, ея же паденіе убило его. Кошмаръ Давидовскаго классицизма снова сталъ его преслѣдовать. Когда Давидъ послѣ своего изгнанія (1816 г.) поручилъ ему стать во главѣ его мастерской, Гро съ благовѣніемъ взялъ на себя эту задачу. Какъ художникъ онъ осво-бодилъ искусство, какъ учитель, онъ стремился снова надѣть на него сми-рительную рубашку классицизма. „Не я учу васъ“, говорилъ онъ, обращаясь къ ученикамъ, „а Давидъ, Давидъ, одинъ только Давидъ“. Давидъ упрекалъ его за то, что онъ отдалъ свои силы на изображеніе войнъ Наполеона, а не занялся вмѣсто столь маловажныхъ и случайныхъ сюжетовъ подвигами Алек-сандра Великаго. Тогда бы онъ создалъ настоящія историческія картины. „Потом-ство требуетъ отъ васъ хорошихъ картинъ изъ древней исторіи. Кто, скажете вы, былъ болѣе способенъ изображать Фемистокла? Возьмитесь скорѣй, другъ мой, за чтеніе Плутарха“. Изображать дѣйствительность, т. е. то, что происходитъ на глазахъ, казалось Давиду маловажною задачею. Назначеніе исторической живо-

писи онъ считалъ болѣе высокимъ. Гро, преклонявшійся передъ своимъ учителемъ, имѣлъ слабость слушаться его словъ. Онъ довѣрялъ больше Давнду, чѣмъ своему собственному гению, больше вѣрилъ чужой силѣ, чѣмъ своей. Онъ сталъ читать Плутарха и ничего не писалъ не подумавъ раньше о брюссельскомъ изгнанникѣ. Онъ ввелъ аллегорію въ „Битву при пирамидахъ“, сочинилъ въ угоду Давнду „Смерть Сафо“, написалъ безжизненные сухія фрески для купола въ Пантеонѣ—и въ промежуткахъ между этими работами, когда ему случалось взглянуть въ глаза природѣ, писалъ высокохудожественныя вещи. Въ „Бѣгствѣ Людовика XVIII“ Версальскаго музея онъ еще стоитъ на прежней высотѣ. Это „одно изъ прекраснѣйшихъ произведеній современнаго искусства“, по словамъ Делакруа въ *Revue de Deux Mondes* 1848 года; картина написана трогательно и вмѣстѣ съ тѣмъ торжественно. Наполеонъ покинулъ островъ Эльбу, двинулся на Парижъ и былъ въ Фонтенебло, когда Людовикъ XVIII рѣшился постыдно оставить Тюльери въ ночь съ 19 на 20 марта 1815 года. Онъ уходитъ въ сопровожденіи нѣсколькихъ преданныхъ ему офицеровъ, и прощается съ національной гвардіей. Есть что-то трогательное въ этомъ шестидесятилѣтнемъ человѣкѣ съ бурбонскимъ профилемъ — увѣковѣченномъ на пятифранковыхъ серебряныхъ монетахъ—съ выступающимъ животомъ и короткими толстыми ногами. У него видъ человѣка, идущаго въ больницу лечиться отъ водянки. Его осанка лишена всякаго величія и корректности. Гро смѣло передалъ сцену совершенно реально, изобразилъ короля со всеми признаками его болѣзни. Онъ забылъ при этомъ все, чему учился у классическихъ художниковъ, и писалъ только то, что самъ видѣлъ: лѣстницу, ропшущую толпу, лакеевъ спящихъ съ лампами въ рукахъ, толстаго, страдающаго подагрой короля, который отъ страха забылъ всякое достоинство. Картина Гро имѣетъ характеръ исторической хроники и, закончивъ ее, Гро обвинялъ себя въ уклоненіи отъ „истинной исторической живописи“. На похоронахъ Жироде въ 1824 г. члены *Institut de France* оплакивали „незамѣнимую утрату“. Они говорили, что нуженъ новый вожь, который бы мощной рукой удержалъ горячія головы молодыхъ художниковъ отъ грозящей имъ гибели. „Вы должны были бы взять это на себя, Гро“, — замѣтилъ одинъ изъ собесѣдниковъ. Гро отвѣтилъ съ отчаяніемъ: „Я не только не чувствую въ себѣ достаточно силы, чтобы стать во главѣ школы, но считаю себя виновнымъ въ томъ, что первый подаль дурной примѣръ, уклонившись отъ истиннаго искусства“. Чѣмъ болѣе онъ подчинялся Давнду, тѣмъ болѣе отдалялся отъ жнвой жизни. Его большая скучная картина, „Геркулесь, отдающій Диомеду на разстерзаніе его собственнымъ лошадямъ“ (1835), обозначила собой окончательное



Прюдонъ: М-мъ Конія.



Придонъ: Императрица Жозефина.

падение художника. Условность одержала победу над правдивостью.

Художники смѣялись надъ нимъ. Насмѣшливый тонъ проникъ и въ критику. Нѣсколько писателей уже давно начали возставать противъ классицизма. Они съ пламеннымъ воодушевленіемъ говорили о правахъ человѣческой личности, о благодѣяніяхъ свободы, объ истинныхъ принципахъ революціи. Было много читателей, внимавшихъ ихъ словамъ. Они боролись противъ вѣры въ непоколебимость законовъ духовной и общественной жизни, доказывали, что кромѣ классической древности есть и другіе міры, что даже и древній міръ заселенъ былъ не одними статуями. Они описывали величіе зрѣлищъ природы и открывали искусству и поэзіи новые горизонты.

Наступила весна—и Гро почувствовалъ, что онъ пережилъ себя. Чтобы не слышать голосовъ новаго поколѣнія, онъ геройски притворялся глухимъ, но и это не помогло. Онъ погибъ мученикомъ классицизма во французскомъ искусствѣ. Онъ былъ классикомъ по воспитанію, романтикомъ по темпераменту. Онъ гордился тѣмъ, что какъ учитель опровергалъ то, чему самъ слѣдовалъ въ своихъ художественныхъ произведеніяхъ. Этотъ душевный разладъ погубилъ его. 25 іюня 1835 года, уже старкомъ 64-хъ лѣтъ, онъ вышелъ изъ дому, не сказавъ никому ни слова, и около Медона легъ ничкомъ въ протекающій тамъ рукавъ Сены. Мѣсто было мелкое, ребенокъ могъ бы легко перейти въ бродъ. Только на слѣдующій день два матроса, идя домой, по берегу нашли его трупъ. Одинъ изъ нихъ наткнулся ногой на черный шелковый цилиндръ. Въ немъ лежалъ тщательно сложенный галстухъ, помѣченный буквой *I*, и кромѣ того записка къ женѣ. На полуразорванной визитной карточкѣ можно было еще разобрать имя барона Гро. Пройдя нѣсколько шаговъ, матросы увидѣли трупъ. Не рѣшаясь прикоснуться къ утопленнику они бросили жребій соломинками, кому изъ нихъ вытащить трупъ на берегъ. „Я знаю, мое несчастье въ томъ, что я обреченъ на постоянное одиночество. Я чувствую отвращеніе къ самому себѣ—и всему конецъ“... Такъ онъ писалъ еще въ юности своей матери, и его грустное предчувствіе оправдалось въ жизни. Онъ умеръ одинокимъ среди наступившаго возмущенія противъ классицизма, хотя и самъ онъ всѣми силами души рвался изъ оковъ классицизма и любилъ краски, правду и жизнь.

Многія событія должны были произойти еще, прежде чѣмъ можно было ожидать сигнала къ освобожденію. Придонъ и Гро были предвѣстниками новаго

теченія; часть его побѣды настала тогда только, когда на сцену выступило новое поколѣніе, выросшее въ безотрадную эпоху реставраціи. Господство классицизма, наслѣдія XVII вѣка, ограничилось однимъ поколѣніемъ. Оно длилось отъ начала революціи и до распадѣнія наполеоновской имперіи. Нѣкоторые ученики Давида дожили до половины XIX вѣка, но ихъ слава ограничивалась академическими почестями. Бурно мчавшіеся впередъ молодые таланты видѣли въ нихъ лишь посредственность, закованную въ цѣпи отжившихъ правилъ. Будущее принадлежало молодежи, которая въ то время отличалась необычайной пламенностью, бодростью и силой. Это было поколѣніе 1830 года „les vaillants de dix-huit cent trente“, какъ его называлъ въ одномъ стихотвореніи Теофиль Готье.

XI.

Поколѣніе 1830 года.

Въ періодъ 1820—1848 гг. Франція создала великое, достойное поклоненія искусство. Послѣ революціи и наполеоновскихъ войнъ выросло новое, сильное поколѣніе, жаждущее подвиговъ и славы; Мюссе говоритъ о немъ въ „Confessions d'un enfant du siècle“. Оно родилось при громѣ пушекъ, среди величія и славы, а въ зрѣломъ возрастѣ переживало позоръ правленія Карла X—эпохи клерикальной реакціи. Повсюду отстраивались заново монастыри. Богохульство, нарушение праздниковъ карались наказаніями въ духѣ среднихъ вѣковъ. Снова провозглашено было ученіе о божественности королевской власти. „Когда молодые люди мечтали о славѣ“,—говоритъ Мюссе,—„имъ отвѣчали: будьте священниками! когда они говорили о честности—имъ отвѣчали: будьте священниками! и когда они говорили о надеждѣ и любви, о силѣ и о жизни, имъ опять отвѣчали: будьте священниками!“ Этотъ гнетъ еще болѣе разжигалъ жажду свободы. Политическая и интеллектуальная реакція должна была неминуемо породить духъ протеста. Романтики были во Франціи врагами филистеровъ. Слово „буржуа“ считалось оскорбленіемъ. Одно только искусство было для нихъ свѣтомъ и живительнымъ пламенемъ. Смыслъ жизни они видѣли только въ красотѣ. Ихъ требованіямъ не могли удовлетворить, „евнухи классицизма“—выраженіе Жоржъ Зандъ. Романтики мечтали о яркихъ краскахъ, о пурпурѣ, о крови. Они искали свѣта, движенія, отваги, глубоко презирали корректность, педантичность и безцвѣтность прежнихъ художниковъ. Они требовали, чтобы внутренній пламень озарялъ и освобождалъ формы, поглощалъ линіи и очертанія, превращалъ картины въ красочныя симфоніи. Во всемъ, въ поэзіи и въ музыкѣ, въ пластикѣ и въ живописи началось исканіе красокъ и страсти, — красокъ такой силы, чтобы они поглощали собой рисунокъ, страсти столь бурной, что лирикѣ и драмѣ грозила опасность впасть въ лихорадочный бредъ и судороги. Увлеченіе, напоминающее время возрожденія, охватило умы. Въ самомъ воздухѣ, казалось, было иѣчто опьяняющее. На сѣромъ фонѣ реставраціи и іезуитскаго вліянія выступило пламенное сіяющее, шумное, искрящееся искусство, боготво-

рящее страсть и пурпуръ. Романтизмъ былъ своего рода протестанскимъ движеніемъ въ литературѣ и въ искусствѣ—такъ опредѣляетъ это движеніе Витэ.

Литература сначала сочувствовала правительству; Шатобрианъ внесъ въ романтизмъ культъ католицизма, королевской власти и среднихъ вѣковъ; но въ двадцатыхъ годахъ романтизмъ принялъ революціонный характеръ. Описаніе борьбы, начатой романтизмомъ—одна изъ самыхъ яркихъ главъ въ классической книгѣ Георга Брандеса. Началось всеобщее возмущеніе противъ поддѣльной античности, противъ неподвижнаго александрийскаго стиха, противъ ига традицій. На сцену выступило мощное поколѣніе поэтовъ, съ байроновскимъ пыломъ провозгласившее евангеліе природы и страсти. Мюссе, знаменитое „дитя вѣка“, идолъ молодежи, поэтъ съ пламеннымъ сердцемъ, такъ стреми-



Теодоръ Жерико.

тельно прожигалъ свою жизнь, что къ сорока годамъ былъ истощенъ, какъ семидесятилѣтній старикъ; онъ наизусть выбиралъ плохія рифмы въ своихъ первыхъ стихотвореніяхъ, чтобы злѣть этимъ классиковъ. Въ драмахъ онъ воспѣвалъ любовь, — страшную силу, съ которой опасно шутить, огонь, съ которымъ нельзя играть. Любовь въ его глазахъ — смертоносный электрическій токъ. Жоржъ Зандъ — одно изъ свѣтилъ романтизма — проповѣдывала разрушительныя идеи въ увлекательныхъ, сверкающихъ страстью романахъ. Среди остальныхъ романтиковъ выделяется рѣзкій профиль Проспера Мермье; онъ воспѣвалъ жизнь цыганъ и разбойниковъ, прославлялъ самые отважные историческіе характеры. Наконецъ, Викторъ Гюго, глава романтиковъ, Паганини въ литературѣ, достигъ вершины славы своей величавостью, виртуознымъ языкомъ и мелочнымъ честолюбіемъ. Толпа пала къ его ногамъ, когда онъ съ дикимъ, пламеннымъ возмущеніемъ ополчился противъ строгости и мертвенности безкровнаго классическаго стиля, и замѣнилъ неподвижныя риторическія трагедіи страстными романтическими драмами, полными движенія и красокъ. Ударъ былъ смертеленъ. Всѣ восторженно приветствовали новаго мессію, упивались фразами Гюго; онъ звучали полѣе и восторженнѣе, чѣмъ холодный, разиѣренный языкъ Корнеля и Расина. Сцена „Théâtre Français“, напоминавшая прежде кладбище своей тишиной, стала шумнымъ полемъ битвы. На представленіяхъ „Кромвеля“ или „Эрнани“ Виктора Гюго, въ ложахъ всѣ были прекрасно одѣты, мужчины, всѣ были бриты съ высокими галстуками и воротниками; это было старшее поколѣніе, — люди достигшіе высокаго положенія своей строгой выдержанностью. Но партеръ наполненъ былъ иной публикой—той „jeune France“, которую изобразилъ



Жерико: Кавалерійскій офицеръ.

нѣжный цвѣтъ сталъ общимъ колоритомъ романтизма, а трубные звуки его основной музыкальной нотой. Страсть, дикость, потоки сѣры, огненный дождь, сожженные пламенемъ пустыни, фосфористое сіяніе разлагающихся веществъ, моря, съ погибающими ночью кораблями, страны, гдѣ война потрясаетъ факеломъ и народы бѣшено кидаются другъ на друга—вотъ основные мотивы боевыхъ кличей и побѣдныхъ пѣсень французскаго романтизма. Въ Германіи того времени молодые художники благочестиво и кротко писали въ Дюссельдорфѣ свои трогательныя, добродѣтельныя и сентиментальныя картины; назарейцы выкапывали изъ могилъ мертвецовъ старо-итальянскаго искусства и старались искусственно воскресить отжившую набожность среднихъ вѣковъ. Во Франціи же выросло поколѣніе художниковъ, проникнутыхъ кипучей жаждой жизни. Они гнались за искренностью и правдой, но въ то же время искали во всемъ художественныхъ контрастовъ, страстей, сочетающихъ величественность и дикость. Въ Германіи ростъ искусства заключался лишь въ томъ, что отжившій караидашій стиль Карстеуса смѣнился безуспѣшнымъ подражаніемъ жизнерадостному колориту quattrocent'истовъ; французы же стали быстро приближаться къ фламандцамъ. Наполеонъ обогатилъ Францію не только военной славой, но и огромными художественными сокровищами, привезенными въ Парижъ изъ разныхъ странъ въ знакъ побѣды надъ ними. Въ богатѣйшихъ галлерейхъ собрали все, что могло оказать благоприятное вліяніе на развитіе живописи. Нигдѣ нельзя было лучше изучить венеціанскихъ колористовъ и Рубенса, чѣмъ въ Луврѣ, и это непосредственное знакомство съ эпохой высшаго развитія колорита помогло поколѣнію 1830-го года полно выразить колоритность и пламенную страсть жизни, какъ она рисовалась ихъ

Теофиль Готье: одинъ съ длинной, падающей на плечи львиной гривой, другой въ шляпѣ à la Рубенсъ и испанскомъ плащѣ, или въ свѣтло-красной атласной курткѣ. Всѣ они при этомъ носили нѣчто общее, своего рода мундиръ,—красный жилетъ, введенный въ моду Теофиломъ Готье. Это не былъ красный цвѣтъ революціонеровъ, а пурпуръ—эмблема ненависти восторженной молодежи ко всему сѣрому и любви къ яркимъ, сочнымъ краскамъ. Глядѣть на красное сукно, говорили они, истинное художественное наслажденіе. Такая же перемѣна произошла и въ женскихъ нарядахъ. Во время революціи въ платьяхъ преобладалъ блѣдный цвѣтъ греческихъ одѣяній. Теперь женщины стали носить всѣ цвѣта, въ особенности ярко-красный. Красныя ленты развѣвались на шляпахъ и опоясывали таліи. Крас-

возбужденной фантазіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ расширилось и содержаніе живописи. Романтики показали, что героями исторіи и поэзіи могутъ быть не только греки и римляне. Предметомъ живописи становилось для нихъ все, въ чемъ были краски и характеръ, страсть и экзотизмъ. Романтизмъ сталъ протестомъ живописи противъ пластики, протестомъ свободы противъ академическихъ ученій классицизма, противъ всякой неподвижности въ искусствѣ.

Мастерская Герена, робкаго и кроткаго классика, стала колыбелью молодыхъ бунтовщиковъ 1830 года. Они называли Аполлона бельведерскаго гнилой рѣпой; Расинъ и Рафаэль были для нихъ уличными мальчишками. Имъ надобно списывать профиль Антиноя и разглядывать портреты Жироде. Отважный и пылкій *Теодоръ Жерико* (Theodore Géricault), первый произнесъ освободительное слово.



Жерико: Раненный кирасиръ.

Онъ былъ нормандецъ, сильный и серьезный человѣкъ отъ природы. Еще въ мастерской Герена онъ проникся нѣкоторыми идеями Гро. Не будучи его ученикомъ, Жерико сталъ его продолжателемъ, или во всякомъ случаѣ могъ бы стать имъ, если бы прожилъ дольше. Онъ тоже съ дѣтства любилъ наблюдать съ благоговѣніемъ бурное море и грозное небо, любилъ красивыхъ лошадей, былъ склоненъ къ грусти и предавался изученію мрачныхъ сторонъ жизни. Онъ писалъ въ разныхъ видахъ взволнованное море, мчащихся въ скачъ лошадей, страданія людей, все, въ чемъ проявляется возбужденіе, борьба. Содержаніе его первыхъ картинъ—превосходно написанные всадники, у которыхъ чувствуется движеніе каждаго нерва. Уже во время короткаго пребыванія въ мастерской Карла Вернэ,—Жерико интересовался кавалеріей и съ тѣхъ поръ изучалъ лошадей всю жизнь. Работая у Герена и до знакомства съ Италіей въ 1817 г. онъ часто ходилъ въ Лувръ и копировалъ Рубенса, — къ ужасу своего учителя, который считалъ этотъ путь чрезвычайно опаснымъ.

Въ этомъ отношеніи онъ также былъ продолжателемъ Гро. Портретъ генерала Фурнье-Сарловезе работы Гро висѣлъ на выставкѣ 1812 года рядомъ съ картиной Жерико—портретомъ г-на Дьедонна, офицера африканскихъ стрѣлковъ. Это была первая работа Жерико. Ему было тогда 21 годъ. Офицеръ изображенъ съ саблей на голо; онъ несется по полю битвы на бѣшеномъ конѣ. Картина эта была событіемъ. Начинающій художникъ не только сравнялся съ Гро, но опередилъ его, увлекаясь подобно ему красками, движеніемъ, смѣлостью очертаній. Въ 1814 г. послѣдовала новая картина—раненный кирасиръ идетъ, шатаясь, по полю битвы и ведетъ лошадь въ поводу. На бѣшенныхъ коняхъ сидѣли уже не условные воины, а настоящіе солдаты, насколько не похоже на греческія статуи. Жерико ѣздилъ въ Италію, но уже не занимался археологическими изслѣдованіями въ музеяхъ, а изучалъ лошадей на скачкахъ во время карнавала. Тогда написаны были этюды лошадей, которые до сихъ поръ высоко цѣнятся любителями. Рисунки сдѣланы съ натуры. Жерико срисовывалъ то, что видѣлъ на улицѣ или въ конюшняхъ. „Лошади у яслей“ и „бой лошадей“ были украшеніемъ собранія французскихъ рисунковъ на



Жерико: Плотъ „Медузы“.

всемирной выставкѣ 1889 года. Въ 1819 г. онъ закончилъ свою большую картину „Плотъ Медузы“. Принименн Жерико всегда вспоминается именно эта картина. Какое потрясающее зрѣлище! Дѣвѣнадцать дней несчастные носятся по морю, — страдая отъ голода, утративъ всякую надежду на спасеніе, готовые убить другъ друга. Ихъ было 150, теперь же ихъ только пятнадцать.

Одинъ старикъ держитъ на колѣняхъ трупъ своего сына, другой рветъ на себѣ волосы — всѣ его родные умерли, онъ одинъ остался въ живыхъ. На волнахъ лежатъ еще не унесенные теченіемъ трупы. Но вдали показывается парусъ. Всѣ на него указываютъ другъ другу. Да, это несомнѣнно парусъ. Одинъ изъ матросовъ и негръ становятся на пустую бочку и машутъ платками. Замѣтятъ ли ихъ оттуда? Всѣ въ ужасѣ. Грозныя сѣрыя волны подступаютъ все ближе. Какое впечатлѣніе должна была произвестн такая сцена, послѣ того какъ въ теченіе многихъ лѣтъ на выставкахъ появлялись условныя мифологическія фигуры и разнсоаванныя статуи. Жерико первый пересталъ срисовывать гипсовые модели и предпочелъ холоднымъ мраморнымъ формамъ страсть и жизненную правду. Онъ заказалъ модель плота въ корабельной мастерской; ее строили люди сами спасшіеся на плотѣ „Медузы“. Кромѣ того онъ нанялъ себѣ мастерскую около госпиталѣ, чтобы дѣлать этюды съ больныхъ и умирающихъ, изучать трупы и отдѣльныя части тѣла. Жерико по формѣ примыкаетъ еще къ школѣ Давида. Переживаніе классическихъ традицій сказывается въ томъ, что большинство мореплавателей изображены нагими во избѣжаніе „неживописности“ современной одежды. Фигуры слышкомъ академичны. Голодъ, болѣзни, борьба со смертью недостаточно ясно отражаются на лицахъ — у всѣхъ слишкомъ бодрый и здоровый видъ. Но сразу нельзя освободиться отъ вліянія временн и окружающей среды. Даже въ колоритѣ картины чувствуется еще вліяніе классицизма. Краски не мѣшаютъ общему впечатлѣнію, а это уже успѣхъ сравнительно съ назарейской школой, но онъ также и не углубляетъ значенія картины. Изъ дали, откуда близится спасительный корабль, падаетъ яркій свѣтъ; все остальное написано въ тускло-коричневыхъ тонахъ. Картина лишена всякаго колоритнаго замысла; это шагъ назадъ даже сравнительно съ прежними работами Жерико. Онъ началъ съ изученія Рубенса, но не продолжалъ совершенствоваться въ колоритѣ. Уже въ раненномъ кирасирѣ 1814 г. темные тона замѣнили прежнюю яркость и живность красокъ. Для гибели Медузы онъ тоже избралъ только мрачныя краски. Вся картина написана въ однообразномъ, н неприятномъ коричневомъ тонѣ. Художникъ сосредоточился на изображеніи чело-вѣческой страсти; даже море едва намѣчено, хотя оно играетъ въ драмѣ главную роль. Глубокая синева моря создала бы интересны контрастъ. Но открытія дѣлаютъ въ искусствѣ не сразу, а лишь тогда, когда для нихъ наступаетъ свое время.



Жерико: Скачки въ Ипсомѣ 1821 г.

Французская живопись должна была прежде всего вернуть краскамъ ихъ настоящее значеніе, завоеванное еще Тиціаномъ. Вмѣсто того, чтобы служить только изящнымъ внѣшнимъ украшеніемъ краски должны передавать настроеніе. Жерико не успѣлъ многого сдѣлать въ этомъ направленіи. Поѣздка въ Лондонъ въ 1820 г. вмѣстѣ съ Шарлзъ, другомъ Жерико, была послѣднимъ событіемъ въ его жизни. Тамъ въ немъ снова проснулась спортсменская жилка. Онъ написалъ „Скачки въ Ипсомѣ“. Вскорѣ послѣ возвращенія, онъ упалъ съ лошади, катаясь верхомъ, и прожилъ послѣ этого лишь нѣсколько лѣтъ, страдая все время отъ болѣзни спиннаго мозга. Онъ сдѣлался бы несомнѣнно однимъ изъ лучшихъ живописцевъ Франціи, если бы достигъ возраста хотя бы Рафаэля. Онъ умеръ 32 лѣтъ, такъ же какъ Бастіенъ Лепажъ, ранняя смерть котораго—одна изъ величайшихъ утратъ для французскаго искусства въ XIX в.

Жерико еще дожилъ до выставки 1822 года, на которой впервые выступилъ одинъ изъ его товарищей по мастерской Герена. Преемникомъ рано умершаго Жерико, исполнителемъ его завѣтовъ въ живописи сдѣлался болѣе великій художникъ, чѣмъ онъ самъ. Жерико успѣлъ передать ему умирающимъ голосомъ нѣсколько завѣтовъ и онъ уже довелъ до конца борьбу, начатую Жерико. 26-го апрѣля 1799 года, ровно въ полдень, родился въ Шарантонѣ Санъ-Морисъ первый живописецъ XIX вѣка, обладавшій истиннымъ глазомъ художника. Жерико пробилъ брешь, а геній *Евгенія Делакруа* (Eugène Delacroix) вошелъ въ эту брешь и выполнилъ до конца жизненную задачу Жерико. То, что Гро смутно предчувствовали, но не смѣлъ выразить, что Жерико едва успѣлъ намѣтить отважной рукой, застывшей слишкомъ рано,—всю эту современную поэму красокъ, пыла и животрепещущей страсти, написалъ Делакруа.

„Этотъ ребенокъ будетъ знаменитымъ человѣкомъ. Онъ будетъ много трудиться, но жизнь его будетъ очень бурной и всегда полна противорѣчій“.



Делакруа: Ладья Данте.

Так пророчествовал один из больных шарантонского дома умалишенных, встретив мальчика Делакруа, который гулял со своей няней вблизи больницы. Пророчество сбылось. Делакруа тоже воспитался в мастерской Герена, ученика Давида. Он стал его полной противоположностью; он учился не на образцах античного искусства, а изучал Рубенса и Веронезе. Когда Жерико написал „Гибель Медузы“, Делакруа сразу примкнул к маленькой группе восторженных поклонников молодого художника. С Делакруа написан перегнувшийся на левом человеке на картине Жерико. Сначала Делакруа почти исключительно писал карикатуры, этюды лошадей и классических мадонн, а в 1822 году появилась его „Ладья Данте“—по колориту первая настоящая картина XIX века. Когда Давид увидел эту картину, первое мощное и знаменательное проявление революционного духа романтиков, он воскликнул: „D'où vient il? je ne connais pas cette touche là“. Эти слова просятся и теперь на уста при взгляде на картину. Ничего подобного не было задумано и выполнено со времени Рубенса. Данте и Вергилий плывут в лодке по Ахерону мимо осужденных грешников, которые с энергией отчаяния хватаются за борта. Вергилий—античная фигура, взятая из какого-нибудь средневекового автора, но уже прошедшая через призму современного поэтического понимания. Данте, цепеня от ужаса, рассматривает плывущих грешников, которые зубами и ногтями цепляются за лодку. Лицо Вергилия спокойно и величественно; он уже не подвластен зрелищам жизни. Успех картины был неслыханный. Молодой художник послал на выставку картину в простой рамке, сколоченной плотником из четырех досок. Когда Делакруа пришел на выставку и стал

искать свою картину въ боковыхъ залахъ, онъ ее не нашель. Рамка раскололась при переноскѣ, картина же висѣла на почетномъ мѣстѣ въ Луврѣ, въ богатой рамѣ, заказанной для нее барономъ Гро. „Учитесь рисовать, молодой человекъ, и вы станете новымъ Рубеномъ“. Этими словами привѣтствовалъ молодого художника странный человекъ, у котораго поступки всегда расходились съ его теоріями. Въ школу Давида Делакруа не былъ бы уже, конечно, допущенъ, или считался бы въ ней однимъ изъ послѣднихъ — вмѣстѣ съ Рубеномъ и нѣсколькими другими безсмертными художниками, которые рисовали не лучше его. Его манера была прямой противоположностью всякой точности, правильности, уравновѣшенности, всякаго научнаго педантизма и безцвѣтности, которая господствовали въ школѣ Давида. Эстетика классиковъ признавала только греческій типъ красоты и переносила въ живопись идеаль пластики. Въ картинѣ Делакруа не было пластическихъ красотъ. Жерико порвалъ съ академическимъ шаблономъ формы и замѣнилъ условные типы естественностью выраженія, жизнью и страстью. Делакруа отрекся и отъ угрюмаго колорита классиковъ. Пестрая разрисовка статуй смѣнилась красочными симфоніями въ духѣ венеціанцевъ.

Еще болѣе, чѣмъ въ „Ладѣ Данте“, новизна манеры Делакруа проявилась нѣсколько лѣтъ спустя во второмъ его произведеніи. Греки, героически сражавшіеся за вѣру и свободу, возбуждали повсюду глубокое состраданіе и восторги. Делакруа тоже поддался общему увлеченію. Сочувствіе греческимъ мученикамъ и увлеченіе поэзіей Байрона отразились въ знаменитой картинѣ 1824 г. „Рѣзня въ Хиосѣ“. Картина эта была начата еще въ 1821 г., до окончанія „Ладѣ Данте“. Сила выраженія и колорита тамъ доведена еще до болѣе высокой. Въ „Ладѣ Данте“ формы и краски напоминали еще великихъ флорентинцевъ—женская фигура на первомъ планѣ почти полное повтореніе Ночи Микель Анджео. Въ исполненіи сказывается сравнительно больше спокойствія, а выдержанность композиціи сдѣлала бы честь самому строгому ученику Давида. Новизна была только въ колоритѣ и въ томъ, что индивидуальное и характерное замѣнило типичное и идеальное.

Но конечно, оставалось достигнуть не только болѣе сильныхъ красочныхъ созвучій, но и большаго драматизма, такъ какъ срисовываніе гипсовыхъ моделей привело школу Давида къ изображенію застывшихъ позъ вмѣсто живыхъ страстей. Все это Делакруа имѣлъ въ виду въ своей новой картинѣ. Пирамидальная



Делакруа: Рѣзня въ Хиосѣ.



Делакруа: Тассо въ темницѣ.

схема смѣнилась непринужденной группировкой. Делакруа впервые вполнѣ выказалъ свой художественный геній. Опьяненный красками „ненстовый Орландъ колорита“ является ученикомъ Рубенса. Въ его картинѣ воплощенъ цѣлый міръ глубокихъ чувствъ и болѣзненно страстной поэзіи, цѣлый міръ новыхъ звуковъ; о нихъ не имѣлъ понятія учитель, на глазахъ котораго онъ писалъ „Ладью Данте“. Сидящія, стоящія на колѣняхъ и полулежащія фигуры, съ изможденными тѣлами и мрачными безнадежными лицами, отчаянная борьба побѣдителей и жертвъ въ глубинѣ картины, контрастъ ужасовъ, рѣзни и яркаго воздуха, богатство красокъ, дѣлаютъ эту картину одной изъ самыхъ поразительныхъ въ Луврѣ. Столь пламенными красками не писали во Франціи со временъ Рубенса. Учителями Делакруа были англичане. „Только въ Англіи можно понять и познать краски и эффекты“, — писалъ Жернко изъ Лондона. Картина Делакруа была уже сдана на выставку въ Салонъ, когда туда прибыли первыя картины Констабля. Онъ произвелъ столь сильное впечатлѣніе на Делакруа, что онъ въ послѣдній моментъ, уже въ Луврѣ, придавъ своей картинѣ болѣе свѣтлый, яркій колоритъ.

Картина Делакруа показала наконецъ классникамъ, какой у нихъ явился противникъ. Не только старикъ Гро назвалъ „Massacre de Scio“ — „massacre de la peinture“, но вся критика заговорила о варварствѣ новой манеры и стала предсказывать, что на этомъ пути французская живопись близится къ гибели. Первую медаль въ Салонѣ получила не „Рѣзня“, а „Локуста“ Сигалона, — незначительная картина въ условномъ вкусѣ, отличавшаяся только силой и выдержанностью рисунка. Делакруа упрекали въ несимметричности группировки. Художникъ, по мнѣнію критиковъ, выказалъ слишкомъ много презрѣнія къ

красотѣ. Онъ какъ бы намѣренно оказывалъ предпочтеніе уродству. Другими словами въ немъ порицали то, что составляетъ сущность его нововведеній. Въ теченіе многихъ лѣтъ, въ искусствѣ царили разумъ, выдержанность и чувство мѣры и никто уже не былъ въ состояніи сразу понять пламенную душу молодого художника. Делеклюзъ, неутомимый защитникъ священныхъ заветовъ классицизма, говорилъ, что „драматизмъ выраженія и оживленность композиціи“—подводный камень, о который разобьется живопись высокаго стиля. Новая школы въ искусствѣ, доказывалъ онъ еще въ 1824 г., возникають, живутъ и процвѣтають только благодаря тому, что перерабатываютъ греческія ученія. Даже если признать за новой живописью преимущества колорита, то всетаки картины современныхъ художниковъ относятся, по его мнѣнію къ болѣе низкому жанру и всѣ качества колорита не могутъ загладить уродства формъ. Съ этого начались битвы романтизма. Нужна была смѣлость такихъ людей, какъ Теофиль Готье, Тьеръ, Викторъ Гюго, Сентъ-Бевъ Бодлэръ, Густавъ Планшъ, Поль Манцъ и др., чтобы свергнуть теоретиковъ классицизма съ ихъ высоты, защищаемыхъ тяжелой артиллеріей. Не меньше мужества выказалъ графъ Форбинъ, директоръ департамента изящныхъ искусствъ, купивъ на счетъ правительства—за шесть тысячъ франковъ—высмѣянную критиками картину. Продажа картины дала Делакруа возможность совершить путешествіе въ Англію.



„Делакруа: Гамлетъ и могильщики.“

Онъ пробылъ въ Лондонѣ отъ весны до осени 1825 г. и былъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ англійскими художниками того времени. Кромѣ англійскаго искусства, онъ серьезно изучилъ англійскую литературу и театр. Его любовь къ Шекспиру, Байрону и Вальтеръ Скотту, которые и прежде были излюбленными его поэтами, получила новую пищу. Какая то англійская опера познакомила его впервые съ Фаустомъ Гёте. Съ тѣхъ поръ эти поэты стали его главными вдохновителями. Вслѣдъ за „Рѣзней“ онъ написалъ картину изъ жизни Тассо (поэтъ сидитъ въ камерѣ дома умалишенныхъ, къ нему заглядываютъ въ комнату два сумасшедшихъ и хохочутъ). Въ 1826 г. послѣдовала „Казнь дожа Марино Фальери“, въ 1827 г. „Смерть Сарданапала“ по Байрону, въ 1828 году „Фаустъ въ своемъ кабинетѣ.“ Во всѣхъ этихъ картинахъ чувствуется художникъ, любящій свѣтлыя, и сочныя краски, хорошо знающій Рубенса и побывавшій въ Англіи. Въ 1828 г. издана была серія иллюстрацій Делакруа къ Фаусту—семнадцать кар-



Делакруа: Алжирскія женщины.

тинъ, сопровождающихъ французскій переводъ Фауста, затѣмъ рядъ иллюстрацій къ Шекспиру. Произошла странная перестановка понятій. Когда впервые въ Германіи произнесено было слово романтизмъ, оно обозначало сначала тяготѣніе ко всему романскому. Нѣмецкіе романтики вдохновлялись романскимъ католицизмомъ и романскими церковными картинами. Во Франціи же слово романтизмъ получило противоположное значеніе: оно стало обозначать увлеченіе германской и англосаксонской культурой въ противоположность греческой и латинской, означать предпочтеніе великихъ германскихъ и англосаксонскихъ поэтовъ, Шекспира и Гете. Ихъ могучій геній и кипучая страсть казались выше расиновской корректности. Такое сильное вліяніе поэзіи можетъ быть пагубнымъ для искусства, если живописецъ, какъ это было въ дюссельдорфской школѣ, рабски слѣдуетъ словамъ поэта, чтобы придать искусственный интересъ произведеніямъ, не имѣющимъ самостоятельной силы. Делакруа не нуждался въ такой опорѣ. Онъ не былъ ученикомъ поэтовъ, а ихъ братомъ. Онъ читалъ поэтовъ не для того только, чтобы ихъ иллюстрировать. Онъ жилъ съ ними общей жизнью, а не заимствовалъ у нихъ сюжетовъ. Онъ только пользовался содержаниемъ поэмъ, чтобы на своемъ собственномъ мощномъ языкѣ выражать самую глубокія страсти человѣческаго сердца. При этомъ онъ никогда не забывалъ, что живопись прежде всего должна оставаться живописью. Одаренный душой поэтъ, онъ оставался живописцемъ въ своихъ замыслахъ. Его картины не кропотливый переводъ поэмъ на полотно. Онъ мыслилъ въ краскахъ. То, что музыкантъ слышитъ, что поэтъ думаетъ, то онъ видѣлъ просвѣтленнымъ зоромъ. Прочтенная сцена тотчасъ же представлялась его глазамъ, какъ эскизъ, какъ цѣлый рядъ красочныхъ сочетаній. Композиція, движеніе и краски сливались у него въ неразрывное цѣлое.

Путешествіе въ Марокко весной 1832 года, въ посольствѣ Луи-



Делакруа: Сцена изъ Гюльскихъ дней.

Филиппа къ императору Мулею Абдерахману, оказалось полезнымъ для развитія его пониманія красокъ; оно также расширило область его сюжетовъ. Делакруа увидѣлъ Алжиръ и Испанію и накопилъ въ своемъ воображеніи много свѣта и красокъ къ тому времени, когда снова высадился въ Тулонѣ 5-го Іюля 1832 г. Его восточныя картины обозначаютъ высшее развитіе его таланта, такъ же какъ поэтический даръ Виктора Гюго сильнѣе всего сказался въ его восточныхъ пѣсняхъ. Гёте воспѣвалъ въ своемъ восточно-западномъ Диванѣ спокойствіе и уравниовѣшенность восточнаго міросозерцанія. Для Обермана востокъ былъ страной сказокъ, и волшебной лампы Аладина. Для Байрона, который первый познакомилъ Европу съ красками и благоуханіемъ востока, а также для Гюго и для Делакруа востокъ былъ далекимъ варварскимъ царствомъ, страной кровавыхъ войнъ, родиной свѣта и красокъ. Тамъ французскіе романтики увидѣли на яву тѣ краски, которыми полно было ихъ воображеніе. Востокъ сталъ для нихъ тѣмъ, чѣмъ для классиковъ былъ Римъ. Они спасались въ Африку отъ подернутаго туманомъ солнца Парижа, отъ сѣраго неба бульваровъ.

Въ письмахъ Делакруа полно и ярко сказывается его восторгъ передъ открывшимся ему новымъ міромъ. „Вдали отъ своей родины“—писалъ онъ изъ Марокко о туземцахъ—и они какъ деревья вырванные изъ почвы. Мой духъ не понималъ бы ихъ и я бы могъ только не полно и холодно изобразить увлекательную жизнь здѣшнихъ улицъ и всего того, что поражаетъ воображеніе своей внѣшней красотой. Подумай только, другъ мой, что значитъ для живописца видѣть людей, которые лежатъ на солнцѣ и продаютъ туфли—если эти люди смотрятъ старыми консулами, пробужденными къ новой жизни, призраками Катона и Брута. У нихъ даже есть въ лицахъ то гордое недо-



Делакруа: Медея.

вольство, которое должно было быть у римлянъ, властителей вселенной. Все ихъ имущество заключается въ старомъ одѣялѣ. Днемъ оно служить имъ плащомъ, ночью они спятъ подъ нимъ, въ немъ же ихъ хоронятъ. И при этомъ они довольны, какъ Цицеронъ на своемъ курильскомъ креслѣ. Сколько правды и благородства въ этихъ фигурахъ! Ничего болѣе прекраснаго нельзя найти въ античномъ искусствѣ. Всѣ фигуры выдержаны въ блѣломъ цвѣтѣ, какъ римскіе сенаторы, или сцены греческихъ панатиней". Палитра Делакруа обогатилась еще болѣе яркими тонами: излюбленные контрасты утратили свою рѣзкость, а мрачный фонъ смѣнился болѣе свѣтлымъ, отливающимъ золотомъ. Его алжирскихъ женщинъ очень удачно сравнивали, по колориту, съ драгоценными камнями въ открытой шкатулкѣ. Въ картинѣ „Тангирскіе одержимые" изображено религиозное безуміе одной турецкой секты. Картина проникнута истиннымъ демонизмомъ. Зеленые, красные и фіолетовые цвѣта сливаются въ оглушительный аккордъ,

звучащій, какъ музыка янычаръ. „Вступленіе крестоносцевъ въ Константинополь" похоже по колориту на старинный гобеленъ; всѣ краски сливаются въ мощную спокойную гармонію. Делакруа писалъ въ старости: „Эта страна всегда будетъ стоять у меня передъ глазами. Типы этого мощнаго народа останутся у меня въ памяти до самой смерти. Въ нихъ воскресла для меня античная красота."

Изученіе востока привело Делакруа къ обработкѣ античныхъ сюжетовъ. До тѣхъ поръ онъ издѣлывалъ ихъ, не потому, что-бы не любилъ древности вообще, а потому, что ему не нравился классицизмъ школы Давида. Путешествуя по Африкѣ, онъ составилъ себѣ убѣжденіе, что для изображенія древней жизни не нужно, какъ это дѣлали Давидъ и его ученики, копировать статуи и рельефы; напротивъ того, слѣдуетъ вносить въ картины страстность и подвижность современной жизни, потому что древніе греки тоже были живыми людьми. Делакруа сорвалъ мраморную маску съ кукольныхъ фигуръ Давида и его школы. Греческія статуи начали оживать, фламандская страсть разбила ихъ неподвижность. Въ „Правосудіи Траяна" 1840 г., античная жизнь изображена въ духъ новыхъ вѣковъ, такъ, какъ бы ее поняли Шекспиръ или Байронъ. По краскамъ главное произведеніе этой группы картинъ—разъяренная Медея.

Человѣкъ съ такой страстной восторженной душой не могъ, конечно, пройти равнодушно мимо трагедіи Христа и страданій христіанскихъ мучениковъ. Во времена революціи религиозные мотивы были изъяты изъ области искусства; молодые новаторы времени реставраціи тоже относились къ евангельскимъ сюжетамъ съ предубѣжденіемъ. Ихъ идеи не сходились ни съ

католическими, ни съ академическими традиціями. Делакруа первый вернулся къ библейскимъ сюжетамъ, увлеченный ихъ драматизмомъ. Подобно Рубенсу, онъ видѣлъ въ жизни святыхъ, въ евангельскихъ притчахъ и въ трагедіи Христа только поэтический рассказъ. Его Марія, какъ и Марія Рубенса, только оплакивающая свою судьбу женщина, воплощеніе глубокой человѣческой печали.

Рядомъ съ этими картинами Делакруа въ теченіи болѣе 25 лѣтъ выполнилъ множество декоративныхъ работъ и украсилъ стѣнной живописью много общественныхъ зданій. Его работы самыя геніальныя, смѣлыя и оригинальныя произведенія монументальной живописи этого періода, не только во Франціи, но и во всей Европѣ. Даже въ этой области, гдѣ такъ трудно избѣжать вліянія традицій и переживаній, Делакруа остался вполнѣ оригинальнымъ. Въ 1835 г. ему была поручена, благодаря вліянію его друга Тьера, стѣнная живопись въ палатѣ депутатовъ Бурбонскаго дворца. Это самая значительная работа такого рода, когда либо порученная французскому художнику со времени Грб, написавшаго куполь въ Пантеонѣ. Съ большимъ воодушевленіемъ онъ вскорѣ послѣ того написалъ потолокъ въ Луврѣ, изобразивъ на немъ торжество Аполлона. Для Люксембургской библіотеки онъ избралъ сюжеты изъ „Божественной Комедіи“ и съ большимъ мастерствомъ разработалъ этотъ ему хорошо знакомый сюжетъ. Въ его произведеніяхъ живетъ нѣчто, напоминающее веселіе и праздничность аллегорическихъ картинъ Рубенса, прічемъ, однако, не можетъ быть и рѣчи о подраженіи. Декоративную живопись онъ понималъ въ духѣ великихъ мастеровъ прежнихъ временъ, Джуліо Романо и Веронезе а не какъ стѣнную дидактику или лекцію по археологіи. Онъ зналъ, что описательной прозѣ не мѣсто на стѣнахъ зданій; единственная цѣль такихъ картинъ заключается въ томъ, чтобы придавать заламъ характеръ торжественности, подобно величественнымъ звукамъ органа, звучащимъ въ храмѣ. Между 1853 и 1861 гг. написаны были фрески въ церкви св. Сюльпиція. Делакруа закончилъ ихъ съ лихорадочной поспѣшностью, какъ бы желая показать, сколько силы и страсти жгло еще въ душѣ 60-лѣтняго старца. Вскорѣ послѣ окончанія ихъ, 13 августа 1863 г., онъ умеръ. Это былъ, какъ говорить Сильвестръ, „настоящій живописецъ; у него былъ солнечный свѣтъ въ головѣ и гроза на душѣ. Сорокъ лѣтъ онъ неустанно изображалъ всю гамму человѣческихъ страстей; его величественная, грозная кисть переходила



Делакруа: Изгнаніе Геліодора.



Делакруа.

отъ святыхъ къ воинамъ, отъ воиновъ къ сценамъ любви, отъ нихъ къ тиграмъ, а отъ тигровъ къ цвѣтамъ*.

Эти слова очень вѣрно опредѣляютъ Делакруа. Область его сюжетовъ обнимаетъ все: декоративную, историческую и религиозную живопись, пейзажи, цвѣты, звѣрей, морскіе виды, классическую древность и средніе вѣка, зной юга и туманы сѣвера. Онъ коснулся своей мощной кистью всѣхъ родовъ живописи. Но есть нѣчто объединяющее всѣ сюжеты. Во всѣ фигуры, которымъ онъ первый далъ право гражданства въ искусствѣ, онъ внесъ страсть и движеніе. Его преимущественное свойство—страсть къ ужасному, ненасытность въ изображеніи могучихъ дикихъ движеній. Его возбужденная фантазія накопляетъ въ картинахъ ужасы, страданія и аффекты. Критики называли его «татуированнымъ дикаремъ, который пишетъ

пьяной метлой». Въ его живописи нѣтъ ничего красиваго или привлекательнаго—ничего, кромѣ дикаго разгула страсти во всевозможныхъ видахъ, въ образахъ дикихъ звѣрей, бурнаго моря или сражающихся воиновъ. Онъ искалъ страсть подъ всѣми широтами, и въ природѣ также, какъ въ поэзии и Библии. Ни одинъ живописецъ, даже Рубенсъ, не изображалъ съ такой силой страсти и движенія звѣрей. Львовъ онъ писалъ какъ Бари, сражающихся лошадей не хуже Жерико. Онъ не подражаетъ въ изображеніи волнъ, пѣнящихся и бурлящихъ въ непогоду. Въ нихъ чувствуются всѣ ужасы, скрытые подъ голубой поверхностью и недостаточно полно изображенные на «Гибели Медузы» Жерико. Историческія картины Делакруа полны страданій и отчаянія, какъ напр. «Рѣзня въ Хіосѣ», или же мрачнаго ужаса, какъ «Медея», или лихорадочнаго движенія какъ «Смерть епископа Лютихскаго». Онъ переходитъ отъ Данте къ Шекспиру, отъ Гёте къ Байрону, и беретъ у нихъ лишь самыя драматичныя сюжеты—Гамлета у могилы Іорика, борьбу Гамлета съ Лаэртомъ, Макбета, вѣдьмъ, лэди Макбетъ, Гретхенъ, Анжелику, Шильонскаго узника, Гяура. Ему подвластны всѣ времена и всѣ страны, онъ гордо проходитъ по обширному полю фантазіи, все покиная на своемъ пути: всегда, во всѣхъ великихъ человѣческихъ трагедіяхъ, онъ пользуется стихіями, какъ своими рабами. Страсти людей приводятъ въ движеніе небо и землю. Жалобнымъ крикамъ ея жертвъ отвѣчаютъ мрачныя тѣни и тяжелыя тучи на небѣ. Угрюмые берега, къ которымъ приближается ладья Данте, полны такой же безнадежной тоски, какъ и призраки блуждающіе во мракѣ. Когда блескъ и слава воодушевляють людей, какъ напр. при вступленіи крестоносцевъ въ Константинополь, то и воздухъ тоже сіяетъ какъ бы пропитанный золотистой пылью. Въ картинахъ Делакруа отразилась съ безграничной стнхійной силой великая человѣческая душа, таящая въ себѣ неизсякаемый родникъ пламени.

Способность жить и творить изъ себя объясняетъ, почему этотъ необузданный, гениальный живописецъ былъ въ жизни менѣе всего революционеромъ. Для Делакруа внѣшней жизни не существовало. Одинъ только разъ, въ 1831 году онъ написалъ сцену на баррикадахъ. Съ тѣхъ поръ онъ избѣгалъ всякаго намека на политику въ своихъ картинахъ. Онъ писалъ картины, читалъ и

вель спокойную, упорядоченную жизнь. Очень сдержанный въ обращеніи, аристократически холодный, высоко просвѣщенный, онъ отличался въ разговорѣ ѣдкостью, отрывистостью и остроуміемъ, но умѣлъ быть, когда хотѣлъ, любезнымъ, оригинальнымъ собесѣдникомъ, дѣлать очень умныя замѣчанія. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ писателемъ и критикомъ, авторомъ классическихъ очерковъ въ Revue des Deux Mondes. Онъ однако не любилъ, чтобы его называли главой официальнаго романтизма, Викторомъ Гюго въ живописи. Его окружали молодые энтузіасты, не признавшіе ничего стараго; онъ же любилъ выражать свое преклоненіе передъ Расиномъ, котораго зналъ наизусть и защищалъ противъ нападковъ молодежи. Онъ былъ слишкомъ тонкимъ дипломатомъ, чтобы ненужнымъ образомъ возбуждать ненависть тѣхъ,



Энгр.

которыхъ длинноволосые романтики называли филистерами. Онъ старался, насколько отъ него зависѣло, ничѣмъ не прерывать правильнаго теченія жизни. При всей своей страстной любви къ свѣту и краскамъ, онъ почти всегда сидѣлъ взаперти въ своей мастерской. Только тогда, когда онъ бралъ кисть въ руки, онъ превращался изъ сдержаннаго человѣка въ пламеннаго живописца. Тогда въ немъ оживали впечатлѣнія, оставшіяся отъ чтенія поэтовъ, и его фантазія превращала ихъ въ величественные, страстные образы. Они волновали, воспаляли, воодушевляли его. Онъ не любилъ поэтому впускать посѣтителей въ свою мастерскую. Присутствіе постороннихъ охлаждало его вдохновеніе и ему стоило большаго труда возвращаться къ работѣ. Онъ ничего не дѣлалъ до вечера, полагая, что на тошакъ лучше работается. Цѣлые сорокъ лѣтъ онъ жилъ уединенно въ своихъ мастерскихъ, сочинялъ, рисовалъ, писалъ безъ усталы, держа всегда дверь на запорѣ, чтобы отдаваться когда ему вздумается лихорадочному труду. Каждое утро до начала работы онъ дѣлалъ рисунокъ руки, ноги или драпировки по Рубенсу. Онъ привыкъ копировать Рубенса каждый день, какъ къ чашкѣ кофе послѣ обѣда.

Въ самомъ дѣлѣ, когда рѣчь идетъ о Делакруа, невольно вспоминается имя Рубенса, а между тѣмъ, между французскимъ художникомъ и великимъ фламандцемъ существуетъ глубокое различіе. Рубенсъ былъ тоже полонъ страсти, какъ и Делакруа, онъ обладалъ такой же неутомимой фантазіей, но все-таки картины его дышатъ величественнымъ покоемъ, а въ картинахъ Делакруа всегда слышится боевой кличъ. Въ картинахъ Рубенса чувствуется счастливый здоровый человѣкъ; если же внимательно разглядѣть десятокъ картинъ Делакруа, то станеть яснымъ, что жизнь его состояла изъ сплошной борьбы и страданій. Рубенсъ былъ воплощеніемъ здоровья, Делакруа больнымъ



*Энгр: Портрет художника
въ молодости.*

человѣкомъ. Рубенсъ полонъ жизнерадостныхъ чувствъ, Делакруа горѣлъ лихорадочнымъ внутреннимъ огнемъ. На луврскомъ портретѣ Делакруа, имъ самимъ написанномъ, мы видимъ челоѣка съ блѣднымъ лбомъ и большими, глубоко впавшими глазами; исхудалое костлявое лицо обтянуто тонкой, сухой какъ пергаментъ кожей. Портретъ этотъ объясняетъ картины Делакруа лучше всякаго критическаго разбора. У Делакруа была израненная, смертельно большая душа, одна изъ тѣхъ, къ которымъ обращается Шарль Боллэръ въ „Цвѣтахъ зла“. Больной и крайне нервный съ дѣтства, онъ тянулъ свое болѣзненное существованіе, только благодаря величайшему напряженію воли. Въ дѣтствѣ онъ перенесъ цѣлый рядъ тяжелыхъ болѣзней, потомъ же попеременно страдалъ болѣзнями желудка, горла, груди, почекъ. Подобно Гёте, онъ въ старости чувствовалъ себя хорошо только при высокой температурѣ. Делакруа былъ низкаго роста. Большая голова съ львиной гривой сидѣла на уродливомъ тѣлѣ. Блестящіе глаза и растрепанные щетинистые усы придавали ему обаятельное уродство гения. Въ послѣдніе годы жизни онъ держался только тѣмъ, что жилъ, соблюдая строгую діету въ сельской тиши въ Шанрозѣ (Champrosay). Въ юности онъ какъ бабочка порхалъ съ цвѣтка на цвѣтокъ. Когда же надвинулась старость, н онъ сталъ угрюмымъ и замкнутымъ, работа стала для него единственнымъ средствомъ противъ всякаго рода болѣзненныхъ состояній. Только благодаря этому художникъ, съ дѣтства обреченный на смерть, могъ создать болѣе двухъ тысячъ картинъ. Это число тѣмъ болѣе поражаетъ, что Делакруа, даже когда его здоровье позволяло ему стоять у мольберта, вовсе не отличался рубensoвской легкостью въ работѣ. Творческая горячка сменялась у него ужасной усталостью, свидѣтельствуя о крайне болѣзненной нервной организаціи. „Работа тоже“, писалъ онъ, „только временное опьяненіе, развлеченіе, а развлеченія, какъ говоритъ Паскаль, нужны челоѣку; они помогаютъ скрывать отъ самого себя бездну страданій. Во время безсонныхъ ночей, во время болѣзни, въ моменты одиночества, когда ясно чувствуется брѣиистая сила земли, челоѣкъ, одаренный фантазіей, долженъ обладать извѣстной силой духа, чтобы не пойти на встрѣчу призраку и не заключить скелета въ свои объятія“.

Природная возбужденность Делакруа еще болѣе усилилась отъ безколическихъ распрей, среди которыхъ ему приходилось жить и работать. Онъ оставилъ въ немъ неизгладимую горечь. Было нѣчто общее между его личной жизнью и его творчествомъ—оба состояли въ непрерывной борьбѣ. Не легко γίνεται тому, кто постоянно боленъ—и трудно имѣть успѣхъ, говоря совершенно противоположное тому, во что цѣлое поколѣніе людей вѣрило. Делакруа не сдѣлалъ ни одного шага на встрѣчу общественному мнѣнію. Никогда въ жизни онъ не заботился о томъ, чтобы нравиться публикѣ, и публика не старалась понять его. Такіе же споры, какъ „Рѣзня“, возбуждали всѣ его картины въ теченіе долгихъ десятилѣтій. Появленіе каждой картины на выставкѣ вызывало битву. „Каждая картина Делакруа“, пишетъ Торе, „вызывала проклятія и горечіе споры. Художника преслѣдовали грубой бранью и насмѣшками. Шарантонъ,

родина Делакруа, извѣстенъ находящимся тамъ сумашедшимъ домомъ — и критики постоянно называли Делакруа бѣглецомъ изъ Шарантона. До 1847 г. его картины иногда даже не попадали въ Салонъ. Онъ вызывалъ негодованіе рѣзкостью композицій, тѣмъ, что въ его фигурахъ страстность движеній изгоняла пластическое изящество. Не нравился онъ также незаконченностью своихъ произведеній; они казались эскизами, а не цѣльными картинами. Луи Филиппъ, заказывая ему картину, поставилъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы она какъ можно менѣе напоминала картину Делакруа. Академики пришли въ негодованіе, когда при посредничествѣ Тьера Делакруа было поручено написать фрески для Бурбонскаго дворца. Делакруа, честолюбивый и чуткій, глубоко страдалъ отъ такого отношенія. Всякое враждебное дуновеніе критики вліяло на него какъ перемѣна климата. А между



Энръ: Обиѣтъ Людовика XIII.

тѣмъ о немъ постоянно говорили въ газетахъ, нападали на него и бранили при всякомъ случаѣ. Онъ чувствовалъ себя отданнымъ на съѣденіе дикимъ звѣрямъ; а при его раздражительномъ темпераментѣ, онъ болѣе чѣмъ кто либо другой нуждался въ спокойствіи. На всемірной выставкѣ 1889 г. собраны были всѣ его картины и тогда только обнаружилось, что Делакруа былъ великимъ художникомъ. Въ теченіе сорока лѣтъ соотечественники не понимали его, двери Академіи оставались закрытыми передъ нимъ всю жизнь и только послѣ смерти онъ былъ единодушно признанъ гениемъ. Теперь же каждый рисунокъ его цѣнится на вѣсъ золота, а при жизни онъ за самыя свои большія картины рѣдко получалъ болѣе 2000 фр. Его этюды, очень большіе въ своихъ маленькихъ рамкахъ, большей частью попали въ Америку. Аукціонъ картинъ, оставшихся послѣ его смерти, далъ 360000 фр.

Делакруа побѣдилъ, — но не такъ, какъ Рубенсъ. Его плафонъ въ Луврѣ — торжество Аполлона — одно изъ его самыхъ замѣчательныхъ произведеній — кажется какъ бы аллегорическимъ изображеніемъ его жизни. Художника болѣе всего занимали въ этой картинѣ судорожныя движенія уродливыхъ чудищъ отъ которыхъ Аполлонъ очищаетъ землю; змѣя, извивается отъ боли и бѣшенства; она шипитъ въ безуміи и еще разъ поднимаетъ голову, извергая ядъ и кровь. Самъ Аполлонъ мчится на золотой колесницѣ, влекомой сіяющими конями. Онъ сидитъ въ напряженной позѣ, какъ бы готовясь къ оборонѣ, и въ его разгнѣванномъ лицѣ нѣтъ гордаго величія и свѣтлой радости, которую

соединяли въ Греціи съ именемъ Аполлона. Это смертный, одержавшій побѣду послѣ борьбы, а не богъ, гордый и спокойный въ сознаніи своего торжества и могущества. Въ этомъ различіе Делакура отъ Рубенса. Онъ не титанъ, не олимпіецъ.

Делакура не сокрушилъ даже академическаго Олимпа. Змѣя осталась въ живыхъ. Одинъ человекъ, какъ бы ни былъ онъ предприимчивъ и храбръ, не могъ опрокинуть всѣхъ традицій французскаго искусства. Исторія не любить такихъ скачковъ. Кто знаетъ французовъ, тотъ пойметъ, что латинствующее направленіе Давида не могло сразу исчезнуть въ искусствѣ. Нельзя однимъ ударомъ смѣнить одно направленіе другимъ, совершенно ему противоположнымъ. Со времени Пуссена французское искусство искало образцовъ въ римской древности. И теперь еще парижане любятъ трагедіи Корнеля и Расина, а передъ Пуссеномъ и Лассюэромъ преклоняются даже самые крайніе натуралисты—все это достаточно показываетъ, до чего классицизмъ вошелъ у французовъ въ плоть и кровь. Брайдесъ вѣрно сказалъ, что во Франціи даже романтизмъ классическое явленіе,—созданіе риторики классическаго образца. Французы никогда не выдали пляски эльфовъ, и не слышали иѣжной мелодіи ихъ хоровъ. Въ Викторѣ Гюго, противникѣ Корнеля, воскресъ тотъ же Корнель. Онъ тоже рисовальщикъ; его поэмы построены какъ архитектурныя произведенія, онъ высѣкаетъ формы, оттачиваетъ стихи, смѣшиваетъ краски для того, чтобы произвести нѣчто колоссальное въ духѣ Микель-Анджело. Когда улеглись первые романтическіе порывы, старое тяготѣніе къ классицизму возродилось съ еще большей силой. Самая жизнь, казалось, благоприятствовала реакціонному теченію. Улеглись бури правленія Луи-Филиппа, въ политикѣ снова царилъ консервативный духъ. Академія и Институтъ сочли удобнымъ выступить рѣшительнѣе чѣмъ когда бы то ни было противъ тѣхъ, кого считали мятежниками. Старая чопорная литература снова заняла первое мѣсто. Ее отставалъ весь оффиціальный міръ, вся пресса боролась за нее. Всѣ мѣста, должности, стипендіи сдѣлались исключительнымъ достояніемъ старой школы. Драмъ Гюго съ ихъ тяготѣніемъ къ чрезмѣрному, съ ихъ боющимъ черезъ край лиризмомъ, должны были утонуть въ концѣ концовъ. Гюго, кумиръ молодежи, сталъ извѣстенъ подъ именемъ Pater Bombasticus всемірной литературы. Реакція нашла своего поэта и свою музу. Молодой, никому неизвѣстный, честный юноша, неодаренный фантазійей, но воодушевленный честными намѣреніями, пріѣхалъ изъ провинціи въ Парижъ съ рукописью въ карманѣ. Это былъ Франсуа Понсаръ; его „Лукреція“, написанная въ строгомъ, трезвомъ, напоминающемъ Расина стилѣ, имѣла потрясающій успѣхъ, а незадолго передъ тѣмъ была освящена пьеса Гюго. Восторженные приверженцы Понсара видѣли въ его творчествѣ возвратъ къ величію классической французской трагедіи. Они пріѣтствовали въ авторѣ Лукреціи наслѣдника Корнелевскаго духа, и восхваляли его ясный, строго классическій и вмѣстѣ съ тѣмъ простой языкъ. Найдя своего поэта, классическая реакція нашла и соответствующую исполнительницу. Въ 1838 г. выступила на сценѣ Theatre Français молодая необразованная еврейская дѣвушка, которая прежде пѣла на улицахъ подъ аккомпаниментъ арфы. Рашель возродила обаяніе стараго классическаго репертуара исполненіемъ тѣхъ трагедій, которыя изгнаны были романтиками со сцены съ презрѣніемъ и насмѣшками. Сидъ, Химена, Федра снова появились на сценѣ.

Живопись пошла по тому же пути. Молодые художники выступали на арену въ пестрыхъ боевыхъ облаченіяхъ съ золочеными шлемами и развѣвающимися знаменами; противъ нихъ вышелъ теперь какъ черныи рыцарь на турниръ—*Ингресъ* (Ingres). Онъ былъ старикомъ, всѣмъ своимъ существомъ принад-

лежалъ прошлому. Ему было 50 лѣтъ во время іюльской революціи, но вдругъ, какъ херувимъ съ огненнымъ мечемъ, или — такъ говорили его противники, — какъ жандармъ классицизма, онъ сталъ передъ дверью Академіи, заграждая входъ всякому, кого можно было заподозрить въ новаторствѣ. Молодость съ ея жаждой подвиговъ, ея увлеченіемъ, еще незадолго до того бѣшенно отставала свои идеалы и боролась за нихъ; теперь она должна была отступить передъ рутинной. Это было одно изъ тѣхъ непредвидѣнныхъ препятствій и поворотовъ назадъ, которыми исторія иногда затемняетъ ясность своихъ цѣлей. Золотой свѣтъ солнца и блескъ красокъ снова подверглись осужденію. Веронезе, Рубенса и Делакруа стали называть блуждающими огнями, и предостерегали отъ нихъ молодыхъ художниковъ, какъ отъ яда и огня. Когда Энгръ однажды водилъ своихъ учениковъ по Лувру, онъ сказалъ имъ при входѣ въ галлерею Рубенса: „Кланяйтесь господа, но не глядите“. Ожесточенность противниковъ была такъ велика, что вызвала злобное отношеніе къ главамъ прежнихъ школъ; у Энгра началась истерика, когда при немъ называли имя автора „Рѣзни въ Хіосѣ“. На всемірной выставкѣ 1855 г. онъ устроилъ отдѣльный салонъ для своихъ картинъ: до открытія онъ увидѣлъ однажды издана Делакруа и сталъ кричать на сторожа: „Тутъ кто-то былъ, здѣсь пахнетъ сѣрой“. „Теперь волкъ попалъ въ овчарню“, сказалъ онъ, когда Делакруа сталъ членомъ Института. Онъ видѣлъ въ немъ палача, Робеспьера въ живописи. „Я любилъ этого молодого человѣка, но онъ продалъ душу злему духу (Рубенсу), говорилъ онъ въ священномъ гнѣвѣ своимъ ученикамъ.

„Всѣ говорятъ, что красота“, писалъ нѣкогда Делакруа, „должна быть конечной цѣлью искусства, но если въ этомъ его единственная цѣль, то что должно стать съ такими людьми какъ Рубенсъ, Рембрантъ и всѣ сѣверные художники? Они искали другого. Развѣ картина Веласкеса, гравюра Рембранта, сцена Шекспира вызываютъ въ насъ прежде всего ощущеніе красоты? Съ другой стороны, неужели прямые носы и правильныя драпировки Жироде, Жера и другихъ учениковъ Давида откровенія красоты? Красивъ Силень, но прекрасенъ и фавнъ. Античный бюстъ Сократа чрезвычайно выразителенъ, несмотря на приплюснутый носъ, выпяченныя губы и маленькіе глаза. Въ картинѣ Веронезе, „Бракъ въ Канѣ“, я вижу людей съ самыми различными лицами и характерами. Всѣ они полны жизни и страсти. — Красивы-ли они? Можетъ быть. Но во всякомъ случаѣ нѣтъ рецепта, при помощи котораго можно было бы возсоздать въ искусствѣ идеально прекрасное. Стиль заключается въ свободномъ и оригинальномъ воплощеніи качествъ, свойственныхъ каждому мастеру. Когда художникъ становится условнымъ, манерность лишаетъ его самобытности. Когда же онъ искрененъ въ своей оригинальности, онъ сможетъ всегда, будь онъ Рафаэлемъ, Микель-Анджело, Рубенсомъ или Рембрантомъ, полагаться на свою силу и на свой талантъ“.



Энгръ. Источникъ.

Энгръ былъ противникомъ этихъ принциповъ. Для него самымъ важнымъ была форма. Культъ формы преобладалъ почти всегда во французскомъ искусствѣ. Въ живописи главное рисункъ, сказалъ Пуссенъ. „Если бы Богъ считалъ краски столь же важными, какъ формы, онъ непременно бы покрылъ свое высшее созданіе,—человѣка, красками колѣннъ“,—сказалъ Шарль Бланш. Плащающіе краски романтиковъ поглощали формы и очертанія; теперь ихъ смѣнила твердая линія, а страстность уступила мѣсто холоднымъ многолинейнымъ контурамъ. Драматизмъ композиціи, сила, движеніе, были признаны несомнѣтельными съ пластической красотой, т. е. съ высшей цѣлью искусства. Эту новую крайность классицизма необходимо было умѣрнить и съ помощью Рафаэля ввести въ разумныя границы. Давидъ, какъ дѣятель революціи, могъ пользоваться только античнымъ Римомъ. Но когда восстановлена была законная королевская власть, прежнее препятствіе исчезло; наряду съ древнимъ, можно было признавать и христіанскій Римъ, преклоняться передъ свѣтлыми возрожденія—Рафаэлемъ и Микэль-Анджело. Такимъ образомъ, благодаря Энгру, классицизмъ нѣсколько оживился. Установились прямые отношенія къ итальянскому искусству; Давидъ же ничего не признавалъ, кромѣ античныхъ римскихъ статуй. Классическая строгость и настойчивая рѣзкость очертаній въ картинахъ Давида смѣнилась мягкостью пластическихъ формъ. Каждая фигура Энгра казалась вылитой изъ металла.

Энгръ родился въ 1781 г., въ до революціонной Франціи. Юношей онъ былъ свидѣтелемъ торжества имперіи и классиковъ; совершенно естественно поэтому, что онъ сталъ ученикомъ Давида. Въ 1796 г. онъ вступилъ въ его мастерскую и такъ усердно работалъ, что не замѣтилъ ничего, происходившаго въ мастерской Гро. Прибывши въ Италію, онъ сталъ изучать тѣхъ мастеровъ, которыхъ его учитель еще гордо презиралъ. У художниковъ XV вѣка онъ научился моделировать точнѣе, тверже и ровнѣе, чѣмъ ученики Давида. Это сдѣлало его передовымъ художникомъ средн классиковъ, и создало ему въ первый годъ реставраціи положеніе мятежника. Онъ воплотилъ въ себѣ духъ классицизма, а между тѣмъ его первыя работы не были приняты въ Салонъ. Несмотря на это онъ продолжалъ настойчиво работать. „Я расчитываю на свою старость, она отомститъ за меня“ говорилъ онъ. И это возмездіе совершилось вполне.

Глядя на лицо человѣка, можно узнать иногда его характеръ, умъ и талантъ. Портретъ Энгра, имъ самимъ написанный, даетъ ясное представленіе о его творчествѣ. Онъ былъ низкаго роста, смуглый, съ чертами лица, какъ бы отличными изъ бронзы. Темные волосы такъ щетинились на головѣ, что онъ ихъ каждый день тщательно помазнулъ. Почти всегда подъ такими волосами скрывается упрямый умъ. Его лобъ, не слѣшкомъ большой, не особенно красивый, указываетъ на трудолюбіе. Въ каждой гимназіи, въ каждой академіи профессора увѣнчиваютъ ежегодно лаврами нѣсколько подобныхъ головъ. Выдающіяся скулы свидѣтельствовали о сильной волѣ. Большіе острые глаза смотрѣли смѣлымъ орлинымъ взглядомъ. Такіе глаза внушаютъ родителямъ надежды, но не заставляютъ биться сердца молодыхъ дѣвушекъ. Когда на лицѣ его отражалось волненіе, оно бывало вызвано только работой. Этотъ маленькій человѣкъ въ большомъ плащѣ стоитъ на портретѣ съ карандашемъ въ рукахъ передъ мольбертомъ. Онъ какъ будто говоритъ: „я сдѣлаю великимъ живописцемъ, потому что я этого хочу“. Онъ сдержалъ слово. Сила волн, трудолюбіе, упрямство и терпѣніе—главныя черты таланта Энгра.

Хотѣтъ значить умѣть—было его девизомъ. Къ нему вполне применимы слова Бюффона, говорившаго, что геній заключается въ терпѣніи. Его качества



Энгрв: М-ль де-Монтгольфье.

заклучались въ правильности, точности и чувствѣ мѣры. Всѣ эти качества могутъ скорѣе создать великаго архитектора или математика, чѣмъ интереснаго живописца.

Область сюжетовъ Энгра была необычайно обширна: античныя картины (Эдипъ и Сфинксъ, Виргилій за чтеніемъ Энеиды), историческій жанръ (Генрихъ IV и его дѣти, вѣздъ Карла V въ Парижѣ), религиозныя картины (Мадонны, Христосъ передающій ключъ св. Петру, св. Симфоріанъ), нагія женщины (Одалиска, Освобожденіе Анжелики, Источникъ), аллегоріи (апофеозъ Гомера, апофеозъ Наполеона), торжественныя сцены (Бонапартъ первый консулъ, Наполеонъ на тронѣ). Онъ даже написалъ одну сцену изъ жизни—Пій VII въ Сикстинской капеллѣ. Но несмотря на это удивительное разнообразіе сюжетовъ, Энгръ



Энгръ: Эдипъ и Сфинксъ.

былъ чрезвычайно одностороннимъ художникомъ. Онъ мечталъ только о чистой пластикѣ, о красотѣ и гармоніи линій. Прелесть красокъ для него не существовала. Итальянское возрожденіе было единственнымъ источникомъ его вдохновеній, а французская академія въ Римѣ его духовной родиной. Исключительное поклоненіе итальянскому cinquecento онъ довелъ до плагиата. Въ качествѣ директора римской академіи онъ обращался съ твореніями мастеровъ возрожденія, какъ будто бы они жили только для него. Когда Делакура писалъ въ церкви св. Сюзанны изгнаніе Геліодора, онъ употребилъ всю силу своего творческаго духа, чтобы избѣгнуть всякаго напомниманія о фрескѣ Рафаэля. Изобрѣтательность Энгра заключалась, напротивъ того, въ умѣнн разыскивать, кто изъ итальянскихъ или иныхъ классиковъ писалъ на сюжетъ, нужный ему въ данную минуту. Юпитера и Фетиду 1811 г. онъ писалъ по рисунку на одной греческой вазѣ. По изысканности архаизма эта картина лучшей образчикъ эгинскаго періода въ творествѣ Энгра. „Обѣтъ Людовика XIII“ 1824 года выражаетъ его отношеніе къ cinquecento. Мадонна ди Фолиньо послужила ему образцомъ для движеній, Сикстинская Мадонна для драпировокъ, Мадонна подъ балдахиномъ для носящихся въ воздухѣ ангеловъ. Канделябры, также какъ и ангелы, держащіе таблицы, взяты изъ того же источника. Все это прекрасно и вполне понятно у Рафаэля, но было бы умістно, если бы Энгръ жилъ во времена Рафаэля, а не въ XIX в. Картина его какъ бы написана на глазахъ римскаго мастера, и относится къ произведеніямъ послѣдняго, какъ юношескія копія Рафаэля къ картинамъ Перуджино. Его Христосъ передающій ключи св. Петру, тоже составленъ изъ элементовъ, заимствованныхъ у Рафаэля. Въ „Симфоріанѣ“, который считается высшимъ образцомъ его стиля,



Энгръ: М-ль Девонс.

онъ отчасти отклонился въ сторону Микэль-Анджело. Движенія на картинѣ рѣзки, мускулы напряжены. Аполоеозъ Гомера, нѣчто вродѣ засѣданія большой академіи гениальныхъ людей. Но всѣ изображены въ стольпрекрасныхъ позахъ головы такъ идеально красивы, что наряду съ ними Афинская Школа Рафаэля кажется произведеніемъ дикаго натурализма.

Энгръ былъ холоднымъ, чопорнымъ академикомъ и доктринеромъ, онъ ни въ чемъ не опередилъ слишкомъ оклеветаннаго Давида. По вѣрному опредѣленію Теодора Руссо, онъ давалъ лишь блѣдныя копіи забытыхъ образцовъ стариннаго искусства. Діазъ говорилъ про него: „Заприте меня съ нимъ гдѣ нибудь въ башнѣ, и пусть тамъ не будетъ никакихъ гравюръ. Я держу пари, что его полотно останется тамъ пустымъ, я же напишу картину“. При всемъ

совершенствѣ техники, Энгръ чрезвычайно сухъ и вслѣдствіе этого лучшія его произведенія совершенно не трогаютъ. Его большія историческія картины—самое ужасное, что только можетъ создать погоня за совершенствомъ стиля. Ари Шефферъ рассказываетъ очень характерный анекдотъ, относительно св. Симфоріана. Шефферъ робко замѣтилъ, что у матери мученика слишкомъ длинныя руки. Энгръ возразилъ ему съ большимъ достоинствомъ: „Руки матери, благословляющей сына на мученическую смерть, не могутъ быть слишкомъ длинными“. Картины Энгра истинная мука для глаза, привыкшаго къ краскамъ. Нагія тѣла лишены всякой жизни,—въ особенности знаменитая „Одалиска“ и „Освобожденіе Андромеды“. Энгръ не умѣлъ писать тѣла и въ этомъ отношеніи онъ безконечно отсталъ отъ Прюдона. Стремленіе къ пластической красотѣ и пренебреженіе ко всему индивидуальному стало для него закономъ. Теперь трудно понять успѣхъ его картины „Источникъ“: обнаженная молодая дѣвушка поднимаетъ правую руку надъ головой и льетъ воду изъ кувшина, стоящаго на ея лѣвомъ плечѣ. Картина имѣетъ несомнѣнныя качества. Такую твердость рисунка можно встрѣтить только у Энгра. Но всякій слѣдъ правды исчезнетъ въ его классически условныхъ замыслахъ и художественность впечатлѣнія убита холодными фіолетовыми тонами красокъ. Не только колористы романтической школы, но самъ Рафаэль призналъ бы ихъ фальшивыми и уродливыми. Въ этой картинѣ, какъ и всегда въ передачѣ женскаго тѣла, Энгръ достигаетъ извѣстной граціи, но совершенно животной, невыразительной. Онъ правильно рисовалъ всѣ мускулы человѣческаго тѣла, но совершенно не умѣлъ писать головъ, выражающихъ какое-нибудь чувство или страсть. Онъ давалъ

только чистыя формы, отвлеченныя и типичныя. Онъ былъ одержимъ любовью къ идеальной красотѣ—*beauté suprême*—и невольно стремился исправлять и обобщать природу. На всѣхъ его картинахъ мы видимъ прекрасныя линіи и пластичныя тѣла. Но никакого внутренняго отношенія къ его фигурамъ зритель не чувствуетъ. Онъ не живетъ нашей жизнью, не дышитъ нашимъ воздухомъ, не имѣютъ нашихъ мыслей. Онъ чужды всего человѣческаго. Жанъ Августъ Доминикъ Энгръ, членъ французскаго Института, сенаторъ и т. д., стилистъ, которому поклонялись какъ высшему существу, жрецъ чистыхъ формъ и линій, заслуживаетъ преклоненія; онъ возбуждаетъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ изумленіе у всѣхъ, кто изучаетъ исторію искусства, но онъ никогда не можетъ внушить восторга.

И все-таки нельзя не увлечься Энгромъ. Изученіе его рисунковъ, собранныхъ въ Луврѣ, наводитъ на мысль, что Энгръ былъ одинъ изъ самыхъ великихъ и тонкихъ художниковъ нашего вѣка. Быть можетъ, никто еще до сихъ поръ не понималъ таинственности Энгра. Этотъ странный художникъ въ молодости восторгался оригинальностью, граціей и умомъ Ватто, упитательнымъ колоритомъ его картинъ; самъ же онъ впоследствии не по неспособности, а преднамѣренно, ввелъ фальшивыя колоритныя сочетанія въ свои картины. Этотъ выдержанный классикъ былъ по природѣ одинъ изъ самыхъ обаятельныхъ художниковъ въ исторіи искусства.

Какъ и Давидъ, Энгръ наиболѣе интересенъ для потомства своими портретами. И онъ смягчался передъ живыми моделями, и забывалъ строгость своихъ системъ, придуманныхъ для большихъ историческихъ картинъ. Профессоръ эстетики снималъ котуры и становился молодымъ художникомъ, благоговѣяно и восторженно любящимъ природу. Со времени своего перваго пребыванія въ Римѣ, т. е. съ самаго начала вѣка, Энгръ писалъ портреты, которые вѣрятся въ память, какъ медали; они написаны съ металлической отчетливостью и опредѣленностью Джулио Романо. Но и въ своихъ портретахъ Энгръ неровенъ. Иногда онъ холоденъ и буржуазенъ, но часто великолѣпенъ. Въ этихъ, какъ бы отлитыхъ изъ металла картинахъ сохранилась свѣжая струя первоисточника искусства. Въ нихъ есть реалистическая правда, которая отличаетъ живой идеализмъ Рафаэля отъ условнаго идеализма какого нибудь профессора исторической живописи. Въ этихъ портретахъ кроются истинныя сокровища: это созданія необычайной жизненной силы, высоко развитаго вкуса. Они показываютъ, до чего резонеръ Энгръ любилъ живую природу, и обезпечиваютъ без-



Энгръ: Эскизъ. Луврской одаиски.



Энгръ: Паганини.

лось все, чѣмъ Энгръ сталъ позже. Въ портретахъ Гольбейна живетъ нѣмецкое бюргерство его времени, въ картинахъ Ванъ Дейка англійская аристократія времени Карла I. Энгръ же изобразилъ іерархическую буржуазію при Людовикѣ Филиппѣ, всѣ ея слабости и достоинства, ея гордое сознаніе, что она стала главой націи, ея увѣренность въ себѣ, въ своей силѣ, въ своихъ нравственныхъ идеалахъ, ея подчиненіе правиламъ практической мудрости, ея ненависть ко всякой крайности, даже въ колоритѣ. Энгръ воплотилъ при этомъ свою собственную душу, ибо онъ самъ былъ въ искусствѣ великолѣпнымъ типичнымъ буржуа. Его портретъ Бертена старшаго справедливо считается самымъ знаменитымъ его произведеніемъ. Это не только окаменѣлый образъ властителя прессы, но одна изъ картинъ, воплощающихъ духъ цѣлой эпохи. Портретъ этотъ гораздо ярче рисуетъ торжество буржуазіи при іюльской монархіи, чѣмъ „Исторія десяти лѣтъ“ Луи Блана. Бертенъ сидитъ на своемъ креслѣ какъ на тронѣ, упираясь руками въ колѣни; его неуклюжая увѣренность въ себѣ характеризуетъ въ добродушно юмористическомъ видѣ современнаго полубога, буржуазнаго Юпитера громовержца. Портретъ Бертена несомнѣнно очень выдающееся произведеніе; но все таки Энгръ гораздо выше въ портретахъ карандашомъ. Его краски непріятно поражаютъ иногда своей грубостью. Лица написаны условно однообразнымъ тономъ его историческихъ картинъ. Лица кажутся деревянными, платья металлическими, синія одежды стальными. Рисунки же его свободны и отъ этого недостатка и совершенно безупречны. Энгръ провель молодость въ Римѣ, зарабатывая хлѣбъ портретами. За восемь скуди онъ рисовалъ поясной портретъ, за 12 портретъ во весь ростъ и внутренно возмущался, что ремесленная работа отвлекаетъ его отъ

смертіе его имени. Историческія и міеологическія картины Энгра вызываютъ только уваженіе, портреты же его великолѣпны; ихъ можно поставить рядомъ съ древними образцами. Въ 1806 г. въ салонѣ выставленъ былъ портретъ Наполеона I. Безкровное мертвое лицо вырѣзано такъ тонко, что Делеклюзъ назвалъ картину готической медалью. Императоръ сидитъ на тронѣ какъ восковая фигура; онъ окруженъ знаками своего величія, неподвижный, окаменѣлый, какъ византійскій идолъ. Въ 1807 г. написанъ портретъ г-жи Девонсъ; онъ производитъ и теперь чарующее впечатлѣніе, несмотря на педантизмъ стиля. Въ немъ чувствуется пылъ юности, восторженность новообращеннаго; художникъ въ первый разъ увидѣлъ въ природѣ иныя красоты, чѣмъ тѣ, какія онъ изучалъ въ академіи. Кромѣ того, онъ обладалъ изысканнымъ оригинальнымъ вкусомъ въ рисунокѣ. Лицо на портретѣ необычайно нѣжно, въ глазахъ нѣчто чарующее, увлекательное, мягко затуманенное. Въ этомъ портретѣ сказа-



Энгль: Семейство Форестье.

„великаго искусства“. Разсказываютъ, что къ нему однажды поступался англичанинъ и спросилъ: „Здѣсь живетъ рисовальщикъ маленькихъ портретовъ? Энгль разсердился и захлопнулъ передъ нимъ дверь со словами: „Нѣтъ, здѣсь живетъ живописецъ“. А теперь эти маленькіе рисунки, которыхъ онъ стыдился, цѣнятся на вѣсъ золота. Таковы напр., собранные на выставкѣ 1889 г. портреты карандашемъ г-жи Шовэнъ съ удлинненными китайскими глазами, м-мъ Бэнаръ на террасѣ Монте Пинчіо, въ широкой шляпѣ, съ изящнымъ зонтикомъ въ рукахъ, или м-мъ Гентингъ съ невинной улыбкой честиной женщины, м-мъ Кавендишъ, манерной молодой блондинки въ нарядной дорожной шляпѣ и эксцентричной причeskѣ. Энгль былъ поклонникомъ новыхъ модъ и красивыхъ туалетовъ. Въ этихъ рисункахъ глазъ художника, то безпощадный, то иѣжный и мечтательный, съ любовью воспроизводитъ природу; онъ схватывалъ въ тонкихъ штрихахъ жизненность явленій и воспроизводитъ ее съ увѣренностью непосредственнаго впечатлѣнія. Эти рисунки, въ особенности портреты Паганини и семьи Форестье показываютъ, что Энгль не только обладалъ высокимъ умомъ и желѣзной волей, не только былъ гениемъ прилежанія, но что у него было живое сердце отзывчиваго и тонкаго художника. Въ глубинѣ души онъ вовсе не былъ холоднымъ академикомъ и доктринеромъ, каковымъ онъ представляется въ своихъ большихъ картинахъ; онъ сталъ таковымъ въ борьбѣ противъ романтизма. Въ портретахъ онъ обаятеленъ, какъ наивный художникъ примитивной эпохи, какъ импрессионистъ, какъ Массисъ и Маизъ, какъ Дюреръ и Дегазъ, какъ, всѣ, умѣвшіе глядѣть въ глаза природѣ. Его смѣлые и вмѣстѣ съ тѣмъ строгіе рисунки дѣлаютъ его однимъ изъ первыхъ мастеровъ въ исторіи искусства; кромѣ того они обнаруживаютъ въ реакціонерѣ Энглѣ прогрессивнаго человѣка. Въ немъ свершился переходъ отъ торжественнаго искусства первой половины XIX вѣка къ вдумчивой живописи второй половины.

XII.

Juste—Milieu.

КАКЪ это обыкновенно бываетъ, на смѣну героическаго поколѣнія 30-хъ годовъ явилось поколѣніе мелкихъ, практическихъ людей. Искусство этого поколѣнія вполне соответствовало умѣренному темпу государственной жизни, во главѣ которой стояло буржуазное, филистерское правительство. Буржуазія, совершившая революцію 1830 г., вскорѣ испугалась своей собственной смѣлости. Даже въ литературѣ она повернула въ сторону умѣренности. Неожиданно для самой себя она стала восхищаться драмами Казимира Делавинья, комедіями и музыкой Обера и Скриба, а носителями политическихъ идеаловъ стали Гнзо, Дюшатель, Тьеръ и Одиллонъ Барро. Духовный подъемъ, создавшій июльскую революцію, улегся, а тотъ, которому суждено было впоследствии дать февральскую революцію, еще не наступилъ. Люди старшаго поколѣнія еще помнили холодное лицо императора, когда онъ, какъ богъ войны, показывался на смотрахъ. Теперь передъ ними былъ король-гражданинъ, le Roi-Citoyen, бывшій школьный учитель, хорошій семьянинъ. Ежедневно, въ одинъ и тотъ же часъ, онъ ходилъ безъ свиты, въ штатскомъ платьѣ, по улицамъ Париза, со знаменитымъ зонтикомъ въ рукахъ. На каждый привѣтъ: „да здравствуетъ король“, онъ отвѣчалъ ласковой улыбкой и рукопожатіемъ. Его зонтикъ сталъ символомъ бездѣйствовавшей монархіи. Лун Филиппъ однажды обозначилъ путь, по которому слѣдуетъ идти въ полнѣтѣ, словомъ Juste—Milieu. Теперь это выраженіе стало насмѣшкой обозначающей слабость и тусклость всей эпохи. Золотая середина торжествовала во всемъ—въ политикѣ, литературѣ и живописи. Художники, которые воплотили въ искусствѣ духъ этого времени, кажутся въ сравненіи съ пламеннымъ поколѣніемъ 1830 г., увядающими потомками могучихъ родоначальниковъ живописи. Каждый изъ сторонниковъ Делакруа былъ во всякомъ случаѣ индивидуальностью, хотя бы и второстепенной, но самостоятельной. Многочисленные ученики Энгра обладали въ болѣе слабой степени качествами своего учителя, собственными еще до него итальянскимъ мастерамъ классической эпохи. Делакруа былъ недоступенъ



Жигу: Генералъ Дворницкій 1833 г.

подражанію, а маленький толстый, упрямый, Энгръ былъ какъ бы созданъ для того, чтобы навязывать другимъ свою волю.

Жакъ Жигу (Jean Gigoux), очень замѣчательный художникъ, болѣе всѣхъ поддерживалъ Делакруа въ борьбѣ противъ застывшей „высшей красоты“ классику. Когда на парижской выставкѣ 1889 г. появилась его картина, „Послѣднія минуты Леонардо да Винчи“, извлеченная на свѣтъ изъ какого то провинціального музея, то всѣ были поражены здоровымъ реализмомъ художника. Дѣйствующія лица на картинѣ одѣты были, правда, въ драгоценныя костюмы, двигались среди роскошной, блестящей обстановки, но сами по себѣ это обыкновенные, уродливые люди. Въ картинѣ нѣтъ, никакой идеализаціи даже въ

духѣ Жерико, который, при всей своей любви къ истинѣ все-таки оставался вѣрнымъ героическому типу. Головы тщательно списаны съ натуры; художникъ видимо любилъ юношескія произведенія Гверчино и усердно изучалъ Дюрера. Тогда же выставленъ былъ написанный въ 1833 г. портретъ польскаго генерала Дворницкаго. Его Жигу тоже изобразилъ человѣкомъ, а не героемъ. Война не сдѣлала генерала изящнымъ и стройнымъ; напротивъ того, онъ сильно растолстѣлъ, и его красныя нозы и полная фигура изображены на портретѣ съ жестокой правдивостью. Жигу объявилъ войну всякой идеализаціи. Даже въ церковныхъ картинахъ, въ Saint-Germain l'Auxerrois онъ оставался реалистомъ. Это создаетъ ему совершенно особое мѣсто среди современниковъ. Въ то время, когда, за исключеніемъ одного только Делакруа, всѣ считали нужнымъ „преувеличивать красоту“, *exagèrer la beauté* онъ имѣлъ смѣлость писать живыхъ людей, освѣжающихъ душу своимъ уродствомъ.

Обаятельность колорита Делакруа унаслѣдовалъ отчасти *Евгеній Изабэ* (Eugène Isabey). Онъ, конечно, не былъ великимъ художникомъ, но онъ очень привлекателенъ и можетъ доставить удовольствіе даже въ наше время. Среди современниковъ ему классиковъ онъ производитъ впечатлѣніе красиваго красочнаго аккорда, палитры, на которой образовались утонченныя созвучія нѣжно голубыхъ и лиловыхъ тоновъ, сочетающихся съ изысканнымъ зеленымъ и серебристо сѣрымъ цвѣтомъ, съ пурпуромъ, смягченнымъ солнечнымъ свѣтомъ, и сверкающимъ перламутромъ. Группы красивыхъ, нарядныхъ дамъ гуляютъ на его картинахъ въ свѣтлыхъ садахъ подъ защитой полутѣни. Онъ ходятъ внизъ и вверхъ по лѣстницамъ замковъ, на нихъ платья съ длинными шлей-



Жису: Смерть „Леонардо-да-Винчи“.

фами, онъ граціозно играютъ вѣерами или вертятъ въ рукахъ зонтики; учтивые кавалеры наклоняются къ нимъ и шашептываютъ имъ нѣжныя слова. Стройныя левретки играютъ важную роль въ этихъ аристократическихъ комедіяхъ. Своими прямыми линиями онѣ создаютъ противовѣсъ мягко обрисованнымъ изящнымъ фигурамъ дамъ. Изаба съ особенной любовью изображалъ торжества и пышно одѣтыхъ людей. Онъ умѣлъ составлять красками сверкающіе букеты, на его картинахъ блеститъ парча въ широкихъ складкахъ и тяжелые затканые золотомъ шелка. Колоритъ его то капризенъ и кокетливъ, то напоминаетъ тонкіе и блѣдые тона гобеленовъ. Когда онъ пишетъ морскіе виды, онъ мнѣтъ волны, какъ бальное платье, и разукрашиваетъ корабли, какъ нарядную невѣсту. Даже въ изображеніе бури онъ вноситъ нѣчто праздничное. Это какъ бы глѣвъ красивой женщины. Не слѣдуетъ искать у него жизненной правды. Отношеніе его картинъ къ истинѣ такое же, какъ напримѣръ „Фауста“ Гуно къ „Фаусту“ Гёте. Его духовный предокъ — Ватто. Въ немъ гораздо меньше живости и остроумія, чѣмъ въ граціозномъ живописцѣ XVIII вѣка. Кромѣ того онъ изображалъ не своихъ современниковъ, а давно исчезнувшій міръ. Но онъ, также какъ Ватто, обнаружилъ любовь къ жизни свѣтскаго общества и особую обаятельную грацію. Общаго съ Делакруа у него широкая манера письма, непринужденность и любовь къ краскамъ. Но дикость и сила Делакруа замѣнилась у Изабы вкрадчивостью и мягкостью; они не братья, а отдаленные родственники. И такъ же какъ Делакруа, онъ не имѣлъ подражателей, и шелъ одиноко по своей красивой яркой дорожкѣ. Онъ остался одинъ, безъ товарищей, въ своемъ маленькомъ золоченомъ домикѣ и освѣщалъ его фантастическими лампочками, населялъ граціозными существами обоего пола. Одинъ только Баронъ слѣдовалъ за нимъ по его пути, и то очень осмотрительно и буржуазно.



Ари Шефферъ.

Особое срединное положение между романтиками и классиками занимает *Ари Шефферъ* (Ary Scheffer). Онъ былъ одно время любимцемъ европейской аристократіи, а въ настоящее время въ Германіи его считаютъ замѣчательнымъ только потому, что онъ писалъ „нюхательнымъ табакомъ и зеленымъ мыломъ“, какъ очень невѣрно сказалъ про него Гейне. Родомъ онъ былъ полуголландецъ, полунѣмецъ, по воспитанію классикъ; въ молодости онъ былъ близокъ къ руководителямъ романтизма. Происхожденіе художника, также какъ воспитаніе и вліяніе друзей, отразились на его творчествѣ. Формы у него чисто классическія, идеализированныя, и приближающіяся къ общимъ типамъ. Но выраженіе лица и глазъ романтично и сентиментально—соотвѣтствуя нѣмецкому происхожденію.

Шеффера. Но именно эта половинчатость привлекала современниковъ Шеффера. Въ его творчествѣ находили высокій стиль, умѣнье соединять идеальную красоту съ обаятельной силой выраженія. Но исторія не допускаетъ компромиссовъ, и въ нерѣшительности Шеффера видятъ слабость таланта. Его рисунокъ слишкомъ сухъ и жестокъ, колоритъ лишненъ мягкости, и совершенно не соотвѣтствуетъ характеру лица, въ которыхъ всегда отражается слабость, усталость и нравственныя страданія. Онъ сентиментальный классикъ, а по своимъ сюжетамъ антиподъ греко-римскаго идеала, которому слѣдовалъ въ техникѣ. Его „Сулліотскія женщины“ по формѣ, колориту и настроенію повторяютъ въ менѣе рѣзкомъ и смягченномъ видѣ „Рѣзню“ Делакруа. Впослѣдствіи онъ совершенно забросилъ историческіе сюжеты и вдохновлялся только Евангеліемъ, или произведеніями поэтовъ, въ особенности одного поэта. Изъ Библии онъ выбиралъ преимущественно трогательные эпизоды, и въ его передачѣ печальныя сцены становились плаксивыми. Изображая сцены изъ Фауста, или Вильгельма Мейстера, онъ придавалъ живымъ страстнымъ фигурамъ Гёте меланхолическое, страдальческое, задумчивое выраженіе. Гейне говорилъ про его Гретхенъ: „Это конечно Гретхенъ Вольфганга Гёте, но она прочла всего Фридриха Шиллера“. Еще до паденія, и даже прежде чѣмъ она полюбила, Маргарита задумчиво-печальна, какъ падшій ангелъ. Миньона, Франческа да Римини, Св. Монника—тоже излюбленные сюжеты нѣжной созерцательной души Ари Шеффера. Онъ одинъ во французской живописи приближается своей чувствительностью и слезливостью къ дюссельдорфскимъ романтикамъ.

Пипольтъ Фландренъ (Hippolyte Flandrin) болѣе всѣхъ другихъ француз-

ских живописцев напоминает немецких назарейцев. Он показывает, что учение Энгра должно было привести к застывшей схематичности. Энгр был опасным учителем. Его ученики составляли вокруг него маленькую преданную общину, считали, как и ученики Корнелиуса, слова учителя своим законом, и уже вследствие этого не могли достигнуть самобытности. Ни один из них не обладал многосторонностью Энгра. Его царство, подобно царству Александра Великого, роздано было диадохам, и каждый из них управлял своей маленькой землей с большим или меньшим искусством. Ипполит Фландрень посвятил себя религиозной живописи, и воскресил ее во французском искусстве; но он повернул ее еще более рабски, чем Энгр, на путь итальянцев XIV и XV веков. Ученый, твердый в своих убеждениях, но безвѣтный и холодный декоратор церквей Saint Vincent de Paul и Saint Germain des Près, он не внес ничего нового в историю искусства. Он был добросовестным работником, но обладал лишь очень незначительным талантом. Он не умел стать выше правил, которые Энгр преподавал своим ученикам, заимствовав их у древних мастеров. Получив Prix de Rome в 1831 г., Фландрень получил возможность хорошо изучить художественные сокровища Италии, и это дало ему твердость, не знающую никаких затруднений. Его картоны написаны уверенной рукой, правильно и свободно, как переписанное набело ученическое упражнение. Он отлично умел рисовать, поскольку этому можно научиться. У него была хорошая память, он умел применять свои знания, но при этом имел мало самостоятельных мыслей. Он был копией своего учителя, был бдѣн его по таланту и в то же время большим фанатиком, чем он. Это был чисто математический талант. Его искусство сводилось к холодной геометрической науке, к пользованию анатомическими этюдами и традиционными формами, к установке групп и укладыванию драпировок по знаменитым образцам. Если бы не было ни свѣта итальянцев первой поры и древнехристианской живописи в катакомбах, если бы не существовало ни свѣта работ Фра Анжелико и Равеннской мозаики, то не было бы и картин Фландрена, так же как и картин назарейской школы. Для всѣх его голов и фигур можно так же как и относительно назарейцев, указать образцы в картинах итальянских мастеров. Только одна нижняя, свѣтлая головка грустнаго и современно-христианскаго типа составляет духовную собственность Фландрена. В портретную живопись он внес те же аскетические, ангельски чистые принципы, и имел большой успѣх своей идеализацией честной жи-



Женщина; Изображение невинности.



Конь: Титороттто пишетъ портретъ умершей дочери.

быть можетъ, еще глубже, чѣмъ у нѣмецкаго мастера. Онъ мечталъ объ обширныхъ символическихъ композиціяхъ, сочетающихъ въ себѣ космогонію міра. Подобно Корнеліусу, онъ хотѣлъ стать Микель-Анджело, но это ему такъ же мало удалось, какъ нѣмецкому художнику. Онъ провелъ пятнадцать лѣтъ въ Италіи, изучая церкви и музены съ карандашомъ въ рукахъ, и собралъ большую коллекцію этюдовъ, которые должны были послужить основой для огромной исторіи міра въ краскахъ. Но когда онъ вернулся въ Парижъ, онъ былъ такъ задавленъ матерьяломъ, собраннымъ у древнихъ мастеровъ, что утратилъ способность быть самимъ собой. Въ теченіе четырехъ лѣтъ онъ работалъ съ лихорадочнымъ усердіемъ, изготовилъ восемнадцать картоновъ въ шесть метровъ высоты и четыре метра ширины. Они предназначались для украшенія стѣнъ Пантеона, но не были выполнены въ краскахъ, такъ же какъ фрески Корнеліуса для Campo santo. Зала Ліонскаго музея, гдѣ собраны картины Шенавара, соотвѣтствуетъ во французскомъ искусствѣ залу Корнеліуса. Шенаваръ гораздо лучше рисовалъ, чѣмъ Корнеліусъ, но писалъ красками не многими лучше его, и произведенія обонхъ имѣютъ скорѣе литературную, чѣмъ художественную цѣнность.

Жизнь и творческая дѣятельность *Теодора Шассеріо* (Théodore Chassériau) была необычайно блестящей и краткой. Онъ промелькнулъ на художественномъ горизонтѣ блестящимъ метеоромъ. Сначала онъ выступилъ поклонникомъ формъ въ духѣ Энгра, потомъ вмѣстѣ съ Делакруа полюбилъ солнце и яркіе цвѣта Африки. Онъ родился въ 1819 г., въ Санъ-Доминго, а въ 1834 г. последовалъ за своимъ учителемъ Энгромъ въ виллу Медичи. Но уже въ первой своей картинѣ, находящейся въ Луврѣ, въ „Сусанинъ“ 1839 г., онъ является не слишкомъ правдоподобнымъ ученикомъ. „Онъ не имѣетъ никакого представленія объ идеяхъ и перемѣнахъ, свершившихся въ искусствѣ въ наше время, и совершенно незнакомъ съ новыми поэтами. Его значеніе въ томъ, что онъ воскресилъ въ нашей памяти нѣкоторыя забытыя эпохи искусства, но для будущаго онъ ничего не создалъ. Мои желанія и мысли совершенно другого рода“. Этими словами Шассеріо самъ указалъ на то, что его отдѣляетъ отъ Энгра. Къ сожалѣнію онъ очень мало работалъ. Этотъ изящный, избалованный и скукающій

щины. Женщины смущены краснѣли, говоря съ нимъ, — а на его картинахъ грація и нѣжность, пламень взгляда и кротость перешли въ монашескую неприступность. Это тѣмъ болѣе нравилось дамамъ времени второй Имперіи, чѣмъ рѣже случалось въ дѣйствительности.

Наряду съ этимъ французскимъ Овербекомъ, превосходящимъ нѣмецкаго своей художественностью, стоитъ *Поль Шенаваръ* (Paul Chenavard) въ роли французскаго Корнеліуса. Его философскіе замыслы были,



Шассеріо: Аполлонъ и Дифна.

господинъ бросился по возвращеніи изъ Италіи въ водоворотъ парижской жизни. Онъ отличался рѣзкою уродливостью, но его черные пронизывающіе глаза дѣлали его любимцемъ женщинъ, и онъ съ такой поспѣшностью и жадностью пользовался жизнью, что въ 36 лѣтъ все было кончено. Кромѣ декоративныхъ картинъ въ церкви Saint Merry и въ Cour des comptes на quai d'Orsay (большинство погнбло во время коммуны) отъ него осталось лишь нѣсколько восточныхъ сценъ и нѣсколько литографій. Это его лучшія и наиболѣе для него характерныя вещи. Въ нѣжныхъ мнелогическихкихъ композиціяхъ прозвучало нѣчто, повторившееся лишь цѣлымъ поколѣніемъ позже въ произведеніяхъ французскихъ нео-идеалистовъ и англійскихъ прерафаэлитовъ. Въ нихъ отразился особый духъ романтической эллинизма и задумчивый мистицизмъ, дѣлающій Шассеріо посредствующимъ звеномъ между Деларошъ и самыми утонченнымъ художникомъ новой школы — Гюставомъ Моро. Послѣдній исполнилъ долгъ благодарности, когда на своей прекрасной картинѣ „Юноша и смерть“ сдѣлалъ надпись: Теодору Шассеріо.

Воспоминаніе о *Леонѣ Бенувиль* (Léon Benouville) сохраняется въ Луврѣ только благодаря его „Смерти св. Франциска“, очень хорошей работѣ въ духъ quattrocent'истовъ. *Леонъ Конье* (Léon Cogniet) тоже заслуживаетъ упоминанія. Въ 50-хъ годахъ онъ собиралъ въ своей мастерской многихъ учениковъ иностранцевъ, въ особенности же нѣмцевъ. Онъ пользовался репутацией учителя, который очень быстро и умѣло посвящаетъ во всѣ тайны художественной техники. Все, чему можно научиться, и что можно заимствовать изъ образцовъ, ученики находили у этого добраго, отечески заботливаго учителя. Долго послѣ того, какъ онъ уже оставилъ живопись, благодарные ученики продолжали собираться ежегодно на банкетъ въ честь патріарха. Онъ принадлежалъ къ тѣмъ знаменитостямъ, которыя пользовались почетомъ при жизни и заплатили за это полнымъ забвеніемъ послѣ смерти. Его картина „Избиеніе невинныхъ“ написана въ 1824 г. Обезумѣвшая отъ ужаса женщина думаетъ укрыть себя и ребенка, сѣвши подъ открытую лѣстницу, — таковъ сюжетъ „Massacre des innocents“. Оно могло нравиться только эпохѣ, которая восхитилась выразительными гипсовыми головами Ари Шеффера. Кромѣ того, онъ писалъ пейзажи, обнаруживая въ своихъ смутныхъ искусственныхъ замыслахъ лишь слабое знакомство съ природой. Лучшая его вещь — „Тинторетто, рисующій свою мертвую дочь при ночномъ освѣщеніи“. Гравюра этой картины нѣкогда восхищала Францію и Германію. Теперь она не производитъ никакого впечатлѣнія и служитъ только указаніемъ на характеръ таланта Конье. Въ техническомъ отношеніи онъ болѣе грубый Шалькенъ, а по настроеніямъ изнѣженный Деларошъ.

Деларошъ былъ Тицианомъ Лунъ Флиппа, фаворитомъ временн Juste Milieu. Онъ одинъ изъ самыхъ слабыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ самыхъ извѣст-



II. Деларошъ.

*Paul Delaroche à la funèbre mine
S'entoure avec plaisir de cadavres et d'os,
Jane Grey, Mazarin, héros et héroïne
Chez lui tout meurt... excepté ses tableaux.*



Деларуш; Сыновья Эдуарда.

ных художников вѣка. На его примѣрѣ ясно видно, что въ искусствѣ гласъ народа рѣдко бываетъ гласомъ Божиимъ. Онъ не имѣетъ ничего общаго съ художниками романтической школы. Тѣ были восторженными поэтами. Ихъ любовь къ срединѣ вѣкамъ была чисто эстетическая. Они любили сумерки живописныхъ готическихъ церквей, звонъ колоколовъ, пестрая шествія, блескъ сгущенныхъ красокъ. Воображеніе ихъ увлекалось непосредственностью, сильными страстями. Историческіе мотивы были для нихъ только предлогомъ предаваться оргіямъ красокъ, по образцу венеціанцевъ и фламандцевъ. Какъ истинные художники, они видѣли въ сюжетѣ средство возбуждать чувства, при помощи которыхъ живопись играетъ на струнахъ человѣческой души. Влюбленные въ краски, восторженные и страстные, они потому увлекались поэзіей, что она помогала имъ воплощать лихорадочныя грезы ихъ фантазій съ дикой силой взволнованной стихіи. Делакруа разсказывалъ въ своихъ картинахъ о пожарахъ, битвахъ и войнахъ, объ убійствахъ и грабежахъ, о горечи и страданіяхъ любви. Онъ тщательно изучалъ пестрые костюмы прошедшихъ временъ—это видно по его рисункамъ. Но онъ пользовался всѣмъ этимъ лишь какъ ящикомъ красокъ, какъ словаремъ, нужнымъ ему для воплощенія въ краскахъ своихъ поэтическихъ видѣній. Онъ бы съ презрѣніемъ отказался отъ роли учителя исторій, считая изготовленіе историческихъ виньетокъ дѣломъ достойнымъ второстепенныхъ иллюстраторовъ. А весьма вѣроятно, что именно этимъ путемъ можно было достигнуть гораздо большихъ успѣховъ у толпы.

Двадцатые годы были разцвѣтомъ французской исторической литературы. Гизо занялъ въ 1826 г. одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду французскихъ писателей своей „Исторіей англійской революціи“. Въ 1829 г. онъ прочелъ знаменитыя лекціи въ Сорбоннѣ, а въ 1832 г. началъ издаііе первоисточниковъ французской исторіи. Уже до него, въ 1825 г., Огюстенъ Тьері написалъ „Исторію завоеванія Англіи Норманнами“, „Разсказы изъ времени Меровинговъ“, и занялся подготовленіемъ своего главнаго произведенія — „Исторіи происхожденія и развитія третьяго сословія“. Его достойными сотрудниками стали двое молодыхъ людей, Минье и Тьеръ, выступившіе въ 1823 и 1824 г., со своей „Исторіей революціи“. По ихъ почину во всей Франціи образовались историческія общества и союзы, получившіе съ теченіемъ времени широкое развитіе.

То, что начала наука, продолжала поэзія. Множество молодыхъ и болѣе старыхъ писателей стали пользоваться огромнымъ матерьяломъ, добытымъ исторіей, и перенесли въ литературу образы дѣятелей, съ которыми знакомили историческія изслѣдованія. По истеченіи нѣсколькихъ лѣтъ число историческихъ драмъ и романовъ сдѣлалось огромнымъ. Витѣ, Дюма-отецъ, Альфредъ де-Виньи замѣнили классическую трагедію исторической; романы изъ современной жизни — Жоржъ Зандъ, Бальзака и Стендаля — были вытѣснены историческими романами. Въ то же время и въ оперѣ замѣчается переходъ отъ фантастическихъ сюжетовъ къ историческимъ. Оберъ написалъ „Нѣмцу изъ Портичи“, Россини „Теля“.

Живопись тоже попыталась воспользоваться новыми завоеваніями исторической науки, и эстетики стали вычислять ожидаемая отъ этого преимущества. Съ одной стороны — на это уже и прежде указывали, — художникъ, имѣвшій несчастье родиться въ безцвѣтное скучное время, находить въ историческомъ прошломъ все, чего ему не достаетъ. Исторія открываетъ ему зрѣлище грандіозной широкой жизни. Съ другой стороны, а это самое главное, — живопись



Деларошъ: Наполеонъ 1.



Деларуа: Убийство герцога Гиза.

исполняет важную культурную задачу, восполая историческую науку наглядными образами; оживляя воспоминания о великом прошлом, она пробуждает неизбежно ослабевающий от застоя, патриотизмъ. Гизо рекомендовал художникам преимущественно французскую историю, преисполненную рыцарского духа. Она должна быть их главнейшим источникомъ. „Намъ въ живописи нужны историки“, писалъ Витэ,—и зовъ его былъ услышанъ.

Романтики видѣли въ историческихъ костюмахъ только яркіе аккорды красокъ и не очень заботились о повѣствовательномъ содержаніи картинъ; за то ихъ преемники перешли всецѣло въ историческій лагерь. Чистая живопись смѣнилась болѣе документальнымъ искусствомъ, стремившимся воссоздавать прежнія времена съ научной точностью. Прежде художники создавали только живописныя красочныя импровизаціи, теперь же на первый планъ выступила дидактическая цѣль—историческая точность. Живописецъ становился лѣтописцемъ; государство возлагало на него отвѣтственную задачу; онъ долженъ былъ поднимать духъ гражданъ и воззваніемъ къ славному прошлому утѣшать и отвлекать отъ жалкой дѣйствительности. Онъ превращался въ учителя исторіи и завѣдующаго театральнымъ гардеробомъ, рылся въ хроникахъ, выбиралъ маски, кроилъ костюмы, разставлялъ декораціи, чтобы правильно и четко записывать на картинахъ государственныя событія. И общество находило въ этихъ картинахъ все, что ему требовалось. Поучительная сторона исторической живописи съ длинными объясненіями въ каталогѣ пришла въ сердце тогдашней интеллигенціи. Картина всегда сопровождалась красивымъ рисункомъ, внизу напечатана была выписка изъ какого нибудь историческаго сочиненія. Публика читала описаніе и провѣряла, соответствуетъ ли ему самая картина. Такимъ образомъ зритель какъ бы повторялъ урокъ исторіи и припоминалъ, что до XIX в. люди носили не панталоны и фраки, а плащи и тринко. Съ другой стороны осталось еще иѣкоторое влеченіе къ романтической дикости; люди умѣли еще прилично и умѣренно содрогаться и съ помощью каталога переживать минуты подъема духа. Средніе живописцы чувствовали большую склонность къ такого рода историческимъ упражненіямъ, потому что они не требуютъ чисто художественныхъ

качества, богатой фантазіи, красокъ и остроты зрѣнія. Историкъ долженъ обладать даромъ обобщенія историческихъ данныхъ, но гораздо важнѣе для него быть трезвымъ изслѣдователемъ. Излишекъ воображенія и чувства даже опасенъ для него. Историческій живописецъ точно также не нуждается въ фантазіи, чувствъ и умѣніи обобщать. Онъ только долженъ быть ловкимъ компиляторомъ. Достаточно ему перелистать популярную историческую книгу, напасть на исторію какого нибудь убійства, и пріобрѣсти альбомъ историческихъ костюмовъ. Изъ этого матерьяла можно было при помощи техники, выработанной романтиками, создавать эффектныя сцены. Критика тоже часто отдавала предпочтеніе моделямъ, одѣтымъ въ самые пестрые костюмы и носящимъ имена знаменитыхъ людей, передъ болѣе скромно выступающими фигурами; поэтому во времена Луи Филиппа выдвинулся цѣлый рядъ совершенно бездарныхъ художниковъ, которые становились знаменитостями только благодаря своему умѣнію дѣлать изъ живописи живыя картины на разныя историческія темы.

Женъ Деверіа (Eugène Devéria)—первый художникъ, сознательно вступившій на этотъ путь. Въ 1827 г. онъ выставилъ „Рожденіе Генриха IV“. Критика привѣтствовала его какъ новаго Веронезе, а „Рожденіе“ было признано первой исторической картиной, въ которой проявилась точность историческаго колорита. Деверіа съ той поры сталъ носить костюмъ Рубенса и домъ его сдѣлался центромъ романтиковъ. Въ немъ одномъ изъ всей группы его современниковъ сохранилось кое-что, напоминающее Делакруа. Но онъ вскорѣ утратилъ венеціанскій тонъ и твердость своихъ юношескихъ произведеній, и хотя написалъ въ послѣдствіи много картинъ, но не оставилъ потомству втораго значительнаго произведенія.

Вскорѣ послѣ того *Камиль Рокпланъ* (Camille Roqueplan) тоже измѣнилъ свою манеру письма. Прежде онъ подобно Ватто и Терборгу любилъ прислушиваться съ чувственной радостью къ шелесту шелковыхъ, бархатныхъ и атласныхъ тканей. Теперь же онъ сталъ главнымъ образомъ заботиться о повѣствовательной сторонѣ картинъ, отказался отъ легкости и блеска своихъ фантастическихъ мечтаній, и въ „Сценѣ изъ Варфоломеевской ночи“ заявилъ себя скучнымъ школьнымъ педантомъ.

Николай Робертъ Флери (Nicolas Robert Fleury) написалъ Карла V въ монастырѣ св. Юста, Варфоломеевскую ночь и другіе тщательно разработанные историческіе анекдоты; онъ, подобно Лессингу, занимался распространеніемъ благородныхъ идей. Картины его—протесты противъ религіознаго фанатизма, филантропическія разсужденія о преслѣдованіяхъ и испытаніяхъ, которымъ подвергается всюду свободомысліе. Чтобы придать печать исторической правдоподобности своимъ картинамъ, онъ погрузился съ рвеніемъ истиннаго археолога въ изученіе каждой эпохи, часто прямо переносилъ на полотно фигуры Дит-



1). Кутюръ.



Китюри; Трубадуръ.

таль всей тяжести классического ига, и не имѣлъ поэтому никакого основанія возставать противъ него. Когда выступили на сцену романтики, онъ примкнулъ къ нимъ, или, вѣрнѣе, они потянули его за собой.—Для его природной осмотрительности, романтизмъ казался въ сущности чѣмъ то ужаснымъ; онъ чувствовалъ себя гораздо свободнѣе въ обществѣ классиковъ. Его спасла исторія; она давала ему возможность жить въ мирѣ со всѣми партіями и открыла ему его призваніе. Онъ принялъ на себя роль посредника между враждующими братьями, и сталъ мирить Монтеки съ Капулетти. Подобно Казиміру Делавиню въ литературѣ, онъ сталъ въ живописи главой „школы здравого смысла“, написавшей на своемъ знамени золотыми буквами слово Луи Филиппа—juste-milieu. Энгръ былъ холоденъ, замкнутъ и безвѣстенъ, Деларошъ сталъ вводить въ моду яркую живопись асфальтомъ. Делакруа отличался геніальностью и эскизностью—Деларошъ точностью и добросовѣстностью. Делакруа возбудилъ неудовольствіе своей смѣлостью—Деларошъ привлекъ симпатіи консерваторовъ благовоспитанностью и умѣренностью. Делакруа былъ слишкомъ поэтиченъ и дикъ для вкусовъ публики. Деларошъ взялъ кое-что у романтизма, но онъ пытался свести страстность Делакруа къ удобопонятной для флистеровъ формѣ, смягчить стихійную дикость учителя, низводя ее до чувствительности. Эта роль посредника дѣлала его вполне человѣкомъ своего времени. Жизнь Делакруа проходила въ непрерывной борьбѣ. Если бы онъ не получалъ заказовъ отъ правительства, онъ умеръ бы съ голода, такъ какъ любителямъ и торговцамъ онъ продавалъ не болѣе чѣмъ на 500 франковъ въ годъ. Его мастерская была полна картинъ, грустно стоявшихъ по угламъ, опираясь одна на другую. Делароша, напротивъ того, осыпали похвалами; онъ былъ заваленъ заказами. Представителн эклектизма въ философіи и juste-milieu въ политикѣ

тенбека или Теодора ванъ-Тульдена. Онъ умѣлъ заимствовать изъ старыхъ произведеній тѣ тона, которые создаются не самимъ художникомъ, а его эпохой; это придавало его работамъ архаичность, имѣвшую большую цѣну въ глазахъ его современниковъ. Луи Буланже (Boulanger) приобрѣлъ громкую славу картиной 1827 г. „Мазепа“. Но самый большой успѣхъ выпалъ на долю Поля Делароша: онъ не только нравился поучительностью и археологической точностью своихъ виньетокъ, но кромѣ того трогалъ сердца слезливой чувствительностью.

Поля Деларошъ (Paul Delaroché) принадлежитъ по времени своего рожденія еще къ XVIII в. Онъ былъ ученикомъ Гро, никогда не испы-



Кутюрье: Римляне времемъ утрады.

не могли не восхищаться Деларошемъ. Онъ былъ совершенно въ ихъ вкусъ— ни революционеръ, ни реакціонеръ, ни романтикъ, ни классикъ, не тяготѣлъ исключительно ни къ карандашу, ни къ краскамъ, а соединялъ рисунокъ и колоритъ въ строгой уравнищенности.

Уже его первыя знаменитыя картины 1831 г. „Сыновья Эдуарда въ Тоуэрѣ“ и „Кромвель у гроба казеннаго короля Карла I“ обнаруживаютъ всю его вялость. Онъ могъ бы представить самое убійство принцевъ, но боялся, что публика испугается такого зрѣлища; онъ предпочелъ поэтому изобразить дѣтей плачущими, испуганными смутнымъ предчувствіемъ: передъ кроватью стоитъ маленькая собачка и съ тревогой глядитъ на дверь; отсюда виднѣется красное пламя факеловъ, означающее приближеніе убійцъ. Эта картина въ духъ дюссельдорфской школы, только лучше написана съ технической стороны. Тоже можно сказать и о мелодраматичномъ плаксивомъ Кромвелѣ. Трудно выказать болѣе мелкое пониманіе одной изъ величайшихъ фигуръ всемірной исторіи, чѣмъ это сдѣлалъ Деларошъ; до сихъ поръ даже не выяснено, задумана ли картина серьезно или юмористически. Великій государственный дѣятель, въ которомъ воплотилась идея политической и церковной революціи Англіи, навѣрное былъ очень занятъ въ день похоронъ Карла I. У него едва ли могла явиться мысль тайкомъ пріоткрыть гробъ и разсматривать съ выраженіемъ дѣтскаго любопытства и сентиментальной жалости трупъ короля, съ которымъ онъ боролся и котораго побѣдилъ. Делакруа тоже взялъ этотъ сюжетъ для небольшого этюда. Его Кромвель во время похоронъ Карла, посмотреть, со спокойнымъ презрѣніемъ на трупъ слабаго короля, не умѣвшего спасти ни короны, ни головы. Маленькая акварель Делакруа имѣетъ въ десять разъ больше художественнаго значенія, чѣмъ большая, долго обдуманная, старательно исполненная картина Делароша. Ему прежде всего не доставало драматизма и страстности. Съ той минуты, когда портиной, готовившій костюмы для его моделей, отказался бы отъ работы, Деларошъ пересталъ бы существовать какъ художникъ. Съ самаго начала онъ только писалъ большія грубыя иллюстраціи на историческіе сюжеты. Уже Гюставъ Планшъ указывалъ на то, что всѣ эти одежды слишкомъ новы, что жертвы выглядятъ нарядившимися на костюмированный балъ, и что вообще живопись Делароша слишкомъ опрятна и нарядна, такъ что изображенія происшествія кажутся мало вѣроятными. Теофиль Готье, глашатай мощной оригинальности Делакруа, негодовалъ на всѣ эти выложенныя фигуры, на фальшивый реализмъ, на пошлое наумианное искусство. Онъ говорилъ, что историческія иллюстраціи Делароша предназначены для домашняго употребленія буржуазныхъ семей. Ставить робкій талантъ выше безудержнаго, наводящаго ужасъ генія— было въ глазахъ Готье прегрѣшеніемъ противъ Св. Духа, Онъ боролся какъ тигръ противъ популяр-



Александръ Кабановъ.



Кабанелъ: Суламита.

ности подобных талантовъ. Делароша онъ готовъ былъ проглотить цѣликомъ, безъ всякихъ угрызений совѣсти — за то, что публика провозгласила его своимъ любимцемъ.

Деларошъ завоевалъ себѣ симпатіи средней интеллигентной толпы, продолжая самымъ тщательнымъ образомъ рыться въ хроникахъ и разыскивать во французской и англійской исторіи царственныхъ убійцъ и царственные жертвы. Картинами: „Ришелье“, „Мазарини“, „Страффордъ“ и въ особенности „Казню Жанны Грей“ и „Убійствомъ герцога Гиза въ замкѣ Блуа“ Деларошъ имѣлъ больше успѣха, чѣмъ кто либо изъ художниковъ того времени. Какъ разъ тогда Людовикъ Витѣ представилъ въ своей юиошеской драмѣ, „Сословные депутаты въ Блуа“, убійство Герцога Гиза. Деларошъ чрезвычайно угодилъ вкусу публики, воспроизведя въ краскахъ эту чисто оперную сцену.

Историки культуры любовались вѣрностью придворныхъ костюмовъ, убранствомъ комнатъ, высокимъ мраморнымъ каминомъ, рѣзными шкафами, балдахинномъ съ пурпурными шелковыми занавѣсками и чернымъ бархатнымъ одѣяломъ съ вышитыми на немъ золотомъ инициалами и лиліями короля. Театральные поcѣтителі сравнивали картину съ тѣмъ, что они видѣли на сценѣ въ пьесѣ Витѣ, и сравненіе было несомнѣнно въ пользу художника. Деларошъ старался слѣдовать во всемъ постановкѣ на сценѣ, и заказалъ машинисту оперы, Жюлиевъ, маленькія модели комнатъ, гдѣ онъ и размѣщалъ своихъ манекеновъ.

Есть еще одно огромное различіе между Деларошемъ и Делакруа, изъ которыхъ одинъ только иллюстраторъ, а другой художникъ. Делакруа обладалъ даромъ внутренняго созерцанія; онъ изображалъ лишь то, что его захватывало и принимало въ его фантазіи твердый образъ. Когда органъ игралъ „Dies irae“, передъ нимъ возникалъ образъ его „Pietà“, высоко художественнаго произведенія, напоминающаго Рембранта по силѣ экспрессіи. „Жизнь Тассо“, писалъ Делакруа „полна глубокаго интереса. О немъ хочется плакать, и, читая его жизнеописаніе, нельзя оставаться спокойнымъ. Губы сжимаются отъ гнѣва“. Деларошъ совершенно не обнаружилъ страсти. Въ изображеніи кровопролитныхъ сценъ онъ напоминаетъ Мізриса. Делакруа всегда беретъ самое существенное, передаетъ въ каждой сценѣ ея поэтической или религіозный характеръ. Ему достаточно нѣсколькихъ линий, чтобы ихъ сочетаніемъ произвести глубокое впечатлѣніе. Смотра на картины Делакруа, на это бушующее море страстей, на опьяняющую гармонію чувствъ и красокъ, — никому въ голову не придетъ обращать вниманіе на точность костюмовъ. Деларошъ, какъ Тьері, любилъ только историческія анекдоты, которые или вызываютъ въ зрителѣ на-

пряженное вниманіе, если они представлены драматично, или же занимають его какъ простой рассказъ. Колоритъ и настроеніе, вытекающіе изъ событій, не имѣли никакой власти надъ его фантазіей. Онъ воспринималъ сюжетъ разсудкомъ, и потомъ кропотливо сочинялъ свои картины. Делакруа изучалъ природу съ большимъ вниманіемъ, но въ часы творчества, стоя передъ полотномъ, онъ не выносилъ вида моделн. „Присутствіе модели“, писалъ онъ, „понижаетъ настроеніе. Глупый натурщикъ заражаетъ своей глупостью и художника“. Деларошъ драпировалъ моделн, какъ это требовалось для сюжета, заставляя ихъ принимать нужныя ему позы и выраженіе лица, искусственно вызывая у нихъ на лицѣ во время работы пафосъ, необходимый для изображаемаго положенія. Такой пріемъ долженъ былъ неминуемо привести къ дѣланности.

Въ историческихъ картинахъ Деларошъ стремился замѣнить страстный стиль Делакруа опернымъ, а въ своемъ знаменитомъ *hemicycle*’ѣ онъ поддѣлывался подъ академическій стиль. Ему не давали покоя лавры Энгра.

Картина Делароша стала знаменитой главнымъ образомъ благодаря прекрасной гравюрѣ Энрикеля-Дюпона. Никакого торжественнаго, праздничнаго впечатлѣнія она не производитъ. Зрителю кажется, что онъ попалъ въ очень прозаичную пріемную, гдѣ собрались въ ожиданіи какой нибудь церемоніи великіе люди разныхъ эпохъ. Это тщательно подобранная коллекція костюмовъ всѣхъ временъ, съ хорошо изученными и ничего не выражающими портретами генеральнаго штаба цивилизаціи. И здѣсь Деларошъ не сумѣлъ подняться выше посредственности и остался истиннымъ буржуа въ пониманіи и воспроизведеніи характеровъ.

Портретъ Наполеона яснѣ всего обнаруживаетъ отсутствіе всякаго величія въ талантѣ Делароша. Въ портретѣ не чувствуется стнхійной силы Наполеона; въ немъ офицеры видѣли бога войны; м-мъ де Сталь говорила, что въ немъ не осталось ничего человѣческаго. Всего этого нѣтъ на портретѣ Делароша. Духъ великаго корсиканца, съ его „титаническими мыслями, каждой изъ которыхъ хватило бы на всю жизнь какого нибудь нѣмецкаго писателя“, остался закрытымъ передъ взоромъ художника, который никогда не видалъ въ исторіи человечества ничего кромѣ мелкихъ эпизодовъ. Художникъ же, не умѣющій на-



Бугро: Амуръ и Психея.



„Тиферисъ; Пистина.

писать хорошаго портрета, не имѣть права проникать и въ другія области искусства.

Поэтому и религіозныя картины его послѣднихъ лѣтъ не обогатили живописи ничѣмъ новымъ. Онѣ являются буржуазной обработкой библейской драмы совершенно въ духѣ историческихъ картинъ. Онъ самъ понялъ въ послѣдствіи, какъ мало отношенія имѣютъ къ искусству его привлежныя компляціи. Но при всемъ желаніи, онъ не могъ дать больше того, что далъ въ тридцатыхъ годахъ; это сознаніе лишило его всякой возможности продолжать работу. Онъ отдался грустному, пессимистическому настроенію, отъ котораго въ 1856 г. его освободила смерть.

Томасъ Кутюръ (Thomas Couture) былъ въ 50-хъ годахъ, наряду съ Деларошемъ, самымъ любимымъ учителемъ. Какъ художникъ онъ стоитъ выше. Его „Римляне времени упадка“ произведение, которое и теперь еще заслуживаетъ вниманія; въ немъ воплотился духъ *Juste — Milieu*. Кутюръ замѣчательный человѣкъ. Онъ былъ сыномъ сапожника изъ Сенлиса. Родители считали туго развивавшагося мальчика съ большой головой почти идиотомъ, и относились къ нему не особенно нѣжно. Его выгнали изъ школы, потому что онъ не понималъ самыхъ простыхъ вещей. Онъ учился безъ всякаго успѣха въ мастерскихъ Гро и Делароша. Въ Салонѣ 1843 г. онъ дебютировалъ „Трубадуромъ“, красивой

картиной во вкусѣ Деверіа. А въ 1847 г. его „Римская оргія“ сдѣлала его сразу знаменитымъ художникомъ, однимъ изъ самыхъ популярныхъ во Франціи. Къ нему стекались со всѣхъ сторонъ свѣта ученики, и каждый изъ нихъ уносилъ неизгладимую память объ учителѣ. Низкаго роста, широкоплечій и коренастый, съ большой лохматой головой Кутюръ, имѣлъ видъ рабочаго. Съ трубкой во рту, одѣтый въ блузу, рѣзкій въ манерахъ, онъ обходилъ ряды своихъ учениковъ, поражая всѣхъ умѣньемъ преподавать и своимъ мастерствомъ. А черезъ нѣсколько лѣтъ о немъ совершенно перестали говорить. Послѣ картины „Лю-

бовъ къ золоту" и нѣсколькихъ портретовъ, онъ почувствовалъ себя неспособнымъ дать что нибудь новое и отказался отъ дальнѣйшихъ попытокъ. Его „Соколинчій" — изящная по колориту картина — была послѣднимъ произведеніемъ, въ которомъ Кутюръ проявилъ свое мастерство. Онъ поссорился съ Наполеономъ, потерялъ возможность получать отъ него заказы, создалъ себѣ своими произведеніями множество враговъ, въ особенности среди поклонниковъ Делакруа, котораго онъ критиковалъ свѣше мѣры. Наконецъ, озлобленный, порвавшій съ міромъ художниковъ, онъ зарылся въ своемъ небольшемъ помѣстьи вблизи Парижа, Villers de Bel. Туда являлись американцы и англичане заказывать ему картины. Они изумлялись когда оказывалось, что старый садовникъ, который сидитъ на лугу, чиня сапоги или исправляя котлы, и есть Кутюръ. Извѣстіе о его смерти въ 1879 г. всѣхъ чрезвычайно изумило, — какъ будто воскресъ давно похороненный человѣкъ.

Въ его „Римской оргіи" было тоже много компромиссовъ. Единственная новизна заключалась въ томъ, что романтической колоритъ пригнанъ былъ къ идеалистической формулѣ. Картина несомнѣнно очень благородна по общему тону, но можно себѣ представить, что сдѣлалъ бы изъ этого сюжета Делакруа или Рубенсъ. Во всѣхъ фигурахъ Кутюра есть только общая отвлеченная красота. Онѣ лишены всякой индивидуальности. Въ нихъ совершенно нѣтъ изнервленной чувственности римлянъ времени упадка. Онѣ позируютъ и скупаютъ въ своихъ классическихъ позахъ. Онѣ не пируютъ и не любятъ, а заняты только тѣмъ, что заполняютъ пространство красивыми группами. Ихъ лица, благодаря идеализаціи, совершенно лишены характера. Они благородны, но въ нихъ нѣтъ темперамента. Кутюръ выбиралъ мужественные сюжеты, но женственно изображалъ ихъ. Его картина декаданса — произведеніе декадента времени упадка классицизма.



Эннеръ: Сусанна.

ХІІІ.

ЭПИГОНЫ.

ПРОШЛО четыре года послѣ того, какъ Кутюръ написалъ свою „Римскую оргію“—и на престолъ вступилъ Наполеонъ ІІІ. Началась парижская оргія. Парижъ при Людовикѣ Бонапартѣ! Столица Франціи представляла въ то время удивительное, сказочно блестящее зрѣлище. Еще теперь, когда республиканскій Парижъ старается по возможности истребить всѣ воспоминанія о времени Имперіи, внѣшній видъ города напоминаетъ духъ Наполеона. Августъ имѣлъ право сказать, что онъ засталъ свою столицу выстроенную изъ глины, а оставилъ ее городомъ изъ камня и металла. Наполеонъ могъ утверждать, что онъ воздвигъ дворцы тамъ, гдѣ были лачуги.

Несмотря на дурную память, оставленную правленіемъ Наполеона ІІІ, даже самые убѣжденные республиканцы признаютъ за нимъ одно качество. Онъ умѣлъ оживлять промышленность, вносить жизнь въ торговлю—il faisait marcher le commerce. Всѣ признаютъ, что Парижъ нашего времени лишь слабая тѣнь того, чѣмъ онъ былъ прежде. Le niveau a baissé, — говорятъ парижане, вспоминая блестящіе дни имперіи. Блескъ и жизнь свѣтскаго общества, которое мчалось въ роскошныхъ экипажахъ по бульварамъ и Елисейскимъ полямъ къ Булонскому лѣсу и выставляло себя на показъ вечеромъ въ ложахъ театровъ, блескъ исходившій отъ двора, стекавшіеся въ Парижъ богачи всего міра,—все это вносило въ тогдашнюю парижскую жизнь ослѣпительный блескъ, опьяненіе и небывалое упоеніе жизнью. Послѣ добродѣтельно скучной буржуазной жизни временъ Луи Филиппа явилось новое поколѣніе прожигателей жизни. Оно извѣдало до дна все, что современный большой городъ можетъ создать въ области утонченныхъ наслажденій. Люди временъ имперіи глубже изучили искусство жизни и болѣе гениально владѣли имъ, чѣмъ предъидущее поколѣніе. Въ Тульери жилъ герой 2-го декабря, знатокъ изысканныхъ удовольствій. Въ его лицѣ воплотился духъ эпохи, которую Золя изобразилъ въ „Рене“, описывая волшебныя освѣщенные залы императорскаго замка. Тамъ было все что можетъ дать цивилизація, тамъ сіяли глаза и алмазы, струи-



Энгельс: Ложась женщина.

лись волны ароматовъ вокругъ обнаженныхъ плечъ и рукъ. На это мраморное колеблющееся море декольтированныхъ бюстовъ, бѣлыхъ плечъ равнодушно взираетъ зеленый загадочный взоръ Наполеона III, дѣлая обзоръ всему, чѣмъ онъ уже насладился и что еще общаетъ ему наслажденіе въ будущемъ. „Дама съ камеліями“ Дюма, его „Діана де Лисъ“ и „Полусвѣтъ“, „Мраморныя женщины“ Баррьера, „Бракъ Олимпіи“ Ожье отразили эту эпоху въ литературѣ, и самое названіе „дамы съ камеліями“ вызываетъ цѣлый міръ образовъ и сценъ. Подъ заглавіемъ „Новый Вавилонъ“ Іосифъ Пеладанъ описалъ таинственный Парижъ тѣхъ лѣтъ, городъ утонченныхъ наслажденій и неизсякаемой рабочей силы.

Въ живописи тоже, казалось бы, должна была отразиться жизнь имперіи, такъ же какъ въ произведеніяхъ Рембрандта, Франца Гальса, Яна Стіна, Терборга, Остада, Питера де-Хуга и ванъ-деръ-Мэра отразился ясно и жизненно, нитивно и величественно духъ XVIII вѣка, его нравы и костюмы. Какое безконечное поле открывалось для живописи, начиная съ праздничныхъ зрѣлищъ, съ суеты общественныхъ собраний вплоть до изображенія интимныхъ сторонъ жизни. Литература пошла по этому направленію уже четверть вѣка ранѣе, и указывала путь къ новымъ мірамъ. Во французской живописи жизнь французскаго общества совершенно не отразилась. Ни одинъ художникъ не далъ картины этого блестящаго, танцующаго на вулканѣ и столь обаятельнаго Парижа. Классицизмъ и историческая живопись продолжали попрежнему первенствовать въ искусствѣ и не обогатились даже никакими новыми оттѣнками.

Уже въ 1833 г. Шарль Леиорманъ писалъ о школѣ Давида: „Даже Энгельсъ, истинно великій художникъ, не сумѣлъ оживить дряхлѣющую школу живописи и вернуть ослабѣвшимъ струнамъ полноту звука. Онъ явился лишь для того, чтобы съ почестями похоронить бывшее величіе. Уберните это послѣднее дѣтище классицизма, задерните занавѣсъ—фарсъ сыгранъ до конца“. Онъ могъ бы сказать то же самое и сорокъ лѣтъ спустя, потому что благодаря Кабанелю и Бугро классицизмъ добрелъ, хромая, до нашихъ дней. Ихъ условная, академичная, шаблонная живопись могла отлично явиться цѣлымъ



Энгеръ: Наяда.

поколѣніемъ раньше. Классицизмъ Давида былъ строгимъ и спартанскимъ, классицизмъ Энгра холоднымъ и корректнымъ, а въ рукахъ Кабанеля и Бугро онъ приобрѣлъ красоту и весь растаялъ въ ароматъ фіалокъ и розъ. Эти картины только тѣмъ связаны съ эпохой имперіи, что изображенныя на нихъ Венеры, Наяды, Авроры и Діаны напоминаютъ собой дамъ полусвѣта. Для Энгра женское тѣло было еще исключительно канономъ прекрасной формы, здѣсь же волнистыя линіи тѣлъ приобретаютъ чувственный оттѣнокъ. Энгру человѣческій глазъ представляется еще въ духѣ античной пластики, чѣмъ то животнымъ, неодухотвореннымъ, мертвымъ. Здѣсь же глаза приобретаютъ вызывающій блескъ. Современная извращенность вкрадывается въ классическую схему.

Александръ Кабанель— воплощеніе академичности. При Наполеонѣ III онъ стоялъ во главѣ Ecole des Beaux Arts. Это былъ вполне счастливый человѣкъ. Онъ родился въ университетскомъ городѣ Монпелье и выросъ среди академическихъ традицій. Въ 1845 г. онъ получилъ Grand Prix de Rome, на всемирной выставкѣ 1855 г. первую медаль, и продолжалъ идти своимъ путемъ, осыпанный орденами и почестями, среди бурнаго одобренія толпы. Ни одинъ изъ художниковъ XIX в. не поднимался такъ высоко по лѣстницѣ почестей. Въ своемъ творчествѣ онъ никогда не переступалъ предѣловъ школы Энгра. Первая картина, которую онъ послалъ изъ Рима въ Салонъ „Смерть Моисея“ написана была по Рафаэлю и Микэль-Анджело. Съ тѣхъ поръ онъ сталъ снабжать Англію и Америку изображеніями болѣе или менѣе оголенныхъ женщинъ, носившихъ то литературныя, то библейскія имена: Делила, Суламита, дочь Іевфая, Руфь, Тамара, Флора, Эхо, Психея, Геро, Лукреція, Клеопатра, Пенелопя, Федра, Деэдемона, Фіаметта, Франческа да Римини, Пія деи Толомеи — безконечная вереница именъ. Но разнообразіе въ этотъ поэтический сераль вносятъ только подписи—самыя фигуры всегда одинаковы. Картины Кабанеля написаны чрезвычайно правильно, посредственно исполнены красками, — и совершенно не трогаютъ души. Онъ нравятся своей очень большой гладкостью и

умѣlostью исполненія. Это тоже, что хорошія манеры у человѣка. Онѣ подкупаютъ, но сами по себѣ не могутъ сдѣлать общество такого человѣка пріятнымъ. Въ произведеніяхъ Кабанеля нѣтъ ничего трогающаго душу, ни одного намека, по которому было бы видно, что художникъ самъ что нибудь чувствовалъ при работѣ, или могъ бы внушить какія нибудь чувства тому, кто созерцаетъ картину. Однообразныя лица его фигуръ съ темными кругами подъ глазами кажутся не образами живыхъ людей, а раскрашенными гипсовыми слѣпками. Его Клеопатра равнодушно слѣдитъ за дѣйствіемъ яда и кажется такой же неживой, какъ пантера у ногъ ея. Тщетно искать въ его картинахъ искреннюю, интересную черту, лицо, привлекающее своей естественностью. Венера, написанная въ 1862 г. сдѣлала Кабанеля любимымъ художникомъ въ Тюльери.



Бюдрисъ, Шарлотта Кордэ.

Вялые розовые тона этой картины становились въ дальнѣйшихъ работахъ все болѣе безсильными, и картины Кабанеля стали уподобляться раскрашеннымъ картонамъ. Онъ былъ ученикомъ Пико, но собственно говоря онъ внукъ Энгра. Дѣдъ былъ однако многимъ выше внука, его портреты доказываютъ всю ничтожность Кабанеля. Энгръ оставался въ портретахъ реалистомъ—изумительнымъ по свѣжести и полнотѣ жизни. Первые женскіе портреты Кабанеля тоже отличаются строгой граціей, и соединяютъ изящество съ правдивостью. Но успѣхъ имѣлъ на него роковое вліяніе. Онъ сталъ излюбленнымъ портретистомъ свѣтскаго общества, и оно его погубило. Чтобы нравиться своимъ знатымъ заказчикамъ, онъ полюбилъ больше чѣмъ слѣдуетъ портретисту гладкій розовый тонъ тѣла, большіе стеклянные глаза, тонкія руки, и такъ идеализировалъ свои модели, что онѣ утратили всякое подобіе жизни, *Вильямъ Бугро* (William Bouguereau) прилежно и много учился и слѣлалъ все что можно сдѣлать обладая вкусомъ, но не будучи художникомъ. Его безсильная манера писать, отсутствіе всего того, что глубоко трогаетъ зрителя, свѣдѣтельствуешь однако о безнадежномъ упадкѣ условной живописи. Его сравнивали съ Октавомъ Фелье, который тоже никогда не выходилъ изъ круга свѣтскихъ сюжетовъ. Но это сравненіе обидно для Фелье. Бугро въ своихъ мадоннахъ расфранченный Ари Шефферъ; въ изображеніяхъ Венеръ—увеличенный Гамонъ; безукоризненно правильная шаблонная красота его фигуръ становится все нестерпимѣе съ каждымъ годомъ. Это живопись на фарфорѣ—



Бодри: Истина.

въ преувеличенно большихъ размѣрахъ. Всѣ его мадонны и нимфы написаны въ одинаково гладкихъ розовыхъ тонахъ; условность и однообразіе тѣла дѣлаютъ ихъ чѣмъ то среднимъ между Галатеей Рафаэля и парикмахерскими куклами. Въ *одно*мъ только отношеніи религиозная живопись Бугро является выраженіемъ своего времени: это такая же изящная ложь, какъ вся вторая Имперія.

Рядомъ съ Венерой Бугро въ Люксембургскомъ музеѣ виситъ извѣстная колоссальная фигура обнаженной красавицы съ неестественно развитыми бедрами. Сверкающее зеркало въ высоко поднятой правой рукѣ аттестуетъ ее „Истинной“. *Жюль Лефевръ* (Jules Lefèvre), написавшій эту картину, художникъ старой школы: онъ вышелъ изъ мастерской Конье и получилъ въ 1861 г. Prix de Rome. Но у него есть по крайней мѣрѣ вкусъ, изящность, темпераментъ. Его живопись голаго тѣла болѣе благородна, правдива и сильна. Онъ искренно любилъ жизнь и природу — особенно въ

молодости. Его спящая дѣвушка 1865 г. и Femme couchée 1868 г.—вдумчивые правдивые этюды тѣла; благодаря мягкости и увѣренности рисунка, они не устарѣли и до сихъ поръ. Къ сожалѣнію художникъ утратилъ мужественную твердость, когда сталъ составлять картины изъ идеализированныхъ фигуръ. Композиція его „Испуганной Дяны“ 1879 г. очень хороша, линии гармоничны, есть красныя подробности, очаровательныя лица, но въ общемъ картина безжизненна и неинтересна. Лефевру недостаетъ силы, и при всемъ своемъ благородствѣ и достоинствѣ композиціи, онъ не достигъ совершенства въ изображеніи голаго тѣла. Для этого онъ недостаточный мастеръ въ живописи.

Все французское искусство того времени, хотя и охотно шло по этому пути, но дало только много хорошо нарисованныхъ тѣлъ. Живопись всетаки была бѣдна произведеніями, которыя могли бы выдержать хоть отдаленное сравненіе съ картинами Фрагонара или Буше. Революція положила конецъ упоенію красотой тѣла въ французскомъ искусствѣ. Въ концѣ XVIII и началѣ XIX вѣка живописцемъ нѣжныхъ и теплыхъ тоновъ живаго тѣла былъ не реформаторъ Давидъ, а презираемый Прюдонъ. Идеаломъ Давида были статуи и онъ превращалъ тѣло въ камень. Прюдонъ, внукъ Корреджіо, видѣлъ въ нѣжности и мягкости средство воплотить жизнь. Энгръ, какъ и Давидъ, очень посредственно писалъ тѣло, а романтики рѣдко вступали въ эту область. Въ „Massacre“ Делакруа есть нѣсколько прекрасно написанныхъ тѣлъ, но они стоятъ обособленными въ его творчествѣ. Съ 1850 года установилась манера



Бодри: Жемчужина и волна.

писать женское тѣло такъ, какъ будто бы оно было сдѣлано изъ терракоты, фарфора или слоновой кости. Искусство писать бархатистое мягкое тѣло и оживлять его переливами свѣта было забыто. Его нужно было возродить и эту важную задачу взялъ на себя Эннеръ (Henner), современный Корреджіо изъ Эльзаса. Онъ относится къ Кабанелю какъ Прюдонъ къ Давиду. Эннеръ сталъ въ послѣдніе годы слишкомъ манернымъ и написалъ много плохихъ картинъ. У него образовалась тяжелая, маслянистая, тягучая манера писать. Прежняя мягкость свѣтотѣней смѣнилась грубостью. Но въ сравненіи съ Кабанелемъ, онъ все таки истинный поэтъ въ изображеніи женскаго тѣла, мечтательно граціозный пѣвецъ утонченной чувственности. Нѣжный идеалъ Прюдона и трепетная мягкость его кисти воскресли въ Эннерѣ. Въ его „Отдыхающей Нимфѣ“ Люксембургскаго музея столько же нѣги и манящей таинственности, какъ въ сладостной улыбкѣ и красотѣ женскихъ тѣлъ Прюдона. Эннеръ тоже учился у мастеровъ ломбардской школы. Получивъ Prix de Rome въ 1858 г., онъ выставилъ въ Салонѣ 1865 г. „Сусанну“. Она свидѣтельствовала о большомъ умѣніи писать тѣло и о родствѣ съ Корреджіо. Всю свою жизнь онъ оставался послѣдователемъ ломбардской школы. Трудно себѣ представить болѣе нѣжный и мягкій этюдъ тѣла, чѣмъ его „Библисъ“ 1867 г. Позже у Эннера обнаружилась еще одна характерная для него особенность. Въ своемъ стремленіи какъ можно тоньше передать тонъ и нѣжность тѣла, онъ сталъ искать освѣщенія, которое бы увеличивало сіяніе нагаго тѣла. Онъ нашелъ такое освѣщеніе въ природѣ. „Часть Эннера“—такъ можно было бы назвать тотъ часъ, когда надвигаются сумерки на природу и она медленно утрачиваетъ краски; только небольшая голубая полоса на небѣ или молчаливое лѣсное озеро сохраняютъ на минуту отраженіе уходящаго свѣта. Среди тихой гармоніи природы, послѣ солнечнаго заката, блѣдное человѣческое тѣло какъ бы впитало въ себя всѣ лучи и еще свѣтитъ въ то время, какъ окружающая природа уже подернута безсвѣтными сумерками. Въ этомъ заключается „вторая манера“ Эннера, возведенная имъ въ систему. Съ тѣхъ поръ ежегодно появлялась въ Салонѣ какая нибудь блѣдная нимфа, туманно выдѣляющаяся на темной зеленн, напоминающая собой одну изъ Виргиліевскихъ экологъ. Сумерки ласково спускаются на покоющееся бѣлое тѣло. Этой манерой писать и освѣщать тѣло Эннеръ занялъ видное мѣсто въ современной живописи.



Бодри: Цибелла.

Декоративная живопись *Поля Бодри* (Paul Baudry) завершила собой это направление въ парижской живописи. Творчество Бодри было вѣнцомъ „идеальной живописи“ — возродившейся вслѣдствіе изученія итальянскихъ классиковъ. Но Бодри же сдѣлалъ и шагъ дальше, — онъ оживилъ классическую схему рѣзкимъ отпечаткомъ духа современности — *modernité*.

Первая картина Бодри — „Убіиство Марата“ — слаба. То, чего достигъ Давидъ спокойствіемъ и величіемъ своего мертвого Марата, то Бодри испортилъ своей Шарлоттой Кордэ. Ванна, ночной столикъ и чернильница на немъ, карта на стѣнѣ, вся обстановка комнаты написаны съ большимъ совершенствомъ; но молодая героиня въ своей окаменѣлой идеальности обнаруживаетъ не больше жизни чѣмъ предметы въ комнатѣ.

„Жемчужина и волна“ Бодри, висѣщая въ Люксембургскомъ музеѣ рядомъ съ Кабанелемъ и съ „Рожденіемъ Венеры“ Бугро, обозначаетъ собой уже шагъ впередъ. Темносниная пѣнистая волна вынесла могучимъ всплескомъ на берегъ обаятельную женщину, подобную драгоценной жемчужинѣ. Кажется, что она только что проснулась отъ сна, лукавые влажные глаза улыбаются. Она дерзко высовываетъ свѣтлую головку изъ подъ закинутыхъ вверхъ рукъ и потягиваетъ нѣжнымъ движеніемъ юношески стройное, но полное тѣло. Красавицы Бугро и Кабанеля кажутся восковыми, ихъ портятъ искусственные прикрасы. Венера Бодри совсѣмъ живая, — въ ней сохранилась индивидуальная красота модели.

Дыханіе жизненной правды дѣлаетъ привлекательными и картины Бодри въ парижской оперѣ. Истиннымъ мастеромъ декоративной живописи, Фрагонаромъ XIX вѣка, Бодри не можетъ считаться: — онъ для этого слишкомъ большой эклектикъ. Онъ провелъ пять лѣтъ въ виллѣ Медичи послѣ полученія *Prix de Rome*, и эти годы (1851—56 г.) были самыми счастливыми въ его жизни. Онъ тогда не смотрѣлъ въ итальянскихъ музеяхъ ни на Гольбейна, ни на Велас-



*Бодри; Меланхолия и Клео.
Фрески изъ Grand Opéra въ Парижъ.*



Бодри: Эскиз Суда Париса.

кеза, Рембрандта, Боттичелли или Караваджю. Французская, испанская, фламандская и голландская живопись не существовали для него, такъ же какъ не существовало различія народностей и прогресса въ искусствѣ. Онъ поклонялся исключительно традиціямъ cinquecento. Оно было для Бодри альфой и омегой въ искусствѣ. Онъ мечталъ объ огромныхъ декоративныхъ картинахъ, въ которыхъ онъ могъ бы стать самъ наряду съ великими мастерами той эпохи. Радостной вѣстью было для него приглашеніе расписать плафоны парижской оперы. Приглашеніе исходило отъ Шарля Гарнье, его прежняго товарища. Бодри было тогда 35 лѣтъ, онъ былъ полонъ силъ—и тотчасъ же отправился въ Италію, чтобы тамъ заново поучиться у мастеровъ Возрожденія. Въ продолженіе цѣлаго года онъ по десяти часовъ ежедневно работалъ въ Сикстинской капеллѣ. Изучивъ Микэль-Анджело наизусть, онъ отправился въ Англію копировать картины Рафаэля, затѣмъ въ 1870 г. въ третій разъ въ Италію. Тогда только онъ ощутилъ въ себѣ достаточно силъ, чтобы покрыть живописью 500 квадратныхъ метровъ полотна. Четыре года прошли въ работѣ и когда картины, прежде чѣмъ ихъ установили на мѣстѣ, выставлены были въ 1874 г. въ Palais des Beaux Arts, всѣ были поражены количествомъ работы, исполненной однимъ человѣкомъ.

Въ настоящее время Бодри уже нельзя воздавать такихъ похвалъ. Онъ мечталъ занять мѣсто наряду съ великими мастерами Возрожденія, но на это онъ права не имѣетъ. Онъ даже едва ли можетъ быть причисленъ къ великимъ французскимъ художникамъ XIX в. Ему не доставало перваго и самаго важнаго дара—самобытности. Онъ былъ образцовымъ ученикомъ въ юности и таковымъ остался навсегда. На природу онъ всегда глядѣлъ сквозь призму искусства, и никогда не имѣлъ мужества броситься въ ея живительныя струи. Между нимъ и дѣйствительностью стояли картины древнихъ мастеровъ, дорогія его сердцу. Съ кистью въ рукахъ онъ поочередно увлекался Микэль Анджело, Тицианомъ, Корреджіо, Бронзино, даже Энгромъ. Вернувшись въ первый разъ изъ Италіи послѣ пребыванія въ виллѣ Медичи, онъ выставилъ нѣсколько картинъ, по колориту напоминающихъ Тициана, по стилю Рафаэля. Каждая его картина, даже изъ самыхъ выдающихся, напоминаетъ какую нибудь другую. Его „Фортуна“ съ ребенкомъ—варіація Тициановской картины „Небесная и земная любовь“. „Смерть весталки“—напоминаетъ „Смерть Петра мученика“. „Воины“ въ оперѣ—двойникъ „Марсельезы“ Рюда. Вглядѣвшись въ картины Бодри можно отыскать на нихъ множество жестовъ, положеній, фигуръ, взятыхъ у Веронезе, Андреа дель Сарто, Корреджіо или Рафаэля. Его картины—собраніе излюбленныхъ формъ cinquecento, своего рода заветъ cinquecent' истовъ. Онъ былъ парижскимъ Приматиччіо, запоздалымъ питомцемъ старой школы Фонтенебло. Въ немъ воплотилась послѣдняя улыбка Ренессанса—онъ усвоилъ себѣ всѣ его побѣды и уложилъ ихъ въ формулы. Но ему не доставало творческой фантазіи, его картинамъ—самобытности. Нервные напряженія тѣла его юностей не были бы написаны, если бы онъ не зналъ Давида, Донателло. Могучія женщины на его картинахъ ведутъ начало отъ Евы Микэль Анджело, болѣе стройныя и изящныя отъ Россо. Снѣгіе и бѣлые тона его палитры были блестящи и ярки, но также далеки отъ истиннаго искусства, какъ и его композиціи.

Было бы однако несправедливо утверждать, что все творчество Бодри сводится къ устарѣлому классицизму и разбавленному водой Микэль Анджело. Онъ былъ не только ученикомъ итальянцевъ. Парижъ тоже далъ ему нѣчто—красоту, игривость, утонченность, грацію, обаятельность. Въ этихъ свойствахъ вся оригинальность Бодри. Формы, заимствованныя у мастеровъ прежнихъ вѣковъ, онъ сѣло осложнилъ современной нервностью. Его юности родились во Флоренціи, его дѣвушки въ Римѣ, 350 лѣтъ тому назадъ, и все же они напоминаютъ отчасти парижанокъ и свѣтскихъ щеголей новѣйшаго образца, зна-



Бодри; Эдмондъ Боу.



Делонэ; Диана.

цѣнный матеріалъ для исторіи французской культуры въ девятнадцатомъ вѣкѣ. Они, вмѣстѣ съ маленькими изысканными портретами а la Клуэ, на зеленомъ или голубомъ фонѣ, (портретъ его друга Абу самый лучший изъ нихъ) — упрочили значеніе Бодри въ исторіи французской живописи.

Вмѣстѣ съ Бодри исполненіемъ декоративныхъ работъ въ зданіи Парижской оперы занимался *Эли Делонэ* (Eliac Delaunay). — Онъ написалъ въ боковой залѣ фойе три большія картины на сюжетъ изъ мифовъ объ Аполлонѣ, Орфеѣ и Амфіонѣ; на нихъ въ свое время обратили меньше вниманія, чѣмъ они заслуживали. Делонэ родился въ томъ-же году какъ и Бодри, и былъ тоже родомъ изъ Бретани. Они очень сходны и по таланту. Делонэ тоже поклонялся мастерамъ Возрожденія, но это преклоненіе относилось не столько къ *cinquiescento*, какъ къ XV вѣку. Онъ готовился къ *Ecole des beaux arts* въ мастерской Фландрена. Его первая картина 1849 года, „Христосъ, исцѣляющій прокаженного“, вѣрна римскому пониманію формы; твердый, какъ-бы отлитой изъ бронзы рисунокъ, совершенно въ духѣ Энгра. Въ 1856 году онъ получилъ *l'Prix de Rome*, и тогда только, живя въ Римѣ, сталъ изучать мастеровъ ранняго Возрожденія; предпочитая ихъ римскимъ классикамъ. Его привлекали ихъ строгое изученіе природы и мужественная рѣзкость. Его альбомы стали заполняться этюдами по Паоло Уччелло, Филиппо Липпи, Полляолло, Гирияндайо, Боттичелли, Гоццолли, Синьорелли. Это было какъ разъ время знаменательнаго поворота французской скульптуры отъ античныхъ образцовъ къ Донателло, Веррокіо и Дел-

комыхъ съ лихорадочной жизнью бульваровъ. Въ его живописи есть нѣчто чисто французское, пикантное, женственное, двусмысленное, почти непристойное. Въ танцовщицахъ и музахъ еще виднѣется нѣжный обликъ натурщицы; талія Музыки и Поэзіи была очевидно до сеанса затянута въ узкій корсетъ. Такихъ женщинъ можно встрѣтить въ Парижѣ на каждомъ шагѣ — онѣ идутъ шурша платьемъ по тротуарамъ бульваровъ, или, небрежно развалившись въ коляскѣ, возвращаются изъ булонскаго лѣса. Современный Парижъ чувствуется не только въ тонкости перетянутыхъ талій, но и въ характерѣ головъ, въ улыбкѣ. Подражаніе древнимъ мастерамъ получило у Бодри новый оттънокъ. Всему, что онъ заимствовалъ, онъ придавалъ чарующій индивидуальный отпечатокъ. Его изящность и грація не взяты у Корреджіо, Рафаэля, или Веронеза — это чисто французская, парижская грація. Его музы и амуръ, „Комедія“ и „Судъ Париса“

ла Robbia. Тогда был учрежден Prix de Florence и Поль Дюбуа изваял своего флорентийского пѣвца. Делонэ, ученикъ quattrocent'истовъ, сталъ однимъ изъ лучшихъ рисовальщиковъ XIX вѣка; онъ проникся здоровымъ реализмомъ примитивовъ и выработалъ въ себѣ точную, твердую манеру, общую у него съ однимъ только Энгромъ изъ всѣхъ новѣйшихъ французскихъ художниковъ. Тѣла его нагихъ мужскихъ фигуръ такъ же нервно напряжены, какъ у Донателло, изящны, сильны какъ статуи Дюбуа. Уже тѣ двѣ картины, которыя онъ прислалъ изъ Италіи въ Салонъ, „Нимфа Эгерія, убѣгающая отъ преслѣдованій Эзаха“ и „Урокъ игры на флейтѣ“ Нантскаго музея, написаны съ большою искренностью и вкусомъ; въ нихъ видно серьезное, терпѣливое изученіе природы; художникъ не гонится за эффектами, не любитъ избытка традиціонныхъ пріемовъ. Въ 1861 году, вернувшись изъ Рима во Францію, онъ закончилъ фрески въ церкви св. Николая въ Нантѣ.



Делонэ: Поющие мальчики.

Ихъ строгая суровость напоминаетъ цикл Синьорелли въ Орвието. Въ 1865 году онъ выставилъ въ Салонѣ „Чуму въ Римѣ“, попавшую въслѣдствіи въ Люксембургскій музей; она не лишена трагизма. Тамъ-же, въ Люксембургскомъ музеѣ его Діана 1872 года — гордая фигура нагой женщины съ твердыми мужественными линіями. Одновременно съ Діаной, Делонэ выставилъ портретъ дѣвнцы Леша, сидящей какъ Ботичеллевская Мадонна передъ рѣшеткой изъ розъ:— это портретъ въ античномъ духѣ и все же онъ очень современенъ; натурализмъ сочетается въ немъ съ утонченностью вкуса. Делонэ сталъ однимъ изъ первыхъ портретистовъ своего времени. Въ его картинахъ, вырѣзанныхъ какъ медали, чувствуется безпощадная любовь къ истинѣ, что то бронзовое или каменное; таковъ напримѣръ прекрасный портретъ мадамъ Тульмушъ. Она сидитъ въ бѣломъ лѣтнемъ платьѣ, въ черныхъ перчаткахъ, среди свѣтлаго пейзажа. Нѣсколько мужскихъ портретовъ Делонэ по твердости моделировки могутъ сравниться съ работами Бронзино лучшей поры. Послѣ картинъ для зданія оперы, онъ закончилъ въ 1876 году двѣнадцать декоративныхъ картинъ для большой залы Государственнаго Совѣта въ Пале-Роялѣ. Его послѣднія не законченныя работы — наброски для Пантеона, сцены изъ жизни Св. Женевиѣвы; въ нихъ онъ примыкаетъ къ стѣнной живописи колоритныхъ живописцевъ Сѣверной Италіи, Гауденціо Феррари и Порденоне. Или Делонэ тоже не былъ оригинальнымъ гениемъ. Онъ только ученикъ quattrocent'истовъ и ничѣмъ не обогатилъ исторіи искусства. Но въ то время, когда искусство стало очень



Делон: Г-жа Тульчиншъ.

поверхностно, онъ одинъ остался искреннимъ серьезнымъ и честнымъ художникомъ, и всѣ его произведенія носятъ отпечатокъ здоровья и мужественной силы. Въ произведеніяхъ этихъ мастеровъ слышатся, конечно, послѣдніе отзвуки Энгрсаго классицизма, отчасти впаившаго въ изнѣженный тонъ, отчасти носящаго отпечатокъ современности и оживленнаго непосредственнымъ изученіемъ природы. Но и въ этомъ періодѣ еще очень сильно вліяніе Поля Делароша. Историческій жанръ занималъ первенствующее мѣсто въ Салонѣ. Единственная переменѣна состояла въ томъ, что добродушіе Делароша смѣнилось сенсационнымъ сюжетамъ, сценами ужаса, и кладбищенскимъ культомъ. Литература первая пошла по этому пути; уже Мери́мэ въ своей послѣдней новеллѣ „Локись“ является предвозвѣстникомъ того направле-

нія, которое Тэнъ опредѣлилъ словами: „Depuis dix ans une nuance de brutalité complète l'élégance“. Даже Флоберъ не чуждъ сенсационности въ „Саламбо“. Вспомнимъ сцены, когда Гиско, уже въ видѣ обрубка человѣческаго тѣла, пробирается въ палатку Мато, какъ ему отпиливаютъ голову; вспомнимъ описаніе пытокъ, которымъ Карогагеняне предають плѣннаго Мато или голоданіе наемниковъ, запертыхъ въ парадной залѣ. Соперничая съ этимъ литературнымъ направленіемъ живопись тоже дошла въ исканіи захватывающихъ сюжетовъ до крайнихъ границъ возможнаго. Деларошъ еще очень робко велъ протоколы несчастныхъ случаевъ въ исторіи; послѣдователи-же его выискивали въ огромномъ мартиронологѣ исторіи самыя страшныя кровавыя сцены и разрабатывали ихъ на гигантскихъ полотнахъ. Невозможно перечислить всѣхъ убійствъ, совершенныхъ въ то время во французскомъ искусствѣ. Ихъ можно было-бы раздѣлить по рубрикамъ—на убійства библейскія, историческія, политическія, убійства изъ мести и ради грабежа,—съ подраздѣленіемъ по способу убіенія: ядъ, кинжалъ, петля, кулачная расправа, холодное оружіе, сожиганіе и т. п. Въ то время публика прозвала Салонъ—Моргомъ за пристрастіе къ „genre féroce“.

На картинѣ Тудуза „Гибель Содомы“, нѣсколько гигантовъ абиссинцевъ съ мѣднымъ цвѣтомъ лица нзвиваются на землѣ въ судорогахъ, а умирающая полусожженная жена Лота, скрежеща зубами, поднимаетъ вверхъ трупъ своего груднаго младенца. На одной картинѣ Георга Беккера трупы сыновей Саула, преданныхъ Давидомъ Гибееонитамъ, висятъ одинъ подлѣ другого въ темномъ лѣсу на крестообразной балкѣ—какъ мясные туши въ лавкѣ. Подъ помостомъ стоитъ ихъ мать и машетъ огромной узловатой дубиной, чтобы отогнать отъ труповъ сыновей гигантскаго допотопнаго коршуна. На одной картинѣ Брэна представленъ пиръ



Сильвестр: Неронъ и „Локуста“.

у мидйского короля Кюксара; въ концѣ пира приглашенные вожди скивовъ убиты наемниками короля. Пиръ Гелиогобалла на картинѣ Матье еще замѣлательнѣе—послѣ пиршества хозяинъ натравляетъ на своихъ гостей голодныхъ львовъ и тигровъ. Эмз Моро изобразилъ на большой картинѣ Амбросиуса жень въ битвѣ при Aquae Sextiae. Какъ полчище фурій бросаются онѣ на лагерь осаждающихъ ихъ римскихъ всадниковъ; полу или совсѣмъ нахъ съ развѣвающимися волосами бросаются онѣ на встрѣчу Римлянъ, руками хватаютъ обнаженные мечи, вырываютъ у враговъ глаза и бросаются подъ копыта лошадей. Въ большомъ ходу были кровожадные львы и тигры изъ кесарскихъ за-ринцевъ. Излюбленнымъ героемъ былъ Неронъ. Его личность составляла общему настроенію. Тѣнь его бродила въ романахъ, драмахъ, въ скульптурѣ и живописи. Всѣ какъ-бы сговорились увѣковѣчить его и другое нѣклетное чудовище — Локусту. На картинѣ Сильвестра, Неронъ, цвѣтушій, тучный, лозящийся отъ жира, наблюдаетъ за агоніей раба, который бьется въ истосахъ на землѣ; Локуста испробовала надъ нимъ ядъ, приготовленный для Зоктанника. Облэ (Aublet) видоизмѣнилъ въ своей картинѣ сцену главенія: сать совершается надъ молоденькимъ негретенкомъ и нѣсколькы «енковъ» тоу-повъ въ глубинѣ картины указываютъ на то, что Неронъ не былъ нѣкогда уд-влетворенъ первыми опытами Локусты. Для того, чтобы не было пусто, въ блестящей ауреа domus, вокругъ Нерона несутся въ нѣкотоомъ числѣ тѣнь его единомышленниковъ. Пелезъ изобразилъ удушеніе нѣкотоаго «енковъ» по-досланнымъ императрицей гладиаторомъ; съ особенной лѣтѣе тѣлѣнъ «енковъ» нѣе подтеки—слѣды рукъ атлета на шеѣ жѣтѣ. Сѣе изобразилъ «енковъ» тогдашнихъ художниковъ — смерть Сенеки. Чѣтѣ сѣе ст. «енковъ» нѣе лѣтѣе изъ раскрытыхъ жилъ, — а философа «енковъ» нѣе лѣтѣе изъ раскрытыхъ жилъ, — а философа «енковъ» нѣе лѣтѣе изъ раскрытыхъ жилъ. На ряду съ безуміемъ Цезарей изображались и нѣкотоае «енковъ» нѣе лѣтѣе изъ раскрытыхъ жилъ.



„Доренсъ; Интердиктъ.“

говъ. Люминэ (Luminais), писавшій галловъ и варваровъ, написалъ большую картину „Les Enervés de Jumièges“: сыновья короля Хлодвигъ II, подвергнутые пыткамъ выжиганія колѣнныхъ чашечекъ, положены въ лодку. Течение несетъ обезсиленныхъ блѣдныхъ юношей внизъ по Сенѣ къ аббатству Жюмьежъ. Сцены пытокъ временъ инквизиціи и всякаго рода истязанія святыхъ тоже привлекали художниковъ. Въ смѣшеніи жестокости и сладострастія эти преемники романтиковъ видѣли сущность Востока, и составляли свои картины изъ блѣлыхъ тѣлъ, пурпурныхъ потоковъ крови и мрака. То любимая султанша разсматриваетъ голову соперницы и глядитъ въ широко раскрытые мертвые глаза, то евнухи собираются задушить осужденную жертву. Бенжаменъ Констанъ, съ его эффектиными композиціями торжествовалъ въ этой области.

Несмотря на сенсаціонность сюжетовъ большинство картинъ не производятъ однако сильнаго впечатлѣнія. Не ужасы, представленные на нихъ, портятъ картины — искусство всѣхъ временъ тяготѣло къ ужасному. Данте съ упоеніемъ рисовалъ ужасы ада. Фантазія Шекспира населена была страшилищами. Есть поэзія въ жестокости и смерти, и почему-бы живописи безглаголиво держаться вдали отъ нихъ. Нужно только, чтобы сюжетъ соотвѣтствовалъ таланту художника, тогда картина можетъ стать хорошей. Этого соотношенія не было въ большинствѣ картинъ. Сюжеты стали болѣе дикими и грубыми. Въ исполненіи же не было и тѣни пламеннаго возбужденія, съ какимъ неаполитанцы XVII вѣка писали своихъ мучениковъ. Необузданно сильныя таланты, какъ Делакруа и Караваджо не рождаются ежедневно. Французскіе же художники, избиравшіе по преимуществу кровавые сюжеты, вовсе не имѣли внутренняго тяготѣнія къ трагическимъ событіямъ. Они только слѣдовали традиціямъ, установившимся въ живописи. Къ тому-же имъ не доставало непосредственнаго знанія жизни, они не изучали природу. Ни одна картина не поражаетъ силой реализма, который одинъ только и можетъ заставить увѣрять въ истинность изображенныхъ страш-



Тюмин; Живописные работы.



Ренцо; Саломея.

ных происшествій. Картины заслуживают вниманія только чрезвычайнымъ мастерствомъ исполненія. Нагія тѣла, которыя извиваются во всевозможныхъ положеніяхъ, создаваемыхъ болѣю, обнаруживаютъ правильностью рисунка большое знаніе анатоміи; но это все та-же группа Лаокоона въ различныхъ видоизмѣненіяхъ. Въ нихъ слишкомъ много классицизма, а нѣтъ ничего болѣе расхолаживающаго, чѣмъ холодное выполнение романтическаго страстнаго сюжета по всѣмъ правиламъ академическаго канона. Во всѣхъ фигурахъ, во всѣхъ даже самыхъ страшныхъ сценахъ видно стремленіе не къ правдѣ, а къ условной красотѣ въ духѣ классиковъ и это нарушаетъ непосредственность впечатлѣнія. Картины кажутся хорошиими этюдами костюмовъ и производятъ прекрасное впечатлѣніе блескомъ красокъ. Это торжественныя сцены, блестящія театральныя зрѣлища. Сарду не могъ бы придумать ничего болѣе эффектнаго. Но въ исполненіи чувствуется все тотъ же рецептъ школы Делароша: боязнъ

крайностей, неопредѣленность формъ, робость композиціи, грубая холодность или напускная смѣлость. Ни одинъ изъ этихъ художниковъ не внесъ страстности въ исполненіе романтическаго сюжета. Ни одинъ не поднялся надъ низкимъ уровнемъ Делароша, не вознесся до величія Делакруа.

Одинъ только Лорансъ (Laurens) составляетъ отчасти исключеніе. Товарищи звали его бенедектинцемъ, потому что онъ выискивалъ съ особенной любовью сюжеты своихъ картинъ изъ забытыхъ церковныхъ преданій. Онъ тоже принадлежитъ къ группѣ историковъ, которые хотятъ чтобы картина самымъ точнымъ образомъ передавала историческій фактъ, но онъ мужественнѣе Делароша, въ его фигурахъ больше правды и меньше банальности. Общее впечатлѣніе болѣе теплое и жизненное. Онъ глубже захватывается. Въ немъ не чувствуется величія, но уже нѣтъ холоднаго педантизма. Композиція болѣе искусна, такъ что въ ней не чувствуется намѣренности; иногда какъ будто-бы замѣчается серьезное увлеченіе. Онъ любилъ ужасное, между тѣмъ какъ другіе только пользовались ужасами для композиціи картинъ въ духѣ времени.

Лорансъ съ большимъ успѣхомъ пользовался инквизиціей и очень утонченно изображалъ мрачныя сцены инквизиціонныхъ ужасовъ. Сваленныя у дверей храма груды труповъ, которымъ духовенство отказываетъ въ погребеніи, папы на скамьѣ подсудимыхъ, раскрытые гроба, откуда выглядываютъ истлѣв-



Помысли, Гибель, Идея, тома.



Реню; Генералъ Приамъ.

шія черты бывшей красоты,— все это дѣйствуетъ даже на самые притупленные нервы. Художникъ достигаетъ такимъ образомъ своей цѣли—и этимъ оправдывается его манера.

Изъ новѣйшихъ художниковъ одинъ только Рошгроссъ (Roche-grosse), смѣлый, талантливый художникъ, по влеченію, а не по традиціи избиралъ сюжеты въ такомъ же родѣ. Въ его картинахъ сквозь условность манеры пробивается страстный темпераментъ, и его можно поэтому отнести къ числу бурныхъ романтиковъ, ведущихъ начало отъ Делакруа. Сюжетъ его первой картины Вителій: римская чернь влечетъ его по улицамъ Рима, къ мѣсту казни истязая по пути. Послѣ того, Рошгроссъ имѣлъ успѣхъ картиной „Разрушеніе Трои“: Андромаха въ безсильномъ бѣшенствѣ борется съ отрядомъ грековъ, которые хо-

тятъ отнять у нее ребенка и сбросить его съ городской стѣны. Дикая борьба изображена съ большимъ реализмомъ. Героиня и воины далеко не представляютъ изъ себя условныхъ идеализированныхъ фигуръ. Андромаха чрезвычайно полная женщина, а греки похожи на воинственныхъ индѣйцевъ. Изуродованные трупы лежатъ на землѣ, а на мрачной стѣнѣ влѣво отъ большой лѣстницы развѣшены на съѣденіе птицамъ разлагающіеся трупы. Въ третьей картинѣ представлены ужасы дикихъ крестьянскихъ войнъ XIV вѣка, изображенныхъ Меримъ въ его книгѣ „La Jascuette“. Картина Рошгросса производитъ тѣмъ большее впечатлѣніе, что сюжетъ носить отпечатокъ современности, напоминая о социаль-демократіи, о коммунѣ. Бунтари врываются въ залу, гдѣ спрятались женщины замка съ дѣтьми. Одна женщина отважно стоитъ впереди—это бабушка въ монашескомъ вдовьемъ уборѣ. Она энергичнымъ движеніемъ откинула руки назадъ, какъ бы для защиты младшихъ, укрывшихся за ней женщинъ. Одинъ изъ ворвавшихся, тотъ который стоитъ впереди, иронически снимаетъ передъ ней шапку. Другой держитъ на копѣ окровавленную свѣтловолосую голову владѣльца замка, въ рукахъ у третьяго его дымящееся сердце. Изъ за дверей за вошедшими тѣснятся другіе, разбивая окна окровавленными руками. Средн ихъ есть страшныя лица, въ особенности лицо женщины, стоящей на подоконникѣ. Она уперлась руками въ колѣни и съ безумнымъ смѣхомъ любитъ смертельнымъ ужасомъ знатныхъ женщинъ.

Послѣдующія картины Рошгросса не такъ широко задуманы. „Убіеніе Цезаря“ построено на грубыхъ эффектахъ; бѣлыя стѣны, бѣлые отсвѣты, бѣлая тоги и темно-красная пятна крови. Его Навуходоносоръ пожирающій траву свидѣтельствуеетъ о томъ, что отъ великаго до смѣшнаго часто одинъ только

шагъ. Въ промежуткахъ онъ писалъ археологическія бездѣлушки для литературно образованныхъ дамъ, какъ напр. „Бой воробьевъ“, написанный въ 1890 году. Но Рошгроссъ снова показалъ свое умѣніе въ большой картинѣ „Гибель Вавилона“. Это, конечно, не тонкое произведение искусства, а чисто декоративная картина, сдѣланная однако съ необычайнымъ искусствомъ. Сцена представляетъ дворецъ вавилонскихъ царей; для выполненія декоративной стороны художникъ пользовался всѣми существующими памятниками и новыми научными изслѣдованіями. Рошгроссъ изучилъ всѣ сокровища Лувра и Британскаго музея, ассирійскіе фризъ, предметы украшенія и костюмы, съ неутомимымъ рвеніемъ настоящаго археолога. Среди этой обстановки происходитъ знаменитый пиръ, во время котораго появились на свѣтъ огниенныя слова: „Мене, Текель, Фаресъ“. Свѣтаетъ. Изъ глубины надвигается армія мидійцевъ и начинается штурмъ дворца. Ворота уже разбиты. Вальтасаръ встаетъ изъ за стола и съ ужасомъ поднимаетъ вверхъ руки. Нагія жеищины, утомленныя оргіей, поднимаются, другія продолжаютъ равнодушно лежать. Кругомъ блестятъ мозаики, разноцвѣтная архитектура, фантастическія статуи звѣрей, сверкающія ослѣпительныя ткани, цвѣты, вазы, плоды, яства и женскія тѣла. Сѣрый предутренній свѣтъ борется съ потухающими лампами и лежитъ свинцовой тяжестью на всей этой колоссальной nature-morte.

Если на Рошгросса перешла только частица необузданнаго генія Делакруа, то въ колоритѣ *Анри Реньо* (Henri Regnault) чувствуется вполне достойный преемникъ великаго романтика. Слава Реньо во Франціи въ значительной степени впрочемъ обусловлена тѣмъ, что онъ однимъ изъ послѣднихъ палъ на войнѣ 1870 года. Его портретъ Прима 1869 года былъ отвергнутъ самимъ Примомъ и только благодаря этому попалъ въ Лувръ. Въ немъ чувствуются отголоски Веласкеза и Делакруа, но все-таки, послѣ работъ Жерико, это одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ воинныхъ портретовъ XIX вѣка. Его Иродіада, черноволосая дѣвушка, сидящая свѣсивъ ноги на табуретѣ въ восточномъ вкусѣ;



Реньо: Мавританскій палецъ.

она отдыхает послѣ пляски и съ жестокостью тигрицы глядитъ на блюдо, предназначенное для головы Іоанна Крестителя; пурпурный ротъ съ ослѣпительными зубами улыбается какъ у невиннаго младенца. Въ этой фигурѣ демонъ кроваваго сладострастія воплощенъ съ утонченной дикостью въ симфоніи обаятельно сверкающихъ желтыхъ тоновъ. Прозрачныя, затканныя золотомъ ткани, покрываютъ тѣло и ижію сочетаются съ блестящимъ фономъ. Мавританскій палачъ Реньо—симфонія въ красномъ цвѣтѣ. Высокій мавръ въ блѣдно-розовомъ одѣяніи величаво стоитъ, вытирая капли крови съ острія своей сабли. Онъ глядитъ съ глубокимъ равнодушіемъ, безъ гнѣва и безъ страданія, безъ ненависти и безъ удовлетворенія, на отрубленную голову съ закатившимися глазами. Голова скатилась со ступенекъ, образуя на бѣломъ мраморѣ лѣстницы пурпурныя лужи крови. Въ палачѣ воплотилась мечтательная жестокость восточнаго фатализма. „Я хочу воскресить истинныхъ мавровъ, великихъ и пышныхъ, страшныхъ и сладострастныхъ“—такъ пишетъ Реньо, какъ бы словами Делакруа. Его картины, подобно картинамъ его учителя, поражаютъ великолѣпіемъ восточныхъ костюмовъ. Они переливаются всѣми красками, затканы дивными арабесками, сверкаютъ золотымъ шитьемъ и драгоценными камнями. „Неистовый Орландъ“ снова воскресъ въ этихъ ослѣпительныхъ гармоніяхъ, въ силѣ, блескѣ и сіяніи этого колорита. Конецъ классицизма украшенъ однимъ изъ благороднѣйшихъ созданій идеалистической живописи—оперными картинами Бодри. Реньо же создалъ въ своей „Саломѣ“ и въ портретѣ Прима послѣднія вызывающе смѣлыя произведенія въ романтическомъ духѣ.

Мы сочли нужнымъ довести исторію развитія романтизма до настоящаго времени. Въ исторіи какъ древней живописи такъ и новой важны не хронологическія соображенія, а историкостилистическія. Похоронивъ старое со всѣми его переживаниями, удобіе прослѣдить въ послѣдствіи, какъ изъ невидимой глубины медленно поднималось новое. Такъ какъ Франція сдѣлалась, начиная съ 1830 года, школой и для другихъ странъ, то это опредѣляетъ и пути, по которымъ развивалась въ теченіе этихъ лѣтъ и живопись другихъ народовъ.



XIV.

Историческая живопись въ Бельгіи.

БЕЛЬГІЙСКОЕ искусство развивалось параллельно французскому со времени Давида. Когда ветеранъ французской живописи поселился въ Брюссель, чтобы тамъ прожить въ почетѣ остатокъ дней—онъ уже нашелъ хорошо подготовленную почву. Греки давно проникли тамъ въ живопись и традиціи стараго фламандскаго искусства были забыты. Ленсъ (Lens) и Геріенсъ (Herreyns) были послѣдними колористами въ старомъ стилѣ, но съ прошлымъ ихъ связывали только качества ихъ колорита. Ленсъ, вырождавшійся эпигонъ Ванъ-Дика, писалъ изнѣженной кистью слащавыя картины для будуаровъ и *prie-Dieu*. Онъ настолько потерялъ чутіе правды, что писалъ лица старцевъ тѣмъ-же тонами какъ и лица дѣтей и надѣлялъ мужчинъ бюстами гермафродитовъ. Манера Геріенса, ставшаго въ 1800 году директоромъ антверпенской Академіи, болѣе мужественна. Его картины тоже безличны и шаблонны, но онъ все-таки художникъ болѣе широкій и смѣлый. Онъ болѣе всего вдохновлялся моделями съ бронзовымъ цвѣтомъ кожи и напряженными мускулами, красивыми краснощеками дѣтми и толстыми кормилицами съ пышной грудью. Этотъ смѣлый художникъ еще оставался вѣрнымъ искусству великой эпохи, но онъ не вносилъ въ него ничего новаго. Оба они только собирали крошки, оставшіяся послѣ трапезы гигантовъ. Эти художники глядѣли назадъ, а не вокругъ себя и старались затеплить свой скромный свѣтильникъ у свѣта Рубенса. Франція была единственной страной, гдѣ искусство шло параллельно съ великими измѣненіями культурной жизни. Поэтому, еще задолго до прибытія Давида, во фламандскую живопись проникли французскіе элементы. Для художниковъ 1800 года Парижъ былъ тѣмъ же, чѣмъ была Італія для художниковъ 1600. Они толпою направлялись въ мастерскую Сюве (Suvée) брюжскаго уроженца, который съ 1771 г. поселился на берегахъ Сены. Оттуда вывозились рецепты для композиціи большихъ историческихъ картинъ. Такимъ образомъ искусство закончило то, что въ политическомъ отношеніи начала Имперія. Исчезли границы въ искусствѣ, такъ же какъ уничтожены были до того географическія границы, и бельгійскіе мастера возвращались уже французами въ Брюссель, Антверпенъ, Гентъ и Брюгге.

*Густавъ Ванерсъ.*

Когда Давидъ прибылъ въ Бельгію, ему пришлось только потрясти дерево, и созрѣвшіе плоды пали къ его ногамъ. Онъ вошелъ побѣдителемъ во Фландрію и оставилъ кровавые слѣды своего побѣднаго шествія. Въ Брюссельъ его, какъ изгнаннаго короля, окружалъ цѣлый дворъ и въ память его прибытія отлита была золотая медаль. Онъ взялъ фламандское искусство въ свои мощныя руки и раздавилъ его. Само собой разумѣется, что въ гении Рубенса онъ видѣлъ только варварство; фламандскимъ художникамъ онъ привилъ истинное отвращеніе къ великому живописцу. Онъ продолжалъ въ Брюссельъ учить тому же, что проповѣдывалъ въ Парижѣ, и сталъ такимъ образомъ творцомъ смертельно скучной бельгійско-французской живописи.

Представлена она цѣлымъ рядомъ коррективныхъ живописцевъ, Дювивье, Дюкомъ, Пеллинкомъ (Paelinck), Одеваромъ и др. Первоначально рѣзкой, сильной и жизневадной фламандской живописи предписана была теперь математическая правильность античнаго канона. Старо-фламандская живость красокъ смѣнилась художочной какофоніей. Въ Бельгіи повторилась та-же трагедія, какую классицизмъ разыгралъ до того во Франціи. Все стало предлогомъ для чопорныхъ позъ, строгихъ драпировокъ, рельефныхъ группъ и гипсовыхъ головъ. Федра и Тезей, Гекторъ и Андромаха, Елена и Парисъ—стали какъ и въ Парижѣ излюбленными сюжетами. Наступилъ такой хаосъ понятій, что скульпторъ, которому заказана была статуя волка, изваялъ въ придачу и безвозмездно Ромула и Рема.

Единственный художникъ того времени, произведенія котораго кажутся сносными и теперь, это—*Навезъ* (Navez). Подобно Энгру во Франціи онъ былъ послѣднимъ столпомъ этого окаменѣвшаго искусства. Онъ оставался въ почетѣ и послѣ паденія классицизма, потому что умѣлъ, подобно Энгру, занять среднее положеніе между Давидомъ и итальянцами и обнаружилъ также нѣкотораго рода свободу въ изученіи природы. Его поклоненіе грекамъ не было лишено нѣкоторой доли реализма, онъ лишь въ небольшой степени исправлялъ уродство природы и осмѣлился-бы изобразить Сократа съ негрнганскимъ носомъ, Терсита съ горбомъ. Подобно Энгру онъ написалъ рядъ хорошихъ портретовъ. Его выдержанный, холодно-разсудочный талантъ оживлялся, соприкасаясь съ человѣческой личностью. Уже одни его рисунки доказываютъ, что онъ былъ чрезвычайно отзывчивымъ художникомъ. По свидѣтельству биографовъ, онъ рѣдко выпускалъ изъ рукъ альбомъ и во время разговоровъ зарисовывалъ въ него свои впечатлѣнія. Страницы заполнялись быстро набросанными эскизами разныхъ группъ, фигуръ, движеній, которые онъ подмѣчалъ на улицѣ, переданныхъ такъ реально, „какъ только этого могъ требовать Курбъ“. Когда онъ писалъ картины, онъ только стимулировалъ эти наброски.

Такое-же значеніе какъ Навезъ въ живописи имѣлъ въ качествѣ учителя *Матіасъ ванъ Бре* (Mathias van Bree), ставшій послѣ Герейса директоромъ антвер-



Ванерсъ: Самопожертвованіе бургомистра ванъ-деръ Верфа во время осады Лейдена въ 1576.

пенской академіи. Онъ имѣлъ въ Бельгіи приблизительно такое же вліяніе какое Гро имѣлъ въ Парижѣ, но достигъ его совершенно противоположными средствами. Гро былъ въ своемъ творчествѣ предшественникомъ романтизма, а какъ учитель продолжалъ быть правовѣрнымъ классикомъ. Ванъ Бре, напротивъ того, очень скупченъ въ своихъ произведеніяхъ, но его значеніе тѣмъ не менѣе велико благодаря тому, что онъ будилъ въ молодыхъ людяхъ пламенную любовь къ старо-фламандскому искусству. Никто не умѣлъ говорить такъ пламенно и съ такимъ пониманіемъ какъ онъ о Рубенсѣ, о ванъ Дикѣ, о великомъ искусствѣ XVII вѣка. Набрасывая углемъ сухія условныя композиціи, онъ мечталъ о юношѣ, который воскресилъ-бы традиціи старо-фламандскаго искусства.

Прошло немного времени и этотъ юноша явился. Онъ изучилъ галереи Антверпена и Парижа, и восхищался болѣе всего Рубенсомъ и Паоло Веронезе. Изучая ихъ въ Луврѣ онъ слышалъ за собой голоса молодыхъ романтиковъ, которые какъ и онъ обожали краски и движеніе и носили стараго сухаго безцвѣтнаго Давида. *Густавъ Ванерсъ* (Gustav Wappers) тоже заплатилъ дань классицизму и написалъ въ 1823 году *Регула* въ старомъ стилѣ. Тѣмъ сильнѣе было всеобщее изумленіе, когда онъ выступилъ въ 1830 году со своимъ бургомистромъ ванъ деръ Верфомъ. „Бургомистръ ванъ деръ Верфъ во время осады Лейдена въ 1576 году предлагаетъ себя на сѣденіе голоднымъ жителямъ“. Уже самый сюжетъ долженъ былъ привести въ восторгъ толпу, воодушевленную мечтами о свободѣ. Блестящее исполненіе усиливало впечатлѣніе. То, о чемъ мечталъ старикъ ванъ деръ Бре, достигнуто было въ этой картинѣ. Это возвратъ къ пышнымъ краскамъ и жизнерадостности старыхъ мастеровъ. Въ томъ же году, когда въ Бельгіи возродилось національное чувство и духъ самобытности, выступилъ художникъ, который осмѣлился поступиться формулой французскаго классицизма. Слѣдуя за масте-



Ваперсъ: Сцена изъ Бельгійской революціи 1830 г.

рами, создавшими въ прежніе вѣка всемірную славу фламандцевъ, онъ вдохновился національнымъ сюжетомъ. Ваперсу поклонялись какъ національному герою. При помощи кисти онъ завершилъ то, изъ-за чего другіе боролись саблями и ружьями. Его картина освобождала фламандское искусство отъ французскаго ига. Старики приходили въ ужасъ, такъ же какъ послѣдніе питомцы школы Делароша ужасались глядя на „Каменотесовъ“ Курба, но молодежь видѣла въ Ваперсѣ своего мессію. Все поблѣднѣло въ брюссельскомъ Салонѣ передъ свѣжестью новаго произведенія. Казалось, что въ живописи начинается новая весна, что солнечный лучъ согрѣваетъ застывшій классицизмъ. Старые боги содрогнулись, чувствуя что Олимпъ пошатнулся подъ ихъ ногами. Густавъ Ваперсъ создавалъ какъ-бы новое возрожденіе. Его сторонники считали его продолжателемъ великаго искусства XVII вѣка. Возродилось сверканіе шелковыхъ тканей, праздничная пестрота красокъ старинныхъ мастеровъ. Какъ во Франціи одни кричали: „да здравствуетъ Энгрь!“ а другіе: „да здравствуетъ Делакруа“, такъ въ Бельгіи военнымъ кличемъ стало: „Да здравствуетъ Навезъ“, „Да здравствуетъ Ваперсъ“. Картина была куплена королемъ Вильгельмомъ II голландскимъ, и Ваперсъ былъ назначенъ въ 1832 году профессоромъ антверпенской Академіи.

Выставка 1834 года утвердила его въ его новомъ положеніи главы школы. Онъ торжествовалъ истинную побѣду своей „Сценой изъ Бельгійской революціи 1830 года“. Дни революціи были еще всѣмъ памяты, всѣ принимали участие въ кровавыхъ уличныхъ битвахъ въ Брюсселѣ; это была почетная заключительная глава борьбы бельгійскаго народа за освобожденіе отъ французскаго ига. Художники еще мало задумывались о томъ, что великіе мастера прошлаго были тѣсно связаны съ ихъ временемъ и черпали изъ него силы и содержаніе. Ваперсъ же, наперекоръ всѣмъ теоріямъ, смѣло взялъ сюжетъ изъ живой дѣйствительности. По замыслу художника картина должна была быть „гимномъ,

славящимъ уже достигнутое, и плачемъ о жертвахъ". Сцена нарочно перенесена на площадь около церкви — это посвящало картину памяти погнбшихъ за свободу гражданъ. Съ правой стороны, на высокомъ, только что возведенномъ, укрѣплени, стоитъ рабочій, и читаетъ внимающимъ товарищамъ отвергнутую прокламацию принца Оранскаго. Слѣва приближается подкрѣпленье. На переднемъ планѣ мальчишки раскапываютъ мостовую и бьютъ въ барабаны. Въ промежуткахъ разыгрываются трагическія семейныя сцены. Молодая женщина съ ребенкомъ на рукахъ удерживаетъ съ отчаянной силой мужа, который вырывается у нея изъ рукъ и бѣжитъ къ баррикадамъ—голосъ любви заглушенъ бряцаніемъ оружія. Прекрасный юноша поконится, опираясь на колѣни престарѣлаго отца; онъ лежитъ вытянувшись, съ потухающимъ взоромъ, смертельно раненый, но на чертахъ его блуждаетъ улыбка—онъ помнитъ изреченье Горация: „Сладостно и доблестно умереть за отечество". Всѣхъ этихъ эпизодовъ было достаточно для возбужденія патриотизма и сентиментальныхъ чувствъ. Не только весь Брюссель, но и вся Бельгія преклонялась передъ картиной Ваперса, какъ передъ святыней. Каждая мать видѣла въ умирающемъ юношѣ на первомъ планѣ своего потеряннаго сына. Жены работниковъ искали своихъ мужей, братьевъ или отцовъ среди борцовъ на баррикадахъ. Всѣ газеты пѣли хвалы художнику. На собранныя по подпискѣ деньги отлита была медаль въ память картины. Прежде Ваперса восхваляли какъ обновителя бельгійскаго искусства—теперь же его ставили рядомъ съ величайшими мастерами. Тьеръ убѣдилъ его выставить въ Парижѣ картину, прославившуюся далеко за предѣлами Бельгій. До окончательнаго помѣщенія въ Musée Moderne картина совершила торжественное шествіе по всѣмъ столицамъ Европы, и слава Ваперса за границу увеличилась еще его знаменитость во Фландрин. Благодаря ему, сойдѣніе народы начали интересоваться бельгійской школой. Всѣ единодушно восторгались „мощностью замысла и гармоніей колорита". Нѣмецкая газета „Morgenblatt" помѣстила въ 1836 году эту статью о Ваперсѣ. Онъ считался главой бельгійскихъ живописцевъ.

Но въ томъ-же году появились его первые соперники. Его примѣръ ободрилъ нѣсколькихъ молодыхъ художниковъ и въ брюссельскомъ Салонѣ 1836 года сказался результатъ ихъ стремленій.

Никей де Кейзеръ (Nicaise de Keyzer) выступилъ во всеоружіи умѣнія. Уже въ 1834 году онъ написалъ большое „Распятіе", гдѣ, казалось, выступалъ соперникомъ Рубенса въ заповѣдной области рубенсовскаго творчества. Но эта картина свидѣтельствовала только о хорошей памяти художника. Большинство головъ, драпировокъ и движеній напоминали подобные же на старыхъ картинахъ. Де Кейзеръ сознательно или безсознательно копировалъ цѣлыя мѣста и дѣлалъ изъ нихъ новыя сочетанія. Если, несмотря на это, уже тогда нѣкто Кейзера было на всѣхъ устахъ, то причину слѣдуетъ видѣть въ романтическомъ ореолѣ, осынявшемъ жизнь молодого живописца. Рассказывали, что



Н. де-Кейзеръ.



Де - Кейзеръ: Сраженіе при Верингентъ.

одна антверпенская дама замѣтила однажды во время прогулки юношу, который рисовалъ на пескѣ. По близости паслось его стадо. Она подошла къ нему, дала ему карандашъ и онъ, какъ новый Чимабуэ, тотчасъ-же началъ дѣлать эскизъ Мадонны. Рисунокъ былъ будто-бы такъ хорошъ, что дама сочла за грѣхъ допустить, чтобы геній оставался пастухомъ. Онъ попалъ въ городъ, получилъ образованіе, сталъ учиться живописи. Идилліи, освѣщенной образомъ доброй дамы было достаточно для того, чтобы де-Кейзеръ былъ хорошо принятъ въ общество. И такъ какъ онъ былъ скромнымъ кроткимъ юношей и внимательно слѣдилъ за сужденіями и требованіями критики, то его картина 1836 года, „Битва при Куртрэ въ 1302 году“ вызвала общее одобреніе. Мирное изящество картины соответствовало спокойному настроенію, которое снова воцарилось послѣ возбужденія и политическихъ волненій. Ему вѣялась въ особенное достоинство ясность исполненія, а также историческая вѣрность. Де-Кейзеръ избралъ моментъ, когда графъ Артуа испускаетъ духъ на колѣнахъ фламандскаго воина. Другой фланандецъ поднималъ руку, чтобы защитить полководца отъ приближающихся французовъ. Битва затихла, положеніе сражающихся показано въ глубинѣ картины съ добросовѣстной исторической точностью. Это не картина сраженія съ дымомъ пороха и кровью — такія картины уже надоели, а вполнѣ дисциплинированная битва, искусное сочетание красивыхъ движеній, шлемовъ, кирасъ и аллебардъ. Даже копье графа, говоритъ Альвинъ, написано съ натуры — съ единственнаго копья уцѣлѣвшаго отъ 700 другихъ, оставшихся на полѣ послѣ битвы при Куртрэ.

Въ томъ-же году Анри Декенъ (Henri Decaisne) закончилъ своихъ „Belges illustres“. Доблестное прошлое благославляетъ на картинѣ величіе настоящаго. Декенъ уже до того писалъ съ большимъ успѣхомъ портреты въ Парижѣ. Тамъ его очень цѣнили Ламартинъ; Альфредъ де-Мюссе прославилъ его въ блестящей статьѣ въ *Revue des deux Mondes*. Собравъ въ идеальную группу всѣхъ національныхъ героевъ, онъ исполнилъ завѣтное желаніе бельгійскихъ патриотовъ.

Вскорѣ послѣ того выступили Галла (Gallait) и Бьефъ (Biefve). Ихъ

картины по величинѣ полотенъ превосходить все, что было написано въ періодъ увлеченія колоссальными размѣрами. „Отреченіе Карла V-го“ имѣетъ 20 футовъ. Въ Salon Carré Лувра эта картина висѣла надъ „Свадьбой въ Канѣ галилейской“ Веронеза. На ней представлено было огромное общество вельможъ и знатныхъ дамъ, одѣтыхъ въ парчу и бархатъ; мѣсто дѣйствія — великолѣпная пурпурная зала королевскаго дворца. Художникъ изобразилъ моментъ, когда Карлъ V встаетъ и, возвышаясь надъ всѣмъ собраніемъ, передаетъ управленіе своей страной Филиппу. Сюжетъ представлялъ богатый матеріалъ для историко-философскихъ толкованій. Въ этомъ старикъ воплощенъ былъ блескъ, слава и могущество прошлаго. Онъ стоитъ на краю могилы, а энергичная голова его, подобно карлатидѣ, несетъ на себѣ



Э. Слугенейеръ; Мститель.

тяжелое бремя королевской власти. Нетвердыми шагами спускается онъ съ престола, какъ будто-бы въ послѣднюю минуту онъ усомнился — слѣдуетъ-ли сдѣлать своимъ наслѣдникомъ сына, котораго онъ любитъ и бонится; глубоко сидящие утомленные глаза подняты къ небу. Онъ поручаетъ Богу будущность своей страны. Филиппъ, одинъ среди блестящаго собранія, одѣтъ весь въ черное и съ ледянымъ холодомъ принимаетъ власть; догладливость критиковъ видѣла въ немъ чуть ли не демона, призывающаго адъ себѣ на помощь. Есть въ картинѣ и намеки на будущее. Карлъ, произнося рѣчь, опирается лѣвой рукой на плечо другого юноши, — Вильгельма Оранскаго. Этимъ художникъ давалъ понять, что народъ скоро отвергаетъ себѣ независимость и освободится отъ двуличной иезуитской политики Филиппа. Налѣво отъ этой середины группы стоятъ дамы разодѣтыя въ бархатъ и шелкъ; онѣ окружаютъ Маргариту, сестру императора; она одѣта въ монашеское платье и сидитъ въ креслѣ, похожемъ на *gis Dieu*. Направо около престола пажи и священники, среди нихъ Эгмонтъ и Горны; они молча и безучастно смотрятъ на происходящее. „Отреченіе“ имѣло громадный успѣхъ. Оно осуществило надежды, которыя возлагались на Галлэ со времени его „Тассо“ и было причислено къ тѣмъ произведеніямъ, которыя доставили наибольшую славу молодой странѣ. Вперсѣ отошелъ на второй планъ и Люи Галлэ сталъ первенствовать.

„Договоръ нидерландскаго дворянства“ *Эдуарда де Бьевъ* (Edouard de Bieffes) составляетъ какъ бы историческое дополненіе къ этой картинѣ — послѣ торжества монархіи, торжество народа. Картина представляетъ подписаніе договора 1566 г. нидерландскимъ дворянствомъ въ замкѣ Куиленбургѣ около Брюсселя;



Луи Галле.

договоръ имѣлъ цѣлью охрану отъ инквизиціи и закрѣпленіе прежде дарованныхъ привилегій; Берлинская Staatszeitung привѣтствовала и эту картину, какъ одну изъ „краеугольныхъ камней исторической живописи“.

Эрнестъ Слингенейеръ (Ernest Slingeneuer) имѣлъ громкій успѣхъ своей картиной „Гибель французскаго военнаго корабля Мститель“; онъ закончилъ собой въ 1848 году героическую эру въ бельгійской живописи. Его „Битва при Лепанто“ была послѣдней большою историческою картиною и брюссельскія газеты осыпали ее безконечными похвалами.

Наступилъ даже, казалось, новый расцвѣтъ религіозной живописи. Въ Бельгіи стали интересоваться, начиная съ 50-тыхъ годовъ, нѣмецкимъ искусствомъ, на которое до того обращалось мало вниманія. Имена

Овербека, Шадова, Фейта, Корнеліуса и Каульбаха приобрѣли извѣстность. Въ 1862 году въ Брюсселѣ устроена была выставка нѣмецкихъ картоновъ и—страшнымъ образомъ—она не понизила прежняго высокаго мнѣнія о германскомъ искусствѣ. Молодое государство не хотѣло отставать отъ Франціи и Германіи; двумъ антверпенскимъ художникамъ, Гуйффену (Guffens) и Сварту (Swerts), поручено было положить начало стѣнной живописи въ Бельгіи. Съ этой цѣлью они вступили въ переписку съ нѣмецкими художниками и послѣ долгихъ занятій въ Италіи и Германіи украсили стѣнной живописью церковь Богоматери въ Сантъ-Никлаасъ въ Западной Фландріи, церковь св. Георга въ Антверпенѣ, ратуши въ Куртрэ и Ипернѣ, нѣсколько церквей въ Англіи и соборъ въ Прагѣ. Германъ Ригель написалъ въ 1883 году двухтомное сочиненіе объ этихъ фрескахъ.

Въ настоящее время нельзя такъ серьезно относиться къ церковнымъ фрескамъ той поры; онѣ писались по рецептамъ нѣмецкихъ изаарейцевъ, убѣжденных въ томъ, что художнику XIX вѣка остается только возможно больше подражать старымъ итальянскимъ мастерамъ. И не только религіозная живопись, но и весь художественный расцвѣтъ въ Бельгіи тридцатыхъ годовъ кажется очень сомнительнымъ. Послѣ безотрадной пустоты классицизма, этотъ періодъ обозначилъ собою, конечно, шагъ впередъ. Въ каждомъ Салонѣ появлялись новыя имена. Государство расходовало большія суммы для поддержки искусства, и отечески покровительствовало исторической живописи, которая прославляла молодую страну. То, что не вмѣщалось въ Musée Moderne, основанномъ въ 1845 году, распределялось по церквамъ и провинціальнымъ музеямъ. Число живописцевъ и выставокъ замѣтно увеличилось. Кромѣ большихъ выставокъ, устраиваемыхъ черезъ каждые три года въ Брюсселѣ, Антверпенѣ и Гентѣ, были еще выставки въ маленькихъ городахъ, въ Монсѣ и Мехельнѣ. Бельгійскія живописцы 1830 года несомнѣнно очень значительны, если принять во вниманіе, какъ низко стояло искусство до ихъ появленія. Вслѣдствіе въ особенности расширилъ горизонтъ тѣмъ, что нарушилъ завѣты классицизма и вернулся къ традиціямъ великихъ колористовъ XVII вѣка. Де Бьеувъ, де Кейзеръ, Слингенейеръ участвовали каждый по своему въ бельгійскомъ



Гл. 1.13; Брюссельская гильдия стрѣлковъ подаетъ послѣднія почести Эмонту и Горну.

возрожденіи. Старая Фландрія вновь ожила въ этомъ стремленіи къ блестящему красивому колориту. Бельгійская историческая живопись имѣла даже нѣкоторое значеніе для внѣшнихъ событій того времени. Послѣ почетныхъ сентябрьскихъ дней, когда Бельгія отвоевала себѣ независимость, живописцы хотѣли какъ-бы связать величіе своего времени съ великимъ прошлымъ, возбуждая патріотическія воспоминанія и прославляя національныхъ героевъ. И все-таки брюссельскій Musée Moderne мало привлекателенъ. Произведенія, собранныя въ находящемся по сосѣдству старомъ Музеѣ, представляются намъ живыми и близкими и кажется, что цѣлые вѣка отдѣляютъ ихъ отъ того, что собрано въ новомъ музеѣ. Такъ всегда бываетъ съ картинами. Тѣ, которыя не остаются вѣчно юными, очень скоро становятся старомодными. Потомство судить очень трезво; оно удѣляетъ вниманіе лишь очень высоко стоящимъ произведеніямъ. Лавровые вѣнки, которыми забрасываютъ живыхъ, не представляютъ никакой гарантіи для будущаго. Въ вѣнкахъ же, которые даются послѣ смерти, сосчитанъ каждый листокъ. Лишь немногіе изъ нѣкогда восхваляемыхъ произведеній сохраняютъ привлекательность для поколѣній, судящихъ о нихъ лишь по ихъ художественному, а не національному значенію. Бельгійская школа 1830 года очень почтенна по своимъ стремленіямъ, но она не создала ничего значительнаго и самобытнаго.

Трудно видѣть нѣчто выдающееся въ „Ванъ деръ Верффъ“ Ваперса. Движенія дѣйствующихъ лицъ театральны. Композиція условна. Бургомистръ, отдающій себя на съѣденіе толпѣ, сентименталенъ. Всѣ присутствующіе похожи на трубадуровъ. Новыя, какъ-бы только что вынутыя изъ шкаповъ платья, накрахмаленные бѣлые воротники, бархаты и блестящие слишкомъ мало похожи на отрепья людей умирающихъ съ голода послѣ девятимѣсячной осады. „Сцена



Галли: Последнія минуты Эзехиэля.

изъ революціи 1830 г." неудачное сентиментальное подражаніе „Сценѣ на баррикадахъ" Делакруа. Все это актеры, а не люди изъ толпы. Старикъ обнимающій знамя, женщина удерживающая мужа, какъ Венера Тангейзера, блѣдная дѣвушка въ обморокъ, воинъ, ломающій шпагу, поднимая глаза къ небу — все это фигуры изъ мелодрамы, а не революціонеры, берущіе приступомъ баррикады, не рабочіе, которые голодаютъ и борются за свое существованіе. Въ такомъ-же явномъ противорѣчій съ величіемъ событій стоитъ вялый, условный колоритъ. Возстаніе народа написано болѣе манерно чѣмъ какая нибудь идиллія. Рабочіе представлены съ бѣлымъ какъ алебастръ цвѣтомъ лица, легкій румянецъ покрываетъ щеки женщинъ — Буше такъ писалъ колебаніе добродѣтели. Позднѣйшія картины Ваперса стоятъ еще ниже. Только въ этихъ двухъ первыхъ произведеніяхъ сказалась до нѣкоторой степени его самобытность и сила: въ нихъ онъ хотѣлъ создать въ живописи нѣчто соотвѣтствующее политическому движенію. Всѣ другія его произведенія — шаблонны; онъ не имѣетъ ничего общаго съ національнымъ подъемомъ духа, и примыкаютъ скорѣе къ парижской школѣ „здраваго смысла". Его „Положеніе во гробъ" 1833 года — теперь оно находится въ церкви св. Михаила въ Льевѣ — могло бы быть написано Ари Шефферомъ, до того оно полно дѣланной граціи и пѣстической чувствительности. Все, что было написано послѣ того, — трогательныя сцены изъ англійской и французской исторіи XVI и XVII вѣка, отголосокъ Деларошевскаго жанра, превращающаго историческую живопись въ анекдоты; „Агнеса Сорель и Карлъ VII", „Элонза и Абеляръ", „Прощаніе Карла I со своими дѣтьми", „Прощаніе Анны Болейнъ съ Елизаветой", „Петръ Великій, передающій своимъ министрамъ модель голландскаго корабля", „Колумбъ въ темницѣ", „Боккачіо, читающій Декамеронъ Іоаннѣ Неаполитанской", „Братья де-Виттъ передъ казнью", „Андре

Шенье въ Сенъ-Лазарской тюрьмѣ". „Людовикъ XVII у сапожника Симона" Поэтъ Каммозэнъ просящій подаваніе" „Шествіе Карла I на эшафотъ" всѣми этими сюжетами уже занимались во Франціи и бельгійскій художникъ не выказалъ ничего самобытнаго ни въ замыслахъ, ни въ исполненіи. Въ послѣдней картинѣ, выставленной имъ въ Антверпенѣ въ 1870 году, онъ достигъ вершины слащавой манерности: молодая дѣвушка стоя на колѣняхъ съ мечтательнымъ выраженіемъ глазъ подаетъ розу послѣднему Стюарту, идущему на смерть. Живопись Ваперса только отголосокъ французскаго романтизма, при чемъ самого художника нельзя сравнить ни съ однимъ изъ парижскихъ мастеровъ. Страстность Делакруа очень мало коснулась его, и ничто не указываетъ на его родство съ этимъ великимъ художникомъ. Скорѣе еще онъ напоминаетъ Альфреда Іоанно (Johannot); съ нимъ у Ваперса много общаго въ выборѣ и разработкѣ сюжетовъ и въ самыхъ чувствахъ. У нихъ обоихъ все сводится къ изыскачеству очертаній, театральнымъ жестамъ, байроновскому пафосу, театральной обстановкѣ, къ замѣнѣ искреннихъ движеній души пустыми гримасами.

Объ остальныхъ, выступавшихъ на ряду съ нимъ художникахъ, приходится сказать тоже самое. Всѣ бельгійскіе матадоры сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ потерпѣли крушеніе; они интересны только въ историческомъ отношеніи—какъ носители духа своего времени, какъ питомцы распространившейся повсюду школы Делароша. Они отказались отъ античныхъ статуй, отъ хламидъ и шлемовъ, чтобы замѣнить ихъ пестротой средневѣковаго обихода — кирасами, панцирями, трико, бархатными и шелковыми куртками. Одна условность смѣнилась другой, сухость уступила мѣсто элегической сентиментальности. Они обладали многими умѣлыми приемами, но въ нихъ не было самобытной творческой силы. Среди многихъ живописцевъ не было ни одного истиннаго художника.

Де Кейзеръ, казалось, хотѣлъ всю свою жизнь остаться вѣрнымъ памяти своей благодѣтельницы -- женственная манерность и слащавость чувствуются во всѣхъ его произведеніяхъ, начиная съ первой картины, создавшей ему имя. По свидѣтельству лѣтописцевъ атлетическія тѣла фламандцевъ приводили въ ужасъ французовъ при Куртрѣ. Де Кейзеръ сдѣлалъ изъ нихъ гипсовыя фигуры и безсильной композиціи соответствуетъ блѣдность колорита. Въ послѣдующихъ картинахъ заказанныхъ бельгійскимъ и голландскимъ правительствомъ — битвы „при Верингенѣ", „при Сенефѣ" и „Нью Портѣ" онъ еще болѣе условенъ. Болѣе соответствующей областью для его скромнаго корректнаго таланта были написанныя имъ въ позднѣйшіе года сценки изъ жизни императора Максимиліана и Юста Липсіуса, изъ жизни Рубенса или Мемлинга; въ нихъ все дѣло было въ передачѣ внѣшняго блеска колорита и въ изящной композиціи.

Эриестъ Слигенейеръ обнаружилъ больше силы и мужественности, но



Э. де-Бисса.



Бюве: Договоръ Нидерландскаго дворянства.

его „Морская битва при Лепанто“ неприятно поражает хаотическимъ сочетаніемъ синихъ, красныхъ, шафранныхъ и лимонно-желтыхъ тоновъ. Слингелнейеръ чувствовалъ, что свѣтотѣни въ которыя еще окутывалъ свои картины Ваперсъ, совершенно неумѣстны въ описаніи событій, происходящихъ на воздухѣ. Но вѣрно понимая это, онъ все таки не счѣмѣлъ рѣшить задачу воздушной перспективы. Красныя, желтыя и коричневыя тѣла очень некрасиво выдѣляются среди пестроты театральной обстановки. Во всей композиціи чувствуется оперный апофеозъ. Его позднѣйшія тринадцать гигантскихъ картинъ „Gloires de la Belgique“ въ большой залѣ брюссельской академіи не были-бы написаны, равно какъ и фрески де Кейзера на лѣстницѣ антверпенскаго музея, если-бы имъ не предшествовалъ Деларошевскій Hemicycle.

Что касается „Отреченія Карла V“ Галлэ, то теперь даже трудно понять какимъ образомъ эта картина могла вызвать столько толкованій. Требовалось лишь немного режиссерскаго умѣнія, чтобы поставить подобную сцену: тронъ съ одной стороны, передъ нимъ придворные полукругомъ, слѣва дамы, въ глубинѣ балконы переполненные зрителями для того, чтобы углубить перспективу. Это только театральная сцена, холодная церемонія съ красиво одѣтыми статистами. Головы присутствующихъ похожи на фамильные портреты написанные послѣ смерти, съ легкой условной краской на лицѣ. Вся картина похожа на гигантскую *nature morte*, составленную умѣлымъ живописцемъ изъ головъ, золота, украшеній, плащей и париковъ. Композиція заимствована у Делароша, богатая обстановка у Деверіа, а на колоритѣ чувствуется вліяніе Изабэ, который ввелъ въ живопись золотые и серебристые солнечные лучи. То, что у Ваперса имѣло еще прелесть непосредственности смѣнилось у Галлэ холодной разсудочностью. Одинъ только разъ, въ 1851 году, въ картинѣ „Брюссельская гильдія стрѣлковъ, отдающая послѣднія почести Эгмонту и Горну“, холодный корректный живописецъ обнаружилъ нѣкоторую драматичность. Отрубленные головы приставлены къ тѣламъ съ грубою смѣлостью. Безкров-

ныя пожелтѣвшія лица, спутанныя и всклокоченныя бороды какъ будто бы списаны съ натуры. Но тѣмъ менѣе подходитъ къ реальности труповъ все остальное — театральность окружающаго, пышные костюмы и дѣланная павосъ. Зурбаранъ или Караваджо написали-бы эту сцену совершенно иначе. Они поставили бы статистовъ на темный фонъ и освѣтили однѣ только мертвыя головы рѣзкимъ свѣтомъ. Галлэ-же сдѣлалъ изъ своей картины финалъ обстановочной оперы. Двое испанцевъ, стоящихъ на стражѣ, также какъ и пришедше проститься, похожи на плохихъ актеровъ; они тщательно одѣты и дѣлаютъ заученные патетическіе жесты. Мимика условна, искреннее чувство не прорывается ни въ одномъ движеніи. Манерная идеализація испортила головы, руки и очертанія. Тщательность вырисовки лишаетъ картину настроенія. Теофиль Готье былъ правъ въ своемъ сужденіи о Галлэ: „Все, чего можно достигнуть работой, вкусомъ, разсудительностью и твердой волей—все это есть у г-на Галлэ“. „Послѣднія почести“ Галлэ выставлены были въ томъ же Салонѣ 1851 года, на которомъ появились „Каменнотесы“, „Курбе и похвалы его картинѣ“ были тоже своего рода послѣдними почестями по отношеніи къ умирающей исторической живописи. Прошло нѣсколько лѣтъ и слава Галлэ прошла. Послѣ 1851 года онъ написалъ еще четырнадцать большихъ историческихъ картинъ. (Послѣднія минуты Эгмонта, Іоанна Безумная у трупа своего мужа, Альба у окна во время казни двухъ графовъ, и т. д.) а въ промежуткахъ сентиментальныя жанровыя картинки, вродѣ „Забытаго Горя“ берлинской національной галлерей: маленький мальчикъ утѣшаетъ игрой на скрипкѣ свою сестру; она опустила на землю, изнемогая отъ голода и усталости. Кромѣ того онъ писалъ много портретовъ, но ни одинъ изъ нихъ не доставилъ ему признанія современниковъ. „Чума въ Турнѣ“ 1822-го г. была прекраснымъ произведеніемъ стокости; но она уже казалась при первомъ всеомъ появленіи призраккомъ далекаго прошлаго. Извѣстіе о смерти Галлэ, 20 ноября 1887 г., всѣхъ удивило — его давно считали умершимъ.

Эдуардъ де Бьевъ дѣлившій въ 1842 году славу Галлэ въ Германіи, и всегда съ тѣхъ поръ называемый рядомъ съ нимъ обозначаетъ собою окончательное паденіе исторической живописи. Уже грубоватый Ваперсъ, женственный де-Кейзеръ, эклектикъ Галлэ одарили своихъ высокопарныхъ героевъ идеальными головами Антиноя; въ ихъ живописи ничего не было кромѣ умѣлаго пользованія театральными эффектами, безсодержательнаго павоса и рисовки. Бьевъ же, художникъ очень посредственный по дарованію, писалъ лишь нѣчто вродѣ живыхъ картинъ. Сколько величія и шекспировской силы въ положеніи Уголино; умирая съ голоду въ Пизанской тюрьмѣ онъ бросается на сына съ проклятіемъ противъ Бога и человѣчества на устахъ. Бьевъ изобразилъ этотъ сюжетъ въ 1836 году на огромномъ полотнѣ въ цѣлыхъ шесть метровъ; но его Уголино старый господинъ, правда нѣсколько блѣдный, но сохраняющій безукоризненную осанку джентельмена. Страдая отъ голода, онъ не забываетъ однако живописно драпировать горностаевый плащъ, какъ бы отправляясь на праздникъ. Передъ нимъ стоитъ изящный молодой человѣкъ, вродѣ излюбленныхъ моделей Поля Делароша. Деверія, Ари Шефферъ и Жоанно стоятъ несравненно выше въ своихъ монументальныхъ иллюстраціяхъ на классическіе сюжеты. Только пламя парижскаго очага могло еще согрѣть и оживить замерзшее бельгійское искусство. Даже „Договоръ нидерландскаго дворянства“, не смотря на патристическій характеръ сюжета, былъ случайной удачей де Бьева и ею онъ обязанъ Парижу. Какъ тоскливо однако разыгрывается вся сцена на его картинѣ. Хочется услышать возмущенные крики этихъ людей, воплощающихъ бельгійскій народъ — а между тѣмъ на картинѣ Бьева все спокойно и чинно. Эгмонтъ и Горнь, герои происходящаго событія, имѣютъ видъ мирныхъ гражданъ, скучающихъ въ го-

стяхъ. Красивый Эгмонтъ сидитъ въ креслѣ, думая только о томъ, чтобы показать въ выгодномъ свѣтѣ свой тонкій профиль дамамъ, сходящимъ на галлерей. Горнь подходитъ для подписи съ изяществомъ кавалера, который собирается писать стихи въ альбомъ молодой дамы. Три брата, держась за руки, приносятъ извѣстный обѣтъ умереть вмѣстѣ.

По странной ироніи судьбы, именно эти двѣ картины взволновали Германію въ 1842 году и были причиной того, что живопись вступила на новый путь. Какъ могло случиться, что картины Бьева показались откровеніемъ нѣмецкимъ художникамъ? Чтобы это понять, нужно вспомнить, что Германія втеченіе уже цѣлаго поколѣнія не видѣла ничего кромѣ раскрашенныхъ картоновъ; увлеченіе французско-бельгійскимъ искусствомъ было такъ подготовлено, что должно было вспыхнуть при первомъ-же случаѣ.

Со времени освободительныхъ войнъ, Германія очень сдержанно относилась къ французамъ. До 1842 года оригинальныя произведенія французской и бельгійской школы не попадали ни на одну нѣмецкую выставку. Не смотря на это въ Германіи, въ особенности среди молодого поколѣнія, мнѣніе о французской и бельгійской живописи было очень высокое. Даже въ литографіяхъ и гравюрахъ съ французскихъ картинъ находили колоритныя достоинства, недостающія нѣмецкой живописи. Гейне и другіе писатели, бѣжавшіе отъ безотрадныхъ нѣмецкихъ условій жизни въ Парижъ, „великій пріютъ свободы“, тоже значительно содѣйствовали этому увлеченію. Подрастающее поколѣніе сороковыхъ годовъ стало относиться послѣ статей Гейне о французскихъ выставкахъ почти враждебно къ нѣмецкимъ школамъ живописи, къ мюнхенскимъ и дюссельдорфскимъ художникамъ; стилисты баварской столицы и сентиментальныя рейнскіе элетики внушали одинаковую антипатію молодому поколѣнію. Появленіе двухъ бельгійскихъ историческихъ картинъ, которыя тоже были родными дѣтищами великаго французскаго искусства, дало новую пищу преклоненію передъ всѣмъ, что исходило изъ Париза. Нѣмецкіе художники почувствовали ужасъ передъ своей прежней непритязательностью и довольствомъ жалкими картонами. У нѣкоторыхъ впервые открылись глаза. Они увидѣли, какъ хорошо, когда живописецъ умѣетъ пользоваться красками. То, чему они давно бы уже могли научиться по любой картинѣ старыхъ мастеровъ, и чему не научились въ своемъ идейномъ ослѣпленіи, стало имъ вдругъ яснымъ теперь. Они пришли къ убѣжденію, что не напрасно природа разлила свѣтъ и краски на свои творенія и что темными очертаніями безъ тѣни нельзя передать полноты жизни. Они поняли, что картонный стнль убиваетъ живопись. Необходимо возродить презираемую до того технику, такъ какъ безъ нея искусство не можетъ процвѣтать. Напрасно предостерегали теоретики отъ измѣны формамъ, совершеннымъ въ живописи, за 40 лѣтъ до того, напрасно предсказывали, что увлеченіе техникой приведетъ къ условной пышности до корнелевской живописи. Бывшій долго въ загонѣ колоритъ снова предъявилъ свои права. Слова короля Людовика, „живописецъ долженъ умѣть писать красками“, произносились теперь какъ новое откровеніе. Колоритъ сталъ злобой дня, лозунгомъ молодежи, которой принадлежитъ будущее. Идеалъ линій былъ замѣненъ идеаломъ красокъ. Никто больше не хотѣлъ рисовать картоновъ въ старомъ стилѣ, всѣ хотѣли писать законченные картины. А такъ какъ живописи можно только научиться у живыхъ учителей, въ Германіи-же не было никого, кто умѣлъ бы писать красками, то молодые художники укладывали свои вещи и отправлялись учиться къ сосѣдямъ. Какъ прежде Римъ, такъ теперь Парижъ сталъ высшей школой для нѣмецкихъ художниковъ. По всей Германіи раздался кличъ: „Въ Парижѣ! учнтся писать красками“.

XV.

Возрожденіе колорита въ Германіи.

Съ 1842 года начинается паломничество нѣмецкихъ художниковъ въ Парижъ, Антверпенъ и Брюссель. Отчаиваясь познать тайны живописи при помощи своихъ отечественныхъ учителей, они надѣялись научиться у Делароша, Конье и Кутюра, у Ваперса и Галлэ. Въ исторіи живописи едва-ли найдется другой примѣръ такого внезапнаго переворота и замѣны господствующихъ принциповъ другими, совершенно противоположными. Въ первой половинѣ вѣка нѣмецкіе художники были благочестивыми, веселыми, умными и остроумными людьми. Они нравились своими личными качествами, твердостью характера, и вслѣдствіе этого публика не замѣчала, какъ мало они владѣли техническими средствами. Они съ пренебреженіемъ относились къ правильности рисунка, считали краски оскорбленіемъ цѣломудрія и возводили свои недостатки въ добродѣтели. Слѣдующее поколѣніе было зато осуждено всю жизнь учиться писать красками. Ихъ предшественники были "загадочными натурами"; они соединяли титаническую волю съ весьма слабымъ умѣніемъ; техническое совершенство они считали ниже своего достоинства; они не хотѣли отягчать откровенія духа чувственными воспріятіями, не хотѣли унижаться до изученія живописи и терять такимъ образомъ драгоцѣнное время. Новое поколѣніе не стыдилось красокъ. Со вѣсьмъ пыломъ молодости стало оно увлекаться колоритомъ и техникой живописи, и начало тѣмъ самымъ необходимую реакцію противъ отвлеченнаго идеализма школы Корнеліуса. Рисовальщики картоновъ нарушили правильное развитіе живописи; занятые идейной стороною своихъ замысловъ, они забросили традиціи техники. Заслуга поколѣнія 1850 года въ томъ, что оно возстановило эти традиціи при помощи французовъ: "Общее правило, если вы встрѣтите хорошаго нѣмецкаго живописца, можете говорить о его достоинствахъ по французски". Этими нелестными для Германіи, но вполнѣ справедливыми словами Эдмонъ Абу началъ свои отчеты о французской всемирной выставкѣ 1855 года



Ансельмъ Фейербахъ.

Ансельмъ Фейербахъ (Anselm Feuerbach) первый среди выдающихся нѣмецкихъ художниковъ позналъ необходимость реакціи противъ картоннаго стиля и отправился учиться въ Парижъ. Въ Германіи онъ самый яркій представитель классицизма въ духѣ французскихъ художниковъ Энгра и Томаса Кутюра. Ему удалось то, къ чему тщетно стремились нѣмецкіе классики начала вѣка. Тѣ довольствовались намеками и воплощали въ неопредѣленныхъ образахъ идеи греческихъ поэтовъ. Въ „Пирѣ у Платона“ Фейербаха нѣмецкій классицизмъ завершился значительнымъ, благороднымъ произведеніемъ искусства, которое на всегда сохранить выдающееся значеніе. Въ творчествѣ Фейербаха духъ Греціи воплощенъ даже гораздо естественнѣе и свободнѣе, чѣмъ у французовъ. Классицизмъ не былъ ему привитъ извнѣ, а прирожденъ. Книга его отца, по его собственнымъ словамъ въ „Завѣщаніи“ — пророческая печать его призванія въ искусствѣ. Онъ унаслѣдовалъ классицизмъ отъ вдохновеннаго ученаго, отъ автора „Ватиканскаго Аполлона“, сумѣвшаго глубоко проникнуть въ сущность греческаго гения.

Въ натурѣ Фейербаха было много страннаго. Онъ былъ ученымъ филологомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ мечтателемъ, нѣмцемъ и эллиномъ, любилъ красоту и радость — а между тѣмъ его гордая муза, въ цѣпяхъ и съ кандалами на



Фейтербагъ: Данте въ Равеннѣ.

ногахъ, одиноко блуждала въ жизни. Эта двойственность погубила его. Онъ выросъ въ гордыхъ семейныхъ традиціяхъ, получилъ прекрасное воспитаніе, обладалъ удивительно благородной внѣшностью. Блестящимъ метеоромъ появился онъ въ Дюссельдорфѣ, начавъ свою дѣятельность въ 1845 году 16-ти лѣтъ, поражающъ всѣхъ своимъ умомъ и раннимъ развитіемъ, былъ любимцемъ женщинъ. Онъ прошелъ въ живописи черезъ всѣ школы Германіи, Бельгіи и Франціи. Признательность онъ чувствовалъ лишь къ французамъ и гордился тѣмъ, что первый сталъ учиться у нихъ. Но лишь послѣ поѣздки въ Италію онъ сталъ истиннымъ художникомъ. То былъ знаменательный часъ, когда угрюмый поклонникъ красоты Фейтербахъ вмѣстѣ съ веселымъ пѣвцомъ застольныхъ пѣсень, Викторомъ Шеффелемъ, прибыли въ Венецію въ 1845 году. Фейтербахъ пріѣхалъ въ Венецію по порученію двора въ Карлсруэ; ему заказана была копія тиціановской „Assunta“. Въ Венеціи Фейтербахъ совершилъ второй рѣшительный шагъ своей жизни. Третій шагъ былъ совершенъ тогда, когда лишенный стипендіи и съ юношеской вѣрой въ свою звѣзду, онъ предпринялъ путешествіе въ Римъ.

Онъ былъ красивъ, небольшого роста, тонкій, довольно блѣдный и худой, нѣженъ какъ потомокъ вырождающагося аристократическаго рода; у него были густые черные локоны, женственное очертаніе лица, южный цвѣтъ кожи. Взгляды карихъ глазъ, то огненныхъ, то глубоко печальныхъ, были нѣсколько разсѣянныхъ. Онъ пѣлъ прекраснымъ глубокимъ голосомъ итальянскія пѣсни подъ аккомпанементъ гитары. Беклинъ и Рейнгольдъ Бега съ часто играли и пѣли вмѣстѣ съ нимъ. Онъ ходилъ съ ними подъ руку, какъ дѣвушка, когда они бродили вмѣстѣ по римскимъ улицамъ.

Впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ Италіи, были рѣшающими для всей его дальнѣйшей жизни. Благородство древняго искусства и его божественную простоту онъ понималъ гораздо глубже нежели Кутюръ; этимъ онъ достигъ про-



Фейербахъ; Гем.янна.

стоты и величія, до котораго не могъ подняться французскій классицизмъ. Отъ первыхъ произведеній, еще какъ бы невылупившагося изъ яйца художника, до его „Пира Платона“ — какой огромный путь развитія. Первая значительная картина Фейербаха, написанная въ Парижѣ въ 1852 году, Гафизъ въ кабацѣ окруженный дѣвушками. Сюжетъ является запоздалымъ отголоскомъ Даумеровской обработки Гафиза, но съ художественной стороны это одно изъ самыхъ неподдѣльныхъ произведеній школы Кутюра. Никто изъ нѣмецкихъ художниковъ не отражалъ такъ близко духъ французской школы. Картина написана быстрыми, широкими мазками; художникъ имѣлъ главнымъ образомъ въ виду общій эффектъ, и хотѣлъ показать, что онъ усвоилъ себѣ все, чему можно научиться въ Парижѣ.

Отпечатокъ французской школы лежитъ и на картинѣ 1854 года, „Смерть Пьетро Аретино“. Но на ряду съ парижскими учителями венецианцы поздней поры оказали несомнѣнно вліяніе на эту картину. Въ ней уже видно стремленіе къ монументальности, къ пышнымъ зрѣлищамъ. Фейербахъ очевидно изучилъ Паоло Веронеза и понялъ его огромное превосходство надъ французами. вмѣстѣ съ тѣмъ онъ присмотрѣлся и къ техникѣ другихъ венеціанскихъ мастеровъ и нашелъ въ колоритѣ Бордоне нѣчто родственное себѣ. Самымъ зрѣлымъ плодомъ венеціанскихъ впечатлѣній была картина законченная въ Римѣ въ 1857 году — „Данте, гуляющій въ Равеннѣ съ дамами“. По солнечной теплотѣ колорита, по тонкости золотистыхъ тоновъ, по спокойствію художественной манеры, ни одинъ изъ современныхъ художниковъ не приближался такъ къ Пальмѣ Старшему и къ Бордоне, какъ Фейербахъ въ этой картинѣ. Въ „Смерти Данте“ 1858 г. еще больше глубины, золотистаго пламени и вдумчивой торжественной красоты.

Въ послѣдующихъ картинахъ Фейербахъ намѣренно отказался отъ того, что составляетъ наибольшее обаяніе его Дантовскихъ картинъ — отъ мягкой теплоты и солнечнаго блеска красокъ. Онъ все болѣе сосредоточивался на холодныхъ тонахъ, доводя ихъ почти до безцвѣтной сѣрости, до голубовато-свинцоваго отблеска, до лунной блѣдности колорита. Всю жизнь своихъ художественныхъ образовъ онъ обращалъ во внутрь, лишая ихъ члены почти всякаго движенія. Даже выраженіе душевной жизни въ глазахъ и чертахъ лица чрезвычайно сдержанное. Его „Pietà“, обѣ Ифигени и „Пиръ Платона“ — образцы той высоты классицизма, которой онъ достигъ пребываніемъ въ Италіи. Благодарство, гармонія, спокойное простое величіе отличаютъ на картинѣ „Pietà“ мать Спасителя, склоненную въ нѣмой печали надъ трупомъ божественнаго Сына; три колѣнопреклоненныя женщины производятъ глубокое впечатлѣніе не-

Фейербахъ: *Pietà*.

подвижностью ихъ тихой, какъ бы застывшей печали. Наибольшей высоты своего таланта Фейербахъ достигъ въ „Ифигени“. Въ обѣихъ картинахъ — первая относится къ 1862 г., вторая къ 1871, — представлена высокая фигура, выше человѣческаго роста, величественная, какъ и подобаетъ героинѣ греческой трагедіи. Но все-таки „Пиръ у Платона“ — одно изъ самыхъ художественныхъ и утонченныхъ созданий фантазіи, преисполненной всѣмъ великолѣпемъ античнаго міра; картина эта сохранить навсегда высокое значеніе. Въ ней нѣтъ ничего лишняго, ничего случайнаго. Благородная простота манеры, греческая ритмичность оттѣнковъ, прекрасныя барельефныя линіи, суровость красокъ и строгость формы — основныя черты Фейербаховскаго творчества. Въ нихъ выразилось его тяготѣніе къ величію и героизму. Его „Медее“ мюнхенской пинакотики полна величественно-мрачной печали и производитъ такое же впечатлѣніе, какъ монологъ изъ трагедіи Софокла. Въ томъ же родѣ его „Битва амазонокъ“. Это одна изъ немногихъ картинъ XIX вѣка, на которой обнаженное тѣло представлено съ непорочною простотой и естественностью античной наготы. Италия спасла Фейербаха отъ искусственности и напыщенности, въ которую впало французское искусство со времени Делароша. Искусственность въ костюмѣ, гримировкѣ, въ позѣ и движеніи, въ освѣщеніи и обстановкѣ онъ считалъ театральною. Прежнее изображеніе натурщиковъ и натурщицъ съ ихъ искусственными позами и гримасами онъ замѣнилъ простотой пластическихъ формъ. Всѣ его усилія были направлены на непрерывное изощреніе глаза, на то, чтобы изучить и усвоить себѣ самое существенное въ линіяхъ природы и человѣческаго тѣла.

Окрѣпнувъ среди постоянного общенія съ великимъ прошлымъ въ искусствѣ съ простотой и героическимъ величіемъ римскаго ландшафта, Фейербахъ принялъ лѣтомъ 1873 г. предложеніе каведры въ Вѣнской академіи. Друзья его ликовали. Наконецъ-то заброшенный гдѣ-то вдали отъ родины



Фейербахъ; Ифигения.

онъ отличался простотой и благородствомъ, ненавидѣлъ ходульность и высокопарность въ искусствѣ и въ жизни, былъ рѣзокъ, суровъ и откровененъ въ сужденіяхъ, одинокъ и гордъ. Всѣ эти свойства не могли создать ему друзей. Его наброски къ „Паденію титановъ“ были очень холодно встрѣчены на вѣнской выставкѣ, и это было для него смертельнымъ оскорбленіемъ. Въна, гдѣ такъ охотно смѣются, хохотала надъ нимъ. Критика осудила его съ большою строгостью. Онъ оставилъ Вѣну и уѣхалъ въ Венецію. Трагическая судьба небольшой компаніи музыкантовъ, которые утонули во время ночной прогулки на Лидо, послужила сюжетомъ еще для одной картины, послѣдней, подъ названіемъ „Концертъ“. Она была найдена не законченной послѣ его смерти и попала въ берлинскую національную галлерею. Фейербахъ умеръ 4-го января 1880 года, совершенно одинокій, въ отелѣ въ Венеціи.

Здѣсь спитъ Ансельмъ Фейербахъ.
Его былъ жребій многотрудный
Въ отчизнѣ жить не могъ онъ—ахъ
Платили тамъ ему такъ скудно.

Такъ гласить надгробная надпись, которую онъ самъ составилъ для себя. Потомство готово замѣнить ее слѣдующей:

Здѣсь спитъ германскій художникъ.
Гордость германскихъ племенъ,

художникъ нашелъ себѣ пристанище и начать новую жизнь. Фейербаху было тогда немногимъ болѣе сорока лѣтъ. Но не долго ужился онъ въ Вѣнѣ. Покинувъ Римъ, онъ къ ужасу своему очутился въ суетливой столицѣ, переживавшей въ то время строительную горячку. Близость Микель Анджело смѣнилась близостью Макарта. Наброски для большого цикла борьбы титановъ, начатыя Фейербахомъ по возвращеніи, общали очень много. Въ нихъ видна увѣренность и величіе, не имѣющія ничего равнаго себѣ въ нѣмецкомъ искусствѣ того времени. Но этимъ наброскамъ не суждено было быть приведенными въ исполненіе.

Только на римской почвѣ Фейербахъ чувствовалъ себя Антеемъ; въ Вѣнѣ же онъ утратилъ свою силу. Въ немъ была природная сдержанность и тонкость чувства и эта, своего рода таинственная, фаустовская натура, очень неохотно допускала чужихъ въ свой душевный міръ. Въ творчествѣ, какъ и въ жизни



Фейербахъ; Медя.

Всегда его имя помянуть
Среди лучшихъ германскихъ именъ.

Не слѣдуетъ, однако, слишкомъ увлекаться. Фейербахъ говорилъ однажды про себя въ откровенной бесѣдѣ, что въ исторіи искусства XIX вѣка о немъ упомянуть какъ о метеорѣ. Онъ казался себѣ самому настолько оторваннымъ отъ искусства своего времени, что считалъ себя вправѣ произнести слѣдующую фразу: „повѣрь мнѣ — черезъ пятьдесятъ лѣтъ картины мои оживутъ и разскажутъ — чѣмъ я былъ и чего я хотѣлъ“. Не на самомъ дѣлѣ интересъ къ Фейербаху возродился не столько благодаря его картинамъ, какъ его „Завѣщанію“. Эта книга открыла Германіи глаза на значеніе Фейербаха и съ тѣхъ поръ преклоненіе передъ нимъ стало даже чрезмѣрнымъ. При его жизни, критика относилась къ нему безъ достаточнаго пониманія, — такова впрочемъ судьба большинства великихъ художниковъ, если они не доживаютъ до глубокой старости. Критика осуждала его сѣрые тона, а любители искусства возставали противъ его не патристическихъ сюжетовъ и жаловались на отсутствіе повѣствовательнаго содержанія въ его картинахъ. Поклонниками его были лишь люди съ утонченнымъ вкусомъ, тѣ, которые не хвалятъ во всеуслышаніе. Онъ никогда не слышалъ одобренія, и это отравляло ему жизнь. Потомство хорошо поступаетъ, стараясь исправить несправедливость современниковъ художника. Но нельзя считать его создателемъ новыхъ путей въ искусствѣ, говорить, что его творчество опредѣлило дальнѣйшее развитіе искусства. Подъ такимъ сужденіемъ едва-ли подпишется болѣе отдаленное потомство.

Фейербахъ интересенъ скорѣе какъ предметъ психологическаго, а не критическаго анализа. Кто читалъ „Завѣщаніе“, чувствуетъ обаяніе личности автора въ его картинахъ. Въ нихъ слышится исповѣдь гордой, недовольной, страдающей души, и авторъ кажется уже не запоздалымъ сыномъ Возрожденія, а человѣкомъ современнымъ, охваченнымъ лихорадочностью декаданса. Фейербахъ является въ своей книгѣ одной изъ первыхъ жертвъ тѣхъ умственныхъ и душевныхъ противорѣчій, которая тяготѣютъ надъ XIX вѣкомъ. Онъ какъ бы даже считаетъ свое состояніе чѣмъ-то возвышеннымъ и утонченнымъ, и развиваетъ его въ себѣ съ извѣстной нѣжностью. Онъ одинъ изъ первыхъ психопатологовъ въ духъ Верлена, съ усталой душой и разочарованными чувствами, искатель утонченныхъ ощу-



Фейербахъ: Пиръ у Платона.

щений въ простотѣ. Усталая покорность отражается и въ его картинахъ. Ни у кого изъ древнихъ нѣтъ столько грусти, какъ у Фейербаха; это настроеніе, созданное современностью. Уже въ его „Молодыхъ женщинахъ, окружающихъ Данте“ свѣтится та печаль, которая иногда на закатѣ знойнаго дня, охватываетъ молодую душу предчувствіемъ умирающаго. Кажется, что всѣ эти женщины должны кончить жизнь въ монастырѣ, или, подобно Ифигеніи, сидѣть на берегу моря на которомъ не покажется корабля для нихъ. Удивительно что именно образъ Ифигеніи такъ занималъ воображеніе художника; онъ нѣсколько разъ брался за исполненіе его. А послѣ Ифигеніи онъ сталъ писать Медею, которая выражаетъ еще болѣе сильно чувство покинутости, наполняющее душу художника. Дочь Колхиды сидитъ у морскаго берега. Ее пронизываетъ холодъ и трепетъ отъ сознанія своего одиночества. Она душой ищетъ на горизонтѣ Грецію и видитъ передъ собою безбрежное море, далекое и сѣрое какъ ея тоска; въ ней воплощено одиночество самого художника. И онъ, подобно Гельдерлину, греческому Вертеру, ищетъ въ призрачной Элладѣ покоя для своей больной души. Его „Пиръ у Платона“ не рисуетъ свободнаго веселія и чувственности, ума и разгула, размѣренности и безпредѣльности афинской жизни при Периклѣ. Нѣтъ въ немъ и олимпійскаго веселья, съ которымъ Рафаэль изобразилъ бы этотъ сюжетъ. Монашескій аскетизмъ подавляетъ греческую радость. Эти греки познали печаль, принесенную въ міръ христіанствомъ. Тоже можно сказать объ его „Судѣ Париса“ въ Гамбургѣ. Обнаженные женщины въ натуральную величину, амурь, южный ландшафтъ, пестрая одежды, золотая утварь, блестящія украшенія,—все это образуетъ составныя части картины, а между тѣмъ далеко не этимъ опредѣляется впечатлѣніе. Выраженіе лицъ у трехъ богинь какое-то тоскливое, какъ будто каждая изъ нихъ заранее знаетъ, что не ей достанется яблоко. Такъ же тоскливо сидитъ Парисъ. И тѣмъ, что Фейербахъ заимствовалъ у Буше его амуровъ, онъ еще болѣе отиѣтилъ рѣзкую грань между греческой сказкой, составляющей содержаніе его картины, и угрюмымъ настроеніемъ, въ которомъ она написана. Веселіе античной души подернуто у него чисто современной грустью. Онъ рассказываетъ старинныя преданія такъ, какъ бы не рассказывалъ ихъ ни одинъ грекъ и ни одинъ мастеръ Возрожденія. Его Олимпъ задернутъ туманомъ, колоритомъ сѣвера; онъ проникнутъ грустью времени болѣе поздняго и болѣе

нервного, болѣе богатаго оттѣнками чувствъ. Задачн его болѣе сложныя, чѣмъ въ древней Элладѣ. Картины Фейербаха — октавы на языкѣ Тассо, но онѣ проникнуты лирической грустью, которую Тассо никогда бы не вложилъ въ нихъ. Грецію времени Перикла освѣщало яркое сіяніе солнца, надъ Греціей Фейербаха нависло тусклое, ноябрьское небо. Даже въ такихъ его картинахъ, какъ „Дѣти на морскомъ берегу“ и „Идиллія“, сказывается грустное, страдальческое отношеніе къ жизни, нѣчто напоминающее мягкость и тишину Бернъ-Джонса. Кажется, что эти цвѣтки человѣчества созданы лишь для того, чтобы погибнуть не расцвѣтая, что въ нихъ воплощенъ конецъ цѣлаго міра, и нельзя вдохнуть въ нихъ радостнаго чувства молодости. Даже пять молодыхъ дѣвушекъ на картинѣ „Весна“ кажутся молодыми вдовами, вложившими всю нѣжность душъ въ элегическій плачъ о супругѣ.

Этому грустно-примиренію выраженію соответствуетъ странная неподвижность фигуръ Фейербаха. Онѣ не говорятъ, не смѣются и не плачутъ, не знаютъ страстей и страданій, которая могли бы выразиться въ движеніяхъ тѣла. На всемъ лежитъ отпечатокъ возвышеннаго спокойствія, того же, которое отличаетъ Густава Моро, Пювнсъ де Шаванна и Бернъ-Джонса отъ риторическихъ и восторженныхъ романтиковъ. Картины Фейербаха отмѣнены духомъ его личности, въ нихъ отразился современный декадансъ. На красоту античнаго міра онъ набросилъ покровъ таниственности, и освѣтилъ жизнь грустными свѣтомъ, свойственнымъ старѣющимъ мірамъ. Дыханіе грусти въ этихъ подавленныхъ голубоватыхъ тонахъ пронзодитъ иногда потрясающее впечатлѣніе. На примѣрѣ Фейербаха мы ясно видимъ, что выраженіемъ душевной жизни въ живописи служить именно колоритъ. Въ первую пору творчества, когда онъ былъ полонъ идеаловъ и надеждъ, картины его озарены были ликующей венеціанской радостью, краски ложились сочными золотыми аккордами; когда „радость за радостью погибала въ потокъ времени“, колоритъ его сталъ свинцовымъ, угрюмымъ и мертвеннымъ. Когда Францъ Гальсъ въ послѣдній періодъ своего творчества сталъ получать отъ людей лишь самое необходимое для жизни онъ и созданіямъ своей кисти сталъ удѣлять лишь то самое необходимое количество красокъ, безъ которыхъ онѣ не походили бы на живыхъ людей; въ печальные дни банкротства волшебный золотистый тонъ Рембрандта смѣнился угрюмымъ однообразнымъ и коричневымъ. Такъ и надъ картинами Фейербаха лежитъ глубокая грусть — какъ бы воспоминанія и расканія, мрачное вечернее настроеніе, въ которомъ пролетѣть летучихъ мышей доставляютъ отраду. Въ колоритѣ Фейербаха сказалась грусть и усталость конца нашего вѣка.

Это отличаетъ его отъ его современниковъ. Другіе идеалисты той поры писали безъ всякихъ колебаній, съ легкостью профессоровъ каллиграфовъ. Они собирали воспоминанія, группировали ихъ и съ довольствомъ потирали руки, когда имъ удавалось приблизиться къ своимъ образцамъ. Они еще не чувствовали бѣіи пульса XIX вѣка, основная нота нхъ творчества — отсутствіе индивидуальности. Нервный мечтатель Фейербахъ былъ прежде всего сильной личностью. Въ немъ возродилась послѣ долгаго сна человѣческая душа — живая и страдающая. Подъ ея вліяніемъ вялая идеализація другихъ художниковъ перешла у Фейербаха въ современный пессимизмъ и въ болѣзненную примиренность. Чѣмъ болѣе онъ поддавался этому настроенію, тѣмъ болѣе онъ становился самимъ собою и тѣмъ болѣе проникался духомъ современности. Но тѣмъ болѣе удалялся онъ отъ тѣхъ художественныхъ произведеній, которые ему самому и всѣмъ его современникамъ казались вѣчными образцами прекраснаго. Его стали упрекать въ странностяхъ и въ причудахъ. Критики доказывали ему, что онъ отдаляется отъ линій классическихъ образцовъ. Они съ возмущеніемъ

спрашивали его, почему онъ, больной, нервный, уставшій, изнѣженный блѣдный человѣкъ съ колеблющейся измученной душой—не такъ пишеть какъ свѣтлый импровизаторъ Рафаэль, какъ Веронезъ, окруженный праздничнымъ ликованиемъ, какъ жизнерадостный пѣвецъ плоти—Рубенсъ. И Фейербахъ усумнился въ себя. Ему, какъ Гро во Франціи, стало казаться слабостью то, что составляло его силу. Онъ еще не побѣдиль старого искусства, какъ Беклинъ и другіе идеалисты нашего времени. Онъ всю жизнь восторгался и изумлялся новизной того, что онъ находилъ въ произведеніяхъ прежнихъ вѣковъ. Въ немъ дрожали нервы декаданса, текла кровь XIX вѣка—а онъ стремился быть подражателемъ и сохранить лишь благородство старого стиля. Каждое его произведение было борьбой, отчаяннымъ поединкомъ между индивидуальностью художника, его внутреннимъ самочувствіемъ съ одной стороны и понятіемъ объ абсолютно прекрасномъ съ другой. Въ первыхъ его рисункахъ видна большая смѣлость. Ихъ можно легко отличить; чувствуется, что одинъ только Фейербахъ могъ такъ рисовать. Но потомъ можно прослѣдить шагъ за шагомъ, отъ одного наброска къ другому, какъ онъ старался, чтобы въ готовой картинѣ было какъ можно меньше фейербаховскаго. Все личное, индивидуальное въ рисунокъ теряется. Композиція утрачиваетъ все что художникъ внесъ своего и когда картина закончена, она производитъ странное впечатлѣніе, она написана какъ бы призракомъ древняго венеціанца. Самъ Фейербахъ чувствовалъ этотъ диссонансъ. Онъ видѣлъ, что уже не вполне выражаетъ самого себя, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не уподобляется древнимъ. Онъ вставлялъ условно подражательныя фигуры въ свои картины, какъ напримѣръ амуровъ въ жанръ Буше въ судѣ Париса, хотя все его существо возмущается противъ этихъ фигуръ; но онъ хочетъ достигнуть этимъ хотя бы внѣшняго сходства со старыми картинами, произвестъ впечатлѣніе праздничности, ликования и настроеній эпохи Возрожденія; стоя же передъ своей картиной, онъ представляетъ самому себѣ какъ бы могильщикомъ въ платьѣ арлекина. Онъ съ отчаяніемъ наблюдаетъ за собой и чувствуетъ, что его творческая сила изсякла. Неподражаемое искусство древнихъ взираетъ на него со стѣнъ музея во всемъ своемъ величіи, и онъ борется съ нимъ на жизнь и на смерть. Фейербахомъ онъ не хочетъ быть, а классикомъ не можетъ сдѣлаться. Занавѣсъ падаетъ и трагедія кончена. Такія драмы разыгрывались конечно и прежде, но въ наше время онѣ стали учащаться. И тѣмъ печальнѣе онѣ, что касаются не среднихъ людей, а особенно даровитыхъ натуръ.

Все это, весь этотъ молчаливый урокъ исторіи, „Завѣщаніе“ раскрываетъ въ картинахъ Фейербаха. Тамъ, въ самомъ дѣлѣ картины его получаютъ даръ слова; изъ нихъ вырывается крикъ, какъ изъ человѣческой груди; вся трагедія его развитія, все, что ему удалось и что осталось недостигнутымъ раскрывается. Но едва-ли позднѣйшія поколѣнія почувствуютъ тоже самое передъ картинами Фейербаха. Они его будутъ судить не психологически, а какъ художника, и его нравственное величіе будетъ закрыто для нихъ, Чѣмъ-же его будутъ считать тогда: создателемъ новаго или подражателемъ, предтечей или эпигономъ? Займетъ-ли онъ мѣсто рядомъ съ Беклиномъ и Уотсомъ, или-же рядомъ съ Кутуромъ и Энгромъ. Быть можетъ хорошо, что въ исторіи искусства встрѣчаются иногда личности, относительно которыхъ не примѣнимъ химическій анализъ. Фейербахъ великое явленіе въ нѣмецкомъ искусствѣ своего врсмени. Его творчество благородно и аристократично, лишено характера иллюстрацій и всякой шумливой пестроты. Его фигуры тоже познруютъ, но всегда красиво, не театрално. Во время общаго декламаторства онъ одинъ былъ свободенъ отъ риторства и отъ условнаго пафоса; это одно создаетъ ему особое положеніе въ ряду нѣмецкихъ художниковъ переходнаго времени. Онъ всегда простъ, серьезенъ,



Лессингъ: Гуситская проповедь.

величественъ. У него во всемъ замѣтна выдержанность стиля и въ этомъ его характерная особенность среди художниковъ, часто впадавшихъ въ мелочность. Но совершенно иной станеть оцѣнка Фейербаха, если его сравнивать съ французами и съ древними мастерами. Фейербахъ не былъ метеоромъ, онъ твердо стоялъ на почвѣ Кутюра, и достигъ позже, подъ вліяніемъ венеціанцевъ и римлянъ еще большей простоты. Онъ суровѣе, мужественнѣе Кутюра, но все-таки по своимъ законченнымъ картинамъ это римлянинъ *cinquecento*, испытавшій вліяніе Венеціи, а не оригинальный геній XIX вѣка, каковъ Беклинъ напримѣръ. Беклинъ воспроизводилъ образы древняго искусства въ ихъ вѣчной молодости и цѣльности, но онъ человѣкъ новаго времени по своему чувству и по высоко развитой Technikъ. Фейербахъ связанъ своими техническими средствами съ французской, венеціанской и римской школами. Его манера обусловлена искусствомъ *cinquecento* или, быть можетъ, явилась результатомъ атавизма. Въ рисункахъ и въ литературныхъ произведеніяхъ онъ человѣкъ своего времени, въ картинахъ человѣкъ прошлаго. Искусственно подавленная современность уже не проявляется въ картинахъ, нервность пропала, и ни одинъ человѣчный крикъ не вырывается изъ устъ его созданій. Глядя сквозь призму великихъ мастеровъ древности онъ научился не замѣчать все мелочное въ жизни; но этихъ очковъ онъ уже никогда не снималъ. Этотъ современный человѣкъ, столь нервный въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ, старается совершенно истребить нервность въ своей живописи, думая, что такимъ образомъ онъ ближе осуществляетъ свой идеалъ. Картины его навѣваютъ холодъ. Полнаго признанія заслуживаетъ въ нихъ только глубокая искренность художника и какое-то святое спокойствіе: но все-таки, если считать его созидателемъ новыхъ путей,



Пилоти.

не слѣдуетъ забывать, что онъ небылъ самостоятеленъ, какъ напримѣръ Миллз. Онъ достигъ высоты спокойнаго созерцанія, опираясь на тѣ образцы прошлаго, отъ обаянія которыхъ современное искусство должно еще непременно освободиться для того, чтобы познать собственные силы.

Вмѣстѣ съ Фейербахомъ и тоже послѣ предварительнаго изученія колорита въ антверпенской академіи, отправился въ 1849 году, къ Кутюру франкфуртскій уроженецъ *Викторъ Мюллеръ* Victor Müller. Онъ жилъ въ Парижѣ до 1858 года, и тамъ на него имѣлъ вліяніе Делакруа и отчасти Курбе. Его „Лѣсная нимфа“, лежащая въ лѣсу полная женщина, создала ему въ 1863 году имя въ Германіи; въ ней видно вліяніе трезваго реализма и соч-

ной широкой манеры Курбе. Въ остальныхъ картинахъ онъ, подобно Делакруа, почти исключительно вдохновлялся Шекспиромъ. Гамлетъ у могилы Іорика, Офелія, Ромео и Юлія, Геро и Леандръ—во всѣхъ этихъ картинахъ видна глубина и пламенность колорита; характеры представлены съ большою духовной сосредоточенностью и въ окружающемъ ландшафтѣ чувствуется мрачная поэзія природы, которая такъ углубляетъ человѣческія трагедіи на картинахъ Делакруа. Талантъ Виктора Мюллера очень смѣлый и чуждъ компромиссовъ; пламенность южанина сочеталась въ немъ съ дикимъ романтизмомъ; онъ былъ кромѣ того мощнымъ реалистомъ и не сдѣлалъ ни одного шага на встрѣчу эстетическимъ вкусамъ своего времени. Тогда господствовала вялая округленность формъ и условная красота; онъ же радуется взору здоровымъ освѣжающимъ уродствомъ. Всѣ фигуры на его картинахъ обнаруживаютъ благоговѣйное преклоненіе передъ природой; видно, что онъ написаны художникомъ, любившимъ юношескія произведенія Рибейры и Караваджо. Также изумительны сила выраженія, глубокой паевосъ которыхъ онъ достигалъ въ движеніяхъ и лицахъ. Макартъ въ своей сценѣ на балконѣ изъ Ромео и Юліи не идетъ дальше пустыхъ театральныхъ эффектовъ, а также сцена у Виктора Мюллера дышетъ страстной, почти кровожадной чувственностью. Казалось, родился новый Делакруа, феноменальный талантъ показался на горизонтѣ нѣмецкаго искусства. Но Германіи пришлось похоронить этого величайшаго романтика прежде чѣмъ онъ успѣлъ сказать рѣшительное слово; Мюллеръ, также какъ и высшій представитель картонной эры, Ретель, умеръ во цвѣтѣ лѣтъ.

Изъ другихъ художниковъ, которые вмѣстѣ съ Фейербахомъ и Мюллеромъ совершали паломничество въ Парижъ, ни одинъ не имѣетъ равнаго имъ значенія. Заслуга остальныхъ въ томъ, что они усвоили себѣ во Франціи сравнительно хорошую технику, и вернувшись на родину, стали проповѣдывать новое



Пилоти: Сени передъ трупомъ Валленштейна.

евангеліе въ живописи. Своими блестящими успѣхами въ пятидесятихъ годахъ они обязаны колориту и технике, пріобрѣтеннымъ у французскихъ учителей. Они были въ свое время лучшими нѣмецкими художниками, истинно великими въ виду того что техническое совершенство было тогда рѣдкимъ и новымъ. Когда же оно стало привычнымъ и распространеннымъ, то у этихъ художниковъ не осталось ничего возвышающаго ихъ надъ общимъ уровнемъ.

Это относится ко всей берлинской школѣ 50-хъ и 60-хъ годовъ. Самый самобытный изъ многихъ берлинцевъ, учившихся въ Парижѣ, былъ несомнѣнно рано умершій *Рудольфъ Геннебергъ* (Rudolph Henneberg). Своей техникой онъ обязанъ Кутюру, у котораго учился, начиная съ 1851 г.; сюжеты же онъ заимствовалъ изъ нѣмецкихъ классиковъ. Какъ уроженецъ Брауншвейга, онъ чувствовалъ особенное влеченіе къ своему земляку Бюргеру. Высокая техника служила ему средствомъ изображать сюжеты изъ сѣверныхъ балладъ. Геннебергъ какъ и Бюргеръ отличался порывистостью, дикостью, возбужденностью и нѣкоторой романтической таинственностью въ духѣ сѣверныхъ балладъ. Картины его проникнуты своеобразно сильной, мрачной поэзіей и смѣлой фантазіей. Въ „Дикой охотѣ“,—иллюстраціи бюргеровской баллады,—бѣшенно несутся охотники съ собаками.

За эту картину въ 1856 году онъ получилъ въ Парижѣ золотую медаль. Въ картинѣ 1860 года „Преступникъ изъ чувства потерянной чести“, благородство колорита Кутюра соединяется съ дюссельдорфскимъ романтизмомъ горныхъ ущелій. Въ главномъ же его произведеніи, „Погоня за счастьемъ“ сохранилась частичка, очень впрочемъ небольшая, духа Дюреровской картины „Рыцарь, смерть и дьяволъ“. „Погоня за счастьемъ“ обвѣянная мрачнымъ средневѣковымъ романтизмомъ, доставила Геннебергу громкую славу на выставкѣ 1868 года.

Полное отсутствіе силы чувствуется въ женственномъ, лишенномъ темперамента талантѣ *Густавъ Рихтера* (Gustav Richter). Это слабая копія Винтергальтера. Популярность его основана на двухъ картинахъ—„Молодой рыбакъ“ и „Одалиска“; ихъ воспроизводили безъ конца на бонбоньеркахъ и ящикахъ для перчатокъ. Было время, когда каждая портниха носила брошку съ изображеніемъ „Одалиски“. Въ Парижѣ Рихтеръ достигъ виртуозности въ техническомъ отношеніи; его умѣние писать сверкающія ткани доставило громкую извѣстность его женскимъ портретамъ. Около 1860 года, послѣ того какъ сошелъ со сцены Эдуардъ Магнусъ — Рихтеръ сталъ излюбленнымъ портретистомъ. Изящный, жизнерадостный художникъ былъ баловнемъ общества, приобрѣлъ широкія связи, былъ осыпанъ славой и отличіями. Работы его были исполнены съ тѣмъ совершенствомъ, которое было тогда еще неизвѣстно въ Берлинѣ и обладали нѣкоторымъ лоскомъ, сходившимъ за благородство. Только позже обнаружили пошлость и пустота также какъ и безвкусіе его портретовъ, въ которыхъ туалеты играли главную роль; сладкая, дѣланная улыбка и одинаковая на всѣхъ портретахъ ласковость взгляда скоро надоели. Во всѣхъ его хромолитографіяхъ въ человѣческой ростъ есть нѣкоторая изысканность манеръ и лицъ; въ дѣйствительности она, быть можетъ, не доставала его моделямъ, но за то въ нихъ навѣрное было больше индивидуальности и жизненности. Позже, когда въ зрѣломъ возрастѣ Рихтеръ испыталъ семейное счастье, онъ написалъ нѣсколько портретовъ — своихъ сыновей и жены; они даютъ ему нѣкоторое право на вниманіе потомства. Къ послѣднему періоду относится также чрезвычайно популярный въ Пруссіи идеализированный портретъ баронессы Циглеръ въ образѣ королевы Луизы. Большія композиціи Рихтера, восхищавшія нѣкогда посѣтителей выставокъ, въ настоящее время совершенно забыты. Его „Дочь Іаира“, возбуждала въ 1856 году всеобщіе восторги прелестью колорита. Но техника колорита настолько усовершенствовалась съ тѣхъ поръ, что теперь бросаются въ глаза лишь слабость исполненія, театральность картины и пошрое исканіе эффектовъ; изящный молодой художникъ продѣлываетъ свои фокусы съ большой аффектаціей. „Сооруженіе пирамидъ“ въ мюнхенскомъ Максимилеанумѣ — толпа темнокожихъ людей и пришедшая для осмотра королевская чета съ безконечной свитой — производятъ впечатлѣніе огромной этнографической карты; надъ этимъ не стоило трудиться двѣнадцать долгихъ лѣтъ.

Отто Книлле (Otto Knille) научился въ Парижѣ смѣло писать на огромныхъ полотнахъ и стѣнахъ. Обладая этой способностью онъ однако исполнялъ всѣ монументальные заказы, полученные имъ въ Пруссіи, безукоризненно, но весьма скудно.

Юліусъ Шрадеръ Julius Schrader гораздо болѣе интересенъ нѣсколькими своими хорошими портретами, чѣмъ историческими картинами, составившими его славу. „Смерть Леонардо да-Винчи“, „Взятіе Калѣ Эдуардомъ III“, „Валленштейнъ и Сени занимающіеся астрологіей“, „Умирающій Мильтонъ“ и „Прощаніе Карла I съ дѣтьми“—представляютъ въ общемъ слитное эхо его занятій въ парижскихъ мастерскихъ. Созданная Деларошемъ декоративно театральная живопись господствовала не только въ Бельгіи; въ числѣ ея жертвъ оказались и нѣмецкіе художники. Въ Германіи тоже были предрасполагавшія къ ея появленію политическія и литературныя условія. Отставшій, недовольный собою народъ, стремился къ подвигамъ и славѣ. Великими драмами прошлаго надѣялись расшевелить души, подобно тому, какъ массажемъ лѣчатъ упадокъ тѣлесныхъ силъ. И также какъ во Франціи, историческая наука подготовила въ Германіи почву для живописи. Для романтиковъ различныя историческія эпохи

сплетались поэтически въ одно цѣлое; и основной тонъ всей нѣмецкой исторіи они видѣли въ грусти, проникающей эпоху Гогенштауфеновъ. Но съ 30-хъ годовъ въ литературѣ началось царство исторической науки. Шлоссеръ началъ свой „общенѣмцевскій обзоръ древняго міра, разросшійся до 9 томовъ; въ нихъ культурная жизнь древняго міра изображена съ небывалой до него полнотой. Его, „Исторія восемнадцатаго вѣка“ была еще большимъ откровеніемъ въ исторической наукѣ. Въ ней, по образцу Вольтера, въ изложеніе политическихъ событій введено описаніе нравовъ, наука и литература. Рѣзкая субъективность Шлоссера смѣнилась въ трудахъ Ранке научною объективностью. Онъ былъ глубокимъ знаткомъ источниковъ и въ своихъ очеркахъ папства послѣ реформаціи, французскаго королевскаго двора, политики князей во



Маляръ.

время реформаціи, далъ тонкіе, какъ бы выточенные портреты Кромвеля и героев, растущей Пруссіи. Луденъ, Гизебрехтъ, Лео, Гуртеръ, Дальмайнъ, Гервинусъ и многіе другіе, начали тогда свою широкую дѣятельность. Нѣмецкая живопись, какъ и французская, старалась извлечь пользу изъ этихъ научныхъ трудовъ. Шназе первый сталъ доказывать въ „Kunstblatt“ 1834 г., что явилась настоящая потребность въ исторической живописи и культъ старины — истинно „религіозное влеченіе“ въ столь безотрадную эпоху. Вскорѣ послѣ того Фишеръ сталъ проповѣдовать историческую живопись какъ своего рода новое евангеліе. „Исторія“, говорилъ онъ, „откровеніе Божье“. Въ ней, также какъ въ священномъ писаніи, раскрывается духъ Божій. Историческая живопись поэтому является прямымъ слѣдствіемъ и подтвержденіемъ тѣхъ принциповъ, которые пять вѣковъ тому назадъ возродили христіанскую живопись въ творчествѣ Джіотто. Созданная развитіемъ всѣхъ областей знанія и всѣхъ формъ жизни, историческая живопись послѣдняя и высшая степень въ развитіи религіозной живописи. Въ ней истинное завершеніе религіозной живописи. „Какое изображеніе болѣе подходитъ Святому Духу,“ спрашиваетъ Фишеръ, „то-ли, гдѣ онъ представленъ въ видѣ голубя въ сноѣ лучей, или въ томъ, гдѣ онъ воплощенъ въ образѣ благороднаго великаго мужа, Лютера или Гусса, проникнутаго пламенемъ божественнаго вдохновенія?“ Нѣчто подобное думалъ и Штраусъ, когда онъ предлагалъ культъ генія въ замѣну религіи. За религіозною живописью, повернувшей въ сторону назарейства, послѣдовала лишенная всякой вѣры отвлеченная живопись и сатира; теперь же увѣровали въ исторію въ латахъ и кольчугахъ. „Мы стоимъ“, говорилъ Готто (Hotho) въ своей Исторіи нѣмецкой и фламандской живописи“, благодаря нашимъ знаніямъ, образованію и пониманію, на вершинѣ, съ которой можемъ обозрѣвать все прошлое. Востокъ, Греція и Римъ, средніе вѣка, реформація и новыя вѣка развертываются передъ нами со всею ихъ религіей, литературой и искусствомъ, съ ихъ дѣяніями, и событіями; мы можемъ понимать эту міровую панораму, благодаря нашему умѣнію проникать въ особенности всякаго народа, всякой эпохи, всякаго характера. Углубляться въ

прошлое, познавать его сущность, воскрешать мертвое посредством науки, возрождать исчезнувшее посредством искусства и превращать настоящее въ Мнемозину, заново переживающую жизнь прошлаго и всё его чувства; вотъ отърадная задача старости для нашего времени, и ей слѣдуетъ посвящать лучшія силы."

Первымъ нѣмецкимъ живописцемъ исторической школы былъ *Лессингъ* (*Lessing*), очени талантливый пейзажистъ и умиый, симпатичный человекъ. Домъ его въ Карлсруэ былъ втеченіи долгихъ лѣтъ центромъ избраннаго общества; всѣ молодые таланты находили у него поддержку. Зимой 1832-33 года, ему попалась въ руки во время болѣзни „Исторія Германіи“ Менцеля. Онъ ознакомился въ ней съ исторіей Гусса и гусситовъ, и вскорѣ началъ своей „Гусситкой проповѣдью“ серію картинъ, изображавшихъ борьбу церкви и государства, споръ папъ съ императорами, столкновенія между свободнымъ личнымъ убѣжденіемъ и гнетомъ традицій. Содержаніе всѣхъ картинъ сводилось къ борьбѣ авторитета и свободы,—а этотъ вопросъ сталъ всѣмъ интересовать послѣ Штраусовской жизни Христа. „Гуссъ на Константиномъ соборѣ“, „Шестіе Гусса на костеръ“ и „Сожженіе буллы“, встрѣчены были сочувственно правовѣрными протестантами; въ нихъ видѣли, то очени своевременный протестъ лютеранина противъ католическихъ увлеченій школы назарейцевъ, то рѣзкую критику піетистическаго католицизма, господствовавшего въ Пруссіи при Фридрихѣ Вильгельмѣ IV. Историческій интересъ картинъ заключается только въ томъ, что Лессингъ намѣтилъ въ нихъ еще до французскаго вліянія путь, на который вступила нѣмецкая историческая живопись; центромъ ея, благодаря Пилоти, сталъ вскорѣ Мюнхенъ.

Пилоти подвразилъ зная колорита на вершинѣ зданія, воздвигнутаго классиками картоиной эры. Онъ пользовался правда лишь изношеннымъ платьемъ Делароша, но былъ не только художникомъ, а и хорошимъ педагогомъ; онъ соединялъ въ себѣ такимъ образомъ все то, чего не доставало нѣмецкому искусству уже цѣлые полвѣка; это придаетъ его дѣятельности большое значеніе. Еще теперь, рядомъ съ Каульбаховскимъ Іерусалимомъ и Потопомъ Шиорра въ новой мюнхенской пинакотекѣ, картина Пилоти „Сени передъ трупомъ Валленштейна“ кажется началомъ новой эпохи. Прежде знаменитые мюнхенцы гордились тѣмъ, что не умѣютъ писать красками и презрительно относились къ „раскрашивателямъ“. Пилоти же далъ все, чѣмъ восхищалась молодежь въ картинахъ Галлэ и Бьева. Краски Пилоти казались въ Германіи въ 1855 году чѣмъ то небывалымъ, безусловно совершеннымъ. Мелочная, пестрая, безплотная живопись, господствовавшая до того, была вытѣснена Пилоти. Художники восхитились сѣрѣющимъ разсвѣтомъ, который проникаетъ въ страшную комнату и окружаетъ трупъ призрачнымъ свѣтомъ, восторгались переливами свѣта на платьяхъ и шелковыхъ драпировкахъ; публика же философствовала вмѣстѣ съ погруженными въ раздумье Сени о величіи героевъ и судьбахъ міра.

Пилоти сразу былъ признанъ первымъ нѣмецкимъ художникомъ. Въ немъ видѣли будущіость, къ нему поднимала взоры вся мюнхенская молодежь. До него никто не умѣлъ такъ, какъ онъ, написать голову, руку, сапогъ. Онъ былъ мастеромъ своего дѣла и благодаря этому создалъ въ Мюнхенѣ школу, какой тамъ никогда не было. Городъ обогатился художниками, прекрасно знавшими свое ремесло. Все, что профессоръ можетъ дать своимъ ученикамъ, т. е. хорошее знаніе рисунка и колорита, Пилоти несомнѣнно далъ молодымъ художникамъ. Съ большимъ правомъ чѣмъ Корнеліусъ онъ могъ сказать передъ смертью: „мы оставляемъ послѣ себя искусство въ лучшемъ состояніи, чѣмъ застали его“. Онъ открылъ и усовершенствовалъ много талантовъ и оставилъ послѣ себя



Макарт: Бракъ Катарины Карнаро.

хорошо выученное поколѣніе художниковъ. Это утвердило за нимъ выходящее далеко за предѣлы Мюнхена почетное званіе—*Praseptor Germaniae*. Мюнхенская живопись не стала при этомъ ареной страстной и ожесточенной распри, какимъ былъ Парижъ во время борьбы романтиковъ противъ классицизма школы Давида. Гвардія не умерла, но сдалась и съ орденомъ въ петлицѣ предалась *otium cum dignitate*. Побѣда бесспорно осталась за новымъ поколѣніемъ, которое не было связано никакими узами традиціи съ тѣмъ, которое сошло со сцены. Восторжествовало поколѣніе, чуждое философіи и поэзіи. Единственное его стремленіе заключалось въ возобновленіи разрушенныхъ непреклонными обстоятельствами нитей технического развитія живописи.

Переворотъ совершился съ ужасающей быстротой. Еще при жизни Корнеліуса французско-бельгійская колористическая школа обрѣла самого блестящаго представителя въ лицѣ Макарта. У него колоритъ сталъ чисто стихійной силой, деспотически срывающей и смывающей все на своемъ пути. Въ годъ смерти Корнеліуса „Флорентинская чума“ Макарта прогнѣла на весь міръ. Уже Швинт и Штейнле—оба вѣнскіе уроженцы—отличались своимъ лиризмомъ, музыкальностью и стихійностью колорита отъ вдумчивой строгости формъ и пластической ясности своихъ нѣмецкихъ товарищей. И на этотъ разъ суждено было опять австрійскому художнику приучить къ сіянію колорита отвыкшіе отъ красокъ глаза нѣмцевъ. Корнеліусъ стремился возродить языкъ формъ и подражалъ Микель Анжело. Макартъ возродилъ красочныя симфоніи венеціанцевъ, роскошь драпировокъ, драгоценныхъ уборовъ, парчи, бархата и роскошное женское тѣло.

Гансъ Макартъ (Hans Makart) гениально понималъ живописность различныхъ формъ жизни. Разыгрывалась-ли эта жизнь въ его мастерской, убранной какъ балная зала, или на празднично-разукрашенной вѣнской Ringstrasse, или на полотнѣ—онъ всегда видѣлъ въ ней сверкающую красками декорацию. Макартъ внесъ блескъ красокъ въ самую разнообразную области. Въ дамскихъ модахъ его временъ царила сѣрость, безвкусіе или сухая пестрота. Макартъ противопоставилъ имъ на своихъ картинахъ костюмы, написанные благородными, сочными и яркими красками; предприимчивые портные и всякаго рода промышленники переносили его замыслы въ дѣйствительную жизнь. Распространилась мода на макартовскія шляпы, макартовскія розы, макартовскіе букеты—очень устарѣвшіе конечно въ настоящее время. Подъ вліяніемъ Макарта художественно промышленныя издѣлія подчинились требованіямъ эстетическаго вкуса. Восточныя ковры, тяжелыя шелковыя ткани, японскія вазы, оружіе, мебель съ инкрустацией сдѣлались необходимой частью обстановки домовъ. Въ обществѣ стали любить сочныя краски. Обон замѣнились портьерами и гобеленами, потолокъ покрывался живописью, у каминовъ стали ставить пестрые экраны. Оголенность аккуратнаго мѣщанскаго стиля смѣнилась ликующими радостными красками. Въ мастерской Макарта собраны были самыя благородныя произведенія всѣхъ художественныхъ эпохъ: богато разукрашенные шкапы въ стилѣ нѣмецкаго возрожденія, китайскіе идолы и греческія терракоты, смірнскіе ковры, гобелены, старыя итальянскія и фламандскія произведенія рядомъ съ античными и средневѣковыми оружіемъ. И среди этихъ роскошныхъ предметовъ, утвари, оружія, статуй, драгоценныхъ тканей и костюмовъ, заполнявшихъ всѣ стѣны и уголки, еще однимъ украшеніемъ мастерской были: бархатная куртка, рейтузы и большіе валленштейновскіе сапоги самого художника, чело-
вѣка небольшого роста, съ густой черной бородой, острыми черными глазами и широкимъ открытымъ лбомъ, который обыкновенно считается признакомъ гениальности.



Монархия: Бегущие кресту в 66. Амстердам.

И картины Макарта тоже состоятъ главнымъ образомъ изъ аксессуаровъ, изъ которыхъ выступаютъ люди. Слышенъ шелестъ атласа и шелка, шуршаніе драгоцѣнной парчи, бархатныя портьеры падаютъ тяжелыми складками, но фигуры, двигающіяся въ этой обстановкѣ,—тѣла, лишенныя души; у нихъ есть тѣло, но нѣтъ костей, краски вытѣснили рисунокъ. Макартъ рисовалъ иногда лучше, иногда хуже, но никогда не рисовалъ хорошо. Уже этотъ недостатокъ ставитъ его безконечно ниже древнихъ венеціанцевъ, которые въ подобнаго рода картинахъ соединяли совершенство формъ съ блескомъ красокъ. Его яркія и густыя асфальтовыя краски перенятыя у Делароша, восхищали прежде всю Германію; теперь колоритъ Макартъ не возбуждаетъ никакого восторга,—виной этому отчасти быстрое разрушеніе его картинъ. Отъ нихъ теперь осталось почти также мало, какъ отъ блестящаго праздничнаго шествія, взволновавшаго вѣнскія улицы на одинъ только день. Тонъ и краски картинъ Макарта не становятся тоньше и воздушнѣй съ годами, какъ на старыхъ гобеленахъ, а покрываются пятнами и мертвѣютъ. Но даже если бы онъ сохранили свѣжесть, развѣ ими могло удовлетвориться болѣе развитое и утонченное пониманіе красокъ въ наше время?

Макартъ, славившійся своими нагими фигурами, въ сущности совершенно не умѣлъ писать тѣло. У женщинъ на его картинахъ безкровно-бѣлыя тѣла, иногда подернутыя непріятнымъ розовымъ слащавымъ оттѣнкомъ. Въ его созданіяхъ не чувствуется свѣжаго дыханія жизни; они порождены не общеніемъ съ природой, а изученіемъ старыхъ картинъ. Чопорная критика прежнихъ лѣтъ упрекала Макарта въ безнравственности. Намъ же его голыя тѣла кажутся необычайно шаблонными и академичными. Его чувственность очень сдержанна, даже если и не вспомнить случайно, глядя на его картины, о жизнерадостной, широкой, божественной чувственности Рубенса. Макартъ, какъ и родственныи ему въ литературѣ Робертъ Гаммерлингъ, имѣлъ огромную минутную славу; но блескъ его картинъ также скоро померкъ какъ и поэзія Гаммерлинга, и теперь только видно до чего болѣзненна и скудна была основная тема, скрытая за шумной инструментальной. Его созданія родились на свѣтъ безъ крѣпкаго скелета и не могли продолжать жить, когда увяло ихъ цвѣтущее тѣло. Живопись Макарта очень поверхностна и слабосильна. Взоръ его обращенъ былъ только на внѣшнее... Въ Чиле сохранились огромные пышные фасады, на которыхъ написано: Museo nacional, Teatro nacional, но за этими фасадами ничего нѣтъ. Для Макарта весь міръ былъ такимъ домомъ съ пышными сіяющимъ въ яркнхъ краскахъ фасадомъ, но безъ крышъ, подъ которыми могло бы найти пріютъ человѣческое горе и радость. Люди на его картинахъ не думаютъ и не живутъ—это только манекены для великолѣпныхъ одеждъ или же включенныя въ розовыя тѣла части пространства. Въ нихъ нѣтъ мысли, это чучела или животныя. Всѣ женщины Макарта глядятъ одинаково пустымъ расширеннымъ взглядомъ. Есть нѣчто кукольное и безжизненное въ ихъ бѣлыхъ, какъ бы обнаженныхъ для зубнаго врача, яркнхъ зубахъ. Таковы и его портреты, и его идеальныя женскія фигуры. Макарту никогда не слѣдовало бы писать портретовъ. Какъ бы онъ ни разукрашивалъ оригиналовъ по Рубенсу и Рембранду, какъ бы ни наряжалъ свои модели Семирамидами или японками—его духовное безсиліе оставалось всегда одинаковымъ. Поэзія душевной жизни была ему совершенно чужда.

И всетаки значеніе Макарта очень велико для времени, когда еще царила историческая живопись и въ искусствѣ не было самостоятельнаго пониманія природы. Пуссенъ говорилъ о Рафаэлѣ: въ сравненіи съ современниками—онъ орелъ, но въ сравненіи съ греками—воробей. Макартъ тоже кажется во-

робьемъ, если его сравнить съ Веронезомъ или Рубенсомъ, но для современной ему Германіи онъ несомнѣнно орелъ. Всѣ его предшественники Пилоти, Галлэ и Деларошъ были историками, отклонившимися въ сторону живописи, между тѣмъ какъ Макартъ истинный художникъ; это приближаетъ его, при всей его несмѣлости и посредственности къ Делакруа. Его любовь къ художественнымъ зрѣлищамъ сказалась въ устройствѣ праздничнаго шествія по улицамъ Вѣны и въ устройствѣ его мастерской. Декоративность — основная черта всего его творчества. Съ наивностью древнихъ мастеровъ онъ пренебрегалъ въ своихъ историческихкихъ картинахъ всякой фактической точностью и съ полнымъ презрѣніемъ къ историческимъ источникамъ совершалъ анахронизмы, возмущавшіе критиковъ. Онъ упивался пышными созвучіями красокъ и стремился создавать изъ костюмированныхъ группъ наиболѣе совершенные аккорды красокъ. Его вниманіе было исключительно обращено на краски. Каждая картина возникала у него прежде всего на палитрѣ, въ видѣ аккорда красокъ, и потомъ уже онъ придумывалъ сюжетъ. Деларошъ превратилъ живопись въ скучныя педантичныя иллюстраціи историческихкихъ сюжетовъ. Макартъ же возродилъ въ живописи празднично-радостные порывы. Назарейцы были философами и теософами, романтики предавались лиризму, Каульбахъ представитель Гегелевской философіи въ исторіи, Пилоти прозаическій историкъ съ отѣнкомъ риторства, Макартъ первый нѣмецкій живописецъ XIX вѣка. Люди на его картинахъ сами обожаютъ свою ослѣпительную внѣшность. Съ той-же свободой, съ какой древніе мастера пользовались своими богами и мифами—Макартъ обращается со своими амурами, красавицами, геніями, вакханками, историческими лицами; онъ включаетъ кромѣ того въ область искусства всю природу съ ея разнообразіемъ растений, цвѣтовъ и плодовъ, всю культуру съ изобиліемъ создаваемой ею блестящей утвари, украшеніями, яркими тканями, эмблемами, оружіемъ и масками. Все, что онъ создавалъ, проникнуто наивной чувственной радостью истиннаго живописца. Основой для его „Флорентинской чумы“ было, конечно, описаніе Бокаччіо; но въ общемъ картина является свободной фантазіей на тему чувственной радости и оголеннаго тѣла: въ этой красочной симфоніи сохранилась въ самомъ дѣлѣ искра пламенной жизненной энергіи Рубенса.



Г. Максъ.

На картинѣ „Бракосочетаніе Катарины Карнаро“ движется пестрая толпа представителей Кипра и Венеціи, почтенныхъ мужей, прокураторовъ Санъ-Марко, женщинъ въ пестрыхъ чужеземныхъ одеждахъ. Они выступаютъ на роскошномъ

архитектурномъ фонѣ Пяцетты и окружають, лнкую, молодую правительницу, царицу праздника. Но къ великой досадѣ историковъ, онъ относитъ эту сцену не къ XV вѣку, когда она на самомъ дѣлѣ происходила, а къ срединѣ XVI, когда уже Венеція была украшена твореніями Сансовино, Тициана и Веронезе. Также для „Вступленія Карла V въ Антверпенъ“ записи Дюрероваго дневника послужили только внѣшнимъ предлогомъ. Съ тѣмъ же правомъ оголенныя дѣвушки, разсыпавшія цвѣты, могли бы изображать вступленіе Александра Великаго въ побѣжденный Вавилонъ. Въ странѣ чудесъ, на берегахъ Нила его привлекаетъ не историческая и этнографическая сторона зрѣлища, не пирамиды и храмы боговъ. Онъ видитъ и воспринимаетъ только жгучую чувственность южной природы и роскошь предметовъ, среди которыхъ эффектно выделяется прекрасная Клеопатра. Женскія тѣла, животныя и плоды среди сочной и пышной природы, напитанной масломъ и асфальтомъ—вотъ элементы, изъ которыхъ составились его картины античныхъ мифовъ, его „Охота амазонокъ“ и „Диана“.

Благодаря всѣмъ этимъ свойствамъ своего таланта Макартъ сталъ чисто декоративнымъ художникомъ. Къ лучшимъ его произведеніямъ относится серія Abundantia въ Мюнхенской пинакотекѣ и плафонъ дворца Тумба въ Вѣнѣ. Въ душѣ его жила частичка олимпійской веселости древнихъ мастеровъ, та легкая праздничность настроенія, которая, казалось, была похоронена со временъ Тьеполо въ мрачномъ раздумьи и сухой разсудочности позднѣйшаго искусства. Въ картинахъ Макарта чувственное воспріятіе не отягчается идейнымъ содержаніемъ и картины вполнѣ отвѣчаютъ замыслу художника, т. е. призываютъ къ наслажденію жизнью. Сочный яркій колоритъ Макарта, контрасты теплыхъ коричневыхъ тоновъ и свѣтлоглубыхъ, соединенныхъ посредствомъ глубокаго пламеннаго макартоваго пурпура, соответствуетъ настроенію бьющей черезъ край безпредѣльной радости жизни. Огромный огненный цвѣтокъ у ногъ нимфы въ картинѣ Весны,—последнее, чего коснулась кисть Макарта, послѣдняя вспышка демонической страсти къ краскамъ, которою Макартъ былъ одержимъ.

Макартъ былъ именно одержимъ демономъ красокъ. Во всемъ его творчествѣ есть нѣчто безсознательное. Про него можно сказать вѣдомзвѣтная слова Лессинга: „если бы Макартъ родился безъ мозга, онъ бы все таки сдѣлался великимъ художникомъ“. Можно подумать, что давно схороненный въ Антверпенѣ великій художникъ почувствовалъ новый позывъ къ творчеству и вселенлся въ большую голову маленькаго зальцбургскаго уроженца; но послѣдній оказался не особенно удачнымъ преемникомъ и неумѣло выполнилъ намѣренія великаго, возродившагося въ немъ предка. Любопытна судьба этого бѣднаго сына камерлака. Счастье осыпало его всѣмъ дарами, какіе только могутъ выпасть на долю сына нашего вѣка, но среди блеска вѣнской жизни Макартъ былъ столь же простъ и наивенъ, какъ въ Мюнхенѣ, когда, получивъ свои первые 100 гульденовъ, ѣздилъ въ академію, которая была въ двухъ шагахъ отъ него, въ коляскѣ. Нужно понимать его такимъ, какимъ онъ былъ въ дѣйствительности, т. е. совершенно непосредственнымъ сыномъ природы. Въ его картинахъ преобладаетъ декоративность, но зато онъ гениальный декораторъ, импровизировавшій съ завидной легкостью; онъ играя расточалъ то, что другіе мучительно вытязгивали изъ себя. Заслуга его въ томъ, что забытое со времени венеціанцевъ и Рубенса увлеченіе красками снова было провозглашено имъ въ Германіи съ поразительной силой. Онъ не подвинулъ своимъ творчествомъ развитія живописи. Все, что онъ давалъ, уже существовало раньше. Но все таки его значеніе для нѣмецкой живописи XIX вѣка велико; въ его лицѣ слѣпота къ краскамъ смѣнилась упоеніемъ ими, послѣ картоннаго стиля наступила страсть къ живописи.

Габріель Максъ (Gabriel Max) кажется рядомъ съ простодушнымъ Макартомъ измученнымъ, нездоровымъ, разсудочнымъ талантомъ. Въ творествѣ Макарта лежитъ стихійная логическая необходимость, у Макса же преобладаетъ разсудочность. Родина Макарта—Венеція. Максъ же по воспитанію и по склонностямъ—ученикъ Пилоти, любившій изображать разные несчастные случаи; по рожденію онъ чехъ. Эти элементы своеобразно сочетаются въ его творествѣ. Когда выставлены были его первыя картины, онъ казался утонченной музыкой послѣ барабаннаго боя Пилоти. Въ „Мученицѣ на крестѣ“, выставленной весной 1867 года въ Мюнхенѣ, впервые прозвучала полумучительная, получарующая нота, которая съ тѣхъ поръ отличаетъ всѣ его картины. На картинѣ представленъ разсвѣтъ; мягкій сѣрый свѣтъ



Максъ: Мученица.

кротко освѣщаетъ пустынную римскую Кампанью; въ полѣ крестъ, и на немъ уже переставшая страдать мученица. Молодой римлянинъ, возвращающійся съ пира, потрясенъ выраженіемъ небеснаго спокойствія на лицѣ несчастной дѣвушки, онъ кладетъ къ подножію креста вѣнокъ изъ розъ, и самъ обращается въ вѣру, за которую та умерла. Таинственное могильное настроеніе сюжета усиливается еще отъ призрачной блѣдности колорита. Вся фигура дѣвушки написана въ блѣлыхъ тонахъ и только черный локонъ, смѣло разрѣзающій близну лба, является въ общей гармоніи рѣзкимъ диссонансомъ, какъ бы крикомъ; онъ кажется случайнымъ, но на самомъ дѣлѣ вполне обдуманъ. Трогательный и внушающій ужасъ видъ мученицы возбуждалъ въ посѣтителяхъ выставки сладостный трепетъ. Въ картинѣ Макса привлекало уже то, что онъ отступалъ отъ общепринятаго изображенія несчастныхъ случаевъ изъ исторіи: герой замѣненъ у него нѣжной дѣвушкой, созданной для любви, а не для креста. Интересъ возбуждался и неопредѣленностью фигуры молодого римлянина. Нельзя было съ точностью сказать, смотритъ-ли онъ на прекрасную женщину съ оскверняющей чувственностью, или съ экстазомъ и самозабвеніемъ неофита. Такой же восторгъ, полный ужаса, возбуждали и позднѣйшія картины Макса. Почти каждая изъ нихъ изображала сцену мученичества и всегда героемъ ихъ или безпомощная женщина, или жалкое дитя. Историческая живопись породила любовь къ трагическимъ сюжетамъ, — Максъ направилъ ее на самое чистое, нѣжное, цѣломудренное и обаятельное. Типъ его героинь



Максъ; Невѣста Льва.

всегда одинъ и тотъ же—славянскій носъ, одинъ глазъ нѣсколько больше, другаго что придаетъ лицамъ выраженіе не то просвѣтленности, не то истерическаго экстаза, чему соответствуютъ внѣшніе эффекты; мертвенная блѣдность лицъ, складки бѣлой ткани, черныя вуали, свѣтло-сѣрый фонъ. Изъ всего этого Максъ создаетъ изысканные аккорды.

Гретхенъ Гете—первая изъ его героинь. На одной картинѣ она поднимаетъ застывшій въ ужасѣ взоръ къ лику Мадонны; на другой она сидитъ въ тюрьмѣ, на безумномъ лицѣ блуждаетъ странная улыбка, Гретхенъ въ забытіи проводитъ рукой по волосамъ Фауста. Или она блуждаетъ какъ призракъ въ Вальпургіеву ночь въ длинномъ саванѣ съ полосой крови на шеѣ. Эта картина, выставленная при электрическомъ освѣщеніи, очень эффектна. Максъ вложилъ въ сосредоточенный мертвый взглядъ широко раскрытыхъ сѣрыхъ глазъ наводящій ужасъ демонизмъ. Ему это удалось лучше чѣмъ всѣмъ прежнимъ иллюстраторамъ Фауста. Гретхенъ сопровождаетъ мрачный спутникъ—воронъ, схватившій потерянное ею колечко.

Максъ обнаружилъ большое умѣніе выискивать подобнаго рода сюжеты. Бюргеровская баллада „Дочь священника изъ Таубенгейма“ послужила ему сюжетомъ для его дѣтубійцы: молодая дѣвушка стоитъ у пустыннаго берега пруда, обросшаго камышами; она прокалываетъ иглой сердце своего ребенка и въ приливѣ материнской любви цѣлуетъ въ послѣдній разъ застывшее тѣло младенца, прежде чѣмъ бросить его въ прудъ. Мрачное настроеніе ландшафта сливается съ сюжетомъ и блѣдное тѣло младенца образуетъ на темно-зеленомъ фонѣ камышей эффектное свѣтлое пятно. „Невѣста льва“—иллюстрація къ балладѣ Шамиссо о ревнивомъ львѣ; онъ умертвилъ свою владычицу передъ свадьбой, потому что не хотѣлъ, чтобы она кому нибудь досталась. Онъ величественно лежитъ подлѣ ея трупa: одна лапа положена на плечо убитой, другая на ея ногу. На каменномъ полу кровавыя пятна. Но гораздо чаще чѣмъ кровь, Максъ изображалъ разлагающіяся тѣла, истинную *nature morte*.

Мертвое человеческое тѣло въ моментъ только что наступившаго разложенія болѣе подходило своими красочными оттѣнками къ блѣднымъ тонамъ художника, чѣмъ рѣзкость и грубость только что пролитой крови. Къ подобнымъ картинамъ принадлежить его „Агасферъ у трупа младенца“ и „Профессоръ у анатомическаго стола“: онъ задумчиво разглядываетъ полуприкрытое бѣлой простыней тѣло молодой самоубійцы. Въ картинѣ „Воскрешеніе дочери Іаира“, видъ разлагающагося тѣла производитъ особенно сильное впечатлѣніе благодаря одной эффектной подробности: на обнаженной рукѣ дѣвушки сидитъ муха—какъ напоминаніе о наступившемъ безчувствіи трупа.

Тайны смерти всегда производятъ неотразимое впечатлѣніе на нервы, но мучительно сладостное чувство жалости будить также видъ женщины съ разбитыми сердцами и погибшими надеждами. Главныя произведенія этой группы картинъ Макса—„Марія Магдалина“ и „Орлеанская дѣва“. На картинѣ „Свѣтъ“ молодая слѣпая, христіанка, подаетъ свѣтильникъ входящему въ катакомбы, христіанину. Слепая—источникъ свѣта. Уже въ юности Максъ съ жестокой ироніей изобразилъ кварталъ слѣпыхъ, исполняющихъ пѣсню Гейне „У тебя самые прекрасные глаза“. Въ духѣ Делароша написана его другая молодая мученица. Она стоитъ среди кровожадныхъ звѣрей въ римскомъ циркѣ и глядитъ на ряды зрителей; молодой римлянинъ бросаетъ ей на арену розу—послѣдній привѣтъ! Черезъ минуту она будетъ лежать на землѣ, растерзанная дикими звѣрями.

Этого рода картины волнуютъ тѣмъ, что заставляютъ предугадывать страшное. Въ другой группѣ картинъ Максъ достигаетъ еще болѣе демоничнаго обаянія загробными видѣніями. Онъ рано ознакомился съ Шопенгауеромъ, съ ученіемъ Будды и индійскихъ факировъ. Это было время общаго увлеченія спиритизмомъ и мистицизмомъ подъ вліяніемъ книгъ Карла Дю-Преля. Юстиній Кериеръ и ясновидящая изъ Преворста привлекали къ себѣ общее вниманіе. Максъ внесъ гипнотизмъ и спиритизмъ въ живопись. Особенное впечатлѣніе производила его картина „Привѣтствіе призрака“: молодая дѣвушка сидитъ у рояля, но перестала играть—плеча ея коснулась матеріализованная рука приз-



Максъ: Астарта.

рака—она тянется къ ней изъ нѣжнаго туманнаго облака. На лицѣ дѣвушки сочетаются испугъ, радость, благоговѣніе и экстазъ. Максъ изучалъ загнипнотизированныя лица и достигъ необычайной выразительности въ передачахъ ихъ. Еще одна злоба дня того времени—вопросъ о вивисекціи—затронута Максомъ въ другой картинѣ. На ней изображенъ ученый изслѣдователь. Аллегорическая женская фигура, духъ состраданія, отнимаетъ отъ него собачку, предназначенную для вивисекціи и доказываетъ съ вѣсами въ рукахъ, что сердце чловѣка больше вѣситъ чѣмъ его умъ.

Максъ былъ менѣе всего наивнымъ художникомъ. Напротивъ того, въ его приемы разсчитаны на нервы зрителей; онъ придавалъ иногда своимъ картинамъ интересъ свѣжей газеты. Онъ хотѣлъ дѣйствовать не на фантазію, а на чувства, хотѣлъ, чтобы сердце зрителя судорожно сжималось отъ его картинъ. Впечатлѣніе создавалось главнымъ образомъ сюжетами картинъ; гораздо художественнѣе, конечно, тѣ немногія изъ его картинъ, въ которыхъ онъ отказывался отъ демонизма и мистицизма и былъ только художникомъ. Такова его, написанная въ 1886 году прекрасная Мадонна на алтарѣ. Это тонкая иллюстрація къ стихамъ Гейне „Wallfahrth nach Kevlaar“.

Картины, гдѣ настроеніе выражено главнымъ образомъ въ пейзажѣ, создаютъ Максу высокое положеніе среди художниковъ его времени. Таковы: „Монахиня въ саду“, „Адажіо“, „Весенняя сказка“ и „Осенній хороводъ“. Въ нихъ онъ нѣжный поэтъ, передающій свои настроенія чисто художественными средствами. Его любовь къ природѣ полна мягкой грусти и утонченной граціи; только у англійскихъ художниковъ, Фредерика Уокера, Георга Мазона и Георга Г. Боутона, можно встрѣтить нѣчто подобное. Природа поетъ гимны, въ душѣ художника и въ создаваемыхъ имъ образахъ звуки замираютъ тихими переливами. Въ обаятельной картинѣ „Адажіо“ основную ноту составляетъ нѣжный пейзажъ. Тонкія деревца поднимаютъ свои стройныя верхушки къ свѣтло-голубому небу, слегка задернутому легкими облачками. Ранняя весна. Вѣтки еще оголены, и лишь кое-гдѣ начинаютъ распускаться почки. Среди этой мягкой, нѣжной умбрійской природы, которая трепетно и нерѣшительно распускается послѣ долгаго зимняго сна, сидитъ мальчикъ и рядомъ съ нимъ молодая мать, сама еще почти ребенокъ. Оба они задумались и глядятъ отсутствующимъ взоромъ въ даль. Они подпали чарамъ природы и грустное „Подожди немого“ звучитъ въ ихъ душѣ. Въ „Весенней сказкѣ“ представленъ блаженно-веселый весенній пейзажъ, соловьи поютъ; солнечныя лучи шаловливо ласкаютъ цвѣтущіе розовые кусты. Все смѣется и ликуетъ, благоухаетъ и свѣтится въ сіяніи весенняго солнца, капли росы искрятся на лугахъ, жужжать комары, шелестятъ листья. Она думаетъ о немъ. Первая любовная мечта охватываетъ блаженнымъ трепетаніемъ ея грудь. Въ сердцѣ ея, какъ и во всей природѣ—весна. Но гораздо чаще въ пейзажахъ Макса слышится нѣжная страдальческая нота, проникающая все его творчество. Душѣ его дороги сумерки, осень, блѣдное небо и мертвые листья. Тонкія полусохшія деревца, въ листьяхъ которыхъ играетъ вѣтеръ, растутъ на скудной неровной почвѣ. Пейзажъ проникнутъ грустнымъ настроеніемъ. Въ немъ нѣтъ громкаго провозглашенія своей красоты; напротивъ того онъ создаетъ настроеніе грусти своей блѣдностью. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не говоритъ объ одиноществѣ или буряхъ. Это мирный пріютъ тихихъ, покорныхъ судьбъ, людей. Они не относятся къ какому нибудь опредѣленному времени. Одежды ихъ не современны, но и не взяты изъ какой нибудь прежней эпохи. Они не дѣйствуютъ и ни о чемъ не разсказываютъ, а задумчиво мечтаютъ и глядятъ серьезнымъ взоромъ въ даль. Максъ освободилъ ихъ отъ всего будничнаго и матеріальнаго, и

отъ нихъ осталась какъ бы только тѣнь, душа, звучащая тонкими, умиротворяющими, невнятными аккордами. „Осенній хороводъ“—неземная картина, полная неопредѣлимаго обаянія. Танцуютъ дѣти и женщины, но кажется, что это религиозные мечтатели; мировая скорбь и мистическая тоска свела ихъ въ этомъ таинственномъ уединенномъ уголкѣ земли. Блѣдный прозрачный воздухъ, нѣжная окраска одеждъ, тонкихъ, какъ увядающіе цвѣты, прозрачный воздушный колоритъ фнгури, будить веселье и въ тоже время задумчивость, счастье и грусть. „Монахиня въ саду“—одинъ изъ самыхъ нѣжныхъ пейзажей Макса. Въ монастырскомъ саду, не смотря на зарождающуюся весну, чувствуется безотрадная пустота. На едва пробивающейся травѣ сидитъ молодая мона-



Макс; Сеть.

хиня и грустно слѣдить за веселой игрой двухъ бабочекъ, которая кружатся у ея ногъ. Молодая нѣжная фигура одѣта въ черное платье, и бѣлая косынка на груди рѣзко выдѣляется на немъ. Монахиня прислонилась къ чахламу деревцу, которое безпомощно гнется, прикрѣпленное желѣзными обручами къ вбитому колу. Обветшала стѣна тянется въ безнадежно однообразной сѣрости. Старые солнечные часы безопадно указываютъ лѣнливо тянущееся время, а надъ стѣной, по которой тянутся вверхъ мерзнушія скудныя вѣтви растений, висится темно синее весенне небо и ликуя поднимаются вверхъ два жаворонка. И въ такихъ картинахъ Максъ тоже обнаружилъ болѣзненное тяготѣніе къ мистической кротости. Онъ придаетъ дѣйствительности утонченность сновидѣній и его страдальческая нѣжность нравится лишь изысканному вкусу. Его творчество лишено силы и здоровья, но избытокъ нервной чувствительности и болѣзненность составляютъ какъ разъ тѣ качества, которыя приближаютъ его къ усталымъ настроеніямъ конца вѣка. Въ своихъ раннихъ произведеніяхъ онъ не ученикъ Пилоти, а нашъ современникъ. Его безкровныя краски звучатъ какъ пѣснь, сыгранная на высокнхъ, нѣжно вибрирующихъ струнахъ; въ нихъ есть сладость и боль. Сочетая въ своемъ творчествѣ утонченность и простоту, сердечность и извращенность, онъ вноситъ музыку въ живопись, рисуетъ легкіе сны. Тонъ его современниковъ—fortissimo; они старались дѣйствовать на всѣ чувства сразу своимъ ошеломляющимъ пафосомъ, Максъ же вмѣстѣ съ Фейербахомъ впервые предпочли dolce, adagio, mezza-voce; вмѣсто сильныхъ ощущеній онъ искалъ нѣжныхъ, утонченныхъ эмоцій. Эти картины, въ которыхъ Максъ



Максъ: Привѣтъ призрака.

стремился быть какъ можно болѣе изысканно тихимъ, дѣлають его предшественникомъ новѣйшаго ученія въ искусствѣ; онѣ даютъ Максу гораздо больше права на память потомства, чѣмъ большія полотна на историко-литературные сюжеты. Нѣжные черно-зелено-бѣлые тона отличаются при всей своей простотѣ единственностью въ нѣмецкой живописи XIX вѣка благородствомъ колорита; имъ также какъ музыкальностью своего таланта Максъ гораздо болѣе обязанъ славянской крови, чѣмъ мюнхенскому воспитанію. Въ большинствѣ случаевъ лица на его картинахъ отличаются однообразной пустотой выраженія, но въ пейзажныхъ картинахъ онъ чутко передаетъ душевныя настроенія, улавливаетъ съ необычайной утонченностью самыя мимолетныя оттѣнки грусти, тихой покорности, тоски и безнадёжности. Только у англійскихъ неопрерафазлитовъ можно увидѣть такіе же грустно глядящіе глаза, такія же губы, какъ бы сдерживающія рыданія. Вѣроятно была въ его жизни божественная минута, когда онъ въ первый разъ отразилъ на прекрасныхъ чертахъ святое страданіе, обаятельную мечтательность, глубокое благочестіе и самоотверженный экстазъ. Позже, видя какъ безконечно нравилось это выраженіе, онъ часто воспроизводилъ его безъ внутренняго чувства, часто стереотипными средствами: это слабость воли, свойственная очень многимъ.

Габриэль Максъ — художникъ съ очень опредѣленной индивидуальностью, хотя и не первостепенный; но и это можно сказать лишь про немногихъ художниковъ XIX вѣка. Онъ слишкомъ часто подчеркивалъ эффекты, слишкомъ нагромождалъ ихъ и льстилъ скорѣе грубому, чѣмъ тонкому вкусу. Но передъ своими современниками онъ имѣетъ несомнѣнно одно неоцѣнимое преимущество. Все, что въ тѣхъ было хорошаго — не было новымъ, у него-же все ново, хотя и не всегда хорошо. Его творчество не имѣетъ предшественниковъ — это чисто индивидуальное искусство, то, чего до Макса не было, въ чемъ онъ едва-ли былъ превзойденъ и позже. Онъ открылъ для искусства новую область загадочнаго и призрачнаго; самъ онъ вступилъ на этотъ путь, будучи по природѣ философъ и мечтателемъ, увлекаемый чарами всего таинственнаго. Мастерская его похожа на часовню, гдѣ происходитъ таинственное служеніе мертвому Богу, или на кабинетъ анатома, а никакъ не на мастерскую художника. Изученіе мертвыхъ птицъ столько-же занимало его со времени пребыванія въ Прагѣ, какъ изученіе душевной жизни. Онъ жилъ тогда вмѣстѣ со своими родителями въ старомъ домѣ, гдѣ водились привидѣнія, проводилъ много времени въ картинной галлерей Страговскаго монастыря. Тогда уже, въ тихія ночи и въ таинственныхъ картинныхъ галлерейхъ, зародилось въ немъ мрачное настроеніе проникающее все его творчество. Въ дѣтствѣ, когда умеръ его отецъ, у него было первое видѣніе. Самое раннее его произведеніе, законченное еще въ пражской академіи и проданное тамъ-же за 90 гульденовъ, уже совершенно въ духѣ его позднѣйшихъ картинъ: Ричардъ — Львиное Сердце подходитъ къ трупу своего отца и видитъ, что изъ него сочится кровь. Максъ былъ уже внутреннею вполне сложившимся художникомъ, когда въ 1863 году, отправился въ Мюнхенъ и сталъ ученикомъ Пилоти. Вооружившись техникой послѣдняго, онъ сумѣлъ внести большую утонченность въ традиціонное изображеніе несчастныхъ случаевъ. Если при этомъ онъ часто и оказывалъ наѣвленное давленіе на нервы



Максъ: Мадонна.

зрителей, то все-таки умѣлъ прикрывать это обаятельной красотой и совершенствомъ техники. Его хорошія картины ранней эпохи приковываютъ самаго разочарованнаго зрителя своей изысканностью. Немногіе художники нашего вѣка достигали выраженія такой просвѣтленности и таинственности какъ Максъ въ своихъ изнѣженныхъ, очаровательныхъ женскихъ головкахъ. Въ его колоритѣ видна большая обособленность. Въ его рукахъ краски становятся послушнымъ, гибкимъ орудіемъ, которымъ онъ воплощаетъ свои видѣнія. Множество его произведеній расчитаны на большой рыночный сбытъ и онъ не брезгалъ писаніемъ такихъ фокусныхъ картинъ, какъ Христосъ съ опущенными вѣками, но вмѣстѣ съ тѣмъ, если осмотрѣть издали, то глаза кажутся широко раскрытыми. Несмотря на всѣ свои грѣхи, Максъ всегда оставался истиннымъ художникомъ, былъ однимъ изъ немногихъ, осмѣлившихся 30 лѣтъ назадъ выказать новизну своихъ стремленій. На горизонтѣ нѣмецкаго и даже всего европейскаго искусства онъ блистаетъ собственнымъ, незамѣшаннымъ свѣтомъ и является величиной, несоразмѣрной ни съ какой другой. Въ этомъ его большое значеніе для исторіи искусства.

Зато всѣ другіе художники, слѣдовавшіе по слѣдамъ Пилотн, такъ и остались на традиционныхъ изображеніяхъ несчастныхъ случаевъ и не имѣютъ поэтому почти никакого значенія. Не только въ Мюнхенѣ, но и во всей Германіи историческая школа живописи захватила цѣлое десятилѣтіе изъ второй половины столѣтія. Здѣсь, какъ и въ другихъ странахъ, историческая живопись была создана неудовлетвореннымъ національнымъ чувствомъ. Въ то время Германія была только географическимъ представленіемъ и мечтала о лучшей будущности на различныхъ празднествахъ, устраиваемыхъ пѣвческими обществами, союзами стрѣлковъ, гимнастовъ. Чѣмъ бѣднѣ складывалась активная дѣятельность общества, тѣмъ болѣе развивалась потребность читать о подвигахъ въ книгахъ или созерцать ихъ на картинахъ. Историческая живопись оказалась въ то время важную политическую услугу — также какъ историческая драма, историческая баллада, историческій романъ и всѣ другія средства выразить глубокую тоску политически отставшей націи, мечтающей о дѣятельности, о подвигахъ и славѣ.

Художественные итоги этой эпохи въ Германіи были такъ же незначительны, какъ и въ другихъ странахъ.

Ученые теоретически доказывали въ 30-тыхъ годахъ, что вмѣстѣ съ разрушеніемъ религіознаго чувства наукой, сама собою уничтожается и традиционная религіозная живопись; мѣсто-же ея должна занять историческая живопись. Но при этомъ они упустили изъ виду, что пока культъ генія, о которомъ такъ много говорили, не будетъ существовать въ дѣйствительности, до тѣхъ поръ исторической живописи придется бороться съ непреодолимыми препятствіями. Содержаніе искусства должно непремѣнно быть вполне яснымъ и живымъ для сознанія; нужно было-бы поэтому по крайней мѣрѣ опредѣлить область исторической живописи, направить ее на ближайшія, всѣмъ извѣстныя событія. Въ дѣйствительности-же произошло совершенно противоположное.

Деларошъ снялъ, такъ сказать, сливки съ историческихъ сюжетовъ, позднѣйшимъ художникамъ пришлось выбирать изъ огромнаго мартиролога исторіи лишь менѣе извѣстные второстепенные эпизоды. Кромѣ того Пилоти исчерпалъ главнѣйшіе моменты исторіи. Изъ древней исторіи онъ взялъ смерть Александра Великаго, смерть Цезаря, Нерона при пожарѣ Рима и триумфальное шествіе Германика; изъ исторіи среднихъ вѣковъ — Галилея, изучающаго въ тюрьмѣ круговое движеніе солнечнаго луча, Колумба, видящаго вдали материкъ. Изъ исторіи тридцатилѣтней войны — основаніе католической лиги герцогомъ Максимиліаномъ Баварскимъ, Сени передъ тѣломъ убитаго Валленштейна, утро передъ

битвой у Бѣлой Горы, Сеин, въ присутствіи котораго уносятся трупъ Валленштейна, поѣздка Валленштейна въ Эгеръ, вѣсти о битвѣ при Бѣлой Горѣ; изъ англійской исторіи — смертный приговоръ Маріи Стюартъ; изъ французской — шествіе жирондистовъ на эшафотъ.

Всѣ эти картины имѣли большой успѣхъ. Въ слѣдующіе года наступила очередь болѣе безсодержательныхъ сюжетовъ. Гёте говорилъ, что исторія самый неблагоприятный и опасный путь для искусства; но вдругъ оказалось, что это единственный путь къ славѣ. Художники рады были спастись отъ полнтической разорванности настоящаго, возвратомъ къ далекому прошлому; они съ такимъ воодушевленіемъ вступили на новое поприще, что черезъ нѣсколько десятилѣтій оказалось ужасающее число историческихъ картинъ, иллюстрирующихъ каждую страницу всемірной исторіи Шлоссера.



Максъ, *Adagio*.

Максъ Адамо (Max Adamo) изобразилъ нидерландскихъ аристократовъ передъ кровавымъ судомъ Альбы, падение Робеспьера въ національномъ конвентѣ, послѣднюю бесѣду Вильгельма Оранскаго съ Эгмонтомъ, встрѣчу Карла I съ Кромвелемъ при Чильдерлетѣ, распаденіе долгаго парламента, Карла I привѣтствующаго своихъ дѣтей въ Меденгэдѣ. *Юліусъ Бенчуръ* (Julius Benczur) написалъ прощаніе Владислава Гуніяна и крещеніе Вайка, въ послѣдствіи короля Стефана Святого Венгерскаго; *Йосифъ Флюгенъ* (Josef Flüggen) — бѣгство ландграфини Елизаветы, Милтона, диктующаго „Потерянный Рай“, прощаніе ландграфини Маргариты съ ея дѣтьми. *Карлъ Густавъ Гельквистъ* (Karl Gustav Hellquist) написалъ смерть раненаго Стена Стюра послѣ битвы при Богензундѣ, переносъ тѣла Густава Адольфа и шествіе Гусса на костеръ. На картинахъ *Эрнеста Гилдебранда* (Ernst Hildebrand) Елизавета Бранденбургская принимаетъ тайно причастіе въ обонхъ вндахъ и Тулія переѣзжаетъ черезъ трупъ своего отца. На картинѣ *Франка Кирхбаха* (Frank Kirchbach) изображенъ воинъ герцога Христофа. *Людвигъ фонъ Лангенмантель* (Ludwig von Langenmantel) написалъ арестъ французскаго хмника Лавуазье во время террора и проповѣдь Савонароллы противъ роскоши флорентинцевъ; *Эмануэль Лейтце* (Emanuel Leitze) — Колумба передъ Саламанкскимъ городскимъ совѣтомъ, прощаніе Раллея, посѣщеніе Милтона Кромвелемъ, битву при Монмутѣ и послѣдній балъ Карла I; *Александръ Лиценмейеръ* (Alexander Liezenmayer) — коронованіе Карла Дураццо въ Штулвейссенбургѣ, кано-

низацию ландграфини Елизаветы Тюрингенской; *Вильгельм Линденшмитц* (Wilhelm Lindenschmit) герцога Альбу у графини Рудольфштадской, Франциска I при Павии, смерть Франца фонъ Сикингена, Нокса и шотландскихъ иконокластовъ, убійство Вильгельма Оранскаго, посѣщеніе Вальтера Раллея въ тюрьмѣ его семей, Лютера передъ кардиналомъ Кайетаномъ, Аину Болейнъ, передающую свою дочь Елизавету подъ охрану Матвея Паркера, вступленіе Алариха въ Римъ; *Александръ Вагнеръ* (Alexander Wagner)—отъѣздъ Изабеллы Заполни изъ Зибенбюргена, вступленіе Густава Адольфа въ Ашафенбургъ, бракосочетаніе Оттона Баварскаго, смерть Тита Дуговича, Матвѣя Корвина съ охотниками и такъ далѣе.

Возможно-ли вообще создавать художественныя произведенія изъ такихъ сюжетовъ? Быть можетъ—да. Для истиннаго художника все возможно; все чего онъ коснется, становится золотомъ. У него рука Мидаса. Но несомнѣнно также, что историческая живопись, превратившись въ ремесло, почти никогда не выходила изъ границъ театральнаго пафоса, портяжнаго мастерства и сверканія тканей. Какъ и многое другое, созданное XIX вѣкомъ, она была ошибкой въ художественномъ отношеніи и множество художниковъ поплатилось за эту ошибку своей испорченной жизнью. Въ искусствѣ прежнихъ эпохъ не знали возсозданія прошлаго. Художники черпали историческіе сюжеты изъ событій своего времени, рѣдко обращаясь къ давно минувшему прошлому. Но и въ послѣднемъ случаѣ они руководствовались только непосредственными впечатлѣніями; даже давно прошедшія событія изображались въ духъ своего времени. Иудеи, греки и римляне на старыхъ картинахъ одѣты какъ современники художниковъ и живутъ какъ они. Научный духъ XIX вѣка впервые потребовалъ исторической точности. Въ костюмахъ и обстановкѣ ее можно было достигнуть при помощи гравюръ и альбомовъ. При очень большой добросовѣстности художникъ могъ даже доставать изъ музеевъ настоящіе костюмы Валленштейна и Эгмонта. Но тѣмъ труднѣе было возсоздавать въ искусствѣ людей, которые чувствовали, любили и страдали въ прошломъ. Чтобы достигнуть этого, художникамъ приходилось костюмировать профессиональных натурщиковъ Валленштейнами и Эгмонтами при помощи париковъ и приставныхъ бородъ, пользоваться старыми портретами, рисунками и бюстами. Вполнѣ реальное изображеніе костюмированныхъ натурщиковъ создало бы однако слишкомъ рѣзкій контрастъ между пышной старинной одеждой и одѣтымъ въ нее пролетаріемъ. Есть, конечно, много общаго между людьми нашего времени и людьми прошлыхъ вѣковъ, но все-таки каждая эпоха имѣетъ свои типы, даже свой характеръ движеній и одними костюмами этого нельзя возсоздать. Даже, имѣя въ виду только общечеловѣческіе типы, несомнѣнно, что государственныи чловѣкъ любой эпохи, не похожъ на профессиональнаго натурщика. Одѣтый бѣдно, но въ подходящую для него одежду, въ которой онъ можетъ естественно двигаться, натурщикъ являлся въ мастерскую; тамъ онъ на нѣсколько часовъ переодѣвался въ атласъ и бархатъ, чувствуя себя при этомъ какъ въ маскарадѣ. Откуда было ему взять непринужденность рыцарскихъ движеній, чтобы вѣрно сыграть свою роль? Этимъ путемъ невозможно было воскресить естественность и полиоту жизни стариннаго искусства. Въ „Вестфальскомъ мирѣ“ Терборга все просто, вѣрно и естественно,—у новыхъ художниковъ царствуетъ парикъ и приставная борода. Если же художникъ предпочиталъ быть не театральнымъ портимымъ, а историкомъ культуры, то впадалъ въ археологическую сухость. Ему приходилось ограничиваться указаніями великихъ мастеровъ изображаемой эпохи, т. е. увеличивать и раскрашивать старые бюсты и гравюры. Это было уже искусство изъ вторыхъ рукъ. Оставалось та-

кнмъ образомъ только одно: придавать натурщикамъ, обще-человѣческой характеръ, т. е., сглаживая всякую индивидуальность, изображать благородство и геройство общаго типа. Такъ создалось странное сходство всѣхъ лицъ; оно еще увеличивалось, благодаря общему тяготѣнію къ однообразному типу красоты, унаслѣдованному отъ классической эпохи. Разнообразіе человѣческихъ лицъ слилось въ одну общую маску для всѣхъ типовъ, создаваемыхъ жизнью. Художники боялись уродства какъ пятна, и всѣ лица на картинахъ отмѣчены бездушной красотой. Различные Эгмонты, Валленштейны и Карлы I Галлэ и Бьева, Делароша и Пилоти не носятъ отпечатка своей судьбы на лицѣ, въ нихъ нѣтъ крови, всѣ они похожи другъ на друга байроновскими поворотами головы. Можно перечестъ изуизустъ всѣ такъ называемыя типичныя головы: Лютеръ, поднимающій полный вѣры, взоръ, къ небу Колумбъ, завидѣвшій Америку, Мильтонъ, думающій о всемъ томъ, о чемъ полагается думать умирающему въ послѣднюю минуту. Все это также повторялось на картинахъ какъ раскрытые фоліанты, опрокинутыя кресла, ковры, живописно прикрывающіе трупы убитыхъ и окованный мѣдью блестящій ларецъ, неизбѣжный желѣзный аксессуаръ почти всѣхъ историческихъ картинъ во Франціи, Бельгіи и Германіи.

Внутренняя, Шекспировская правда характеровъ, свойственная стариннымъ художникамъ, смѣнилась внѣшней правдой костюмовъ; мѣсто художника занялъ историческій бутафоръ,—высшую цѣль искусства стали видѣть въ томъ, чтобы облекать историческіе моменты въ соответствующіе костюмы и обстановку. Въ произведеніяхъ старыхъ мастеровъ историческія фигуры производятъ впечатлѣніе живыхъ, несмотря на недостатокъ *couleur locale*; у новыхъ же художниковъ костюмы очень вѣрны, но самыя фигуры лишены правды и жизни. „Пусть будутъ хороши складки платья, но то, что въ нихъ заключено, должно быть еще лучше“.

Одежды не создаютъ людей и костюмы не передаютъ страстей. Поэтому трудности увеличивались, когда иужно было изображать драматическія положенія и подъемы страсти. Нужно подняться на ту высоту художественнаго творчества, когда модели становятся лишними — вдохновенный грандіозный и бурный Делакруа достигъ этого—тогда только можно оставаться правдивымъ и въ подобныхъ сценахъ и вкладывать въ нихъ со всепокоряющей убѣдительностью всю гамму страстей. Но художники, избравшіе себѣ ремесломъ историческую живопись, заставляли натурщиковъ принимать условное выраженіе лица и съ напряженіемъ переносили эти искусственные гримасы на полотно. Такимъ образомъ создавался окаменѣлый театральныи экстазъ лицъ, нхъ показное благородное возмущеніе и безпокойныя жесты. Актеры всегда больше подчеркиваютъ свои слова жестами, чѣмъ это бываетъ въ жизни, и на картинахъ искусственный паеосъ лицъ непременно сопровождается соответственными движеніями рукъ. Такими бывають финалы на сценѣ: танцовщицы прикладываютъ съ глубокимъ чувствомъ рукъ къ сердцу, теноръ поетъ о томъ, что готовъ умереть, тираны вторятъ глубокимъ басомъ, оркестръ безумствуетъ и послѣдній оглушительный аккордъ раздается въ ту минуту, когда герой попираетъ ногой трупъ предателя; бенгальскій огонь озаряетъ сцену и занавѣсъ падаетъ. Эффектная картина, но увы, ничего больше. Всѣ чувства искусственныя, оперныя. Художники, писавшіе подобнаго рода картины, только ловкіе ремесленники, изготовители оперныхъ либретто и пестрыхъ декораций; они обладаютъ умѣніемъ и знаніемъ, но въ нхъ произведеніяхъ видна одна только разсудочность и нѣтъ сердца. Театральные аксессуары и натуршкки не могутъ замѣнить свободную творческую фантазію.

Нѣмецкія картины подобнаго рода кажутся еще болѣе неестественными

и театральными, чѣмъ французскія и по очень простой причинѣ: жесты, какъ внѣшнее выраженіе чувства, гораздо болѣе свойственны романскимъ, нежели германскимъ племенамъ и кажутся аффектаціей на всякой нѣмецкой картинѣ. Извѣстно, что Бисмаркъ—очень типичный представитель своей націи—даже въ самыхъ горячихъ своихъ рѣчахъ въ парламентѣ не дѣлалъ другого движенія, кромѣ нервнаго постукиванія карандашемъ. „У нѣмца является паеосъ только, когда онъ лжетъ“. Истинные мастера нѣмецкой крови отлично это понимали и честно въ этомъ сознавались. Характерная черта древне германскаго искусства—наивность, отсутствіе паеоса, даже у художника съ такимъ оригинальнымъ міросозерцаніемъ какъ Дюреръ. Въ „Тайной вечери“ Леонардо—ужасъ, возмущеніе, любопытство и скорбь выражены въ различныхъ движеніяхъ двѣнадцати головъ и двадцати четырехъ рукъ. На Дюреровской гравюрѣ апостолы застыли безъ движенія, потрясенные словами Спасителя. Имъ казалось бы святотатствомъ нарушить торжественную тишину громкимъ выраженіемъ мнѣній и порывистыми движеніями рукъ. То же самое въ картинахъ Рембрандта на этотъ сюжетъ—все сводится къ тихимъ, едва замѣтнымъ движеніямъ, къ намекамъ и молчаливому вниманію. Впечатлѣніе словъ Христа потрясающее и торжественное, черты лица Спасителя полны глубокой мысли, но въ его движеніяхъ нѣтъ порыва и экстаза, какъ въ изображеніяхъ романскихъ художниковъ. Только въ XIX вѣкѣ, отчасти благодаря Корнеліусу и Каульбаху подражавшимъ итальянцамъ, отчасти подъ влияніемъ французовъ черезъ Пилоти и его школу, въ нѣмецкое искусство вкрался несвойственный германскому духу паеосъ; художники стали пользоваться оперными гримасами и жестами для выраженія душевныхъ волненій. Но нельзя безнаказанно идти противъ основныхъ чертъ своей природы. Преувеличенныя, искусственныя движенія, театральность показнаго благородства замѣнили естественную живость.

Меньше позъ и театральности, больше непринужденной правды и тишины, меньше вялой красоты общаго типа, больше характернаго и сильнаго уродства вотъ путь, на который должно было вступить искусство, чтобы не погрязнуть среди набора фразъ. Школа „историческаго жанра“ свершила этотъ переходъ.





Гимонъ: Моей сестры нить дома.

XVI.

Конецъ псевдо-идеализма.

ВСЛѢДЪ за выдающимися работами историковъ появились и въ литературѣ первые романы археологическаго и культурно-историческаго содержанія тогда же развилось, наряду съ историческою живописью во Франціи, Бельгіи и Германіи, особое направленіе въ искусствѣ. Художники стали изображать не выдающіеся историческіе моменты, а интимную сторону жизни минувшихъ вѣковъ. Прежде исторія выступала какъ бы въ парадномъ мундирѣ, а теперь она явилась одѣтой по домашнему. Художники исторической школы искали въ событіяхъ прошлаго только бурныхъ моментовъ и судорожныхъ движеній новые же художники стали изучать будничную жизнь прошлаго и рисовать теченіе исторіи въ мирные дни. Началось увлеченіе живописной стороной культурнаго прошлаго, благородствомъ бытовыхъ рамокъ, ласкающими глазъ костюмами. Художники изображали не только людей минувшихъ вѣковъ; они стали заполнять свои полотна гобеленами и тканями, мебелью въ благородномъ античномъ стилѣ и старыми картинами. Благодаря хорошему сбыту своихъ произведеній, художники имѣли возможность приобретать всѣ тѣ красивые предметы, которые изображали на картинахъ. Они размѣщали костюмированныхъ натурщиковъ на фонѣ старинныхъ стѣнныхъ ковровъ и разставляли между ними шкафы и столы. Наибольшее значеніе придавалось вѣрному воспроизведенію костюмовъ и обычаевъ, а не драматичности дѣйствія. Въ этомъ отношеніи исторически-бытовой жанръ является шагомъ впередъ, сравнительно съ прежней исторической школой, переходомъ къ интимному



Жеромъ: *Алкивиадъ у Аспазіи.*

изображенію жизни. Въ прежнихъ картинахъ преобладала отвлеченность замысла; художникъ читаль книгу и въ ней искалъ эффектныхъ сценъ. Онъ идеализировалъ модели, чтобы придать картинамъ характеръ высокого искусства. Живопись сводилась къ иллюстраціи идей. Задача новыхъ художниковъ заключалась въ полнотѣ изображенія какой стороны жизни. Даже если это былъ искусственно составленный уголокъ мастерской, все же въ этомъ было больше вѣрнаго пониманія искусства. Бытовая картина изъ древней жизни уже не была только столкновеніемъ противорѣчивыхъ силъ. Изображая историческихъ героевъ или безымянныхъ людей прошлаго среди ихъ обыденной жизни, художники приучали публику интересоваться и такими людьми, которые не дѣлаютъ театральныхъ жестовъ, а движутся также спокойно, какъ люди нашего времени. Драматизмъ замѣнился простотой и спокойствіемъ. При этомъ благодаря уменьшившимся размѣрамъ самый контрастъ между живымъ натурщикомъ и старинной одеждой, въ которую его одѣвали, становился менѣе чувствительнымъ. — Исчезла необходимость традиціонной идеализаціи; можно было переносить прямо на картину костюмированныхъ людей такими, какими они были въ дѣйствительности. Такъ совершился переходъ отъ исторической живописи первой половины вѣка къ болѣе интимному искусству второй половины. Оно уже не ищетъ спасенія въ прошломъ, а старается осуществить болѣе простой идеалъ въ дѣйствительности.

Прежде всего во Франціи выступили, рядомъ съ группой академиковъ, нѣсколько художниковъ, которые овершенно овладѣли античнымъ міромъ. вмѣсто большихъ парадныхъ зрѣлищъ, занимавшихъ Давида и Энгра они стали изображать простыя сцены изъ повседневной жизни прошедшихъ вѣковъ. Въ литературѣ въ это время выступаютъ Понсаръ и Ожье. Въ своихъ комедіяхъ, одинъ въ Гораціи и Лидіи, другой въ „La Ciguë“ и „Joueur de flûte“ ввели на сцену изображеніе античной жизни.

Шарль Глуръ (Charles Gleuyre) стоялъ еще ближе всѣхъ къ строгому академическому стилю Энгра: даже путешествіе на востокъ не освободило его

отъ вліянія классическихъ традицій. Онъ былъ однимъ изъ самыхъ видныхъ учителей живописи—и считалъ задачей своей жизни продолженіе традицій школы Энгра вплоть до настоящаго времени. Глэръ былъ хорошо образованнымъ человѣкомъ; онъ прожилъ долгіе годы въ Италіи, усердно изучалъ этрусскія вазы, греческія статуи, итальянскихъ классиковъ, сдѣлалъ копіи почти со всѣхъ картинъ Рафаэля. Вернувшись въ Парижъ, онъ не позволялъ себѣ провести ни одной линіи, не уяснивъ себѣ заранее какъ бы ее провелъ Рафаэль. Это стремленіе къ совершенству формы отняло у такихъ его произведеній какъ „Нимфа Эхо“, „Геркулесъ у ногъ Омфалы“ и др. почти всякую непосредственность, естественность и свѣжесть. Глэръ, подобно Ари Шефферу, сдѣлался жертвой стиля. Его „Вечеръ“ 1843 г. показы-



Генриъ Лейсъ.

ваетъ, что въ немъ жила нѣжная, мечтательная, созерцательная душа. Ощущенія, которыя онъ хотѣлъ передать, всегда его собственные. Чѣмъ воздушнѣе, романтичнѣе и туманнѣе онѣ были тѣмъ болѣе онѣ страдали отъ академически неподвижныхъ линій, въ которыя ихъ безпощадно заковывалъ художникъ. Только въ картинѣ „Орфей, разрываеваемый вакханками“ Глэръ достигъ нѣкотораго не греческаго изящества.

Въ концѣ пути, который велъ отъ строгости энгрскаго идеализма формы къ современному созерцанію, перенесенному въ древній міръ только ради живописныхъ костюмовъ, стоитъ *Луи Гамонъ* (Louis Hamon). Все привлекательное въ его картинахъ носить печать современности, классицизмъ только маскарадный костюмъ. Въ его творчествѣ нѣтъ ничего мужественнаго. Онъ лишаетъ природу силы, снимаетъ у живописи всѣ качества, свойственныя ей, превращаетъ ее въ расцвѣченную грезу, въ окрашенное дуновение. Творчество Гамона отличается неувѣренностью моделировки. Колоритъ его болѣзненно слабый, изнѣженный, фигуры и пейзажи расплываются въ дымкѣ. Въ нихъ нѣтъ ничего плотнаго. Камни сдѣланы какъ будто изъ ваты, растенія изъ мыла, люди изъ фарфора—малѣйшее дуновение вѣтерка подниметъ ихъ на воздухъ. И всетаки въ этихъ, какъ-бы конфектныхъ картинахъ, есть иногда своеобразная прелесть. Онѣ отличаются простотой, чистотой, чѣмъ то юношескимъ, свѣжимъ и дѣтски-наивнымъ. Колоритъ его болѣе свѣтлый и нѣжный чѣмъ колоритъ Глэра. Въ гармонію бѣлыхъ тоновъ вкрадываются только—свѣтло-голубой и свѣтло-желтый цвѣта. Строгій античный стиль смѣнялся у него изящнымъ рококо. Греческія дѣвушки, женщины и дѣти похожи на фигурки изъ севрскаго фарфора; сцены, въ которыхъ онѣ сгруппированы—фантастическія картины въ греческой обстановкѣ; въ нихъ есть манерная чувственность и кокетливая грація. Самая красивая изъ его картинъ, „Моя сестра нѣтъ дома“—уголокъ Греціи, показанный со сцены сквозь прозрачный газовый покровъ.

Послѣ Гамона другой художникъ *Леонъ Жеромъ* Léon Gérôme сталъ занимать сюжеты изъ античной жизни. Но будучи ученикомъ Делароша, онъ



Лейс; Торжество католицизма въ Нидерландахъ

бралъ изъ древности не мифологическіе, а историческіе эпизоды. Самыя характерныя его произведенія, на ряду съ египетскими картинами — „Бой пѣтуховъ“, „Фрина передъ ареопагомъ“, „Авгуры“, „Гладиаторы“, „Алкивиадъ у Аспазіи“, и „Смерть Цезаря“. Жеромъ тотъ же Энгръ и Деларошъ, только въ уменьшенномъ форматѣ. Съ Энгромъ его роднитъ научный педантизмъ композиціи, съ Деларошемъ — любовь къ анекдотичности. Видно, что картины Жерома написаны въ тѣ года, когда въ литературѣ выступилъ Эмиль Ожье, но Ожье былъ въ то же время бытописателемъ современной жизни, а поэтому и въ античныхъ его вещахъ больше силы и жизненности. Въ творчествѣ Жерома преобладаетъ разсудочность; его уравновѣшенная манера не идетъ далѣе детальнаго изученія формъ и академичности; рисунокъ очень точенъ, въ немъ есть даже реалистическая правда, побуждающая обобщенность классическаго идеала, но съ самаго начала Жеромъ не былъ истиннымъ живописцемъ. Его восточныя картины — жестко и сухо написанные пейзажи, изъ которыхъ выступаютъ еще суше написанные люди или звѣри — несчастныя, навсегда окаменѣлыя существа. Онъ рисуетъ, тщательно выписываетъ, работаетъ черточками на подобіе гравировъ, переписываетъ много разъ одно и то же тонокъ безсильной кистью. Онъ видитъ формы, но воздѣйствіе свѣта на тѣло отъ него ускользаетъ. Поэтому его картины кажутся какъ бы написанными на фарфорѣ. Краски жестки и мертвы. Наблюдательность имѣетъ у него характеръ подглядыванія: онъ съ безотрадной правильностью сводитъ все къ холоднымъ, безжизненнымъ очерчаніямъ. Та же мрачная холодность осталась въ немъ и позже, когда, слѣдуя развитію исторической живописи, онъ постепенно переходилъ къ сюжетамъ, требующимъ изображенія крови. Даже самыя рѣзкіе эффекты написаны условно граціозно; онъ съ улыбкой преподноситъ въ своихъ картинахъ á la maitre d'hôtel отрѣзанные головы на гладкихъ фарфоровыхъ блюдахъ съ позолотой.

Другимъ представителемъ археологическаго жанра является *Густавъ Бу-*

даже (Gustave Boulanger). Онъ долго и тщательно изучалъ Помпею и ввелъ въ моду бытовые картины изъ античной жизни, сцены изъ уличнаго быта Помпеи. Впослѣдствіи Альма Тадема довелъ до совершенства этотъ родъ живописи.

Прямыми послѣдователями Делароша и Роберта Флери были художники, предавшіеся изученію XVI и XVII вѣка, одежду, мебели и оружія той эпохи. Они изображали Франциска I и Генриха IV среди всевозможныхъ обстоятельствъ и отыскивали интересные эпизоды изъ ихъ жизни въ сочиненіяхъ ученыхъ и писателей. Однимъ изъ любимыхъ сюжетовъ было изображеніе встрѣчъ знаменитыхъ художниковъ съ какими нибудь знатными и могущественными современниками: встрѣча Рафаэля и Микель Анжело въ Ватиканѣ, Мурильо въ дѣтствѣ, кардиналъ, увидавшій мальчика Рибейру рисующимъ на улицѣ, Беллини въ мастерской среди всякихъ драгоценностей,



Мейссоньеръ. Человѣкъ у окна.

Карль V и Тиціанъ, Микель Анжело, ухаживающій за своимъ больнымъ слугою и т. д. Количество художниковъ, работавшихъ на этомъ поприщѣ такъ же велико, какъ и количество анекдотовъ о выдающихся людяхъ. Они безчисленны—какъ рои насекомыхъ, порожденныхъ въ знойный лѣтній день пышной растительностью. Историка чрезвычайно трудно выдѣлить изъ ихъ числа достойнѣйшихъ. Во Франціи пріобрѣли извѣстность Александръ Гессе, Камилль Рокланъ, Шарль Контъ, въ Бельгіи Александръ Маркельбахъ и Флоранъ Видемъ. Маркельбахъ, ученикъ Ваперса, рисовалъ кромѣ эпизодовъ изъ англійской исторіи также празднества старофламандскихъ городскихъ стрѣлковъ; „Корпорации“ Франца Гальса очень пригодились ему при этомъ для костюмовъ. Особенной популярностью пользовался Флорентъ Вилемъ, реставраторъ въ духѣ античныхъ мастеровъ; онъ съ большей сценической законченностью писалъ своихъ изящныхъ дамъ, кавалеровъ, солдатъ, художниковъ, служанокъ и знатныхъ матронъ XVI и XVII вѣка. Онъ съ такимъ совершенствомъ воспроизводилъ пышные атласные, парчевые и бархатные костюмы, ковры, драпировки и мебель того времени, что долго слылъ подъ именемъ новаго Терборга. Среди нѣмецкихъ художниковъ самый выдающійся Л. фонъ-Гагъ (L. von Hagn). Его граціозныя свѣтскія сцены перенесенныя въ эпоху итальянскаго ренессанса или французскаго рококо, отличаются большимъ благородствомъ колорита. Густавъ Шпангенбергъ

(Gustav Spangenberg) написалъ одну чрезвычайно удачную вещь—„Шествіе смерти“, и послѣ того сталъ исключительно заниматься временемъ реформациі. *Карлъ Бекеръ* (Carl Becker) сосредоточился на венеціанскомъ возрожденіи, дѣлая изрѣдка отступленія въ область нѣмецкаго возрожденія. Эти художники и многіе другіе заслуживали бы большаго вниманія, если бы ихъ мелкія аккуратныя картинки, похожія на олеографіи, не были бы совершенно непригодны для картинныхъ галлерей. И для этихъ художниковъ главную роль въ картинѣ игралъ не чисто художественный элементъ, а фабула и относящаяся къ ней фигуры. Отношеніе къ сюжетамъ измѣнилось только у послѣдующихъ художниковъ.

Генрихъ Лейсъ (Hendrik I. cys) долѣе всѣхъ изъ всего поколѣнія знаменитыхъ фламандцевъ 1830 года сохранилъ свою славу. Онъ родился 18 февраля 1815 года, въ Антверпенѣ и готовился къ духовному званію, но въ 1829 году поступилъ въ мастерскую Фердинанда Брекелера. Въ началѣ 30-хъ годовъ онъ написалъ свои первыя историческія картины. Въ нихъ не видно еще его позднѣйшей львиной силы, но уже и въ нихъ чувствуется куда направленъ путь будущаго мастера. Это уже не обычныя для того времени сцены дракъ, когда кровь течетъ какъ изъ крана. На картинахъ Лейсы люди сражаются съ большей пристойностью и чувствомъ мѣры, не столько во имя какихъ нибудь убѣжденій, сколько для того, чтобы имѣть право на свои шлемы и панцири. За то въ обѣихъ картинахъ съ большою любовью сдѣланъ фонъ—средневѣковой городъ съ закоулками, фонарями и живописными тавернами. Здѣсь сказалась чисто германская любовь къ мелкимъ подробностямъ. Аксессуары не отодвинуты на задній планъ для того, чтобы выдвинулись глазныя лица; Лейсъ сразу рисуеъ цѣлый уголокъ жизни, изображая все до подробностей, до малѣйшихъ предметовъ обихода, до послѣдней травки и цвѣточка пейзажа, до пестрыхъ плитъ старинныхъ фасадовъ, украшавшихъ кривыя улицы своими живописными окнами и дверьми. Слѣдующая его картина—„Убиство членовъ Левенскаго городского совѣта“—еще болѣе отступаетъ отъ традицій. Совершенно въ духѣ Калло художникъ вставилъ множество карикатурныхъ эпизодовъ въ самое драматическое происшествіе. Въ этомъ сказался истинный жанристъ; кромѣ того и по самой манерѣ исполненія Лейсъ очень отличенъ отъ художниковъ классической школы.

Лейсъ стремился къ тому-же, къ чему стремился и Густавъ Ваперсъ, который былъ на 12 лѣтъ старше его. Онъ тоже хотѣлъ возродить національное искусство. Но пути ихъ были совершенно различныя. Ваперсъ вдохновлялся главнымъ образомъ Рубенсомъ, Лейсъ же голландцами. Путешествіе въ Амстердамъ, въ 1839 году, облегчило ему пониманіе Рембрандта и Питера ванъ-Гуга. Онъ шелъ по ихъ слѣдамъ въ своей „Свадьбѣ XVII вѣка“, написанной въ 1845 году: среди сверкающихъ драпировокъ, золотой столовой утвари и красной плюшевой мебели движутся красиво одѣтые люди, гости и музыканты. Въ освѣщеніи видно желаніе приблизиться къ Питеру ванъ-Гугу или Янъ-ванъ-деръ-Мару, костюмы напоминаютъ Міариса и Мэтсю. По нѣсколькимъ анекдотическимъ картинамъ изъ быта XVII вѣка видно, какъ Лейсъ, слѣдуя голландскимъ образцамъ, постепенно достигалъ силы и колорита, выразительности внутренней жизни и мягкости сумеречнаго освѣщенія; эти качества справедливо нравились въ его первыхъ картинахъ. Нѣсколько сценъ изъ жизни художниковъ и правителей—посѣщеніе Рубенса, Рембрандта или Франса Флориса высокопоставленными лицами того времени—сдѣлали Лейсу львомъ парижскаго Салона. Въ 1852 году онъ былъ на высотѣ славы, признанъ въ Бельгіи и заграницей первымъ художникомъ и повсюду осыпанъ почестями. Тогда на-

чинается его вторая манера. После десятилѣтняго слѣдованія за вѣтми Рембрандта, онъ отрেকся отъ него, обратился къ нѣмецкимъ мастерамъ XVI вѣка и тогда только, по его собственному выраженію, началъ быть художникомъ. Во время путешествія по Германіи въ 1852 году онъ познакомился съ Дюреромъ и Краинахомъ. Въ Дрезденѣ, Виртембергѣ и Эйзенахѣ его обступили великія историческія фигуры изъ эпохи реформации. Полузабытыя воспоминанія объ его соотечественникахъ, о братьяхъ ванъ - Эйкѣ и Квентинѣ Массисѣ, снова ожили и толкнули его на новый путь. „Пиршество у Оттона Венія“ и „Эразмъ въ своей студіи“ были первыми шагами въ томъ направленіи. Затѣмъ написаны были исторически-бытовыя картины: „Лютеръ, учащійся хоровому пѣнію въ Эйзенахѣ“ и „Лютеръ въ своемъ Виттенбергскомъ домѣ“; всѣ восхищались добросовѣстностью съ которой онъ передавалъ археологическія подробности. На всемірной выставкѣ 1855 года Лейсъ имѣлъ громаднѣйшій успѣхъ тремя картинами въ древне-германскомъ духѣ. „Месса въ честь антверпенскаго бургомистра Берталя-де-Газа“, „Прогулка передъ городскими воротами“ и „Новый годъ во Фландріи“. Его возвращеніе изъ Парижа, гдѣ онъ и Корнелиусъ были единственными иностранцами получившими золотыя медали, праздновалось въ Антверпенѣ съ большимъ торжествомъ. Его чествовали иллюминаціями, факельцугами и золотыми лавровыми вѣнками. Его считали самымъ выдающимся живописцемъ со времени Квентина Массиса, Яномъ ванъ Эйкомъ XIX вѣка. Въ бросельскомъ Салонѣ онъ выступилъ властелиномъ, передъ нимъ преклонялась критика, и для его картинъ создавались особые алтари. Въ немъ чтили не только художника, но и человѣка; всѣмъ въ Антверпенѣ была знакома его красивая фигура; его показывали иностранцамъ, какъ достопримѣчательность города. Въ 1867 году, когда онъ опять получилъ въ Парижѣ почетную награду, антверпенскій *Cercle artistique* заказалъ медаль въ память столь важнаго событія для бельгійскаго искусства. Смерть Лейса, 25 Августа 1869 года, повергла весь городъ въ трауръ; окна ратуши, гдѣ онъ писалъ свои послѣднія картины, были завѣшаны чернымъ, извѣщенія о его смерти наклеены были на всѣхъ углахъ улицъ. „*Leis is ons*“, сказалъ бургомистръ у открытой могилы. Теперь на бульварѣ Лейса стоитъ его статуя и домъ его упоминается въ путеводителѣ Бедекера на ряду съ домами Массиса и Флориса, Рубенса и Йорданса.

Лейсъ былъ баловнемъ счастья, онъ еще при жизни получилъ лавровый



Мейссонье, Ченіе.



Мейсонецъ, *Чтеніе у Дидеро*.

повѣрили. Онъ производитъ впечатлѣніе стараго мастера, случайно жившаго между новыми. Его знаніе XVI вѣка изумительно. Онъ съ удивительною ясностью видѣлъ прошлое, какъ будто бы самъ жилъ въ прежніе вѣка. Люди которыхъ онъ изображалъ—его современники. Кажется, что картины написаны въ 1493 г. съ живыхъ людей. Всякому ихъ жесту, всякой чертѣ 400 лѣтъ. Другими словами онъ не былъ творцомъ новаго, а только умѣло подчинился разѣ на всегда установленной формулѣ. Стараясь быть современникомъ Луки Кранаха и Квентина Массиса, онъ не обладалъ однако, ихъ наивностью; они воспроизводили живую жизнь, онъ рисовалъ тѣнь ихъ реализма. Окруженный старыми картинами, миниатюрами или молитвенниками, онъ не изучалъ живую природу, а ограничивался копированіемъ готическихъ миниатюръ. Въ картинахъ антверпенской ратуши онъ дошелъ до того, что подражалъ даже перспективнымъ ошибкамъ примитивовъ. Въ ихъ наивномъ творчествѣ даже дѣтское перепутываніе передняго и задняго плана кажется привлекательнымъ, но Лейсъ намеренно повторяетъ эту ошибку, что производитъ уже непріятное впечатлѣніе. Онъ не природѣ подражаетъ, а тѣмъ, кто ей подражалъ и становится дилетантомъ живописнаго архаизма.

Но именно эта архаичность имѣла большое значеніе для того времени; она придаетъ Лейсу реформаторское значеніе. Онъ одинъ среди своихъ современниковъ истинный представитель фламандской расы. Впервые былъ только фламандцемъ изъ Парижа, онъ свергъ ига грековъ, замѣнивъ его игомъ французовъ. Въ лицѣ Луи Галлэ, ученика Давида, снова воскресъ Деларошъ. Ихъ произведенія проникнуты павосомъ, какъ французскія трагедіи, чрезвычайная тщательность лишаетъ ихъ всякой естественности: люди представлены тщательно вымытыми, причесанными и приглаженными, жесты ихъ театральны, краски шаблонны и рассчитаны на общій эффектъ. Лейсъ стремился быть правдивымъ: онъ не вкладывалъ никакихъ мыслей въ свои картины, а хотѣлъ только возсоздать уголокъ добраго стараго времени во всемъ блескѣ его красокъ. Онъ стремился выйти изъ однообразія тоновъ, придать каждому предмету отпечатокъ подлинности; въ рисунокъ онъ точно также противопоставлялъ благородству однихъ мастеровъ угловатость нѣмецкаго искусства, нетронутаго классицизмомъ *cinquiescento*. У него, также какъ и у Кранаха, Дюрера и Гольбейна можно найти удивительно жизненные силуэты, сильныя, иногда грубоватыя головы, морщи-

вънокъ. Естественно, что потомство должно убавить кое-что изъ этихъ восторговъ современниковъ.

Лейсъ не обогатилъ искусства ничѣмъ новымъ. Его тонкая живопись выдержанная строгость рисунка въ очертаніяхъ, является прямымъ возвратомъ къ манерѣ XV вѣка и сама по себѣ не лишена достоинства. Но что въ ней имѣетъ прямое отношеніе къ XIX вѣку? Гдѣ то, что художникъ создалъ новаго? Онъ могъ бы подписывать свои картины именемъ ванъ-Эйка и ему-бы

нистыя лица и плотныя плечи, на уродливыхъ тѣлахъ. Человѣческая фигура представлена у него почти вырождающейся, съ толстымъ животомъ и большими жилистыми руками. Впервые со времени Давида въ картинахъ Лейса отразилось все то, что борьба за существованіе сдѣлала изъ образа и подобія Божья. Уже въ его „Убійствѣ членовъ Левенскаго городскаго совѣта“ встрѣчаются среди спутанной композиціи рѣзко очерченныя жизненные лица; его Берталь де Газъ (Bertal de Haze), написанный пятнадцать лѣтъ спустя подчеркиваетъ это стремленіе передать характерную правдивость лицъ. Ни одинъ изъ его современниковъ не относился съ такимъ пренебреженіемъ и отрицаніемъ къ традиціонному изяществу очертаній и „красотѣ“ головъ. Изъ ненависти къ академическимъ шаблонамъ Лейсъ вериулся къ первоисточникамъ искусства. Порою дѣтская уродливость примитивовъ была ему милѣе Рафаэля. Въ лицахъ для него самое важное характерность чертъ и выраженія, это дѣлаетъ его, несмотря на историческіе сюжеты картинъ, антиподомъ исторической живописи, переходнымъ звеномъ къ новому стилю. Лейсъ противопоставлялъ манерности идеалистовъ искусственный сложный архаизмъ и этимъ доказывалъ, что есть нѣчто, болѣе близкое къ правдѣ, чѣмъ благородство линий и аристократизмъ позы. Такъ какъ при этомъ онъ опирался на старыхъ мастеровъ, то эстетика не могла даже и въ чемъ упрекнуть его.

Во Франціи переходъ отъ отвлеченно прекраснаго къ характерному, отъ типичнаго къ индивидуальному, совершился благодаря совокупности разнородныхъ причинъ. Прежде всего романтизмъ противопоставилъ античному стилю фламандскій, національный. Съ другой стороны, въ самомъ классицизмѣ произошло отклоненіе отъ античности и cinquecento къ раннему итальянскому возрожденію. „Флорентинскій пѣвецъ“ Поля Дюбуа открылъ новый міръ для скульптуры. Чѣмъ болѣе художники стали углубляться въ изученіе первыхъ творцовъ реализма, Донателло, Верокію, делла Роббіа и др. мастеровъ XV в., тѣмъ болѣе увлекала ихъ яркая жизненность ихъ творчества, и они старались перенести воспринятое въ собственныя произведенія. Искусство XV вѣка съ его мощными формами, слѣдованіемъ природѣ и яркостью характеристикъ, не останавливающихся передъ уродствомъ, оказало благотворное вліяніе. Художники стали изучать непосредственную дѣйствительность и воспроизводить жизнь въ своихъ произведеніяхъ. Эли Делонэ (Delaunay) сталъ созерцать природу менѣе обобщающимъ и стилизирующимъ взглядомъ, старался грубѣе изучать индивидуальныя особенности явленій и вѣрнѣе ихъ передавать, чѣмъ это дѣлалось прежде



Мейссонъ; Чтеніе рукописи.



Мейссонье: *Творчество.*

классической школой. Эрнест Мейссонье (Ernest Meissonier) пошелъ еще далѣе; его картинки во вкусѣ рококо обнаруживаютъ, кромѣ вліянія фламандской и ранней итальянской школы также и голландское вліяніе.

Для того, чтобы обратить на себя вниманіе среди суеи выставокъ, картина должна быть или очень велика, или очень мала. Это соображеніе руководило Мейссонье въ выборѣ сюжетовъ; въ то время когда романтики представляли полотна огромныхъ размѣровъ — колоссальные манифесты своей школы, Мейссонье сталъ писать маленькія кабинетныя картины въ голландскомъ вкусѣ. Мейссонье былъ сынъ небогатаго купца, и готовился вести торговлю отца колоніальными товарами. Каждое утро ровно въ восемь часовъ онъ отправлялся въ магазинъ, вель книги, копировалъ дѣловыя письма и приучался

къ методической аккуратности, оставшейся у него на всю жизнь. Его учитель Конье не оказалъ на него никакого вліянія. Когда вокругъ него раздавались боевые кличи гвельфовъ и гибеллиновъ въ живописи: „да здравствуетъ Делакруа“, „да здравствуетъ Энгръ“, — Мейссонье спокойно сидѣлъ въ Луврѣ и копировалъ Мадонну Яна ванъ-Эйка. Всю свою жизнь онъ оставался миниатюристомъ нидерландской школы. Сначала онъ занимался иллюстраціями ради заработка, а съ 1834 года сталъ выставлять разныя вещицы изъ эпохи Людовика XIV и XV: „голландскаго бюргера въ гостяхъ у бургомистра“ въ 1834 году, въ 1835 „Шахматнаго игрока временъ Гольбейна“, въ 1838 „Монаха у постели больного“, въ 1840 „Англійскаго доктора“ и „Чтеніе“. Салонъ 1841 года сталъ для него колебелью славы, также какъ для Делакруа Салонъ 1824, а для Энгра — 1831. „Игра въ шахматы“, картина въ 17 сантиметровъ вышины и 11 ширины, прославилась больше всѣхъ другихъ на выставкѣ. Мейссонье стали сравнивать съ малоизвѣстными до тѣхъ поръ великими нидерландскими миниатюристами XVII вѣка. Поднять былъ вопросъ о томъ, кто выше — Терборгъ, Мізрисъ или Мейссонье. Всѣ восторгались острою близорукаго взора миниатюриста. „Боже, какъ это сдѣлано!“ говорила публика, разглядывая картину въ лупу; зрители чувствовали себя истинными, ревностными знатоками искусства, когда сторожъ просилъ ихъ не подходить слишкомъ близко къ картинѣ. Уже въ самыхъ раннихъ своихъ картинахъ Мейссонье поражалъ удивительной тщательностью и законченностью исполненія. Въ немъ, казалось, воскресъ выдающійся нидерландскій миниатюристъ. Исполненіе красками было такимъ же тщательнымъ, педантичнымъ и старательнымъ, какъ подготовительныя этюды костюмовъ. Художникъ мѣнялъ по сто разъ каждый штрихъ, иногда забрасывалъ, стиралъ или совершенно перерабатывалъ почти законченную картину. Этимъ онъ привлекалъ на свою сторону не энтузіастовъ,

а спокойныхъ любителей. Всѣ его чтецы, философы, курильщики, игроки въ карты, флейтисты и скрипачи, граверы, художники и любители, всадники и ландскнехты, искатели приключеній XVIII и XVII вѣка, написанные имъ въ теченіе многихъ лѣтъ, стали драгоценностью всѣхъ коллекционеровъ. Въ 1884 г., онъ могъ отпраздновать свой пятидесятилѣтній юбилей выставкой 150 подобнаго рода картинъ. Если бы онѣ продавались на вѣсъ золота, то сошли бы очень дешево; по этому ихъ привыкли цѣнить на вѣсъ тысяче-франковыхъ билетовъ.

Въ наше время эти *jeux de patience* не возбуждаютъ уже столь единодушныхъ восторговъ; но не слѣдуетъ забывать, чѣмъ Мейссонье былъ для своего времени.

Прежде всего въ его картинахъ ни о чемъ не разсказывается, а это одно уже чрезвычайно важно для эпохи, когда живопись стала вспомогательной наукой для исторіи. Люди на его картинахъ не участвуютъ ни въ какомъ дѣйствіи, одни изъ нихъ курятъ, другіе пьютъ, третьи играютъ въ карты, четвертые ничего не дѣлаютъ. Всѣ эти мушкетеры или философы, камеръ-лакеи и изящные господа, ученые и прожигатели жизни менѣе всего хотятъ казаться умильцами; они не принимаютъ условныхъ позъ, не представляютъ изъ себя героевъ романа—съ нихъ довольно и того, что художникъ ихъ вѣрно и красиво изобразилъ. Среди всѣхъ французскихъ художниковъ, занятыхъ изображеніемъ историческаго быта, Мейссонье единственный придалъ своимъ работамъ отпечатокъ реалистической правды. Всѣ его фигуры, удивительно законченны и при этомъ жизненны и просты, онѣ чрезвычайно подходятъ къ наряднымъ рамкамъ рококо и съ большой увѣренностью носятъ одежду прежнихъ временъ. Мейссонье достигалъ правдивости общаго впечатлѣнія тѣмъ, что обстановку комнатъ и предметы размѣщенные въ нихъ, списывались имъ съ натуры. Комнаты, оконныя ниши, каминъ, изображенные на его картинахъ, существовали въ его домѣ, въ его мастерскихъ со всѣми подробностями. Онъ накупалъ на сотни тысячъ франковъ бронзы и разные предметы времени рококо и разставлялъ ихъ у себя въ домѣ. Его натурщики носили по цѣлымъ недѣлямъ, иногда по мѣсяцамъ, бархатные и шелковые костюмы, нужные для картины; потомъ уже художникъ работалъ съ натуры—съ величайшей точностью, и совершенно не заботясь о сюжетѣ. Картины его не были поэтому выдуманными, составленными изъ отдѣльныхъ деталей анекдотами, а изображеніями дѣйствительности отраженной въ ясномъ воспріятіи художника. И хотя эта дѣйствительность состояла еще пока только изъ костюмовъ и утвари XVIII вѣка, все же она составляетъ переходъ къ правдивому изображенію текущей жизни—самъ Мейссонье перешелъ въслѣдствіи къ современности—въ батальныхъ картинахъ.



Мейссонье: Остановка.



Мейссонье: Пикетъ.

Мейссонье писалъ только мужскія фигуры; женскій образъ оставался для него вѣчной загадкой. Тутъ открывалось широкое поле для его преемниковъ. Фовеле (Fauvelet), Шаве (Chavet), Бриллюэнь (Brillouin), пошли по слѣдамъ Мейссонье и стали изображать женщинъ времени рококо. Первые два художника были простыми подражателями. Бриллюэнь перешелъ къ юмористическому жанру. Онъ умѣлъ составлять красныя группы, былъ тонкимъ наблюдателемъ и посредственнымъ живописцемъ. Последнимъ изъ послѣдователей Мейссонье былъ Виберъ (Vibert). Онъ теперь болѣе всего извѣстенъ своими кардиналами и другими сановниками въ красныхъ одеждахъ. Онъ писалъ ихъ акварелью и масляными красками и придавалъ своимъ картинамъ нѣсколько ироническій оттѣнокъ. Люди на его картинахъ или подагрики, или раз-

слабленные, или пьяные; на каждой картинѣ ихъ иногда даже по нѣсколько, что не дѣлаетъ картины интереснѣе. Въ началѣ Виберъ обнаружилъ благородный, привлекательный талантъ, и всегда сохранилъ свое скромное мѣсто среди современныхъ миниатюристовъ. Его „Гулливверъ“ по Голдсмиту, испанскія и турецкія сцены, написанныя послѣ путешествія на Востокъ—очень красивыя, изящныя, залитыя солнцемъ картинки; по своей сверкающей капризной манерѣ онѣ близки къ картинамъ Фортуни.

Въ Германіи великимъ соиздателемъ реализма былъ *Адольфъ Менцель* (Adolph Menzel). Нѣмецкое искусство должно преклоняться передъ нимъ за то, что онъ первый имѣлъ достаточно гениальности и смѣлости, чтобы окончательно порвать со всякою условностью въ живописи и внести въ искусство жизненную правду. И онъ подобно Мейссонье стремился сначала только къ внѣшней правдѣ костюмовъ, но въ этомъ обнаружилъ полную честность художника, чуждаго всякой манерности.

Уже въ тридцатыхъ годахъ, когда еще на ряду съ произведеніями Корнелиуса всеобщій восторгъ толпы возбуждали „Ленора“ и „Скорбная королевская чета“ Лессинга, „Воинъ съ мальчикомъ“ и „Сыновья Эдуарда“ Гильдебрандта „Плачъ іудеевъ“ Бендемана, Менцель наблюдалъ дѣйствительность острымъ, чуждымъ всякой идеализаціи взоромъ. Онъ отличался чисто прусскимъ здравымъ смысломъ, отсутствіемъ сентиментальности, нѣкоторой холодностью и суровостью, сѣверно-германской разсудочностью. Въ настоящее время, когда нѣмецкое искусство стало болѣе утонченнымъ и благороднымъ, эта черта породила въ берлинской живописи грубый натурализмъ, но въ началѣ вѣка она создала разумное и трезвое искусство составляющее противовѣсъ болѣзненности мюнхенской и дюссельдорфской школы. Уже восемьдесятъ лѣтъ

тому назадъ берлинцы были слишкомъ практичны и жизнерадостны, чтобы стать романтиками. Во главѣ искусства, когда выступилъ Менцель, были Шадовъ и Раухъ, и рядомъ съ ними представители высокаго стиля Бегаъ и Вахъ. Но даже ихъ, наиболѣе затронутыхъ сентиментальнымъ теченіемъ, рейнскіе романтики справедливо не признавали полными единомышленниками. Въ берлинскомъ искусствѣ все таки преобладала реалистическая ясность—очень полезный противовѣсъ взвинченности мюнхенцевъ, также какъ и болѣзненнослащавымъ рыцарямъ, средневѣковымъ дамамъ или монахамъ дюссельдорфской школы. Фридрихъ Вильгельмъ IV, романтикъ на престолѣ не романтичныхъ Гогенцоллерноръ, призвалъ въ Берлинъ Корнелиуса, но и тотъ оказался безсильнымъ въ борьбѣ противъ господствующаго вкуса. И только въ Берлинѣ, очагѣ рѣзко выраженной разсудочности, тамъ, гдѣ старо-прусская трезвость поставила границы скучному царству романтиковъ, Адольфъ Менцель могъ стать великимъ художникомъ. Его берлинское происхождение спасало его отъ пребыванія въ безвоздушномъ пространствѣ. Художественному вкусу нашего времени, воспитанному на художникахъ школы Фонтенебло, онъ не нравится преобладаніемъ разсудочности надъ чувствомъ. Бёклинь очень тонко опредѣлилъ Менцеля, когда на вопросъ—что онъ о немъ думаетъ—отвѣтилъ: „Это великій ученый“. Болѣе всего навязывается сравненіе съ Момсеномъ: онъ тоже великій ученый, ѣдкій сатирикъ и остроумный публицистъ. Но этотъ трезвый скептицизмъ и холодный пылливый умъ, это безсердечіе, разсматривающее міръ взоромъ изслѣдователя, подготовило почву современному искусству. Никто не содѣйствовалъ болѣе чѣмъ Менцель тому, чтобы поставить твердо на ноги искусство, терявшееся среди мечтательности, и приучить затуманенный идеализмомъ взоръ къ естественности и правдѣ.

До начала французскаго вліянія Менцель былъ единственнымъ художникомъ въ Германіи, умѣвшимъ рисовать и писать красками. Борьба за существованіе заставила его приобрести это умѣніе. Въ годъ рожденія Бисмарка, въ Бреславлѣ родился человекъ, который призванъ былъ прославить въ искусствѣ сначала эпоху „старого Фрица“, потомъ современную императорскую Пруссію. Менцель очень рано очутился безпомощнымъ среди негостепріимнаго житейскаго моря. Онъ былъ бѣденъ и одинокъ, когда пріѣхалъ въ Берлинъ не столько для усовершенствованія въ искусствѣ, сколько для того, чтобы прискаться себѣ заработокъ. Онъ сидѣлъ въ своей бѣдной комнаткѣ подъ самой крышей, завернувшись въ пледъ, съ кофейникомъ въ одной рукѣ, съ карандашемъ въ другой и смотрѣлъ на крыши огромнаго города, призванный изобразить и завоевать для искусства самые блестящіе моменты въ жизни этого города. Прежде всего



А. Менцель въ 1837 г.



Менцель. Прибытіе протестантовъ изъ Зальцбурга.

онъ ознакомился съ техникой воспроизводительныхъ искусствъ, какъ наиболѣе пригодныхъ для заработка. Изучивъ новоизобрѣтенную тогда литографію, онъ сталъ изготовлять меню, новогоднія карточки, виньетки и выказалъ себя истиннымъ продолжателемъ Ходовецкаго и Готфрида Шадова. Съ двѣнадцати лѣтъ онъ не только самъ зарабатывалъ свой хлѣбъ этой работой, но и поддерживалъ семью. Такъ онъ готовился стать величайшимъ изъ современныхъ мастеровъ. Менцель обязанъ самому себѣ всѣмъ, чѣмъ онъ сталъ; онъ самостоятельно научился рисовать, выучился безъ помощи учителя писать красками и пошелъ въ этомъ далѣе всѣхъ художниковъ своего поколѣнія: онъ изобрѣлъ новые методы и комбинаціи въ писаніи акварелью и гуашью. Менцель величайшій нѣмецкій иллюстраторъ XIX вѣка, величайшій представитель нѣмецкаго гравировальнаго искусства, единственный вполнѣ оригинальный нѣмецкій историческій живописецъ XIX вѣка, дѣйствительно настолько знавшій прошедшіе вѣка, что имѣлъ право ихъ изображать.

Подъ заглавіемъ „Памятныя событія бранденбургско-прусской исторіи“ появились въ 1837 году двѣнадцать безпритязательныхъ литографій. Менцель являлся въ нихъ точнымъ и обладающимъ серьезной ученостію историкомъ Пруссіи. Въ то время все еще увлекались туманными мечтами о величіи среднихъ вѣковъ; онъ же, двадцатилѣтній юноша, указалъ на памятники прусской исторіи и единственный среди своихъ современниковъ не поддавался слащавому романтизму и позднѣйшему пафосу историческихъ живописцевъ. Въ его картинахъ не было театральныхъ трагическихъ сценъ, ничего сантиментальнаго, ничего поэтичнаго, но и никакихъ скучныхъ зрѣлищъ и церемоній. Глубина характеристикъ и яркая жизненность сочетались у него съ тщательнымъ изученіемъ исторіи и внѣшней дѣйствительности вплоть до малѣйшихъ подробностей ко-



Менцель: Ужинъ въ Саль-Суси.



Менцель: Прогулка по озеру.

стюмовъ и оружiя. Онъ не подчинялъ исторiю академическимъ формуламъ, а воспроизводилъ дѣйствительность съ осязательной вѣрностью. Нѣтъ у него условнаго пафоса жестовъ, нѣтъ натурщиковъ въ искусственно-торжественныхъ позахъ—все чрезвычайно просто и реально. Каждая эпоха представлена въ своей индивидуальности, и костюмъ не выдвигается на первый планъ.

Францъ Куглеръ первый выказалъ пониманiе этого содержательнаго истиннаго искусства.

Въ то время въ Парижѣ вышло жизнеописанiе Наполеона съ иллюстрацiями Ораса Вернэ. Въ Германiи эта книга тоже имѣла большой сбытъ, что и подало одному нѣмецкому издателю мысль издать подобнаго рода нѣмецкую книгу. Куглеръ написалъ „Исторiю Фридриха Великаго“ и Менцелю было предложено иллюстрировать ее.

Сочиненiе Куглера о Фридрихѣ Великомъ имѣло большое значенiе для нѣмецкаго искусства. Оно составляетъ эпоху въ исторiи нѣмецкой гравюры. Съ самаго начала XIX вѣка гравированiе было совершенно заброшено въ Германiи. Имъ пользовались только для изготовленiя грубыхъ табачныхъ этикетокъ. Менцель возродилъ гравировальное искусство и долженъ былъ создать особую школу изготовителей клише для того, чтобы возможно было исполнить четыреста мастерскихъ иллюстрацiй, приложенныхъ къ книгѣ.

Но еще болѣе крупное значенiе имѣли эти иллюстрацiи для эстетическихъ воззрѣнiй того времени. Менцель не имѣлъ въ виду изображать событий и героевъ съ идеальной стороны. Онъ изучилъ жизнь Фридриха Великаго до малѣйшихъ подробностей. Онъ сталъ заниматься филологическимъ изученiемъ источниковъ и продолжаетъ его до настоящаго времени съ неуто-

мимостью архивного изслѣдователя. Уже Ходовецкій воссоздалъ образъ „старого Фрица“ такимъ, какимъ онъ съ тѣхъ поръ живетъ въ народной фантазіи: то въ видѣ согбеннаго старца верхомъ на лошади, то производящимъ смотръ съ крючковой палкой въ рукахъ, то какъ философа, законодателя, военнаго героя, въ самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ и видахъ. Менцель, въ которомъ сохранился духъ Ходовецкаго, началъ съ того, на чемъ остановился его предшественникъ. Исходя изъ архивныхъ матеріаловъ, собранныхъ Ходовецкимъ, онъ освоился вполне съ великимъ временемъ, отиѣченнымъ духомъ Фридриха и Вольтера, изучивъ его такъ, какъ Момсенъ римскую исторію. Онъ



Менцель. Опаß въ Санъ-Суси.

перечелъ цѣлыя библиотеки, копировалъ всѣ доступные ему портреты. Въ своемъ научномъ педантизмѣ онъ изучилъ все, вплоть до пуговицъ и покроя мундировъ, и зналъ старыхъ гренадеровъ такъ, какъ унтеръ-офицеръ свой взводъ. Опираясь на эти предвѣрительныя работы, онъ съ объективностью историка воссоздалъ жизнь стараго Фрица и его времени такими, какими они были въ дѣйствительности, а не въ прикрашенномъ, идеализированномъ видѣ. Увѣренность въ изображеніи самыхъ тонкихъ подробностей, точное воспроизведеніе всего окружающаго, т. е. все то, что придаетъ значеніе Мейссонье во Франціи, было благодаря Менцелю, сразу достигнуто и въ Германіи. Но именно простота его изображеній—стиль и техника—была причиной того, что Менцеля не признавали на его родинѣ настоящимъ историческимъ живописцемъ. Его упрекали въ забвеніи красоты въ томъ, что ему недоступно высшее пониманіе искусства. Но за то во Франціи эта книга создала Менцелю выдающееся положеніе и благодаря ей нѣмецкое искусство стали цѣнить за предѣлами Германіи.

Съ этихъ поръ Менцель получилъ какъ бы монополію этого сюжета въ искусствѣ. Когда, по инициативѣ Фридриха-Вильгельма IV, въ 1840 году готовилось роскошное изданіе сочиненій Фридриха Великаго, Менцелю вмѣстѣ съ другими поручены были иллюстраціи къ нему. Въ каждомъ изъ 30 томовъ были помѣщены портреты современниковъ Фридриха, гравированные Манделемъ и другими по оригиналамъ того времени. Менцелю была поручена работа, какъ казалось, второстепеннаго значенія. Онъ долженъ былъ исполнить двѣсти гравюръ на деревѣ, но не для отдѣльныхъ листовъ, а для виньетокъ и заставокъ въ самомъ текстѣ. Эта огромная работа занимала его въ 40-хъ годахъ, и онъ выказалъ себя въ ней не только ученымъ изслѣдователемъ источниковъ, но и наблюдателемъ, способнымъ дѣлать остроумныя заключенія. Нужно ознакомиться съ произведе-

іями Фридриха Великаго, чтобы оцѣнить находчивость и тонкость, изящество и пикантность рисунковъ Менцеля. Всѣ обычныя подраздѣленія искусства на реалистическое и идеалистическое исчезаютъ въ прииженіи къ композиціямъ Менцеля; фантастичныя замыслы сочетаются въ нихъ съ полнымъ совершенствомъ реализма нашихъ дней.

Онъ воздвигъ еще другой памятникъ всѣмъ сподвижникамъ Фридриха Великаго въ гравюрахъ для книги „Герои войнъ и мирнаго времени царствованія короля Фридриха“. Работая надъ ней втеченіи десяти лѣтъ, онъ освоился вполнѣ съ духомъ эпохи; послѣ того, онъ замѣнилъ карандашъ кистью и сталъ изображать время Фридриха Великаго въ картинахъ масляными красками. Никогда въ исторіи живописи два имени не были такъ тѣсно сплетены, какъ имена Менцеля и Фридриха Великаго. Менцель оставался всю жизнь суровымъ работникомъ; онъ не зналъ любви, не имѣлъ для нея времени или же презиралъ женщинъ, послѣ того, какъ онѣ оттолкнули уродливаго и бѣднаго художника. Теперь на берлинскихъ балахъ видѣется иногда его большая лысая голова среди группъ блестящихъ кавалеровъ, красавицъ, царицъ моды и изыщества, среди шелеста шелковыхъ платьевъ, среди пестрой танцующей толпы. Но жизнь его интересуетъ только какъ поле для наблюденій; отшельникъ по природѣ, онъ бываетъ въ обществѣ только для того, чтобы наблюдать. Онъ постепенно достигъ того, что одинаково искусно пишетъ обѣими руками, и теперь еще, не смотря на свои 78 лѣтъ, дѣлаетъ твердые, точные наброски, даже во время поѣздокъ по желѣзной дорогѣ. Онъ совершенно самостоятельно научился писать красками и сталъ однимъ изъ рѣдкихъ мастеровъ живописи своего времени. Около середины XIX вѣка написаны были тѣ двѣ картины, которыя висятъ въ настоящее время въ берлинской національной галлерей — „Ужинъ въ Санъ-Суси“ и „Концертъ у Фридриха Великаго“. Значеніе и совершенство этихъ историческихъ картинъ не можетъ оспариваться ни однимъ изъ новѣйшихъ художниковъ и критиковъ. Если, когда нибудь на какой либо картинѣ былъ воплощенъ духъ эпохи, то это именно здѣсь, гдѣ дѣйствительные духовные влстители XVIII вѣка представлены за простымъ, непринужденнымъ обѣдомъ. На картинѣ изображена продолговатая зала маленькаго дворца. Обѣдъ конченъ, наступило развязное послѣобѣденное настроеніе. Шампанское пѣнится въ стаканахъ и начинается пикантный поединокъ остроумія. День уже близится къ концу, и подавленный холодный дневной свѣтъ наполняетъ залу. Каждая архитектурная подробность, отъ паркета до золоченыхъ карнизовъ колоннъ и штукатурки потолка, мебель и каждая люстра, носятъ отпечатокъ капризной граціи рококо. На второй картинѣ сцена озарена трепетнымъ пламенемъ свѣчей. Фридрихъ поднесъ флейту къ губамъ, скрипачи, исполняющіе квартетъ, сдѣлали паузу и готовятся заиграть по окончаніи соло. Съ лѣвой стороны сгруппированы дворяды въ креслахъ съ позолоченными спинками, за ними кавалеры. Свѣчи въ люстрахъ и боковыхъ бра освѣщаютъ всю сцену переломленнымъ, отраженнымъ въ зеркалахъ свѣтомъ и наполняютъ капризную и граціозную, уютную комнату лучистымъ свѣтомъ въ однихъ углахъ, и пріятнымъ полумракомъ въ другихъ. Весь блескъ придворныхъ баловъ былаго времени возсозданъ Менцелемъ съ единственной въ своемъ родѣ выразительностью.

Онъ достигъ той точности, которая необходима для исторической картины. Прежніе живописцы исторической школы ограничивались тѣмъ, что изображали общечеловѣческія чувства въ своихъ костюмированныхъ моделяхъ и приклеивали къ нимъ историческія этикетки. Менцелю удалось проникнуться духомъ прошлыхъ вѣковъ и возсоздать ихъ для настоящаго. Онъ не выискивалъ каждый годъ новаго историческаго незнакомца, а разъ навсегда ограничился однимъ



Менцель: Концертъ въ Санъ-Суви.

героємъ, образомъ прусскаго короля, живущаго въ иародной фантази и хороше известнаго каждому ребенку. Онъ такъ освоился съ эпохой своего излюбленнаго героя, какъ будто самъ былъ „старымъ Фрицомъ“. Менцель никогда не слышалъ Фридриха играющимъ на флейтѣ, никогда не сидѣлъ съ нимъ за столомъ въ Санъ-Суви, но эти сцены представлены имъ жизненно и правдиво; историческое прошлое было для него столь же живымъ какъ и современность. Его „Битва при Гохкирхѣ“ достигаетъ трагическаго величія именно потому что въ ней нѣтъ никакого вишняго паюса. „Путешествіе Фридриха Великаго“, осматривающаго свои владѣнія послѣ войны, затѣмъ „Свиданіе Фридриха съ Іосифомъ II въ Нейсѣ“ и всѣ другія картины историческаго цикла—единственныя въ своемъ родѣ, по исключительной правдивости, жизненности и не напыщенности, во время господства пустаго паюса въ искусствѣ. Менцель, съ двѣнадцати лѣтъ никогда не выпускавшій альбома этюдовъ изъ рукъ, находившій во всемъ, что онъ видѣлъ предметъ художественнаго интереса, могъ двигаться съ полною независимостью и въ средѣ, которая была ему чуждой. Окольнымъ путемъ, черезъ эпоху рококо, онъ научилъ насъ понимать самихъ себя. Онъ рѣшилъ въ своихъ картинахъ парадоксальную на первый взглядъ задачу—доказавъ, что глубокое поиманіе дѣйствительности можетъ возсоздать и прошлое для новой жизни, то прошлое, путь къ которому идеализмъ найти не можетъ.

Обозрѣвая все художественное развитіе этой эпохи мы видимъ, что самыя положительныя умы и совершенныя въ техническомъ отношеніи художники какъ Мейссонье и Менцель, подошли всего ближе къ современности. Вступивъ въ область рококо, тщательно избѣгаемую академическимъ искусствомъ, они снова пришли къ тому времени, когда сто лѣтъ назадъ, Менгсъ и Давидъ превращали естественное теченіе исторіи искусства. Въ 1750 году свершился роко-



Менцель: Путешествіе Фридриха Великого.

вой поворотъ къ античности, въ 1820 году побѣдили средніе вѣка, въ 1830 Корнеліусъ и Энгръ возродили XVI вѣкъ, въ 1840 Деларошъ и Ваперсъ XVII, а въ 1850, послѣ того какъ, говоря словами Корнеліуса, завершился кругъ столѣтій—Мейссонье и Менцель стали изображать то, что художникамъ 1750 г., ослѣпленнымъ блескомъ античнаго міра, казалось недостойнымъ быть предметомъ живописи. Чѣмъ болѣе историческія картины приближались къ современности, тѣмъ естественнѣе онѣ становились и тѣмъ болѣе измѣнялся даже ихъ внѣшній видъ. Отъ гигантскихъ размѣровъ картинъ Давида и Корнеліуса, онѣ дошли до миниатюрнаго формата Мейссонье и Менцеля: и въ этомъ есть указаніе на дальнѣйшій ходъ развитія. Историческая живопись вскорѣ должна была вообще исчезнуть, а картины изъ современной жизни, изображаемой до того лишь очень робко и въ самомъ маломъ форматѣ, вырости въ естественную величину. Первые живописцы историческаго жанра трактовали исторію отвлеченно, выражая при ея помощи свои философскія мысли, позднѣйшіе превращали ее въ источникъ декоративныхъ подробностей, затѣмъ въ ней стали искать анекдотическія и пикантныя черты. Послѣдніе и величайшіе изъ историческихъ художниковъ пришли наконецъ къ тому, что отбросивъ всякое напускное величіе, трактовали ее просто и человѣчно. Ихъ произведенія—протестъ противъ всякой идеализаціи. Въ рисунокъ красота линій смѣнилась вѣрностью очертаній, въ колоритѣ стали преобладать болѣе свѣжія краски, отвѣчающія природѣ, а не условному идеалу красоты. Только у Галлэ и Пилоти преобладаютъ благородныя линіи, величественныя царскіе жесты, аристократичность манеръ, галантность и шаблонное нагроможденіе богатыхъ, бьющихся въ глаза тканей. Лейсъ, Менцель и Мейссонье—первые пожертвовали красотой ради правды; или, вѣрнѣе, они поняли, что не можеть быть красоты внѣ правды. Они отчасти пришли къ этому пониманію окольнымъ путемъ, изучая вмѣсто итальянцевъ нѣмецкихъ и нидерландскихъ

мастеровъ; итальянская грація была опошлена долгими подражаніями; они противопоставили ей угловатость, естественность и правдивость германцевъ. Такимъ образомъ возрожденъ былъ забытый въ теченіи болѣе полувѣка языкъ предковъ. Классическія головы Галлѣ замѣнились характерными фizioноміями, вмѣсто жестикулирующихъ героевъ выступили спокойные тихіе люди; имъ уже не нужно было завоевывать себѣ права на существованіе въ искусствѣ торжественными позами, они двигались на картинахъ также, какъ и въ дѣйствительной жизни. Павось жестовъ уступилъ мѣсто естественнымъ положеніямъ, спокойному движенію рукъ. Даже традиціонныя правила выпуклыхъ и вогнутыхъ композицій были нарушены для того, чтобы непринужденность жизни могла проявиться съ болѣею ясностью. Эти три художника еще въ томъ обнаружили истинность своего призванія, что предпочитали богатству вымысла и анекдотичности—точность наблюденія, правдивость и тонкость передачи. Они чувствовали потребность изображать людей въ той обстановкѣ, въ которой они дѣйствительно жили. Традиціонныя бархатныя и шелковыя ткани, фоліанты, которымъ мѣсто вездѣ и нигдѣ, кресла и иванные ларцы, замѣнились обстановкой передающей истинную атмосферу эпохи. Прежде, изображеніе дѣйствительности было произвольнымъ и условно идеальнымъ, теперь оно стало синтетичнымъ и реальнымъ. Вмѣсто отвлеченностей стали изображать людей въ обычной обстановкѣ. И хотя эта обстановка пока еще была искусственнымъ воссозданіемъ рококо, но реализмъ этого воссозданія дѣлаетъ Менцеля и Мейссонье предвозвѣстниками новѣйшаго теченія въ живописи. Впослѣдствіи и сами они, пройдя черезъ литературныя и историческія теченія, стали родоначальниками современности. Благодаря имъ, публика стала отвыкать отъ условнаго павоса прежнихъ произведеній и предпочитать болѣе точное изображеніе дѣйствительности. Художники стали считать дѣйствительность наиболѣе важнымъ элементомъ искусства, исходнымъ пунктомъ для каждой картины. Такимъ образомъ началось изображеніе жизни, отвѣчающее требованіямъ новаго поколѣнія: оно хотѣло видѣть въ искусствѣ уже не старыхъ героевъ, а свое собственное изображеніе.



Менцель: Когда проснется гений?

Конецъ I-го тома.

Л и т е р а т у р а.

ГЛАВА I.

Полной исторіи англійской живописи пока еще нѣтъ. Можно указать слѣдующія сочиненія:

- Rouquet, L'état des Arts en Angleterre. Paris, 1755.
H. Walpole, Anecdotes of Painting in England. Съ иллюстр. 5 том. London, Strawberry Hill, 1762/71. Новое изданіе, London, Ward, Lock and Co. 1879.
James Dalloway, Les beaux Arts en Angleterre. Paris, 1807.
Edward Edwards, Anecdotes of Painters who have resided or been born in England. London, 1808.
J. D. Fiorillo, Geschichte der Malerei in Grossbritannien (5-мй томъ его Исторія графическихъ искусствъ). Геттингенъ, 1808.
W. Carey, Progress of the Fine Arts in England and Ireland during the Reigns of George II, III, IV. London, 1826.
William Fletsher, History of Painting in England. London, 1838.
G. Hamilton, Gallery of English Artists. London and Paris, 1839.
Edward Edwards, The Fine Arts in England. London, 1840.
W. B. Taylor, The Origin, Progress and Present Condition of the Fine Arts in Great Britain and Ireland, 2 тома. Лондонъ, 1841.
G. Lombardi, Saggio dell'Istoria Pittorica d'Inghilterra. Firenze, 1843.
J. Dalloway, Anecdotes of Painting in England with some Account of the Principal Artists 3 тома. London, 1849.
John Ruskin, Modern Palaters, 5 томовъ. London, 1851—60.
G. F. Waagen, Treasures of Art in Great Britain. London, 1854.
Prosper Mérimée, Les Beaux-Arts en Angleterre. London, 1857.
T. Silvestre, L'Arts, les Artistes etc. en Angleterre. London, 1857.
C. de Pesquidoux, L'Ecole Anglaise 1672—1851. Критическіе и біографическіе очерки. Paris, 1858.
Our Living Painters: their Lives and Works. London, 1859.
T. Silvestre, Les Artistes Anglais. «L'Artiste». Томъ 6-й, стр. 81. Paris, 1859.
W. Thornbury, British Artists from Hogarth to Turner, 2 тома. London 1860/61.
J. Milsand, L'esthétique Anglaise. Etude sur M. John Ruskin. Trad. franç. Paris, 1864.
R. and S. Redgrave, A Century of Painters of the English School, 2 тома. London, 1866. Новое изданіе 1890 г.
W. F. Rae, The History of Painting in England: The Fine «Arts Quarterly Review» Томъ I, стр. 242, томъ II стр. 64. 1866/67.
W. C. Monkhouse, Master pieces of English Art, with Sketches of some Deceased Painters, of the English School. London, 1869.
F. T. Palgrave, Gems of English Art, Plates. London, 1869.
Sarah Tytler, Modern Painters and their Paintings. London, 1873.

- Frederick William Fairholt, Homes, Works and Shrines of English Artists. London. Virtue and Co 1873.
- Frederick Wedmore, The Rise of Naturalism in English Art «Macmillan's Magazine». Март и Июнь, 1876 г.
- John Ruskin, Lectures on Art, delivered before the University of Oxford, 1870. London. Macmillan, 1876.
- English Painters of the Georgian Era: Hogarth to Turner. Biographical Notices of the Artists. With 48 permanent photos, their most celebrated pictures. London, Low, 1876.
- Frederick Wedmore, Studies on English Art. London. Richard Bentley and Son. 1876.
- English Painters of the Victorian Era: Mulready to Landseer. Illustr. with 48 Photos, of their most popular works. With Biograph. Notices. London, Low, 1877.
- James Dafforne, Modern Art, a series of line engravings from the works of distinguished painters of the English and Foreign Schools, selected from galleries and private collections in Great Britain. 60 plates with descriptive text by J. D. London, 1877.
- Samuel Redgrave, A Dictionary of Artists of the English School. Новое издание. Лондонъ, 1878 г.
- The Reflection of English Character in English Art. «The Quarterly Review», январь, 1879 г.
- Allan Cunningham, The Lives of the most Eminent British Painters. Rev. edit. annotated and continued to the Present Time by Mrs. Charles Heaton. 3 тома. Лондонъ. Bell, 1879.
- Frederick Wedmore, Studies on English Art. Second Series. (Rouney, David Cox, G. Cruikshank, W. Hunt, Prout, B. Jones, A. Moore). London. Bentley, 1880.
- George H. Shepherd, A Short History of the British School of Painting. London, Sampson, Low, 1881.
- Living Painters of France and England. Plates. London, 1882.
- E. Chesneau, La peinture anglaise. Paris, 1882.
- J. Faber, La peinture anglaise. Fédération artistique, 1883. 11—15.
- N. D'Anvers, An Elementary History of Modern Painting. Новое издание. London. Sampson Low, 1883.
- Wilfrid Moynell, Some Modern Artists and their Work. London, Cassell and Co. 1883 (Leighton, Boughton, Tadmira, Watts etc.) съ портретами и рисунками.
- Modern Artists. Illustrated Biographies of Modern Artists, published under the direction of F. G. Dumas (Leighton, Millais, Herkomer, Hook etc.), 2 тома. Лондонъ и Паризъ, 1882—84 г.
- Feuillet de Conches, Histoire de l'école anglaise de peinture jusqu'à Sir Thomas Lawrence et ses émules. Paris, Leroux, 1883.
- H. J. Wilmot-Buxton and S. R. Köhler, English and American Painters. Plates. London, 1883.
- John Ruskin, The Art in England. Lectures given in Oxford. Kent, 1883/84.
- Artists at Home, Photographed by J. R. Mayall. With biographical notices by F. G. Stephens. London, 1884.
- Lord Ronald Gower, Die Schätze der grossen Gemädegalerien Englands, Leipzig, 1884 ff.
- J. Comyns Carr, Papers on Art. London, Macmillan and Co 1885 (статья о Рейнольдсѣ, Тэнисборѣ, Россетти и др.).
- Allan Cunningham, Great English Painters. Selected biographies from A. G's, «Lives of Eminent British Painters». Edited by William Sharp. London, 1886.
- J. E. Hodgson, Fifty years of British Art. (Manchester Exhibition. 1887). London, John Heywood. 1887.
- Charles Heaton, A Concise History of Painting. London. Bell and Daldy. 1873. Брозее издание, 1888 г.
- The Pictorial Record of the Royal Jubilee Exhibition, Manchester, 1887. By Walter Tomlinson with special articles by Thomas W. Harris, Charles Estcourt and Joseph Nodal. Edited by John H. Nodal. Издатель. Манчестеръ, 1888 г.
- Walter Armstrong, The Nineteenth Century School in Art. «Nineteenth Century». Апрель, 1887.
- Walter Armstrong, Fine Art at the Royal Jubilee Exhibition Manchester, 1887, 1888.
- William Hoo, English Artists of the Day. A Technical Directory. London, 1888.
- William Tirebuck, Great Minds in Art. (статья о Вильсонѣ, Вильки, Ландсверѣ и др.). Лондонъ. 1888 г.
- Harry Quilter, French and English Art. «Universal Review», 1888 and 1890.

- W. E. Henley, A Century of Artists. A Memorial of the Glasgow International Exhibition, 1888. With Illustr. Glasgow, 1889.
- Hermann Helfferich, Ueber die Kunst in England, «Kunst für Alle», IV 1888, p. 161, 177.
- Paul Meyerheim, Die Englische Malerei in den letzten 50 Jahren, Nord und Süd, 1889, p. 17.
- J. A. Crowe, Continental and English Painting. «Nineteenth Century». Апрель, 1890 г.
- T. de Wyzewa, Les grands peintres de l'Espagne et de l'Angleterre. Histoire sommaire de la peinture japonaise. Illustr. Paris, 1891.
- Ср. также Н. Thomas Buckle, История цивилизации в Англии. Берлин.
- H. Taine, Notes sur l'Angleterre. Paris, 1872.
- H. Taine, История английской литературы. Томъ I.
- Журналы: «Art Journal» (London, 1839), «Portofolio» and «Magazine of Art».

Гогартъ.

- W. Hogarth, Analyse de la beauté, 2 vols. Paris, 1805.
- John Nichols, Biographical Anecdotes of W. Hogarth. Лондонъ, 1781 г. 2-ое издание 1785 г.
- G. C. Lichtenberg, Erklärung der Hogarth'schen Kupferstiche mit verkleinerten Copien desselben v. Riepenhausen. Göttingen, 1794—1831.
- W. Hogarth, Complete Works, including the Analysis of Beauty. London, 1817.
- Francis Wey, W. Hogarth. Londres il y a cent ans. Paris, 1859.
- J. Haunay, Complete Works of Hogarth, Plates. London, 1860.
- G. A. Sala, W. Hogarth, Painter, Engraver and Philosopher. Illustrations. London, 1866.
- C. Justi, W. Hogarth, «Zeitschrift. f. b. K.», VII, 1872.
- A. Dobson, Hogarth, London, Low, 1879. (Illustrated Biographies of Great Artists).
- J. Beavington-Atkinson, in Dohmes Kunst und Künstler Spaniens, Frankreichs und Englands. Leipzig, 1880.
- Th. Gautier, Guide de l'amateur, 1882.
- Hogarth's Shrimp Girl, Portofolio 1886, p. 105.
- F. Rabbe, Сборникъ «Les artistes célèbres».

Рисунки:

- The Original and Genuine Works of W. H. Atlas. Fol. London, 1790.
- Graphic Illustrations of Hogarth, from pictures, drawings etc. 2 vols. Roy. 8°. London, 1794—1799.
- The Works of W. H., from the original plates restored by James Heath. R. A. Atlas. fol. London, 1822.
- The Works of W. H., reproduced from the original engravings in permanent photographs. With an Essay on H. by Charles Lamb. 2 vols. Roy. 8°. London, 1872.
- J. Ireland and J. Nichols, Hogarth's Works; with Life and Anecdotal Descriptions of his Pictures. 3 vols. London.

Рейнольдсъ.

- J. Northcote, The Life of Sir Joshua Reynolds. London, 1818.
- Joseph Farrington, Memoirs of Sir Joshua Reynolds with some Observations on his Talent and Character. London 1839.
- Edm. Wheatly, A descriptive Catalogue of all the prints etc. from original portraits and pictures by Sir J. R. London, 1825 (новое издание, 1850 г.).
- Th. Reynolds, Life of J. R., by his son. London, 1839.
- J. Reynolds, Discourses on the Fine Arts. Edinburgh, 1840.
- J. Reynolds, Discourses, illustrated by explanatory Notes and Plates by J. Burnet. London, 1842.
- Edm. Ma one, The Literary Works of Sir J. R. (7 изданій. Лондонъ, 1704—1824 гг.) новая изданія Н. W. Bacchey'a. Лондонъ, 1846 и 1851 гг.
- W. Cotton, Sir J. R. and his works, edited by John Burnet. London, 1836. Новое издание 1839 г.
- J. Timbs, Anecdote Biography, Hogarth, Reynolds etc., 1860.
- Ch. Rob. Leslie and Tom Taylor, Life and Time of Sir y. R. London, 1865. Reynolds and the Portrait Painters of the last Century. «Blackwoods Magazine», Nov., 1867.
- Sidney Colvin, J. R. Portofolio, 1873. p. 66—82.
- J. C. Collins, Sir J. R. as a Portrait Painter. An Essay with 20 Portr. London. 1874.

- Edw. Hamilton, A Catalogue Raisonné of the engraved Works of Yos. Reynolds, 1755—1820. London, 1874.
- Frederick Wedmore, Sir J. R. «Temple Bar», Июль 1876 г.
- F. S. Pulling, Sir J. R. London, Sampson, Low, 1880.
- J. Beavington-Atkinson, in Dohmes Kunst und Künstler Spaniens, Frankreichs und Englands. Leipzig, 1880.
- Th. Gautier, Guide de l'amateur, 1882.
- F. G. Stephens, English Children as painted by Sir y. R. London, 1884.
- Th. Duret, Sir Joshua Reynolds et Gainsborough aux expositions de la Royal Academy et de la Grosvenor Gallerie. «Gaz. des Beaux Arts», 1884, 1, 327 (тоже самое Париж, 1885 г.).
- Статья въ Атенеумѣ, 1883 и 1884 гг.
- Helen Zimmer, Sir J. R. in «Westermanns Monatsheften». Mai, 1884.
- William Martin Conway, The Artistic Development of R. and Gainsborough. London, Seeley and Co, 1886.
- Ernest Chesneau, J. R. съ иллюстр. Париж, 1837 г. (въ сборника «Les Artistes célèbres»).
- Lady Blennerhasset, Jos. Reynolds Discurse, Приложение къ «Allg. Zeitung», 1889.
- Ed. Leisching, Zur Aesthetik u. Technik der bildenden Künste. Akademische Reden von Sir J. R. Uebersetzt u. m. Einleitung, Anmerkungen, Register u. Textvergleichung versehen von Dr. E. L. Leipzig, 1893.

Гэнсборо.

- Rob. Pratt, Sketch of the Life and Paintings of Th. G. London, 1788.
- George William Fulcher, Life of Thom. G. London, 1836.
- Sidney Colvin, Th. G., Portfolio, 1872, 169 и 178.
- J. Beavington-Atkinson, in Dohmes Kunst und Künstler Spaniens und Englands. Leipzig, 1880.
- J. Comyns Carr, Th. G. «The English Illustrated Magazine». Декабрь, 1884 г.
- George M. Brock-Arnold, Gainsborough, London, Sampson Low, 1889.
- Walter Armstrong, статья въ сборникѣ «Les Artistes célèbres».

Рисунки:

- Studies of Landscapes by T. G., Engraved from the Originals by L. Francis, London, 1810.
- Studies of Figures of Gainsborough in exact-imitation of the originals by Richard Lane. London, 1825.
- Selected Works of T. G., One Hundred Engravings in Mezzotint Fol. London, 1876.

Уильсонъ.

- The Works of Richard Wilson R. A., Landscape Painter. One volume of engravings. Fol.
- T. Wright, Some Account of the Life of Richard Wilson. London, 1824.

ГЛАВА II.

Общая литература:

Георгъ Брандесъ, Важнѣйшія теченія въ литературѣ XIX-го столѣтія.

Г о й я.

- Théophile Gautier, Cabinet de l'amateur, 1842.
- Laurent Matheron, Biographie de Fr. Goya. Paris, 1858.
- Carderera, Gazette des Beaux Arts, 1860 et 1863.
- P. Lefort, Gazette des Beaux Arts, 1867.

- Charles Yriarte, Goya, sa biographie etc. Paris, 1867.
 D. F. Zapater y Gomez, Goya, noticias biographicas, Zaragoza, 1868.
 Paul Lefort, Gazette des Beaux Arts, 1875 II 506, 1876 I 336, II 500. То же самое, но в
 более распространенном изложении носить следующее заглавие. Francesco Goya
 Etude biographique et critique suivie de l'essai d'un catalogue raisonné de son
 oeuvre gravé et lithographié. Paris, 1877.
 Charles Yriarte, Goya Aquafortiste, l'Art, 1877 II 3, 33, 56, 78.
 P. G. Hamerton, Fr. Goya, Portofolio, 1879, 67—99.
 H. Lücke, in Dohmes Kunst und Künstler Spaniens, Frankreichs und Englands. Leipzig, 1883.
 Muñoz y Manzano, Francesco de Goya y Lucientes. Revista contemporanea. Sept., 1883.
 Lucien Solvay, L'Art Espagnol. Paris, 1887 (Bibliothèque Internationale de l'Art). Count
 de la Vinaza, Goya, su tiempo, su vida, sus obras. Madrid, 1887.

Новѣйшія воспроизведенія рисунковъ Гойи:

- Los Desastros de la Guerra, Collecion de 80 luminos. Madrid, 1863.
 Los Proverbios, Collecion de 18 luminos. Madrid, 1864.
 Los Caprichos, Gravures fac-similé de M. Segui y Riera, Notice biographique et étude
 critique par Ant. de Nait. Barcelone, 1887.

Французское искусство XVIII-го столѣтія:

- Edmond et Jules de Goncourt, L'Art du XVIII siècle. Paris 1850. 3-е издание
 Париж, 1880 г.
 Edmond et Jules de Goncourt, La femme au XVIII siècle. Paris, 1889.
 Charles Blanc, Les Peintres des Fêtes galantes: Watteau, Lancret, Pater, Boucher.
 Paris 1854.
 Arsène Houssaye, Histoire de l'Art Français du XVIII siècle. Portraits. Paris, 1860.
 E. B. de la Chavignerie, Les Artistes français du XVIII siècle oubliés ou dédaignés.
 Paris, 1865.
 A. v. Wurzbach, Die französischen Maler des 18 Jahrh. Stuttgart, 1879.
 Auguste Nicaise, L'école française au XVIII siècle, Châlons s/Seine, 1883.
 Paul Seidel, Friedrich der Gr. und die französische Kunst seiner Zeit. Berlin, 1892.

В а т т о.

- Figures de différents caractères de paysage et d'études dessinées d'après nature par A. W.
 2 vols. 350 pl. Paris o J.
 D'Argenville, Abrégé de la vie des plus fameux peintres. Paris, 1762.
 Mariette, Abecedario, publiciert in den Archives de l'art français von Chennevières, 1852.
 Caylus, La vie d'Antoine Watteau, прочтена 3-го Февраля 1748 г. въ Парижской академіи
 издана Гонкурами въ «L'Art du XVIII siècle», 1850.
 Julianne, in der Vorrede zu seinem Kupferwerk, 1755.
 Cellier, Antoine Watteau, son enfance, ses contemporains. Valenciennes, 1867.
 Edmond de Goncourt, A. W. Paris, 1860. Ero-же: Catalogue raisonné de l'oeuvre peint
 dessiné et gravé d'A. W. Paris, 1875.
 Robert Dohme, сборникъ «Kunst und Künstler Spaniens, Frankreichs und Englands.
 Leipzig, 1880.
 Robert Dohme, Die französ. Schule des 18 Jahrh. Jahrbuch für preuss. Kunstsammlungen.
 Berlin, 1883.
 Theodor Volbehr, Antoine Watteau, ein Beitrag zur Kunstgeschichte des 18. Jahrh.
 München, 1885.
 Emil Hannover, A. W. Kopenhagen, 1887.
 G. Dargenty, сборникъ «Les Artistes célèbres». Paris, 1889.
 Paul Mantz, Gazette des Beaux Arts 1880, I. 5, 177, 45; II. 5, 129, 222. Отдѣльнымъ
 изданіемъ въ 1892 г.

Б у ш е.

- Robert Dohme, сборникъ «Kunst und Künstler Spaniens, Frankreichs und Englands».
 Leipzig, 1880.
 André Michel, сборникъ «Les Artistes célèbres». Paris 1889.

Л а н к р э .

G. Dargenty, сборникъ «Les Artistes célèbres».

П а т е р ь .

G. Dargenty, сборникъ «Les Artistes célèbres».

Ф р а н г о н а р ь .

Baron Roger Portalis, Honoré Fragonard, sa vie et ses oeuvres. Paris, 1837.
Félix Naquet, сборникъ «Les Artistes célèbres».

Б о д у з ь н ь .

Ch. Normand, сборникъ «Les Artistes célèbres».

Г р ё з ь .

Edmond et Jules de Goncourt, L'Art du XVIII siècle.
Charles Blanc, Histoire des peintres de toutes les écoles, II.
Jules Renouvier, Histoire de l'Art pendant la Revolution, p. 517.
Robert Dohme, сборникъ «Kunst und Künstler Spaniens, Frankreichs und Englands».
Leipzig, 1880.
Charles Normand, сборникъ «Les Artistes célèbres». Paris, 1892.

К в е н т и н ь д е л а Т у р ь .

Clément de Ris, L'oeuvre de Maurice Quentin de la Tour, Gazette des Beaux Arts, 1882 II, 251.
Champfleury, сборникъ «Les Artistes célèbres».

Л и о т а р ь .

F. Guye, Jean Étienne Liotard, 1702—1791. Zofingen, 1890.

Ш а р д е н ь .

Edmond et Jules de Goncourt, L'Art du XVIII siècle.
J. E. Wassely, сборникъ Р. Дома «Kunst und Künstler Spaniens, Frankreichs u. Englands»
Leipzig, 1880.
G. Dargenty, L'Art, 1883, II, 3.
H. de Chennevières, Chardin au Musée du Louvre, Gazette des Beaux Arts, 1889, I, 121.
Charles Normand, сборникъ «Les Artistes célèbres».

К о р н е л и у с ь Т р о о с т ь .

A Ver Huell, C. Tr. en zijn Werken, Arnhem, 1873.

П е р е м ь н а н а п р а в л е н и й ж и в о п и с и в ь Г е р м а н и и .

Hermann Hettner, Literaturgeschichte des 18 Jahrh. Bd. III. Braunschweig, 1879.

Х о д о в е ц к и й .

W. Engelmann, Daniel Chodowiecki's sämtliche Kupferstiche. Leipzig, 1857.
Alfred Woltmann, Hogarth und Chodowiecki: Aus vier Jahrhunderten niederländisch-deutscher Kunstgeschichte. Berlin, 1878.
Robert Dohme, сборникъ «Kunst und Künstler Deutschlands und der Niederlande»,
Томъ II. Лейпцигъ, 1878.
Ferdinand Meyer, Daniel Chodowiecki der Peintre—graveur. Berlin, 1888.

См. также лучшія гравюры на нѣди Ходовецкаго, изданія А. Фришомъ. Берлинъ, 1885 г.
D. Chodowiecki, Von Berlin nach Danzig, eine Künstlerfahrt im Jahre 1783, 108. Facsimile-
drucke nach Ch's Zeichnungen. Berlin, 1883.

Т и ш б е й н ь .

Aus meinem Leben, Selbstbiographie, herausgegeben von G. G. W. Schiller. Leipzig, 1861.
Fr. v. Aiten, Aus Tischbeins Leben und Briefwechsel. Leipzig, 1872.
Edmond Michel, Étude biographique sur les Tischbein, Lyon, 1881.

П э н ь .

Paul Seidel, Gazette des Beaux Arts, 1891.
Paul Seidel, Die Berliner Kunst unter Friedrich Wilhelm I. Zeitschr. f. b. Kunst 23,
1888, p. 185.

А н т о н ь Г р а ф ь .

R. Muther, Anton Graff, ein Beitrag zur Kunstgeschichte des 18 Jahrhundert. Leipzig, 1881.

Ж о з е ф ь В е р н е .

Amédée Durand, Joseph, Carl et Horace Vernet, Corresp. et biogr. Paris, 1863.
L. Lagrange, J. Vernet et la peinture au XVIII siècle, Paris, 1864.
A. Genevay, L'Art, 1876 III 254, 307, IV 61.
Albert Maire, статья о Верне въ сборникъ «Les Artistes célèbres».

Г у б е р ь Р о б е р ь .

C. Gabilliot, сборникъ «Les Artistes célèbres».

К а н а л е т т о .

Rudolph Meyer, Die beiden Canaletti. Dresden, 1878.

Ф р а н ч е с к о Г в а р д и .

Paul Leroi, L'Art, 1878, I 103.

Г е с с н е р ь .

Heinrich Wölflin, Salomon Gessner. Frauenfeld, 1889.

У д р и и Д е п о р т ь .

Charles Normand, сборникъ «Les Artistes célèbres».

Р и д и н г е р ь .

Georg Aug. Wilh. Thienemann. Leben und Wirken J. El Riedingers. Leipzig, 1856.

ГЛАВА III.

Общая литература объ искусствѣ въ Германіи:

- Raczynski, Geschichte der neueren deutschen Kunst, übersetzt von K. Hagen, 3 Bde. Text, 1 Bd. Tafeln. Berlin, 1836.
- Anton Hallmann, Kunstbestrebungen der Gegenwart. Berlin, 1842.
- Théoph. Gautier, Les Beaux Arts en Europe 1855. Paris, 1855.
- A. Hagen, Die deutsche Kunst in unserem Jahrhundert. Berlin, 1857.
- E. Förster, Geschichte der neueren deutschen Kunst. Leipzig, 1863.
- Anton Springer, Die bildende Kunst des 19. Jahrhunderts. Leipzig, 1858.
- J. Gerard, Considération sur l'art allemand, ses principes et tendances à propos de l'exposition de Munich. Bruxelles, 1859.
- Hermann Riegel, Geschichte des Wiederauflebens der deutschen Kunst seit Carstens. Hannover, 1876.
- Friedr. Pecht, Deutsche Künstler des 19. Jahrhunderts, Studien und Erinnerungen. Nördlingen, Beck, 1877—81.
- J. Beavington-Atkinson, The Schools of Modern Art in Germany. With numerous Illustr. London, Seeley, 1880.
- A. F. Graf v. Schack, Meine Gemäldesammlung. Stuttgart, Cotta, 1881, neue Ausgabe als Einleitung zu den Albertschen Heliogravüren der Galerie Schack. München, 1889.
- Kunst und Künstler des 19. Jahrh., unter Mitwirkung von Fachgenossen, herausgegeben von R. Dohme. Leipzig. Seemann, 1881.
- D. Duncker, Moderne Meister. Charakteristiken aus Kunst und Leben. Berlin, 1883.
- Franz Reber, Geschichte der neueren deutschen Kunst mit Excursen über die parallele Kunstentwicklung der übrigen Länder. 3 Bd. 3 Aufl. Leipzig, 1884.
- Anton Springer, Die Wege und Ziele der gegenwärtigen Kunst, in seinen Bildern aus der neueren Kunstgeschichte, 2 Aufl. Bonn, 1886.
- Adolf Rosenberg, Die Münchener Malerschule seit 1871. Leipzig, 1887.
- Adolf Rosenberg, Geschichte der modernen Malerei. Bd. 2 und 3. Deutschland. Leipzig, 1888.
- Hermann Becker, Deutsche Maler von Carstens bis auf die neuere Zeit. Leipzig, 1888.
- H. Pfan, «Kunst und Kritik». Bd. I. Stuttgart, 1888, p. 445—535.
- Friedrich Pecht, Geschichte der Münchener Kunst. München, 1889.
- Hubert Janitschek, короткая, но содержательная заключительная глава въ «Geschichte der deutschen Malerei». Берлинъ, Гроте, 1890 г.
- Изъ журналовъ, главнѣйшіе: «Zeitschrift für bildende Kunst», издатель Ж. фонъ Лютцовъ. Лейпцигъ, 1866 г.; «Kunst für Alle» — Фридрихъ Нехтъ. Мюнхенъ. 1886 г.; «Die Kunst unserer Zeit» (особенно статьи X. Е. фонъ Берзеша и Корн. Гурлитта). Мюнхенъ, 1890 г.; Der Kunstwart — Ферд. Авенариусъ. Дрезденъ, 1887 г.; Die Gegenwart (статьи Флерке, Лихтварна, Гурлитта и др.). Берлинъ, 1872 г.; Die Nation (статьи Гельфериха, Елеса и др.). Берлинъ, 1883 г. «Die Freie Bühne» (статьи Гельфериха, Б. Векера и др.) Берлинъ, 1888 г.; Die preussischen Jahrbücher (статьи Карла Неймана и др.).

Классическая реакція.

- Hermann Helferich, Classicität, «Freie Bühne», 1890.
- Carl Neumann, Christian Rauch, Betrachtungen über Ursprung und Anfänge der modernen deutschen Plastik, Preuss. Jahrbücher. Bd. 64, 1889.
- Heinr. v. Stein, Die Entstehung der neueren Aesthetik. Stuttgart, 1886.

Теорія Герарда де Лэсса.

- Carl Lemke, статья объ Адрианъ ванъ деръ Верффъ въ сборникѣ Дома «Kunst und Künstler Deutschlands und der Niederlande, томъ 2. Лейпцигъ, 1878 г.

Винкельманнъ.

- Carl Justi, Winckelmann, sein Leben, seine Werke, seine Genossenschaft, Bd. I. Leipzig, 1886. Bd. 2. Leipzig, 1872.

Вліяніе археологическихъ изслѣдованій на искусство:

K. Bernh. Stark, Handbuch der Archeologie, Bd. I. Leipzig. 1879.

Лессингъ.

Daniel Gubrauer, Lessings Leben und Werke. Leipzig.

Heinr. Fischer, Lessings Laokoon und die Gesetze der bildenden Kunst. Berlin, 1887.

Отношенія Гете къ пластическому искусству.

H. Hettner, Goethes Stellung zur bildenden Kunst seiner Zeit. «Westermanns Monatshefte» 20, 83.

H. Hettner, Deutsche Literaturgeschichte II, 457.

R. v. Eitelberger, Goethe als Kunstschriftsteller in seinen gesammelten kunsthistorischen Schriften. Wien 1884, Bd. 3, p. 221—261.

Gustav Ebe, Goethes Beziehungen zur bildenden Kunst, «Gegenwart» 27, Heft 16 und 18.

C. Ulrichs, Ueber Goethes Verhältniss zur alten Kunst, Goethe—Jahrbuch III.

Hermann Uhde, Goethe, J. G. Quandt und der sächs. Kunstverein. Stuttgart, Cotta, 1887.

A. Heusler, Goethe und die Ital. Kunst. Basel Reich, 1891.

E. Dobbert, Goethe und die Berliner Kunst, «Nationalzeitung», 1891, 1 u. 3 Februar.

Готовится къ печати объемистый трудъ Теодора Фольбара.

Менгсъ.

Bianconi, Elogio storico del Cavaliere Anton R. Mengs. Pavia, 1759.

Meng's Gedanke über die Schönheit und über den Geschmack in der Malerei. Изданіе Фюссля.

Цюрихъ, 1765. Собраніе сочиненій Менгса издано Ж. Шиллингомъ. Боннъ, 1843/44 гг.

Franz Reber, сборникъ Дома «Kunst und Künstler Deutschl. u. der Niederlande 1878.

Friedrich Pecht, «Zeitschrift für bildende Kunst» XIV, 1879, p. 33 u. 72.

Анжелика Кауфманъ.

Giov. Gher. de Rossi, Vita di A. K. Firenze, 1869.

J. E. Wessely, сборникъ Дома «Kunst und Künstler Deutschlands und der Niederlande», 1878.

A. W. Grube, A. K., Bregenz, 1889.

Wilh. Schram, Die Malerin A. K. Bräun, 1890.

F. Guhl, Die Frauen in der Kunstgeschichte. Berlin, 1858.

Езеръ.

Alphonse Durr. A. F. Oeser, Ein Beitrag zur Kunstgeschichte des 18. Jahrh. Leipzig Durr, 1879.

Карстенсъ.

Karl Ludwig Fernow, Leben des Künstlers J. A. Carstens. Лейпцигъ, 1806 г., вновь издано Германномъ Ригель. Гамбургъ. 1867.

Hermann Grimm, Ausgewählte Essays zur Einführung in das Studium der neueren Kunst, 2 Aufl. Berlin, 1883, p. 216.

F. v. Alten, A. J. Carstens Schleswig, 1865.

H. Grimm, Ueber Künstler und Künstlerwerke I. Berlin, 1865, p. 75—95.

F. Eggers, Vier Vorträge aus der neueren Kunstgeschichte. Berlin, 1867 p. I.

Carstens' Werke, in Kupferstichen von W. Müller, herausgegeben von Hermann Riegel Leipzig, Bd. 1 1869, Bd. 2 1874, B. 3 1884.

Jul. Lange, Ntids Kunst. Kopenhagen, 1873, p. 1—15.

Fr. Pauli, A. C. Berlin, 1876.

Hermann Riegel, Kunstgeschichtl. Vorträge und Aufsätze. Braunschweig. 1877, p. 20 «Carstensiana».

Alfr. Woltmann, Aus vier Jahrhunderten niederländisch-deutschen Kunstgeschichte. Berlin, 1878, p. 169.

- Fr. Pecht, Deutsche Künstler des 19. Jahrhunderts, 3. Reihe Nördlingen 1881, p. 31.
 August Sach, Asmus Jacob Carstens' Jugend und Lehrjahre nach urkundl. Quellen, Halle, 1881.
 D. Schnittgen, A. J. C., Christl. Kunstblatt, 1882 12.
 Hermann Lücke, сборникъ Дома «Kunst und Künstler des 19. Jahrh.». Лейпцигъ, 1886 г.

М ю л л е р ь.

- C. Seuffert, Maer. Müller. Berlin, 1877.
 Sauer, in Kürschners Deutscher Nationalliteratur. Bd. 81.
 Möllers Ansatz gegen Carstens steht in Schillers Horen, 1797 III. 21, IV. 4.

Луиза Зейдлеръ.

- Hermann Uhde, Erinnerungen aus dem Leben der Malerin Louise Seidler, aus handschriftl. Nachlass zusammengestellt und bearbeitet, 2 Aufl. Berlin, Hertz, 1876.

В е х т е р ь.

- Dav. Friedr. Strauss, Kleine Schriften. Leipzig, 1862 p. 333—360.
 A. Haakh, Beiträge aus Württemberg zur neueren deutschen Kunstgeschichte, Stuttgart, 1863 p. VII ff. 10 ff., 133 ff.

Т и н ь.

- David Friedr. Strauss, Kleine Schriften, p. 361—396.
 Fr. Eggera, Deutsches Kunstblatt, 1858 p. 129—137.
 A. Haakh, Beiträge aus Württemberg zur neueren deutschen Kunstgeschichte. Stuttgart, 1863 p. VII ff., 10 ff., 133 ff.
 H. Kindt, Zu Gottlieb Schicks 100 jährigem Geburtstag, «Gegenwart, 1879, 31.»

Г е н е л л и.

- H. Riegel, deutsche Kunststudien. Hannover, 1868, p. 291 ff.
 M. Jordan, B. G. «Zeitschrift für bildende Kunst». V. p. 1—19.
 H. Riegel, Kunstgeschichtliche Vorträge und Aufsätze. Braunschweig, 1877, p. 148—170.
 L. v. Donop, Briefe von B. G. und Karl Rahl, «Zeitschrift für b. Kunst» XII, p. 25 ff, XIII, p. 115 ff. Там же Briefe von Schwindt und Gennelli XI, p. 11 ff.
 Fr. Pecht, Deutsche Künstler des 19. Jahrhunderts, 2 Reihe. Nördlingen, 1879, p. 271—304.
 A. F. Graf v. Schaak, Meine Gemäldesammlung. Stuttgart, 1881, p. 9—40.
 O. Berggruen, die Gallerie Schack in München. Wien, 1883, «Die graph. Künste» IV 1881 I.
 O. Baisch, Einzelheiten aus Genellis Leben und Briefwechsel. «Zeitschrift für b. Kunst» XVII p. 257—262.

ГЛАВА IV.

Общая литература объ искусствѣ во Франціи:

- Charles Blanc, Histoire des peintres français au XIX siècle. Paris, 1845.
 Gustave Planché, Portraits d'artistes. Paris, 1853.
 Gustave Planché, Etudes sur l'école française 1831—52. Paris, 1855.
 A. de la Forge, La Peinture contemporaine en France. Paris, 1856.
 T. Silvestre, Histoire des artistes vivant français et étrangers. Paris, 1857.
 Théodore Pelloquet, Dictionnaire de poche des Artistes contemporains. Paris, 1858.
 L. Laurent-Pichat, L'Art et les Artistes en France. Paris, 1859.
 Moritz Hartmann, Bilder und Büsten. Frankfurt a/Main, 1860.
 Ch. Lenermant, Beaux Arts et voyages. Paris, 1861.
 Olivier Merson. La Peinture en France. Paris, 1861.

- E. Chesneau, La Peinture française au XIX siècle. Les Chefs d'École. L. David, Gros, Gericault, Decamps, Meissonier, Ingres, H. Flandrin, E. Delacroix. Paris, 1862. Новое издание. Париж, 1883 г.
- Charles Blanc, Histoire des peintres de toutes les écoles. Paris, 1861—76.
- L. Pfau, französische Maler und Bilder in «Freie Studien». Stuttgart, 1886, erweitert in «Kunst und Kritik», Bd. 1 p. 115—444. Stuttgart, 1888.
- Charles Clement, Études sur les beaux Arts en France. Paris, 1865. 2-е издание, 1867 г.
- Julius Meyer, Die französische Malerei seit 1848, Zeitschrift für bildende Kunst II p. 13, 32, 56, 119. Leipzig, 1867.
- Julius Meyer, Geschichte der modernen französischen Malerei seit 1789. Leipzig, 1867.
- A. Bonnin, Études sur l'Art contemporain. Les écoles françaises et étrangères en 1867. Paris, 1868.
- P. G. Hamerton, Contemporary French Painters. London, 1868.
- H. O'Neill, Modern Art in England and France. London, 1869.
- P. G. Hamerton, Painting in France. London, 1869.
- W. B. Scott, Gems of French Art, with an Essay on the French School. Plates. London, 1871.
- M. Chameillon, L'Art contemporain. La Peinture à l'Exposition universelle de 1867. Salon de 1868, 1869, 1870. Paris, 1874.
- Th. Gautier, Portraits contemporains. Paris, 1874.
- Pierre Petroz, L'Art et la critique en France depuis 1822. Paris, 1875.
- L. Dussieux, Les Artistes français à l'étranger. Paris, Lecoq fils et Cie, 1876.
- R. Ménard, French Artists of the Present Day. Notice of some Contemporary Painters. 12 engravings. London, 1876.
- Charles Blanc, Les Artistes de mon temps. Paris, 1876.
- Jules Claretie, L'Art et les Artistes Français contemporains avec un avant-propos sur le Salon de 1876. Paris, 1876. Deuxième Série. Paris, 1881.
- Philippe Burty, Maîtres et petits maîtres. Paris, 1877.
- Marquet de Vasselot, Recherches sur l'Art français. Architecture, Peinture, Sculpture. Paris, 1878.
- Lucien Double, Promenade à travers deux siècles et quatorze salons. Paris, 1878.
- G. Berger, L'École Française de Peinture. Paris, 1879.
- Victor Champier, Les Beaux Arts en France et à l'étranger. Paris, 1879.
- E. Bellier de la Chavignerie et L. Auvray, Dictionnaire général des Artistes de l'École Française. Paris, 1880.
- Ernest Chesneau, Peintres et Statuaires Romantiques. Paris, 1880.
- Maurice de Séguier, L'Art et les artistes au Salon de 1880. Paris, 1880.
- Marquet de Vasselot, Histoire du Portrait en France. Paris, 1880.
- George Lafenestre, L'Art vivant, la Peinture et la Sculpture aux Salons de 1868 à 1877. Paris, 1881.
- E. Leclercq, Caractères de l'École française moderne de Peinture. Paris, 1881.
- F. Gosselin, Histoire anecdotique des Salons de peinture depuis 1673. Paris, Dentu 1881.
- L. de Pesquidoux, L'Art au XIX siècle. L'Art dans les deux mondes, Peinture et Sculpture. 2 vols. Paris, 1881.
- Eugène Montrosier, Les artistes modernes: 1. Les peintres de genre, 2. Les peintres militaires et les peintres de nu, 40 Blorp., 40 pnc. 2 тома. Париж, 1881 г.
- Adolf. Rosenberg, Geschichte der modernen Kunst. 1 Abtheilung. Die franz. Kunst. Leipzig, 1882.
- H. Houssaye, L'Art français depuis dix ans. Paris, 1882.
- Henri de Clenzion, L'Art national en France. Paris, 1882/83.
- E. Henriot, Peintres contemporains. Paris, A. Levy, 1883.
- Raf. Sinset et Jules d'Auriac, Histoire du Portrait en France. Paris, 1884.
- V. Fonrnel, Les artistes contemporains français, peintres, sculpteurs. Tours, Marne et fils 1884. 176 illustr.
- Jean Gigoux, Causeries sur les artistes de mon temps. Paris, 1885.
- Albert Wolff, La capitale de L'Art. 2-е издание. Париж, 1886.
- Victor d'Halle, Histoire de la peinture en France. Paris, 1886.
- J. Comyns Carr, L'Art en France, переводъ съ англійскаго. Париж, 1887 г.
- Henri Jouin, Maîtres contemporains. Paris, 1887.
- Charles Bigot, Peintres français contemporains. Paris, 1888.
- C. H. Stranahan, A History of french Painting. New-York, 1888.
- La peinture française à l'exposition centenaire de 1889. Ouvrage publié sous la direction de Antonin Proust, Paris, 1899.
- Les chefs-d'oeuvres de l'Art au XX siècle, 5 томовъ. Парижъ. 1890.

- 1) L'école française de David à Delacroix par André Michel.
- 2) L'école française de Delacroix à H. Regnault par Alfred de Lostalot.
- 3) La peinture française actuelle par Paul Lefort.
- 4) Les écoles étrangères au XIX siècle par Th. de Wyzewa.
- 5) La sculpture et la gravure en France au XIX siècle par Louis Gonze.

Главнѣйшіе журналы: Gazette des Beaux Arts. Paris, 1865 ff. L'Art. Paris, 1875 ff.

Искусство времени революціи:

- Jules Renouvier, Histoire de l'Art pendant la révolution. Paris, 1863.
 Edmond et Jules de Goncourt, Histoire de la société française pendant le révolution.
 Paris, 1854. (Новое издание 1889 г.).
 Edmond et Jules de Goncourt, histoire de la société française pendant le directoire.
 Paris, 1855.
 Anton Springer, Die Kunst während der franz. Revolution, Bilder aus der neueren Kunstgeschichte. Bonn, 1886.
 Paul Marmottan. L'école française de peinture 1789—1850. Paris, 1886.
 Carl v. Lützow, Die franz. Kunst vor 100 Jahren, Zeitschrift für bildende Kunst XXIV,
 1889, p. 181.

Г-жа Вигне-Лебренъ.

- Автобіографія: Souvenir de ma vie. Paris o. J.
 V. Sophia Beale, Elisabeth Louise Vigée-Lebrun. Portfolio, 1891, 89.
 Charles Pillet, сборникъ «Les Artistes célèbres». Парижъ, 1892 г.

В ъ е н ъ.

- H. Cozik, Vien sa vie et ses oeuvres. Paris o. J.
 Elie Roy, Vien et son temps. Paris o. J.

Д а в и д ъ.

- P. A. Coupin, Essai sur J. L. David. Paris, 1827.
 E. J. Delécluze, Louis David. Paris, 1855.
 J. L. J. David, Le peintre Louis David (1748—1825), souvenirs et documents inédits. Paris
 Havard, 1879.
 C. A. Regnet, сборникъ Дома «Kunst und Künstler Spaniens, Frankreichs und Englands».
 Leipzig, 1880.
 G. Nieter, Le peintre David, Revue générale, Mars 1881.
 L'Art 1889, II. p. 46.
 C. Brun, Louis David und die französische Revolution. Zürich, 1886.
 Charles Normand, сборникъ «Les Artistes célèbres».

ГЛАВА V.

Съ той же точки зрѣнія писали о развитіи современнаго искусства: Корнелизъ Гурлиттъ (текстъ изданія Гандшгенга о Берлинской международной выставкѣ 1891 г.), Германъ Гельферихъ (Kurz Kunstgeschichte, Nation 1887 г. и текстъ въ «Бернской галлерей». Мюнхенъ, 1891 г.) и Германъ Баръ (Zur Kritik der Moderne. Цюрихъ, 1890 г.).

ГЛАВА VI.

Параллельное движеніе въ литературѣ:

- Georg Brandes, Hauptströmungen der Literatur des 19. Jahrhunderts, Bd. 2. Die deutsche romantische Schule. Leipzig, 1887.
 Georg Haim, Die romantische Schule. Berlin, 1871.
 Hermann Hettner, Die romantische Schule in ihrem Zusammenhang mit Goethe und Schiller. Braunschweig, 1850.

Общая литература о Назарейской школе:

- Veit Valentin, сборник Дома «Kunst und Künstler des 19. Jahrh.». Leipzig, 1886.
 Alfred Woltmann, Cornelius und seine Genossen in Rom. Aus 4 Jahrhunderten etc.
 Berlin, 1878, p. 208 ff.

О вербенъ.

- A. v. Zahn, Zeitschrift für bildende Kunst VI, 1871, p. 217—235.
 J. R. Beavington-Atkinson, Overbeck (Great Artists). London, Low, 1882.
 Margaret Howitt, Friedrich Overbeck, sein Leben und Schaffen, aus dem englischen von
 Franz Binder, 2 Bd. Freiberg i Bresgan, 1886.
 Небольшія статьи: J. N. Sepp, Fr. O., Gedächtnissrede, Augsburg 1869. Franz Binder, Zur
 Erinnerung an Fr. O. München 1870. H. Holland, Zur F. O's Heimgang 1870,
 G. Fr. v. Hertling, Zur Erinnerung an F. O., Köln, 1875.

Ф ю р и х ъ.

- Автобиографія въ «Libussa». Прага, 1844. Новое, дополненное издание. Вѣна, Кар-
 тора, 1876 г.
 R. Zimmermann, Zeitschrift für bildende Kunst VII, 1868 p. 159 ff, 209 ff.
 F. Pecht, Deutsche Künstler des 19. Jahrh. III. Nördlingen, 1881 p. 64—108.
 Lucas v. Führich, Graphische Künste VIII p. 1—16, 25—64.
 C. v. Lützw, Aus Führichs Nachlass, Zeitschr. f. bild. Kunst, 17, 1882 p. 33.
 Die Führich-Ausstellung in Frankfurt, Zeitschrift für bildende Kunst, 1885, XX
 Bd. p. 533.

Фейтъ.

- Veit Valentin, Kunst, Künstler und Kunstwerke, Zeitschr. f. bild. Kunst XV 2.

Фрески въ Casa Bartholdy.

- L. v. Donop, Die Wandgemälde der Casa Bartholdy in der Nationalgalerie. Berlin, 1888.

Штейнле.

- O. Berggruen, Die Galerie Shack, Graph. Künste, IV 3 und 4.
 Constantin v. Wurzbach, Ed. Stelule, ein Madonnenmaler unserer Zeit. Biogr. Studie.
 Wien, 1879.
 Veit Valentin, Zeitschrift für bildende Kunst 1888, XXIII, 1 und 33.
 L. Christiani, Plaudereien über Kunstinteressen der Gegenwart. Berlin, 1871.

Рисунки.

- Ausgewählte Werke E. v. Steinles, Frankfurt, 1888.
 Ed. Steinles Bilder zu Parsival, Frankfurt, 1884.

Шноръ Ф. Карольсфельдъ.

- M. Jordan, Aus Julius Schnorrs Lehr- und Wanderjahren, Zeitschrift für bild. Kunst,
 1867 p. 1 ff.
 H. Riegel, Kunstgeschichtliche Vorträge und Aufsätze. Braunschweig, 1877 p. 210—248.
 M. Jordan, Anstellung von Werken Julius Schnorrs in der Berliner Nationalgalerie. 1878.
 Veit Valentin, сборник Дома «Kunst und Künstler des 19. Jahrh.»
 Briefe aus Italien von Julius Schnorr v. Carolsfeld, эти письма написаны
 въ 1817—1827 гг. Дополнение къ исторіи его жизни и направленій искусства
 его времени. Изданы Францомъ Шнорромъ фонъ Карольсфельдъ. Гота, 1886.
 Bibel in Bildern, Leipzig, 1852—62.
 Zeichnungen von Jul. Schnorr v. Carolsfeld mit Einleitung von Jordan. Leip-
 zig, Dürr, 1878.

ГЛАВА VII.

Мюнхенское искусство при король Людовик I.

- Alfred Wollmann, Aus vier Jahrhunderten niederländisch-deutscher Kunstgeschichte. Berlin, 1878, p. 260 ff.
 Hans Reidelbach, König Ludwig I und seine Kunstschöpfungen. München, 1888.

Корнелиусъ.

- Herm. Riegel, Cornelius, der Meister der deutschen Malerei. Hannover, 1866.
 M. Carrière, Denkrede auf Cornelius. Leipzig, 1867.
 A. Teichlein, Betrachtungen über Riegels Buch «Cornelius der Meister der deutschen Malerei», Zeitschrift für bildende Kunst II. 1867, p. 128 ff., p. 189 ff.
 Alfred Frhr. v. Wolzogen, Peter v. Cornelius. Berlin, 1867.
 Max Lohde, Gespräche mit Cornelius, Zeitschrift für bild. Kunst, 1868.
 W. Lübke, Kunsthist. Studien. Stuttgart, 1869.
 Ernst Förster, Peter Cornelius, ein Gedenkbuch aus seinem Leben und Wirken. Berlin, 1874, 2 Bde.
 Herm. Grimm, Berlin und P. v. C. (Die Cartons von P. v. C., Cornelius und die ersten 50 Jahre nach 1800), in «15 Essays». Berlin, 1875.
 V. Kaiser, Cornelius und Kaulbach in ihren Lieblingswerken. Basel, 1876.
 F. Pecht, Deutsche Künstler des 19. Jahrh., Bd. I. Nördlingen, 1877.
 A. Wollmann, Aus vier Jahrhunderten niederländisch-deutscher Kunst. Berlin, 1878, p. 208—259.
 Fr. Pecht, P. v. Cornelius, Gartenlaube, 1879, 29.
 M. Carrière, im Deutschen Pintarch, Bd. VII. Leipzig. 1880, p. 1—36.
 A. Rosenberg, Cornelius im Lichte der Gegenwart. Grenzboten, 1881, I.
 A. Berggruen, Die Galerie Schack, P. v. Cornelius, Die graph. Künste. 1881, 4, 2.
 Rossman, Briefe von Peter Cornelius. Grenzboten, 1882, 16.
 G. Portig, Die sixtinische Madonna und die Camposanto Cartons von Cornelius. Leipzig, 1882.
 V. Valentin, в собрании Дома «Kunst und Künstler des 19. Jahrh.». Leipzig, 1883—85.
 Herm. Riegel, Peter Cornelius, Festschrift zu des grossen Künstlers 100 Geburtstage. Berlin, 1883.
 Carl v. Lützow, Zur Erinnerung an P. v. C., Z. f. b. Kunt. 19 1 ff.
 Der 100. Geburtstag von Cornelius, Allg. Ztg. 1883, B. 130.
 Cornelius, ein Maler von Gottes Gnaden, Hamburg, 1884.
 H. Grimm, Cornelius betreffend, Deutsche Rundschau, März, 1884.
 L. v. Ulrichs, Beiträge zur Kunstgeschichte. Leipzig, 1885, p. 119 ff. Cornelius in München und Rom.
 A. Frantz, in «Kunst und Literatur». Berlin, 1888, p. 1—60.

Каульбахъ.

- Guido Görres, Das Narrenhaus von W. Kaulbach. München.
 Max Schasler, Die Wandgemälde Wilhelm von Kaulbachs im Treppenhause des Neuen Museums zu Berlin. Berlin, 1854.
 W. v. Kaulbachs Shakespeare-Galerie, изд. М. Карьера. Берлинъ, 1856.
 V. Kaiser, Kaulbachs Bilderkreis der Weltgeschichte. Berlin, 1879.
 Ed. Dobber, Die monumentale Darstellung der Reformation durch Reitschel und Kaulbach, Sammlung gemeinverständl. wissenschaftl. Vorträge № 74. Berlin, 1869.
 A. Teichlein, Zur Charakteristik W. v. Kaulbachs, Zeitschrift für bildeude Kunst, XI 1876, p. 257—264.
 V. Kaiser, Macbeth und Lady Macbeth in Shakespeare's Dichtungen und in Kunstwerken von Cornelius und Kaulbach. Basel, Schelghauser, 1876.
 A. Wollmann, Aus vier Jahrhunderten niederländisch-deutscher Kunstgeschichte. Berlin, 1878, p. 288—316.
 Fr. Pecht, Deutsche Künstler des 19. Jahrhunderts II. Nördlingen, 1879, p. 54—109.

Kaulbachs Wandgemälde im Treppenhaus des Neuen Museums zu Berlin, in Kupfer gestochen von G. Eilers, H. Merz, J. L. Raab, A. Schultheiss. Mit erläuterndem Text herausgegeben unter den Auspicien des Meisters. Нов. изд. Берлинъ. А. Дункеръ, 1879 г.

Hans Müller, W. Kaulbach. Berlin, 1893.

ГЛАВА VIII.

W. Schadow, Gedanken über folgerichtige Ausbildung des Malers. Berliner Kunstblatt, 1828, p. 264—75.

A. Fahne, Die Düsseldorf Malerschule, 1835—36. Düsseldorf, 1836.

H. Püttmann, Die Düsseldorf Malerschule und ihre Leistungen seit der Errichtung des Kunstvereins im Jahre 1829. Leipzig. 1839.

Fr. v. Uechtritz, Blicke in das Düsseldorf Kunst und Künstlerleben. Düsseldorf, 1839.

Wolfg. Müller v. Königswinter, Düsseldorf Künstler aus den letzten 25 Jahren. Leipzig, 1851.

W. v. Schadow, Der moderne Vasari, Erinnerungen aus dem Künstlerleben. Berlin, 1854.

R. Wiegmann, Die k. Kunstakademie zu Düsseldorf, ihre Geschichte, Einrichtung und Wirksamkeit und die Düsseldorf Künstler. Düsseldorf, 1854.

J. Hübner, Schadow und seine Schule, Festrede bei Enthüllung des Schadows Denkmals zu Düsseldorf, 1869. Bonn, 1869.

M. Blanckarts, Düsseldorf Künstler. Nekrologe aus den letzten zehn Jahren. Stuttgart, 1877.

K. Woermann, Zur Geschichte der Düsseldorf Kunstakademie. Düsseldorf, 1860.

A. Rosenberg, Die Düsseldorf Schule. Grenzboten, 1881, II ff.

Mor. Blanckarts, Der Künstlerverein Malkasten in Düsseldorf, Allgem. Kunstchronik, 1883, 47.

A. Rosenberg, Die Düsseldorf Schule. Leipzig, Seemann, 1886.

Б е н д е м а н н ь .

Die Ausstellung der Werke von E. B., in der k. Nat. Galerie von 3. Nov bis 15 Dez. 1890. Berlin, 1890.

L. Bund, Ed. Bendemann, Illustrierte Zeitung, 1881, 2014.

Г ю б н е р ь .

M. Blanckarts, Z. f. b. K., 1883, 13.

Reumont, Archiv. storico italiano XI, 2.

A. Ehrhardt, Z. f. Museologie, 1883, 23, Allg. Kunstchronik, 1883, 46.

М и н т р о п ь .

Ferd. Laufer. Th M., der Ackersknecht und Maler, Allg. Kunstchronik, 32.

ГЛАВА IX.

Р е т е л ь .

Wolfgang Müller v. Königswinter, Alfred Rethel, Blätter der Erinnerung. Leipzig, 1861.

Friedrich Theodor Vischer, Altes und Neues, 3-й выпускъ. Штутгартъ, 1882 г.

Kaulen, Der Historienmaler A. Rethel, Deutsches Kunstblatt, 1883, II 21.

Veit Valentin. A. R., eine Charakteristik, Aesthet. Schriften I. Berlin, 1892.

ШВИНДЪ.

- L. v. Führich, Moriz v. Schwind, Eine Lebensskizze. Leipzig, 1871.
 Ed. Ille, Dem Andenken M. S's. München, 1871.
 A. W. Müller, M. v. S. Eisenach, 1871.
 Hermann Dalton, «Sechs Vorträge». С.-Петербургъ, 1872 г.
 Ludwig Hevesi, M. S., «Gegenwart», 1872.
 H. Holland, M. v. Sch. Stuttgart, 1873.
 A. v. Zahn, Zur Charakteristik M. v. S's., «Zeitschr. f. b. Kunst» VII, 1873, p. 287.
 F. Pecht, Deutsche Künstler des 19 Jahrh. Nördlingen, 1877, I. 195—231.
 Bauernfeld, Moriz Schwind zum Gedächtniss. «Nord und Süd» III, 1877, p. 353.
 Bernh. Schüdel, Briefe von Moriz Schwind. «Nord und Süd» XIV, 1880, p. 23 XV, 1881, p. 357.
 Graf v. Schack, Meine Gemäldesammlung. Stuttgart, 1881, p. 41—73.
 O. Berggruen, Die Galerie Schack. Wien, 1883. Mit Radirungen.
 Alb. Dürr, Ein halbvergessenes Werk von Schwind (Wandmalereien in Hohenschwangau) in der Festschrift zu Ehren Anton Springers. Leipzig, 1885, p. 231—39.
 Veit Valentin, Kunst, Künstler und Kunstwerke. Leipzig, 1887.
 Briefwechsel zwischen Schwind und Ed. Mörike. mitgeth. v. J. Baechtold. Leipzig, 1890.
 H. W. Riehl, Studien und Charakteristiken. Stuttgart, 1891.

Рисунки:

- Aschenbrödel, Bildercyclus von M. v. Schwind. Holzschnittausgabe nach den Theaterischen Stichen, mit Text von H. Lücke, 1873.
 Die 7 Raben und die schöne Melusine, изд. также подъ заглавіемъ «Deutsche Märchen». Неффоу съ Штутгарта.
 Operncyclus, im Foyer des k. k. Opernhauses in Wien. 14 Compositionen von M. Schwind Mit Text von Ed. Hanslick. München, 1880.
 Almanach von Radirungen mit erklärt. Text von Feuchtersleben. Zürich, 1844.
 Schwind, Wandgemälde in Hohenschwangau; 46 Compositionen nach den Aquarellentwürfen gestochen von J. Naue und K. Walde. Leipzig.
 Schwind-Album, München, 1880.

ГЛАВА X.

Жераръ.

- Charles Lenormant, François Gérard, peintre d'histoire. Essai de biographie et de critique. Paris, 1847.
 Correspondance de François Gérard, peintre d'histoire, publiée par Henri Gérard son neveu et précédée d'une Notice sur la vie de Gérard par Adolphe Viollet le Duc. Paris, 1867.
 Charles Ephrussi, François Gérard d'après les lettres publiées par M. le baron Gérard «Gazette des Beaux Arts» 1890. II^e 449: 1891, I, 57, 201.
 Придонъ (не перечислены труды Jul. Meyer'a, Renouvier и Rosenberg'a).
 Voisart, Notice historique sur la vie et les oeuvres de P. P. Prudhon peintre. Paris, 1824.
 Quatremère de Quincy, Notice lue à l'Institut 2 Octobre, 1824.
 Eug. Delacroix, «Revue des deux Mondes», 1857.
 Charles Clément, (главное его произведение): Prudhon sa vie, ses oeuvres et sa correspondance, сначала было напечатано въ «Gazette des Beaux Arts», потомъ вновь издано въ 1872 г. съ 30 рисунками. Парижъ, Дюло и К^о, 3-е издание въ 1880 г.
 Edm. de Goncourt, Catalogue raisonné de l'oeuvre peint, dessiné et gravé de Pr. Paris, 1876.
 Edm. et J. de Goncourt, L'Art au XVIII^e siècle. Paris. 1875. Нов. издание 1882 г. 2 тома.
 Ph. Burty, L'oeuvre de P. P. Prudhon, «L'Art», 1877, I p. 33.
 Alfred Sensier, Le Roman de Prudhon, «Revue internationale de l'Art et de la Curiosité» 15. Dec. 1869.

- Arsène Houssaye, «Artiste», Январь—Июль. Статья въ «L'Art» 1877 г. I, стр. 33.
 Charles Gueullette, M^{lle} Constance Meyer et Prudhon, Gazette des Beaux Arts 1876, p. 476, 1879, p. 268.
 Charles Blanc, Histoire des peintres, томъ 3-й.
 Aug. Schwarzw. сборникъ «Kunst und Künstler der ersten Hälfte des 19. Jahrh.» заимств. у Дома. томъ 2-ой. Leipzig, Seemann, 1886.
 Pierre Gauthier, По поводу въ сборникъ «Les Artistes célèbres». Парижъ 1891 г. Фотографія почти со всѣхъ картинъ II. святы Брауномъ въ Дорнахъ.

Гро. (не упомянуты произведенія Charles Blanc'a, Jul. Meyer'a и Rosenberg'a).

- Jean Baptiste Delestre (ученикъ Гро), Gros, sa vie et ses ouvrages (съ рисунками) 2-ое изд. Парижъ, 1867 г.
 J. Tripiere le Franc: Histoire de la vie et de la mort du baron Gros, le grand peintre. Paris, 1890.
 Eugène Delacroix, «Revue de deux Mondes», 1848, есть оттиски.
 Ernest Chesneau, Les chefs d'école, 3-ье издание, 1883 г., стр. 58—126.
 О картинахъ Гро въ Пантеонѣ: Ph. de Chennevière, «Gazette de Beaux Arts», XXIII, стр. 168—174.
 G. Dargenty, Les Chefs-d'oeuvres de Gros, «L'Art», 1886, II, p. 121; 1889, II, p. 100.
 Richard Graul, сборникъ Дома «Kunst und Künstler der ersten Hälfte des 19. Jahrh.» 2 тома. Leipzig, Seemann, 1886.
 G. Dargenty, Le baron Gros. Paris, 1887. Сборникъ «Les Artistes célèbres». Фотографія съ главнѣйшихъ картинъ Гро исполнены въ Дорнахъ.

ГЛАВА XI.

Параллельное теченіе въ литературѣ.

Георгъ Брандесъ Важнѣйшія направленія литературы XIX-го вѣка.

Общая литература о романтическомъ направленіи.

- E. Chesneau, Peintres et statuaire romantiques (Huet, Boulanger, Préault, Delacroix, Th. Rousseau, Millet etc.). Paris, Charavay frères, 1879.

Ж е р и к о.

- Charles Blanc, Th. G., 1845.
 Charles Clément, Th. G., Étude biographique et critique avec le catalogue raisonné. Paris, 1868. Нов. издание, 1879 г.

Д е л а к р у а.

- E. Gallichon, Les Peintres de M. E. D. à Saint-Sulpice. «Gazette des Beaux Arts», XI, 1861, p. 511.
 Amédée Cantaloube, Eugène Delacroix, l'homme et l'artiste. Paris, 1864.
 Henri de Cleurion, L'oeuvre de Delacroix. Paris, 1865.
 Piron, E. D., sa vie et ses oeuvres. Paris, 1865.
 Adolphe Moreau, E. Delacroix et son oeuvre. Paris, 1873.
 Lettres d'E. D. (1815—1863) recueillies et publiées par Phil. Buril. Paris, Quantin, 1879.
 Alfred Robaut, Peintures décoratives d'E. Delacroix. Le Salon de roi au palais législatif. Paris, Levy, 1879.
 Alfred Robaut, Peintures décoratives d'E. D. «L'Art» 1880, 279.
 M. Vachon, E. D. à l'école des Beaux Arts. 1885.
 Ph. Burty, Eugène Delac. à Alger, «L'Art», 1880, 422 ff.
 Ernest Chesneau, Eugène Del., «L'Art», 1882, 382 ff.

- Ernest Chesneau, L'Oeuvre complète d'E. Del. commentée par E. Ch. Paris, 1886.
G. Dargenty, Eug. Del. par lui-même. Paris, 1885.
Henri Guet, L'oeuvre d'E. Delacroix. Le Salon de 1825, etc. Paris 1885.
Maurice Tourniaux, Eug. Del. devant ses contemporains, ses écrits, ses biographes, ses critiques. Paris, 1886 (Bibliothèque internationale de L'Art. Ser. II vol. 61).

Энгрь.

- Charles Lenormant, Beaux Arts et Voyages. Paris, 1861.
Ernest Chesneau, Les chefs d'école. Paris, 1868, p. 253 ff.
Henri Delaborde, Ingres, sa vie et ses travaux. Paris, 1859.
Charles Blanc, Ingres, sa vie et ses ouvrages. Paris, 1859.
Amaury Duval, L'atelier d'Ingres. Souvenir. Paris, 1875.
Th. Silvestre, Les artistes français. Paris, 1878, p. 139 ff.
R. Balze, Ingres, son école, son enseignement du dessin avec des notes recueillies par P. et A. Flamin, Lehman, Delaborde etc. Paris, Pillet et Dumoulin, 1880.
Ernest Chesneau, Peintres et statuaires romantiques. Paris, 1880, p. 259 f.
Eugène Montrosier, Peintres modernes: Ingres, Flamin, Robert Fleury. Paris Bachelier, 1883.
Auguste Schmarow, «Копенга» Iowa «Kunst und Künstler des 19. Jahrh.» Leipzig, 1886.
Jules Mommeja, «Копенга» «Les Artistes célèbres»

ГЛАВА XII.

Ари Шефферъ.

- Blanche de Safray, Ary Scheffer. Paris, 1859.
Antoine Etex, Ary Scheffer, esquisse sur sa vie et ses ouvrages. Paris, 1860.
Miss Grate, Memoir of the life of A. Scheffer. New and London, 1860 f.
L. Vatel, L'oeuvre de Ary Scheffer reproduit en Photographie par Bingham. Paris, 1861.
Charles Lenormant, Beaux Arts et voyages. T. I. Paris, 1861.
Hofstede de Groot, Ary Scheffer, een Karakteristiek. Berlin, 1871.
M. E. Im-Tierin, Scheffer et Decamps. Nîmes, 1876.

Юганно.

- Charles Lenormant, Les Juifs. Beaux Arts et voyages. T. I. Paris, 1861.

Фландрень.

- F. A. Grignon, Les conditions de la Peinture en France et Les Peintres Niaux de H. F. Paris, 1882.
J. B. Poncelet, Eug. Flamin. Paris, 1864.
A. Galland, Etudes des Peintres de l'Ecole de St. Germain des Pres. Paris, 1864.
Charles Clement, Etudes sur les beaux Arts en France. Paris, 1863, p. 161 f.
Anonym, Hipp. Flamin, A. Flamin, Peintre of the nineteenth Century. London, 1873.
N. de Montmollin, H. F. Etude biographique et historique. New and London, 1876.
Ernest Chesneau, Les chefs d'école, p. 257 f.
Charles Blanc, Les artistes de tout temps, p. 260 f.
Henri Delaborde, Lettres et pensées d'Eng. Flamin. Paris, 1877.
Eug. Montrosier, Les Peintres modernes. Ingres, Flamin, Robert Fleury. Paris, 1882.
Heinrich Hofstede, etudes über Franz. Nationalismen. «Kunst für Alle» 1892.

Шевзаваръ.

- Апол. Шевзаваръ, Евг. Шевзаваръ et son oeuvre. Paris, 1887.

- L. Riesener, Les cartons de M. Chenavard, «L'Art», 1878, I, 179.
 Charles Blanc, Les artistes de mon temps, p. 191 ff.
 Th. Silvestre, Les artistes français, p. 299 ff.

Т. Шассеріо.

- Arthur Baignières, «Gazette des Beaux Arts», 1886, I, 209.

К о н ь е.

- Chronique des Arts, 1880, 37.
 Paul Mantz, «Gazette des Beaux Arts», 1881, I, 33.
 Léon Bonnat, Chronique des Arts, 1883, 8 ff.
 Ernest Vinet, Léon Cogniet, Paris s. d.
 H. Delaborde, Notice sur la vie de L. C. Paris, 1881.

Д е в е р і а.

- J. Guiffey, Achille et Eugène Devéria, «L'Art», 1883, p. 422 ff.

Д е л а р о ь.

- Oeuvre de Paul Delaroche, reproduit en photographie par Bingham, accompagné d'une Notice par H. Delaborde et Jules Goddé, Paris, 1858.
 Henri Delaborde, Études sur les Beaux Arts, 2 тома. Париж, 1857.
 Charles Blanc, P. D. въ «Histoire des Peintres».
 Charles Lenormant, Beaux Arts et voyages, Paris, 1861.
 J. Runtz-Rees, P. D., London, 1880.
 Adolf Rosenberg, сборникъ Дома «Kunst und Künstler des 19. Jahrh.».

К у т ю р ь.

- Méthodes et Entretiens d'atelier par Thomas Couture, Paris, 1868.
 Jules Claretie, Peintres et sculpteurs contemporains, Paris, 1873, p. 163 ff.
 H. Billung, Kunst-Chronik, 1879, 30.
 L'Art XVII, p. 24.
 Paul Leroy, L'Art, 1880, 298.
 Clara Biller, Zur Erinnerung an Thomas Couture, f. b. K. XVI, 1881, p. 101.
 H. C. Angel, Th. C. American Art Review, 1881, 24.

ГЛАВА XIII.

К а б а н е л ь.

- Georges Lafenestre, «Gazette des Beaux Arts», 1889, I, 265.

Б у р о.

- Artistes modernes, Dictionnaire illustré des Beaux Arts, Paris, 1885, Выпускъ 1—5.

Б о д р и.

- Emile Bergerat, Peintures décoratives de Paul Baudry au grand Foyer de l'Opéra avec préface de Th. Gautier, Paris, 1875.
 Edmond About, Paul Baudry, «L'Art», 1876, IV, 169.
 Jules Claretie, L'Art et les artistes contemporains, Paris, 1876, p. 49 ff.

- Edmond About, Peinture décoratives de Paul Baudry, Photogr. Goupil. Paris, 1876.
 G. Berger, Les peintures de Paul Baudry dans le Foyer de l'Opéra. Chronique des Arts, 1879.
 Charles Ephrussi, L'exposition des œuvres de M. P. B., Gazette des Beaux Arts, 1882, II, 132.
 G. Dargenty, Paul Baudry à propos de l'exposition de ses œuvres à l'Orangerie des Tuilleries, «Courrier de l'Art» 28, 1883.
 Dubufe, Paul B., «La nouvelle Revue», 15 Juillet, 1883.
 Henri Delaborde, Notice sur la vie et les ouvrages de M. P. Baudry. Paris, 1886.
 Ernest Toudouze, P. Baudry, Notes Intimes. Bordeaux, 1896.
 Charles Ephrussi, Paul Baudry, sa vie et son œuvre. Paris, 1887.
 Richard Graul, Paul Baudry, «Zeitschr. für bild. Kunst», 22, 1887, p. 1 und 65.
 A. Bonnin, Paul Baudry. Vannes, 1839.

Бенжаменъ Констанъ.

- Victor Champier, Benjamin Constant, «Art Journal», Aug., 1883.
 «L'Art» 16, 1890, I, 237.

Лоренсъ.

- Ferdinand Fabre, Le roman d'un peintre. Paris, 1878.

Реньо.

- H. Cazals, Henri Regnault, sa vie et son œuvre. Paris, 1871.
 H. Baillié, H. R. Paris, 1871.
 Arthur Duparc, Correspondance de Henri Regnault. Paris, 1873.
 Charles Blanc, Le artistes de mon temps. Paris, 1876, p. 347 ff.
 Roger Ballu, Le monument de Henri R. à l'école des Beaux Arts. L'«Art», 1876, III, 176.
 Philip G. Hamerton, Modern Frenchmen, 5 биографія. Лондонъ, 1878 г. стр. 334.
 A. Angelier, Étude sur Henri R. Paris, Boulanger, 1879.
 Hermann Billung, H. R. «Zeitschr. für bildende Kunst», 1880, XV, 93.
 «L'Art», 1886, II, 48.
 Royer Marx, H. R., сборникъ «Les Artistes célèbres». Парижъ, 1886 г.
 Gustave Larroumet, H. R., 1848—1871. Paris, 1889.

ГЛАВА XIV.

- Самый важный трудъ: Camille Lemonnier, Histoire des Beaux-arts en Belgique. (Cinquante ans de Liberté. Bruxelles. 1881, T. III).
 Van Hasselt, La Belgique, bei Czyszski, L'Art moderne en Allemagne, III. Paris, 1841.
 Felix Bogaerts, Esquisse d'une histoire des Arts en Belgique depuis, 1840, jusqu'à 1830. Anvers, 1841.
 L. Pfau, Die Zeitgenössische Kunst in Belgien. (Freie Studien, Stuttgart, 1866).
 F. Reber, Die belgische Malerei, «Deutsche Revue», VII, 1882, p. 219 ff.
 Patria Belgica, Tome III, les Expositions de tableaux depuis, 1930. Bruxelles, 1875.
 Annuaire de l'Académie royale des Sciences, Lettres et Beaux Arts passim.
 J. A. Wauters, La peinture flamande. 3-e éd. Paris. Quantin, 1891.
 См. также последнюю главу «Geschichte der Malerschule Antwerpens» Макса Розеса (Max Rooses). Нѣмецкій переводъ Ребера. 2-ое издание. Мюнхенъ, 1889.

М. Ж. ванъ Бре.

- L. Gerrits, Levensbeschrijving van M. J. van Brée. Antwerpen, 1852.

В а п е р с ь .

Hermann Billung, Gustav Wappers, histor. Taschenbuch, 5 Folge, X, 1880, p. 111 ff.

Д е К е й з е р ь .

Henri Hymans, Nicaise de Keyser, Bruxelles, 1891.

Г у ф ф е н с ь и С в е р т с ь .

Hermann Riegel, Geschichte der Wandmalerei in Belgien zeit 1856. Nebst Briefen von Cornelius, Kaulbach, Overbek, Schnorr, Schwind und A. an Gottfried Guffens und Jan Swerts. Berlin, Wasmuth, 1883.

Г а л л э .

A. Teichlein, L. Gallait und die Malerei in Deutschland. München, 1853.

Henne, Louis Gallait, Annales de l'Académie d'arch. de Belgique. 1890. 4.

Nekrolog in Lützow Zeitschrift für bild. Kunst, 1890.

Б ъ е в ь .

Nekrolog in L'Art moderne 7, 1889.

Journal des Beaux Arts, 1881, 4.

ГЛАВА XV,**Нѣмецкіе художники въ Парижѣ.**

Edmond About, Voyage à travers l'exposition des Beaux Arts. 15. 58. 56.

Ф е й е р б а х ь .

Ein Vermächtniss von Anselm Feuerbach, 2-ое издание. Вѣна, 1885 г.

Fr. Pecht, Zeitschrift für bildende Kunst, VIII, 1873, p. 181.

Fr. Pecht, Deutsche Künstler des 19. Jahrh. I. Nördlingen, 1877, p. 238—268.

Katalog der Ausstellung des künstl. Nachlasses in der Berliner Nationalgalerie mit Biographie von Max Jordan. Berlin, 1880.

Graf v. Schack, Meine Gemäldesammlung. Stuttgart, 1881, p. 93—116.

O. Berggruen, Die Galerie Schack in München. Wien, 1883. Иллюстр. (см. также «Graphische Künste», 1880, III, 1).

A. Wolf, Zeitschrift für b. K., XV, B. 15.

W. v. Seidlitz, A. Feuerbach, im 4 Hefte der Stichaussgabe moderner Meister der Dresdener Galerie.

Marc Schüssler, Zum Gedächtniss an A. F. Nürnberg, 1880.

H. Grimm, «15 Essays», 3 Folge. Berlin, 1882, p. 337.

Feuerbachs Handzeichnungen, изд. Ганфштедта. Мюнхенъ 1888 г.

Carl Neumann, A. F. Preussische Jahrbücher, Bd. 62, 1888.

C. Allgeyer, A. F. Nord und Süd, 1888.

Emil Hannover, A. F. «Tilskueren». Копенгагенъ. 1890 г.

Берлинская школа съ 1850 г.

A. Rosenberg, Die Berliner Malerschule, 1819—1879. Studien und Kritiken. Berlin, 1879

Геннебергъ.

H. Riegel, Kunstgeschichtl. Vorträge und Aufsätze. Braunschweig, 1877, p. 367 ff.

Густавъ Рихтеръ.

Ludwig Pletch, G. R., Westermanns Monatshefte, 1883, Oct. und Nov.
 Некрологъ: Baisch, Deutsches Kunstblatt, 1884, 15; Allg. Kunstchronik, 1884, 22, Rosenberg.
 Z. f. b. K., 1884, B. 27; Dahelm, XX, 37; Allg. Ztg., 1884, B. 130.

С т е ф ф е к ъ.

Nekrolog in der Kunstchronik, 1890, 31.
 L. v. Donop, Ausstellung der Werke Karl Steffecks in der Berliner National galerie. Berlin
 Mittler, 1890.

Общая литература исторической живописи:

Ernst Guhl, Die neuere geschichtl. Malerei und die Akademien. Stuttgart, 1848.
 R. v. Eitelberger, Geschichte und Geschichtsmalerei. Mitth. des österreich. Museums. 1883, 20.

Л е с с и н г ъ.

R. Redtenbacher, Erinnerungen an Carl Fr. Lessing. Zeitschrift für bild. Kunst, XVI,
 1881, p. 33.

П и л о т и.

F. Pecht, «Westermanns Monatshefte», 1882, April.
 Karl Stieler, Die Pilotyschule. Berlin, 1881.
 F. Pecht, Künstler des 19. Jahrh., III Reihe. Nördlingen, 1881.
 C. A. Regnet, Münchener Künstlerbiographien, Bd. 2.
 A. Rosenberg, Die Hauptströmungen in der bil. Kunst der Gegenwart. «Grenzboten», 1880.
 H. Helferich, Neue Kunst. Berlin, 1887.
 Peter Jessen, Piloty und die deutsche Kunst, Gegenwart, XXXI, 1.

М а к а р т ъ.

C. Landsteiner, H. Makart und Robert Hamerling. Wien, 1873.
 C. v. Lützow, Makarts Entwürfe für den Wiener Festzug. Zeitschr. für bild. Kunst, 1871, 7.
 S. Feldmann, Hans Makarts neuestes Bild, Die «Gegenwart», 1881, 24.
 B. Worth, Hans M. and his Studio. «Art Journal», 1881, 7.
 Makart-Album, in 10 Lieferungen, Holzschnitte und Lichtdrucke mit Text. Wien, Bondy, 1883.
 H. Makart als Architekt, Wochenbl. für Architekten, 1884, 89, 90.
 Mrs. Schuyler van Rensselaer, H. M., Portofolio, 1886, p. 36—49.
 Carl v. Lützow, Zeitschr. für b. Kunst, LXX, 1886, p. 181, 214.
 Robert Stiassny, H. Makart und seine bleibende Bedeutung, Sammlung kunstgewerleb
 und kunsthistor. Vorträge Nr. 12. Leipzig, 1886.

М а к с ъ.

Friedrich Pecht, Zeitschrift für bildende Kunst 1879, XIV. 225. 375.
 Agathon Klemt, Graph. Künste IX, 1—12, 25—36.
 J. Beavington Atkinson, Gabr. Max, Art Journal, 1881, 6.
 Adolf Kohut, Gabriel Max, Westermanns Monatshefte, 1883, Mai.
 Nic Mann, Gabr. Max. Eine Kunsthistorische Skizze. 2-ое изд. Лейпцигъ, 1891 г.

ГЛАВА XVI.

Г л э р ь .

- Charles Clément, Gleyre, Étude biographique. Paris, 1878.
 Paul Mantz, Gazette des Beaux Arts, 1875, I, 233.
 Fr. Berthoud, Ch. Gleyre. Genève. 1874. (Bibliothèque universelle. Vol. 50).
 E. Montégut, Ch. G., Revue des deux Mondes, 1878.
 Hofmeister, Das Leben des Kunstmalers Karl Glayre. Zürich, 1879.
 Ch. Berthoud, Ch. Gl., Lausanne, 1880.

Г а м о н ь .

- Walther Fol. Jean Louis Hamon, Gazette des Beaux Arts, 1875, I, 119.
 Georges Lafenestre, L'Art, 1875, I, 394.

Ж е р о м ь .

- Charles Timbal, Gazette des Beaux Arts, 1876, II, 228, 334.

Л е й с ь .

- Hermann Billung, Zeitschrift für bildende Kunst, XV, 333 und 370.
 Ludwig Pfau, Freie Studien, p. 262 ff.

М е й с с о н ь е .

- Ernest Chesneau, Les chefs d'école, p. 241 ff.
 Otto Mündler, Zeitschrift für bild. Kunst, 1866.
 Charles Clément, Études sur les Beaux Arts en France. Paris. 1869, p. 237 ff.
 Jules Claretie, Peintres et sculpteurs contemporains. Paris, 1873, p. 23 ff. 120 ff.
 Roger-Ballu, «1807», le Meissonier de M. Alexandre T. Stewart, L'Art, 1875, I, 14.
 Charles Blanc, Les artistes de mon temps. Paris, 1876, p. 420 ff.
 J. Claretie, Meissonier. Paris, 1881.
 John W. Mollet, Мейссонье въ сборникъ «The Great Artists». Лондонъ, 1882 г.
 H. Heinecke, E. Meissonier, Westermanns Monatshefte, Jan. 1885.
 Lionel Robinson, J. L. E. Meissonier, his Life and Work, Art Annual for 1887.
 London, 1887.
 Ch. Gigot, Peintres français contemporains. Paris, 1888.
 Некрологъ: Hb. Janitschek, Nation 1891, p. 209; «Allg. Zeitung» 3 Febr., 1891; A. de Los-
 talot, «Chronique des Arts» 1891, 6; Kunstchronik N. F. II, 15.
 L. Gonse, Meissonier, Gazette des Beaux Arts, 1891, I, 177.

М е н ц е л ь .

- Bruno Meyer, Adolf Menzel, Zeitschr. für bild. Kunst, XI, 1876, I, 41.
 Alfred Woltmann, Das Preussenthum in der neueren Kunst. «Nord und Süd», 1877, p. 109.
 Ludwig Pietsch, A. M. «Nord und Süd», p. 439.
 Duranty, Adolphe Menzel, «Gazette des Beaux Arts», 1880, II, 105.
 J. Beavington-Atkinson, Adolphe Menzel, Art Journal, May, 1882 ff.
 J. Beavington-Atkinson, Menzels illustrations to the works Frédéric the Great, Art Journal, Nov. 1883.
 L. Gonse, Illustrations d'Adolphe Menzel pour les oeuvres de Frédéric le Grand, Gazette des Beaux Arts, 1882, I, 596.
 Das Werk A. Menzels. Текстъ Гордана и Дома. Мюнхенъ, 1885 г.
 Cornelius Gurlitt, A. M., «Die Kunst unserer Zeit» 1892.

Рисунки взяты изъ журналовъ: Gazette des Beaux Arts, L'Art, Portfolio, Magazin of Art, кромѣ того много рисунки воспроизведены съ фотографій Броуна, Лондонской автогравировочной компании; съ альбомовъ Ходовецкаго, Гензели, Шнорра, Швинга, Гянсборо и многихъ другихъ.



Оглавленіе.

Введеніе.

стр.

Прежнее и новое пониманіе исторіи искусства. Кажущееся отсутствіе стили въ искусствѣ XIX вѣка. Чтобы опредѣлить „стиль“ современнаго искусства и показать логическій ходъ его развитія, нужно примѣнить къ новому времени принципы, примѣняемые къ исторіи древняго искусства. Нужно искать въ искусствѣ XIX вѣка то, что оно создало новаго, а не то, что оно заимствовало эклектически у прежнихъ вѣковъ.

I. Начало новаго искусства въ Англіи.

Со времени Cinquecento въ европейскомъ искусствѣ опредѣлились два теченія: классическое и реалистическое. Англичане съ наибольшей выдержкой и послѣдовательностью продолжали путь, начатый въ XVII в. голландцами. Вилльямъ Гогартъ. Его значеніе и то, что въ немъ есть нехудожественнаго. Сэръ Іошуа Рейнольдсъ. Томасъ Гэнсборо. Параллель между ними. Рейнольдсъ писалъ кромѣ портретовъ историческія картины, Гэнсборо—ландшафты. Пейзажи Ричарда Вильсона знаменуютъ собой конецъ классицизма въ ландшафтной живописи, пейзажи Гэнсборо—начало интимной вдумчивой ландшафтной живиписи 1

II. Положеніе искусства на континентѣ.

Со середины XVIII в. англійское искусство оказываетъ благотворное вліяніе на остальную Европу. Періодъ бури и натиска въ литературѣ Руссо. „Вертеръ“ Гете. „Разбойники“ Шиллера. Испанія: Франциско Гойя. Его картины и гравюры. Франція: Антуанъ Ватто освобождается отъ вліянія итальянскаго барокко и направляетъ французской искусство въ сторону фламандскаго. Пастелисты: Морисъ Латуръ, Розальба Карріера, Лютаръ. Живописцы изъ общества: Ланкръ, Патэръ. Декоративная живопись, Франсуа Лемуанъ, Франсуа Буше, Фрагоноръ. Свѣтъ становится добродѣтельнымъ. Жанъ Грезъ. Буржуазное общество и его изобразитель Жанъ-Баптистъ Симонъ Шардэнъ. Германія: Лессингъ освобождаетъ нѣмецкій театръ отъ

порабощенія классицизмомъ Буало и, слѣдую примѣру Буало, создаетъ въ „Миннѣ“ первую мѣщанскую драму. Даніэль Ходовецкій—изобразитель нѣмецкаго бюргерства. Тишбейнъ возвращается къ національному прошлому. Въ портретной живописи исчезаетъ искусственность и напряженность позъ. Антуанъ Пэнъ. Антонъ Графъ. Христіанъ Леберехтъ Фогель. Іоганъ Эдлингеръ. Оживленіе ландшафтной живописи. Вліяніе Руссо. Англійскій „садовый стиль“ замѣняетъ французскій. Въ живописи отживаетъ искусственно красивое изображеніе природы. Губеръ Роберъ. Жозефъ Вернэ. Саломонъ Гесснеръ. Людвигъ Гессъ. Филиппъ Гакертъ. Іоаннъ-Александръ Тилэ. Антоніо Канале. Бернардо Каналетто. Франческо Гварди. Донъ Петро Родригезъ де Миранда. Донъ Маріано Романъ Саншезъ. Анималисты: Франсуа Казанова, Жанъ Луи де Марнъ, Жанъ Баптистъ Удри, Іоганъ Эліасъ Ридингеръ. Итоги развитія искусства. „Грандіозная живопись“, унаслѣдованная отъ Cinquecento и пришедшая въ упадокъ въ XVII в., смѣнилась простой, тихой живописью, которую въ XVI в. проповѣдывали Дюреръ и его послѣдователи, въ XVII—голландскіе живописцы.

32

III. Классическая реакція въ Германіи

Вліяніе античнаго духа въ концѣ XVIII в. обозначаетъ собой не движеніе впередъ а неестественный поворотъ назадъ и обозначаетъ для Германіи такое же начало упадка, какъ для Италіи болонская школа, для Франціи Пуссенъ, для Голландіи Азресъ. Ученіе Винкельмана, Антонъ Рафаэль Менгсъ. Анжелика Кауфманъ. Младшее поколѣніе завершаетъ классическую программу, отказываясь и отъ переживаній усовершенствованной техники, Азмъ Іаковъ Какстенсъ. Бонавентура Генелли

66

IV. Классическая реакція во Франціи.

Французскій классицизмъ тоже не былъ новымъ теченіемъ въ искусствѣ, а возрожденіемъ стараго, вызваннаго къ жизни основаніемъ французской академіи въ Римѣ въ 1666 г. Вліяніе археологій. Елизавета Вижіе-Либренъ. Революція поднимаетъ интересъ къ древности и на короткое время вноситъ оживленіе въ классическое искусство. Жакъ-Луи Давидъ. Его портреты и картины изъ современной исторіи. Давидъ какъ археологъ. Жанъ-Баптистъ Реньо. Франсуа Андрэ Венсенъ. Гэрень

85

V. Традиція и свобода.

Задача XIX вѣка двойная: возродить искусство вообще и создать новое искусство. Только англичане имѣли прошлое, опираясь на которое они могли идти впередъ, у французовъ же и нѣмецъ было только прошлое, отъ котораго имъ нужно было освободиться. Романтики порвали связи съ одностороннимъ ученіемъ классицизма, но продолжали держаться того принципа, что современность не представляетъ собой достойный предметъ искусства. Причины такого отчужденія отъ жизни у художниковъ новаго времени: вліяніе эстетики и картинныхъ галлерей, романтическое настроеніе эпохи, вопросъ о костюмѣ, ученіе о іерархіи отдѣльных родовъ искусства. Для того чтобы новая живопись стала на самомъ дѣлѣ

искусством XIX вѣка, она должна была найти твердую почву въ своей собственной эпохѣ. Рисовальщики первые вводятъ современную жизнь въ область искусства. Изъ живописцевъ за ними прежде всего послѣдовали жанристы, но въ эпоху господства исторической живописи, картины изъ текущей жизни допускаются лишь поскольку въ нихъ разсказывается какая нибудь исторія. Подъ вліяніемъ пейзажистовъ эта анекдотическая живопись поднимается до настоящаго искусства. Миллэ, Курбе, Менцель, Марокъ Браунъ. Только въ одномъ отношеніи реалисты не освобождаютъ искусства отъ традицій старины—въ отношеніи колорита. Только импрессионизмъ, отвергнувъ всѣ традиціи, въ томъ числѣ и традиціонное пониманіе колорита, ставшее между художникомъ и натурой, явился заключительнымъ моментомъ въ борьбѣ современнаго искусства за свое освобожденіе. Подъ его вліяніемъ современная жизнь вошла въ искусство въ самыхъ широкихъ размѣрахъ и послѣ того какъ создалось умѣнье самобытно отражать впечатлѣнія внѣшняго міра, новѣйшіе идеалисты стали отражать самостоятельно, безъ помощи древнихъ мастеровъ, свои внутреннія переживанія. 100

VI. Назарейская школа.

Вліяніе литературы. Вакенродеръ Тикъ. Шлегели. вмѣсто древности соизидательнымъ началомъ новой школы становится Quattrocento. Фридрихъ Овербекъ Филиппъ Фейтъ. Іосифъ Фюрихъ. Эдуардъ Стейнле. Юліусъ Шнорръ ф. Карольсфельдъ. Ихъ картины и рисунки 122

VII. Мюнхенское искусство при королѣ Людовикѣ I.

Петръ Корнелиусъ. Вильгельмъ Каульбахъ. Ихъ значеніе. Ихъ доступность. 138

VIII. Дюссельдорфская школа.

На Рейнѣ существовала вмѣсто школы рисовальщиковъ школа живописи. Вильгельмъ Шадовъ. Карлъ Фридрихъ Лессингъ. Теодоръ Гильдебрандтъ. Карлъ Зонъ. Генрихъ Мюке. Христіанъ Келеръ. Г. Пюдemanъ Эдуардъ Бендеманъ. Теодоръ Минтропъ. Фридрихъ Иттенбахъ. Эрнстъ Дегеръ. Причина того, что картины ихъ не смотря на совершенство техники скоро устарѣли. 150

IX. Завѣты нѣмецкаго романтизма.

Альфредъ Ретель и Морицъ Швиндъ противопоставляютъ романской традиціи германскую, ихъ картины и рисунки 158

X. Предшественники романтизма во Франціи.

Изъ строгихъ послѣдователей классицизма только Франсуа Жераръ сохранилъ значеніе какъ портретистъ. Пьеръ Поль Прюдонъ первый освободился отъ вліянія античной пластики и вернулся къ изученію ломбардцевъ (Леонардо и Корреджіо). Антуанъ-Жанъ Гро ввелъ въ искусство изображеніе современныхъ битвъ и открылъ Рубенса. Противорѣчіе между его произведеніями и его теоріями . . 173

XI. Поколѣніе 1830 года.

Политическій и литературный фонъ. Теодоръ Жерико. Евгений Делакруа. Обмѣнъ ролей между Франціей и Германіей. Во Франціи

романтизм обозначалъ собой увлеченіе романскимъ католичествомъ и романской церковной живописью; въ Германіи романтизмъ создалъ культъ германской культуры въ противоположность греко-латинской— т. е. привлекъ вниманіе къ нѣмецкимъ и англійскимъ поэтамъ, а также къ фламандскому искусству. Жанъ-Огюсть-Доминикъ Энгръ обозначаетъ собой возвратъ къ культу формы, господствовавшему прежде во французскомъ искусствѣ. Энгръ какъ портретистъ.	196
XII. Juste-milleu. Жанъ Жигу, Эженъ Изабъ, Ари Шефферъ, Ипполитъ Фландренъ, Поль Женаваръ, Теодоръ Шассеріо, Леонъ Бенувиль, Леонъ Конье. Начало исторической живописи. Эженъ Деверіа, Катель Рокпланъ. Никола-Роберъ-Флери, Поль Деларошъ, Томасъ Кутюръ.	223
XIII. Эпигоны. Александръ Кабанель, Вильямъ Бугро, Жюль Лефевръ, Эннеръ, Поль Бодри, Эли Делонъ.—Лоренсъ Реньо, Рошгроссъ и др.	240
XIV. Историческая живопись въ Бельгіи. Бельгія до 1830 г. Давидъ и его школа. Навезъ, Матьясваю Бре. Густавъ Ваперсъ, Нисезъ де Кейсеръ, Анри Декэнъ, Галлзъ, Биевъ, Эрнестъ Слингенийеръ, Гуффенсъ и Свертсъ. Выставка бельгійскихъ картинъ въ Германіи	261
XV. Возрожденіе колорита въ Германіи Ансельмъ Фейербахъ, Викторъ Мюллеръ. Верлинская школа. Рудольфъ Энебергъ, Густавъ Рихтеръ, Книллъ, Традеръ и др. Мюнхенская школа: Пилоти, Гансъ, Макартъ, Габріэль Максъ. Историческая живопись и конецъ иллюстрацій къ исторіи.	275
XVI. Конецъ псевдо-идеализма. Бытовые картины историческаго содержанія болѣе поэтичны, чѣмъ прежняя историческая живопись. Бытописательныя картины изъ древней жизни. Шарль Глэръ, Луи Гамонъ, Жеромъ, Густавъ Буланже. Костюмныя картины изъ жизни XVII вв. Франція: Шарль Контъ, Александръ Гессъ, Камиллъ Рокпланъ. Бельгія Александръ Маркельбахъ, Флорентъ Виллемсъ. Германія: Л. фонъ Гагнъ, Густ. Шпангенбергъ, Карлъ Беккеръ. Значеніе Гендрика Лейса, Эрнста Мейссонье и Адольфа Менцеля какъ посредниковъ между прошлымъ и настоящимъ, между благороднымъ искусствомъ первой половины вѣка и благороднымъ искусствомъ второй половины	309
Указатель литературы.	331

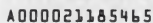


717085

ND190
.M8557
t.1



09530171



A000021185465

DATE DUE

[illegible]

